

Славянский Альманах



2004

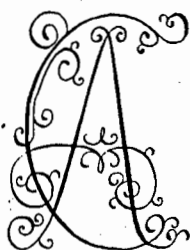
Министерство культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Российская академия наук

Институт славяноведения

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ

2004



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 2005

УДК 94(367)

ББК 63.3(4)

С47

Редколлегия:

Т. И. Вендина, профессор

В. К. Волков, чл.-корр. РАН, профессор

М. А. Робинсон, заведующий Научным центром «Россия и славянские народы» Института славяноведения РАН (отв. редактор)

В. А. Хорев, профессор

Уч. секретарь — *Е. П. Аксенова*

Славянский альманах 2004. — М.: Индрик, 2005. — 568 с.
ISBN 5-85759-323-9

Девятый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2004 г. в Самаре, а также «круглых столов» и симпозиумов, проводившихся в Самаре и Москве. Содержание разделов альманаха составляют статьи по актуальным проблемам истории, литературы, культуры и языка славянских народов от эпохи Средневековья до современности. Книга рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей.

ISBN 5-85759-323-9

© Институт славяноведения РАН, 2005

© Коллектив авторов, 2005

© Издательство «Индрик», 2005

От редколлегии

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается в России 24 мая разнообразными мероприятиями. К этому национальному празднику приурочено и проведение ежегодной научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» и соответствующих ей «круглых столов».

В 1996–2003 гг. такие конференции проводились в Костроме, Орле, Ярославле, Пскове, Рязани, Калуге, Новосибирске, Воронеже. Их материалы составили основное содержание восьми выпусков «Славянского альманаха», выходящего в свет раз в год к очередной конференции в мае. Нынешний, девятый выпуск альманаха предлагает вниманию читателей материалы научной конференции, прошедшей в 2004 г. в Самаре, а также «круглых столов» и симпозиумов, проводившихся в Самаре и Москве, на которых обсуждались актуальные проблемы истории, литературы, культуры и языка славянских народов. В альманахе помещены также статьи, близкие по проблематике к проводившимся научным мероприятиям.

Альманах имеет сложившуюся структуру, которая состоит из семи разделов: «Пленарное заседание», «История», «История культуры», «Языкознание», «Публикации», «Рецензии», «Хроника». Мы надеемся, что ежегодное издание «Славянского альманаха» будет способствовать не только дальнейшему изучению, но и распространению знаний о славянском мире.

Воссоединение Украины с Россией в оценке современников

Решения, принятые Земским собором в октябре 1653 г., и решения казацкой рады в Переяславе в январе 1654 г. о подчинении Войска Запорожского во главе с Богданом Хмельницким и всего населения «Малой России» верховной власти царя Алексея Михайловича — важнейшее со бытие в истории и русского, и украинского народов, объединившихся с этого времени в одном государстве. Рассмотреть предпосылки и важнейшие последствия этого события, его воздействие на исторические судьбы русского и украинского народов — задача непосильная для одного небольшого выступления. В нем будет рассмотрен лишь один конкретный вопрос, в чем видели историческое значение событий 1653–1654 гг. их непосредственные современники.

При обсуждении вопроса о том, как понималось современниками историческое значение событий, которые привели к Переяславской раде, и само значение этого события неоднократно высказывалась точка зрения, что при принятии решения русской и украинской стороной имелись в виду только религиозные факторы: для украинской стороны важно было желание подчиниться власти православного государя, а русская сторона стремилась подать руку помощи православным на территории Речи Посполитой. При этом указывали, в частности, на то, что в речи, зачитанной перед участниками Земского собора 1653 г., при обосновании решения о «принятии» Войска Запорожского под верховную власть царя говорилось только о том, что следует положить конец преследованиям православных в Речи Посполитой и не допустить, чтобы православные жители Украины перешли под власть мусульманского государя-султана¹. Однако следует учитывать специфику этого документа, как предлагавшего обоснование решения Земского собора о принятии Запорожского Войска «под высокую руку» царя Алексея Михайловича и о разрыве «вечного мира» с Польско-Литовским государством. Преследования православных в Речи Посполитой вопреки гарантиям, полученным ими от государственной власти, служили достаточным основанием для того, чтобы Запорожское Войско разорвало свои отношения с этим государством, а русская власть приняла его под свою защиту. А то обстоятельство, что тем самым царь не допустил распространения власти султана на Украину, позволяло

утверждать, что Алексей Михайлович действовал в интересах всего христианского мира².

Несомненно, что защита православных восточных славян от преследований со стороны католиков русские правящие круги считали одной из главных задач своей внешней политики, а начинавшаяся война с Речью Посполитой выступала в их сознании как своего рода «крестовый поход», целью которого было утверждение православия на украинских и белорусских землях. Однако значение событий 1653–1654 гг. для них далеко не исчерпывалось тем, что теперь православие на Украине оказывалось под надежной защитой русской власти.

Взгляд русских правящих кругов на значение происшедших событий получил развернутое выражение в речи, которую произнес в Переяславе царский посол Василий Вас. Бутурлин, вручая Богдану Хмельницкому знаки власти. В речи В. В. Бутурлина, как и в речи на Земском соборе, тема защиты православия заняла видное место. В этой борьбе за православие Хмельницкий должен был рассчитывать на помощь небесной молитвы печерских чудотворцев, некогда утвердивших в «Русской земле» православие.

Вместе с тем в тексте речи обнаруживаются и два других очень важных положения. Происшедшее есть результат действия божественного промысла, побудившего и царя, и Запорожское Войско «воздвигнути род христианский и свою землю <...> яко ж во времена благоверного царя Владимира и прочих его наследников бысть, тако и ныне <...> соединити»³. В этом кратком тексте можно обнаружить соединение двух важных мыслей. Во-первых, значение происшедшего состоит в том, что ранее разделенные политическими границами восточные славяне объединились под властью одного правителя, как это было во времена Владимира Киевского и его наследников, т. е. произошло их «воссоединение». Таким образом, представление о том, что решения, принятые в Москве и Переяславе, означали «воссоединение» восточных славян, было четко и определенно сформулировано в то самое время, когда эти события происходили.

Вторая мысль заключается в том, что, действуя таким образом, божественный промысел «воздвигнул» Русскую землю. Какое содержание вкладывалось в эту формулу, в речи не поясняется. Как увидим далее, другие высказывания современников позволяют раскрыть значение этого оборота.

Второе важное положение состоит в определении характера отношений между царем Алексеем Михайловичем и украинским обществом. Алексей Михайлович желает, «орла носяй печать, яко орел покрыти гнездо свое и на птенцы своя вождеде, град Киев с протчими грады, царского орла некогда гнездо суще <...> милостью своей

государской покрыти»⁴. Царь сравнивается здесь с орлом, который возвращается в Киев — свое старое гнездо, чтобы покрыть своими крыльями это гнездо и находящихся в нем своих птенцов. Тем самым «воссоединение» восточных славян в одном государстве означало их объединение под властью своих «природных» государей, которые некогда правили Русской землей из ее столицы — Киева. Сравнение царя с «орлом», а его новых подданных с «птенцами» подчеркивало кровную связь между ними и правителем, их принадлежность к одному народу. Эта цельная и последовательная точка зрения воспроизводила основные положения сложившейся много раньше программы «собрания» всех восточнославянских земель вокруг Москвы.

Как же оценивали значение происшедшего украинские участники Переяславской рады? В этом отношении представляют большой интерес высказывания Богдана Хмельницкого и писаря Ивана Выговского на встрече с послом, зафиксированные в статейном списке его посольства. Гетман и писарь выражали свое удовлетворение тем, что «яко же древле при великом князе Владимире, так же и ныне сродник их <...> Алексей Михайлович всеа Руси самодержец призрил на свою государеву отчину Киев и на всю Малую Русь милостью своею. Яко орел покрывает гнездо свое, так и он, государь, изволит нас принять под свою царского величества высокую руку»⁵. Хотя эти высказывания были сделаны еще до того, как царский посол выступил со своей речью, между ней и высказываниями высших руководителей Запорожского войска обнаруживается ряд знаменательных совпадений.

Решения, принятые в Москве и Переяславе, означают объединение всех восточных славян в едином государстве, как некогда во времена Владимира. Алексей Михайлович — «сродник» (в данном случае — потомок) государей, некогда правивших в этом государстве, и теперь под его власть возвращается его «вотчина» — «Малая Россия» и ее столица — Киев. И даже сравнение царя с орлом, который покрывает крыльями гнездо со своими птенцами, присутствует в высказываниях гетмана и писаря. Образ орла, садящегося в свое гнездо и прикрывающего крыльями своих птенцов, был использован и в грамоте Богдана Хмельницкого Алексею Михайловичу от 17 февраля 1654 г.⁶ Все это позволяет утверждать, что выработанный в Москве взгляд на значение происходивших событий был принят украинской стороной.

Особенно показательным следует считать официальное присоединение к такому взгляду на события тех представителей украинского духовенства, которые были противниками решений принятых в Переяславе. В их числе первым следует назвать киевского митрополита Сильвестра Косова. Опасаясь возможной ликвидации автономии Киевской митрополии, ее включения в состав Московского

патриархата, он вступил в тайные переговоры с польскими властями, заверяя их в своей верности⁷.

Официально, однако, митрополит участвовал в торжественной встрече царских послов, прибывших из Переяслава в Киев. В своей речи он приветствовал желание послов посетить «древних великих князей русских наследие», «седалище первейшее благочестия рускаго». «Целует вас, — говорил он, обращаясь к послам, — в лица моем он, благочестивни Владимир, великий князь русский». Таким образом, и в этой речи снова неслучайно появляется имя Владимира Киевского. Речь заканчивалась следующими, обращенными к послам, словами: «Да вашим пришествием обновитца, яко орлу, юность наследия благочестивых великих князей русских»⁸. Смысл этих важных слов раскрывается при обращении к рассказу об орле в «Физиологе» — средневековом сочинении о чудесных свойствах животных. Состарившийся орел поднимается к солнцу, которое опалает его крылья, но возвращает острое зрение его глазам, затем он три раза окунается в источник, из вод которого снова выходит молодым и сильным⁹. С приходом русских послов, т. е. с объединением «Великой» и «Малой» России в едином государстве, Русь должна была возродиться, стать такой же процветающей и сильной, какой была во времена Владимира. Тайные убеждения митрополита были иными, но он вынужден был говорить то, чего ожидало от него украинское общество, что сразу после Переяславской рады стало в этом обществе общепризнанным.

К числу сторонников Косова среди украинского духовенства принадлежал игумен Михайловского Златоверхого монастыря Феодосий Василевич, позднее наместник митрополита на землях Великого княжества Литовского. Он не ограничивался тайными сношениями, а в 1655 г. призывал жителей перешедшего на русскую сторону Могилева сдать город войскам гетмана Я. Радзивилла¹⁰. Однако именно в его грамоте царю, написанной в конце весны 1654 г.¹¹, мы находим развернутый комментарий и к словам В. В. Бутурлина, что Бог решил «воздвигнуть» Русскую землю и к словам митрополита об обновлении «наследия благочестивых князей русских». Бог, писал он, обращаясь к царю, «воздвигнул в нынешнее радостное лето от многих лет усопшаго великого равноапостолного князя российского святого Владимира». Такое чудо воскрешения произошло тогда, когда Бог «ваше царское величество постави всеа Российския земли, яко и оного прежде, самодержцу». Таким образом, и здесь повторяется та же, уже знакомая мысль. Объединение жителей России и Украины в одном государстве приведет их к новому расцвету, подобному, имевшему место в «золотой век» Владимира Киевского. Действуя так, Бог «возвел погребенную российского рода честь и славу». Эти слова содержали в себе краткую, но вполне определенную

оценку предшествующего периода в истории Украины как времени упадка «российского рода», который должен смениться теперь его расцветом. Слова эти убеждениям Феодосия Василевича не соответствовали, но он был вынужден следовать мнению, господствовавшему в современном ему украинском обществе.

Разумеется, сказанное не означает, что среди украинского духовенства преобладало враждебное отношение к решениям Переяславской рады. Хорошо известно, что среди белого духовенства, в особенности в городах Левобережной Украины, было много стойких сторонников прорусской ориентации.

Еще в 1653 г. переяславский протопоп, встречая русских послов, выражал пожелание, чтобы Алексей Михайлович был «не только самодержцем, но и всего света властелен, яко второй Август», «сего света солнцем земным»¹². Нежинский протопоп Максим Филимонович, в 1654 г. встречая возвращавшихся из Переяслава русских послов, сравнивал Алексея Михайловича с Моисеем, который «из работы египетские и от руки фараоновы сынове израилевы <...> свободил есть»¹³.

В речи, произнесенной Максимом Филимоновичем перед царем Алексеем Михайловичем 27 сентября 1654 г.¹⁴, дана наиболее развернутая оценка решений, принятых в Москве и Переяславе, устами представителя украинского общества. Правда, учитывая позднейшую роль протопопа как одного из главных представителей промосковской ориентации среди духовенства Левобережной Украины, можно было бы искать в этой речи отражение великорусских, московских взглядов, но, учитывая, что к этому времени можно говорить лишь о первом контакте протопопа с новой для него средой, есть все основания видеть в его речи отражение воззрений, сложившихся в украинском обществе XVII в.

В речи мы находим воспоминание о временах расцвета Древней Руси, когда расцвел «за княжения великих князей русских преславный град Киев <...> по прямому мати градом, мати церквам, Божие жилище, второй Иерусалим», когда в Чернигове были воздвигнуты «храмы святые каменные, предивным мастерством созданные». За этой эпохой расцвета и могущества Древней Руси наступила иная эпоха, когда «тело русского великого княжения» оказалось разделено на части, когда «сыны русские» оказались «расточены» «злохитрием ляцким». Эти слова протопопа находят прямую параллель в словах, сказанных Хмельницким весной 1649 г. русскому посланцу Г. Унковскому: «От Владимирова святого крещения одна наша благочестивая христианская вера с Московским государством и имели одну власть, а отлучили нас неправдами и насилием лукавые ляхи»¹⁵. Наступил новый период в жизни «сынов русских», оказавшихся под иноземной властью. «Преславное имя Русское в Малороссии» было

«унижено и гноищем насильствования лятцкого погребенное». Разоренные захватчиками храмы вызывают воспоминания о древних временах и скорбь о настоящем, они «на слезы и скорбь русским людям стоят».

Переяславская рада, подчинение Малой России верховной власти царя привело к коренным переменам такого положения. Сам Бог побудил царя к тому, «дабы расточеных сынов русских <...> воедино собрал, разделенных составов во едино тело русского великого княжения совокупил». Здесь с особой силой выражено представление о том, что после решений Переяславской рады произошло воссоединение под властью царя Алексея разных частей Древней Руси ранее отделенных друг от друга политическими границами. Однако дело не только в том, что ранее разделенные русские земли теперь соединились под властью одного правителя. Действуя так, царь «преславное имя русское в Малороссии <...> гноищем насильствования лятцкого погребенное воскресил и в первое достояние привел», т. е. освобождение от иноземной и иноверной власти открыло перспективы для возвращения для нее «первого достояния» — времен, когда Древняя Русь была сильной, самостоятельной и процветающей.

М. Филимонович повторяет оборот о царе, который «яко кокош <...> птенца своя под крыла <...> восприял», но в его речи подробно раскрывается содержание этой метафоры. Царь — прямой потомок своих «прародителей», «великих князей и самодержцев русских». Малая Россия — его «дедичное и отеческое жребие и наследие». Он должен взять жителей Малой России под свою защиту, «яко отец природный сынов русских», «сродное присвоение к нам имеющи».

Речь заканчивалась патетическим обращением к царю: «Малую Русь, истинную землю Русскую, восточное дедичество вашего царского величества, яко изгибшую драхму подобает вашему царскому величеству взыскати, яко заблудшее овца от зубов жестоких зверей вырвати, яко болезнующую уврачевати и полумертвую оживити».

В этом кратком, но содержательном тексте, по существу, содержится уже тот взгляд на исторические судьбы восточных славян и роль в них Переяславской рады, который в конце столетия получил более подробное обоснование в первом печатном пособии по русской истории — «Синописе»; подготовленном в стенах Киево-Печерского монастыря.

Конечно, это представление о возрождении благодаря решениям Земского собора и Переяславской рады прежнего единства восточных славян, как оно существовало при Владимире, не отвечало исторической действительности середины XVII в. В то время это былое единство можно было воскресить уже лишь в воображении. В результате длительного развития в разных исторических условиях на

Украине и в России сложились два разных общества с разным социальным опытом и формировавшимся этническим самосознанием, каждое из которых осознавало себя как особое целое — «Великую Россию» и «Малую Россию». Их сосуществование в рамках единого государства было отмечено не только плодотворным культурным взаимодействием, но и рядом серьезных политических конфликтов. Однако само появление в сознании современников такого представления о исторической роли Переяславской рады, как «воссоединении» ранее разделенных политическими границами восточных славян, показывает, насколько сильна была в середине XVII в. память об их общем историческом прошлом, как сильны были надежды на то, что это событие приведет к «возрождению» славных времен Киевской Руси, новому расцвету «Малой России» после освобождения от иноземной власти.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы. М., 1954. Т. 3. № 197. С. 410–414.
- 2 *Плохий С.* Священне право повстання і Берестейська унія і релігійна легітимация Хмельниччини // Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті. Львів, 1996.
- 3 Воссоединение... Т. 3. № 205. С. 467.
- 4 Там же. С. 468.
- 5 Там же. С. 460.
- 6 Там же. Т. 3. № 236. С. 549.
- 7 *Грушевський М. С.* Історія України — Руси. Київ, 1928. Т. 9/1. С. 855–856; Київ, 1931. Т. 9/2. Роки 1654–1657. С. 938–939.
- 8 Воссоединение... Т. 3. № 205. С. 478.
- 9 Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 5. С. 404.
- 10 *Заборовский Л. В.* Католики, православные, униаты: Проблемы религии в русско-польско-украинских отношениях конца 40-х — 50-х гг. XVII в. М., 1998. Ч. 1. С. 226–232.
- 11 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. Т. 10. Стб. 723–725.
- 12 Воссоединение... Т. 3. № 166. С. 289.
- 13 Там же. № 205. С. 485.
- 14 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1889. Т. 14. С. 175–177.
- 15 Воссоединение... М., 1954. Т. 2. № 60. С. 152.

Первые славяне на Средней Волге

Все арабские авторы VIII–IX вв. называли Волжскую Булгарию страной Сакалиба, а ее обитателей — сакалиба. Впервые это название употребил применительно к болгарам Ибн Фадлан, посетивший Волжскую Булгарию в 921–922 гг. в составе посольства аббасидского халифа ал-Муктадира (908–932) к правителю Волжской Булгарии Алмушу.

Арабское слово «сакалиба», заимствованное из греческого языка, большинством исследователей интерпретировалось как «славянин», однако существовало и иное толкование этого термина. Так, А. Зеки Валиди Тоган утверждал, что невольники сакалиба, которые ввозились в исламские страны, были представителями тюркских и угорских народов Поволжья¹. Польский ученый Т. Левицкий, посвятивший анализу сведений о сакалиба целый ряд работ, пришел к выводу, что термин «сакалиба» означает у арабских авторов VIII–X вв. исключительно славян. Только в более позднее время, по большей части у второразрядных арабских авторов понятие сакалиба распространяется на иные светловолосые народы Северной и Восточной Европы².

В 2002 г. в свет вышла книга Д. Е. Мишина, в которой, опираясь на результаты анализа огромного круга источников, автор утверждает, что название сакалиба применялось в основном к славянам³. По его мнению, отождествление Ибн Фадланом болгар и сакалиба является ошибкой последнего, которая объясняется титулатурой болгарского царя Алмуша, именовавшего себя правителем сакалиба в послании к халифу ал-Муктадиру, так как для правителя волжских болгар было вполне естественно показать себя могущественным правителем, которому повинуются многие народы и с которым выгодно поддерживать союзнические отношения⁴. Как выяснилось, с подобной точкой зрения едва ли можно согласиться, гораздо более верной оказалась догадка А. Я. Гаркави, который пытался найти в отождествлении Ибн Фадланом болгар и сакалиба рациональное зерно и полагал, что славянский элемент в Волжской Булгарии был весьма сильным и на определенном этапе господствовал⁵. При этом А. Я. Гаркави ссылаясь на сообщение Димашки о паломниках из Волжской Булгарии, побывавших в 433 г. (31 августа 1041 — 20 августа 1042) в Багдаде. На вопрос кто они, болгары ответили, что они народ — смесь тюрков и славян. Долгое время утверждение А. Я. Гаркави считалось ничем не обоснованной гипотезой. В настоящее время

благодаря многолетним исследованиям памятников I тыс. н. э. в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье появились убедительные доказательства пребывания славян в этом регионе в I тыс. н. э.

Вопреки сложившемуся у исследователей представлению о том, что все миграции в Восточной Европе имели направление с востока на запад, оказалось, что в лесной и лесостепной зонах передвижения племен чаще происходили в обратном направлении. Так, передвижение групп населения из Центральной Европы на восток началось еще в латенский период, в II—I вв. до н. э. А. М. Обломский и Р. В. Терпиловский на основании анализа материалов Посеймья II—I вв. до н. э. пришли к выводу, что в формировании сейминской группы древностей принимали участие несколько западных компонентов, а именно среднеднепровский, зарубинецкий, лукашевский, ясторфский и пшеворский⁶. Позднее, в середине I в. н. э. в связи с распадом зарубинецкой культуры на обширных пространствах от Прикарпатья до Волги происходит расселение поздnezарубинецкого населения. Археологически фиксируемый результат этих миграций — появление культурно-хронологических групп памятников, получивших в литературе название поздnezарубинецких. По мнению некоторых исследователей распад зарубинецкой культуры был вызван экологическими причинами, в частности, повышением среднегодовых температур, снижением влажности и общим высыханием почв⁷. В поисках более благоприятных условий для ведения традиционного земледельческого хозяйства население Поднепровья устремилось в разных направлениях, но главным образом на восток. Как отмечали А. М. Обломский и Р. В. Терпиловский, поздnezарубинецкие памятники зачастую синтезируют традиции не только зарубинецкой, но и ряда других культур: пшеворской, юхновской, штрихованной керамики и распространяются далеко на восток за пределы территории классической зарубинецкой культуры. Эти памятники не составляют единую археологическую культуру, а представляют собой серию локальных общностей, в какой-то степени связанных единством происхождения, поскольку зарубинецкий компонент присутствует во всех группах⁸. Вышеупомянутые авторы склонны видеть в поздnezарубинецких племенах упоминаемых Тацитом венедов, аргументируя это совпадением территории расселения поздnezарубинецких и пшеворских групп населения с территорией венедов по Тациту, а также совпадением подвижного состояния венедов во времена Тацита, т. е. во второй половине I в. н. э., с активными миграциями носителей поздnezарубинецкой культуры⁹.

Расселение поздnezарубинецких племен не ограничилось районом междуречья Днепра и Дона, как полагал А. М. Обломский, а распространилось на восток вплоть до Волги: поздnezарубинецкие

памятники со следами пшеворского влияния выявлены в Прихоперьи и Нижнем Поволжье, на территории Тамбовской и Саратовской областей¹⁰.

Самым восточным из известных в настоящее время памятников, оставленных западными переселенцами, являются селище Славкино I и однотипные с ним поселения в бассейне р. Кондурчи в Сергиевском районе Самарской области¹¹; керамический материал этих поселений находит соответствия в керамике пшеворской культуры. К кругу позднезарубинецких памятников относится ряд поселений, исследованных Д. А. Сташенковым на северо-западе Самарской области (селища Сиделькинское, Крепость Кондурча).

Все вышеназванные памятники разбросаны на огромной территории и представляют собой отдельные поселения или небольшие группы поселений, значительно удаленных друг от друга. Они более или менее синхронны в рамках интервала второй половины I–III в. н. э. Сочетание в них черт пшеворской и зарубинецкой культур дает основание предполагать их праславянскую принадлежность. Дальнейшие исторические судьбы обитателей вышеупомянутых поселений не вполне ясны, возможно, они были интегрированы переселенцами последующих миграционных волн.

На Самарской Луке исследована еще одна небольшая группа поселений, оставленных также населением западного происхождения. Это городища Лбище и Переволоки, а также несколько селищ, содержащих однотипные с ними материалы. Основная масса находок с городища Лбище датируется IV в. н. э. Керамический материал памятников лбищенского типа находит аналогии в пшеворской и классической зарубинецкой культурах, в то же время ряд черт сближает его с керамикой именьковской культуры, что дало основание рассматривать памятники лбищенского типа как ее ранний этап.

Классическая именьковская культура сложилась в результате переселения в Поволжье новой миграционной волны с запада в конце IV в. в период гуннского нашествия в Европу. Ее территория достаточно обширна: от среднего течения р. Суры на западе до р. Белой на востоке, от р. Камы на севере до устья р. Самары на юге. Исходными районами миграции именьковского населения, вероятно, был бассейн р. Вислы, а возможно, Волынь и Верхнее Поднестровье. Именьковская культура была связана своим происхождением с провинциально-римскими культурами: пшеворской и черняховской, в меньшей степени позднезарубинецкой. Культуры эти были полиэтничными, но во всех них присутствовал, а нередко доминировал славянский компонент. Так, в пшеворских могильниках В. В. Седовым были выявлены два компонента: славянский (погребения по обряду трупосожжения без урн) и германский (трупосожжения в урнах)¹². И. Н. Русанова выделила те же компоненты по

материалам поселений пшеворской культуры, связав со славянами квадратные полуземлянки, а с германцами длинные дома столбовой конструкции.

О славянской принадлежности племен именьковской культуры свидетельствует прежде всего их погребальный обряд. Он находит ближайшие аналогии в погребальной обрядности славянской части пшеворской культуры (безурновые трупосожжения). Совпадает топография могильников, форма, длина и размеры могильных ям, размещение кальцинированных костей в могилах, наличие в них, кроме целых сосудов, отдельных фрагментов других сосудов, видимо, разбиваемых во время тризны.

Общей чертой является бедность погребального инвентаря, при этом совпадают категории встречаемых в погребениях вещей: пряжки, булавки, пряслица, ножи. Правда, в пшеворских погребениях встречаются еще и фибулы, которые отсутствуют в именьковских могильниках.

Весьма показательно отсутствие в именьковских могильниках этноопределяющих женских украшений, которые обычно широко представлены в погребениях финно-угров и балтов, а также полное отсутствие в мужских погребениях предметов вооружения, столь характерных для германских, балтских и финно-угорских могильников.

Поселения именьковской культуры, как и синхронные им славянские, располагаются группами — «гнездами». Основным типом жилищ являются полуземлянки, правда, в отличие от славянских жилищ пражско-корчакской культуры, для них характерны не печи-каменки, а открытые очаги, но, возможно, это объясняется тем, что предки именьковцев ушли на восток до того, как у славян печи получили широкое распространение. Нельзя не отметить общие черты в керамическом материале племен именьковской и пражско-корчакской культур: сходство рецептуры формовочных масс, включающих глину, шамот и органику, преобладание горшковидных форм при наличии небольшого процента мискообразных сосудов, распространение глиняных дисков-лепешечниц, бытовавших у всех славянских племен середины и второй половины I тыс. н. э., а также полное отсутствие орнамента на сосудах, за исключением насечек на венчике.

Одинаков уклад хозяйства именьковских и всех славянских племен: основу их экономики составляли пашенное земледелие и скотоводство. Племенами именьковской и пражско-корчакской культур возделывались практически одни и те же зерновые культуры. Совпадают основные типы земледельческих орудий, восходящие к пшеворской культуре.

С приходом именьковских племен в Среднем Поволжье начинает распространяться пашенное земледелие, ранее в данном регионе не практиковавшееся, появилась новая порода крупного рогатого скота, высокого уровня развития достигли черная металлургия, металлообработка и другие ремесла.

Праславянская принадлежность именьковской культуры подтверждается данными лингвистики. В. В. Напольских выявил в пермских языках несколько праславянских лексических заимствований, связанных с пашенным земледелием, которые относятся к периоду до распада прапермской языковой общности. В связи с этим исследователь считает, что в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье в середине I тыс. н. э. обитало население, говорившее на праславянском языке. Этим населением могли быть только именьковские племена¹³.

На территории распространения именьковской культуры имеются гидронимы славянского происхождения. О том, что их появление относится к добулгарскому времени, свидетельствует упоминание некоторых из них Ибн Фадланом: Сок (Сух), Черемшан (Джарамсан), Утка (Ватыг), Бездна (Нийасна), Майна (Байнах).

Вопрос о дальнейших исторических судьбах племен именьковской культуры до сих пор остается дискуссионным. Если в 1950-х гг. исследователи считали, что именьковская культура доживает до времени становления болгарской государственности¹⁴, то в последние десятилетия распространилось мнение об уходе оседлых именьковских племен из Среднего Поволжья еще до прихода болгар в Поволжье в VII в.¹⁵ или даже во второй половине VI в.¹⁶ По мнению В. В. Седова, значительная часть именьковского населения покинула Среднее Поволжье на рубеже VII–VIII вв. под натиском болгар и переселилась на левобережье Среднего Поднепровья, где в это время возникла близкая к именьковской волынцевская культура, на основе которой сформировалась достоверно славянская роменская культура¹⁷.

Однако сходство именьковской и волынцевской культур исчерпывается наличием только одного общего для них типа горшков с цилиндрическим горлом, другие типы волынцевских сосудов не находят аналогов в именьковских керамических комплексах. Различается и погребальный обряд: у именьковских племен трупосожжения безурновые, а у волынцевских урновые.

Кроме того, трудно представить, что многочисленные оседлые, находящиеся на высокой ступени экономического и социального развития именьковские племена покинули обжитую ими территорию в конце VII в., сразу же после проникновения туда первых групп кочевников-праболгар, которые, судя по всему, вначале были. Гораздо более убедительна точка зрения В. В. Седова об участии местного

земледельческого населения именьковской культуры в этногенезе волжских болгар. Действительно, если допустить, что именьковское население покинуло регион в конце VII в., то как объяснить высокий уровень развития земледелия уже в X–XI вв. у кочевников-болгар? В. В. Седов справедливо отмечает, что состав злаков, культивируемых именьковцами, остается почти неизменным у болгар. Болгарские нарральники полностью идентичны именьковским. К именьковским восходят типы болгарских серпов, кос-горбуш и каменных жерновов¹⁸. Совершенно одинаковы способы хранения зерна у именьковских племен и у болгар.

Неслучайно арабский географ Ибн Русте в труде, написанном в X, но восходящем к IX в. (к Ибн Хордадбеку и ал-Джайхани), сообщает, что «болгары — народ земледельческий и возделывают всякого рода зерновой хлеб»¹⁹.

Есть основания полагать, что пришедшие в Среднее Поволжье в конце VII в. племена, которым принадлежат курганные и грунтовые могильники т. н. новинковского типа, уже в VIII в. начинают знакомится с земледелием и оседать на землю. В последние годы на Самарской Луке изучается Севрюкаевское II селище, керамический материал которого очень близок к керамике из могильников новинковского типа. Последняя, по мнению И. Н. Васильевой, проводившей технико-технологический анализ сосудов из Новинковского I могильника, очень близка к именьковской по морфологии сосудов и технологии их изготовления²⁰.

О взаимодействии пришельцев с местным именьковским населением свидетельствуют находки на Севрюкаевском II селище глиняных сковород с невысокими бортиками, нехарактерных для болгар, но имеющих аналогии на поселениях славянских культур VIII–IX вв.: волынцевской, роменской, Луки Райковецкой. О знакомстве обитателей Севрюкаевского II селища с пашенным земледелием свидетельствуют находки на нем жерновов. Плужный резак найден в одном из курганов Новинковского II курганного могильника.

Видимо, Севрюкаевское II селище — памятник, отражающий взаимодействие пришлого кочевого населения с местным земледельческим. Процесс интеграции пришельцев с местным населением протекал не только на Самарской Луке, но и в более северных районах Среднего Поволжья. Материалы, идентичные севрюкаевским, найдены на селище у с. Малое Пальцино Ульяновской области, исследованном Т. А. Хлебниковой в 1954 г. Нижний слой этого селища датируется VIII–IX вв.

Таким образом получившая в последние десятилетия распространение точка зрения об уходе именьковских племен и об отсутствии в Среднем Поволжье в VIII–IX вв. поселений опровергается новыми археологическими материалами.

Полное совпадение ареала именьковской культуры с территорией государства Волжская Булгария не случайно: именьковские племена вступили в контакт с пришлым болгарским населением и, с одной стороны, способствовали переходу его к оседлости и распространению у него земледелия, с другой стороны, достаточно быстро были ассимилированы им. Дальнейшей интеграции различных этнических групп населения способствовало принятие Волжской Булгарией мусульманской религии.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Zeki Valedi Togan A.* Ibn-Fadlans Reisebericht — Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Deutsche Morgenlandische. Yessellschaft. Leipzig, 1939.
- 2 *Lewicki T.* Zrodła arabsskie do dziejow slowian szezyny. Wrocław, Kraków, 1956. С. 473—492.
- 3 *Мишин Д. Е.* Сакалиба (славяне) в исламском мире и раннем средневековье. М., 2002.
- 4 Там же. С. 33.
- 5 *Гаркави А. Я.* Сказания мусульманских писателей о Славянах и Русах. СПб., 1870. С. 105.
- 6 *Обломский А. М., Терпиловский Р. В.* Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. М., 1991.
- 7 *Обломский А. М., Терпиловский Р. В., Петраускас О. В.* Распад зарубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологические причины. Киев, 1990.
- 8 *Обломский А. М., Терпиловский Р. В.* Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье... С. 3.
- 9 Там же. С. 105—109.
- 10 *Хреков А. А.* Грунтовой могильник с сожжениями на западе Саратовской области // Археология восточноевропейской степи. Саратов, 1991. С. 116—126; Раннесредневековое поселение Шапкино II в лесостепном Прихоперье // Средневековые памятники Поволжья. Самара, 1995. С. 3; Археологические исследования в районе с. Рассказань // Археологическое наследие Саратовского края: охрана и исследования в 1996 г. Саратов, 1997. Вып. 2. С. 47—55.
- 11 *Аганов С. А., Пестрикова В. И., Салугина Н. П.* Памятники славянского типа в Куйбышевской области // Древние и средневековые культуры Поволжья. Куйбышев, 1981. С. 108—120.
- 12 *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- 13 *Напольских В. В.* Протославяне в Нижнем Прикамье в середине I тыс. н. э. Данные пермских языков // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Т. 2. Филология. Этнология. Сыктывкар, 1996.

- ¹⁴ *Смирнов А. П.* Новые археологические данные о сложении культуры волжских болгар // КСИИМК. 1951. С. 17; *Калинин Н. Ф., Халиков А. Х.* Итоги археологических работ 1945–1952 гг. // Труды Казанского филиала АН СССР. Сер. гуманитарных наук. Казань, 1954. С. 61–63.
- ¹⁵ *Казаков Е. П.* Культура ранней Волжской Болгарии: Этапы этнокультурной истории. М., 1992. С. 231, 232.
- ¹⁶ *Богачев А. В.* О верхней хронологической границе именьковской культуры // Средневековые памятники Поволжья. Самара, 1995. С. 16–21.
- ¹⁷ *Седов В. В.* Славяне в древности. М., 1994.
- ¹⁸ *Седов В. В.* К этногенезу волжских болгар // Российская археология. 2001. № 2. С. 8–9.
- ¹⁹ *Хвольсон Д. А.* Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и русах Аду-Али-Ахмеда бен Омара Ибн-Дада. СПб., 1869. С. 23.
- ²⁰ *Васильева И. Н.* К вопросу о технологии керамики I Новинковского могильника // Средневековые памятники Поволжья. Самара, 1995. С. 82.

Народы России в освоении Поволжья и Южного Приуралья в конце XVI — начале XVIII в.

Огромное пространство Евразии, на котором в течение столетий складывалась российская государственность, требовало для своего освоения неимоверных усилий восточнославянских и других народов, составляющих этническую основу современного социума нашей страны.

Во второй половине XVI—XVII вв. сравнительно недавно возникшее Московское государство впервые в своей истории приступило к решению важнейшей задачи — завоеванию и освоению чрезвычайно значимого для дальнейшего развития страны пояса плодородных лесостепных пространств, с юга и юго-востока охватывающего старинные русские земли. Одновременно с этим была предпринята попытка преодоления исторически сложившейся замкнутости, обособленности; приобретения удобных выходов к морям, странам Центральной и Западной Европы, Востока.

Включение в состав государства и начальные попытки хозяйственного освоения юго-востока Европейской России, прежде всего территорий, примыкающих к важнейшему торговому и промысловому волжскому пути, от устья Камы и до Каспия, несомненно, является частью поставленной выше проблемы. Условно этот регион, включающий в себя юг Среднего Поволжья, Нижнее Поволжье и Южное Приуралье, можно обозначить для второй половины XV — XVII вв. как Понизовое Поволжье. Этот термин прошел апробацию в ряде работ автора и не вызвал существенных замечаний со стороны современных исследователей¹.

Волжский торговый путь вошел в состав России в середине XVI в. На протяжении последующих полутора столетий происходило юридическое оформление владельческих прав на акваторию Волги и использование ее природных ресурсов; закрепление военно-административными методами и начальное экономическое освоение прилегающих к ней пространств, вплоть до среднего и нижнего течения р. Яик (Урал). Этот процесс отнюдь не завершился к началу XVIII в., но при Петре I государство уже в основном контролировало все этнические и социальные группы, размещавшиеся на территории Понизового Поволжья.

Сложность в освоении данного региона заключалась в том, что и после присоединения Казани и Астрахани длительное время его

основные территории находились под властью достаточно мощных и самостоятельных государств кочевников, сначала Ногайской и сменившей ее Большой Ногайской Орды, а затем Калмыцкого ханства. Для московской государственности и общества попытка закрепиться здесь — путем строительства городов на волжском пути, основания промысловых или земледельческих поселений — должны были сопровождаться хорошо подготовленными военизированными акциями, так как на пространстве фронта, каковым являлся юго-восток Европейской России, любая хозяйственная деятельность была сопряжена с постоянной опасностью, необходимостью себя защитить. Как правило, действительно надежную защиту могло предоставить только государство. Поэтому роль правительственной военно-административной колонизации в рассматриваемом регионе была чрезвычайно велика. Ее место в освоении края было ничуть не ниже, но нередко и более значимо, чем других колонизационных потоков. Не зря современные исследователи приходят к выводу о том, что «в настоящее время противопоставлению правительственной и вольной колонизации все чаще приходит на смену мнение об их органической связи; в целом для практики освоения „украин“ в XVI—XVII вв. характерно тесное переплетение различных колонизационных форм, их постоянное взаимодействие»².

И еще один момент следует учитывать при изучении особенностей колонизации данного региона. Если на юге России, на так называемой «крымской стороне» «Дикого Поля», в процессе освоения происходило, прежде всего, широтное «сползание» военизированного и земледельческого населения под защитой систем укрепленных линий, то на юго-востоке геополитическое расположение Понизового Поволжья, необходимость одновременного закрепления всей волжской акватории за Российским государством потребовали своеобразного резкого меридионального смещения от Камы до Каспия. Соответственно с этим после создания системы военно-административных пунктов последовала не медленная земледельческая экспансия, постепенно сползающая к югу, а интенсивная промышленная, сразу же охватившая акватории Средней и Нижней Волги, Северного Прикаспия, низовья Яика и эксплуатирующая всю совокупность уникальных природных богатств Понизового Поволжья и прежде всего его рыбные и соляные ресурсы, транспортные возможности. Несомненно, что происходило и земледельческое освоение. Но оно, на протяжении первого столетия после присоединения до середины XVII в., имело своеобразный «гнездовой характер» (Самарская Лука, Чалнинский микрорайон и т. д.), а позднее, после сооружения Симбирско-Корсунской и Закамской линий, захватило всего лишь сравнительно небольшую северную часть изучаемого региона. Все остальное его пространство к началу XVIII в. оставалось

зоной промысловой деятельности и кочевий степных народов. Характерно, что, вытесняя последних, переселенцы, принадлежащие к различным социальным, этническим и конфессиональным группам, приходили практически на пустынные необжитые территории, не имевшие автохтонного населения. В процессе освоения формировалась совершенно новая среда расселения и хозяйствования, постепенно консолидировавшаяся в единую историко-культурную целостность.

Несомненно, что этническую основу этой целостности составляло великорусское население. В пограничье, примыкающем к местам расселения коренных народов Среднего Поволжья — Симбирском и Сызранском Правобережье, на Самарской Луке, в Закамье, — среди переселенцев был велик удельный вес мордвы, чуваш, отчасти татар³. Данное явление проявилось уже на стадии промыслового освоения этих территорий во второй половине XVI — начале XVII вв., когда по этническим признакам выделялись два основных колониционных потока. Северные территории региона — Правобережье почти до Саратова и Левобережье до широты Б. Черемшана и Сока — «наездом» эксплуатировали представители местного коренного населения Среднего Поволжья, занимавшиеся здесь бортничеством, охотой, рыболовством и т. д. Акватория Волги и прибрежная зона была сферой промысловой деятельности, прежде всего великорусского населения, начиная от крупных и средних предпринимателей и заканчивая рыбными ловцами, судовыми работниками и т. д. из тяглых сословий⁴.

Процессы формирования населения, состав и передвижение основных миграционных потоков на данных территориях хорошо изучены в работах Г. И. Перетятковича, Е. П. Бусыгина, Э. Л. Дубмана и других исследователей⁵. Чем далее к югу, тем представителей этих этнических групп было менее, а в районе Астрахани и в окрестностях городков-крепостей по северному побережью Каспия были заметны сравнительно немногочисленные этнические группы осевших на землю ногаев, астраханских татар, калмыков и т. д.⁶ И практически по всей территории огромного региона на протяжении второй половины XVI — XVII вв. в этой среде можно обнаружить вкрапления переселенцев из Украины и Белоруссии.

Характерно, что и в движении на юго-восток великорусского населения были свои особенности. Рассматривая миграционные процессы в эпоху средневековья, историки, как правило, пишут о так называемом постепенном, «ступенчатом» переселении, когда очередная волна, освоив определенную территорию, затем начала выделять колонистов для продвижения далее. Например, в Прикамье пришедшее сюда население только через несколько десятилетий начинает осваивать находящееся южнее Закамье и т. д.

Однако на всем пространстве Понизового Поволжья наряду с подобными процессами, которые преобладали во второй половине XVII в., на территориях, защищенных укрепленными линиями, имели место, а порой и главенствовали другие. Например, население Надеинского Усолья, крупного промышленного владения на западе Самарской Луки, складывалось из переселенцев, вышедших из самых различных регионов России — Устюга Великого, нижегородского Поволжья, Подмосковья, рязанских мест и т. д.⁷ Во владениях московских Вознесенского, Чудова, Новоспасского и других монастырей располагавшихся по правобережью Волги вплоть до Саратова, крупные группы крестьян (до нескольких сотен в отдельных случаях) оказались единовременно в конце XVII в. переселенными из центральных уездов страны — Владимирского, Углицкого, Верейского, Костромского и др.⁸ Можно сделать вывод, что в формировании нового русского населения Понизового Поволжья в той или иной степени участвовали жители едва ли не всех регионов страны.

В один и тот же период мощные миграционные процессы шли как в широтном, так и в меридиональном направлениях. Происходило своеобразное сочетание ступенчатого переселения и перемещения крупных групп населения на расстояния в несколько сотен, а то и тысяч верст. Одновременно осуществлялись ежегодные сезонные миграции десятков тысяч людей, шло формирование системы постоянных сельских поселений, городских центров и т. п.

В процессе освоения Понизового Поволжья на его начальных этапах в различных формах принимали участие практически все основные сословные группы российского общества; взаимно переплетались потоки правительственной, вольной, помещичьей, монастырской и т. д. колонизации. Обращаясь еще раз к этнической славянской составляющей этого грандиозного потока, следует отметить, что в меньшей или большей степени практически в составе всех сословных групп можно выявить представителей или даже отдельные группы украинских и белорусских переселенцев. Интересно посмотреть на это явление на некоторых примерах из ранней истории складывания вольного казачества. Уже в середине — второй половине XVI в., когда происходило становление казачьих сообществ на Дону, Волге, Тереке и Яике, при изучении такой уникальной группы источников, как посольские книги сношений с ногаями и крымскими татарами, выявляется весьма любопытная особенность. Первоначально, во второй четверти XVI в., когда в переписке Москвы с ногаями речь шла о казаках, то под ними подразумевали либо так называемых мещерских казаков (татар на русской службе), либо отряды казаков-кочевников. Например, в ответ на обвинения со стороны ногаев в том, что Москва потворствует

нападением казаков, «а он (русский князь. — Э. Д.) посылаючи своих мещерских казаков на всякое лето, тысячами у нас коней отганивали»⁹, приказные люди обычно отвечали: «И вам гораздо ведомо: лихих где нет? На Поле ходят казаки многие: казанцы, азовцы, крымцы и иные баловни казаки, а и наших украин казаки, с ними ж смешався, ходят, и те люди как вам тати и разбойники, и на лихо их никто не учит, а учинив которое лихо, розъезжаются по своим землям»¹⁰. Несколько позднее, во второй половине XVI в., славянскую составляющую как этническую основу вольного казачества уже не отрицает никто — ни русские, ни тем более кочевники. В многочисленных исследованиях по ранней истории казачества общепринятым считается положение, что выходцы из польской Украины — черкасы — сыграли весьма важную роль в формировании казачьих областей не только на Дону, но также на Тереке и даже Яике. Характерно, что в ранний период становления казачества практически не существовало разделения на отдельные казачьи области и, по мнению историков, вольница на всей территории фронта от Днепра до Яика складывалась как единое целое. Акватории этих рек и их притоков оказались соединенными в единую замкнутую систему сообщения волоками, переправами и т. д. Казачьи отряды могли попасть из Днепра через Черное море в Дон, а затем в Волгу, на Терек и даже Яик. В русском делопроизводстве этого времени постоянно встречаются сведения о составе казачьих ватаг, в том числе о постоянном наличии в них украинского компонента. Например, в 1590 г. в Змеевых горах, неподалеку от современного Саратова, к каравану государевых служилых людей «прибежал <...> от черкас и от воровских казаков атаман Микита Болдырь» и сообщил, что 150 казаков и «черкас» во главе с атаманом Борисом Татаринцом пошли на «алатырские и темниковские места», а некий Ондрюша во главе своих сподвижников собрался напасть на «мордовские и чувашские вотчины»¹¹. «Черкасский», т. е. украинский компонент, оказался настолько существенен, что отразился даже в названиях ряда казачьих городков на Дону. Характерно, что и после завершения Смуты, если на Дону «черкасы» еще как-то проявляли себя в качестве постоянного элемента местного общества, то на Волге отряды украинского казачества появлялись лишь изредка, спорадически. Среди яицких казаков их практически незаметно, что подтверждает уникальный материал списков местного казачества, составленных в 1632 г. сыном боярским Богданом Змеевым. По его сведениям: «Да я же был послан на Яик атаманов и есаулов и козак уговаривать и, уговоря, ко кресту их приводить; и я всех козак уговорил и ко кресту привел: крест целовали <...> государю, царю и великому князю <...> по полной записи; а опричь меня на Яик козак ко кресту никто не приваживал»¹². Змеев, задача которого

состояла в том, чтобы уговорить яицких казаков бросить «воровство» и принять участие в Смоленской войне, смог выявить на Яике до 3000 человек¹³. Большинство из них было выходцами из приволжских и среднерусских областей, лишь очень немногие пришли с Терека и ни одного не было из Украины¹⁴.

То же самое для раннего периода освоения региона во второй половине XVI в. можно сказать и про служилых людей. Среди направленных в «плавные рати» для возведения первых русских городов в Понизовом Поволжье и формирования их гарнизонов (Астрахань, Самара, Саратов, Царицын и др.) помимо преобладающей великорусской составляющей вполне очевидно присутствие так называемых «служилых иноземцев», «литовских иноземцев» и т. д. Например, в гарнизоне построенной в 1586 г. Самарской крепости были литовские «иноземцы», головой у которых являлся некий Семейка Кольцов¹⁵. Под литовскими «иноземцами» в данном случае подразумевались в основном белорусы, перешедшие на русскую службу в ходе Ливонской войны. Такие «иноземцы» постоянно упоминались в материалах по истории региона в конце XVI и на протяжении всего XVII вв.

Масштабы присылок и постоянного присутствия «литвы» и черкас» среди воинских людей в Понизовом Поволжье хорошо иллюстрирует следующий факт. В 1590 г. по просьбе кахетинского царя Александра II на борьбу с властителем Дагестана Шамхалом Тарковским московским правительством были направлены весьма значительные вооруженные силы во главе с терскими воеводами князьями Г. О. Засекиным и П. М. Шаховским. В архивах Посольского приказа среди дел, посвященных русско-грузинским и русско-кабардинским отношениям, сохранились документы, позволяющие судить о подготовке этой военно-политической акции. Кроме гарнизона Терского городка, казанских «присыльщиков» и казаков в армию Г. О. Засекина вошли воинские люди, посланные из Москвы. «Да с Москвы ж отпущены на государеву службу на Терку литвы и немец и черкас ротмистр Захарья Процветцкой с товарищи и с их людьми 100 человек». Характерно, что воеводы и русские должны были убедить грузин, что вместе с Засекиным на Шевкала пойдет «государевых людей с пищалями до 5000, а черкас до 10 000». Для придания большей достоверности и основательности в подготовке этого военного предприятия были применены специальные передвижения войск, «а черкасам велено сбиратца на Сунше; то бы видели послы иверские, как черкасы збиратца почнут на Шевкала»¹⁶.

И в XVII в. в гарнизонах понизовых городов также нередко встречались иноземцы. Во второй половине XVII в. в крае появилась значительная группа помещиков из «полоцкой шляхты», которых

в количестве 532 человек было велено в 1668 г. расселить по Закамской черте¹⁷. Для них по рекам Утке и Майне было отмежевано 24 575 четвертей земли («а в дву потому ж») ¹⁸.

В заключение отметим, что данная работа имеет вводный постановочный характер. Несомненно, что отмечаемые в ней явления оказали существенное влияние на процессы освоения Понизового Поволжья и требуют в дальнейшем более детального изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Дубман Э. Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизового Поволжья в конце XVI — XVII вв. Самара, 1999; Дубман Э. Л., Кабытов П. С., Тагирова Н. Ф. Очерки истории юго-востока Европейской России. Самара, 2004. С. 11–20 и др.
- 2 История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. В 5 т. Т. 2. Крестьянство в периоды раннего и развитого феодализма. М., 1990. С. 405.
- 3 См: *Герасимов А. А.* Роль Саратова и Самары XVII в. в жизни мордвы // Изв. Н.-Волжск. ин-та краеведения. 1929. Т. 3; *Димитриев В. Д.* Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986; *Исхаков Д. М.* Динамика численности и особенности размещения татар в Волго-Уральском регионе в XVI — начале XX вв. // Материалы по истории татарского народа. Казань, 1995; *Биленко М. В.* Дворцовая мордва Алатырского уезда в XVII в. (по писцовым и переписным книгам). Дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 1980.
- 4 Дубман Э. Л. Промысловое предпринимательство и освоение Понизового Поволжья...
- 5 *Перетяткович Г. И.* Поволжье в XVII и начале XVIII веков (очерки из истории колонизации края). Одесса, 1882; *Бусыгин Е. П.* Русское население Среднего Поволжья. Казань, 1966; Дубман Э. Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в XVII в.: По материалам церковно-монастырских владений. Куйбышев, 1991.
- 6 *Арсланов Л. Ш., Викторин В. М.* Астраханские татары // Материалы из истории татарского народа. Казань, 1995. С. 240–254.
- 7 *Бахрушин С. В.* Промышленные предприятия русских торговых людей в XVII в. // Научные труды. М., 1954. Т. 2. С. 228–247.
- 8 См. неопубликованные работы В. Н. Нечаева и материалы к ним, хранящиеся в Архиве Музея Новодевичьего монастыря (Д. 145, 146); Дубман Э. Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья... С. 22–32.
- 9 Посольская книга по связям России с Ногайской Ордой 1533–1538 гг. // Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489–1549 гг. Махачкала, 1995. С. 92.
- 10 Там же. С. 230–231.
- 11 Акты Исторические. СПб., 1841. Т. 1. С. 436–447.

- ¹² АМГ. Т. 2. № 429. С. 266.
- ¹³ Карпов А. Б. Уральцы: Исторический очерк. Уральск, 1911. Ч. 1. Прилож. 1. С. 55–57.
- ¹⁴ Дариенко В. Классовая борьба на Яике в XVII — начале XVIII вв. М., 1966. С. 14.
- ¹⁵ РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. (1586 г.) Д. 13. Л. 38.
- ¹⁶ Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом: Материалы, извлеченные из Московского главного Архива Министерства иностранных дел. (1578–1613 гг.) М., 1889. Вып. 1. С. 242, 255 и др.; Кабардино-русские отношения в XVI–XVII вв. М., 1957. С. 238 и др.; АИ. М., 1841. Т. 1. С. 436–447.
- ¹⁷ Перетяткович Г. И. Поволжье в XVII и начале XVIII вв... С. 258.
- ¹⁸ Там же. С. 259–264.

**Превращение Заволжья во внутреннюю губернию
Российской империи
и изменения в этническом составе населения
(XVIII — первая половина XIX в.)**

Лесостепное и степное Заволжье занимает обширную территорию, которая в середине XIX в. оформилась как цельное образование и составила Самарскую губернию, хотя полного совпадения географических и административных границ, конечно, не было. Впрочем, Заволжье и выделяется не столько в географическом, сколько в историческом отношении. Волга для данного региона — не просто наиболее однозначно определенная граница, а естественный рубеж, долгое время защищавший от кочевых набегов. Оседлые жители пришли в этот край, исключая редкие поселения по самому берегу великой реки, не только позже, чем на волжское правобережье, но даже позднее, чем на территории, окружающие Заволжье с севера и востока: Закамье, Башкирию и Приуралье. С юга Заволжье очерчено природно-климатической зоной, за пределами которой не велось традиционное для России хлебопашество и начинались промысловая Нижняя Волга и сухая прикаспийская степь, переходящая в полупустыню. Историографический и источниковедческий обзоры заселения и освоения Заволжья отражены в публикациях¹. Это позволяет на них здесь не останавливаться, а перейти к изложению основных наблюдений по заявленной теме.

Проблема освоения заволжских земель приобрела важное значение в политике Российской империи, начиная с 1730-х гг. Взгляды на значение и перспективы развития лесостепного и степного Заволжья менялись во времени и были далеко не однозначны у различных государственных деятелей. В стратегическом замысле И. К. Кирилова 1734 г., воплощенном в организации Оренбургской экспедиции и нацеленном на продвижение в Казахстан, Среднюю Азию и Индию, Заволжью уделялось недостаточно внимания. Недооценка заволжского направления привела к ряду серьезных неудач и потерь, а потому была признана впоследствии ошибкой, которую частично исправило устройство Самарской пограничной линии и Московской дороги вдоль нее в 1736 г.

В. Н. Татишев, начальник Оренбургской экспедиции (комиссии) в 1737–1739 гг., отодвигал на будущее основные внешнеполитические цели плана Кирилова и довольно обстоятельно старался закрепиться и обосноваться в Самарском Заволжье. Так же в основном

действовал и сменивший его В. А. Урусов (1739–1741). Оживление работы комиссии происходит при И. И. Неплюеве, что сопровождается решительным и даже несколько демонстративным переездом из Самары в Оренбург в 1743 г. Вместе с тем Неплюев удачно сочетал сильные стороны как кириловского стратегического плана, так и взвешенной тактики администрации Татищева и Урусова. До своей отставки в 1758 г. он, а затем другие руководители Оренбургской губернии, образованной в 1744 г., не упускали из внимания обширные заволжские территории, находившиеся в ее составе: Ставропольскую провинцию, Самарскую дистанцию крепостей, Бугульминское ведомство. В военном отношении оренбургским властям подчинялись даже состоявшие в Казанской губернии город Самара и пригород Алексеевск. Однако военные пограничные дела во всех административных единицах Заволжья все больше уступали со временем свое первоначальное ведущее значение вопросам заселения и хозяйственного освоения.

Для зачинателей и активных проводников юго-восточной политики государства того времени слава России понималась прежде всего как приращение ее материальных богатств, безопасность мирных трудов жителей, культурный подъем. Воинская служба оказалась для них вынужденным, хотя и необходимым делом. Здесь требовались иные способности и качества, среди которых немаловажными были гибкость и самостоятельность в принятии решений. Особенно это проявилось в упорстве, с которым, вопреки давлению сверху, задачи освоения новых территорий ставились всеми этими деятелями выше строгого соблюдения крепостнических порядков.

Отрицание незыблемости крепостнических устоев имело у первых наместников юго-востока России, конечно, не мировоззренческий, а прагматический характер. Однако и такого рода критический взгляд на политико-правовую основу тогдашних общественных отношений имел, несомненно, положительное значение. В первоначальном заселении Заволжья преобладающую роль играли «самовольные сходцы», в большинстве своем просто беглые люди. Традиционное для отечественной историографии деление переселенческого движения на потоки крестьянский (вольный, народный), государственный и помещичий выглядит весьма условным в этом крае, где вольные переселенцы и беглые составляли основное население казенных и дворцовых селений, военных крепостей и помещичьих имений. Продолжая такую политику, в начале 1760-х гг. власти отказываются от преследования беглецов и раскольников в Степном Заволжье, допускают их частичную легализацию в селениях по реке Иргизу.

Число оседлых жителей в 1770-е гг. достигло на заволжских территориях почти 120 тыс. сельских и городских жителей. Успехи

в ходе присоединения и начального освоения Заволжья обуславливались совместными усилиями властей и народных масс, близостью интересов различных сословных и этнических групп в переселенческом процессе, в котором с самого начала приняли участие вместе с русскими мордва, чуваша, татары, украинцы. Немногим позднее в этот поток влились иностранные, в основном немецкие колонисты. При этом ни в одном из крупных районов Заволжья, выделяемых по административному или географическому признакам, у русских не было очевидного большинства.

Численность всех жителей обоего пола в самой Самаре и ее ближайшей округе в 1760-х гг. составляла до 5 тыс. чел. В поселениях городского типа (Самара и Алексеевск) русские составляли подавляющее большинство, в сельской же местности над ними заметно преобладали в сумме выходцы из народов Поволжья, представленные казаками-татарами Мочинской слободы, мордвой и чувашами в дер. Семейкиной и поселениях по р. Моче (Титовка, Гусарский Городок, Горки и др.). В названии Гусарского Городка сохранилось воспоминание о неудачной попытке водворения здесь в 1756–1759 гг. эмигрантов из Черногории и других балканских земель, служивших в русской армии гусарами.

В 70-х гг. XVIII в. соотношение крестьян разных национальностей в южных окрестностях Самары стало меняться. Это произошло в связи с массовым переселением в Степное Заволжье из Усольской вотчины графов Орловых на Самарской Луке, а также из владений Самариных и других помещиков около 4 тыс. чел., в основном русских, хотя среди них была небольшая группа чувашей.

Еще южнее на луговой стороне Волги от Еруслана до Иргиза постоянное население выросло за третью четверть XVIII в. практически с нуля до 28 тыс. с лишним жителей. Из них свыше половины составляли немецкие и прочие иностранные колонисты, более четверти — солевозчики (в основном выходцы из Слободской Украины) и около одной пятой части — русские дворцовые и экономические крестьяне вместе со старообрядческими иноками.

В Ставропольском уезде вместе с крепостями Самарской укрепленной линии численность жителей достигла 50 тыс. Здесь были поселены крещеные калмыки, количество которых составляло в 1770 г. около 8,5 тыс. чел. Они представляли две этнические группы калмыков, волжских и зюнгорских (джунгар), первых было примерно в 1,5 раза больше, чем джунгар. Среди крестьянского населения уезда народы Поволжья (мордва, чуваша и татары) в сумме в два раза превышали число русских, кроме того, среди крестьян здесь было небольшое число поляков и латышей. Уроженцы Польши имелись и среди жителей города Ставрополя, где безусловно преобладали русские, но наряду с ними проживали новокрещенные из

татар, чувашей, мордвы, цыган, персов. Небольшие группы персов имелись в ряде сельских поселков уезда. Украинцы-«черкасы» основали здесь две слободы — Кинель-Черкасскую и Домашку. Большинство казаков и отставных нижних чинов Ставрополя, новой Закамской и Самарской линий являлись русскими, но часть их была из «черкас», татар и калмыков.

Общая численность населения Бугульминского ведомства приближалась к 30 тыс. чел. Среди них русские государственные и помещичьи крестьяне составляли 23 %, а представители народов Поволжья и Приуралья (мордва, чуваша, татары, а также этнические группы тептярей и бобылей) — 77 %.

За пределами занятых оседлыми жителями земель в Заволжье продолжали кочевать башкиры и некрещеные калмыки. Конечно, районы их скотоводства, охотничьи и других угодья резко сократились по сравнению с началом XVIII в. В 1771 г. большинство волжских калмыков покинуло пределы России. Их исход, с одной стороны, облегчал продвижение земледельцев в степь. С другой стороны, часть их заволжских кочевий заняли башкиры и казахи.

Украина Российской империи, какой оставалось Заволжье, обладала меньшей устойчивостью перед силами, способными нарушить политический и общественный баланс. С одной стороны, произвол администрации и привилегированных землевладельцев здесь находился под более слабым контролем со стороны верховной власти и провоцировал усиление недовольства народа. С другой стороны, пришедшее в основном по своей воле и в поисках лучшей доли население болезненней, чем жители центральных губерний, реагировало не только на крайности абсолютизма и крепостничества, но и на сами принципы существовавшего государственного и общественного устройства.

Во второй половине 1760-х — начале 1770-х г. власти усугубили социальные конфликты на юго-восточной окраине своей политикой. Столичный «просвещенный абсолютизм» екатерининского царствования в приложении к реальному управлению Заволжьем выразился лишь в весьма кратковременном губернаторстве Д. В. Волкова (1763—1764), после которого к руководству краем были поставлены сначала А. А. Путятин, а затем И. А. Рейнсдорп, проводившие откровенно продворянскую и крепостническую политику, шедшую вразрез с прагматическими административными традициями руководителей Оренбургской экспедиции (комиссии) и первого здешнего губернатора И. И. Неплюева. Недовольство жесткой линией, перенесенной новыми высшими администраторами пограничного края из практики управления центральными губерниями страны, в том числе и проявлениями этой линии в переселенческом вопросе, послужило одной из важнейших причин массового перехода крестьянского,

военно-служилого и городского населения Заволжья, состоявшего в основном из новопришлых людей, на сторону пугачевского восстания.

Правительству Екатерины II пришлось отвечать на вызов мятежников введением военного положения, которое не только способствовало силовому подавлению восстания, но и стало вынужденной мерой по компенсации серьезных недостатков местного управления, а также средством для подготовки масштабной административной реформы. Реформа местного управления, начатая в 1775 г., оказалась наделенной большой исторической прочностью, определив в основном административное устройство Российской империи до преобразований 60–70 гг. XIX в., а в определенной мере и до 1917 г. Установленные по ней в Заволжье губернские границы существовали до 1851 г., а территории уездов, претерпев в течение конца XVIII — первой половины XIX вв. незначительные изменения, сохранялись постоянными весь дореволюционный период.

Однако на рубеже XVIII–XIX в. административное устройство заволжских земель лишь внешне походило на систему управления, сложившуюся в центральных губерниях. До 1830-х гг. на территории Заволжья продолжали существовать пограничные укрепленные линии, поскольку сохранялась угроза набегов кочевников. Значительная часть земель и населения (казаки и калмыки, башкиры и тептяри) оставалась вне ведения гражданских губернских и уездных властей и состояла в непосредственном подчинении военному начальству.

С процессами продолжавшейся крестьянской и помещичьей колонизации, усиливавшегося заселения и освоения многих районов Заволжья переплелось проведение здесь, начиная с 1798 г., Генерального межевания. Определение размеров и границ затронуло в крае не только уже сложившиеся, но и вновь возникавшие «имения и дачи», стимулируя увеличение числа землевладений самой разной принадлежности, их расширение и заселение.

Законодательно при Генеральном межевании в наиболее льготные условия ставились помещики. Многие из них успешно реализовали в своих интересах эти преимущества, населив своими крепостными многочисленными и многолюдными заволжскими селениями. Однако в конкретных условиях Заволжья межевание объективно способствовало улучшению обеспеченности угодьями и основной массы переселенцев, которую составляли в крае государственные крестьяне.

В начале XIX в. в Заволжье насчитывалось приблизительно 390 тыс. жителей обоего пола. Если пренебречь некоторыми подвижками административных границ, тем более что прибавление и убыль населения из-за них практически взаимно гасят друг друга,

то население рассматриваемого региона за 1780–1810-е гг. выросло в 3,25 раза.

Как и прежде, вольные переселенцы составляли основную часть миграционных потоков. Особенностью решающего этапа освоения края, который пришелся на вторую четверть XIX в., стала тесная взаимосвязь крестьянского стремления на новые земли и правительственной политики.

Наиболее возрос поток переселенцев, прежде всего из числа русских государственных крестьян, в 1825–1834 гг., когда заселение края приняло небывалый за всю свою историю размах. Мощное народное движение на земли Заволжья было поддержано и стимулировано мероприятиями властей, особую роль в проведении которых сыграл министр финансов Е. Ф. Канкрин. С 1837 г. руководство переселенческими делами перешло в ведение Министерства государственных имуществ, возглавленного П. Д. Киселевым, с именем и деятельностью которого связана другая сильная волна массовых переселений в 1838–1843 гг.

Для обеспечения переселенцев землями и с учетом изменившейся к лучшему ситуации на степных границах правительство ликвидировало в Заволжье в начале 1840-х гг. некоторые категории военно-служилого населения и их льготное землевладение. Выселению из рассматриваемого региона было подвергнуты русские казаки и крещеные калмыки. Переход земель башкир в распоряжение помещиков и крестьян происходил не столь полно и резко, он осуществлялся на иных основаниях, путем припуска, долгосрочной аренды, продаж. Сокращались, но не ликвидировались земельные владения южных башкир в Степном Заволжье, где они сами являлись переселенцами, как и крестьяне разных национальностей.

Ликвидация или сокращение удельного веса в крае военно-служилых сословий облегчило окончательный переход административного устройства Заволжья на общероссийские принципы. Исчезла необходимость держать под контролем военных властей территории, лишившиеся пограничного значения и служилых людей. Еще более значимым для проведения административных преобразований был быстрый рост населения и экономического значения Заволжья, что делало трудности управления чрезмерно обширными губерниями Оренбургской, Саратовской, Симбирской все более ощутимыми. Мысль о создании отдельной губернии на левобережье Волги обуславливалась в значительной мере проблемами управления освоением заволжских территорий.

Объединение Заволжья в 1851 г. в границах нового административно-территориального образования, Самарской губернии, официально определенного в качестве «внутренней губернии Империи», означало прежде всего признание того факта, что за 120 лет

оживания данный регион превратился из практически незаселенного охотничье-промыслового и скотоводческого «дикого поля» в одну из многолюдных и главных житниц России.

В середине XIX в. население Заволжья превысило 1,5 млн чел. Это означало, что за примерно за четыре десятилетия оно выросло в 3,9 раза. Национальный состав жителей края, каким он представлялся губернским статистикам того времени², представлен ниже:

Национальность	Количество, чел.	% от всего населения Самарской губ.
Русские	1 052 013	68,75
Малороссы	45 000	2,94
Поляки	1 385	0,09
Вотяки	1 062	0,07
Мордва	127 398	8,33
Чуваши	60 318	3,94
Татары	95 454	6,24
Тептяри	36 520	2,39
Башкиры	20 934	1,37
Немцы	89 134	5,83
Казахи	750	0,05
Евреи	125	0,01
Всего	1 530 093	100

Следует оговориться, что в статистических данных не совсем точно определялась этническая принадлежность из-за нечеткости граней между представителями близких по языку или культуре этнических групп. Это приводило к разночтениям в одновременных источниках. В опубликованной тогда же справочной литературе приводились и иные сведения о соотношении удельного веса русского и украинского населения в губернии (соответственно 67,50 и 4,05 %), хотя в сумме эти два народа по тем и другим подсчетам составляли около 71,5 % жителей. Уточнялось там же, что «поляки» являются, по сути, белорусами, давалась более высокая доля мордвы (9,26 %), видимо, за счет ее части, практически слившейся с русскими и другими народами. Тептяри в некоторых подсчетах не выделялись в отдельную этническую группу, считаясь башкирами или татарами, и вообще предлагалась иная группировка тюркского населения губернии за счет смешанных и переходных групп (3,56 % — чувашаи, 5,23 % — татары, 4,00 % — башкиры)³.

Несомненным остается при разных подсчетах общий вывод, что при сохранении многонационального характера и культурного

разнообразия жителей в результате переселений в первой половине XIX в. определилось значительное преобладание в заволжском крае русского населения. Не только в новой губернии в целом, но и во всех ее уездах русские составили этническое большинство. На них приходилось свыше половины жителей в уездах Бузулукском (89 %), Николаевском (77 %), Самарском (75 %), Ставропольском (74 %), Бугурусланском (60,5 %). Лишь на северо-восточной и южной окраине губернии русские не достигали половины населения уездов Бугульминского (39 %) и Новоузенского (38 %), хотя и там они являлись самым многочисленным народом.

В трех уездах вторым по численности народом после русских была мордва: Бугурусланском (18 %), Самарском (14 %), Бузулукском (4 %). В двух уездах вторыми по числу жителей шли немцы, а именно в Новоузенском (33,5 %) и Николаевском (12 %). Еще в двух уездах вторыми по количеству были башкиры (в Бугульминском уезде — 29 %) и татары (в Ставропольском — 12,5 %).

Кроме вышеперечисленных, лишь в редких случаях доля представителей других народов составляла в уездах более $\frac{1}{15}$ части всех жителей. В этой связи следует назвать в Бугульминском уезде татар (15 %), мордву (7,5 %), чувашей (7 %), а также украинцев Новоузенского (20,5 %), мордву Ставропольского (11 %) и Николаевского (8 %), чувашей Бугурусланского (9 %) уездов.

Нетрудно заметить, что практически все районы компактного проживания нерусского населения в Заволжье сложились в предшествующие этапы его освоения, то есть до начала XIX в. Они сохранялись в новых условиях преимущественно русской колонизации в основном благодаря естественному приросту этого населения и притоку соплеменников в уже существующие села и деревни. Однако если в этих районах в XVIII в., особенно в сельской местности, русские уступали по численности народам Поволжья, то к середине XIX в. это соотношение заметно изменилось. Новые села и деревни, возникавшие в ходе массовых переселений предреформенных десятилетий, по составу населения все были почти исключительно русскими.

В целом же правительственная политика в Заволжье, постепенно утрачивая военные и внешнеполитические стороны и становясь исключительно внутренним делом, достигла своих основных целей. Регион превратился в неотъемлемую часть России, сохранив определенные хозяйственные, этнические и культурные особенности. Массовой базой и основным механизмом такого превращения стало широкое переселенческое движение оседлых жителей разных национальностей на новые земли. При всех имевшихся противоречиях государственной власти, господствующих общественных слоев, народных масс, личных интересов между ними было достигнуто

взаимодействие и равновесие, позволившее решить задачу, исторически значимую для судеб всей России.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ См.: *Смирнов Ю. Н.* Народ и власть в освоении Российского Заволжья (XVIII — середина XIX вв.). Автореф. дис... док. ист. наук. М., 1999; Материалы по истории заселения и освоения Самарского Заволжья в архивах России // Архивный фонд Самарской области как информационный ресурс общественно-экономического развития региона. Самара, 2003; Вопросы освоения Заволжья во второй трети XVIII — середине XIX веков в историографии // История и историки в меняющемся мире. Самара, 2003.
- ² *Лясковский Б. Э.* Материалы для статистического описания Самарской губернии // ЖМВД. 1860. Ч. 43. Кн. 8. Отд. 3. С. 60–63, 71, 75, 81, 89.
- ³ Список населенных мест по сведениям 1859 г. Т. 36. Самарская губерния. СПб., 1864. С. XXXVIII.

Федор Иванович Янкович де Мириево (Мириевский)

В истории русско-сербских связей XVIII в. яркой личностью был Теодор Янкович, серб по происхождению, переехавший из Австрийской монархии в Россию и получивший здесь имя Федор Иванович Янкович де Мириево (Мириевский). Он сыграл важную роль в реформировании школьной системы в России в правление Екатерины II.

Ф. И. Янкович Мириевский сложился как организатор школьного дела, педагог-методист на своей исходной родине, среди сербов в Австрийской монархии.

В XVIII в. сербский народ проживал на территории, входившей разными частями в состав Австрийской монархии, Османской империи и Венецианской республики. Сербь находились в угнетенном положении, но условия жизни были более благоприятные в Австрийской монархии. Они пользовались здесь церковно-школьной автономией, хотя Габсбурги на протяжении столетия неуклонно ее урезали. Сербь населяли территорию с гражданским управлением Венгерского королевства, пользовавшегося средневековой конституцией в составе габсбургского государства, в Банате, находившимся в ведении центрального правительства, и на Военной Границе — области военных поселений, непосредственно подчинявшейся Вене.

До 70-х гг. XVIII в. сербские школы в Австрийской монархии находились в исключительном ведении местной православной церкви, а именно митрополии с центром в г. Сремски-Карловци. Об основании школ, их содержании, учебном процессе заботились сельские и городские православные общины. Но решающую роль играли епископы и сам карловацкий митрополит. При этом существовали различия в состоянии школьного дела у сербов на территории с гражданским управлением и на милитаризованной Военной Границе.

Основание школьному делу у сербов, проживавших в Австрийской монархии, было положено при помощи России. В 1718 и 1720 гг. белградский митрополит Мойсие Петрович (часть Сербии с Белградом входила тогда в состав государства Габсбургов) тайно обратился к Петру I с прошением о субсидии на строительство школ для сербов, присылке учителей и учебников.

По решению Синода его переводчик Максим Суворов выехал в Австрийскую монархию и основал в 1726 г. в Сремски-Карловцах своего рода низшую среднюю школу. Он ввел в ней плановый учебный процесс, русскую методику и русские учебники, привезенные

им, — букварь «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича и грамматику церковнославянского языка М. Смотрицкого. В 30-х гг., по возвращении Суворова на родину, у сербов работала плеяда учителей из России, воспитанников Киево-Могилянской академии. Среди них был знаменитый Эммануил Козачинский, оставивший заметный след в истории не только школьного дела у сербов, но и сербской литературы¹.

В середине XVIII в. у сербов в Австрийской монархии было несколько типов школ, но их деятельность была периодической. В основных, или «тривиальных», школах в качестве учебников употреблялись церковные книги, преподавали, как правило, священники и монахи, но были и случайные учителя, которые получали оплату за свой труд обычно в натуральной форме. Школы содержались церковными общинами.

С 1749 г. в Сремски-Карловцах действовала средняя школа, получившая название Покрово-Богородицкой — по церковному празднику, когда она была основана митрополитом Павле Ненадовичем. Наряду с общеобразовательной программой она решала также задачи подготовки молодых священников по образцу духовных школ и учителей для начальных школ. Покрово-Богородицкая школа располагалась в отдельном здании, для ее поддержки в 1750 г. был основан специальный Школьный фонд. Учительский персонал составляли духовные и светские лица из ближайшего окружения митрополита, среди них был Йован Раич, ставший одним из крупнейших деятелей сербской культуры XVIII в. Учебниками служили большей частью пособия, употреблявшиеся в евангелических и протестантских школах в Венгрии. Из русских учебников оставалась в употреблении «Грамматика» Смотрицкого, перепечатанная в 1755 г. в Рымнике. В эти годы австрийские власти наложили запрет на ввоз русских книг, в том числе учебников, в монархию.

Покрово-Богородицкая школа была своего рода образовательным центром, объединяя под своей крышей «клерикальную», «иллиро-грамматическую», «латинскую» и «греческую» школы. В клерикальной школе учащиеся изучали грамматику русского церковнославянского языка, литургию, требник и катехизис; в иллиро-грамматической школе — грамматику церковнославянского языка русской редакции, чтение, письмо и немецкий язык; латинскую школу посещали выпускники иллиро-грамматической школы. Последняя имела широкий спектр церковных и светских предметов, языком преподавания был латинский. Греческая школа была создана в 1755 г., и главным предметом изучения в ней была Псалтирь. Покрово-Богородицкая школа интенсивно работала до 1768 г., когда последовала смерть митрополита Ненадовича. Затем позиции школы стали ослабевать под давлением иезуитов. С 1741 г. в Карловацкой

митрополии действовали также клерикальные школы для подготовки священников².

В целом, школьное дело у сербов не было законодательно оформлено, но зависело от доброй воли и предприимчивости церковных властей и членов церковных общин.

Таково было состояние образования у сербов, когда Мария Терезия предприняла в 1774–1777 гг. в Австрийской монархии всеохватывающую школьную реформу. Она была вызвана общим ходом экономического развития, ростом городов с их потребностями в грамотных и образованных людях, а также политическими обстоятельствами. «Просвещенный» абсолютизм решал задачи централизации разношерстного, разноязычного, «лоскутного» государства Габсбургов, в том числе путем унификации образовательной системы, и укрепления самого государства в результате ослабления позиции церкви разных конфессий. В отношении сербов школьная реформа преследовала также задачи дальнейшего урезания их церковно-школьной автономии и ослабления связей с Россией, откуда они получали учителей и разного рода книги, в том числе и учебники.

Школьная реформа Марии Терезии означала, что образовательная сфера стала предметом высокой государственной политики. Ее основное содержание сводилось к изъятию школ из церковной юрисдикции и установлению полной власти государства в области образования, унификации образовательной программы в соответствии с разрядами школ во всем государстве, единообразию учебников, использованию педагогической методики саганского аббата И. И. Фельбигера.

У сербов подготовка к проведению школьной реформы началась с 1769 г., когда народно-церковный сабор в городе Сремски-Карловци, один из органов, осуществлявших церковно-школьную автономию сербов, заложил основы новой образовательно-воспитательной системы у них на основе монарших решений. Затем последовали многочисленные нормативные акты Иллирской придворной депутации, ведавшей делами православного населения в монархии, Венгерской придворной канцелярии и высшего административного органа Венгерского королевства — Наместнического совета. В 1776 г. Мария Терезия издала Школьный устав, который определил организацию и функционирование сербских основных школ на территории Баната. На основе «Всеобщего школьного постановления», составленного Фельбигером, был разработан закон о школах в Венгерском королевстве — «Ratio educationis». Мария Терезия подписала его в 1777 г.³

Согласно этому закону территория Венгерского королевства была разделена на девять школьных округов, из которых три включали сербские школы (печуйский, загребский и темишварский).

Материальное положение школ было поставлено на твердую основу: содержание школ и учителей было возложено на органы государственного управления в сельских и городских общинах. Верховное руководство школами перешло к светской власти. Школы находились на попечении специальных окружных школьных комиссий, получавших директивы от верховной школьной комиссии в Вене. Языком преподавания в основных школах устанавливался родной язык учащихся. Для сербов это был язык православной церкви — церковнославянский язык русской редакции. Преподавание должно было быть единым для всех подданных независимо от их веры, общественного положения и имущественного состояния. Учителя назначались представителями государственной власти без вмешательства церкви. Но у сербов благодаря их автономии православная церковь сохранила в известной степени влияние на школу.

В реформированные школы вводилась педагогическая методика Фельбигера. В 1774 г. аббат монастыря ордена августинцев в Сагане (Силезия) возглавил проведение школьной реформы в Австрийской монархии. Он разработал систему школ и организацию учебного процесса в них. Фельбигер отводил в школе решающую роль учителю. Его методика включала урочно-классную форму обучения, совместные занятия, практику вопросов и ответов, использование наглядных пособий, прежде всего таблиц и пр. Это была прогрессивная педагогическая система, хотя и несколько формализованная.

На проведение реформы Мария Терезия направила средства, полученные от имущества ликвидированного в 1773 г. иезуитского ордена.

Реформа предусматривала значительное расширение сети учебных заведений. В одном Банате предусматривалось открыть в 1774 г. 373 новые начальные школы. Согласно Школьному уставу они учреждались в каждом сербском населенном пункте, где был православный приход. Школы должны были размещаться в отдельных помещениях. Вводилось обязательное начальное обучение детей обоего пола с 6 до 9-летнего возраста круглый год, а с 9 лет только в зимний период. В школе дети познавали грамоту, счет, религию, основы домоводства и сельского хозяйства. Мария Терезия давала ежегодно 1500 форинтов «на малые дары», чтобы вознаградить лучших учеников. В случае если в сербском поселении не было православного прихода, родители должны были отдавать своих детей в католические школы⁴.

Проведение реформы в Банате в 1773 г. было возложено на Григорие Обрадовича и Теодора Янковича.

Янкович родился в городке Сремска-Каменица около 1740 г. Здесь же он закончил основную школу, а среднюю прошел в Нови-Саде и Сремски-Карловцах. Янкович изучал политические

и экономические науки, а также педагогику в Венском университете, где познакомился с педагогической методикой Фельбигера⁵.

Как верховный директор православных школ в Темишварском Банате (теперь в составе Румынии) Янкович проявил большие организаторские способности в налаживании народного образования. За несколько лет почти каждая сербская община здесь получила свою школу. Янкович занимался также методическими вопросами. Он перевел на церковнославянский язык русской редакции и частично переработал для сербов «Методику» Фельбигера. Она вышла в 1776 г. в Вене под названием «Ручная книга потребная магистром иллирических неунитских малых школ в Цезаро-Кралевских государствах» (Ч. I—II). В первой части этого труда говорилось об обязанностях и требуемых качествах учителя, во второй части — об учебных предметах. Книга была издана церковным шрифтом (кириллицей). В 1776—1777 гг. Янкович отдельно выпустил оттиск из «Ручной книги» под названием «Азбучная дщица» (таблица). В следующем году в Вене вышел перевод Янковича книги Фельбигера «Школьные законы для учащихся»⁶.

Сам Янкович был сторонником использования в сербских школах так называемого «смешанного» славяносербского языка. Это была неупорядоченная смесь элементов русского церковнославянского, русского и сербского народного языков. Смешанный язык все шире использовался в сербской светской литературе как один из вариантов единого литературного языка сербов в условиях разноязычия. В 1782 г. Янкович обратился с письмом к австрийскому монарху Иосифу II с обоснованием целесообразности перевода сербских начальных школ на славяносербский язык, обосновывая свою позицию большей близостью его для понимания сербских детей, нежели русский церковнославянский язык⁷.

Но прошел год, в 1783 г. великий сербский просветитель и писатель Досифей Обрадович публично выступил за перевод сербской литературы и образования, за исключением церковной сферы, на сербский народный язык. И на практике он стал прокладывать дорогу народному языку. Так Янкович, переехавший к этому времени в Россию, неизбежно оказался его оппонентом.

Школьная реформа Марии Терезии в условиях жизни сербов продвигала в начальные школы общеобразовательные знания, преодолевала церковную концепцию образовательных учреждений, но огосударствление школы отчуждало ее от национальной среды, делая орудием австрийского «просвещенного» абсолютизма.

В отношении сербов реформа была ограниченной. На Военной Границе до нее существовали начальные вероисповедные школы с русским церковнославянским языком преподавания, находившиеся на содержании церковных общин, и государственные школы

с немецким языком преподавания. В результате реформы 70-х гг. на Военной Границе была установлена единая школьная система с немецким языком преподавания. Сербские вероисповедные школы закрывались⁸. Государство пеклось лишь об обеспечении австрийской армии военнообязанными подданными, знающими немецкий язык.

Школьная реформа Марии Терезии устанавливала три ступени школ, охватывающих начальное и среднее образование. У сербов на практике реорганизация школьного дела свелась только к первой, начальной ступени. Создание средних школ встречало препятствия со стороны венгерских властей, стремившихся затруднить создание у сербов центров просвещения и культуры в целом.

Лишь в 1791–1792 гг. сербские торговцы при поддержке митрополита Ст. Стратимировича смогли основать на свои средства в Сремски-Карловцах полноценную гимназию. В низших классах здесь преподавание велось частично на книжном языке сербов. Гимназия вскоре стала одним из культурных очагов народа. В 1794 г. в том же городе митрополит основал богословскую школу для подготовки духовенства. Учебная программа в ней была составлена церковным деятелем, писателем и историком Й. Раичем.

Реорганизация школьной системы в Австрийской монархии в целом и у православных сербов в частности, высокий уровень образованности сербских интеллектуалов, получавших среднее и высшее образование в учебных заведениях Вены, Пешта, Пожони (нем. Прессбург, теперь Братислава), в университетах Германии, привлекали внимание российских властей к сербам в Австрийской монархии. В России охотно принимали образованных людей из их числа. В 1782 г. Екатерина II, приступая к школьной реформе, дала поручение российскому послу в Вене Д. М. Голицыну найти человека, «способного к заведению в нашем отечестве нормальных школ» по примеру австрийских. Таким лицом стал Янкович, который, помимо высокой образовательной и педагогической подготовки, хорошо знал русский язык. В депеше посла о нем говорилось: «...сей директор много рекомендован мне от венгерского канцлера графа Эстергази не токмо в разсуждении достоинств и похвальных его качеств, но и в разсуждении того доброго и отличного мнения, которое его величество император (Иосиф II. — *И. Л.*) об нем имеет»⁹. Янкович отправился в Россию, с которой навсегда связал свою жизнь.

В 1782 г. в Петербурге была создана «Комиссия для заведения в России народных училищ». Ф. И. Янкович был назначен ее экспертом. Он возглавил ответственную и самую сложную работу. Прежде всего ему как наиболее компетентному лицу было поручено составление генерального плана организации народных училищ. После принятия комиссией его проекта Екатерина II утвердила «План ко

установлению народных училищ в Российской империи». Документ устанавливал типы школ, учебный план, методику преподавания, управление школами.

В 1783 г. в столице было основано Главное народное училище, директором которого стал Янкович. Благодаря его усилиям при училище открылась Учительская семинария, которая превратилась в центр подготовки учителей. Янкович оставался директором Главного училища и семинарии до 1785 г., когда перед ним были поставлены новые задачи¹⁰.

В результате активной деятельности Учительской семинарии и образования начальной учебно-методической базы были созданы условия для открытия в России новых и реорганизации существующих учебных заведений. В августе 1786 г. вышел указ Екатерины II «Об открытии народных училищ». По проекту Янковича комиссия приняла «Устав народным училищам в Российской империи». Согласно ему в стране учреждались два вида училищ: четырехклассные главные народные училища, близкие к средним, в губернских городах и двухклассные народные училища в уездных городах. Училища находились в ведении Приказов общественного призрения губерний. Во главе этой системы находилось Главное правительство училищ в Российской империи. Екатерина II вверила его функции вышеназванной училищной комиссии. Главное правительство было в прямом ведении императрицы. Так было законодательно оформлено создание в России государственной сети общеобразовательных начальных и средних школ.

Согласно Уставу был реорганизован учебный процесс в Сухопутном, Морском, Артиллерийском и Инженерном кадетских корпусах и частично даже в духовных учебных заведениях.

В числе первоочередных задач было создание учебной литературы. Руководство этой работой было возложено на Янковича. Сам он выступил автором, составителем, редактором, издателем русских учебников и методических пособий для народных училищ. Он использовал при этом опыт создания подобной литературы для сербских школ в Австрийской монархии. Янкович привлек к работе по написанию учебников многих видных членов Петербургской Академии наук и педагогов. За несколько лет были изданы и подготовлены к печати более 70 книг¹¹.

С начала приезда в Россию Янкович энергично взялся за создание учебно-методической литературы. В 1782 г. он издал применительно к российским условиям «Правила для учащихся в народных училищах». Здесь были изложены правила поведения учеников в училище и вне его, в частности в церкви. В основу этой книги были положены вышеупомянутые «Школьные законы для учащихся». В том же году он составил «Букварь российский», который выдержал

19 изданий (последнее — 1822 г.)¹². В 1783 г. в Петербурге вышло методическое пособие «Руководство учителям первого и второго класса народных училищ Российской империи». Это была приспособленная Янковичем для России «Ручная книга потребная магистрам...»¹³. Он выступил также автором руководства по чистописанию, азбучных таблиц, катехизиса, учебных книг по священной истории, всемирной истории, пособия «Зрелище вселенная», явившегося переработкой сочинения Я. Коменского «Мир в картинах». Янкович переделал и приспособил для училищ пособия по географии России, «Всеобщее землеописание». Под его руководством или по его планам вышли все географические карты, глобусы, атласы. Он писал предисловия, составлял инструкции и наказания¹⁴.

По поручению комиссии Янкович составил план учебника по истории России. На его основе адъюнкт Академии наук И. Г. Штриттер написал пространную работу, которая вышла в 1800–1802 гг. С целью ускорения появления учебника Янкович сам написал пособие, включив в него некоторые части Штриттера. Так в 1799 г. появилась «Краткая российская история», первая учебная книга по истории России, выдержавшая 9 изданий и около 40 лет востребованная в школах¹⁵.

Янкович дал учебному курсу народных училищ реальное направление. Его методическое творчество включало передовые для того времени принципы: использование в учебном процессе наглядных пособий, введение практических знаний, установление связи школы с жизнью, создание библиотек и пр. Он впервые в России ввел в школьную программу естественнонаучные знания.

Деятельность Ф. И. Янковича не ограничивалась школой. В 1783 г. он был избран членом Российской академии наук и участвовал в ее программе составления сравнительного словаря всех языков.

Вклад Ф. И. Янковича в российское образование и науку получил высокую оценку в России. Он был награжден орденами св. Владимира 4 ст. (1784) и 3 ст. (1786), причислен к российскому дворянству с пожалованием ему деревни Мириево в Могилевской губернии и земельных держаний в Гродненской губернии. Янкович Мириевский достиг чина действительного статского советника. В 1797 г. он стал членом комиссии по народным училищам, а с учреждением в 1802 г. Министерства народного просвещения вошел в состав Главного правления училищ. Но в 1804 г. Янкович оставил службу и в 1814 г. умер. Он был похоронен с почестями на кладбище Александрово-Невской лавры.

Серб Ф. И. Янкович сыграл новаторскую роль в деле совершенствования народного образования в России — обновления содержания обучения и введения новых методов преподавания. Но сравнение австрийской и российской школьных реформ второй половины

XVIII в. идет не в пользу России. Австрийская школьная реформа имела преимущества по крайней мере по трем позициям: она охватила не только городское, но и сельское население, получила государственное материальное обеспечение и изъяла в организационном отношении начальные школы из ведения административного аппарата.

Жизнь и деятельность Ф. И. Янковича де Мириево заняли достойное место в истории русско-сербских культурных связей, углубив их плодотворность и усилив в них прогрессивное наполнение.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: *Лециловская И. И.* Сербская культура XVIII века. М., 1994. С. 73–74.
- ² *Историја српског народа.* Београд, 1986. Књ. 4. Т. 2. С. 354–355.
- ³ Там же. С. 352–353.
- ⁴ *Костяшов Ю. В.* Сербь в Австрийской монархии в XVIII веке. Калининград, 1997. С. 174, 175.
- ⁵ *Русский биографический словарь / Репр. изд. М., 1999. Т. 25. С. 135.*
- ⁶ *Михаиловић Г.* Српска библиографија XVIII века. Београд, 1964. С. 133–136.
- ⁷ *Историја српског народа.* Славяно-сербский язык. С. 86–87.
- ⁸ Там же. С. 361.
- ⁹ *Костяшов Ю. В.* Сербь в Австрийской монархии... С. 176.
- ¹⁰ *Смагина Г. И.* Академия наук и российская школа. Вторая половина XVIII в. СПб., 1996. С. 94, 101, 102.
- ¹¹ *Додон Л. Л.* Учебная литература русской народной школы второй половины XVIII в. и роль Ф. И. Янковича в ее создании // *Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена.* Л., 1955. Т. 118. С. 187.
- ¹² Об авторстве работ Ф. И. Янковича см.: *Русский биографический словарь; Мать И. Ф. Янкович и австро-сербско-русские связи в истории народного образования в России // XVIII век.* Л., 1975. Т. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи.
- ¹³ Сравнение этих работ в кн.: *Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. XVIII — первая половина XIX в.* М., 1973. С. 153–154.
- ¹⁴ *Русский биографический словарь.*
- ¹⁵ *Смагина Г. И.* Академия наук и российская школа... С. 133–135.

«...Изучать душу народа своего по Качичу»

Эти проникновенные слова¹ принадлежат видному представителю хорватского Возрождения второй половины XIX в. Ивану Деспоту, и сказаны они о выдающемся хорватском писателе и поэте Андрии Качиче-Миошиче (1704–1760). В 2004 г. исполнилось ровно 300 лет со дня его рождения — юбилей, который широко отмечался в Хорватии. Главный труд писателя — большая, почти 400 страниц, летопись славянской истории на штокавской икавице со 136 эпическими песнями, в основном о легендарных героях борьбы с турками — «Задушевная беседа славянского народа» (*Razgovor ugodni naroda slovinskoga*). Издавна автор «Задушевной беседы...» почитается как воистину народный поэт, а его произведение — как самое популярное в хорватской литературе: за неполные 250 лет оно выдержало 72 (данные на 2002 г.) полных или частичных изданий на разных языках!

Своей славой А. Качич-Миошич обязан прежде всего эпическим песням. «Песенник» (*Pjesmarica* или *Pismarica*) — так любовно именовали «Задушевную беседу...» простые малограмотные крестьяне, составлявшие подавляющее большинство населения хорватских земель. Об А. Качиче-Миошиче, как и об его эпических героях, слагались легенды — некоторые из них, к счастью, дошли до наших дней. Вот что рассказывает об отношении простых людей к писателю известный хорватский художник Младен Вежа, родившийся в селе Брист — там же, где и А. Качич-Миошич: «...культовое отношение к нему проявлялось во многом, прежде всего, в чтении, а чаще даже в пении стихотворений „Задушевной беседы...“. Каждый вечер у очага, особенно зимой, собирались домашние и соседи, чтобы послушать песни Качича. У каждого из нас были свои любимцы среди его героев, и мы спорили друг с другом о них: „Мой Марко сильнее“, — „А мой Милош еще сильнее“ <...> Мы, дети, принимали близко к сердцу все, что слышали. <...> Мысль о том, что Качич рос именно тут, в моем родном селе, буквально завораживала меня. Он жил здесь, видел те же горы, то же море, ходил по тем же тропинкам и камням. Я полностью отождествлял себя с ним. <...> Качич незримо присутствовал во всем и везде. И, подобно ему, я посвятил свое творчество простым людям»². Стоит отметить, что детство М. Вежи прошло в 1920-х гг., спустя почти 170 лет после первого издания «Задушевной беседы...»! По свидетельствам современников

и историков, такое благоговейное отношение к писателю было характерно для всех областей Хорватии³.

В XVIII в., когда творил А. Качич-Миошич, Хорватия в целом переживала экономический и культурный упадок, вызванный раздробленностью страны и вековыми войнами с турками. Особенно тяжелым было положение на юге: венецианская Далмация считалась одной из самых отсталых областей Европы. Несмотря на некоторое экономическое оживление во второй половине столетия, далматинские крестьяне часто страдали от бескормицы⁴. По записям современников, в неурожайные годы люди умирали от голода прямо на дорогах. Положение усугублялось полным безразличием властей к нуждам местного населения. Венецианские чиновники, стремясь к быстрому обогащению, устанавливали все новые, экономически совершенно неоправданные налоги.

Крестьянский труд в гористой Далмации, где мало плодородной земли, всегда был нелегок. Далматинцы традиционно выращивали виноград и маслины, занимались рыболовством, разводили овец. Как правило, родители начинали приобщать детей к труду с ранних лет. Большинство крестьян не видели альтернативы занятию сельским хозяйством, и лишняя пара рабочих рук, пусть даже детских, всегда была кстати. Такое положение сохранялось и во второй половине XIX — начале XX вв., когда вообще изменилось отношение общества к образованию и во многих далматинских городках и селах начали открываться государственные начальные школы. Однако этот процесс проходил сложно. Вот характерный пример проявления типичной крестьянской психологии (рассказ далматинки, родившейся в конце XIX в., приводится по воспоминаниям ее дочери): «Когда мне исполнилось семь лет, я пошла в школу. Ходила на занятия несколько дней. Но однажды утром меня увидела тетя и закричала: „Ты куда собралась?“ — „В школу“. — „Какая школа? Иди овец пасти!“ — Так я и выросла неграмотной»⁵.

В Европе XVIII в., как и в период средневековья, образование считалось привилегией богатых людей. Гражданские высшие учебные заведения функционировали только в крупных западноевропейских городах, а на Балканах их не было вообще. Но везде при католических монастырях действовали школы, по окончании которых ученики, как правило, становились членами монашеских орденов.

В Далмации, в частности, такие школы находились под попечительством очень влиятельного здесь ордена францисканцев. Церковное руководство выделяло определенное количество питания и учебников сообразно числу воспитанников каждого монастыря. Занятия вели учителя и духовные наставники из местных монахов. Строго запрещалось принимать в обучение мальчиков моложе 12 и старше 14 лет⁶.

Образовательный процесс в таких школах очень напоминал «келийную» систему болгарских православных монастырей⁷, что, кстати, свидетельствует о схожести подходов к обучению в разных частях Европы того времени. На первом этапе дети осваивали азы грамотности: чтение, счет и письмо. Затем они изучали грамматику хорватского, латинского и итальянского языков.

Хорватский язык, в отличие от других, францисканцы называли «нашим», «иллирийским», «словинским», «хорватским». Изучение и использование в повседневном обиходе его письменности (хорватской кириллицы или босанчицы) считалось обязательным. В 1749 г., например, в постановлении заседания руководства орденской провинции Босна Сребрена подчеркивалась (видимо, в очередной раз) необходимость изучения письменности «нашего материнского» языка: «Стыдно, что некоторые [из монахов] не умеют писать по-нашему. <...> Юношей нельзя принимать в члены ордена, а монахов — посвящать в священнический сан, если они не предоставят поручительства уважаемых братьев-учителей о своем знании нашей письменности»⁸.

Современные историки подчеркивают, что хорватские и боснийские францисканцы издавна считали именно босанчицу, а не латиницу, исконно свойственной хорватскому языку⁹. Латиница использовалась только для текстов на латинском и итальянском языках (кстати, сама латынь называлась «учебным» языком — *dijački jezik*). И хотя, в целом, в первой половине XVIII в. на большей части территории Хорватии в общественной и частной жизни преобладала латиница, многие документы ордена писались на босанчице.

После 4-летнего обучения в начальной монастырской школе особо отличившиеся ученики вступали в члены ордена. (Впрочем, частые решения церковного руководства о необходимости принятия именно и только успешных учеников свидетельствуют о многочисленных злоупотреблениях в соблюдении этого правила.) Для ознакомления с нормами монашеского образа жизни юноши проходили годовой испытательный срок (новициат, или, по-хорватски, *godina kušnje*), перед началом которого они меняли данное им при крещении имя. Затем их направляли учиться в одно из высших философско-теологических учебных заведений (*filozofsko-teološko učilište*) ордена.

Здесь курс обучения длился, как правило, 7 лет. В первые три года, помимо философии, изучались также классические языки, риторика, математика, геометрия и физика. Затем начинался 4-летний курс теологии, который включал в себя и конкретные дисциплины для пастырского служения. После окончания учебы монахи могли претендовать на получение церковного сана¹⁰.

Скажем несколько слов о самом ордене, оказавшем значительное воздействие на жизнь и творчество А. Качича-Миошича. Католический монашеский орден францисканцев входит в число нищенствующих орденов, т. е. его члены живут только подаянием. Он был основан в начале XIII в., и уже тогда францисканцы появились на хорватских и боснийских землях. Во вновь образованную орденскую провинцию Славония вошли Истрийская, Рабская, Задарско-Сплитская и Дубровницкая кустодии (всего 25 монастырей). В 1340-х гг. создается отдельная Боснийская викария.

Начиная с этого времени, во многом благодаря покровительству тогдашнего боснийского бана Степана II Котроманича (1322–1353), францисканцы занимают прочные позиции в Боснии. Основываются многочисленные монастыри, среди которых выделялся, в частности, монастырь в Сребренице. Именно по названию этого города Боснийская викария, ставшая фактически правопреемницей бывшей провинции Славония, получила название Босна Сребрена. В конце XIV в. в ее подчинении находились монастыри от Апулии на западе до причерноморских областей на востоке. В самой Боснии в начале XV в. действовало свыше 30 монастырей.

В течение XV–XVI вв., под натиском турок, Босна Сребрена распадается на самостоятельные викарии, а в 1517 г. ее делят на две части: собственно Босна Сребрена (на территориях, захваченных турками; сюда входила и Далмация) и Босна-Хорватия. Наконец, в 1735 г. на территории Далмации образуется отдельная орденская провинция Пресвятого Искупителя, которая существует и по сей день¹¹.

К сожалению, о жизни А. Качича-Миошича до нас дошли лишь скудные и отрывочные сведения. Появившиеся в XIX в. первые биографии писателя (например, С. Ивичевич, 1846¹²; М. Шимич, 1890¹³) носили скорее агиографический характер и основывались не на документах, а на устной традиции: воспоминаниях его дальних родственников и старых монахов. Но в этом и их непреходящая ценность.

Прежде всего предстояло выяснить точную дату и место рождения А. Качича-Миошича. Биографы XIX и начала XX вв. считали, что он родился в 1696 г., принимая на веру утверждение одного из его современников о кончине писателя на 64-м году жизни. Однако другой современник всего лишь три дня спустя после смерти А. Качича-Миошича записал в своем дневнике, что умершему было 58 лет¹⁴. Внуки родных (младших) братьев А. Качича-Миошича, с которыми был хорошо знаком С. Ивичевич, помнили имена родителей писателя (отец Бартул Миошич и мать Манда Томашевич).

Лишь в конце 1910-х — начале 1920-х гг., после долгих кропотливых поисков в архивах далматинских монастырей, историкам

(П. Колендич, К. Этерович) удалось найти запись в церковной книге о крещении 17 апреля 1704 г. Антуна, сына Бартула Миошича и его жены Манды¹⁵. Уже тогда были известны имена еще трех сыновей родителей писателя, а также годы их рождения (Гргур, 1706; Шимун, 1711; Лука, 1715). Еще раньше был найден документ о вступлении в новициат «брата Андрии Миошича» в марте 1720 г. в монастыре Св. Марии в Заостроге. Как уже отмечалось выше, по правилам ордена перед новициатом юноша обучался четыре года в начальной монастырской школе, куда принимали только с 12 лет. Следовательно, по возрасту из всех братьев Миошичей только самый старший, Антун, мог вступить в новициат в 1720 г., поменяв при этом имя. После публикаций П. Колендича и К. Этеровича хорватские историки единодушно признали, что писатель родился в апреле 1704 г.

Столь же нелегким оказалось решение вопроса о подлинной фамилии А. Качича-Миошича. Действительно, как уже отмечалось выше, фамилия отца писателя — Миошич, а матери — Томашевич. Двойной фамилией (т. е. «Качич-Миошич» или даже просто «Качич») он начинает подписываться лишь с 1751 г.¹⁶, т. е. в начале десятилетнего периода активного литературного творчества. Откуда же появилась фамилия «Качич»?

В архиве монастыря в Макарске хранится большой лист пергамента с генеалогическим древом Качичей-Миошичей. Документ нотариально заверен в Венеции в декабре 1751 г., на нем стоит печать венецианского дожа. Установлено, что А. Качич-Миошич именно в это время находился в Венеции. Следовательно, логично предположили исследователи, писатель, по обычаю того времени, сам составил и нотариально заверил семейное генеалогическое древо. Таким образом, он пытался обосновать свое происхождение от древнего и славного рода — Качичей.

Качичи издавна были богатыми землевладельцами в Средней Далмации. Некоторые из них еще в XII в. приняли венгеро-хорватскую унию, переселились в Венгрию, служили при дворе венгерских королей, но после конфликта с местной знатью вынуждены были вернуться на родину. Особенно прославились далматинские Качичи во время войн с турками. Как утверждал А. Качич-Миошич, для отличия многочисленных потомков Качичей к общей для всех фамилии стали прибавлять вторую, по имени отца¹⁷.

Ученым до сих пор не удалось документально доказать родственные связи Качичей и Миошичей. Однако, учитывая добросовестность автора «Задушевной беседы...» в описании исторических событий, его очень уважительное, буквально трепетное отношение к ним, о чем речь пойдет ниже, основания для присвоения себе второй фамилии, вероятно, у А. Качича-Миошича были, и, причем, достаточно серьезные.

Итак, многие важнейшие факты из биографии писателя историкам пришлось по причине скудости источниковедческой базы восстанавливать только на основе логических умозаключений. О некоторых периодах жизни А. Качича-Миошича до наших дней дошли лишь народные предания, например о его детстве. Однажды маленький Антун приехал в гости к родственникам своей матери и, играя на берегу озера, стал ломать тростник. Это увидел сельский староста. Он ударил мальчика и прогнал его. Плача, Антун прибежал домой и рассказал всё своим родным. Те, возмущившись, пошли к старосте и в отместку поколотили его¹⁸.

Как отмечают исследователи, в биографии А. Качича-Миошича было немало удивительных счастливых случайностей, которые оказали сильное воздействие на его жизнь и творчество. Можно считать судьбоносным тот факт, что дядя Антуна со стороны матери Шимун Томашевич, занимал не последнее место в церковной иерархии: с 1716 по 1720 гг. он являлся настоятелем францисканского монастыря Св. Марии в соседнем с Бристом Заостроге. Наверняка, Ш. Томашевич принял живейшее участие в судьбе племянника, взяв его к себе в обучение (по всей видимости, в 1716 г., когда А. Качичу-Миошичу исполнилось 12 лет). По окончании монастырской школы, как мы уже знаем, Антун принимает новициат под именем Андрии (Andreas), с которым он и вошел в историю южнославянской литературы.

Известный исследователь далматинской старины С. Банович в 1919 г. записал со слов 70-летнего старика-крестьянина предание о школьных годах писателя (вероятно, как раз о периоде его новициата, потому что А. Качич-Миошич именуется в этом тексте уже Андрией, а не Антуном)¹⁹.

Однажды настоятель заострогского монастыря отправился собирать милостыню в Меткович на Неретву и взял с собой Андрию. А в то время там жил один турок, физически очень сильный. И вот стал он вызывать христиан на единоборство, но все его очень боялись. Андрии, как говорит предание, «стало стыдно, что среди христиан нет юнаков», и он начал просить настоятеля разрешить ему побороться с турком. Тот, конечно, сначала не захотел отпускать ученика, но Андрия очень упрашивал его и, наконец, добился согласия.

На следующее утро он пришел к турку и сказал, что принимает вызов и готов бороться с ним сегодня же. Весть о предстоящем поединке распространилась по городу, и в назначенное время на площади собралось много любопытных. Сначала схватка шла на равных, но затем юноша стал побеждать турка и повалил бы его, если бы не масло, которым тот предусмотрительно намазался загодя. Тогда Андрия собрал все свои силы, обхватил турка, поднял его и перебросил через себя.

Трудно сказать, насколько достоверна эта легенда. Но несомненно одно: простые крестьяне, заслушиваясь песнями «Задушевной беседы...» и безгранично уважая ее автора, могли перенести на его личность те героические черты, которые сам писатель придал персонажам своих эпических песен.

После новициата, в 1721 г., А. Качич-Миошич, очевидно, продолжил образование, хотя документов о его зачислении в высшее учебное заведение не найдено. И эти годы жизни будущего литератора столь же неясны для исследователей, как и его детство.

Прежде всего, где А. Качич-Миошич получил высшее образование? Согласно сведениям С. Ивичевича, т. е. устной традиции, он учился в Венгрии, в Буде²⁰. На первый взгляд эта версия выглядит логичной, так как именно там находилось лучшее в провинции высшее учебное заведение. В 1722 г. оно получило статус «генеральное высшего класса» (Generalno bogoslovno učilište prvoga reda)²¹.

Лишь после Второй мировой войны в архивах удалось найти запись 1725 г. о «брате Андрии из Заострога» — студенте философско-теологического учебного заведения ордена в Осиеке²². Местное образовательное учреждение было открыто в 1708 г., после изгнания турок, но высшим оно стало лишь в 1724 г. Современные исследователи склоняются к тому, что заканчивал учебу А. Качич-Миошич именно в Осиеке²³.

Второй вопрос, ответить на который так же непросто. Почему будущий писатель учился не семь, как положено, а шесть лет? Ведь в декабре 1727 г. мы застаем его уже в Заостроге при посвящении в сан младшего дьякона (subdakon)²⁴.

Историки предполагают, основываясь на сообщении С. Ивичевича, что это произошло из-за его успехов в учебе. Ивичевич, правда, оговаривается, что поначалу, вдали от родного края и своих близких, юноша растерялся и даже вернулся домой. Но дядя сумел уговорить его продолжить образование. И, как пишет биограф, после этого «каждый год учебы <...> он был лучшим или одним из лучших»²⁵. О несомненных способностях А. Качича-Миошича свидетельствуют не только его успешная церковная карьера, но и литературное творчество.

В мае 1727 г. на заседании руководства провинции Ш. Томашевича избрали исполняющим обязанности провинциала, т. е. руководителя всей провинции (прежний провинциал умер)²⁶. Видимо, совпадение этого события с завершением учебы А. Качича-Миошича — очевидно, летом того же года — не случайно. Новый провинциал сразу уезжает по служебным делам в Буду, а оттуда — в родную Далмацию (скорее всего, через Боснию). Весьма вероятно, что по пути он заехал в Осиек и забрал с собой племянника.

Предположение о путешествии А. Качича-Миошича домой через Боснию подтверждается очень поэтичным описанием в одной из эпических песен «Задушевной беседы...» р. Савы, а также упоминаниями в других песнях названий боснийских городов и сел. Вот, например, что А. Качич-Миошич пишет о Саве:

Lipa ti je Sava, voda ladna,
kuda teče, nije zemlja gladna:
još su lipši bijeli gradovi
krajem Save kano labutovi.
Među njima gnizdo sokolovo
od starine biše Sekulovo
Kobaš selo, majka od junaka
kojino se ne boje Turaka²⁷.

В феврале 1728 г. А. Качич-Миошич становится дьяконом, а в мае его рукополагают в священнический сан²⁸. Это дало ему возможность претендовать на должность генерального профессора (*lector generalis*) философии и теологии в одном из высших учебных заведений ордена. По сообщению упомянутого выше биографа М. Шимича, А. Качич-Миошич, единственный из шести далматинских претендентов, в 1729 г. выдержал в Венеции конкурсный экзамен²⁹. Письменных свидетельств об этом событии, к сожалению, не сохранилось, но косвенным доказательством успеха будущего писателя может служить документ 1730 г. о его назначении преподавателем философии в учебное заведение при заострожском монастыре. Так завершился первый период жизни А. Качича-Миошича, в течение которого происходило формирование его личности.

Следующие 15 лет он занимается преподавательской деятельностью. Как уже отмечалось выше, в 1735 г. на территории Далмации образуется отдельная провинция Пресвятого Искупителя. В связи с этим высшему учебному заведению ордена при монастыре Св. Ловро в Шибенике присваивается почетный статус «генерального»; туда переводятся лучшие далматинские профессора. Среди них оказался и А. Качич-Миошич³⁰. Здесь он написал свой первый труд: учебное пособие по философии на латинском языке «*Elementa peripatethica*» («Перипатетические категории») для студентов орденских высших учебных заведений, в котором излагал учение знаменитого средневекового схоласта Дунса Скотта (опубликовано в 1752 г. в Венеции).

Как сообщает М. Шимич, в свободное от преподавания время он посещал старинные далматинские села и города, принимал участие в народных праздниках, записывал героические песни и предания, изучал местные хроники и исторические труды иностранных авторов. Его хорошо знали и уважали на всей территории Далмации. Видимо, именно в этот период своей жизни А. Качичу-Миошичу удалось собрать богатейший фактический и фольклорный

материал, который позднее лег в основу его самого главного произведения — «Задумшевной беседы...».

Другой биограф писателя С. Ивичевич рассказывает о необычном случае в бытность А. Качича-Миошича профессором в Шибенике³¹. В то время в городских храмах проводились публичные религиозные диспуты. И вот однажды в город приехал молодой важный иностранец, который решил принять в них участие и легко победил многих известных местных теологов, не говоря уже о студентах. Узнав об этом, епископ попросил А. Качича-Миошича вызвать приезжего на богословский спор, что тот и сделал и в нескольких диспутах одолел выскочку. Иноземец так переживал свое поражение, что через неделю скончался. «Милосердный брат Андрия очень сожалел об этом, — в духе агиографических сочинений заключает С. Ивичевич, — и оплакал он нечаянную смерть в посте и молитвах».

О действительно высоком авторитете А. Качича-Миошича в церковной среде свидетельствует тот факт, что, когда он вышел в отставку в 1745 г., ему было присвоено высшее отличие орденской профессуры — звание Почетного лауреата, *Jubilatus de numero*. (Выходившим в отставку после 10 лет преподавания профессорам, как правило, присваивалось звание «простого» лауреата, *Jubilatus*³².)

Другой, менее требовательный к себе человек успокоился бы на этом и провел дальнейшую жизнь в почете и комфорте. Но А. Качич-Миошич рассудил иначе. Следующие пять лет (1745—1750) мы застаем его в небольшом бедном монастыре Св. Мартина в городке Сумартин на о. Брач. Почти сто лет назад здесь поселились спасавшиеся от турецкого нашествия крестьяне и несколько монахов из монастыря в Макарске. Обитель влачила жалкое существование: согласно местной хронике, перед приездом сюда А. Качича-Миошича в монастырской казне был всего один венецианский дукат!³³ После назначения настоятелем в 1747 г. он начал строительство нового здания монастыря. Уже на второй год были возведены стены, причем, согласно свидетельствам современников, А. Качич-Миошич лично принимал участие в строительстве: подносил камни, месил скрепляющий раствор³⁴. Об этом, в частности, говорит надпись на мемориальной доске на здании монастыря, открытой в начале 80-х гг. XIX в.

Наконец, по личной просьбе³⁵, А. Качича-Миошича перевели обрат но в монастырь Св. Марии в ставший родным для писателя Заострог, где он и прожил последнее десятилетие своей жизни, практически полностью посвятив себя литературному творчеству. Согласно документам, в течение нескольких лет он являлся настоятелем заострогского монастыря³⁶. Авторитет А. Качича-Миошича был настолько высок, что ему была доверена инспекция боснийских

францисканских монастырей³⁷. А на заседании Совета Провинции в августе 1758 г. его кандидатура почти единодушно была выдвинута на должность Провинциала. С большим трудом А. Качичу-Миошичу удалось взять самоотвод по причине преклонного возраста и плохого состояния здоровья³⁸. В случае избрания времени на литературное творчество, конечно же, у него не осталось бы. И этот факт можно считать одной из тех счастливых случайностей, которые в итоге позволили писателю завершить дело всей своей жизни — написать и опубликовать «Задуманную беседу славянского народа».

В 1756 г. в Венеции был издан первый вариант «Задуманной беседы...», куда вошли чуть более 40 эпических песен. Книга быстро завоевала популярность, и писатель почти сразу же начал работать над вторым дополненным изданием, которое и увидело свет еще при его жизни, в 1759 г. На этот раз в книгу были включены 136 эпических песен. Вступительное и заключительное обращения к читателю написаны от лица уже уставшего от жизни и предчувствующего свою скорую кончину больного «старца Милована» (Mjelovan), который выступает автором большинства песен «Задуманной беседы...». Последнюю песню А. Качич-Миошич завершает следующими строками:

I da si mi zdravo, Mjelovane!
Boga moli, ostavi mejdane:
sve je ništa, sve će u prah poći,
grihe plaći, valja g Bogu doći³⁹.

Наконец, в 1760 г. вышло последнее сочинение А. Качича-Миошича «Своего рода Ноева ладья, вобравшая в себя Святое Писание и всей мировой истории события» («Kogabljica Pisma Svetoga i svih vikovah svita događajih poglavutih»), написанное так же, как и «Задуманная беседа...», на штокавской икавице. Это простой и понятный каждому, даже малограмотному, человеку пересказ Ветхого (первая часть произведения) и Нового (вторая часть) Завета. Во второй части автор подробно рассказывает и об истории славян вплоть до XVIII в. Обращаясь к читателю, А. Качич-Миошич утверждает, что Бог сотворил три языка: греческий, латинский и славянский, «поэтому не стесняйся говорить на своем славном языке»⁴⁰.

Таким образом, за период с 1752 по 1760 гг. были напечатаны все четыре книги А. Качича-Миошича. (Возможно, где-то в архивах далматинских монастырей до сих пор лежат и неопубликованные рукописи.)

В декабре 1760 г. писатель серьезно заболел. Это произошло сразу после поездки за продовольствием для местных жителей. Согласно устной традиции⁴¹, трое местных бедняков (С. Ивичевич даже приводит их имена, что указывает на высокую степень достоверности его сведений) отправились на Неретву за продуктами. На

обратном пути утлая лодчонка попала в жестокий шторм. Один крестьянин погиб, а два других с трудом спаслись; все с таким трудом добытое продовольствие утонуло. Узнав о происшедшем, отец Андрия решил помочь беднякам и уговорил их еще раз отправиться за продуктами, но уже с ним. На этот раз они собрали муки в три раза больше. Когда путешественники возвращались, их суденышко опять попало в осеннюю непогоду. Сильный холодный дождь, ледяной пронизывающий ветер сделали свое дело, и по приезде А. Качич-Миошич слег с воспалением легких. Болезнь быстро прогрессировала, и 14 декабря 1760 г. он скончался в своем монастыре в Заостроге, где и был похоронен. Могила его находится прямо при входе в монастырскую церковь.

«Задушевная беседа славянского народа» — это написанная прозой и стихами летопись истории южных славян и соседних с ними народов. При работе над книгой А. Качич-Миошич изучил исторические и семейные хроники, сочинения славянских и западноевропейских авторов, многочисленные грамоты и собрал большое количество эпических народных песен.

В предисловии к первому изданию автор пишет, в частности, что писатель вправе славить свой народ. «Народ словински» не увлекается историческими книгами, а его история в несколько измененной народной интерпретации живет в эпических песнях. В соответствии с просветительскими стремлениями своего времени А. Качич-Миошич творит для обычных «маленьких» людей, «бедняков, земледельцев, пастухов», которые и не знают никакого другого языка, кроме «словинского»⁴². Он хочет познакомить своих читателей с историей «королей, банов, дворян и героев славянских, с ходом войн, которые они вели, с их героическими деяниями и со всеми их хорошими и плохими поступками». «Моя книга не для тех, кто знает латинский и итальянский языки. <...> В ней ты не найдешь ни риторики, ни поэзии, ни пышных и красивых рифм, но зато мое здание стоит на прочном фундаменте истины. Для того чтобы возвести его стены, мне пришлось добывать природный материал из глубоких пещер, раскопанных по просьбе бедняка Милована». Одна из главных задач автора состояла, по его словам, в том, чтобы потомки прежних героев «всмотрелись бы, как в зеркало, в славные подвиги и великие деяния своих дедов и прадедов и, унаследовав их мужество, достойно боролись бы с общим врагом»⁴³.

Есть в предисловии и парадоксальное на первый взгляд утверждение о несчастьях прадедов нынешних хорватов в собственном независимом государстве и об их достойной и «райской жизни» «под дланью» венецианского дожа, за которого все хорваты готовы пролить свою кровь⁴⁴. Несомненно, что, будучи правоверным католиком, А. Качич-Миошич положительно оценивал роль Венеции

в борьбе с турками, захватившими большую часть Далмации. Вместе с тем общий патриотический настрой «Задушевной беседы...» мог насторожить венецианских цензоров. Писатель не мог не знать о трагической судьбе далматинского францисканца Филиппа Грабовца (1695–1749), книга которого «Цвет беседы народа и языка иллирийского или же хорватского» с обличавшими венецианских правителей патриотическими стихами была сожжена, а сам автор приговорен к пожизненному заключению. Во избежание обвинений в нелояльности, видимо, и была вставлена фраза о «несчастьях» славян в своих независимых государствах.

Авторское определение «Задушевной беседы...» как «здания на прочном фундаменте истины» — не пустые слова. Эпические песни являются лишь комментариями, своеобразными иллюстрациями к изложенным прозой историческим событиям, причем А. Качич-Миошич как профессиональный историк практически везде указывает источники сведений и цитат. В самих песнях для придания полной достоверности излагаемым фактам, какими бы фантастическими они ни казались на первый взгляд, автор приводит неопровержимые, с точки зрения «маленького» человека-читателя «Задушевной беседы...», доказательства:

Ako li mi virovati nećeš,
uzpenji se na Mosor palninu
ter ćeš vidit kosti od Turaka,
od pišaca, konja i konjika...⁴⁵

или:

Još donese dva mača njiova,
oba mača jednoga kovača,
kojino se i sada naode
u bijelu dvoru Ivanovu⁴⁶.

Стремясь к максимальной исторической достоверности повествования, А. Качич-Миошич сознательно отказывается и от «риторики», и от «пышных и красивых рифм»: ученый-историк берет верх над поэтом.

Содержание «Задушевной беседы...» построено по хронологическому принципу. Сначала автор описывает древние, легендарные события. Затем следует рассказ (и песни) об эпохе независимых славянских правителей: сербских, боснийских, болгарских, хорватских (в последнем случае только перечисление с кратким описанием). Подробно повествуется о каждом из правителей, и даже приводятся целиком некоторые исторические документы, например грамоты боснийских королей.

Главная тема «Задушевной беседы...» — борьба славянских народов с турецкими захватчиками. Практически в каждой песне описываются героические подвиги, кровавые сражения и смертельные

поединки. Личная жизнь героев, их переживания и страсти для автора, как правило, не имеют значения. Даже в песне о свадьбе он описывает единоборства юнаков⁴⁷. Любимые герои А. Качича-Миошича — Юрий Кастриот-Скендербег (Jure Kastriotić, ему посвящены целых 17 песен!) и Янко Сибинянин (6 песен). В прозе и стихах автор подробно излагает биографию Скендербега, воспевая его преданность христианской вере и любовь к свободе.

Далее, также в прозе и стихах (3 песни), А. Качич-Миошич излагает историю падения Константинополя. И лишь после этого он обращается к событиям XV–XVII вв. на хорватских землях (песни 48–136), которые, таким образом, оказываются органично вписанными в европейский исторический процесс. Писатель как бы складывает из мелких деталей гигантскую мозаичную картину прошлого, размещая каждый кусочек смальты (т. е. отдельный исторический сюжет) строго на своем месте. Причем, борьба хорватов (далматинцев) с турками описана настолько подробно и достоверно, что, по признанию современных исследователей, нет ни одного более или менее значимого события в 250-летней истории войн с турками в Далмации, о котором бы не упомянул А. Качич-Миошич⁴⁸. И в этом смысле его произведение является ценнейшим историческим источником.

Воспевая героическое прошлое, писатель рисует в целом трагическую картину бытия славянских народов под иноземным игом. Ведь каждая смертельная схватка или гибель в кровавой битве несут горе и печаль в семьи героев. Но близкие не имеют права скорбеть о павших, защита Родины — долг каждого, а лучшая смерть — в бою. Не радости жизни ожидают детей, а яростное противостояние врагу под стенами той или иной крепости. Многие песни состоят из перечислений, кто, каким образом и сколько уничтожил врагов.

В конце книги автор еще раз подчеркивает необычную судьбу «словинского» народа, осужденного на постоянные переселения и разлуки. Трагедия усугубляется тем, что славянам-христианам приходится сражаться с людьми своей же крови, с теми, кто принял ислам.

В своих песнях А. Качич-Миошич в основном использует свойственный эпике десятисложный стиль; он часто применяет такие приемы народной поэзии, как устойчивые синтагмы («желтые дукаты», «нарядные сваты», «девушка-красавица», «сине море» и др.), частые повторения, одинаковые начальные и завершающие строки. Но в отличие от народных все песни А. Качича-Миошича поделены на строфы (катрены), а некоторые из них рифмованы. Отметим, что в последующих переизданиях «Задушевной беседы...» историческая проза зачастую опускалась; многие песни А. Качича-Миошича стали народными и как таковые печатались в других сборниках.

«Задуманная беседа...» сразу вошла в европейскую литературу. В течение 1770–1780-х гг. эпические песни А. Качича-Миошича полностью переводятся на латинский (Е. Павич), частично на итальянский (А. Фортис) и немецкий (И. Гердер) языки. Третье, последнее в XVIII столетии издание «Задуманной беседы...» было осуществлено в 1780 г. Зато в XIX в. произведение А. Качича-Миошича печаталось очень часто, практически каждые несколько лет в типографиях Венеции (до 1811 г., одно издание в Анконе), Задара, Дубровника, Загреба (большинство изданий), Осиека, Сиска — всего 28 изданий (и это только на латинице)!⁴⁹

В 1818 г. в Буде Гаврило Ковачевич издал «Задуманную беседу...» на кириллице, заменив икавицу экавицей и внося славяносербские выражения. В 1849 г. была напечатана подборка песен из нее с красноречивым названием «Сербские народные героические песни Андрии Качича». Всего же на кириллице до 1939 г. «Задуманная беседа...» издавалась 12 раз⁵⁰.

А. Качич-Миошич оказал значительное влияние на творчество деятелей хорватского национального Возрождения. П. Прерадович использовал «Задуманную беседу...» как учебник родной речи. Многие исследователи отмечают влияние А. Качича-Миошича на произведение И. Мажуранича «Смерть Смаил-аги Ченгича».

Во второй половине столетия деятели далматинского Возрождения считали, что литературный язык должен основываться на устной народной традиции штокавской икавицы, а в качестве наиболее характерного примера приводился язык «Задуманной беседы...». Именно произведение А. Качича-Миошича, сама его личность стали знаменем борьбы за национальное Возрождение, за объединение Далмации с Хорватией.

В декабре 1860 г. отмечалась 100-я годовщина со дня смерти А. Качича-Миошича. В Задаре был создан Организационный комитет по празднованию этой даты. Положительные ответы на приглашение участвовать в мероприятиях были получены из Загреба, Вены, Карловца, Сплита, Риеки, Макарска и многих других городов практически всех хорватских областей. В Вене день празднования превратился в манифестацию общеславянского единства. В большинстве крупных хорватских городов годовщина отмечалась в основном в кругу интеллигенции. Напротив, в Макарске, Сине, Шибенике и в некоторых других далматинских городах и селах праздник стал общенародным — с плясками, песнями и состязаниями в боевых искусствах. В Задаре опубликовали посвященный писателю литературный сборник⁵¹, куда вошли и стихи П. Прерадовича о А. Качиче-Миошиче:

Сколько бы ни было в мире певцов,
Поющих славу своей стране,

Но никого славянский народ
Не любит так, как тебя.

В конце 1880-х гг. была, наконец, оформлена надлежащим образом могила А. Качича-Миошича в Заостроге, а на надгробной плите высечены стихи Г. Пуратича:

Мир тебе, старче Милован,
всем хорватам подарил ты «Писмарицу»,
а наши грехи открывает нам твоя «Ноева ладья»,
пока не поднимется заря лучшего дня.
Хладную плиту над твоими останками
свято хранит благодарный народ.

В августе 1890 г. в Макарске был открыт памятник А. Качичу-Миошичу, воздвигнутый на народные пожертвования⁵². По замыслу автора, известного скульптора И. Рендича, его постамент должны были украшать гербы всех славянских стран, которые упоминаются в «Задушевной беседе...». Однако австрийские власти воспротивились этому, и в знак протеста скульптор не приехал на торжественную церемонию открытия своего творения. Рельеф гербов был воссоздан на постаменте лишь в 1922 г. И по сей день этот памятник украшает центральную площадь Макарски.

Интересно, что до нас не дошло ни одно прижизненное изображение писателя, и те многочисленные хорватские художники, которые обращались к его личности, вынуждены были руководствоваться своей интуицией. Иногда в их произведениях он выглядел похожим на святого, иногда подчеркивались бунтарские черты его характера. Наиболее впечатляюще изобразил А. Качича-Миошича знаменитый скульптор И. Мештрович, который, как и многие другие хорваты того времени, учился родному языку по песням «Задушевной беседы...». А. Качич-Миошич представлен в виде молодого гусяря, целиком погруженного в игру. Кстати говоря, это не фантазия скульптора. После смерти писателя в его монашеской келье действительно были найдены гусли, очень популярный на Балканах народный инструмент. Скульптура И. Мештровича установлена в родном городке писателя — Бристе, а ее гипсовая копия — в заострожском монастыре.

Через год будет отмечаться 250-я годовщина с момента публикации первого варианта «Задушевной беседы славянского народа» (1756). Кроме полного издания на латыни, песни «Задушевной беседы...» публиковались на болгарском, македонском, польском, русском, чешском, а также на албанском, итальянском, немецком, французском и других европейских (всего 13) языках⁵³. В 1954 г., в 250-ю годовщину со дня рождения писателя, хорватский эмигрант родом из Бриста на свои деньги напечатал «Задушевную беседу...» в США. Тогда же в заострожском монастыре Св. Марии был основан

Архив А. Качича-Миошича, в котором хранятся все документы, связанные с жизнью и творчеством великого хорвата.

2004 год был провозглашен в Хорватии годом А. Качича-Миошича. В рамках празднования юбилея писателя в Заостроге в апреле состоялся фольклорный фестиваль. В нем приняли участие, в том числе, и представители общественности и фольклорные коллективы из Метковича на Неретве, которые прибыли в Заострог морем, повторив последнее предсмертное путешествие А. Качича-Миошича.

В октябре в Загребе, Макарске, Мостаре, Заостроге, Бристе под патронатом Хорватской Академии наук и искусств (HAZU) прошли заседания Международной научной конференции, посвященной славной годовщине. Были переизданы сочинения писателя, в том числе и хорватский перевод «Перипатетических категорий». В Макарске уже во второй раз состоялись международные литературные «Встречи Качича». В хорватских школах и гимназиях прошли конкурсы на знание родного языка и народной эпической поэзии. Перечень мероприятий можно продолжать и продолжать...

Как уже отмечалось выше, первое печатное издание «Задушевной беседы...» на кириллице было осуществлено только в 1818 г. Однако задолго до этой даты эпические песни А. Качича-Миошича начали распространяться среди православного населения Балкан в списках (такой список на кириллице есть в Афонском монастыре)⁵⁴. Православные монахи, оценив значение труда хорватского писателя, взяли на себя нелегкий труд распространения среди широких масс этого выдающегося для своего времени произведения.

Один из кириллических списков «Задушевной беседы...» хранится в Отделе рукописей Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург)⁵⁵. Как он оказался в России? Неизвестный переписчик прислал его Г. А. Потемкину. В сопроводительном письме выражается надежда, что Г. А. Потемкин поможет издать этот труд в России. К сожалению, автор подписался лишь как «препонизни и умилятии слуга из Херцег-Новога», не указав ни своей фамилии, ни даже месяца и года подготовки рукописи.

Датировка оказалась возможна лишь на основании приводимых автором титулов Г. А. Потемкина (с. 3–4). Обширный их перечень, занимающий целую страницу, правильные наименования даже сложных в написании и произношении званий — все это заставляет предположить близкое знакомство автора с событиями российской жизни второй половины XVIII в. Приводятся все без исключения титулы и должности тогдашнего всесильного фаворита Екатерины II, полученные им до лета 1776 г. Однако автор списка, подробно перечисляя все российские и иностранные награды Г. А. Потемкина, не упоминает об очень важном в орденской иерархии империи ордене Св. Владимира, которым Светлейший был награжден третьим

в государстве (после самой Екатерины и Павла) в декабре 1782 г.⁵⁶ Кроме того, Г. А. Потемкин именуется генерал-аншефом, а не генерал-фельдмаршалом — данное звание ему было присвоено лишь в январе 1784 г.⁵⁷ Все это позволяет определить период написания и отправки рукописи как лето 1776 — декабрь 1782 г., т. е. спустя 15–20 лет после смерти автора «Задуманной беседы...».

Перед нами, видимо, один из первых кириллических вариантов (списков) произведения А. Качича-Миошича.

Предварительный сравнительный анализ рукописи и оригинала, проведенный автором данной статьи на примере произвольно выбранного стихотворения «Pisma od Kaštela Drvenika u Gornjem pri-
mođu, kako ga osvojiše Turci na 15 aprila 1687»⁵⁸, позволяет сделать определенные выводы. В целом, переписчик сохранил стилистику, языковой строй стихов, но икавское написание везде заменено экавским или — кое-где — иекавским. Вместе с тем некоторые строки и обороты изменены, а отдельные слова просто пропущены⁵⁹.

Логично было бы предположить, что автор списка постарается перевести текст на русский язык. Однако перевод как таковой отсутствует: оставлены, в частности, непонятные русскому читателю слова «кула», «пусто благо», «вади», «момче» и т. д. И лишь одно слово переведено четко: «gvardijan» — «игумен». Это, в какой-то мере, может служить свидетельством того, что автором рукописи был человек, близкий к церкви, скорее всего, кто-то из местных православных монахов. Кстати, старинный монастырь Св. Савы близ Герцег-Нови действует и по сей день.

Переписка произведения А. Качича-Миошича — огромный труд сам по себе! — наверняка заняла не один месяц. Может быть, и переписчиков было несколько. Эта работа (скорее всего, она была совершена раньше указанных дат) и отправка рукописи в Санкт-Петербург, вероятно, производились по благословению главы обители во имя общеславянского единства.

Загадки петербургского документа еще ждут своего решения. Главная заслуга А. Качича-Миошича заключается в том, что в условиях засилья латинского, немецкого и итальянского языков в общественной жизни хорватских земель он стал первым, кто создал на простом и понятном для всех хорватов языке крупное литературное произведение, почти сразу ставшее классическим и буквально общенародным. Огромная популярность «Задуманной беседы славянского народа» на всех хорватских территориях во многом обусловила выбор деятелями иллиризма в XIX в. штокавского наречия как основы для единого хорватского литературного языка. Критически важным для его формирования, по мнению хорватских историков литературы, стал именно период второй половины XVIII в.⁶⁰ — время, когда творил А. Качич-Миошич.

Закончить данную статью хотелось бы замечательными словами видного русского слависта XIX в. М. И. Касторского: «Книга Качича есть одна из тех редких книг, коим судьба предоставляет воспитание и развитие духа народного: она заменяет самым наглядным образом для славянина южного как знатного, так и простого Историю его отечества; с ее точки зрения народ смотрит и на всемирную историю; Качич есть учитель нравственности, честности, с другой стороны, храбрости и ненависти против турок, притеснителей славян... Его книга принадлежит всем южным славянам»⁶¹.

Это высказывание более чем 160-летней давности о «Задушевной беседе...» как об общей для всех южнославянских народов духовной ценности не только не утратило своей силы, но обрело еще большую значимость и актуальность в наши дни, в первом десятилетии XXI в.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ *Despot I. Kačić i Hrvati // Dragoljub ili Upisnik Kalendar za javne urede <...> sa književnim darom za prostu godinu 1885. Zagreb, 1885. S. 66.*
- ² *Mladen Veža — slikar Makarskog Primorja // Makarska rivijera info. Zagreb, 2002. Br. 2. S. 28.* В хорватской литературе принято указывать только первую фамилию: Kačić. Обе фамилии приводятся, в основном, когда указывается имя поэта. Но даже в этом случае они пишутся без дефиса.
- ³ *См.: Bujas G. Kačićevi imitatori u Makarskom primorju do polovine 19. stoljeća // Građa za povijest književnosti Hrvatske. Zagreb, 1971. Knj. 30. S. 7–14.*
- ⁴ «...Период 1660–1738 гг. был временем войн, голода и болезней» (*Despot Ž. Najstarija sačuvana matica krštenih u franjevačkom samostanu u Zaostrogu // Kačić: Zbornik Franjevačke provincije Presvetog Iskupitelja. Split, 1993. Sv. 25. S. 96.*)
- ⁵ *Alaupović-Glejdum D. O običajima životnog ciklusa u tradiciji Gornjega makarskog primorja // Hrvatski Rasadnik: Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac–Zaostrog, 26.9–27.9 1996. Zagreb, 1999. S. 207.*
- ⁶ *Akrap A. A. Život i rad fra Andrije Kačića Miošića s posebnim osvrtom na znanstveno istraživanje dr. fra Karla Eterovića // Viterska Vila. Glasilo Društva Zaostrožana. Zagreb, 2003. Br. 5. S. 22.* «Viterska Vila. Glasilo Društva Zaostrožana» («Витерская вила. Орган Общества заострожан») — краеведческий ежегодник, издаваемый с 1998 г. неформальным объединением «Общество заострожан». Заострог — старинный маленький (350 жителей) городок на Макарской ривьере в Далмации, примерно на полпути между Сплитом и Дубровником. Витер — гора над Заострогом, высота над уровнем моря 770 м. Общество основано в конце 1996 г. с целью «собрать и хранить богатое культурное наследие нашей родины», «сделать его доступным для всех». Сейчас оно объединяет около 100 человек,

- нынешних и бывших заострожан, живущих в разных странах. Поскольку жизнь и творчество А. Качича-Миошича неразрывно связаны с Заострогом, практически в каждом номере ежегодника традиционно публикуются материалы о нем (оригинальные статьи или факсимильные копии работ известных хорватских историков). Общество организовало несколько научных, в том числе и международных конференций, посвященных знаменитому хорвату, выступило инициатором создания первого документального фильма о А. Качиче-Миошиче. Автору данной статьи посчастливилось присутствовать на его премьере, состоявшейся в августе 2003 г. в Заостроге. Пользуясь случаем, автор выражает сердечную признательность главному редактору ежегодника *Vitevska Vila* г-ну Ж. Деспоту (*Žarko Despot*) за помощь в подготовке данной статьи.
- ⁷ Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в. М., 2003. С. 45.
- ⁸ *Akrap A. A. Život i rad fra Andrije Kačića Miošića...* S. 23. Среди подписавших это постановление был и А. Качич-Миошич.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ *Ibid.* S. 24.
- ¹¹ В настоящее время провинция (*Provincija Presvetog Iskupitelja*) объединяет 13 в основном далматинских монастырей с примерно 350 монахами. На протяжении столетий влияние францисканцев как представителей католической церкви было очень значительным в Далмации, кроме, разумеется, периода социализма 1945–1990 гг. За последнее десятилетие XX в. на волне роста национального самосознания, позиции католической церкви (и, соответственно, ордена францисканцев) в Хорватии значительно упрочились, даже, несмотря на общий духовный упадок современного католицизма.
- ¹² *Ivičević S. Kratki životopis m.p.o. Andrije Kačića Miošića. Zora Dalmatiuska, Zadar, 1846. III. Br. 12. S. 92–93.*
- ¹³ *Šimić M. Životopis oca Andrije Kačića // Slava Starcu Milovanu. Zagreb, 1890. S. VIII–XVI.*
- ¹⁴ *Kolendić P. Godina rođenja fra Andrije Kačića Miošića // Ljetopis JAZU. Zagreb, 1917. Sv. 32/II. S. 52.* Вообще, мнения ученых XIX в. о датах рождения и смерти А. Качича-Миошича значительно разнились. Видный сербский исследователь Д. Живальевич называл годом рождения писателя 1702 (*Живальевич Дан. А. Андрија Качић Миошић словински песник // Летопис Матице српске. Нови Сад, 1892. Књ. 171. С. 5*), а П. Шафарик, например, утверждал, что писатель умер в 1783 г. (*Šafarik P. J. Geschichte der illyrische und kroatien Literatur. Prag, 1865. S. 58*).
- ¹⁵ Первым обнаружил эту запись и назвал правильные даты рождения и смерти А. Качича-Миошича профессор Белградского университета П. Колендиц (*Kolendić P. Godina rođenja...*). Его выводы чуть позже подтвердил известный далматинский историк межвоенного периода францисканец К. Этерович (*Eterović K. Fra Andrija Kačić Miošić na temelju novih istraživanja. Dubrovnik, 1923*).

- Уже в новейшее время Ж. Деспот доказал: запись о крещении Антуна Миошича находится в церковной книге именно заострожского монастыря. Интересно, что в ней, в том или ином документальном контексте, упоминаются имена и фамилии многих героев «Задуманной беседы...» А. Качича-Миошича. (См.: *Despot Ž. Najstarija sačuvana matica krštenih...*)
- 16 *Matić T. Život i književni rad Andrije Kačića Miošića // Djela Andrije Kačića Miošića. Knj. 1. Razgovor ugodni. Zagreb, 1964. Knj. 27. S. VII. Stari pisci hrvatski.*
- 17 Далматинская форма общехорватского имени Mihovil (уменьш. Miho) — Mijovil (уменьш. Mijo). От уменьшительных форм и происходят фамилии соответственно Mihošić и Mijošić. Из последней с течением времени «j» выпало, и образовалась фамилия Miošić. В целом же, прозвища по имени отца, становившиеся затем фамилиями, были очень распространены в Далмации того времени. Это объяснялось сравнительно небольшим количеством наиболее популярных мужских и женских имен (*Despot Ž. Najstarija sačuvana matica krštenih... S. 99*).
- 18 *Viterska Vila. Zagreb, 1999. Br. 2. S. 15.*
- 19 *Banović S. Priča o Kačiću (Brist u Dalmaciji) // Zbornik za narodni život i običaje. Zagreb, 1928. Knj. 26. Sv. 1. S. 187.*
- 20 *Ivičević S. Kratki životopis... S. 92.*
- 21 *Akrap A. A. Život i rad fra Andrije Kačića Miošića... S. 24.*
- 22 *Matić T. Život i književni rad Andrije Kačića Miošića... S. VIII.*
- 23 *Botica S. Andrija Kačić Miošić. Zagreb, 2003. S. 13.*
- 24 *Vončina J. Kačić i Reljković na razmeđu epoha // Kačić Miošić A. Razgovor ugodni naroda slovinskoga; Reljković M. A. Satir iliti divlji čovik. Zagreb, 1988. S. 14.*
- 25 *Ivičević S. Kratki životopis... S. 92.*
- 26 *Akrap A. A. Život i rad fra Andrije Kačića Miošića... S. 24. III. Томашевич пробыл в должности Провинциала очень недолго: уже в следующем 1728 г. он скончался от инсульта.*
- 27 «Красавица ты, Сава, прекрасны твои воды; везде, где ты протекаешь, плодоносит земля. А еще красивее на твоих берегах белые города — они подобны лебединой стае. Но один из них — соколиное гнездо, испокон века владение воеводы Секулы, Кобаш-село — колыбель героев, разящей турок грозы». Здесь и далее цит. по кн.: *Kačić Miošić A. Razgovor... 1988. S. 632.*
- 28 *Vončina J. Kačić i Reljković... S. 13.*
- 29 С. Ботица пишет, что с 1728 по 1730 гг. А. Качич-Миошич учился в Италии (*Botica S. Andrija Kačić Miošić... S. 13*), хотя Ж. Деспот нашел в заострожской церковной книге запись 1729 г. об отпевании А. Качичем-Миошичем одного из местных жителей. (*Despot Ž. Najstarija sačuvana matica krštenih... S. 103*).
- 30 *Botica S. Andrija Kačić Miošić... cit. S. 13.*
- 31 *Ivičević S. Kratki životopis... S. 92–93.*

32. *Vončina J.* Kačić i Reljković... S. 14; *Šimić M.* Životopis oca Andrije Kačića... S. XII.
33. *Šimić M.* Životopis oca Andrije Kačića... S. XIII.
34. Ibid.
35. *Kačić Miošić A.* Razgovor ugodni naroda slovinskoga. Korabljica / Priredio J. Raklić. Zagreb, 1967. S. 11. Pet stoljeća Hrvatske književnosti.
36. *Botica S.* Andrija Kačić Miošić... S. 17.
37. *Šimić M.* Životopis oca Andrije Kačića... S. XIV.
38. Ibid.
39. «Да пребудеш в здравии, Милован! Молись Богу и этот мир оставь: все в нем ничто, все обратится в прах. Оплакивай же грехи и готовься пред Богом предстать!» (*Kačić Miošić A.* Razgovor... 1988. S. 869).
40. *Kačić Miošić A.* Razgovor... 1967. S. 274.
41. *Ivićević S.* Kratki životopis... S. 93.
42. *Kačić Miošić A.* Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Uredio T. Matić. Zagreb, 1956. S. 27.
43. *Kačić Miošić A.* Razgovor... 1988. S. 118–119.
44. *Kačić Miošić A.* Razgovor... 1956. S. 27.
45. «Если ты мне не поверишь, поднимись на гору Мосор: там увидишь кости павших турок — пеших и всадников с их лошадьми» (*Kačić-Miošić A.* Razgovor... 1988. S. 722).
46. «Еще принес он два меча их, кованные в одной кузнице; они и сейчас находятся у Ивана, в доме белом его» (*Kačić-Miošić A.*... 1988. S. 731).
47. См., например: *Pisma od ženidbe i udaje Ėamice, sestre Kastriotića // Kačić-Miošić A.* Razgovor... 1988. S. 303–305.
48. *Botica S.* Andrija Kačić Miošić... S. 93.
49. *Akrap A. A.* Fra Andrija Kačić Miošić prvi svehrvatski književnik // *Viterska Vila.* Zagreb, 2002. Br. 4. S. 34.
50. Ibid.
51. Na stolietnicu m. p. o. Andrije Kačić-Miošića dne 14 prosinca 1860 u Zadru. Zadar, 1860.
52. *Glavina F.* U slavu starca Milovana. *Viterska Vila*... Br. 4. S. 39.
53. *Akrap A. A.* Fra Andrija Kačić Miošić... S. 34. На русском языке см. очень хорошие переводы М. И. Касторского и Н. В. Гербея: *Касторский М. И.* Новые иностранные книги // Журнал Министерства народного просвещения. 1840. № 11. С. 71–98; *Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писателей / Под ред. Н. В. Гербея.* СПб., 1871. С. 239–241.
54. *Фрейдзон В. И.* Далмация в хорватском национальном Возрождении XIX в. К истории югославизма и его неудачи. М., 1977. С. 71.
55. ОР РНБ. Серб. Q. XIV № 1.
56. Жизнь князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, взятая из иностранных и отечественных источников. М., 1812. С. 63.

- ⁵⁷ *Потемкин Г. А.* От вахмистра до фельдмаршала. Сборник документов. СПб., 2002. С. 250–251.
- ⁵⁸ *Kačić Miošić A.* Razgovor... 1988. S. 792–795.
- ⁵⁹ Например: оригинал, 17 строка: «sve otide malo i veliko», рукопись: «све остаде мало и велико»; оригинал, 20 строка: «već robiže uz Primorske stine», рукопись: «негъ побеже на приморских страни»; оригинал, 97 строка: «on'liko je Turak pogubio», рукопись: «толико е туракъ погубио»; оригинал, 120 строка: «svi se pobre, natrag povratiše», рукопись: «сви се они натрагъ повратише» и т. д.
- ⁶⁰ Эта точка зрения на самом деле является преобладающей среди хорватских историков. Ее придерживаются такие видные ученые, как М. Комбол, Д. Брозович, И. Сламниг, И. Франгеш и др.
- ⁶¹ *Касторский М. И.* Новые иностранные книги... С. 82.

Роль Русской церкви в создании независимых государств на Балканах (Черногория)

Среди факторов, которые в процессе антитурецкой борьбы влияли на создание православных государств на Балканах (Греции, Сербии, Черногории, Болгарии), важное место принадлежит военной и политической роли России. Государственное становление этих стран было самым тесным образом связано со всей русской политикой в отношении славянских народов на Балканах, которая, кроме материальной и политической поддержки их освободительным устремлениям, выражалась и в оказании помощи для сохранения духовной и культурной идентичности и национальных особенностей¹. Важное место в тех процессах занимала Русская православная церковь, так как национально-освободительный процесс балканских славян включал в себе кроме компонента борьбы за выживание и конфессиональный компонент, т. е. он развивался по линии границ религий, а защита православия как от ислама, так и от католичества представляла собой вид сохранения исторической идентичности этих народов.

Более отчетливо, чем в других славянских странах на Балканах, влияние Русской православной церкви было выражено в Черногории. Причина состояла в том, что в Черногории носителем национально-освободительных процессов и процессов становления государственной власти была церковь, т. е. Цетинская митрополия. И до первых контактов с Россией она была самым известным центром национально-освободительной борьбы и серьезным фактором сопротивления установлению турецкой власти. Этот факт сам по себе объясняет более значимую посредническую роль Русской церкви в политике русского правительства по отношению к Черногории по сравнению с другими балканскими странами.

В своей деятельности на национально-политическом поприще Цетинская митрополия стремилась отстоять два фактора — церковь и государство, т. е. уберечь православие от растворения в исламе и защитить идею о сербском средневековом государстве и его обновлении. Когда Зета попала под османскую власть, в его специфическом племенном обществе, церковь была единственным институтом раннего государства, которая могла подняться над местными и групповыми интересами и стать соединительной нитью между сохраненными формами духовной жизни и начавшимся процессом строительства государственной власти. Ее, как Зетскую епархию, основал

Святой Савва в 1219 г., а в 1346 г. она получила статус митрополии². После завоевания отдельных областей Турцией местопребывание митрополии перемещалось из Приморья все глубже внутрь страны, в высокогорные районы Черногории. Хотя митрополия была окружена со всех сторон неприступными горами, ее церковная власть распространялась и на районы, которые были не только составной частью Османской империи, и на области Венецианской республики, которые позже отошли к Австрии. И после турецких завоеваний Цетиньская митрополия осталась важным центром духовной жизни. Но в ней «сохранялась и развивалась не только идея веры», но и политическое сознание необходимости освободительной борьбы и обновления государства. Определением православия на «крест честной» народ защищался от растворения в исламе, поэтому монастыри, «как повсюду в сербских землях», были не только местом народного богомолья, но и «пристанищем в тяжелой борьбе»³. На этой религиозной и национально-освободительной значимости церкви, т. е. Черногорско-приморской митрополии, возникли основы государственного порядка в Черногории. В нем с первого взгляда нельзя не признать некоторых черт теократии, но по своей сути религия не была определяющим фактором, как это подразумевается в государствах теократического типа. Теократия в Черногории была приспособлена к специфическим условиям ее освободительной борьбы и возникновения первых органов государственной власти.

На специфике внутренней жизни Черногории базировались и ее отношения с Россией. Указанное положение Цетиньской митрополии было определяющим фактором, который повлиял на то, что в русско-черногорских связях важное место заняли церковные отношения. Тем самым в русской политике в Черногории ярко высветилась и роль Русской православной церкви.

В политике русского правительства по отношению к Черногории особая позиция Русской православной церкви проявилась с самого начала установления русско-черногорских политических отношений в 1711 г.⁴ В ней было две стороны. Одна — материальная, которая выражалась в регулярных денежных и других поступлениях Черногорско-приморской митрополии от Святейшего Синода Русской православной церкви; другая — духовная и политическая, которая проистекала из заступнической роли Русской церкви по отношению к Цетиньской митрополии, что укрепляло не только религиозный, но и политический авторитет митрополии как среди черногорцев, так и среди соседних брдских и герцеговинских племен и приморских областей. Хотя процесс превращения Цетиньской митрополии при опоре на Россию в сильный национально-освободительный фактор не проходил без застоя и колебаний, его постоянное развитие можно наблюдать на протяжении всего XVIII в.

Начало процессу положил отклик черногорцев на призыв русского царя (1711 г.) подняться с оружием против турок, а официальные рамки определились после неудачного Прутского похода и разорения Черногории, которое затем последовало, во время миссии владыки Данилы Петровича в Россию в 1714 г.⁵ В грамоте русский царь Петр Алексеевич выразил благодарность черногорцам за храбрость, проявленную в борьбе против «общего врага христианства», а также выделил материальную помощь: 5 тыс. руб. предназначались народу, а 5 тыс. — Владыке на покрытие расходов войны 1711—1714 гг.⁶ Царская грамота установила Цетиньской митрополии постоянные субсидии в 500 руб., которые русский Святейший Синод должен был выплачивать один раз в два года. Именно так была установлена постоянная официальная связь между Цетиньской митрополией и Русской православной церковью. Несмотря на временные задержки в выплате денежных средств, она не прерывалась на протяжении всего XVIII в., что было очень важно для внутренней жизни церкви и для сохранения духовной идентичности народа. Кроме помощи деньгами предполагались дарения в виде церковной одежды, утвари и церковных книг. Хотя перерывы в благодеянии были вызваны разными причинами, прежде всего удаленностью России, или попытками Черногории найти новую опору в своей национально-освободительной борьбе, оно представляло собой самый значительный фактор в сохранении религиозной и упрочении национально-освободительной функций митрополии. Например, одобренная в 1718 г. денежная дотация Цетиньскому монастырю, посланная через Венецию в 1721 г. посредством архиерея Леонтия, который в Санкт-Петербург приезжал «по своим делам»⁷, запоздала на 23 года, вплоть до приезда нового черногорского митрополита Саввы в Россию в 1743 г.⁸

Тогда в октябре 1743 г. митрополиту Савве кроме запоздалых денег для Цетиньского монастыря в сумме 7500 руб. была выдана митра и другие церковные вещи, несколько золоченых чаш, книги, необходимые для церковной службы. По указанию Елизаветы Петровны государственная канцелярия, кроме того, выплатила владыке Савве 3 тыс. руб. для раздачи черногорскому народу и 1 тыс. руб. на покрытие его дорожных расходов⁹.

Особый взлет черногорско-русские отношения претерпели во время посещения русского двора Василием Петровичем, коадьютором¹⁰ владыки Саввы, возведенным в чин митрополита в Белграде 22 августа 1750 г. печским патриархом Афанасием II. Тогда же он получил и титул «экзарха печского трона»¹¹. Из трех его поездок в Москву наиболее успешной была первая. Искренне уверенный в важности собственной миссии и огромном значении черногорцев для борьбы России и православных народов против Османского

царства, он смог создать в русском дворе удивительную картину о Черногории, но не такую, какой она была на самом деле, а такую, какую он желал видеть в своих мечтах¹². Хороших результатов во время своей первой поездки Василий достиг благодаря личным качествам, а также письму, подписанному печским патриархом Афанасием II и владыкой Саввой Петровичем. С письменным поручительством сербского патриарха он мог действовать официально «как служебное лицо и от имени сербской православной церкви обратиться к Русскому православному Синоду и двору»¹³. Тем самым это посещение имело более официальный вид, чем визиты его предшественников Данилы и Саввы. Представляя Черногорию как «принципатство», которое имело власть «над огромной территорией и большим количеством народа», он пытался убедить влиятельные круги в России в том, что Черногория — единственная страна на Балканах, достаточно большая и сильная, чтобы объединить все балканские народы в борьбе против Османской империи. Эти идеи нашли свое отражение в его книге «История о Черной Горе», напечатанной в России в 1754 г.¹⁴ Статус свободной страны, по его мнению, Черногория должна получить царской грамотой, т. е. «включением в титул Ее Императорского Величества принципата черногорского». Он выдвигал и другие проекты — о строительстве малых словенских школ в Черногории, открытии университета, о дарении книг и церковной одежды.

Поскольку после пребывания митрополита Саввы в России в 1743 г. помощь Цетиньской митрополии не выплачивалась, то указом Синода Московской синодальной канцелярии было решено, что в соответствии с грамотой Петра Великого от 1715 г. Цетинскому монастырю выплатить субсидии за все предшествующие годы в размере 1 666 руб. В соответствии с Указом царицы Елизаветы Коллегия иностранных дел выделила Святейшему Синоду 5 тыс. руб. на обновление церквей в Черногории. Владыке Василию было выдано 2 тыс. руб. на дорожные расходы, дарована архиерейская одежда и предметы церковного обихода¹⁵. Единственным, но необычайно важным решением политического характера было согласие на просьбу о защите Черногории «от султана турецкого и его воли». Тем самым Россия впервые обязалась защищать интересы Черногории перед Османской империей¹⁶. Общий успех миссии был еще больше усилен решением императрицы в знак особой милости и благодарности подарить владыке еще 1 тыс. руб. и панагию с дорогими украшениями.

По возвращении в Черногорию привезенные денежные средства владыка Василий тратил на помощь церквям. Раздача русских церковных книг и денежной помощи способствовали вытеснению венецианского влияния в Черногории и утверждению сознания

о том, что уже созрели условия для разрыва отношений с Турцией с помощью России. Таким своим поведением он вызвал вооруженное столкновение с турками. Последствием было то, что в начале 1756 г. Россия впервые в истории русско-черногорских отношений через своего дипломатического представителя в Царьграде А. М. Обрескова хлопотала перед Портой о защите интересов Черногории¹⁷.

Вторая миссия владыки Василия в Петербурге в 1758 г. носила несколько другой характер. Во-первых, он собрался в Россию в период завершения русско-турецких столкновений и выезжал из страны тайно, а во-вторых, к тому времени уже произошли изменения в отношениях русских официальных властей к его просьбам. Тем не менее Святейшему Синоду было поручено в соответствии с грамотой Петра Великого выдать положенную помощь Цетиньскому монастырю за прошедшие шесть лет в сумме 3 тыс. руб. Дополнительно Святейший Синод выдал еще 1 320 руб.¹⁸ Было принято решение и о выделении 15 тыс. руб за 1760 г., но, чтобы они не тратились без контроля, было приказано, чтобы деньги и грамоту в Черногорию отвез советник С. Пучков¹⁹. Деньги должны быть употреблены для упрочения «внутреннего порядка». Между тем миссия С. Пучкова имела отрицательные последствия для владыки Василия, которого он посчитал главным виновником и клеветником, расширившим ложные сведения о Черногории. Пучков разочарованно писал, что там он «ничего хорошего и красивого не увидел». Его сообщение осложнило русско-черногорские отношения, поэтому третья миссия владыки Василия смогла состояться только после перемен на русском престоле²⁰. Во время поездки он разболелся и умер в конце марта 1766 г. Он был похоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. После смерти владыки по решению царицы в Черногорию был направлен специальный курьер поручик Михал Тарасов, чтобы передать владыке Савве и черногорскому народу вещи, которые остались от владыки Василия — подаренную архиепископскую одежду, митру, предыдущими грамотами одобренные две панагии, а также задержавшуюся на шесть лет помощь Цетиньскому монастырю²¹.

Духовные и церковные связи, которые Цетиньская митрополия поддерживала с Петербургом и русской церковью, были на таком уровне, что позволили Цетиньской митрополии после упразднения Печской патриархии в 1766 г. начать специфическое развитие, существенно отличающееся от остальных частей сербской православной церкви в Османской империи. После упразднения Печской патриархии ее епархии попали под юрисдикцию Вселенской патриархии²². Но этого не случилось с Цетиньской митрополией, которая в некотором смысле приобрела самостоятельность. Только «Епископы Епархии Черногории не признали ни турецкую, ни греческую власть

и не находились в зависимости от них»²³. Благодаря этому Вселенская патриархия не могла повлиять на выбор цетиньских митрополитов и назначить на то место грека, как во всех других епархиях сербской православной церкви. Это был факт большого значения для продолжения освободительной борьбы и государствообразующих процессов в Черногории, в которых главную роль играли владыки из дома Петровичей. В связи с тем, что Цетиньская митрополия не подчинялась Царьградской патриархии, она опиралась на Русскую церковь. После упразднения Печской патриархии черногорские митрополиты рукополагались в Карловацкой митрополии, а с 1833 г. — русским Святейшим Синодом²⁴.

По мнению некоторых авторов, «это был своеобразный вид выделения из рамок главной церкви, т. е. приобретения самостоятельности»²⁵. Этим «были канонически прерваны связи Цетиньской митрополии с Сербской православной церковью»²⁶.

Давно существуют и противоположные мнения, в соответствии с которыми все части Сербской православной церкви в рамках Османской империи после назначения печским патриархом грека Калиника насильственно подчинены Вселенской патриархии, а только Цетиньская митрополия осталась свободной и сохранила «церковно-правовой континуитет и традиции Сербской Печской патриархии»²⁷, неся в себе ее автокефалию. В качестве подтверждения этой точки зрения приводится тот факт, что «Черногорская митрополия никогда не признала насильственный акт о так называемой ликвидации Печской патриархии 1766 г.»²⁸, а также то, что, освободясь из двухлетнего заточения на острове Кипр, печский патриарх Василие Бркич до конца 1769 г. находился в Черногории, осуществляя каноническую власть, что никто никоим образом не оспаривал. Наоборот, по желанию митрополита Саввы и Шчепана Малого «патриарх Василие рукоположил Арсения Пламенаца»²⁹, который впоследствии, после смерти Саввы, непродолжительное время выполнял в Черногории обязанности владыки.

В подтверждение того, что Цетиньская митрополия стремилась не к получению самостоятельности и установлению собственной автокефалии, а к восстановлению нормального положения в Печской патриархии, приводится и письмо, которое митрополит Савва от имени всех епископов Сербской церкви направил 26 февраля 1776 г. московскому митрополиту Платону. От имени славяно-сербского народа, находящегося под турецким игом, он просил Русский Синод «поднять престол Печской патриархии», т. е. урегулировать ситуацию, сложившуюся из-за поступков Царьградского патриарха и его Синода, которые прогнали епископов-сербов и заменили их греками. Он предлагал, чтобы вместо умершего патриарха Бркича «на сербский престол» был назначен архимандрит Аввакум, и согла-

шался, чтобы Сербская церковь была под Русским Синодом, и чтобы сербские епископы назначались с его согласия, и даже на то, чтобы, если нужно, «Печским епископом был русский архиерей»³⁰.

То, что начало самостоятельности Цетиньской митрополии самым тесным образом было связано с Русской церковью, можно подтвердить примерами и с одной, и с другой стороны. Так, сознание о значении Русской православной церкви было так развито в духовной жизни Черногории, что в некоторых проектах о ее государственном устройстве, как, например, от 19 мая 1798 г., кроме прочего было записано: «каждого народом вновь избранного митрополита необходимо представить Св. Синоду в Петрограде, который подтвердит его назначение»³¹. Тем самым была проявлена решительность в ориентации на Русскую православную церковь, а не на Вселенскую патриархию в очень важном деле назначения новых духовных лидеров.

Вместе с тем, русский Святейший Синод при проведении русской политики иногда проявлял тенденцию относиться к черногорским митрополитам как к духовным лицам своей церкви. Это видно на примере противодействия усилению французского влияния в Черногории, которое было ярко выражено в 1803 г. Кроме создания специальной миссии графа Марка Ивелича русское правительство цели своей политики в отношении Черногории продолжало осуществлять и через Святейший Синод³². Руководство Синода критически высказывалось в адрес черногорского митрополита по вопросу исполнения церковных обязанностей, приняв решение «представить его перед своим судом, чтобы он мог опровергнуть упомянутые доносы и оправдаться, если ощущает свой грех, чистым покаянием»³³. В противном случае ему угрожали лишиться церковного звания, а «православный народ черногорский и брдский» призвать выбрать себе «другого достойного высшего пастыря, послав его в Санкт-Петербург на хиротонисание»³⁴.

Ожидания Святейшего Синода устранить Петра и на его место поставить нового митрополита не оправдались. В письме Синоду, русскому царю и Коллегии иностранных дел черногорцы подчеркивали, что после упразднения Печской патриархии митрополит Цетиньской митрополии был независимым от власти других церквей³⁵.

Такая позиция соответствовала факту, что после упразднения Печской патриархии Цетиньская митрополия была неподвластна Царьградской патриархии, но опиралась на Русскую церковь.

И хотя спор по этому вопросу вскоре был преодолен, осталось неясным, чьи позиции возобладали. Во всяком случае, черногорский владыка не появился перед синодальным судом Русской церкви и не был разжалован в звании.

Особая позиция Цетиньской митрополии, которая основывалась на том, что действительно не зависела ни от одной другой церкви, ни в коей мере не ставила под вопрос ее прежнее каноническое устройство. Как таковая она осталась точкой опоры в сохранении религиозной и национальной идентичности черногорцев и всего остального сербского народа в ее ближайшем окружении. Вместе с тем, как центр освободительной борьбы она успела, преодолев племенной сепаратизм, объединить разрозненные силы племенного общества, внося свой вклад в результаты освободительной борьбы в конце XVIII в. После побед при Мартиничах и Крусах в 1798 г. Черногория *de facto* перестала быть составной частью Османского царства. Это создало условия для того, чтобы процесс формирования и упрочения первых органов государственной власти стал событием огромной исторической значимости. В тех процессах главную роль играла Цетиньская митрополия, т. е. ее митрополиты и прежде всего владыка Петр Первый Негош. Кроме того, что он был автором первых текстов законов «Стега» и «Законник общий Черногории и Брды», во время его правления был создан и первый орган государственной власти — «Правительство суда черногорского и брдского».

Начатые процессы государственного строительства продолжил владыка-поэт Петр II Петрович Негош, создав Сенат и орган, имевший черты исполнительной власти. Продолжение этого процесса, который вел в направлении строительства современных государственных институтов, потребовало перехода к светскому аппарату государственной власти, что и произошло после провозглашения Черногории княжеством в 1852 г.³⁶

В центре всех перечисленных процессов находилась Цетиньская митрополия. Ее специфическое историческое развитие по сравнению с другими епархиями Сербской православной церкви сделало ее ключевым фактором не только в духовной жизни черногорцев и в итогах освободительной борьбы, но и в формировании органов государственной власти. В достижении таких исторических позиций Цетиньской митрополии самым важным фактором была поддержка России, в рамках которой, как мы видели, особое место принадлежало Русской православной церкви. Перед исторической наукой стоит задача исследовать вопросы влияния православных церквей, включая и русскую, на создание славянских государств на Балканах.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999; Россия и Балканы. Из истории общественно-политических и культурных связей (XVIII в.—1878 г.). М., 1995.

- ² Азбучник Српске православне цркве. Приредио Слободан Милојевић. Београд, 1933. С. 295.
- ³ *Вешовић Р.* Улога црквених поглавара у народном животу и историји Црне Горе. Ловченски одјек. Цетиње, 1925, април–мај. С. 10.
- ⁴ *Станојевић Г.* Црна Гора у доба владике Данила. Цетиње, 1975. С. 15.
- ⁵ *Павићевић Б.* Владика Данило у Петрограду 1715 године // Зборник радова Михаилу Лалићу у част. Титоград, 1984. С. 13; *Томић Ј.* Поход Нуман-паше Буприлића на Црну Гору (1714) // Глас српске краљевске академије. Београд, 1932. С. 48–78.
- ⁶ *Павичевић Б.* Владика Данило у Петрограду (1715)... С. 33–34.
- ⁷ *Станојевић Г.* Црна Гора у доба владике Данила... С. 126.
- ⁸ *Павићевић Б.* Владика Сава Петровић у Русији (1714–1744) // Историјски часопис. Књ. XIV–XV. Београд, 1965. С. 95.
- ⁹ Архив внешней политики Российской империи (АВПР). Ф. «Сношения России с Сербией» 1743. Д. 1. Л. 174–176.
- ¹⁰ Коадьютор — в православии викарий.
- ¹¹ *Станојевић Г.* Митрополит Василије Петровић и његово доба (1744–1760). Београд, 1978. С. 68.
- ¹² Там же.
- ¹³ Политические и культурные отношения России с югославянскими землями в XVIII в. М., 1984. С. 159–160.
- ¹⁴ Историја о Црној Гори. Митрополит Василије Петровић. Превео Р. Маројевић. Цетиње; Титоград, 1985.
- ¹⁵ Политические и культурные отношения... С. 177–178.
- ¹⁶ В записке Коллегии иностранных дел о позиции русского правительства в связи с просьбой Черногории защитить ее от посягательства Турции и Венеции и об оказании денежной помощи от 8 марта 1754 г. сказано: «По его же прошению о защищении Черной Горы от султана турецкого, дабы на оную не воевал, не оставится во особое уважение принять и при надежном случае в пользу чернагорского народа при Порте Оттоманской заступление учинить». (Политические и культурные отношения... С. 196).
- ¹⁷ Политические и культурные отношения... С. 204; Историја Црне Горе. Титоград, 1979. Књ. 3. Т. 1. С. 335.
- ¹⁸ Политические и культурные отношения... С. 234.
- ¹⁹ *Томић Ј.* Митрополит Василије Петровић и мисија пуковника Пучкова у Црној Гори // Глас СКА. С. 94, 38.
- ²⁰ *Павићевић Б.* Владика Сава Петровић у Русији (1714–1744)... С. 234.
- ²¹ АВПРИ. Ф. «Сношения России с Черногорией» (1765–1769). Д. 15. Л. 128.
- ²² См.: *Руварац Д.* О укинућу Пећке патријаршије и њеном наслеђу. Сремски Карловци, 1904; *Слијепчевић Ђ.* Укидање Пећке патријаршије (1766). Београд, 1939.

- ²³ *Јастребов И. С.* Подаци за историју Српске цркве. Београд, 1879. С. 20–21, 24.
- ²⁴ Петр I был рукоположен в Сремских Карловцах; Петр II Петрович Негош (1833), Никанор Иванович (1858), Иларион II Роганович (1863) и Митрофан Бан (1885) — в Петербурге; а предшественник последнего Висарион Любиша — в Цетинье (1882).
- ²⁵ *Веселиновић А., Љушић Р.* Српске династије. Нови Сад; Београд, 2001. С. 153.
- ²⁶ *Љушић Р.* Историја српске државности: Србија и Црна Гора. Нови Сад, 2001.
- ²⁷ *Вукичевић Ђ.* Да ли се Српска Пећка патријаршија год. 1766 канонички укинула и коначно угасила, и ко јој је црквеноправни наследник? Нови Сад, 1904. С. 1.
- ²⁸ *Дурковић-Јакшић Љ.* Одређивање међуцрквеног положаја црногорске митрополије // Историјски записи. Књ. IX. Цетинье, 1953. С. 88.
- ²⁹ *Дурковић-Јакшић Љ.* Митрополија црногорска никад није била аутокефална. Београд; Цетинье, 1991. С. 15.
- ³⁰ Там же. С. 25.
- ³¹ *Вуксан Д.* Петар Први Петровић Његош и његово доба. Цетинье, 1951. С. 74–76
- ³² *Распоповић Р.* Дипломатија Црне Горе (1711–1918). Подгорица; Београд, 1996. С. 181–186.
- ³³ АВПРИ. Ф. «Главный архив» (ГА.). 1/7. 1803–1809. Д. 4. Л. 2.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ В письмах черногорского правительства русскому Святейшему Синоду (1/13 июля 1804 г.), а также в более раннем обращении к генералу Марку Ивеличу (3/15 июня 1804 г.) абсолютно аналогичными формулировками объяснялось, что после смерти последнего печского патриарха Василия Бркича в Петербурге в 1769 г. «пресеклось бытие Патриархов славеносербских, и престол Патриарший Печский, поныне вдовствует; следовательно, что наш Господин Митрополит остался сам по себе со здешней нашей Церкви в независимости никакой власти посторонних Архиереев». (Црногорски законици (1796–1916). Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе / Приред. Б. Павићевић, Р. Распоповић. Подгорица, 1998. Књ. 1. С. 348, 361).
- ³⁶ Мњења Сената и старејшина о проглашењу Црне Горе за књажевину и Данила Станкова Петровића за књаза (7/19 1852 г.) // Црногорски законици (1796–1916). Књ. 1. С. 157.

Г. В. Макарова
(Москва)

Адмирал П. В. Чичагов и его отношение к «польскому вопросу»

Чичагов принадлежит к скорбному списку русских людей, совершивших для отечества несравненно менее того, на что они были способны и к чему были призваны.

Петр Бартенеv

В последние годы, после длительного периода историографического затишья, почти одновременно появилось несколько работ об адмирале Павле Васильевиче Чичагове (1767—1849)¹. Его имя в отечественной истории связывается прежде всего с неудавшейся попыткой взять в плен Наполеона при переходе его войск через реку Березину во время отступления из России. «Березина» стала трагическим, «роковым», во многом определившим дальнейшую судьбу моментом не только для Наполеона, но и для адмирала П. В. Чичагова.

Для того чтобы яснее представить позицию П. В. Чичагова по польскому вопросу, его отношение к польской политике Екатерины II и Александра I, следует хотя бы кратко изложить основные события его жизни, повлиявшие на становление его характера, складывание его мировоззрения. Жизненный путь адмирала — это сплошная череда контрастов: резкие переходы от наград и возвышений до падений и отставок. Такой же была и его личная жизнь — от переполненности ощущением счастья до неожиданных трагических потерь. Далеко не обыкновенной была и судьба его наследия, его архива. Отнюдь не благополучно складывалась история публикации его мемуаров. Сложным и противоречивым был и характер самого адмирала.

Одним из первых весьма детально изложил биографию П. В. Чичагова, подтвердив ее в ряде случаев официальными документами, П. И. Баранов (1827—1884). Он проделал большую работу по сбору биографических данных обо всех российских сенаторах (на 1 августа 1884 г. их насчитывалось 1082 человека, и среди них был только один адмирал — П. В. Чичагов). Оставшиеся после смерти П. И. Баранова материалы перешли к его племяннику П. Н. Семенову, который напечатал их в 1886 г. в «Чтениях ОИДР». Наиболее значительным по объему был биографический очерк об адмирале П. В. Чичагове, остающийся, пожалуй, лучшим из имеющихся по сей день². Таким образом, работа П. И. Баранова вышла под фамилией ее

публикатора — Семенова, к его чести не стремившегося «приписать» ее себе. Более краткий вариант биографии адмирала опубликовал позднее М. Дитерихс, оговорив, что излагает ее «по П. Н. Семенову»³. Но по непонятным причинам эти очерки оказались забытыми, и в дальнейшем ни один из них в литературе о Чичагове не упоминался.

Павел Васильевич Чичагов родился 27 сентября 1767 г. в Петербурге в семье бывшего тогда еще бригадным капитаном Василия Яковлевича Чичагова (1726–1809), принадлежавшего к небогатому дворянскому роду и имевшему поместье в Костромской губернии. Как писал в своих «Записках» П. В. Чичагов, отцу его от родителей досталось наследство: «душ тридцать ленивых и непроизводительных (sic! — Г. М.) крестьян с несколькими полями в окрестностях Костромы», дохода от которого он не получал и жил на свое скромное жалованье⁴. В. Я. Чичагов поступил в морское училище, обучение в котором могла позволить себе небогатая дворянская семья. Его служебная карьера складывалась успешно. Он достойно проявил себя в Семилетней войне. В 1770 г. В. Я. Чичагов стал контр-адмиралом, в 1775 г. — вице-адмиралом, в 1782 г. — адмиралом⁵. За Ревельское сражение (1790 г.) он был удостоен ордена Св. Андрея Первозванного и получил «1388 душ крестьян в Могилевской губернии»⁶. После Выборгского сражения императрица Екатерина II (первым среди моряков) наградила его орденом Св. Георгия I-й степени и пожаловала поместья в Белоруссии⁷. Когда Екатерина II узнала, что Чичагов не имеет своего фамильного дворянского герба, она «сама сочинила ему таковой» (с. 22). В своих «Записках» П. В. Чичагов писал об отце: «Я имел перед глазами прекраснейший образец добродетелей гражданских, чувств благороднейших, твердости и независимого характера» (с. 24). Такому примеру можно было следовать. В семье Чичаговых было девять сыновей, и большинство из них связали свою жизнь с флотом. П. В. Чичагов с уважением, теплотой и любовью вспоминал и свою мать: «Она была одарена многими прекрасными качествами и всегда отличалась здравомыслием и отменной верностью суждений и материнской нежностью» (там же). Вспоминая о матери, он отмечал явное с ней родство душ: «Матушка была женщина здравомыслящая и рассудительная и, как природная саксонка, передала мне, как я думаю, тот, свойственный этому племени, дух независимости, который я навсегда в себе сохранил» (с. 37). Несомненно, характеру адмирала был присущ этот «дух независимости», который принес ему в жизни немало тяжелых дней и даже лет.

Учиться П. В. Чичагов был отдан «в самую лучшую школу столицы», однако вскоре уговорил родителей, чтобы ему дали образование дома, так как знаниями на уровне школьного курса он уже овладел.

Особый интерес у него вызывала математика. «Имея некоторую свободу в выборе моих занятий, — писал он в «Записках», — я старался употребить мое время с наибольшей, как мне казалось, пользой» (с. 150). «Наследственность» повлияла на его «профессиональную ориентацию»: он выбрал «науку мореплавания». Уже в юные годы у Чичагова проявлялись целеустремленность, настойчивость и честолюбие, высокое понятие о чести, которые он пронес через всю жизнь.

Поскольку тех, кто не получил специального образования в Морском кадетском корпусе, на службу во флот не принимали, и сделать это можно было только через гвардию, то в 1779 г. П. В. Чичагова записывают в гвардию сержантом. В 1782 г. его отец был назначен командующим средиземноморской эскадрой, и в очередную экспедицию вице-адмирал взял с собой сына, произведенного уже в поручики, в качестве адъютанта⁸. Дальнейшая карьера П. В. Чичагова проходила под начальством отца, и он быстро продвигался по служебной лестнице, что не могло не вызывать зависть у служивших вместе с ним морских офицеров. Так, возникновение неприязненного отношения к нему со стороны А. С. Шишкова (доводившегося родственником М. И. Кутузову) относится еще к 1790 г., когда П. В. Чичагов удостоивается первых знаков отличия. За участие в Ревельском сражении П. В. Чичагов, командовавший тогда кораблем «Ростислав», был награжден орденом Св. Георгия 4-го класса, за Выборгское — золотой шпагой с надписью «За храбрость». Шишков за Выборгское сражение получил медаль «За храбрость» и золотую табакерку. Он был старше Чичагова, получил образование в Морском кадетском корпусе, командовал фрегатом «Николай» в составе той же самой эскадры адмирала В. Я. Чичагова. «За доставленное государыне известие о победе над шведским флотом в Выборгской губе» П. В. Чичагов был произведен в капитаны 1-го ранга — Шишков получил этот чин только в 1796 г.

Однако П. В. Чичагов не чувствовал удовлетворения и успокоенности от своей успешной карьеры. Позднее он вспоминал об этом периоде своей жизни: «Имея случай видеть вблизи несовершенства русского флота, я был ими раздражен и пламенно желал после столь долгого изучения теорий поставить себя в возможность увидеть собственными глазами практику английских моряков» (с. 525). Кроме того, Чичагов интересовал «образ правления» в Англии и он хотел использовать случай изучить его. Он считал англичан «самым свободным из всех народов» (с. 89). Чичагов уговорил отца отпустить его вместе с братом Петром в Англию для продолжения образования, тот подал прошение императору и получил разрешение на поездку сыновей за границу. 31 мая 1792 г. П. В. Чичагов был командирован в Англию «для довершения практических морских примечаний»⁹.

Отец дал рекомендательное письмо к графу С. Р. Воронцову, дипломатическому представителю России в Лондоне. Позднее с С. Р. Воронцовым у П. В. Чичагова установились дружеские отношения, и на протяжении многих лет они вели довольно регулярную переписку. Прибыв в Лондон, братья Чичаговы стали учиться в разных школах-пансионах, чтобы исключить возможность общения между собой на русском языке и постараться как следует выучить английский (с. 547). Языком они овладели, однако надежды на обретение новых знаний в морском деле оправдались далеко не полностью: книги, которые им удавалось найти; относились к вопросам торгового мореплавания, а не военного, являвшегося предметом их интереса. Братья решили приобрести практический опыт и отправились на корабле в Америку. Но и эта их попытка также не принесла успеха: капитан судна, на котором они плыли, по словам Чичагова, «оказался невежественным» (с. 548). В 1793 г., посетив на обратном пути в Россию Голландию, П. В. Чичагов продолжил службу на родине командиром корабля «София-Магдалина»¹⁰. Затем он стал командовать «Ростиславом». И, наконец, получил командование над взятым у шведов в качестве трофея «Ратвизаном», чему был очень рад, поскольку шведские корабли превосходили по своим ходовым и военным качествам русские. В 1794 г. в составе эскадры вице-адмирала П. И. Ханыкова П. В. Чичагов принял участие в совместных с английским флотом действиях в Северном море. Много лет спустя адмирал вспоминал: «Тогда-то, имея возможность наблюдать вблизи их (английских кораблей. — Г. М.) передвижение взад и вперед, быстроту и точность приемов при маневрировании, я почувствовал, что желания мои совершились и что передо мной открылось обширнейшее поле для изучения, какого только возможно было желать» (с. 587). «Могу сказать, что с моею любовью к ремеслу моему, я никогда в жизни не проводил приятнейших минут, подобных тем, в которые представился случай видеть восхитительнейшие маневры английского флота» (с. 589–590). Ему удалось добиться разрешения английского правительства ввести корабль в Чатамский док, чтобы там «обшить его медью и устроить совершенно на английский образец» (597). Чичагов стал часто посещать дом начальника порта: он любил музыку¹¹, а дочери вдовствовавшего английского капитана увлекались игрой на фортепиано и пением. Но была и другая причина — он испытывал «привязанность» к младшей из сестер, Элизабет (с. 598). «Несмотря на все мое предубеждение против женитьбы, — писал он в воспоминаниях, — я почувствовал действительно, что мне весьма трудно будет расстаться с мисс Елизаветой Проби. Я думал даже, что без нее не буду счастлив» (с. 600). Он попросил руки Элизабет, но получил решительный отказ: отец ее сказал, что он «весьма далек от желания когда-либо заключить

родственный союз с иностранцем» (с. 601). Однако и Чичагов, и мисс Проби продолжали надеяться на будущее. К этому времени корабль был отремонтирован, и Чичагов с гордостью возвращался в Россию: «Мой корабль, после обшивки его медью, вооруженный и оснащенный с возможным тщанием, сделался лучшим во флоте ходоком на парусах» (с. 602).

В 1796 г. Чичагов был произведен в капитаны бригадирского ранга — по случаю воцарения Павла. Спустя короткое время положение всех Чичаговых, ранее пользовавшихся расположением императрицы, резко изменилось. П. В. Чичагов и его братья несколько раз хотели подать в отставку, но отец не позволял им, говоря, что «честный человек должен служить и приносить пользу своему отечеству, какие бы тяжелые времена ни приходилось переживать родине». Однако, видя дворцовые интриги, направленные против сыновей, он вскоре дал свое согласие. В сентябре 1797 г. П. В. Чичагов был «уволен, по прошению, от службы тем же чином (в соответствии с существовавшей тогда традицией при уходе в отставку присваивался очередной. — Г. М.), без пенсии, по молодости лет»¹². Это было унижительно и оскорбительно. Решив покинуть Петербург, в начале декабря 1797 г. Чичагов стал готовиться к отъезду в отцовское имение, расположенное недалеко от Могилева. В это время пришло известие о том, что Проби умер и Элизабет ждет его для вступления с ним в брак (с. 640–642). Чичагов подал прошение на имя императора разрешить ему поехать в Англию для женитьбы. Ответ императора поступил незамедлительно. Он полагал, что «в России настолько достаточно девиц, что нет надобности ехать искать их в Англию». Чичагов покинул Петербург, намереваясь навсегда покончить с военной службой и заняться делами в деревне. В своих «Записках» он писал о своей внутренней готовности начать новую жизнь: «Я снял мундир с большим удовольствием и начал мечтать о деревенской жизни. В моем уме созрел целый ряд планов. Поистине, как было бы возможным быть полезным любезному отечеству, сделавшись разумным помещиком, приведя в порядок громадные земли, нам принадлежавшие, сколько отрад испытало бы сердце человека, задавшегося целью улучшить быт бедных крестьян, помогать им в их нуждах. Быть их другом, сделаться руководителем и просветителем юношества. Как хотелось мне испытать борьбу с нашим рабством и дать новое бытие закоптелым избам многих тысяч наших крестьян. Я чувствовал себя сильным, думал, что с отважным духом и великой моей любовью к отечеству, я буду в состоянии преодолеть все препятствия. Вот почему с наслаждением я снял мой мундир, предоставляя Шишковым и Баратынским искать их счастье на равнине интриг, грабительств и раболепства, уступая им право получать награды» (с. 640). Отцовское имение, в которое

он приехал, находилось в окружении соседей-поляков. Вероятно, общение с ними произвело на него определенное впечатление, поскольку он счел нужным упомянуть о нем в письме С. Р. Воронцову от 9 мая 1798 г.: «Четыре месяца, как я живу в Белоруссии, вблизи Могилева. Наши соседи — поляки, любители весело проводить время»¹³. Пока Чичагов находился в могилевском имении, его недоброжелатели довели до сведения императора, что поездка в Англию нужна Чичагову не только для вступления в брак с англичанкой, но и для осуществления намерения перейти на службу к англичанам. Однако друзья П. В. Чичагова, к которым он обратился за советом, в первую очередь С. Р. Воронцов, прилагали все усилия, чтобы помочь ему. Вследствие предпринятых им шагов британский кабинет заявил, что командующий флотом лорд Спенсер высоко ценит П. В. Чичагова и хотел бы видеть его во главе русского флота, который должен был действовать совместно с английским¹⁴.

В результате 9 мая 1799 г. П. В. Чичагов вновь был принят на службу с производством в контр-адмиралы¹⁵. Император дал также согласие и на его женитьбу. Было похоже, что наконец ситуация разрешилась благополучно. Но во время личной встречи Чичагова с Павлом I между ними произошел бурный конфликт, немедленно ставший предметом оживленных пересудов всего петербургского общества. При многочисленных пересказах этот эпизод оброс такими подробностями, что превратился в настоящий анекдот. Сам Чичагов описывал произошедшее следующим образом: когда во время разговора с императором он заявил, что не хочет служить под началом обогнавшего его по служебной лестнице контр-адмирала Баратынского, то Павел закричал: «Вы не хотите мне служить? Вы хотите служить иностранному государю?» Чичагов попытался сказать в свое оправдание, что императора ввели в заблуждение, что предстоящая его женитьба не является предлогом для перехода к англичанам, но тот приказал молчать. Ярость императора возрастала: «Я знаю, что вы якобинец, но я истреблю все эти идеи!» С криками «в отставку», «под арест», «снять мундир» и т. п. Чичагов был арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. В его послужном списке появилась запись: «1799 г., июня 21. Уволен со службы без мундира и препровожден к Санкт-Петербургскому военному губернатору П. А. фон Палену при следующем собственноручном указе государя императора: „Якобинские правила и противные власти отзывы посылаемого Чичагова к вам принудили меня приказать запереть его в равелине под вашим смотрением“» (с. 339–340). П. А. Палену удалось убедить императора, что Чичагов раскаивается. И 1 июля того же 1799 г. военный губернатор получил от Павла указ: «Извольте навестить господина контр-адмирала Чичагова и объявить ему мою волю, чтобы он избрал любое: или служить так, как долг

подданнический требует, без всяких буйственных сотребований, и идти на посылаемой к английским берегам эскадре, или остаться в равелине. И обо всем, что он него узнаете, донесите мне»¹⁶. Чичагов, естественно, выбрал первое. 2 июля фон Пален получил следующий указ: «Освобождая контр-адмирала Чичагова, прикажите ему явиться в Петергоф к адмиралу графу Кушелеву»¹⁷. Таким образом, еще раз Чичагов был принят на службу — «с назначением командовать эскадрою, приготовленною в секретную экспедицию»¹⁸.

Летом 1799 г. контр-адмирал П. В. Чичагов отплыл из Кронштадта к берегам Голландии, затем отправился в Англию. В ноябре 1799 г. состоялась его свадьба с Элизабет Проби¹⁹. В следующем году он вернулся в Россию. За это плавание Павел наградил Чичагова орденом Св. Анны I класса с оговоркой: «надеясь при том, что вы впредь потщитесь заполучить большую нашу милость» (с. 677).

С восшествием на престол в 1801 г. Александра I для П. В. Чичагова все стало складываться наилучшим образом. Александр приблизил его к себе: 12 мая он был назначен в свиту его императорского величества. 15 сентября в день коронавания императора Чичагов был пожалован «алмазными знаками к ордену Св. Анны»²⁰. В августе 1802 г. он стал «членом Комитета по образованию флота и докладчиком государю императору по делам этого комитета», в октябре — «правителем вновь учрежденной по флоту канцелярии», в ноябре — произведен в вице-адмиралы, в декабре назначен «товарищем министра морских сил»²¹. Так что формально П. В. Чичагов не был первым в России морским министром, как это следует из названия последней публикации его мемуаров. Министром морских сил был назначен Н. С. Мордвинов. Однако П. В. Чичагов, с присущей ему энергией и решительностью, начал проявлять такую активность, предлагая многочисленные предложения по улучшению русского флота, и так завладел вниманием Александра I, что Мордвинов, почувствовав себя отодвинутым на второй план, отказался от поста министра, пробыв на нем только три месяца. П. В. Чичагов оказался во главе министерства. По его докладам было сделано много распоряжений, в их числе: об учреждении депо карт при Черноморском флоте, о порядке вооружения судов Черноморского флота, об «отливке орудий по новой удобнейшей системе», о морской артиллерии и др. 22 июля 1807 г. П. В. Чичагов произведен был в адмиралы и официально назначен министром морских сил²². Еще раньше, в 1805 г., он стал сенатором и членом Государственного совета. Однако и в этот, в целом благополучный период жизни, П. В. Чичагов подавал императору просьбу об отставке. Какими обстоятельствами она была вызвана, ее мотивы остаются неизвестными, однако сохранился документ, подтверждающий, что такое обращение было. Это частное письмо, скорее даже записка, Александра I, отосланная им

Чичагову. Она не содержит обращения к адресату, написана без «этикета», что показывает определенную близость и доверительность сложившихся между ними отношений. Письмо ясно отражает настроение императора — он огорчен и даже слегка раздражен поступком Чичагова. Ввиду важности этого документа текст его приводим полностью:

«После всего того, что между нами было, не мог ожидать я с вашей стороны нового покушения оставить службу.

Ежедневные опыты моего к вам уважения заставляли меня думать, что найду в вас некоторую хотя признательность, и часто, по крайней мере, в такое время, где вам самим известно, сколь я обременен заботами, вы не будете стараться их умножать.

Видя, сколь я ошибся, не остается мне другого средства, как поступить как долг моей совести и служба того требуют. Вследствие чего, в просьбе вашей я вам отказываю и подобных от вас впредь принимать не буду до тех пор, пока дела не придут в надлежащее устройство, потому что ваша служба нужна отечеству и что мне некем вас заменить.

Вам же предписываю следующее:

1-ое. Приготовить через 24 часа легкое и надежное судно для Министра моего у Шведского двора Алопеуса, с предписанием перевезти его на Шведский берег в избранное им самим место.

2-ое. Все нужные приготовления как для корабельного флота, так и гребной флотилии, привести наискорее в исполнение по известному вам плану. Возлагаю на личную ответственность вашу, чтобы все к лучшему исполнению приведено было. Нужные объяснения можете всегда и во всякой час от меня получить. Я уверен, что любовь к отечеству и желание споспешествовать к пользе оною переселят в вас всякие личности (обстоятельства личного порядка? — Г. М.), столь недостойные для человека ваших дарований и духа. 27 Июля 1805 г. Александр»²³.

Деятельность П. В. Чичагова на государственном поприще протекала успешно, но это только прибавляло ему недоброжелателей и завистников. К тому же он повел решительную борьбу с хищениями на флоте, а подобные действия не прощаются²⁴. Его адъютант Ф. Н. Толстой вспоминал: «П. В. Чичагов был человек весьма умный и образованный. Будучи прямого характера, он был удивительно свободен и как ни один из других министров прост в разговоре с государем и царской фамилией. <...> Был ненавидим почти всем придворным миром и всей пустой высокомерной знатью»²⁵.

Брак П. В. Чичагова с Элизабет Проби (Елизаветой Карловной) оказался счастливым. У них родились три дочери: Адель (Аделаида), Юлия и Екатерина. Но семейное счастье омрачалось тем, что Элизабет, не отличавшаяся крепким здоровьем, часто болела. Сложные

домашние обстоятельства не всегда давали Чичагову возможность уделять достаточно много времени и сил государственной службе.

С началом войны с Англией Александр I поручил П. В. Чичагову «защиту всех рубежей империи» — от Архангельска до Крыма и подчинил ему непосредственно более 50 тысяч сухопутных войск. Неудачная высадка десанта на о. Готланд вызвала в обществе еще большее раздражение действиями Чичагова. Однако Александр I не менял к нему своего доброжелательного отношения и пожаловал в феврале 1808 г. в пожизненное владение «цивунство» Виленское в Виленской губернии и староство Оранское, «по смерти тогдашних владельцев этих имений»²⁶.

Тем временем семейные дела все более осложнялись. Здоровье Элизабет ухудшалось. Чичагов обратился к императору с просьбой разрешить ему в связи с болезнью жены уехать за границу. В августе 1809 г. разрешение было получено. В связи с его отъездом из России Жозеф де Местр писал: «Чичагов со всем семейством уезжает в Париж и уже продал все свое имущество»²⁷. Многие полагали, что он оставляет Россию навсегда. Из Петербурга Чичаговы выехали 14 (26) сентября 1809 г. По словам Жозефа де Местра, в Париже Чичагов принят был хорошо: там он «играл заметную роль», «завтракал в обществе матери-императрицы» и т. п. «А здесь, — отмечал сардинский посланник, — на него страшно нападают: злоупотребление властью, измена, казнокрадство — произносятся самые жестокие слова, даже перед императором, но я полагаю, что обвинители обманутся и непостижимый его фавор нимало не пострадает»²⁸. Затем Чичаговы поехали в родную для Элизабет Англию, но здоровье ее не улучшалось. Они вернулись в Париж, летом 1811 г. Элизабет умерла. Чичагов пришел в полное отчаяние и совершенно пал духом. В связи со смертью жены Александр I передал Чичагову очень теплое сочувственное письмо, которое впоследствии Чичаговы благоговейно хранили.

П. В. Чичагов, чувствуя, что он не в состоянии заниматься государственными делами, снова попросился в отставку. 28 ноября 1811 г. Александр I уволил его с поста министра морских сил, но оставил при себе в должности генерал-адъютанта — «состоять при особе государя императора». Двумя неделями раньше он был назначен членом преобразованного Государственного совета²⁹.

В это время международная ситуация оставалась сложной. Все отчетливее прояснялись планы Наполеона в отношении России, война становилась неизбежной. Необходимо было закончить войну с Турцией, продолжавшуюся с 1806 г. Командовавший Дунайской армией М. И. Кутузов вел переговоры нерешительно, и вопрос о мире затягивался. Император принял решение заменить Кутузова Чичаговым. В разговоре, состоявшемся между Александром I и адмиралом

в начале апреля 1812 г., последний предложил провести на юге «диверсию» против Франции с использованием войск Дунайской армии, находившихся в Валахии. Он считал, что жители Молдавии, Сербии, а также черногорцы — «единоверцы с нами» — не откажутся помогать России³⁰.

Объявив о своем решении назначить П. В. Чичагова командующим Дунайской армией, император разъяснил свою программу: заключить наступательный и оборонительный союз с Турцией, привлечь греков и другие православные народы, которые действительно преданы России, и произвести «диверсию» в Далмации сухим путем или морем, войти в соглашение с англичанами, флот которых стоит в Адриатическом море, и совместно с ними действовать против турок. И крайне необходимо, подчеркнул император, улучшить административное управление в Молдавии и Валахии. Он вручил Чичагову записку, содержащую жалобы жителей Молдавии и Валахии на действия армии Кутузова, со словами: «Я не могу больше допускать таких ужасов»³¹. Александр I сам составил проект рескрипта о назначении П. В. Чичагова командующим Дунайской армией и Черноморским флотом и одновременно назначил его генерал-губернатором Молдавии и Валахии. В инструкции, данной адмиралу, в частности, рекомендовалось: «Самое главное, надо употребить в нашу пользу воинский дух народов славянского происхождения, как то: жителей Сербии, Боснии, Далмации (так в тексте. — Г. М.), Черногории, Кроации, Иллирии, которые, вооружившись и получив военное устройство, могут сильно содействовать нам». Предполагалось, что и венгры займут в отношении Австрии позицию, благоприятную для России: «Венгерцы, недовольные поступками настоящего их правления, представляют нам также отличный способ тревожить Австрию, сделав диверсию ее враждебным планам, а следовательно, ослабить силы ее»³².

20 апреля (2 мая) 1812 г. П. В. Чичагов выехал к месту нового назначения, 6 (18) мая он прибыл в Бухарест. Предупрежденный своими сторонниками из Петербурга, Кутузов срочно, в буквальном смысле слова накануне, 5 (17) мая подписал с турками прелиминарные условия мира, а 16 (28) мая был заключен Бухарестский мирный трактат.

12 (24) мая М. И. Кутузов сдал командование Дунайской армией Чичагову, и тот принялся наводить дисциплину в войсках, вскрыл финансовые нарушения, за три месяца искоренил грабежи, содействовал установлению администрации на «новоприобретенных территориях», отменил там поземельный налог, и отношение населения к России стало улучшаться. И сам факт замены на посту командующего Дунайской армией, и вскрытие финансовых и административных нарушений — все это еще более усилило неприязнь Кутузова к Чичагову.

Деятельность П. В. Чичагова в Бессарабии получила одобрительную оценку у Александра I, распоряжения адмирала по организации управления этой территорией он «находил превосходными». «Но чем не могу я достаточно нахвалиться, — писал император, — это образ действий Ваших по отношению сербов. Вызванная Вами преданность к нам этого народа, составляет истинную услугу, оказанную Вами как России, так и Мне»³³. Покидая Бухарест, Чичагов оставил новому правителю А. С. Стурдзе инструкцию по управлению Бессарабией, особо обращая его внимание на отношение к православному населению: «Болгары, молдаване, валахи, сербы ищут себе отечества — от Вас будет зависеть внушить им убеждение, что они найдут его под Вашим благоразумным управлением»³⁴.

С началом военных действий Наполеона против России планы проведения военной «диверсии» на юге были отложены, и по приказу Александра I Чичагов двинул части Дунайской армии к Днестру, где к нему должна была присоединиться для усиления армия А. П. Тормасова³⁵. Чичагову предписывалось пойти «прямо к Варшаве». К его армии должен был присоединиться и корпус герцога Ришелье. На первые же распоряжения Александра I о действиях против наполеоновских войск Чичагов реагировал, как всегда, самым активным образом. Помимо военных инструкций он просил также указаний относительно действий политико-пропагандистского плана. Так, уже в письме к императору, датированном 18 июля 1812 г., он писал: «В случае соединения моей армии с армиею Тормасова в направлении к Герцогству Варшавскому, всенижайше прошу Ваше величество снабдить меня инструкциями касательно как направления армий, так и предложений, которые мне можно будет сделать, чтобы обещать полякам равносильное тому, что сулит им император Наполеон». Он понимал, что необходимо выступить с какими-либо существенными обещаниями и в этой связи предлагал: «Хорошо было бы объявить им, что Ваше императорское величество намерены обеспечить им достойное политическое существование, истинное и гораздо более выгодное того, которое им сделает тот, кто уже столько народов изловил на эту удочку; что Вы не имеете намерения создать королевство, которое было ничто иное, как провинция в зависимости от префекта; что в Ваш план входит, например, провозгласить себя королем польским (roi de Pologne) конституционным и что независимость их будет неприкосновенна»³⁶.

В начале августа 1812 г. Дунайская армия начала передвижение к Днестру; перейдя его, Чичагов прошел Подолию, большую часть Волыни и вступил в Княжество Варшавское. 22 сентября 1812 г. он сообщал императору о настроениях населения на освобождаемых от французских войск территориях: «Ваше величество не можете себе представить бегства жителей; в городах мы находим одних жидов,

они одни нам преданы. Что касается до поляков, то одни из них пассивны, другие — против нас, но время и обещания, может быть, изменят это. <...> Непременно надо их заставить переменить покровителя, ибо им же будет лучше»³⁷. К письму прилагались тексты двух составленных Чичаговым прокламаций (они не сохранились). В них он всеми мерами старался убедить поляков в непрочности обещаний Наполеона. «Твердость, сопровождаемая благоразумным образом действий его в крае, — отмечал биограф Чичагова, правда, не подтверждая это документально, — оказалась безуспешною и отрезвила несколько отуманенные головы поляков»³⁸. 15 (27) октября 1812 г. П. В. Чичагов опубликовал обращение к населению Княжества Варшавского, в котором сообщалось о поражениях наполеоновских войск в России. В обращении Чичагов призывал поляков отнестись к обещаниям Александра I «с полным доверием»³⁹.

В «прокламации», датированной 19 (31) октября 1812 г., Чичагов снова обращался к полякам: «Перестаньте вредить вашей Отчизне и ее будущей участи, или же служите ей, но под покровительством императора Александра. Это единственное средство исходатайствовать прощение у милосердия великодушного монарха. Я его вам обещаю его августейшим именем»⁴⁰.

Чичагов устроил главную квартиру армии в Бресте-Литовском, где непосредственно столкнулся с неприязненным отношением к русским войскам местного населения. В донесении Александру I он писал: «Здесь очень трудно добывать продовольствие и будет еще труднее там, куда мы направляемся, что меня весьма беспокоит». Адмирал послал три летучих отряда в Княжество Варшавское, которые произвели там «сильную тревогу», что сказалось на настроениях жителей и Варшавы, где никак не ожидали появления русских, поскольку получали известия о постоянных успехах французской армии. Как сообщал Чичагов императору, русские отряды доходили почти до стен польской столицы, «один Чернышов разорил множество магазинов (т. е. складов. — Г. М.), к нам ежедневно прибывает много фуража и продовольствия»⁴¹. По свидетельству французского посланника в Варшаве Прадта, «при появлении Чернышова в Герцогстве, в Варшаве произошло чрезвычайное смятение, все готовилось к отъезду, и лишь только отворились ворота, все семейства хорошего общества исчезли»⁴². Везде по пути своего следования отряды распространяли воззвания к полякам, составленные Чичаговым. «Мне было известно, — писал адмирал в своих «Записках», — благорасположение императора Александра к полякам и как благосклонно он относился к мысли о восстановлении Польши. Если он не соглашался уступить их желаниям и провозгласить себя польским королем, то потому только, чтобы не встревожить Наполеона в отношении Герцогства Варшавского. Но это условие прекращалось во время

начавшейся войны. Что касается до политики, какой должно следовать в отношении к полякам, то император уполномочил меня в этом отношении. Я составил воззвание к полякам с целью возбудить в них недоверие к Наполеону и надежду на императора Александра. Оно убедило их, и они выражали с того времени большую готовность исполнять все наши требования и подвергнуться реквизиции»⁴³.

17 (29) октября 1812 г. Чичагов направил командующему войсками в Литве генералу Чаплицу инструкцию, в которой содержались следующие соображения: «Нам следует выбрать среди жителей Литвы таких, которые заслуживают нашего доверия и усердие которых может быть использовано либо для того, чтобы создать в этой стране благоприятное для нас общественное мнение, либо для того, чтобы распространять наше влияние на большую сферу, а именно на Великое герцогство Варшавское». Осуществить подобные меры было необходимо для того, чтобы нейтрализовать влияние Наполеона. «Было бы невозможно достичь этой цели, не имея никакой положительной программы для поляков и будучи не в состоянии предложить им что-либо в противовес обещаниям, данным им императором Наполеоном, — отмечалось в инструкции. — Либеральные намерения государя императора дают нам возможность предложить им на будущее гораздо более счастливую перспективу, чем та, которую использует Наполеон для их оболыщения». Чичагов писал, что поскольку Наполеон нуждается в поляках, он был вынужден обещать им «какую-то призрачную конституцию». Следует обратиться к полякам с разъяснениями, что Александр I согласен обеспечить их национальное существование, но лишь на условиях, что они заслужат это своим поведением и преданностью ему. «Они вправе надеяться на лучшую участь», полагал Чичагов, но прежде всего они должны «покинуть Наполеона» и тем самым показать, что преданы российскому императору. «Именно в таком направлении Вы можете, генерал, работать над созданием в Польше благоприятного для нас общественного мнения» — такие указания давал Чичагов генералу Чаплицу⁴⁴.

Вообще вопросам создания соответствующего общественного мнения в это время придавалось большое значение. Для достижения данной цели в инструкции рекомендовалось способствовать проникновению в Герцогство Варшавское брошюр, в том числе о ходе военных действий, направлять эмиссаров. «Было бы неплохо, — полагал Чичагов, — если бы Вы содействовали основанию какого-нибудь общества, целью которого было бы возрождение польской нации под покровительством императора и чтобы Вы направляли деятельность такого общества». Необходимо вообще, подчеркивал он, «восстановить тесные связи с жителями этой провинции и по мере возможности умножать такие связи с населением Герцогства Варшавского»⁴⁵.

Между тем поляки все еще продолжали надеяться на благоприятное для них окончание войны. Благодарные Наполеону за возрождение польской государственности хотя бы в виде Княжества Варшавского и окрыленные надеждой на восстановление Польши в прежних границах, польские легионеры самоотверженно сражались в рядах наполеоновских войск. Чичагов в письме императору от 7 ноября 1812 г. замечал, что «поляки все еще его (Наполеона. — Г. М.) любят. Легкомысленные, или экзальтированные, или невежественные, они полагают, что служат собственному своему делу, тогда как они только помогают злополучным планам своего тирана, ибо он скоро перестанет быть тираном мира»⁴⁶.

Приближались дни одного из важнейших событий Отечественной войны — осуществления плана Александра I взять в плен Наполеона при переправе французских войск через Березину. 26 октября (7 ноября) 1812 г. Александр I писал П. В. Чичагову, что цель действий русских войск состоит в том, чтобы «не выпустить Наполеона из наших границ и постараться уничтожить его войска, поставя их между Вами, Кутузовым, Витгенштейном и Штейнгейлем». Император обращал внимание Чичагова на важность и ответственность предстоящих военных действий: «Подумайте, как будут различны последствия, ежели Наполеон перейдет наши границы и соберет около себя новую армию. Я полагаюсь вполне на Ваш ум, Вашу деятельность и энергию»⁴⁷.

Существуют две, совершенно противоположные, версии относительно правильности действий П. В. Чичагова при Березине и о его ответственности за провал плана взятия в плен Наполеона. По одной из них они оцениваются исключительно положительно. Такая традиция идет от самого Чичагова, его родственников, друзей, соратников, при этом неизменно подчеркивается его «патриотизм». По другой — действиям Чичагова дается резко отрицательная оценка, которая первоначально была задана лагерем Кутузова и охотно поддержана не симпатизировавшей Чичагову значительной частью русского общества.

Опубликовавший к столетнему юбилею Отечественной войны мемуары ее участников К. А. Военский в предисловии к изданию отмечал, что среди вопросов, вызывающих разногласия в истории Отечественной войны, самое спорное место занимает толкование Березинской переправы. «Император и вся Россия ожидали пленения Наполеона» — таковы были общественные настроения, наполненные почти детской эйфорией, подпитывавшиеся волной успехов русской армии, возглавляемой М. И. Кутузовым⁴⁸. Но ожидания не оправдались. Разочарование в обществе было полнейшее. По собственному признанию В. А. Жуковского, он «выкинул» весь фрагмент о Чичагове из своего стихотворения «Певец во стане русских воинов»⁴⁹.

Написанные позднее монументальные исторические исследования не содержат категорически отрицательной оценки роли П. В. Чичагова в событиях при Березине. Однако, несмотря на все эти попытки «реабилитации» Чичагова, все же осталось отрицательно-ироническое отношение к «сухопутному адмиралу». Утверждению этой традиции в исторической памяти русского народа несомненно поспособствовал и И. А. Крылов, посвятивший несколько своих басен событиям Отечественной войны 1812 г. В басне «Щука и Кот», как воспринимали ее современники, «под щукою Крылов разумел армию Чичагова»: «А щука чуть жива лежит, разинув рот, и мыши хвост у ней отъели». Появились тогда и соответствующие карикатуры. «Современники видели в его (Чичагова. — Г. М.) действиях намеренное уклонение от общего плана», — писал исследовавший историческую подоплеку басен Крылова, написанных им в связи с Отечественной войной, В. Кеневич⁵⁰. Г. Р. Державин высмеял Чичагова в эпиграмме, назвав его «земноводным адмиралом»⁵¹.

Контрастный подход к оценке действий П. В. Чичагова во время переправы Наполеона через Березину сохранился в трудах историков и до наших дней: Чичагов — истинный русский патриот в работах В. А. Юлина и военного историка И. Н. Васильева и виновник неудачной попытки взять в плен Наполеона — например, в статье Л. Л. Ивченко с выразительным названием «Кто выпустил Наполеона из России»⁵². Так, И. Н. Васильев одну из причин неудачи видит во взаимоотношениях между Чичаговым и Кутузовым. В вину Кутузову он ставит его «ревность к славе» и «нежелание делиться ею ни с кем»⁵³. Мнение современного автора созвучно мнению, высказанному еще Жозефом де Местром: «Кутузов предпочел бы выпустить Наполеона „хоть сто раз кряду“, чем видеть, что Чичагов нанесет ему последний удар»⁵⁴. Придерживающийся иной точки зрения Л. Л. Ивченко пишет, что «на Березине закончилась карьера главнокомандующего Дунайской армией адмирала Чичагова, которого считали главным виновником военной неудачи». Он все же полагает, что «вся ответственность за несогласие среди русского командования лежит на императоре Александре I»⁵⁵. Из последних опубликованных работ наиболее сдержанная и взвешенная оценка действий Чичагова при Березине содержится в монографии Н. А. Троицкого «Фельдмаршал Кутузов: Мифы и факты». В частности, он пишет, что «из трех командующих русскими армиями именно он (Чичагов. — Г. М.) больше всех мешал французам переправиться через Березину и причинил им наибольший урон». Кутузов все время оставался далеко позади и лишь 19 ноября перешел через Березину, в 55 км южнее переправы Наполеона. При Березине Наполеон потерял столько людей, что говорить только «об ударах по хвосту тигра» мало; как никогда был потрепан и сам «тигр»⁵⁶. Сам П. В. Чичагов

вначале испытывал определенную надежду на то, что ему удастся все-таки захватить Наполеона в плен и оправдать доверие Александра I. Он даже отдал приказ задерживать всех «малорослых», сообщив приметы французского императора⁵⁷. Однако Наполеон смог провести обманный маневр и в итоге осуществил переправу. Чичагов не сразу осознал, сколь пагубными для него окажутся последствия этого события. Он не чувствовал за собой какой-либо особой вины. Так, он писал 17 ноября 1812 г. императору Александру I: «Если бы я угадал верно, отпор мог бы быть сильнее, но все-таки кончилось переправой неприятеля. Он был гораздо сильнее нас числом»⁵⁸. И в следующих письмах от 18 и 29 ноября Чичагов подробно описывал весь ход действий при Березине⁵⁹. Наполеон начал переправу 14 ноября. В это время главная армия М. И. Кутузова вторые сутки отдыхала почти в 120 км от Березины, 15 ноября главнокомандующий написал «диспозицию» о порядке размещения армии по квартирам⁶⁰. Однако Кутузов не замедлил отправить донесение Александру I о том, что Наполеона упустил именно Чичагов. «Я долгом почитаю всеподданнейше донести, что г.Чичагов <...> сделал следующие важные ошибки», — сообщал он императору и далее пунктуально их перечислял⁶¹.

Чичагов преследовал отступающие войска Наполеона «по пятам». 28 ноября 1812 г. отряды адмирала вступили в Вильно. Когда в середине декабря в Вильно приехал Александр I, П. В. Чичагов явился к нему со всеми оправдательными документами, но император избегал разговора о Березине и на прямой вопрос Чичагова о том, недоволен ли он его действиями, коротко ответил, что нет. Чичагов вновь попросил дать ему отставку, но получил отказ. Император велел ему ехать к войскам и продолжать преследовать французов. Кутузов в январе 1813 г. приказал Чичагову отступить на Прейсиш-Эйлау и «озаботиться устройством правильного сообщения между Торном и Позеном». Самолюбие не позволяло Чичагову оставаться на подобных ролях в армии и, ссылаясь на здоровье, он вновь обратился к Александру I с просьбой об отставке — на этот раз он получил согласие. 3 февраля 1813 г. Чичагов передал командование армией М. Б. Барклаю де Толли.

Первое время после Березины П. В. Чичагов еще продолжал достаточно активно вмешиваться в политические, пропагандистские вопросы, не довольствуясь чисто военными. В декабре (17/29) он сообщал Александру I о благоприятном для России резонансе в польском общественном мнении, полученном в результате опубликования в львовской газете бюллетеня об успехах русской армии. В частности, «из Варшавы было получено 94 новых заказа на подписку»⁶². Он писал, что «убежден в том, что действительно настало время для воздействия на общественное мнение, и в том, что невозможно

переоценить чрезвычайной важности этой существенной стороны политики»⁶³. Вероятно, рост числа подписчиков был вызван не только удачными шагами, предпринятыми командованием русской армии, но и самими складывавшимися обстоятельствами. Исход военных действий в России существенным образом влиял на судьбы многих поляков — крупных землевладельцев, имения которых, или же их значительная часть, были расположены на территориях, присоединенных к России. Им крайне необходимо было знать истинное состояние дел, для того чтобы иметь возможность принимать обоснованные решения, прежде всего для определения своей позиции по отношению к русским властям. Наполеоновская пропаганда преследовала цель как можно дольше и как можно большее число поляков удерживать на стороне Франции. Каждая из сторон одно и то же военное событие, сражение оценивала по-разному, стремясь преувеличить победы и замалчивать или, по крайней мере, преуменьшать поражения и потери. Свой взгляд на ход событий при Березине П. В. Чичагов подробно изложил в письме С. Р. Воронцову от 17 ноября 1812 г., написанном сразу же после «Березины». Тон письма на удивление спокойный. Он предвидит недовольство Александра I тем, что Наполеону удалось выскользнуть из окружения, и потому он, возможно, опять подаст в отставку⁶⁴.

Когда Чичагов был уже в отставке, приехал в Петербург и начал постоянно сталкиваться с неприязнью и насмешками окружающих, он, естественно, утратил свое относительно спокойное состояние духа. Это нашло отражение в письме Воронцову от 25 мая 1813 г., полном вопросительных знаков, за которыми стояла глубокая обида: «Меня обвиняют в ошибках, но в чем они состоят? Никто не хочет мне сказать. Очень жаль, что не удалось захватить Наполеона»⁶⁵.

В эти месяцы, оказавшись по существу не у дел, Чичагов особенно остро чувствовал свое одиночество. В своих письмах Воронцову он постоянно вспоминал о жене, о ее безвременной кончине, его не покидало чувство горькой утраты. По желанию покойной Элизабет дети должны были воспитываться в Англии, у ее родственников. Туда, получив разрешение покинуть Россию, и направился П. В. Чичагов. Перевез в Англию и гроб с прахом жены, захоронил его вблизи церкви, где проходило их венчание. Материальное положение его было достаточно благополучно. Александр I сохранил ему сенаторское жалованье, кроме того, он получал пенсионные выплаты за воинские награды, поступали и доходы от оставшихся в России имений.

Однако события при Березине, несмотря на прошедшие годы, продолжали вызывать у Чичагова тяжелые воспоминания. Его не покидало ощущение несправедливости и глубокой обиды на тот отклик, те оценки, которые получили его действия в обществе,

и не только в русском. В свое оправдание он пишет и издает в Париже брошюру «Описание перехода через Березину», несколько позднее она была переведена на английский и опубликована в Лондоне⁶⁶. В Англии Чичагов пробыл недолго, переехал во Францию, затем посетил Бельгию, Италию, Швейцарию и, наконец, остановился в пригороде Парижа, местечке Со. С 1815 г. начал писать мемуары. Он сам озаглавил их так: «Записки адмирала Чичагова, заключающие то, что он видел, и что, по его мнению, знал». Он хотел рассказать о своей жизни, о своем взгляде на те или иные события, о людях, встречавшихся на его жизненном пути, о своем отношении к ним, «излить душу» и оправдаться перед потомками. Закончил Чичагов писать свои «Записки» в 1841–1842 гг.

Жизнь за границей складывалась у него по-разному. Первое время, благодаря благожелательному отношению Александра I, он был достаточно хорошо обеспечен. При вступлении на престол Николая I все имущественные права Чичагова были подтверждены. Так продолжалось до начала 1830-х гг., когда после революционных событий в Европе царское правительство стало принимать более жесткие меры в отношении граждан России, долго находившихся за границей. В их число попал и Чичагов. Он был лишен должности сенатора, полагавшихся ему пенсий за ордена, принадлежавшие ему имения были переданы в опекуновское управление, т. е. практически он остался без средств существования. И будучи страшно разгневан, он отказался от российских наград, от российского гражданства и принял гражданство Великобритании. Дочерям велел отослать его ордена обратно в Россию⁶⁷. К концу жизни он ослеп и жил целиком на попечении дочери Екатерины. Скончался он в 1849 г. и был похоронен в Со. Перед смертью он сказал дочери, что прощает всех своих обидчиков, и велел ей уничтожить «Записки». Екатерина умоляла его не делать этого, считая, что они важны для истории. Чичагов согласился, поставив условие, что из них будут исключены все фрагменты, касающиеся его личной жизни⁶⁸. Сама Екатерина не могла разобраться в сложном и запутанном рукописном наследии отца, и она обратилась за помощью к своему родственнику — двоюродному брату уже умершего к тому времени мужа графу де Бузе⁶⁹. Воспользовавшись доступом к архиву адмирала, граф, не имея на то согласия Екатерины, и даже без ее ведома, опубликовал некоторые, наиболее интересные отрывки из мемуаров. Сначала в Париже в 1855 г. в «Revue contemporaine» («Современное обозрение») появились выдержки из «Записок» адмирала, затем в Берлине и немного позднее в Лейпциге, в виде небольших по объему книг, были изданы отдельные главы — на французском языке⁷⁰. Как выбор, так и порядок размещения глав при публикации был произволен. При этом создавалось весьма неблагоприятное впечатление о личности

самого адмирала. Вообще судьба мемуаров складывалась неудачно. На первых порах их публикации сопутствовала весьма скандальная слава. Издания, предпринятые графом де Бузе, кроме того, что вызвали своеобразный интерес у читающей публики, привели еще и к судебному разбирательству между родственниками. В результате длительной судебной тяжбы дело было решено в пользу Екатерины, но после всех перенесенных испытаний она тяжело заболела. Ее, уже прикованную к постели, в 1881 г. навесил захвативший в Париж «молодой офицер» Л. М. Чичагов, доводившийся ей двоюродным племянником. Екатерина прониклась к нему доверием и передала ему все права на архив отца. В 1882 г. дочь адмирала скончалась⁷¹. Возвратившись в Россию, Л. М. Чичагов принялся за подготовку мемуаров к печати. К этому времени отечественные журналы «Русская старина», «Русский архив» и «Исторический вестник» уже начали публиковать, на основе берлинского и лейпцигского изданий, отдельные главы воспоминаний.

Л. М. Чичагов, не будучи специалистом по изданию документов и отдавая себе в этом отчет, обратился за помощью к известному публикатору, редактору журнала «Русский архив» П. П. Бартеневу. Приложив много сил для приведения «Записок» адмирала в определенный порядок, переведя их на русский язык, в 1885 г. Л. М. Чичагов издал первый выпуск «Архива адмирала П. В. Чичагова»⁷². Однако обстоятельства сложились так, что он оказался первым и единственным. С 1886 г. по 1888 г. в журнале «Русская старина», издававшемся М. И. Семевским, были напечатаны 14 глав из «Записок» адмирала. В 1890 г. Л. М. Чичагов вышел в отставку и стал священнослужителем, приняв имя отца Серафима. В монастыре он продолжал работать над документами архива⁷³. Жизнь митрополита Серафима закончилась трагически: он был расстрелян в 1937 г. на полигоне в Бутове⁷⁴.

Новая попытка издать в России «Записки» адмирала П. В. Чичагова была предпринята более века спустя внучкой Л. М. Чичагова игуменьей Серафимой (в миру Варвара Васильевна Черная), настоятельницей Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря в Москве. Она проделала сложную и трудоемкую работу по проверке текста мемуаров, обращалась к архивным фондам. Однако ей не суждено было увидеть результаты своих усилий. Тяжело заболев, в декабре 1999 г. она скончалась, успев лишь, уже в больнице, продиктовать черновые заметки для предисловия (с. 11, 12)⁷⁵. Вышедшее издание включает тридцать две главы, из них первые четырнадцать печатаются по тексту журнала «Русская старина», остальные — по «рукописным материалам» (с. 9). Опубликованная часть мемуаров П. В. Чичагова хронологически охватывает период со второй четверти XVIII в. до начала правления Александра I⁷⁶.

Кроме того, существует еще одна публикация «Записок» адмирала П. В. Чичагова, которая долгое время продолжала оставаться вне зоны внимания исследователей, занимавшихся биографией Чичагова. Ничего не говорится о ней и в «Записках», изданных Российским фондом культуры. На нее имеется только отсылка в статье Н. А. Троицкого, помещенной в энциклопедии «Отечественная война 1812 года». Местом издания автор указал только один город из имеющихся на титульном листе — Париж, в то время как не меньший, а, пожалуй, больший интерес представляет второй — Бухарест⁷⁷.

В своих «Записках» П. В. Чичагов подробно описывал не только события своей жизни и своей семьи, но и излагал свои взгляды и размышления по отдельным вопросам политической истории России. Адмирал Чичагов высоко оценивал результаты внешней политики Екатерины II, в частности и политики в отношении Польши. Он хорошо ориентировался в событиях, произошедших в конце XVIII в. Так, он писал в своих «Записках»: Екатерину II «обвиняют в том, что она виновница разделов Польши. Но несправедливо было бы возлагать на нее одну всю ответственность за эту меру. На долю Фридриха Великого и Марии Терезии должна также выпадать и их часть, и мы прибавим к ним и самих поляков, вследствие их буйного характера и непостоянства политической ориентации». И далее: «Понятно, что это непостоянство и буйство Польши должны были подать повод или предлог ее соседям по вмешательству в дела ее» (с. 74). В этом фрагменте проявилось понимание Чичаговым того, что разделы Польши предопределялись не только одними внешними факторами. Мысль о внутренних причинах, приведших к ослаблению Польского государства и, в конечном счете, к его падению, он развивал и дальше: «В Европе существовало лишь два избирательных правительства, в Польше и в Церковной области. В первой оно было плодом честолюбия, так как страна находилась в постоянном волнении и беспорядке» (там же). Он писал о политическом устройстве Польши: «Избирание монарха собранием *прямым*, всегда бурным, равно и отсутствие единственного пути, которым свободный народ может достигнуть до законодательства положительного, то есть национального собрания, состоящего из провинциальных выборных — вот причины того, что польское правительство было самое худшее, какое только можно себе представить. Veto (Не позволяем), которое к несчастью поляков им удалось установить, прибавляло сумятицы на их сеймах» (с. 76). Он отмечал, что «малейшее подозрение, основательное, нет ли, противу исполнительной власти возбуждало клич к оружию, без всякого соображения о средствах и без всякого предвидения последствий. Наконец, не видно было возможного конца этим смутам, равно гибельным для самих поляков и беспокойным для их соседей» (там же). Он видел

противоречивость в установившемся политическом устройстве Речи Посполитой и в ее общественных традициях, приведших в итоге польский народ к потере своей независимости: «Справедливо сказано, что в Польше имя короля соединяется с правлением республиканским, пышность трона с невозможностью упрочить послушание, крайняя любовь к независимости с рабскими привычками, закон — с безначалием, нищета с безумной роскошью. <...> Эти аномалии крайне затрудняли управление подобным народом; было также весьма опасно предоставить его собственному самоуправлению» (там же). Чичагов считает разделы Польши исторически обусловленными и оправданными: «Долго переноса невыгоды подобного порядка вещей, государи соседних земель решились войти в соглашение о мероприятиях к устранению тех неудобств, которые им причиняли каждые выборы» (там же).

П. В. Чичагов был знаком с историей последних лет существования Речи Посполитой⁷⁸. Он писал, что «состояние безначалия и неопределенности, в котором находилась Польша во все времена, внушало ее просвещеннейшим государственным мужам, что ее раздел неизбежен». По мнению Чичагова, «чтобы извлечь страну из этого, почти непрерывного, безначалия, Екатерина проявила свою мудрость, избрав орудием своих намерений людей просвещеннейших, усерднейших и ревностнейших из польских патриотов. Чарторыжские и их племянники Понятовские были того мнения, что страна слишком обширна, нравы слишком испорчены, соседи слишком могущественны, чтобы поляки могли оставаться под республиканским правлением, и склонялись на учреждение правильного, монархического, правления. Эти люди, уважаемые поляками, собрали многочисленную партию сочувствующих этой системе, партию, признанную императрицею за единственную, которая могла быть допущена. Но этих здравомыслящих патриотов надо было поддерживать противу самой разнузданной оппозиции и, с их согласия, русская армия вступила в Литву. Самые ярые республиканцы кликнули клич к народу: „Жгите Ваши дома, лучше скитаться по земле с оружием в руках, нежели подчиниться произволу“» (там же).

Заслуживают интереса своеобразные историко-философские рассуждения Чичагова об отношениях русских и поляков в наиболее сложные и острые моменты истории их соседства. «Впрочем, — писал он в «Записках», — что касается до владычества, то между русскими и поляками существует старинная взаимность, с тою еще разницею, что последние управляли русскими с большим высокомерием и жестокостью, нежели первые при подобных же обстоятельствах. Русские никогда не приказывали, никогда не устраивали у себя тайных убийств, как-то делали поляки во времена Сигизмунда, когда они внезапно напали на жителей Москвы, на площадях,

на улицах, в домах и даже в самых храмах. Рынок был покрыт трупами, ничему не было пощады, ни возрасту, ни полу, и убийства сопровождалось грабежами, пожарами и всякого рода насилиями». Окончательный вывод Чичагова был таков: «Неистовства поляков против русских оставляли далеко за собою все то, что было сделано русскими в отношении поляков» (там же).

Вновь обращаясь к временам Екатерины II, Чичагов оправдывал жестокие действия русских войск в Польше, считая, что они были ответом на поведение поляков: «Во времена Екатерины русские в свою очередь владычествовали в Варшаве, но опять поляки задумали новую резню войск и исполнили свой замысел по образу Сицилийских вечереи. Русские никогда не бывали виновны в подобных ужасах; штурм и взятие предместья Праги, сопровождавшие их ужасы и убийства, были следствиями войны, принявшей страный характер, вызванный предшествовавшими злодействами» (там же).

В своих «Записках» адмирал Чичагов кратко изложил события, связанные с историей падения Речи Посполитой: «В 1794 г., — писал Чичагов, — поляки в Варшаве сделали попытку повторить „сицилийские вечерни“ с русскими, что подало повод к новой войне». Екатерина II направила на подавление польского восстания армию А. В. Суворова. Адмирал подходил к оценке действий Суворова, рассматривая их в контексте общегосударственной политики Российской империи⁷⁹.

Сравнивая политику территориальных приобретений России при Екатерине и в первой четверти XIX в., адмирал Чичагов приходил к выводу реалистичному и безрадостному: «Во времена императрицы Екатерины каждое приобретение увеличивало силы, тогда как ныне от него ослабевают; в поляках видят передовой отряд врагов, за которым, всего прежде, надобно наблюдать и сдерживать его, ибо вместо приобретения верных подданных, в них находят народ беспокойный, всегда готовый взбунтоваться. Угнетения и непрерывные гонения, которым их подвергают, делают то, что они ожидают лишь благоприятной минуты, чтобы взяться за оружие и сражаться с их притеснителями. И если бы когда-нибудь Россия принуждена была перенести свое оружие из их страны, несомненно, что враждебные ей державы воспользовались бы ненавистью поляков к их властелинам» (с. 79). «Записки» Чичагова переполнены хвалебными отзывами в адрес Екатерины, в том числе в отношении гибкости ее польской политики: «Если Екатерина умела покорять своих врагов силою оружия, то хотела сохранять свои завоевания благотворениями. Поэтому-то она в обхождении с поляками допускала всевозможные смягчения. Она привлекали их к своему двору и ко всем должностям империи, не отделяя их от русских» (с. 80).

Присоединение народов к России несло им выгоды, поскольку Екатерина, «возродительница России», старалась «сделать из них граждан, а не рабов» (там же). Участие России в разделах Польши он считал вынужденным шагом, не выгодным для империи, поскольку вся Польша находилась в зависимости от Екатерины: «Эта мера была *жертвою*, а не хищением, как клеймят ее (Екатерину. — Г. М.)» (там же).

Со свойственной адмиралу колкостью, он укорял тех, кто осуждал польскую политику Екатерины II. Так, он писал в своих «Записках»: «Впрочем, те, которые всего более ропщут на раздел Польши, могли бы, обращаясь к своей собственной политике, снисходительно смотреть на это нарушение прав человечества (термин почти современный! — Г. М.), сравнивая его с разделом территорий и даже престолов, совершенных в Германии и Италии императором Наполеоном; или — с захватами на Венском конгрессе, когда народы, соединенные в большом и малом числе, переходили, подобно стадам, от одного владельца к другому, вопреки всякому чувству справедливости и достоинства человечества» (там же).

Оценка, данная Чичаговым введению в 1815 г. в Королевстве Польском конституции, ее реализации на деле, была далеко не положительной: «В 1814 г. (sic! — Г. М.) польскому народу была дарована либеральная конституция, применение которой к делу было более чем неумело и неискусно» (с. 80).

Любопытна также характеристика, которую Чичагов дал польской шляхте: «Следует признать вообще, что польские дворяне бывают часто движимы похвальными чувствами. Они достаточно образованны, великодушны, гостеприимны до расточительности, учтивы с равными себе, но весьма надменны со своими вассалами, чрезвычайно щекотливы в вопросах чести, страстно любят свободу, понимая ее *по-своему*, т. е. увлекаясь сильнейшим духом партий. Исполненные тщеславия, хвастливости и энтузиазма к национальной независимости, они способны на величайшие жертвы и на опаснейшие предприятия» (с. 75). Излагая свои представления о польском национальном характере, Чичагов заключал: «Итак, не желая отрицать рыцарских черт, присущих характеру поляков, должно, однако же, признать, что их чрезмерная подвижность, соединенная с восторженностью благородною, но совершенно необдуманною или разнузданною, часто увлекала их на край той пропасти, в которую они наконец ринулись!» (с. 76).

Об образованности поляков-шляхтичей, сравнивая ее с образованностью русских дворян, Чичагов писал: «Просвещение между ними вообще распространено более, нежели у нас» (с. 75). Однако Чичагов отмечал, что это касается привилегированных слоев польского населения, положение простого народа было иным: «Низшие

классы польского народа невежественны, продажны, ленивы, унижены; рабы — во всей силе этого выражения, а дворяне, по-видимому, удерживают преимущественно эту свободу под ярмом, налагая его на своих заморенных соотечественников» (там же).

Высокая образованность адмирала П. В. Чичагова, его ум, данный природой, сложный и разнообразный жизненный опыт помогли ему прийти к относительно справедливой — для своего времени — оценке внешней политики России и, в частности, истории ее взаимоотношений с Польшей.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Юлин В. А. Адмирал П. В. Чичагов — истинный патриот России. Новое в трактовке его роли в истории России. М., 2003; Адмирал Павел Васильевич Чичагов // Вопросы истории. 2003. № 2. С. 50–72; Васильев И. Н. «Несколько громких ударов по хвосту тигра...» Операция на реке Березине 1812 г., или реабилитация адмирала Чичагова. М., 2001. В. А. Юлин упоминает о вышедшей в 2000 г. в Лондоне книге Д. Вудс, муж которой, новозеландский дипломат, одно время находился в Москве: *Woods J. Commissioner's Daughter. The Story of Elizabeth Proby and Admiral Chichagov*. И автор книги, и ее издатель Саймон Хейвиленд — потомки старинного английского рода Проби, из которого происходила жена Чичагова. См.: Юлин В. А. Адмирал П. В. Чичагов... С. 10.
- ² Семенов П. Н. Биографические очерки сенаторов по материалам, собранным П. И. Барановым // Чтения в имп. Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1886. Апрель–июнь. Кн. 2. С. 89–229 [далее — Семенов (Баранов)].
- ³ Дитерихс М. Павел Васильевич Чичагов. Биографический очерк (1767–1849) // Военно-исторический вестник. Киев, 1910. № 3–4.
- ⁴ Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, первого по времени морского министра, с предисловием, примечаниями и заметками Л. М. Чичагова. М., 2002. С. 22–23. Далее ссылки на это издание в тексте даются в круглых скобках с указанием страниц.
- ⁵ Общий морской список. Ч. V. Царствование Екатерины II. (С—Θ). СПб., 1890. С. 338.
- ⁶ Семенов (Баранов). С. 91.
- ⁷ Скрицкий Н. В. Самые знаменитые флотоводцы России. М., 2000. С. 142.
- ⁸ Общий морской список... С. 338–341. Здесь приводится весь послужной список П. В. Чичагова по морскому ведомству.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ В феврале 1797 г. он писал С. Р. Воронцову из Петербурга: «С самого приезда моего в Петербург я искал случая, чтоб препроводить к Вашему сиятельству музыку Моцарта (sic! — Г. М.), о которой один раз я имел

- честь с Вами говорить, <...> знаю, что музыка сия нравиться Вам будет» (Архив князя Воронцова. Бумаги графов Александра и Семена Романовичей Воронцовых. Переписка с П. В. Чичаговым и Грейгами. М., 1881. Кн. 19. С. 8).
- 12 Общий морской список... С. 338. В своих «Записках» П. В. Чичагов крайне отрицательно характеризовал период правления Павла I.
- 13 Архив князя Воронцова. Кн. 19. С. 15.
- 14 *Дитерихс М.* Павел Васильевич Чичагов... С. 122.
- 15 Общий морской список... С. 339.
- 16 Общий морской список... С. 340.
- 17 Русская старина. 1872. Т. 5. С. 250.
- 18 Общий морской список... С. 340.
- 19 *Семенов (Баранов).* С. 109. Церемония бракосочетания «происходила сначала в церкви англиканской, а потом в домово́й, русского посольства» («Записки...» С. 668–669).
- 20 *Семенов (Баранов)*... С. 114.
- 21 Общий морской список... С. 340.
- 22 Общий морской список... С. 340.
- 23 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (далее — ОР РГБ). Ф. 333. Д. 15. Л. 1–2 об. Судя по качеству бумаги и подписи, можно сделать вывод, что это подлинник.
- 24 Жозеф Де Местр, посланник Сардинского короля в Петербурге, хорошо знал П. В. Чичагова и его семью. В донесении, датированном январем 1808 г., де Местр писал о П. В. Чичагове: «Сын его (Чичагова-старшего) — одна из замечательных голов в этой стране. Он был воспитан в Англии, где выучился преимущественно презирать свою родину и все то, что в ней происходит. Речи его отличаются смелостью, которую можно было бы назвать иным именем. Так как он очень умен и самобытен, то его тонкие и меткие остроты уязвляют глубоко. <...> Его боятся, потому что он настаивает на порядке, и ненавидят за то, что он не позволяет, чтобы крали в его ведомстве» (*Местр Ж. де.* Петербургские письма. СПб., 1995. С. 100).
- 25 Русская старина. 1873. Т. 7. С. 6, 37, 44.
- 26 *Семенов (Баранов).* С. 117.
- 27 *Местр Ж. де.* Петербургские письма... С. 122.
- 28 Там же. С. 134.
- 29 *Семенов (Баранов).* С. 124.
- 30 Там же. С. 128.
- 31 Там же. С. 131–132.
- 32 Там же. С. 132, 134.
- 33 Там же. С. 150.
- 34 Там же.
- 35 Там же. С. 138–147.

- 36 Сборник Русского Исторического Общества. СПб., 1871. Т. 6. С. 4, 5 (далее — Сб. РИО).
- 37 Там же. С. 34.
- 38 Семенов (Баранов). С. 160.
- 39 Там же. С. 159.
- 40 ОР РГБ. Ф. 218. К. 138. Д. 19. Л. 7.
- 41 Русская Старина. 1877. Т. 20. С. 56–57.
- 42 Там же. С. 57.
- 43 Там же.
- 44 Внешняя политика России в XIX — начале XX в. М. Т. 6. С. 592.
- 45 Там же. С. 592–593.
- 46 Сб. РИО. Т. 6. С. 45.
- 47 Русская старина. 1877. Т. 20. С. 74.
- 48 Военский К. Отечественная война 1812 года в записках современников (Материалы Военно-ученого архива). СПб., 1912. С. 1.
- 49 Письма В. А. Жуковского к Н. И. Тургеневу. М., 1895. С. 98.
- 50 Кеневич В. Историческое значение басен Крылова (Отечественная война) // Записки имп. Академии наук. СПб., 1864. Т. 4. Кн. 2. С. 164.
- 51 Державин Г. Р. Сочинения. СПб., 1866. Т. 3. С. 451.
- 52 Ивченко Л. Л. Кто выпустил Наполеона из России // Отечественная война 1812 г. Источники. Памятники. Проблемы. Материалы VII Всероссийской научной конференции 1998 г. Бородино, 1999.
- 53 Васильев И. Н. «Несколько громких ударов...» С. 6.
- 54 Местр Ж. де. Петербургские письма... С. 237.
- 55 Ивченко Л. Л. Кто выпустил Наполеона... С. 85.
- 56 Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов: Мифы и факты. М., 2002. С. 307, 306. Н. А. Троицкий является и автором статьи «Чичагов» в энциклопедии «Отечественная война 1812 года» (М., 2004). Здесь слабее звучат «реабилитационные» аргументы, акцент сделан на негативных оценках действий Чичагова при Березине: «Современники почти единодушно заподозрили Чичагова в измене» (с. 786).
- 57 Русская старина. 1892. Т. 76. С. 642.
- 58 Сб. РИО. Т. 6. С. 62.
- 59 Там же. С. 51–66.
- 60 М. И. Кутузов. Сб. док. М., 1954. Т. 4. Ч. 1. С. 318.
- 61 Там же. С. 421–422.
- 62 Внешняя политика России... Т. 6. С. 640–641.
- 63 Там же. С. 641.
- 64 Архив князя Воронцова. Кн. 19. С. 5–179.
- 65 Там же. С. 182–183.
- 66 «Relation du passage de la Bérézina». Год парижского издания указывается в литературе по-разному: 1814 (Юлин) или 1815 (Лаховари). В Лондоне

брошюра была издана под названием «Retreat of Napoleon» («Отступление Наполеона»), 1817. В литературе авторство Чичагова иногда подвергается сомнению. Однако издатель его мемуаров Лаховари (Charles gr. Lahovary), специально занимавшийся — уже в начале XX в. — розыском оригинала «Записок» и ранних изданий мемуаров и в этой связи знакомившийся с фондами Национальной библиотеки Парижа, с полной уверенностью пишет, что автором обоих изданий был Чичагов (*Lahovary Ch. Mémoires de l'amiral Paul Tchitchagoff, commandant en chef de l'armée du Danube, gouverneur des principautés de Moldavie et de Valachie en 1812. Publiés par Charles gr. Lahovary. Paris; Bucarest, 1909. P. V.*).

⁶⁷ Семенов (Баранов). С. 219. В своем завещании, сделанном в 1847 г., Чичагов по этому поводу писал: «Вследствие произвольных мер, которыми император Николай лишил русское дворянство его личной свободы и прав имущественных, а меня, в частности, законной пенсии, следуемой мне за мои заслуги и присвоенной мне по статутам разных орденов, которыми я был награжден, — я порвал свое обязательство в отношении его, а чтобы восстановить свои общечеловеческие права, я приписался к нации, умевшей всего более поддерживать идею разумной свободы, и принял английское подданство. Ввиду этого никаким русским властям не должно быть дозволено вмешиваться в дела, лично до меня касающиеся, но я поручаю моим дочерям передать им следующие орденские знаки мои: Св. Александра Невского, Св. Владимира, Св. Анны и Св. Георгия» (Исторический вестник. 1883. Т. 1. С. 240).

⁶⁸ Семенов (Баранов). С. 220.

⁶⁹ Там же.

⁷⁰ *Mémoires inédits de l'amiral de Tchitchagoff. Campagnes de la Russie en 1812 contre la Turquie, l'Autriche et la France. Berlin, 1855.* Издание было повторено в 1858 г. (*Lahovary Ch. Mémoires de l'amiral Paul Tchitchagoff... P. II*); *Mémoires de l'amiral Tchitchagoff. Leipzig, 1862.*

⁷¹ Юлин В. А. Адмирал П. В. Чичагов... С. 41.

⁷² Архив адмирала П. В. Чичагова. СПб., 1885. Вып. 1.

⁷³ В предисловии к последнему изданию воспоминаний П. В. Чичагова отмечалось, что «постепенно все больше своих мыслей Л. М. Чичагов включает непосредственно в текст той или иной главы. Некоторые рассуждения Л. М. настолько органично входят в текст, что порой трудно отличить, где мысли адмирала, а где его, и он становится, таким образом, полноправным соавтором «Записок» («Записки...» С. 8–9).

⁷⁴ Юлин В. А. Адмирал П. В. Чичагов... С. 41.

⁷⁵ Записки адмирала Павла Васильевича Чичагова, первого по времени морского министра, с предисловием, примечаниями и заметками Л. М. Чичагова / Подгот. текста игуменьи Серафимы. Предисл. и ком. Т. С. Федоровой. М., 2002. Издание включает детально проработанный развернутый именной и географический указатели.

⁷⁶ В предисловии содержится поразительное замечание: «Глава XXVI в публикации отсутствует, так как рукопись перевода с размеченными примечаниями была утрачена в редакции».

- ⁷⁷ В предисловии к своему изданию Лаховари подробно излагает причины, побудившие его заняться поисками рукописного наследия адмирала. К этому его склонили многочисленные разговоры с премьер-министром Румынии Д. Стурдзой, интересовавшимся историей своей страны (*La-hovary Ch. Mémoires de l'amiral Paul Tchitchagoff... P. I*). В этом издании исключены многие подробности личного характера. Публикуемый текст заканчивается неожиданно при описании событий 1812 г., после чего следует примечание издателя: «Текст здесь обрывается, без какого-либо объяснения» (*Ibid. P. 411*).
- ⁷⁸ Попытка автора данной статьи проследить, что именно могло послужить источником знакомства Чичагова с польской историей, успеха не принесла. В хранящемся в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки фонде Чичаговых есть дело, озаглавленное «Заметки адмирала П. В. Чичагова». Оно представляет собой черновую рукопись на отдельных листах, написанную на французском языке трудно читаемым почерком, с пометками и сокращениями. Похоже, что это подготовительный материал, своего рода конспект какого-то издания, поскольку иногда встречаются пометы, указывающие на страницы: «р. 4, р. 16 bis.» и т. д. По всей вероятности, эти выписки были сделаны П. В. Чичаговым при подготовке «Записок». Они касаются времени правления Екатерины II, Павла I, а также истории Польши (ОР РГБ. Ф. 333. Д. 20).
- ⁷⁹ Он писал в своих «Записках»: «Суворова обвиняли в жестокосердии, и в особенности укоряли его за дело под Прагой. Но в истории, как и в частной жизни, всегда бывают некоторые личности, которым, по-видимому, позволено все, а другим ничего не прощают. Верно, забыли, что поляки перерезали русских в Варшаве в мирное время! Политика дворов требует и повелевает иногда мщение, которое служило бы уроком в будущем. Правда, что эти уроки только раздражают и усиливают вражду, вместо умиротворения, но кто может надеяться на содеяние политики мудрой, человеческой и справедливой! Ее следует призывать к ответу, или вернее, заблуждения человеческие, а не полководца, исполняющего ее повеления» («Записки». С. 633–634).

**Итоги и перспективы исследования темы
«Народы Поволжья и борьба южных славян
за национальное освобождение. 1875–1878 гг.»**

Национально-освободительная борьба славянских народов Балканского полуострова против османского ига всегда вызывала большое сочувствие народов России. С особенной силой движение поддержки славян проявилось в России в годы Восточного кризиса 1875–1878 гг., явившегося важнейшим событием международной жизни Европы второй половины XIX в. Кризис был порожден усилением процесса внутреннего разложения Османской империи, широким развитием национально-освободительной борьбы балканских народов, обострившимися противоречиями между великими державами в их соперничестве за политическое и экономическое влияние на Балканах. Начавшись восстанием в Боснии и Герцеговине летом 1875 г., кризис вступил в новую фазу в июне следующего года, когда войну Турции объявили Сербия и Черногория. Следующий этап кризиса связан с началом в апреле 1877 г. русско-турецкой войны, окончившейся подписанием 19 февраля (3 марта) 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией. Завершением кризиса явился Берлинский конгресс (июнь 1878 г.), изменивший карту Балкан.

На всем протяжении Восточного кризиса народы России принимали живое участие в широком движении сочувствия славянам, а также в оказании им самой разнообразной помощи, в том числе и военной. Этим ярким страницам истории посвящено немало научных исследований, научно-популярных работ и документальных публикаций, где главным образом освещаются события Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., ход и итоги военных действий, и в меньшей степени уделяется внимание предшествующим этапам Восточного кризиса. Роль отдельных регионов в исследовании такого самобытного исторического феномена, каким является патриотическое движение народов России с борющимся славянством в период Восточного кризиса второй половины 70-х гг. XIX в., также изучена недостаточно, в частности это относится и к поволжскому региону. Некоторые аспекты истории участия населения Среднего Поволжья в движении поддержки борьбы южных славян раскрыты в ряде научных статей и популярных работ¹, но специальных документальных публикаций по теме долгое время не было, лишь единичные документы были включены в некоторые сборники².

В определенной мере этот пробел заполняют документальные материалы, опубликованные в вышедшем в самом конце 2000 г. сборнике «Самарское Поволжье с древности до конца XIX в.»³. Настоящая публикация включает 128 документов, показывающих процесс развития «славянского движения» в Поволжье, его этапы, разнообразные формы, называющих его участников — представителей различных слоев населения. Основную группу документов составляют письма в Московский славянский комитет от учреждений, религиозных и общественных организаций, частных лиц из Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Пензенской губерний. Они свидетельствуют о глубоком патриотическом подъеме населения, готового жертвовать последним, чтобы помочь борющимся за независимость славянским народам. Другая группа документов — донесения и политические обзоры губернских жандармских управлений — говорит о политических настроениях населения, констатируя рост его национального самосознания, в том числе и трудовых слоев. Особую группу составляют документы самарского общественного деятеля П. В. Алабина, представителя славянских комитетов в освобожденной Болгарии, а затем софийского гражданского губернатора.

Публикация открывается документами о реакции населения поволжских губерний на события в Боснии и Герцеговине. С положением этих провинций Османской империи его познакомил еще сараевский митрополит Савва Косанович, собиравший в 1873 г. в Поволжье пожертвования в пользу православной церкви и школ в Сараево (док. 1, 2). Сбор средств для семей повстанцев Боснии и Герцеговины в 1875 г. начался в октябре этого года в основном среди прихожан сельских и городских церквей, откликнувшихся на воззвания о помощи сербского и черногорского митрополитов. Средства поступали и от благотворительных базаров, концертов и спектаклей (док. 9, 24).

Новый импульс движению народного сочувствия славянской борьбе в России был придан летом 1876 г. после жестокого подавления восстания в Болгарии и вступления в войну с Турцией Сербии и Черногории.

Практически все слои населения Поволжья, будь то дворянство или крестьянство, рабочие или служащие, представители интеллигенции, школьники или студенты — никто не остался равнодушным к тому, что происходило на Балканах. Так, в адресе депутатов Самарского губернского дворянского собрания, направленном Александру II в связи с войной на Балканах, подчеркивалось: «Могли ли мы оставаться равнодушными зрителями этих событий, зная, что может быть главнейшею причиною невыносимых страданий славян — их братство с нами по вере и крови. <...> Мы убеждены:

постигни такая же страшная судьба не славян, не православных, а народ другой какой национальности — во имя облегчения его судьбы был бы уже обнажен не один меч в Европе. И мы не оставались равнодушными. Не было в нашем крае ни одного русского сердца, которое не трепетало чувством готовности помочь страждущим братьям. Каждый, самый глухой угол нашего края давал страждущим, что мог» (док. 81).

Документы сообщают о формировании добровольческих отрядов в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре. Желавших ехать в Сербию было огромное количество, многие ехали за свой счет. Как свидетельствовала самарская пресса того времени, они «идут, чтобы Бог избавил от грехов, идут давшие обет поклониться Гробу Господню в убеждении, что смерть на земле, облитой христианской кровью, будет угодна Богу, идут потому, что видения во сне указывают им путь в Сербию. <...> Эти матери, жертвующие детей, эти сны, плод душевного настроения, эти просители смерти за веру, не знамение ли, говорящее, какой вопрос для России разрешается на Балканах. Какая грозная и сознающая себя сила рвется туда, разрубить мечом цепи рабства» (док. 44).

Добровольческое движение на Балканы в 1876 г. не санкционировалось правительством и не организовывалось славянофилами. По признанию идейного лидера движения народной солидарности с восставшими славянами И. С. Аксакова, добровольческое движение «не только не могло быть сочинено комитетом, не только не способно было втиснуться в какие-либо комитетские рамки, но перешло далеко за его края и почти подавило собой нашу скромную организацию»⁴. Это движение носило полностью народный, массовый характер.

Среди добровольцев-волжан, людей молодых и среднего возраста, выделяется примечательная и колоритная фигура жителя Симбирской губернии Василия Николаевича Кочеткова. Он родился в 1785 г. и провел на действительной военной службе более 60 лет. Кочетков служил при трех императорах, в 12 войсковых частях. Был музыкантом, пехотинцем, кавалеристом, участвовал в 10 войнах и кампаниях, шесть раз был ранен, награжден 23 медалями и орденами. В Крымской войне 1853–1856 гг. он сражался на Корниловском бастионе. Летом 1876 г., когда ему шел 92-й год, он ушел добровольцем в Сербию, а затем участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В боях за Шипку он потерял ногу. Умер Василий Кочетков в возрасте 107 лет⁵.

Всего по неполным данным из Поволжья в Сербию уехало более 400 волонтеров, хотя желающих было в десятки раз больше; туда же было отправлено несколько санитарных отрядов. Если учесть, что общее число добровольцев по всей России составило около 6 тыс.

человек⁶, то можно сделать вывод, что примерно одну пятнадцатую часть составили добровольцы из Поволжья.

Поволжские добровольцы — это люди самого разного общественного положения: бывшие офицеры, унтер-офицеры, солдаты, крестьяне, мещане, рабочие, студенты, служащие, представители интеллигенции. Выходцы из разных слоев русского общества, они каждый по-своему воспринимали цели и задачи национально-освободительной борьбы балканских народов. Но объективно в целом это движение, подготовленное всем предшествующим развитием русско-югославянских связей, явилось выражением братской готовности русского и других народов России и, в частности, Поволжья помочь делу освобождения балканских славян от многовекового угнетения, турецкого господства. Разрешение выходить офицерам во временную отставку и вступать волонтерами в сербскую армию, данное Александром II под давлением общественного мнения, увеличило приток военных в ряды добровольцев. Добровольцы, не имевшие навыков военной службы, проходили хотя бы минимальную военную подготовку в казармах, как это было, например, в Казани.

Следует сказать, что под влиянием отцов, ушедших воевать в Сербию, туда же устремлялись дети школьного возраста. Так, три малолетних воспитанника Нижегородского дворянского института Зыбин, Лютов — 12 лет, и Николаев — 14 лет, под влиянием Зыбина, чей отец воевал в Сербии, решили «пробраться» в Сербию, чтобы помогать славянам. На деньги, сбереженные от подарков родителей, малолетние добровольцы, дождавшись теплого времени, пешком отправились до первой железнодорожной станции, откуда прибыли в Вязники. Здесь они были задержаны начальником станции Николаевым, отцом одного из беглецов, который высек своего сына, а затем всех трех воспитанников отправил обратно по месту учебы (док. 90).

Документы свидетельствуют о том, что самое живое участие в судьбах балканских славян принимало податное население — крестьяне. Характерно, что в сборе пожертвований участвовали не только отдельные крестьяне, но и целые деревни и села, крестьянские общества (док. 45, 54, 71 и др.). Путешествовавший тогда по Волге писатель Вас. И. Немирович-Данченко замечал по этому поводу следующее: «Недавний раб сам стремится уже сокрушить чужие цепи. Освобожденные уже хотят освобождать»⁷. Движение помощи носило демократический характер, так как это было сочувствие бедняка, который сам познал невзгоды и лишения. Именно из крестьянских и рабочих трудовых копеек складывались те большие суммы, пересылавшиеся славянскими комитетами на Балканы. «Со всех концов России, — писала пресса того времени, — получают

заявления, что наиболее щедр к пожертвованиям именно простой, бедный, неимущий класс людей. Рабочие на фабриках и заводах работают по праздникам и весь свой заработок отдают в пользу славян». Не осталась, да и не могла остаться в стороне от благотворительной акции русская православная церковь. В августе 1876 г. в Самарской епархии состоялся съезд духовенства, на котором было принято решение «усилить и продолжать пожертвования до окончания войны и до минования нужды в помощи» (док. 34). Каждая из поволжских губерний собрала от 30 до 50 тыс. руб. только денежных пожертвований за период осени 1875 — осени 1876 гг. Кроме денежной, широчайшее распространение в Поволжье получил такой вид помощи, как вещевые пожертвования на нужды сербской «славянской армии» под командованием генерала М. Г. Черняева (док. 51, 53, 80 и др.).

Отношение населения к событиям на Балканах являлось предметом пристального изучения губернских жандармских управлений Поволжья. Так, начальник Саратовского губернского жандармского управления полковник Гусев по этому поводу сделал следующие выводы: «Движение в пользу славян Балканского полуострова нашло в среде всех классов населения Саратовской губернии сочувственный отклик. Интеллигентное сословие видит в помощи славянам задачу, возложенную на Россию историей; низший класс населения сочувствует славянам как страждущим единоверцам, подавленным врагами христианства. <...> В Саратове как центре умственного движения губернии находится и более личностей, понимающих значение славянского вопроса, а потому и более сознательно относящихся к нему; большинство населения губернии действовало, будучи увлечено примером других, но вообще можно сказать, что пожертвования всех сословий были искренни» (док. 79). Начальник Симбирского губернского жандармского управления П. М. фон Брадке в донесении от 1 сентября 1876 г. информировал III отделение, что размаху «воодушевления и симпатии к славянам надо удивляться», замечая при этом, что «в обществе часто говорят, почему до сего времени Россия не объявит войну Турции ввиду жестокостей турок?» (док. 38).

Успешно начав войну с Турцией, плохо вооруженные и плохо обученные сербские войска вскоре стали терпеть поражение. Русская общественность требовала от правительства выступить в защиту славян и объявить войну Турции. После провала всех усилий урегулировать конфликт дипломатическим путем 12 (24) апреля 1877 г. Александр II издал манифест о начале войны.

Публикуемые документы освещают реакцию населения Поволжья на это событие. Подавляющее большинство приветствовало войну, видя в ней единственное средство освобождения славян, что

в равной мере относится и к мусульманскому населению Поволжья. Так, в адресе татарского населения Нижегородской губернии Александру II выражалась готовность «лечь костью за достижение турецкими христианами такой же счастливой жизни, какую пользуемся мы под высокою державою вашего величества» (док. 98). А полицейский-мусульманин села Камышла Самарской губернии задержал турецкого агента. И несмотря на упреки турецкого шпиона, выражавшихся в следующих словах: «Я с тобой в одной мусульманской вере, зачем же ты меня поймал?», — этапировал его в губернское жандармское управление (док. 97). Казахи-мусульмане Саратовской губернии, как свидетельствуют документы, «показали себя достойными называться верноподданными русского белого царя, пожертвовав на нужды настоящей войны 7 тыс. руб., до 500 лошадей, 500 полушубков и несколько кибиток» (док. 110). По сообщениям начальников губернских жандармских управлений, в самые краткие сроки была проведена мобилизация и военно-конская повинность (док. 89, 92). Населением, сословными и общественными организациями, частными лицами делались крупные пожертвования на санитарные нужды армии. На местах активно действовали Комитеты Красного креста.

Сразу же после объявления войны самарская городская Дума постановила вручить одной из дружин Болгарского ополчения, входящего в состав действующей армии, знамя, заготовленное еще в 1876 г. для болгарских повстанческих отрядов. Для вручения его в г. Плоешти (Румыния) выехала делегация из Самары в составе городского головы Е. Т. Кожевникова и гласного самарской Думы П. В. Алабина. В торжественной обстановке Самарское знамя как символ сочувствия русского народа болгарам было 6 мая 1877 г. торжественно вручено 3-й дружине Болгарского ополчения (док. 96).

Войну России пришлось начинать с расстроенной экономикой и финансами, в стране был торгово-промышленный кризис, безработица. Однако энтузиазм населения обусловил значительную материальную помощь. На санитарные нужды армии по Поволжью было собрано более 1 млн руб. Только Саратовская губерния собрала 325 тыс. руб.⁸.

Расквартированные в Среднем Поволжье военные части были отправлены в действующую армию: на Балканы — 2-я и 3-я дивизии (в составе Калужского, Либавского, Ревельского, Эстляндского, Старо- и Новоингерманландских полков) и на Кавказ 40-я дивизия (в составе Имеретинского, Кутаисского, Гурийского и Абхазского полков). В момент мобилизации эти части были пополнены уроженцами Поволжья (около 73 тыс. чел.)⁹. Кроме того, в действующую армию отправилось значительное количество добровольцев.

Повсеместно формировались санитарные отряды, устраивались госпитали и лазареты.

Военные части из Поволжья воевали на самых ответственных участках войны. Так, войска 2-й и 3-й дивизий участвовали в штурме Плевны. В бою под Плевной 31 августа 1877 г. батальоны Калужского полка были направлены в распоряжение генерала М. Д. Скобелева и участвовали в атаке на турецкие редуты. Однако русские войска, взяв редуты, вынуждены были затем отступить с большими потерями. Калужский полк, вступив в Болгарию в составе 42 офицеров и 4000 солдат, после Плевны насчитывал 11 офицеров и 700 готовых к бою солдат. Примерно в таком же состоянии были и другие поволжские полки.

Гибель большого количества людей при Плевне вызвала недовольство в обществе, справедливо видевшем причину неудач в просчетах командования. Жандармские донесения из Поволжского региона фиксируют все эти оттенки политических настроений населения (док. 105).

Успехи русского оружия поздней осени — падение Плевны и победа М. Д. Скобелева при Шипке-Шейново — отмечались всей страной как национальный праздник. Документы говорят о всеобщем ликовании населения поволжских городов (док. 106, 112). Так, в Нижнем Новгороде, как только стало известно о победах русского оружия, «город мгновенно осветился бенгальскими огнями, импровизированной иллюминацией и флагами. В театре, в клубах по требованию публики пропет был народный гимн при восторженных криках «Ура!» (док. 106). Одним словом, ликовала вся Волга.

Однако радость по случаю победоносного завершения войны сменилась тревогой при известии о требованиях Англии и Австро-Венгрии пересмотреть условия Адрианопольского перемирия, а затем Сан-Стефанского мира (док. 115, 118). В совершенное уныние повергли общество решения Берлинского конгресса, ограничившего Болгарию Балканским хребтом и оставившего под властью Турции половину болгарского населения. В глазах многих Россия «при всех ее жертвах скорее проиграла, чем выиграла». В Поволжье раздавались открытые голоса протеста в адрес этого «коварного конгресса» (док. 116). Однако в действительности, хотя Берлинский конгресс значительно урезал решения Сан-Стефано, он не смог изменить главных итогов войны — создания независимых княжеств Румынии, Сербии, Черногории и автономной Болгарии.

Документы для публикации выявлены в основном в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фондах Московского славянского комитета (Ф. 1750) и III Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии (Ф. 109), в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) в фонде Политотдела

(Ф. 161), Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), в фонде «Болгария» (Ф. 430), в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) — в фонде И. С. Аксакова (Ф. 14), в Государственном архиве Самарской области (ГАСО) — фонд Журнала Самарской городской думы (Ф. 170) и Самарского губернского дворянского депутатского собрания (Ф. 430), в Государственном архиве Ульяновской области (ГАУО) — фонд Канцелярии симбирского губернатора (Ф. 76), а также в губернской прессе и ранее опубликованных изданиях.

Документы публикуются в соответствии с существующими правилами издания исторических источников. Тексты переданы по современной орфографии с сохранением стилистических и языковых особенностей. Документы снабжены заголовками и легендами с указанием поисковых данных.

Обращаясь к перспективам дальнейшей работы над темой, отметим, что в источниковом отношении следует продолжить поисковую работу по сбору и систематизации материалов в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, республиканских и областных архивах гг. Казани, Астрахани, Самары, Пензы, Чебоксар, Ульяновска, Саратова, Нижнего Новгорода. Привлечение новых архивных материалов позволит разнообразить и существенно обогатить уже имеющуюся источниковую базу, поскольку рассмотренная выше публикация носит все же фрагментарный характер и не исчерпывает заявленную научную тему. Следует также шире задействовать центральную и местную прессу, другие периодические издания, мемуарные источники. Безусловно, тема «Народы Поволжья и борьба южных славян за национальное освобождение: 1875–1878 гг.» заслуживает монографического исследования.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Григорьев И. М. Помощь населения Самарской губ. повстанцам Боснии и Герцеговины в 1875–1876 гг. // Наш край. Научные труды Куйбышевского пед. ин-та. Куйбышев, 1975. Т. 165. Вып. 2.; Участие добровольцев Среднего Поволжья в национально-освободительном движении южных славян 1875–1876 гг. // Революционное движение в Среднем Поволжье и Приуралье. Научные труды Куйбышевского пед. ин-та. Куйбышев, 1977. Т. 183.; Яковлев Н. Н. Дружба навечно. Куйбышев, 1969; Кабытов П. С. Легендарный самарец. П. В. Алабин. Куйбышев, 1990 и др.
- ² Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в 3 т. М., 1961–1967. Т. 1–3; Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875–1878. М., 1978.
- ³ Народы Поволжья и национально-освободительная борьба южных славян в 1875–1878 гг. // Самарское Поволжье с древности до конца XIX в. Сб. документов и материалов. Самара, 2000. С. 358–488.

- ⁴ *Аксаков И. С.* Сочинения. М., 1886. Т. 1. С. 218.
- ⁵ Всемирная иллюстрация. 1893. № 1. С. 17.
- ⁶ *Виноградов В. И.* Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии. М., 1978. С. 77–78.
- ⁷ *Немирович-Данченко Вас. И.* По Волге. Очерки и впечатления летней поездки. СПб., 1877. С. 243.
- ⁸ Россия и национально-освободительная борьба на Балканах... С. 386.
- ⁹ *Григорьев И. М.* Участие народов Среднего Поволжья в национально-освободительной борьбе южных славян в период Восточного кризиса 1875–1878 гг. Автореферат канд. дис. Куйбышев, 1978. С. 13.

Две жизни польского конспиратора

Владислав Малаховский, повстанческий псевдоним «Вақ» («Волчок»), родился примерно в 1827 г. (в справочнике «Polski słownik biograficzny»¹ год рождения приводится со знаком вопроса), по другим данным — в 1839 г. (в деле, заведенном на него в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий, говорится: «...выпущен по экзамену поручиком в 1854 г. 24-х лет»², — следовательно, родился примерно в 1830 г.), в Кобринском повете Гродненской губернии. Отцом его был Юлиан Малаховский, землевладелец того же повета, а мать — Теофилия, урожденная Якубовская. Учился Владислав в школах Пружан, Дрогочина и Свислочи, после чего поступил в Санкт-Петербургский Институт инженеров путей сообщения, откуда был выпущен (по «Списку лиц, окончивших курс наук в Институте инженеров путей сообщения...»³) 4 июня 1859 г. в чине инженера-поручика и направлен для прохождения службы на строящуюся Петербург-Варшавскую железную дорогу. Здесь в августе 1859 г. он был назначен начальником дистанции III класса во II отделе Варшавской линии (дистанция Динабург-Варшава-Вержболово-Ландваров-Ораны (ныне Лентварус и Варена) с жалованием 1200 руб. в год⁴. Начальником дистанции Малаховский пробыл немногим более двух лет — до 1 ноября 1862 г., заслужив себе за это время славу хорошего инженера.

«Поручика Малаховского знал как способного и трудящегося человека, хороших качеств сердца, вследствие чего уважал его»⁵, — показал позднее на следствии Фаддей (Тадеуш) Олендзкий, тоже инженер путей сообщения, окончивший Институт в 1863 г.

Заслуги Малаховского признавались и Советом Общества железных дорог: увольняя его в связи с ликвидацией данной дистанции пути, Общество одновременно выплатило ему двухмесячное жалование. Впрочем, обстоятельства были таковы, что увольнение оказалось в известной степени на руку Малаховскому. Уже несколько месяцев западные губернии были охвачены пламенем национально-освободительного движения, и Малаховский принимал в нем активное участие. Еще в 1858 г., на съезде землевладельцев-помещиков, он угрожал шляхте «повторением галицийской катастрофы», если богатые землевладельцы не пойдут на уступки крестьянам⁶.

Говоря об этом, Малаховский прекрасно осознавал, что многие сотрудники строящейся Псковско-Варшавской железной дороги и уже действующих ее участков будут неизбежно вовлечены в нацио-

нально-освободительное движение. Это касалось прежде всего инженерно-технических работников, большинство из которых по происхождению были поляками, хотя приехали на строительство из разных стран Европы.

Прошло еще немного времени, и в ночь на 11 января 1863 г. (старого стиля) в Царстве Польском произошел давно назревавший взрыв: началось вооруженное восстание. В руководстве подпольной организации Литвы сидят «белые» — представители помещиков, не желающих распространения партизанской войны, однако левая часть организации — «красные», и Малаховский среди них; деятельно готовятся к восстанию. В то же время правительство извлекло урок из событий первых недель вооруженного выступления, особенно в части положения на железной дороге. Одиннадцать дней было прервано сообщение с Варшавой: повстанцы с помощью путейских служащих разбирали железнодорожные пути, выводили из строя семафорный телеграф, сжигали деревянные мосты, даже угоняли паровозы. Дабы предотвратить возможность срыва деятельности железных дорог, царские власти приняли решение о переводе инженеров-путейцев польского происхождения из западных губерний в глубь России и о замене их русскими или немцами. Такой перевод мог помешать революционной деятельности Малаховского, поэтому, получив в феврале 1863 г. 28-дневный отпуск, он сказался больным и, предъявляя врачебные свидетельства, продолжал жить в Вильно в течение более пяти месяцев.

О конспиративной деятельности Малаховского (особенно в первое полугодие 1863 г.) почти ничего не известно. Недаром она и была конспиративной. В середине января 1863 г. Малаховский оказывается в Петербурге и оттуда посылает прошение в Динабургскую почтовую контору о переадресовании «посылки или письма», полученных на его имя из-за границы⁷. Обычная просьба, но здесь все настораживает: с какой целью в момент вспышки вооруженного восстания в Польше Малаховский оказывается в столице! А ведь он близок к одному из известнейших деятелей петербургской революционной организации, капитаном Генерального штаба Зигмунтом Сераковским, который только что вернулся из заграничной поездки. Почему и с чем Малаховский должен был получить посылку из-за границы и именно в Динабург? Да еще в то время, когда в расположенном неподалеку Мариенгаузене готовилось вооруженное восстание? Однако ничего более точного нам неизвестно. Еще одно письмо, уже из Вильно, в марте 1863 г. с невиннейшей просьбой о передаче 50 руб. двоюродному брату Малаховского⁸. Но получатель этого письма В. И. Добровольский, подполковник Генерального штаба, начальник 7-й пехотной дивизии, расположенной в это время в районе г. Радом в Царстве Польском. А Добровольский был во

время пребывания в Академии Генерального штаба участником революционного кружка Сераковского, и известно, что во время восстания он помогал повстанцам.

Документально подтверждается, что в начале 1863 г. Малаховский был начальником города Вильно при поддержке Провинциального комитета. В марте того же года, при переходе власти к «белым», он был снят с этого поста, в мае стал помощником нового начальника города А. Оскерко, а после ареста Оскерко принял на себя его функции. За это время он пополнил народную казну из собственных фондов суммой в 300 полуимпериалов⁹.

В июне 1863 г. к руководству повстанческой организации на территории Литвы и Белоруссии приходит один из выдающихся представителей левого крыла Кастусь Калиновский (повешен на Лукишской площади г. Вильно 10 марта 1864 г.) и 22 июня официально назначает начальником города Вильно Малаховского, с которым был близко связан по революционной работе в Петербурге. На этом посту Малаховский прежде всего реорганизовал всю городскую администрацию Вильно, насыщая ее представителями «красных». Тесно сотрудничая с К. Калиновским, он добивался автономии Исполнительного отдела Литвы от недостаточно, по их мнению, активного Жонда Народового в Варшаве. Тогда же они выступили с предложением реформирования Отдела в Литовский комитет. Гравер Генрик Штейнман, прибывший из Варшавы 3 мая 1863 г., которому было поручено привести в единообразие повстанческую сфрагистику, практически подчинялся начальнику города Вильно Владиславу Малаховскому. Правда, изготовленные Штейнманом новые печати ни разу не употреблялись по назначению, так как их не успели доставить местным организациям, а сам гравер был арестован 3 августа того же года¹⁰. Малаховский настолько прочно держал в руках все нити подполья, что Оскар Авейде в Варшаве считал его одного представителем всей повстанческой администрации города. Заняв пост начальника Вильно, Малаховский, судя по показаниям С. Ожешко, данным Виленской следственной комиссии в январе—феврале 1864 г., хранил у себя печати не только начальника города, но и начальника повстанческой полиции¹¹.

28 июня 1863 г., через несколько дней после своего назначения начальником города в письме к командиру повстанческого отряда Феликсу Вислоуху, характеризуя действия повстанцев и их взаимоотношения с населением, Малаховский писал: «У нас в Литве теперь дело доходит до гражданской организации, так как до сих пор администрация в провинции почти не действовала из-за подлости и трусости дворянства, рвущегося к действиям без ощущения необходимости работать, без понимания своих сил и обязанностей. Теперь молодой элемент берет дворянство в тиски, через 2—3 недели вы

сразу же почувствуете эту разницу, почувствуете, что за вами стоит народ, любящий вас как своих детей, народ, материнской рукой охраняющий вас, увидите, что для братьев, гибнущих на поле боя, готовы приносить жертвы братья с возами продовольствия, со сведениями и обмундированием.

Мы вступаем на тот путь, на который с давних пор указывали дворянству: на путь бешеной энергии, на путь такого терроризма, который не только в корне истребляет подлость, но и без колебаний и жалости убивает пассивность, четвертует слабость и неповоротливость.

Дворянство сторонится от работы в деревне, бежит от нее, так как боится муравьевских виселиц и его секвестров, так поставим же его так, чтобы ему пришлось выбирать между нашей петлей и пучком смолистой лучины и царской карой»¹².

Оскар Авейде примерно в то же самое время характеризует положение в Литве как близкое к катастрофическому: «В Литве дела с каждым днем ухудшались и быстро клонились к совершеннейшему упадку. Гражданская служба находилась в несчастнейшем состоянии; дряхлая литовская организация не могла устоять против первого напора правительственной грозы, которая там разразилась уже в конце мая. В воеводствах постоянные аресты вырывали действующих людей одного за другим так быстро, что при таинственности действий и при известных уже недостатках литовской администрации нельзя было успевать замещать другими личностями оставшиеся после ареста вакантные должности. Целый ряд обширных уездов и округов оставался без начальников; не везде даже существовали начальники воеводств и комиссары. О жандармах, о помещицкой почте, приносившей у нас столько услуг восстанию, в Литве не было и помину. В городе Вильно, хотя деятельный Малаховский, поступивший после Оскерки, образовал организацию, но организация его, при проявлявшемся все более и более упадке духа, при недостатке соответственных людей и ежедневных арестах не имела никакой внутренней силы, которую представлял лишь один Малаховский; он должен был каждого из своих подчиненных вести за руку для того, чтобы они действовали хоть сколько-нибудь с пользой: без напряженных усилий начальника города члены организации представляли собой только одни названия. Более способные и деятельные из молодого революционного поколения уже погибли в отрядах; старшие же летами уклонялись от всякого участия в организации, грозившего в небольшом городе неминуемой ответственностью перед военным судом. Поэтому Малаховский с величайшим трудом мог приискать людей только в свои сотрудники, и то таких, которые не имели никаких способностей и не пользовались уважением местных жителей. Подчиненные его были большей частью несведущие

трусы. Поставленная нами в мае месяце реформа (состоявшая в особенности в увеличении власти нашего комиссара, в передаче в его зависимость всех воеводских комиссаров в Литве и в распределении занятий отделения по секциям) была уже не в состоянии спасти литовскую организацию. Происходило это, во-первых, потому что реформа последовала уже поздно: ошибки и недостатки прошедшего при слабости местного восстания и при деятельности законного правительства были уже невознаградимы; во-вторых, потому что для приведения в исполнение этой реформы требовался вполне хороший и дельный комиссар, а не такой, как Дюлеран, лишенный почти всяких способностей, человек самонадеянный иногда до ребячества. Виленское отделение, получив наши майорские постановления, не успело еще приняться за их исполнение, как потеряло в непродолжительное время одного за другим трех своих членов: Оскерку, Франтишека Далевского и Еленского (не говоря уже о многих в то время арестованных их помощниках); приглашенные же вновь гродненский комиссар Константин Калиновский и Малаховский весьма мало знали дела и тайны организации, нашли слишком много старого зла и встретили слишком много препятствий для того, чтобы действовать успешно в духе наших распоряжений. При этом, скоро появились разные жалкие споры и недоразумения между членами нового состава, в особенности между председателем Отделения Гейштором и Дюлераном, имевшим претензии играть роль маленького провинциального диктатора. Вдобавок Малаховский, бывший сильнее других своих товарищей, как начальник города Вильно, ни с кем не посоветовавшись, хотел сам спасти от гибели литовскую революцию и готовил новый переворот: он намеревался устранить всех членов Отделения, не исключая и нашего комиссара, переименовать название Исполнительного отделения на Литовский комитет и установить сношения Вильно с Варшавой на другом основании. По желаним Малаховского, Литовский комитет долженствовал быть самостоятельной провинциальной властью, находившейся лишь в некоторой, более формальной, нежели действительной зависимости от Народного Правительства. Мы еще вовремя узнали об этом намерении Малаховского и успели воздержать его от такого безрассудного поступка»¹³.

В мае 1863 г. генерал-губернатором Западного края стал М. Н. Муравьев, и из-за жестких мер, предпринятых им для подавления восстания, положение в крае становилось с каждым днем тяжелее. Помещики, запуганные угрозой потери своих имений и ссылки в глубь империи, склонялись к раскаянию. Малаховский со своей стороны требовал усиления террора против зажиточной шляхты, предающей интересы восстания. Под давлением царских властей начался сбор подписей под покаянным адресом царю. Несмотря на

призыв повстанческого руководства бойкотировать этот адрес, 27 июля 1863 г. он был торжественно отправлен в Петербург. Малаховский был одним из инициаторов вынесения смертного приговора виленскому губернскому предводителю дворянства А. Домейко, который первым подписал верноподданнический адрес. За день до отправки адреса в городе был распространен следующий документ, подписанный повстанческим начальником г. Вильно В. Малаховским («Бонком»):

«№ 88

7 августа [ст. ст.] 1863 г.

Принимая во внимание, что Александр Домейко, несмотря на то, что он уже поставлен вне закона, употребляет каждую минуту своей жизни на гибель края, вышеназванный Александр Домейко приговаривается к смертной казни.

Начальник г. Вильна Бонк»¹⁴.

Н. И. Цылов, член Политической следственной комиссии при М. Н. Муравьеве, 30 июля записывает в своем дневнике: «В 9 часов утра один из польских злоумышленников пришел на квартиру предводителя дворянства Виленской губернии Домейко, позвонил у двери, человек дверь отпер, спросил, что Вам надо. Пришедший ответил: мне надо передать предводителю прошение. Человек доложил предводителю, и когда тот вышел, — злоумышленник бросился на него, но, к счастью, не мог его убить, а нанес кинжалом три раны в руку и человеку в грудь и сам скрылся и до сих пор не отыскан. <...> Посмотрим, откроют ли злодея? М. Н. Муравьев приказал с сегодняшнего дня с 9 часов вечера по улицам Вильны никому не ходить, кроме русских, и потому в 9 часов город Вильна изображает как бы такой город, из которого все до единого души из города выехали. Всякий встреченный на улице есть непременно русский!»¹⁵

О дальнейшей судьбе покушавшегося Н. И. Цылов пишет: «27 августа. <...> Злодея, который хотел убить 30 июля Домейку нашли и взяли в то время на станции железной дороги, когда он взял билет, чтобы ехать в Варшаву, имея заграничный паспорт. Фамилия его Бенковский, цирюльник из Варшавы. <...> 28 августа, среда. <...> В 11 часов ездил смотреть казнь повешения трех преступников: Бенковского, который хотел убить Домейко и которому из Центрального Комитета было обещано за убиение Домейки 1000 руб. серебром, из которых 700 руб. было выдано вперед: когда его схватили, то при обыске найдено было при нем 620 руб.; Марчевского, фельдшера, который доставил Бенковскому из Центрального Комитета кинжал для убийства Домейки, и Чаплинского, фельдшера, который указал Бенковскому, где живет Домейко и когда лучше к нему придти. Все эти преступники были тайные жандармы Центрального комитета, нанятые для убиения тех лиц, которых

Центральный комитет назначит. Они получали жалование от Комитета, по 40 или 50 руб. в месяц. Преступников этих везли по городу на эшафотной повозке, а Чаплинского на дрожках, потому что с ним сделался от испуга обморок, когда только ему объявил пришедший в тюрьму ксендз, чтобы приготовить их к будущей жизни; его везли на лобное место без всяких чувств, как мертвого, когда же его повесили, то он так махать стал ногами, что все удивились. Прочие двое имели грустные лица и спокойно умерли. Бенковский, когда ему прочли конфирмацию, сказал: в Варшаве я также убил Радзиевского»¹⁶.

Покушение на Домейко произошло в тот самый день, когда Малаховский получил категорическое предписание виленского коменданта:

«Главное управление путей сообщения и публичных зданий от 24 сего июля за № 3896 просит разрешения моего о немедленной отправке Вас в С.-Петербург для получения подорожной и прогонов на проезд до Кавказа, так как Вы приказом по Ведомству путей сообщения 19 июля за № 95 командированы в правление VIII округа.

Вследствие чего предписываю Вашему благородию с получением сего тот же час отправиться в Петербург и о времени выезда из г. Вильно доложить мне»¹⁷.

Перевод Малаховского на Кавказ происходил в рамках уже упоминавшейся выше замены служащих-поляков на россиян и немцев в целях предупреждения саботажа.

Выехал Малаховский через два дня и уже 3 августа был в Санкт-Петербурге. Отправляясь в столицу, он отнюдь не собирался в соответствии с решением Главного управления путей сообщения следовать на Кавказ. Но с одной стороны, обстановка разнузданного террора вынуждала его хотя бы на время оставить Вильно, а с другой стороны, он надеялся договориться с петербургским комитетом общества «Земля и воля» о проведении какого-либо диверсионного акта для отвлечения внимания властей. Поэтому, прибыв в Петербург и на следующий же день подав прошение об отставке, он начинает переговоры с представителями «Земли и воли» (в частности, с членом ЦК Л. Ф. Пантелеевым).

Но 11 августа в Главное управление путей сообщения приходит из Вильно телеграмма от самого М. Н. Муравьева:

«Прошу выслать под арестом в Вильно поручика путей сообщения Владислава Малаховского, выехавшего отсюда в Петербург 1-го августа»¹⁸.

Материалы розыскного дела сообщают:

«Поручик Малаховский был уволен в феврале месяце сего года в 28-дневный отпуск в г. Вильно, оставался там по болезни более четырех месяцев и прибыл в Петербург 3 августа. 11 августа получена от командующего войсками Виленского военного округа

телеграмма об арестовании Малаховского и доставлении его в г. Вильно.

По сделанному в то же время распоряжению Штаба корпуса путей сообщения, при содействии местной полиции, разысканию, поручик Малаховский не отыскан ни в квартире его; занимаемой на углу Мещанской улицы и Вознесенского проспекта у гражданина Кайриса, ни в других местах...»¹⁹.

Прусский подданный Фридрих Кайрис, содержатель меблированных комнат в доме Тура, на углу Вознесенского проспекта и Большой Мещанской, позднее показал:

«Поручик Малаховский въехал в квартиру ко мне 3-го или 4-го числа, наняв № 6 посуточно; во время квартирования у меня он был навещаем разными лицами, преимущественно утром, но кем именно, мне неизвестно»²⁰.

Переговоры проходили не очень удачно. В письме, присланном из Петербурга в Вильно К. Калиновскому, Малаховский жаловался на бездеятельность и трусливость представителя литовской организации в столице И. Огрызко. Но это было не совсем справедливо: петербургский комитет не имел ни сил, ни возможностей для исполнения просьбы Малаховского и должен был дать ему отрицательный ответ. Более того, он сам нуждался в оказании помощи из Литвы. Но на дальнейшие переговоры времени уже не оставалось.

Утром 12 августа 1863 г. старший адъютант штаба Корпуса путей сообщения штабс-капитан И. Г. Криденер был командирован на квартиру Малаховского для ареста его во исполнение просьбы генерал-губернатора М. Н. Муравьева.

«До 10-го числа августа поручик Малаховский ежедневно ночевал в квартире, — сообщил ему Кайрис, — в субботу же с 10 на 11 он в квартире не ночевал, объявив служанке при номерах, что едет в Павловск, <...> в воскресенье 11-го числа Малаховский в квартире тоже не ночевал и целый день в квартиру не возвращался»²¹.

Криденер оставил курьера штаба Пиляхина дожидаться возвращения Малаховского и отправился в штаб доложить о результатах. В это же самое утро в двух кварталах от дома Тура, в Демидовом переулке, отставной унтер-офицер Корпуса путей сообщения Петр Лобанов встретил Владислава Малаховского, которого хорошо знал еще по Институту путей сообщения, где Лобанов прослужил 16 лет. Лобанов обратился к Малаховскому с просьбой о помощи в устройстве на службу; тот пообещал помочь, а пока просил об услуге «принести его вещи, находившиеся в квартире его, что в доме Тура, снабдив меня деньгами 15 руб. для уплаты хозяину номерных квартир за занимаемый им номер квартиры и в удостоверение сего дал мне свой вид на жительство с тем, что вещи его я принес в кондитерскую Раби [«Рамби»] (на Мещанской против Столярного

переулка), и если бы не застал его в кондитерской, то чтобы ожидал его там»²².

Если принять во внимание, что кондитерская находилась через два дома от квартиры, снимаемой Малаховским, то становится понятным, что поручение было дано Лобанову для проверки — пришли ли уже с арестом или еще нет. Вещи были хозяином выданы, уложены, и Лобанов с курьером перешли ждать в кондитерскую. Туда же вскоре пришел и Криденер. По сути дела, все распоряжения и просьбы Малаховского сводились к определенной цели: убедить чинов штаба округа и полицейских не предпринимать дальнейших поисков и ждать разыскиваемого в одном месте, тем паче, что в руках Лобанова остался вид Малаховского на жительство, за которым как за единственным своим документом он непременно должен был вернуться. Ожидали до 9 часов вечера, Малаховский так и не появился. Случайно мимо дважды проходил инженер-поручик Олендзкий, а в кондитерскую заходил и интересовался у курьера, кого они ждут, инженер-поручик Малевский. Неизвестно, где находился в тот день сам Малаховский и чем он занимался, но, скорее всего, обоим поручикам было предложено проследить, все ли посланные на поиски Малаховского люди исправно ожидают его в кафе. Впоследствии Олендзкий и Малевский были арестованы по подозрению в пособничестве государственному преступнику. Иосиф (Юзеф) Малевский, окончивший Институт инженеров путей сообщения в 1858 г., сообщил, что знал о прибытии Малаховского из Вильно 3 августа, что последний даже ночевал у него, Малевского, в ночь с 10 на 11 августа, в чем не было ничего необычного, ибо, будучи приятелями еще по Институту, они часто бывали друг у друга в доме. Малаховский говорил, что намеревается оставить службу и со дня на день ждет отставки по болезни. Тадеуш Олендзкий показал, что был знаком с дядей Малаховского, который помогал Олендзкому определиться в Корпус путей сообщения. Самого же Малаховского лично знал, но тесных связей не имел и в последний раз видел его зимой 1862 г.

Инженер-поручики Малевский и Олендзкий содержались под арестом с 12 по 24 августа, после чего Аудиториат постановил обоих как «не изобличаемых в знании о намерении поручика Малаховского скрыться от преследования правительства и в сношениях с ним по этому предмету освободить от дела без взыскания, но по открывшимся по делу обстоятельствам, навлекающим на них некоторое в этом случае подозрение, поручика Малевского назначить на службу в одну из отдаленных от столицы губерний, а поручика Олендзкого теперь же обратиться к месту служения его во II округ путей сообщения»²³.

Итак, Малаховский скрылся, а из Вильно летела телеграмма за телеграммой:

«Прошу уведомить, последовало ли распоряжение по вчерашней телеграмме моей?»²⁴

Пришлось отвечать:

«По первой депеше тотчас отдано распоряжение о М[алаховском], но он скрылся накануне. По признакам должен быть в городе. Обер-полицмейстером приняты все меры к отысканию»²⁵.

Власти еще надеялись, что без вида на жительство, оставленного в руках Лобанова, Малаховский не решится куда-либо двинуться. Но они плохо знали виленского конспиратора. 18 августа в главное управление путей сообщений пришло письмо на имя главноуправляющего инженер генерал-лейтенанта П. П. Мельникова:

«Для разъяснения странного в глазах Вашего превосходительства моего поступка нелишним считаю, находясь уже вне всякой опасности, (когда будете читать эти строки, я буду уже за морем) раскрыть перед Вами поводы, склонившие меня к столь решительному шагу.

Находясь в отпуску в Вильно, я был действительно очень серьезно болен; имея много свободного времени и знакомых, следил спокойно за всеми событиями последних месяцев. На моих глазах проводились жестокие, но мало полезные меры ген. Муравьева. Ежедневно видел я, как людей не только не замешанных, но даже не сочувствующих польскому движению, без повода (часто подряд всех жильцов одного дома) арестовывали, заключали в крепость, откуда никто не был освобожден. Безвинных в виде помилования отправляли на поселение в отдаленные губернии, налагая секвестр на их имения, но никого во все мое пятимесячное пребывание в Вильно не освободили. Тяжело было при подобных обстоятельствах оставаться в этом городе, но не получив испрашиваемого двукратно мною отпуска за границу, для климатических условий и ввиду большего все-таки спокойствия там, нежели в деревне, хотя нехотя надо было остаться. Лечение мое должно было продолжаться до октября. Чтобы не быть праздным, я начал было уже помышлять о маленьком подряде на постройку чугунной трубы в городе (от Строительной комиссии), о занятиях фотографией; но в это время получаю повестку от виленского коменданта, предписывающую меня немедленно отправить в Петербург и на Кавказ. Находя невозможным ни по состоянию моего здоровья, ни по желанию в такую трудную минуту так далеко уезжать от своих родных, я решил, оставив все свои вещи и дела на попечение жильца того же дома, объяснить лично с Вашим превосходительством. Тут последовало медицинское свидетельство и подана просьба об отставке, потому что для окончательного излечения мне невозможно было проводить осень в Петербурге: здоровье не позволяло далеко уезжать, а оставаясь на службе, надо было решиться на одно из двух средств. На четвертый день по подаче прошения об отставке я получил письмо из

Вильно (без подписи), извещающее меня, что мои соседи по дому все арестованы, моя квартира запечатана, а мне самому надо избегать преследования, потому что также могу быть арестован. Помня хорошо, что кто раз попал в крепость, тому нет помилования, прав ли он или виноват, и ценя пуще всего на свете свободу, я не мог избрать другого пути, как тот, который избрал: я решился скрыться и бежать.

Можете упрекнуть меня в том, что я не обратился к Вашему превосходительству, прося помощи. Этого я не сделал не потому, чтобы в ней сомневался — мне слишком хорошо известны возвышенные чувства Вашего превосходительства, но на опыте я убедился, что ничье заступничество не в состоянии освободить жертву, попавшую в руки жестокому Муравьеву (примером попытки министра Валуева и ген.-губ. Суворова).

Может быть, обстоятельства опять позволят мне когда-нибудь возвратиться, — надеюсь, что не найдете поводов попрекнуть меня, а наша инженерная семья, чуждая политических страстей, раздуваемых последнею борьбою, пожмет и тогда руку своему старому товарищу.

Владислав Малаховский.

С.-Петербург

14 августа 1863 г.

Р. С. Следующее мне за два месяца (январь и февраль) жалование (если закон позволит) жертвую на капитал для воспитания молодых инженеров»²⁶.

На следующий день телеграфировали Муравьеву: «О задержании Малаховского приняты всевозможные меры генерал-губернатором, обер-полицмейстером, но он еще не отыскан. В письме к главному управляющему Малаховский уведомляет, что вследствие полученного 8-го уведомления он скрылся и убежал»²⁷.

22 августа 1863 г., приказом по Главному управлению путей сообщений инженер-поручик Владислав Малаховский из службы исключен²⁸.

Однако в тот же день Муравьев, по-видимому, не очень веря в то, что Малаховский «уже за морем», писал: «...имея в виду, что его показания были бы весьма важны и послужили бы к разъяснению многих обстоятельств производящегося здесь дела о происках вышеупомянутых агентов тайного Варшавского комитета, считаю нужным препроводить при сем 10 экземпляров, заказанных с этой целью, фотографического портрета сказанного Малаховского с тем, что не признаете ли Вы возможным сделать распоряжение к разысканию его в тех местах, где он может скрываться»²⁹.

Это нечто совершенно новое в практике жандармского сыска. Вот эти снимки, случайно обнаруженные в архивных материалах.

Две фотографии размерами 5,4×7,7×0,02 см и 5,7×7,6×0,02 см наклеены с чуть заметным нахлестом левой фотографии на правую (левая и правая по отношению к зрителю) на паспарту размерами 11,4×8,2×0,03 см. Это портреты одного и того же лица — В. Малаховского — сидя поясной и в рост (возможно, ими же воспользовался сам Малаховский для изготовления фальшивых документов, позволивших ему выехать из России). Впоследствии таких фотографий было отпечатано более двух десятков. Для их изготовления, по-видимому, использовались материалы, обнаруженные на квартире Малаховского в Вильно. Он сам в письме к Мельникову упоминал, что собирается после выхода в отставку профессионально заняться фотографией. Даже в Петербурге, где он пробыл не более недели, среди его скромных пожитков при обыске были обнаружены, как следует из описи, «три склянки с жидкостью для фотографий». Из III отделения фотографии были отправлены в Киев, Москву, Варшаву, Петербург. Но фотография — дело новое, неиспытанное, и вместе с портретами рассылались форменно-привычные розыскные листы: «Приметы поручика Малаховского: лет по наружному виду от 35 до 40 [хотя на фотографии он выглядит моложе; сам он писал, что ему 26 лет], роста среднего, волосы на голове темные, гладко причесанные, с пробором на левой стороне, лицо круглое, полное, лоб узкий, носит небольшие бакенбарды, с выбритым подбородком, выражение лица серьезное»³⁰.

В Киеве дело о розыскании поручика корпуса путей сообщения Малаховского было открыто 5 сентября 1863 г., закончено 11 сентября 1863 г. Открывается оно предписанием В. А. Долгорукова от 27.VIII.1863 г. на имя генерал-губернатора (им был Н. Н. Анненков, но Долгоруков его не называет, пишет сугубо официально; возможно, в то время Анненкова не было в Киеве): «При производстве об агентах тайного Варшавского комитета в г. Вильно оказалось, что одним из них был поручик корпуса инженеров путей сообщения Малаховский, который вследствие сделанного главноуправляющим путей сообщения распоряжения о перемещении его из Вильно, выбыл оттуда 1-го сего августа в С.-Петербург.

Виленский военный губернатор, получив ныне извещение из С.-Петербурга, что поручик Малаховский, узнав об арестовании его сообщников в Вильно, неизвестно куда скрылся и имея в виду, что показания его были бы весьма важны и послужили бы к разъяснению многих обстоятельств дела о происках помянутых агентов, просит распоряжения к розысканию его и в случае задержания доставить его арестованным в Вильно»³¹.

Анненков дважды (6 и 11 сентября 1863 г.) предписал губернаторам (киевскому, волынскому и подольскому) следить, не появится ли

Малаховский в означенных губерниях. Но на Украине Малаховский не появился.

Что же касается применения фотографии в розыске преступников, то в 60-е гг. XIX в. известно еще несколько попыток в этом направлении. В октябре 1865 г. Иркутский губернский комитет попечительского о тюрьмах общества обратился к президенту общества (а тот переадресовал обращение в Департамент полиции исполнительной МВД) с ходатайством об организации в Иркутской тюрьме особого фотографического отделения, где бы делались фотографии, «во-первых, всех ссыльно-каторжных, проходящих через Иркутскую тюрьму, во-вторых, всяких бродяг, ловимых в Иркутске, как скоро есть подозрения, что они скрывают свою принадлежность к каторжным». Предполагалось, что в случае побега каторжника его фотографии будут разосланы в те губернии, где он, предположительно, может появиться. По подсчетам иркутского купца Гормана, негатив должен был стоить 75 коп., а отпечаток — 25 коп. На все это предполагалось расходовать 500 руб. в год. На полях обращения имеется замечание (предположительно А. Н. Похвиснева), что при 1000 побегов в год понадобится около 20 000 фотографических карточек, а затраты возрастут соответственно до 60 000 рублей. «Не лучше ли каторгу так устроить, чтобы арестанты не бегали. Это проще». В том же духе 17 декабря 1865 г. и был ответ. 17 февраля 1866 г. вице-президент общества (будущий военный губернатор Иркутска) К. Н. Шелашников констатировал, что Иркутский губернский тюремный комитет «убедился в невозможности устроить подобные заведения, особенно в тех размерах, как это было предположено прежде; что касается предложения МВД пользоваться фотографией в исключительных, особо важных случаях, то Комитет признал совершенно излишним устраивать заведение и для подобных, исключительно редких случаев»³².

12 июля 1867 г. московский генерал-губернатор доносил в МВД, что при полицейской типографии в Москве устроена лаборатория для изготовления розыскных фотографий. «Ныне устройство ее окончено» и «по произведенным в ней опытам они оказались весьма удовлетворительными» (против этого листа барон И. О. Вельо отметил: «и прекрасно», а затем почти весь текст за своей подписью передал в «Северную почту» от 6 сентября 1867 г.).

24 февраля 1867 г. генерал-губернатор Западной Сибири А. П. Хрущов сообщил, что томский губернатор запрашивал его, из каких сумм платить за изготовление копий розыскных фотографий. Ответ гласил: из сумм Тюремного ведомства.

19 февраля 1868 г. симбирский губернатор сообщил, что благодаря розыскной фотографии удалось опознать беглого из Забай-

кальской области «ссылнокаторжного из политических преступников Михаила Морева» (бежал в августе 1867 г.)³³.

Но возвратимся к истории Малаховского. Для его розыска предпринимались все возможные меры, за его поимку была назначена награда в 10 тыс. руб., но через два с половиной месяца шеф жандармов В. А. Долгоруков на основании агентурных сведений из-за границы подтвердил Муравьеву, что Малаховский действительно прибыл в Париж и находится вне досягаемости царских властей. Суд над ним состоялся в декабре 1863 г., и Малаховский был заочно приговорен к смертной казни. Вещи его, оставленные в Санкт-Петербурге, были проданы с аукциона 12 марта 1868 г. за 14 руб. 95 коп.³⁴

О жизни Малаховского за границей в 60-е гг. почти ничего не известно. Вероятно, при помощи русских друзей ему удалось бежать на английском судне, воспользовавшись австрийским паспортом на имя Леона Варнеке (поэтому есть сомнения в подлинности дат его жизни: возможно, год рождения — 1827 — взят из фальшивого паспорта). Зимой 1863–1864 гг. Малаховский пытался организовать переброску оружия в Литву. В Париже в 1864 г. он активно действовал в окружении А. Сапеги, а в 1865 г. входил в состав комиссии, которая осуществляла надзор за средствами, переведенными из Литвы на покупку оружия. Более подробными сведениями о его деятельности под своим настоящим именем мы не располагаем.

В 1866 г. он отошел от дел в комиссии и под именем Леона Варнеке переселился в Англию, осел в Лондоне, принял британское подданство и открыл фотоателье в районе Чапмен Хилл. Вскоре он стал известен в кругах профессионалов благодаря целому ряду изобретений в области фотографической техники. В 1875 г. он сконструировал аппарат со сворачивающейся кассетой, который вполне можно считать прототипом «Кодака», появившегося несколько позже, в 1877 г. получил награду Бельгийского товарищества фотографов за прогрессивный для своего времени способ «сухой обработки» фотопластинок. Изобретенный им в 1881 г. стандартный сенситометр явился одной из первых попыток унификации светочувствительных фотоматериалов, и оценка их по «шкале Варнеке» производилась в Англии до конца XIX в. Проводил Малаховский и опыты с химикалиями, в частности с пирогаллоном, за что в 1881 г. был удостоен премии Британского товарищества фотографов.

Под своей новой фамилией, игнорируя вынесенный ему смертный приговор, Малаховский в 80-е гг. неоднократно посещал Варшаву, Москву и Петербург, участвовал в российских фотовыставках и стал одним из основателей секции фотографов в Императорском Российском техническом обществе³⁵. Профессор Стефан Кеневич, автор статьи о Малаховском в «Польском биографическом словаре»,

ограничивается этими сведениями, вероятно, не располагая материалами из российской прессы. Между тем новая фамилия Малаховского неоднократно появляется на страницах журналов «Фотограф», «Фотографический вестник», «Фотографическое обозрение» и др. за 1880–1898 гг. Так, в журнале «Фотограф»: «В 1877–1878 гг. был в Петербурге теперь всем нам хорошо известный Л. В. Варнеке. Своей живой беседою, готовностью делиться своими знаниями и опытом, сообщением разных новостей он дал возможность сблизиться многим любителям фотографии, в то время разрозненным, и возбудил в них энергию к усовершенствованию фотографии и ознакомлению с новыми ее успехами. Физическое общество при СПб университете, а затем ИРТО имели случай одну из своих бесед посвятить чтению г. Варнеке о его новых изысканиях и приспособлениях по фотографии. Эти чтения, так же как и отсутствие в Техническом обществе присяжных знатоков фотографии (что, между прочим, было причиною в 70-х гг. к образованию особой комиссии), возбудили и в Техническом обществе мысль об устройстве особого отдела по светописи. Так подготовилось основание к устройству общества»³⁶. А В. Срезневский в статье «Новые успехи фотографии» отзывается о Варнеке: «...рядом с этими людьми, служителями чистой науки, должен быть поставлен талантливый, высокообразованный и обладающий обширным и острым умом, обнимающим чуть ли не все отрасли человеческого знания, Л. В. Варнеке, родом славянин, но постоянный житель Англии. <...> При отличных качествах души, при материальной обеспеченности Варнеке щедро делится всею своею опытностью и знаниями»³⁷. В этом же журнале мы находим фамилию Варнеке в списке участников Всероссийской выставки 1882 г. в Москве: «По фотохимической части усовершенствования аппаратов и изобретения снарядов и способов следует указать трех экспонентов. <...> Фотографическая лаборатория Варнеке и К° в СПб., выставившая: 1) бромо-желатинные сухие пластинки с образцами работ на них; 2) образец увеличения портрета прямо с негатива на позитивную бумагу; 3) применение бромо-желатинной бумаги к наблюдениям магнитного склонения и колебания, введенное в Павловской магнитной обсерватории с 1 мая 1882 г.; 4) применение той же бумаги к наблюдениям над изменениями температуры человеческого тела д-ром Никотиным; 5) снаряды: сенсометр (так! — В. Н., Ю. Ш.) для измерения чувствительного фотографического слоя Варнеке и его же актинометр для измерения силы света»³⁸. На этой выставке работы Варнеке были удостоены серебряной медали. «Фотографический вестник» сообщает о торжественном обеде, устроенном в честь Варнеке в Санкт-Петербурге: «Проводы Льва Викентьевича Варнеке. В пятницу 18 марта в ресторане Контана собрались друзья и почитатели Л. В. на прощальный обед по поводу его

отъезда домой в Лондон. Перед обедом Л. В. сообщил о результатах фотографической выставки (закрывшейся 10 марта) в материальном отношении. Обед отличался большой задушевностью и ясно выражал благорасположение к отъезжавшему. Все говорившие высказывались о высоких заслугах Л. В. как одного из самых видных деятелей теории и практики светописи и, в частности, как человека, которому особенно русские фотографы должны быть благодарны за энергическое возбуждение у нас светописного искусства. Действительно, по его инициативе ровно десять лет тому назад учредился столь успешно действующий фотографический отдел ИРТО и по его же почину два года тому назад положено начало возникновению фотографического отдела в Обществе распространения технических знаний в Москве. Кроме того, при каждом почти ежегодном посещении России Л. В. побуждал наших исследователей к различным работам живыми своими сообщениями об успехах светописи и содействовал тем увеличению у нас числа серьезных тружеников на этом поприще. <...> В ответной речи Варнеке заметил, что ему чудится фотографическая академия, в которой сосредоточены вполне знание и умение всех отраслей теоретической, практической и художественной фотографии со всеми вспомогательными науками³⁹. Этот же журнал неоднократно помещал рекламу фотографической лаборатории Варнеке и К°, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, № 31, кв. 25. В журнале были помещены несколько статей самого Варнеке: «О фосфоресценции и последних ее применениях: Сообщение Л. В. Варнеке на технической беседе ИРТО 4 октября» (1880, Т. 1, № 5), «Металл Спенси и его применение в фотографии: Сообщение Л. Варнеке на технической беседе по 5-му отделу Технического общества 6 ноября 1881 г.» (1881, Т. 2, № 11), «Наставление к употреблению чувствительных бромжелатинных пластинок» (1881, Т. 2, № 11), «Негативная бумага Варнеке, описание и указание ее употребления» (1882, Т. 3, № 8). Варнеке поддерживал тесные контакты со специалистами Пруссии и Австрии, популяризируя среди них последние достижения английской фотографической техники. Последние годы его жизни были омрачены предъявленным ему в 1898 г. Марсельским судом обвинением в изготовлении фальшивых рублей. Информация о судебном процессе неточна и противоречива, тем не менее, Малаховскому-Варнеке каким-то образом удалось избежать угрожавшего ему многолетнего тюремного заключения. Он переехал в Женеву, где и умер 7 октября 1900 г. Его жена, в девичестве Платер, вместе с дочерью Зофьей осталась в Англии, а инструменты и коллекции погибли при бомбардировке Лондона во время Второй мировой войны⁴⁰.

Приложение: «Из приложенной к делу описи видно, что у поручика Малаховского заарестованы следующие вещи:

- форменный сюртук с шароварами и жилетом; партикулярный сюртук; небольшое зеркало в металлической раме;
- герб с султаном и кушак;
- дорожный клеенчатый футляр для чернильницы;
- такой же футляр для бритвенных принадлежностей с двумя бритвами, щеткой и ножницами;
- стеклянная чернильница;
- две металлические печати (одна с топазом);
- стакан с телеграфными принадлежностями;
- головная щетка;
- коробка с стальными перьями;
- замшевый черес [пояс для денег];
- три стеклянки с жидкостью для фотографии;
- готовальня;
- папка с газетою и чистой бумагою;
- рубах 7, панталон 3, носовых платков 11, полотенцев 2 и носков 4 пары;
- сверток чистой почтовой бумаги;
- Каталог русским книгам;
- Статистический очерк Царства Польского;
- Польский катехизис и кожаный чемодан.

Все эти вещи, как видно из постановления следователей 23 августа, даны казначею Департамента хозяйственных дел для хранения в кладовой вплоть до распоряжения»⁴¹.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ *Keniewicz S. Małachowski Władysław // Polski słownik biograficzny. Wrocław, 1974. Т. 19/3. Zesz. 82. (далее: PSB). S. 424.*
- ² Российский Государственный исторический архив (далее: РГИА). Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 80 об.—81.
- ³ Список лиц, окончивших курс в Институте инженеров путей сообщения имп. Александра I с 1811 по 1862 гг. СПб., 1883. С. 123.
- ⁴ РГИА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 207.
- ⁵ Там же. Л. 15—15 об.
- ⁶ PSB. S. 425.
- ⁷ РГИА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 138.
- ⁸ Там же. Л. 41.
- ⁹ PSB. S. 425.
- ¹⁰ *Sztakelberg J. I. Pieczęć Komitetu Litewskiego Rządu Narodowego: Epizod z dziejów powstania 1863 r. // Wiadomości numizmatyczne. Warszawa, 1968. R. 12. Zesz. 1(43). S. 30.*

- 11 Восстание в Литве и в Белоруссии 1863–1864 гг. М., 1965. С. 156–160.
- 12 Там же. С. 141.
- 13 Показания и записки о польском восстании 1863 г. Оскара Авейде. М., 1961. С. 596–597.
- 14 Восстание в Литве и Белоруссии... С. 147.
- 15 Дневник Н. И. Цылова: 1863–1864 гг. // Щукинский сб. М., 1906. Вып. 5. С. 394.
- 16 Там же. С. 402–403.
- 17 РГИА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 28.
- 18 Там же. Л. 9.
- 19 Там же. Л. 82.
- 20 Там же. Л. 74–75.
- 21 Там же. Л. 75–76.
- 22 Там же. Л. 7 об.
- 23 Там же. Л. 91–91об.
- 24 Там же. Л. 10.
- 25 Там же. Л. 11.
- 26 Там же. Л. 62–63.
- 27 Там же. Л. 32.
- 28 Там же. Л. 55.
- 29 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 109. I эксп. 1863. Ч. 282. Л. 1–2. Отношение М. Н. Муравьева к В. А. Долгорукову о бегстве Малаховского.
- 30 Украинский Государственный исторический архив. Киев. Ф. 442. Оп. 813 (1863). Д. 217. Л. 2.
- 31 Там же. Л. 1.
- 32 ГАРФ. Ф. 1286. Оп. 86. Д. 728. Л. 3–12.
- 33 ГАРФ. Ф. 1286. Оп. 28. Д. 1289. Л. 1–7.
- 34 РГИА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 96.
- 35 PSB. S. 495.
- 36 Фотограф. СПб., 1880. № 7. С. 217–218.
- 37 Фотограф. СПб., 1881. Т. 2. № 5. С. 127–128.
- 38 Срезневский В. Фотография на Всероссийской выставке 1882 г. в Москве // Фотограф. СПб., 1882. Т. 3. № 7. С. 182–183.
- 39 Фотографический вестник. СПб., 1888. № 4. С. 84–88.
- 40 Romer W. Władysław Małachowski — Leon Warneke // Wiadomości chemiczne. Wrocław, 1952. R. 6. Zesz. 12 (67). S. 478.
- 41 РГИА. Ф. 221. Оп. 1. Д. 818. Л. 83–84 об.

К биографии ксендза Бронислава Уссаса

В статье В. А. Ниловой и Ю. И. Штакельберга «Два польских короля в костеле на Невском проспекте» (Славянский Альманах 2002. М., 2003. С. 369–373) приводится биография историка католической и униатской церкви, ксендза Бронислава Уссаса (Усаса)¹, возглавлявшего Петроградское представительство польской делегации в реэвакуационной и смешанных комиссиях по возвращению на родину, после революции 1917 г., польского исторического наследия.

В Российском государственном историческом архиве представлен ряд документов, позволяющих несколько дополнить и уточнить сведения о дореволюционном периоде жизни ксендза Бронислава Уссаса. Так, в фонде Канцелярии митрополита римско-католических церквей в России хранится его личное дело². В деле имеются: копия послужного списка его отца, Матвея Станиславовича Уссаса, выписка из метрической книги о рождении и крещении Бронислава Уссаса, свидетельство петербургского градоначальника о его благонадежности, документы по воинской повинности и об освобождении от военной службы, а также ряд документов о его пастырском служении в Минске.

В формуляре старшего ординатора городской Калининской больницы, статского советника Матвея Станиславовича Уссаса³, составленном по 11 декабря 1902 г., значится, что он происходит из государственных крестьян Ковенской губернии, от рода имеет 60 лет, вероисповедания римско-католического, женат на Алине Ивановне Савицкой и имеет детей: дочь Анну, родившуюся 26 июля 1881 г., сына Станислава, родившегося 7 августа 1882 г., дочь Марию — 7 августа 1883 г., сына Бронислава — 18 июня 1885 г., сына Болеслава — 3 июля 1886 г., дочь Алину — 13 мая 1891 г. и сына Владислава — 14 июня 1893 г. Дата рождения Бронислава Уссаса, указанная в формуляре, подтверждается сведениями из метрической книги церкви Св. Станислава за 1886 г., в которой под № 888 был записан акт следующего содержания: «Тысяча восемьсот восемьдесят шестого года января двадцать шестого дня в С.-Петербургской римско-католической приходской Св. Станислава церкви окрещен младенец по имени Бронислав священником Владиславом Жилевичем с совершением всех обрядов таинства, коллежского советника Матвея Станиславовича и Алины Ивановны, урожденной Савицкой, Уссас законных супругов сын, родившийся тысяча

восемьсот восемьдесят пятого года июня восемнадцатого дня в С.-Петербурге Казанской части. Восприемниками были Иван Андреевич Баталин с Анною Яковлевною Дорбушовою»⁴.

М. С. Уссас окончил полный курс в С.-Петербургской Медико-хирургической академии, был удостоен степени лекаря. Согласно прошению он был допущен к исправлению должности сверхштатного ординатора городской Калининской больницы — старейшего лечебного венерологического учреждения в России и в Европе. Калининская больница была открыта в 1762 г. в качестве лечебного и исправительного заведения для заключения женщин «развратного поведения» под названием «Калининский исправительный дом с госпиталем при нем». Со временем это учреждение превратилось в лечебное заведение с многоотраслевыми функциями. В больнице имелись отделения для больных сифилисом, другими венерологическими и кожными болезнями, гинекологическое и родильное отделения, светолечебный и гидротерапевтический кабинеты. При больнице действовало женское специальное учебное заведение, суворовское училище, готовившее средний медицинский персонал соответствующего профиля. По окончании четырехмесячного испытания М. С. Уссас был 18 января 1871 г. утвержден в должности, в июне 1873 г. назначен младшим ординатором. В марте 1876 г. за выслугу лет М. С. Уссас был произведен в титулярные советники, со старшинством с 18 января 1871 г. 12 января 1899 г., уже в чине коллежского советника, он становится старшим ординатором Калининской больницы. В мае 1900 г. за выслугу лет он производится в статские советники, со старшинством с 12 мая 1899 г. В 1900 г. временно исполнял обязанности старшего врача больницы. В Калининской больнице М. С. Уссас продолжал служить до своей смерти в 1907 г. В последние годы он также преподавал в суворовском училище при больнице и вел прием больных на своей квартире в доме № 83 по Екатерининскому каналу.

Старший сын Матвея Станиславовича Уссаса, Станислав Матвеевич, в 1905–1906 гг. был редактором еженедельного иллюстрированного социально-политического и сатирического журнала «Свобода» (с № 1 1906 г. — «Девятый вал»), принадлежавшего к числу многочисленных в то время изданий социал-демократического направления. Журналом под редакцией С. М. Уссаса выдвигались лозунги: «Пролетариат не боится ничего, потому что ему нечего терять, а приобретет он весь мир»; «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!»; «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»⁵. Издание в итоге было закрыто, а редактор и издатель С. М. Уссас и А. М. Гутьяр 4 января 1906 г. были приговорены С.-Петербургской судебной палатой к заключению в крепости на один год с запрещением им на пять лет быть редакторами или издателями повременных

изданий. По приговору С.-Петербургской судебной палаты от 23 марта 1906 г. С. М. Уссас был приговорен к заключению в тюрьму еще на два месяца. По соединению с приговором от 4 января 1906 г. общий срок заключения составил один год и два месяца⁶.

Как видно из списков студентов С.-Петербургского университета, Бронислав Уссас окончил гимназию императорского Человеческого общества и в 1903 г. поступил в университет на Историко-филологический факультет, где учился до 1912 г.⁷ Явившись при призыве 1906 г. к исполнению воинской повинности, Бронислав Уссас, по вынужденному им жребию, не подлежал поступлению в постоянные войска и должен был быть записан в ополчение. Как учащийся в высшем учебном заведении, он имел право на отсрочку от воинской службы по вынужденному жребию до окончания учебы или до достижения 27 лет⁸. 4 июля 1912 г., после своего двадцать седьмого дня рождения, Б.М. Уссас был зачислен в ратники ополчения второго разряда⁹. В 1913 г. он поступил Могилевскую римско-католическую духовную семинарию. Эта семинария находилась в С.-Петербурге, так как там же располагалась и Канцелярия митрополита римско-католических церквей в России. Последняя была переведена из Могилева в С.-Петербург в 1873 г. Вместе с ней было переведено и епархиальное управление. В 1878 г. Могилевской епархиальной римско-католической семинарии был передан дом № 49 по Екатерингофскому пр. (Б. Губернаторский дом). С 1901 г. семинария помещалась по 1-й роте Измайловского полка в доме № 11. Для обучения в семинарии Брониславу Уссасу потребовалось свидетельство о неимении о нем неблагоприятных в политическом отношении сведений, каковое и было выдано из Канцелярии петербургского градоначальника от 30 мая 1913 г. за № 16317¹⁰. В начале 1916 г. он был посвящен в сан иподиякона и 23 февраля того же года освобожден от военной службы¹¹. Через год по окончании семинарии и рукоположении в священнический сан он был направлен в Минск. В архивном деле также имеется ряд документов, посвященных его пастырской деятельности. В их числе письмо управляющего Могилевской архиепархией, епископа Иоанна (Яна) Цепляка от 1 февраля 1917 г. о разрешении ксендзу Брониславу Уссасу преподавать Закон Божий в Минских учебных заведениях и переписка о назначении его на должность викарного Минского Мариинского костела (1 февраля — 27 марта 1917 г.). О последнем назначении, состоявшемся в переломные дни российской истории, в разгар Февральской революции (14 марта), было надлежащим образом составлено прошение Минскому губернатору, а также доложено петроградскому градоначальнику¹². Любопытен завершающий документ этой переписки — письмо от 27 марта 1917 г. за № 45483 Минского губернского комиссара, принявшего к рассмотрению дела своего предшественника,

минского губернатора. В ответ на отношение от 1 февраля 1917 г. за № 608, направленное минскому губернатору, губернский комиссар сообщил, что он со своей стороны не встречает препятствий к назначению римско-католического священника Бронислава Уссаса на должность викарного Минского Мариинского костела «ввиду отмены Временным правительством всех вероисповедных и национальных ограничений»¹³.

Служение ксендза Бронислава Уссаса в Минске проходило не слишком гладко. Последним документом из имеющегося в нашем распоряжении дела является жалоба на него ксендза-епископа Радзиевича, посланная 10 августа 1917 г. могилевскому архиепископу¹⁴. Конфликт возник по вопросу предоставления помещения беженцам-бенедектинцам, о которых хлопотал ксендз Б. Уссас. Местное духовенство довольно равнодушно отнеслось к нуждам пришлых братьев по вере, но горячность нового священника, также чужого в этой среде, вызвала недовольство и противодействие. Отмечая честность и большую работоспособность ксендза Б. Уссаса — «у него 11 часов лекций ежедневно, встает он в полшестого утра и ложится в час ночи», — Радзиевич подчеркивал его горячность и несдержанность, «неподобающий тон», взятый им при требованиях для беженцев крыши над головой, и т. п. В числе прочих недостатков нового священника было указано даже то, что «он похож на полонизированного литвина». Жалоба, впрочем, осталась без последствий.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ В большинстве официальных документов фамилия пишется как «Усас». Написание «Уссас» употребляется в документах Могилевской римско-католической епархии. В статье используется ныне принятый вариант фамилии.
- ² РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 2303.
- ³ РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 2303. Л. 2–6.
- ⁴ Там же. Л. 7.
- ⁵ Русская сатира первой революции: 1905–1906. Л., 1925. С. 49–50; *Сниридонова Л. А. (Евстигнеева)*. Русская сатирическая литература начала XX века. М., 1977. С. 22–23; Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания / Отв. ред. Б. А. Бялик. М., 1984. С. 298.
- ⁶ РГИА. Ф. 777. Оп. 6. Д. 120. Л. 6–6 об.; Ф. 776. Оп. 8. Д. 2170. Л. 4; Ф. 776. Оп. 9. Д. 8. Л. 9–10; Ф. 776. Оп. 34. Д. 19. Л. 71; Ф. 1405. Оп. 530. Д. 205. Л. 146–149; Д. 428. Л. 316–319; Д. 430. Л. 86, 42; Д. 431. Л. 73, 76.
- ⁷ Общий список студентов императорского С.-Петербургского университета. 1907–1908 уч. г. СПб., 1908. № 7731; Общий список студентов,

сторонних слушателей и вольнослушательниц С.-Петербургского университета. 1910–1911 уч. г. СПб., 1911. С. 281; Общий список студентов, сторонних слушателей и вольнослушательниц С.-Петербургского университета. 1911–1912 уч. г. СПб., 1912. С. 258.

- ⁸ Свод законов Российской империи. Изд. 1897 г. Т. 4. Кн. 1. Устав о воинской повинности. Ст. 61.
- ⁹ РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 2303. Л. 10.
- ¹⁰ Там же. Л. 8.
- ¹¹ Там же. Л. 9.
- ¹² Там же. Л. 12, 13.
- ¹³ Там же. Л. 18.
- ¹⁴ Там же. Л. 19–20 об.

П. В. Алабин — историк Самарского края

В поистине подвижнической деятельности П. В. Алабина особое место занимает научно-исследовательская работа по изучению истории Самарского края.

Неискушенного читателя не может не поразить как разносторонняя проблематика, так и внушительный объем исследований Петра Владимировича Алабина. Не потеряли научной значимости два его фундаментальных труда — «Двадцатипятилетие Самары как губернского города. Историко-статистический очерк» и «Трехвековая годовщина города Самары», в которых прослежены основные этапы возникновения и развития волжского города, дано описание ключевых исторических событий, в которых активное участие принимали жители Самары. В алабинских книгах содержится богатейший материал, характеризующий своеобразные стороны быта и нравов «самарского общества». В них современный читатель с удивлением обнаружит богатейшие сведения о возникновении и деятельности учреждений культуры, благотворительных заведений, церкви, общественных организаций, театральной и общественно-политической жизни горожан. Много интересных фактов можно почерпнуть из книг Алабина о почти забытой ныне топонимике нашего города — названиях улиц и площадей, парков и садов, поселков, церквей, озер и дорог. Несомненную ценность представляют сюжеты о деятельности городской Думы, развитии экономики, транспорта, торговли и городского хозяйства. Перечень тем, рассматриваемых в книгах Алабина, можно продолжать без конца, так как информативная емкость его книг чрезвычайно велика и по существу проделанная им работа до сих пор не имеет аналога в нашем самарском краеведении. Его издания приобретают поистине энциклопедический характер. Поэтому обращение к творчеству П. В. Алабина имеет не только чисто познавательный интерес, но и вполне практическое значение для восстановления утраченных краеведческих традиций.

Не меньший интерес представляют статьи и документальные публикации Петра Владимировича Алабина по археологии, историческому краеведению, ботанике, музейному и библиотечному делу. Всего им было опубликовано свыше 120 научных трудов. Конечно, не все они равнозначны. Но среди литературного и научного наследия Алабина есть такие выдающиеся сочинения, которые получили

высокую оценку в исторических журналах и периодических изданиях той эпохи, прославив имя автора во всей просвещенной России.

При изучении истории Самарского края П. В. Алабину пришлось решать ключевые вопросы: как освещать древний период истории, время основания Самары и т. п. Изучая древнее прошлое края, он вынужден был заниматься организацией археологических экспедиций, принимал участие в раскопках, выступал с докладом в Казани на Археологическом съезде, опубликовал несколько статей по этой проблематике. Его археологические изыскания получили высокую оценку научной общественности. В 1889 г. Петр Владимирович был избран Почетным членом Петербургского археологического института, о чем немедленно сообщила «Самарская газета»: «Избрание г. Алабина. Самарский городской голова, Действительный статский советник Алабин 17 минувшего октября Советом Археологического института избран в почетные члены оного и в звании сем утвержден господином министром народного просвещения 29-го того же октября»¹.

Каким же представлялось Алабину древнее прошлое Самарского края? На первой странице своего главного труда он отмечает сложности, возникшие при решении этого вопроса: «Наши степи не имели своих летописцев, и население их очень долго, говоря вообще, было так незначительно, так разбросано и так обставлено в своей, большей частью, кочевой и всегда тревожной жизни, что самых преданий о давно прошедших временах этого края некому было сохранять»². Множество курганов, «разбросанных на этой территории», найденные в разных местах каменные орудия, богатая растительность позволяют сделать вывод: «этот край издавна перестал быть совершенно безлюдною пустынею»³.

Наиболее детально Алабин рассматривает древнюю историю края в статье «Древности, найденные в Самарской губернии и хранящиеся в Самарском публичном музее». Ей предшествовала кропотливая работа по изучению многочисленных справочников, специальной литературы по археологическим памятникам. Автор пытался найти в этих изданиях аналоги самарским археологическим находкам. Он стремится не только дать описание, но и датировать памятники материальной культуры, сообщить о месте находки или приобретения: «Каменное круглое блюдо в диаметре 5¹/₂ вершков. Мне подаренное землевладельцем Самарского уезда как найденное в оном и мною внесенное в музей. <...> Граф Бобринский говорит, что такие же блюда попадались при раскопках Мазараки в Полтавской губернии и в курганах других местностей на юге России»⁴.

Алабин считал курганы важным памятником древнейшей истории Самарского края: «Курганы разбросаны то поодиночке, то группами. Иногда в одном месте их можно насчитать несколько десятков;

все они конической формы, но иные до того сглажены временем, что их распахивают вместе с окрестной землей»⁵. В своих научных изысканиях Алабин нередко обращался к помощи местных жителей: крестьян, помещиков, учителей, священников, земских начальников. Все они охотно приносили ему в дар свои находки, рассказывали о месте нахождения, передавали легенды и сказания, сохранившиеся в народной памяти. После изучения и описания Алабин передавал археологические памятники в публичный музей, закладывая тем самым основу для будущих поколений исследователей. Изучая археологические памятники, Алабин пришел к выводу о том, что Самарский край был заселен уже в эпоху палеолита (каменного века), как правило, кочевыми племенами.

Одним словом, увлечение археологией не было праздным любопытством, поскольку Алабин считал, что изучение «прошедших событий, былой жизни приводит к уяснению законов, какими те события управлялись, а это уяснение может послужить основанием для уразумения многого, ныне совершающегося...»⁶. В этом суть концепции Алабина, она лежит в основе всех его исследовательских работ.

Вопрос о времени возникновения Самары Петр Владимирович решал однозначно: «Как устроенный городок, крепостца, Самара впервые является в официальных документах в царствование Федора Иоанновича, а именно в 1586 г., когда по весне начали строить эту крепость (одновременно с Уфой) — для обуздания Ногаев, против чего бесполезно протестовал ногайский князь Урус»⁷.

Но после того как Алабиным были найдены новые документы о древнейшем прошлом Самары, он счел возможным их опубликовать, несмотря на информацию, противоречащую его выводам. Более того, Алабин нисколько не сомневался в достоверности географической карты венецианского космографа XV в. Фра Мауро, на которой, в частности, указан населенный пункт «Самар» приблизительно в том же месте, где находится современный город Самара⁸. По мнению Алабина, карта составлена, вероятно, по существовавшим уже во времена Фра Мауро письменным источникам⁹. Информаторами космографа могли быть соотечественники-купцы, торговавшие на Волге. Алабин проанализировал также жалованную царем Федором грамоту Троице-Сергиеву монастырю о беспошлинном пропуске по Волге монастырских судов, которая фактически подтверждает аналогичную грамоту царя Ивана Грозного¹⁰. В грамоте есть указание: с монастырских судов нельзя брать пошлины в «Самарском городке». Это дает основание говорить о существовании Самары уже в период царствования Ивана IV.

Но эти сведения не повлияли на окончательный вывод Алабина о времени возникновения Самары: «Хотя убеждение в древнем

существовании Самары как сколько-нибудь замечательного населенного пункта имеет для вас значение, однако историю этого города мы все-таки будем вести с 1586 г., т. е. со времени официального признания ее царем Федором — городом или крепостью»¹¹. Мы, кстати, до сих пор не знаем, что из себя представлял «Самарский городок». Если же говорить о Самаре, основанной в 1586 г., то она помимо военного значения (форпост на восточных рубежах России) стала обладать административными функциями, а в XVII—XVIII вв. приобретала черты экономического и культурного центра в Среднем Поволжье. Поэтому нельзя не согласиться с мнением Алабина о том, что «развитие гражданственности в этой стране было невозможно, доколе не стала проявляться в ней твердая власть московских государей. Из этого следует, что до того времени Самарская страна не могла иметь своей истории, по разноплеменности временных обитателей этой страны...»¹².

Какова же была источниковая база научных трудов Петра Владимировича Алабина? Не будучи профессиональным историком, он хорошо знал о существовании разнообразного комплекса документов по истории Самары: изучал русские летописи, «Степенную книгу», картографический и статистический материал, документы, опубликованные в «Древней русской Вивлиофике», журналах «Русский архив», «Русская старина», министерства внутренних дел. Он широко использовал сочинения путешественников и географов Адама Олеария, П. С. Палласа, крупнейших русских историков В. Н. Татищева, Н. М. Карамзина. С. М. Соловьева. Конечно же хорошо знал документы, хранящиеся в губернской канцелярии, городской Думе и губернском земстве: «Трудно было надеяться найти в местных архивах какие-либо письменные документы, относящиеся до древнейших лет города, но мы все-таки испросили разрешения ознакомиться со старинными делами, хранящимися в архивах прочих земских и уездных судов губернии, а также некоторых других присутственных местах»¹³. П. В. Алабин широко цитирует в своих книгах периодическую печать и прежде всего «Самарские губернские ведомости», краеведческие статьи Л. И. Рычкова, академика П. П. Пекарского, А. Леопольдова, И. Второва и др. Ценно обращение Алабина к легендам и сказаниям, к вспомогательным историческим дисциплинам геральдике, сфрагистике, генеалогии.

Все это, безусловно, повышало научную ценность оригинальных исторических сочинений П. В. Алабина, многое в них не потеряло актуальности и в настоящее время. Конечно, эпоха 60–90-х гг. XIX в. наложила свой отпечаток; не со всеми выводами Алабина можно сегодня согласиться. Но пионер самарского краеведения в целом представил достаточно достоверную картину описываемых

событий, причем не безжизненное скучное полотно, а увлекательную историю, заселенную живыми людьми.

Остановимся еще на некоторых алабинских наблюдениях. Вполне правомерен его вывод о том, что темпы колонизации, освоения Самарского края усилились в начале XVII в., в так называемое Смутное время: «Крестьяне и дворовые бежали в здешние привольные степи, отыскивая свободы». Здесь они вливались в ряды Волжской вольницы, становились казаками, которые, с одной стороны, защищали рубежи страны от набегов кочевников, а с другой — представляли реальную опасность для бояр и помещиков. Окраинное положение Самары влияло на состав горожан, которые находились в скрытой оппозиции к самодержавной власти и чуть ли не всегда готовы были принять участие в народных движениях. П. В. Алабин выделяет эту особенность Самары, которая в 1671 г. «отворила ворота Стеньке Разину», затем впустила без боя в город разинского атамана Федора Шелудяка, а в 1773 г. «явила новое доказательство преобладания в среде ее обитателей ультрадемократических элементов», также без сопротивления и кровопролития сдавших город пугачевскому атаману Илье Арапову¹⁴. Правда, Алабин квалифицирует крестьянские войны как бунт и разбой.

Среди богатого материала по истории Самары XVII–XVIII вв. читатель в алабинских книгах найдет сведения о мероприятиях правительства по закреплению за Россией территории Поволжья, о строительстве крепостей и засечных (укрепленных) линий, деятельности Оренбургской экспедиции под руководством видных государственных деятелей XVIII в. И. К. Кирилова, В. Н. Татищева, В. А. Урусова; об особенностях развития городского хозяйства Самары, о быте и культуре конца XVIII — первой половине XIX вв., которая, «как и в огромном большинстве тогдашних наших уездных городов, была в мертвенном застое»¹⁵.

Образование Самарской губернии в 1851 г. придало мощный импульс экономическому и культурному развитию самой Самары. Алабин считал, что она не случайно была избрана правительством в качестве губернского города, так как находилась как бы в центре «по отношению к местности, предназначенной для образования новой губернии; торговое и промышленное значение этого города и его приволжское положение указали на него, как на имеющий все задатки, чтобы стать достойным своего призвания — быть губернским городом»¹⁶.

Привлекают внимание разделы алабинских книг о рельефе Самары, характеристики почвы и воды. Автор считал, что лучшая городская вода находилась в колодце, расположенном в Иверском женском монастыре. Детально описаны качество и свойства воды

в реках Волге и Самаре, даны наблюдения о вскрытии рек, продолжительности времен года, климатических условиях.

Впечатляют зарисовки окрестностей и облика города: «Когда подъезжаете сухим путем к Самаре с юга, из-за р. Самары, и с востока, по Оренбургскому тракту, город не представляет собою ничего живописного: в первом случае пред вами встают ряды бревенчатых серых хлебных амбаров, обрамливающих крутой берег <...> над которыми видится несколько зданий первой линии города и только; во втором случае вы подъезжаете точно к обыкновенному южнорусскому уездному городу, закрытому рядами ветряных мельниц, и за ними представляется вам полоса домиков с несколькими церковными главами между ними, с несколькими группами деревьев на окраинах: ничего грандиозного, ничего, чтобы поражало глаз»¹⁷. Иная картина предстает перед путешественником в Самаре: «Но вот вы и в городе. Вы на одном из гребней города — и вы не оторвете вашего взора от картины, которая пред вами раскинута»¹⁸.

Одно из достоинств историко-краеведческих книг П. В. Алабина — этнодемографические очерки, которые содержат сведения о составе и структуре населения Самары. Относительно ее древнего периода Алабин правомерно считал, что «едва возникшая Самара первоначально была населена служилым военным или полувоенным людом, переселенным на этот пункт правительством из внутренних местностей государства. Таковым собственным переселением служилых людей на намеченный пункт и выражалось, надо полагать, обыкновенно, идея поправки на нем города. Впоследствии, когда занятый таким образом пункт делался в некоторой степени безопасным, в нем, мало-помалу, начинали ютиться ремесленники, промышленники и торговцы, из которых и образовывалось сословие посадских людей или действительных горожан»¹⁹.

На основе изучения данных о движении народонаселения Алабин пришел к выводу, что 40 % населения Самары составляли выходцы из других районов России: «нет почти губернии, даже самой отдаленной, которая не имела бы своих представителей в Самаре»²⁰. В национальном отношении преобладали русские, но в то же время здесь проживали татары, чуваша, мордва, евреи, выходцы из Швейцарии, Франции, Турции, Молдавии, Австрии и Италии. Национальный состав населения наложил отпечаток на культовые здания: церкви и монастыри, такие молитвенные дома, как мечеть, кирха, синагога и костел.

П. В. Алабин правильно определил причины быстрого роста населения в Самаре. По его мнению, на этот процесс оказала сильное воздействие продолжающаяся колонизация края, а также все возрастающее «промышленно-торговое значение Самары, привлекающее в его черту жителей со всех концов России, особенно с того

времени, как открытие Сызранско-Оренбургской железной дороги сделало Самару вполне доступною для каждого во всякое время. Понятно, что с окончанием совершающегося ныне сооружения Самаро-Уфимско-Златоустовской железной дороги, население нашего города должно еще увеличиться в самом непродолжительном времени»,²¹ — прогнозировал он в середине 80-х гг. Алабин сравнивает темпы прироста населения с аналогичным показателем в Соединенных Штатах Америки и подчеркивает, что «тамошние пионеры имеют много общего с поселенцами степных пространств Самарской губернии...»²².

Весьма содержательно написан очерк о социально-экономическом развитии Самары сначала как уездного, а затем губернского центра. Используются разнообразные статистические источники, которые позволили проследить динамику развития ремесленного производства, фабрично-заводской промышленности, а самое главное, торговли зерном, мукой, салом, прочими продуктами животноводства, лесом и другими товарами. Алабин считал, что промышленность и торговля являются главным нервом общественного организма. «Издревле существовала и другая торговля, путем которой была Волга. По этой реке в древнейшие времена совершался обмен произведениями юга и севера, и торговлею этой богатело царство Болгар»²³. Алабин пришел к выводу, что торгово-промышленная деятельность в Самарском крае особенно усилилась после сооружения Закамской и Самарской укрепленных линий. В хозяйственном освоении заволжских земель участвовали переселенцы и беглые крестьяне «со всей России», а также немецкие колонисты. Первый самарский летописец выявил причины, ускорившие развитие земледелия в крае: богатство почвенного слоя, обилие земель, удобство сбыта сельскохозяйственных продуктов, «преобладание над крепостным населением края — населения, относительно искони свободного — государственных, удельных крестьян и немцев-колонистов, <...> обращение к земледельческой промышленности купцов и мещан, привлеченных выгодами такого рода деятельности»²⁴. Конечно, и государственные, и удельные крестьяне также страдали от феодального гнета со стороны государства и удела. Но хозяйственная и духовная жизнь их не подвергалась жесткой, зачастую мелочной опеке, как в русской помещичьей деревне, а потому пульс хозяйственной жизни бился интенсивнее.

Алабин установил, что значительная часть хозяйств края, особенно купеческих и мещанских, была ориентирована на рынок: «по количеству собираемой пшеницы и вообще хлеба, по расчету на душу населения губернии, Самарская стоит на первом месте между губерниями империи, а по среднему годовому избытку хлеба, поступающего на вывоз за границу — на втором месте»²⁵.

Красочно и эмоционально описана городская торговля на Покровской, или Острожной, площади, Воскресенской, или Сенной, площади (ныне Самарская), Троицкой площади и так называемом бурлацком базаре, который был расположен «на берегу Волги, близ пристани, отведенной для лесных изделий, — старейший торговый пункт города». Здесь же дается подробнее описание торговли «колонияльными, мануфактурными и прочими товарами» в магазинах и лавках Самары. Центром торговли была Дворянская улица, которая прежде называлась «Казачьей» (первыми ее заселяли казаки).

В книгах Алабина воспроизведена не только городская, но и деревенская жизнь. Ярко показан внешний облик самарской деревни в лесной и степной полосах губернии: «В местности относительно лесистой крестьянские жилища построены нередко из мелкого осинового леса или из тонкого и часто корявого леса других лиственных пород и вымазаны глиной, и только в Бузулукском уезде, в соседстве с Бузулукским бором, и частью в Ставропольском уезде, из соснового леса — по ту сторону р. Самары, в совершенно безлесной степи постройки жилых крестьянских зданий произведены из отличных сосновых или еловых бревен, только из экономии иногда распиленных пополам.

Тогда как по сю сторону названной реки крестьянские строения большею частью крыты соломой, в степной засамарской местности жилые избы выделяются постройками по преимуществу вполне достаточных размеров, опрятными и представительными. <...> Очевидно, что красивые и обширные деревянные постройки засамарских деревень обязаны своим происхождением хорошим урожаям ценной пшеницы, иногда в изобилии собираемой в этих местностях...»²⁶

П. В. Алабин указывает наличие в губернии торговых центров, где на базарах шла скупка хлеба: Красный Яр, Дубовый Умет, Зубовка, Мелекесс, Черкасская, Сергиевск, Бузулук, Муравьевка, Алексеевка, Утевка, Новотроицкое, Борское, Тоцкое и крепость Сорочинская. Именно сюда свозили крестьяне и частные землевладельцы пшеницу различных сортов, и в том числе знаменитую тогда белотурку, а также русскую — перерод и брызгалку. Алабин воссоздает очень сложную, мозаичную картину хлебной торговли, сцены из жизни провинциального купеческого города второй половины XIX в. с массой деталей бытового характера, например, поведением крестьян, приехавших в город продавать хлеб, приказчиков и купцов во время заключения торговых сделок и т. д. Прослеживает основные этапы развития Самарского хлебного рынка, который уже во второй половине XIX в. занимал прочные позиции на внутреннем рынке России: потребителями самарского зерна и муки были столицы. Верхнее Поволжье, Саратов и Астрахань, а через них Средняя Азия и Кавказ.

Самарская губерния являлась крупным поставщиком муки, крупы и овса для нужд русской армии. Самарская пшеница стала завоевывать внешний рынок. В то же время Алабин указывал, что развитие земледельческого производства и торговли сильно зависело от природных условий, от стечения неблагоприятных обстоятельств «вроде войны или голода, в иные годы эта торговля [зерном. — П. К.] как бы замирает, но вслед за сим, при обстоятельствах, по силе вещей изменяющихся к лучшему, она немедленно воскресает, как бы обновленная, и развивает новые, неведомые дотоле силы»²⁷. Алабин подчеркивал значение самарской хлебной торговли, по существу «создавшей наш город».

Одна из особенностей экономического развития Самары состояла в том, что промышленный ее потенциал в XIX в. был невелик, поскольку в экономике преобладал аграрный сектор. «Здесь всегда было, — писал Алабин, — как и в настоящее время, вообще мало ремесленников по отношению к численности городского населения», отсутствовали традиции в организации ремесленного производства, что, по его мнению, объяснялось «относительной молодостью нашего края вообще как густо заселенной местности и его земледельческим характером».

П. В. Алабин раскрывает причины замедленного развития фабрично-заводской промышленности в Самаре, главная из которых — отсутствие избытка местных капиталов. Купцы-капиталисты пришли в город с верховий Волги и главным образом занимались торговлей хлебом. Ощутимо сказывался недостаток рабочих рук и квалифицированных кадров, а также то, что широкое развитие кредита и строительство железных дорог началось лишь в 1870-х гг.

Конечно, некоторые выводы Алабина страдают односторонностью. В частности, он представлял городское общество единым целым, в котором якобы не было сословной розни и противоречий: чиновник, купец и мещанин, по его словам, «здесь всегда себя чувствовали во всех слоях общества как дома».

В работах Алабина приводится богатейший материал о культуре и быте провинциального губернского города, о той высокой роли, которую играла городская Дума в принятии решений, затрагивающих интересы всех горожан. Но в то же время он довольно критически относился к деятельности Думы, с возмущением отмечая апатию некоторых гласных, «совершенное безмолвие во время заседаний», забвение общественных интересов. В противовес этому безразличию он приводит «главнейшие результаты городской Думы»; работы по благоустройству города, сокращение расходов, борьба с холерой и др. Так же высоко П. В. Алабин оценивал деятельность Самарского губернского земства, которое «в двадцатилетний период своей деятельности сделало немало несомненных и чрезвычайных услуг

населению края и неоднократно принимало самое живое и энергичное участие в судьбах его населения по многим, весьма важным случаям, никогда не оставаясь равнодушным к его интересам. <...> Земством были приняты самые энергичные меры к развитию народного образования, устройству множества сельских школ для детей обоего пола, школы сельских учительниц, школ фельдшерской и повивальной...»²⁸. Земство, подчеркивает Алабин, выделяло стипендии для учащихся и студентов, открыло типографию и статистическое бюро, библиотеки, сельские почты, занималось устройством дорог, возвел губернскую больницу и психиатрическую лечебницу, а также большое число больниц и приемных пунктов в сельской местности и т. д. Все это, безусловно, закладывало серьезный материальный фундамент для развития в крае культуры в самом широком смысле этого слова.

Конечно, здесь лишь в общих чертах изложены взгляды Петра Владимировича Алабина на историю Самарского края. Читатель, обратившись непосредственно к его книгам и статьям, найдет богатейшие данные по самым разнообразным вопросам истории Самары и тем самым сможет по достоинству оценить величайший вклад легендарного самарца в сокровищницу русской культуры, отечественного краеведения.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- 1 Самарская газета. 1889, 28 сентября.
- 2 Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары как губернского города. Самара, 1877. С. 1.
- 3 Там же. С. 2.
- 4 Алабин П. В. Древности, найденные в Самарской губернии и хранящиеся в Самарском публичном музее. Самара, 1895. С. 8.
- 5 Там же. С. 3.
- 6 Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары... С. 1.
- 7 Там же. С. 3.
- 8 См.: Гурьянов Е. Ф. Древние вехи Самары. Куйбышев, 1986.
- 9 Алабин П. В. Несколько старинных документов, относящихся до истории г. Самары и Самарского края. Самара, 1890. С. 3.
- 10 Там же. С. 4.
- 11 Там же. С. 6.
- 12 Алабин П. В. Трехвековая годовщина города Самары. Самара, 1887. С. 1–2.
- 13 Алабин П. В. Несколько старинных документов... С. 7.
- 14 Алабин П. В. Двадцатипятилетие Самары... С. 9.
- 15 Алабин П. В. Трехвековая годовщина... С. 17.

- 16 *Алабин П. В.* Двадцатипятилетие Самары... С. 52.
- 17 Там же.
- 18 Там же. С. 54–55.
- 19 *Алабин П. В.* Трехвековая годовщина... С. 19.
- 20 *Алабин П. В.* Двадцатипятилетие Самары... С. 73.
- 21 *Алабин П. В.* Трехвековая годовщина... С. 24.
- 22 *Алабин П. В.* Двадцатипятилетие Самары... С. 74.
- 23 Там же. С. 327.
- 24 Там же. С. 336.
- 25 Там же. С. 337.
- 26 Там же. С. 386.
- 27 Там же. С. 373.
- 28 *Алабин П. В.* Трехвековая годовщина... С. 137–138.

Проблема македонской национальной идентичности в идеологии Крсте Мисиркова (1902–1905)

В развитии македонской национальной идеи особое место занимает творчество Крсте Мисиркова, одного из лидеров «славяно-македонского» или македонистского движения, призывавшего в начале XX в. к национально-культурному возрождению македонских славян как отдельной нации. Изучение творчества Мисиркова в балканской историографии, к сожалению, достаточно политизировано и зачастую не отвечает требованиям объективного и взвешенного анализа. В отечественной же историографии оно лишь недавно стало предметом исследований¹.

К. Мисирков родился в 1874 г. в славянской патриархистской семье в с. Постол на юге Македонии, где традиционно было сильно влияние Греции. В то время, несмотря на то, что между Македонией и Болгарией существовали уже достаточно ощутимые диалектные различия, Македония оставалась составной частью болгарской этноязыковой общности, а большинство македонских славян обладало болгарским самосознанием и самоидентификацией, что наиболее ярко проявилось в период болгарского национально-культурного возрождения, кульминацией которого стало создание в 1870 г. в рамках Османской империи независимой от греческой патриархии болгарской экзархии как особого церковного округа в болгарских этнических границах. Уже к 1875 г. границы экзархии охватывали территории современных Болгарии и Македонии. Однако длительный период эллинизации патриархией македонских болгар оставил свой след в виде специфической этносоциальной группы македонских славян патриархистов, которых меньше всего затронул процесс болгарского возрождения. В отличие от экзархистов национальное самосознание у них было лабильным, «размытым», а в ряде случаев греческим. Влияние именно этой патриархистской среды сыграло не последнюю роль в формировании сознания молодого Мисиркова.

Годы учебы Мисиркова в греческом начальном училище, а затем в учебных заведениях Болгарии, Сербии и России стали для него временем поиска своей национальной идентичности. Знакомство с балканскими государствами и их экспансионистскими планами в отношении Македонии вызвало у него отторжение национально-культурной пропаганды, с помощью которой эти государства

стремились закрепить свое влияние в Македонии. «Борьба между Болгарией и Сербией за влияние в Македонии в итоге привела к развитию осознания того, что судьба Македонии должна остаться в руках македонцев, <...> у славянского македонского населения постепенно вызревало национальное самосознание», — писал он².

Полагая, что названия болгар, сербов и греков являются лишь политическими «этикетками», навязываемыми македонскому населению соседними балканскими государствами, Мисирков и его сторонники с целью подчеркнуть македонскую национальную идентичность в качестве этнонима взяли определение «македонский славянин» или «славяно-македонец». В то время под определением «македонец» понимался именно македонский болгарин, поэтому их программа была посвящена национально-культурному возрождению «славяно-македонского» народа.

В этом направлении они встретили определенную поддержку со стороны Сербии, которая со второй половины 80-х гг. XIX в. в тактических целях взяла на вооружение идеологию македонизма. Данная идеология заключалась в утверждении через комплекс специальных мероприятий идеи македонской национальной самостоятельности. Это, по мысли идеологов сербской национальной пропаганды, позволило бы оторвать македонских славян от болгар в национальном плане, а следовательно, и в политическом, а затем с успехом их сербизировать³. Заслуги Сербии в македонском национальном «возрождении» неоднократно признавал сам Мисирков: «Наиболее сильным толчком к национальному пробуждению македонцев послужило начало сербской пропаганды в Македонии. <...> В начале своей пропаганды сербы намерены были наряду с болгарями включить Македонию в сферу своих интересов. Эта цель достигалась, <...> главным образом, иной постановкой вопроса о национальности македонских славян. <...> Сербские усилия рассмотреть македонский вопрос с научной точки зрения увенчались успехом. <...> Сербия воспитала целое поколение македонцев (т. е. славяно-македонцев. — Д. Л.), которое имело, имеет и будет иметь наибольшее значение в новой истории Македонии. <...> Сербское влияние благодатно для Македонии»⁴. В конце своей жизни он в очередной раз признавался: «Позавидовав болгарам, а также по некоторым другим теоретическим и практическим соображениям сербы начали оспаривать утверждения, <...> что македонцы — это болгары, и тем самым, *первыми* (курсив мой. — Д. Л.) выдвинули на повестку дня ученых вопрос об истинной национальности македонцев»⁵.

Согласно сербским идеологам македонизма обоснованием этнической идентичности македонцев должно было стать утверждение о равноудаленности центрального македонского диалекта и от

сербского, и от болгарского языков⁶. Такое утверждение объясняло бы возможность создания самостоятельного македонского литературного языка, а в перспективе возможность развития особого македонского самосознания. Тезис о том, что македонский диалект представляет из себя «нечто среднее между болгарским и сербским языками», и был взят за основу «славяно-македонским» течением⁷. «Вопрос о языке, — указывал Мисирков, — один из самых важных при разрешении македонского вопроса»⁸. Другие же критерии национальной идентичности им принижались. Диалектные особенности, по мысли Мисиркова, свидетельствовали о наличии македонской этнической идентичности как почвы, на которой возможно создание македонской нации.

Следовательно, если исходить из понимания двух уровней идентичности: этнической (связанной с наличием у определенной группы населения определенных, присущих только ей этнических черт, в том числе диалектных и языковых особенностей) и национальной, связанной в первую очередь с национальным самосознанием, то Мисирков признавал наличие у македонских славян только первого уровня идентичности — этнической идентичности в виде македонских диалектных особенностей, тогда как для образования нации обязательно необходимо было наличие именно национальной идентичности.

Таким образом, для Мисиркова македонская нация существовала лишь в потенциале, и еще лишь только предстояло реализовать этот потенциал, претворив этническую идентичность македонцев в национальную. При этом этническая идентичность рассматривалась им как фундамент для строительства национальной идентичности. Говорить же о появлении македонской нации, т. е. о переходе македонских славян из разряда этноса, не осознающего свою самобытность, в разряд самостоятельной нации, согласно Мисиркову, можно было только после создания своего литературного языка и распространения македонского самосознания, что и провозглашалось главными целями «славяно-македонского» возрождения.

Эти выводы перекликались с мыслями сербского идеолога македонизма Ст. Новаковича, утверждавшего, что процесс формирования македонских славян в отдельную нацию еще не завершился. «Задача современной эпохи, — писал он, — завершить это формирование с помощью современного просвещения, литературы и государства»⁹.

Помимо теории этнической идентичности македонцев Мисирков в качестве вспомогательной использовал теорию общности македонской судьбы, отличной от судьбы болгарского народа. Он указывал на благоприятные исторические условия, созданные Берлинским трактатом 1878 г. По его мнению, проведение границы между

Болгарией и Македонией в 1878 г. должно было способствовать ослаблению у македонских славян осознания общности судьбы с болгарями, сложившегося в ходе совместной с ними борьбы за освобождение. Ослабление «культурных» связей македонцев с болгарями и рост осознания ими особой македонской исторической судьбы должны были «повлечь вслед за дроблением Сан-Стефанской Болгарии в политическом отношении ее дробление и в этнографическом отношении». При этом выделение македонцев из болгарской этнической общности Мисирков рассматривал таким же объективным историческим процессом, как и образование из некогда единой южнославянской группы болгарского, «сербско-хорватского» и словенского народов¹⁰.

Кроме того, одно из положений «славяно-македонской» теории, объясняющее моральное право македонцев на создание собственной нации, заключалось в том, что сербы и болгары своими правописными реформами сами отказались от своего этнического родства с македонцами. Мисирков и его сторонники поддерживали мнение, высказанное еще сербским ученым В. Ягичем, о том, что все южнославянские диалекты до образования сербского и болгарского литературных языков представляли собой последовательную цепочку, тянущуюся от Болгарии через Македонию и Сербию к Хорватии и Словении. В центре данной цепи находились македонские и близкие к ним диалекты, которые, по наивному предположению «славяно-македонцев», могли бы служить основой для единого южнославянского литературного языка и тем самым соединить всех южных славян «в одно национально-культурное целое». С созданием же сербского, основанного на герцеговинском диалекте, и болгарского, основанного на восточно-болгарских диалектах, литературных языков цепь южнославянских диалектов оказалась разорванной, а ее центральные македонские диалекты остались без внимания¹¹. Так, по словам Мисиркова, «языковая реформа Вука Караджича свела на нет возможность создания общего языка для сербов и македонцев», «возвела барьер между сербами и македонцами»¹², а в 80-е гг. XIX в. такой же барьер между собой и македонцами своей реформой литературного языка создали болгары¹³. Последнее замечание Мисиркова могло претендовать на адекватное отражение действительности, если вспомнить, что после 1878 г. Болгария отказалась от опыта болгаро-македонских просветителей, в эпоху национального возрождения создававших болгарский литературный язык на основе их родного македонского диалекта, а в начале 90-х гг. XIX в. репрессиям со стороны режима Ст. Стамболова подверглось движение так называемых «лозарей», возмущенных тем, что их македонские диалекты игнорируются в Болгарии, и стремившихся к тому, «чтобы болгарский литературный

Г. В. Макарова
(Москва)

Адмирал П. В. Чичагов

и его отношение к «польскому вопросу»

Чичагов принадлежит к скорбному списку русских людей, совершивших для отечества несравненно менее того, на что они были способны и к чему были призваны.

Петр Бартнев

В последние годы, после длительного периода историографического затишья, почти одновременно появилось несколько работ об адмирале Павле Васильевиче Чичагове (1767—1849)¹. Его имя в отечественной истории связывается прежде всего с неудавшейся попыткой взять в плен Наполеона при переходе его войск через реку Березину во время отступления из России. «Березина» стала трагическим, «роковым», во многом определившим дальнейшую судьбу моментом не только для Наполеона, но и для адмирала П. В. Чичагова.

Для того чтобы яснее представить позицию П. В. Чичагова по польскому вопросу, его отношение к польской политике Екатерины II и Александра I, следует хотя бы кратко изложить основные события его жизни, повлиявшие на становление его характера, складывание его мировоззрения. Жизненный путь адмирала — это сплошная череда контрастов: резкие переходы от наград и возвышений до падений и отставок. Такой же была и его личная жизнь — от переполненности ощущением счастья до неожиданных трагических потерь. Далекое не обыкновенной была и судьба его наследия, его архива. Отнюдь не благополучно складывалась история публикации его мемуаров. Сложным и противоречивым был и характер самого адмирала.

Одним из первых весьма детально изложил биографию П. В. Чичагова, подтвердив ее в ряде случаев официальными документами, П. И. Баранов (1827—1884). Он проделал большую работу по сбору биографических данных обо всех российских сенаторах (на 1 августа 1884 г. их насчитывалось 1082 человека, и среди них был только один адмирал — П. В. Чичагов). Оставшиеся после смерти П. И. Баранова материалы перешли к его племяннику П. Н. Семенову, который напечатал их в 1886 г. в «Чтениях ОИДР». Наиболее значительным по объему был биографический очерк об адмирале П. В. Чичагове, остающийся, пожалуй, лучшим из имеющихся по сей день². Таким образом, работа П. И. Баранова вышла под фамилией ее

что для этого, по мысли Мисиркова, были готовы условия в виде македонских диалектных особенностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку эпоха господства в Македонии болгарского самосознания не позволяла Мисиркову мыслить иначе (так, как это зачастую делают современные историки, исходящие из современного факта существования македонской нации с македонским самосознанием и тем самым «переносящие жгучую современность в остывшее лоно былых веков»¹⁹).

Именно влияние этой эпохи, на наш взгляд, предопределило начавшуюся с 1906–1907 гг. эволюцию взглядов Мисиркова и отказ его от ряда своих тезисов. В 1903 же году квинтэссенцией его выводов стали слова: «Самая большая наша беда кроется в том, что нет у нас местного македонского патриотизма. <...> До сих пор мы не жили как отдельная национально-религиозная единица. <...> Почва [для ее создания] есть, но нет желания [ее создавать]»²⁰.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- 1 См.: *Исаева О. Н.* Новые материалы о жизни и деятельности К. Мисиркова // Славянский сб. Саратов, 2003. Вып. 6.
- 2 *Мисирков К.* За Македонските работи. София, 1903. С. 70, 75.
- 3 См.: *Цамбазовски К.* Стојан Новаковић и Македонизам // Историјски часопис. 1963–1965. Књ. 14–15; *Христов Х.* Македонизмът като политическа концепция в края на XIX и началото на XX вв. // Исторически преглед. 1979. № 3.
- 4 *Мисирков К.* За Македонските работи... С. 69–99.
- 5 Из статьи К. Мисиркова «Национальность македонцев» в софийской газете «20 юли» от 11.V.1924. Цит. по: Македония. Сб. документов и материалов. София, 1980. С. 786.
- 6 *Цамбазовски К.* Стојан Новаковић и Македонизам... С. 149.
- 7 Оставим открытым вопрос о научности данного тезиса.
- 8 *Мисирков К.* За Македонските работи... С. 9–12.
- 9 *Христов Х.* Македонизмът като политическа концепция... С. 32.
- 10 *Мисирков К.* За Македонските работи... С. 47, 101–131.
- 11 *Ристовски Б.* Димитрий Чуповский и македонское национальное сознание. М., 1999. С. 47–48.
- 12 Из статьи К. Мисиркова «Возникновение и разбор болгарской и сербской теорий о народности македонцев» в одесском журнале «Вардар» (сентябрь 1905 г.). Цит. по: Документы о борьбе македонского народа за самостоятельность и национальное государство. Скопье, 1985. Т. 1. С. 505.
- 13 *Мисирков К.* За Македонските работи... С. 110–111.
- 14 *Пандев К.* Националноосвободителното движение в Македония и Одринско (1878–1903). София, 2000. С. 69–70.

- ¹⁵ Мисирков К. За Македонските работи... С. 20–61.
- ¹⁶ Там же. С. 68.
- ¹⁷ См.: Документи о борбе македонского народа... Т. 1. С. 486–487; Ристовски Б. Димитрий Чуповский... С. 40–53.
- ¹⁸ Мисирков К. За Македонските работи... С. 100–131.
- ¹⁹ Феер Л. Бои за историю. М., 1991. С. 16.
- ²⁰ Мисирков К. За Македонските работи... С. 37, 40–41, 97–98.

А. Ф. Гильфердинг — дипломат

Александр Федорович Гильфердинг — известный российский историк, этнограф и лингвист. Его научные труды, охватывающие огромный спектр проблем славянской истории, этнографии и языкознания, высоко оценивались в прошлом и не потеряли научного значения в настоящем. Они отличаются широтой географического и временного охвата, различием подходов к изучаемым проблемам (от детального глубокого анализа, основанного на тщательном изучении источников, до политико-публицистических характеристик процессов, совершающихся в славянском мире в 50–70-х гг. XIX в.). Большое научное наследие Гильфердинга изучалось учеными-славистами прошлого и настоящего (И. И. Срезневский, М. И. Семеvский, К. Н. Бестужев-Рюмин, А. Н. Пыпин, Л. П. Лаптева и др.). Однако о деятельности Гильфердинга-дипломата до сих пор мало известно¹. Между тем непродолжительное пребывание его на дипломатическом поприще в качестве российского консула в Сараеве сыграло определенную роль в формировании его политических взглядов и научных представлений, обогатив труды ученого по истории южного славянства. Оно способствовало также становлению Гильфердинга как общественно-политического деятеля, активного сторонника славянского освобождения.

А. Ф. Гильфердинг родился 2 июля 1831 г. в Варшаве в семье высокопоставленного чиновника Федора Ивановича Гильфердинга, бывшего в то время директором Дипломатической канцелярии при наместнике Царства Польского, а потом чиновником для особых поручений при И. Ф. Паскевиче. Семья Гильфердингов переселилась в Россию из Саксонии в начале XVIII в. и исповедовала католичество. Тем не менее А. Ф. Гильфердинг в 15 лет перешел в православие. В 1849 г. его отец был переведен в Петербург и занял должность директора Департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел, а с 1851 г. — управляющего Государственным архивом МИД в Петербурге. Ф. И. Гильфердинг не был богат. Высочайше пожалованный ему за службу в Польше майорат приносил лишь 750 руб. годового дохода². Семья жила в основном на жалованье. Поэтому Александра Федоровича уже с молодости готовили к чиновничьей карьере. Он получил хорошее домашнее воспитание, владел основными западноевропейскими и славянскими языками, древнегреческим, латынью и санскритом.

В 1848 г. А. Ф. Гильфердинг поступил на историко-филологический факультет Московского университета и в 1852 г. окончил его, защитив в 1853 г. магистерскую диссертацию на тему «Об отношении языка славянского к языкам родственным». Учителями его были известные ученые-филологи — О. М. Бодянский и С. П. Шевырев, близкие к славянофилам. Большое влияние на Гильфердинга оказал и славист В. И. Григорович, работавший в Казани и неоднократно посещавший славянские земли. В период учебы Гильфердинг сблизился с московскими славянофилами — А. С. Хомяковым, К. С. и И. С. Аксаковыми, И. В. и П. В. Киреевскими, Ю. Ф. Самариным, тем более что с ними был хорошо знаком его отец. Все это способствовало становлению Гильфердинга как ученого, а затем и общественно-политического деятеля славянофильского направления и умеренного либерала.

По окончании университета в июле 1852 г. А. Ф. Гильфердинг был определен на службу в Азиатский департамент МИД в чине коллежского секретаря. В феврале 1854 г. после получения степени магистра ему присвоили чин титулярного советника, а в мае 1856 г. он был назначен младшим столоначальником Азиатского департамента³.

Служебная карьера Гильфердинга складывалась успешно. Он был исключительно работоспособен, исполнительен и аккуратен. В 1856 г. его наградили медалью на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. Однако канцелярские занятия не привлекали Гильфердинга, мечтавшего о научной деятельности. Службу он совмещал с научными изысканиями, а в 1855 г., испросив четырехмесячный отпуск по болезни, уехал за границу с целью изучения истории и быта зарубежных славянских народов. Гильфердинг побывал в Сербии, Болгарии, Австрии, Германии. Результатом его научных поисков как в России, так и за рубежом явился ряд капитальных трудов, в том числе «Письма по истории сербов и болгар» (1854–1859 гг.), переработанные затем в «Историю сербов и болгар». Это было первое в русской исторической литературе сочинение, где с достаточной полнотой раскрывалась средневековая история сербского и болгарского народов. Автор использовал много новых письменных источников, найденных им во время путешествия по Болгарии и Сербии, а также руководствовался личными впечатлениями и сведениями, полученными из бесед с местными жителями⁴. Труд этот для своего времени имел большое значение и был переведен на сербский и немецкий языки. Уже в нем Гильфердинг рассматривал идею объединения славянского мира, занимавшую тогда многих славянофилов. Однако в отличие от сторонников федеративного объединения он заявлял, что славянская федерация не может быть жизнеспособной: федеративные союзы славян, складывавшиеся

для борьбы с внешним врагом (Византией, турками), как правило, быстро разрушались, считал ученый. Славяне должны создать не федерацию, а единое государственное образование «на широком просторе», ядром которого являлось бы сильное государство. Единство славян может возникнуть лишь с помощью внешней силы, под которой Гильфердинг подразумевал Россию⁵.

В это же время на основе разысканных им новых источников в Северной Германии Гильфердинг написал «Историю балтийских славян» 1854–1855 гг., первое в России подробное сочинение по этой проблеме. Основываясь на славянофильской идее противоположности славянского и германского миров, ученый утверждал, что институт феодальных отношений, заимствованный балтийскими славянами у немцев, разрушил их патриархальность и послужил причиной их гибели. Идея эта была ложной, но собранные Гильфердингом фактические данные представляли большую ценность для науки.

В 1855 г. Гильфердинг посетил также Австрию и познакомился с жизнью австрийских славян. Внимание ученого привлекали земли на западе Балкан — Босния, Герцеговина, Македония, практически не посещавшиеся еще русскими путешественниками. Об этих христианских провинциях Османской империи в России до середины XIX в. было мало что известно. Некоторые отрывочные сведения о них поступали от российских консулов в Дубровнике, от дипломатов в Вене и Константинополе. Социально-экономическая и политическая система в этих областях строилась на жестокой эксплуатации зависимого христианского, в особенности православного, населения, на его политическом бесправии и религиозном гнете. Эти явления усилились в 30-х гг. XIX в., когда Порта начала проводить реформы с целью ограничения власти местных феодалов. Уничтожение при этом крестьянской наследственной аренды земли сделало жизнь зависимого населения поистине безысходной.

Лидеры православных герцеговинцев, начиная с 40-х гг., пытались связаться с Россией, чтобы найти хоть какую-нибудь защиту. В силу своей близости к Черногории в Герцеговине больше знали о России, а некоторые выходцы оттуда попали в Россию еще в начале XVIII в. по призыву Петра I, например, М. Милорадович. В 1842 г. герцеговинцы посетили священника русской посольской церкви в Вена М. Ф. Раевского и просили его о защите. В 1850 г. представители Герцеговины вновь встретились с Раевским и, указывая на бедственное положение православного населения, умоляли об открытии российских консульств в Сараеве и Мостаре. Они ссылались на то, что австрийские консульства там уже существуют и австрийское влияние усиливается. Также они просили содействия Св. Синода в смещении герцеговинского митрополита Иосифа,

грека по национальности, и назначения на его место герцеговинца И. Памучины, известного деятеля просвещения. Была высказана просьба о присылке из России богослужебных книг и школьных учебников⁶.

Необходимость открытия русских консульств в Боснии и Герцеговине осознавалась и самими русскими дипломатами. Такие мысли высказывал, в частности, российский консул в Белграде Д. С. Левшин еще в 1849 г.⁷ В 1852 г. посланник в Константинополе А. П. Озеров неоднократно предпринимал демарши перед Портой в связи с жестоким подавлением крестьянских восстаний Омер-пашой⁸.

Вступление русских войск в Дунайские княжества в период Крымской войны подало надежду населению Боснии и Герцеговины на скорое освобождение. В декабре 1854 г. Николаю I было направлено обращение за подписью 50 видных представителей этих провинций с жалобами на бесчинства турок и греческих владык и с просьбой о помощи в избавлении от гнета⁹. Тяжелое положение христиан Боснии и Герцеговины подтверждалось донесениями консулов из Белграда и Дубровника, их беспокоили также активность австрийцев и распространение униатской пропаганды среди православного населения провинций.

После окончания Крымской войны в октябре 1856 г. Петербург принял решение об учреждении консульств в Сараеве и Шкодре с целью усиления там позиций России. Юридическим основанием послужили решения Парижского конгресса, согласно которым Россия вместе с другими державами — участницами конгресса — стала гарантом его постановлений, в том числе и султанского хатт-и хумаюна, уравнивавшего в правах всех подданных Османской империи. Определенную роль в принятии решения о создании консульства в Сараеве сыграл консул в Дубровнике П. Н. Стремоухов, который 23 января 1857 г. писал Раевскому: «Я бы хотел оставить по себе память делами. <...> Стараюсь делать, что могу, для Герцеговины и Боснии, куда по моему настоянию скоро пришлют консулов»¹⁰.

Когда в российском МИД встал вопрос о создании консульства в Сараеве, Гильфердинг сам вызвался туда поехать. Без сомнения, он рассчитывал на продолжение там своих научных изысканий. Назначение Гильфердинга не обрадовало Стремоухова. В письме к Раевскому он дал Гильфердингу весьма нелицеприятную характеристику: «В десять раз лучше было бы не посылать никого в Боснию, чем посылать это существо», — писал консул, утверждая, что истинная цель Гильфердинга — розыск древних рукописей для своих научных работ. Стремоухов предполагал, что «за какую-нибудь рукопись он готов быть покорным слугою и католиков, и иностранцев.

Он не только не сумеет внушить нашим единоверцам никакого к себе доверия, но непременно оттолкнет их от себя своей невыносимой холодностью»¹¹. Однако Стремоухов был несправедлив в оценке Гильфердинга. Забегая вперед, скажем, что, несмотря на свое увлечение поиском древних рукописей, Гильфердинг неплохо справлялся с консульскими обязанностями и сумел завоевать расположение православного населения.

В начале 1857 г. российский консул в Белграде М. Милошевич передал в МИД прошение жителей Казарацкой нахии в Боснии к Александру II¹². Прошение было составлено монахами Вашаницкого монастыря, находившегося близ Казары, и передано консулу тайно пробравшимися в Белград четверьмя депутатами от населения нахии. Приводимые факты свидетельствовали, что султанский хатт османскими властями не выполняется, а в отношении православного населения продолжают репрессии и злоупотребления со стороны помещиков и местной администрации. Директор Азиатского департамента МИД Е. П. Ковалевский потребовал подтверждения фактов, что и было поручено Гильфердингу. Приказ о его назначении временно управляющим консульством в Сараеве был подписан 1 января 1857 г. Формулировка приказа о временности пребывания Гильфердинга на консульском посту говорит, на наш взгляд, о том, что он не рассчитывал на длительный срок службы в Боснии.

Одновременно МИД, сознавая серьезность положения, пытался привлечь к расследованию фактов, содержащихся в прошении, и иностранных дипломатов. В депеше российскому послу в Париже П. Д. Киселеву от 5 марта 1857 г. министр иностранных дел А. М. Горчаков писал, что «важно не позволить османскому правительству и думать, будто христианские державы рассматривают официально взятые им на себя обязательства как мертвую букву»¹³. Если Гильфердинг убедится в справедливости фактов, то Горчаков предлагал привлечь к делу консулов других иностранных держав в Сараеве и постараться достичь договоренности с европейскими кабинетами о мерах воздействия на Порту. Таким образом определялась важнейшая задача русской политики — контроль за выполнением обязательств Порты, данных христианскому населению, а это предполагало тщательный сбор информации российскими консулами и давление совместно с иностранными представителями как на местные власти, так и на Порту. Привлечение держав — гарантов Парижского договора — к совместным действиям в то же время не должно было, по мысли Горчакова, иметь видимости вмешательства во внутренние дела Османской империи, в отношении султана с его подданными, ибо это запрещалось 9 ст. договора.

Таким образом, задача российских дипломатов была весьма трудной, что побуждало их действовать осторожно и, главное, не навлечь

на себя обвинения в поддержке освободительного движения на Балканах.

Гильфердинг прибыл к месту своего назначения в конце мая 1857 г. Полтора месяца он провел в Дубровнике в ожидании получения султанского фермана и берата, утверждавших его кандидатуру, а также консульского патента и инструкций МИД. Получив эти документы только 6 мая, а также 1350 руб. серебром на обзаведение, консул 11 мая со своим секретарем и драгоманом Александром Семеновичем Иониным выехал в Сараево¹⁴. Ионин, окончивший Лазаревский институт, а затем Учебное отделение восточных языков при МИД, прекрасно владел турецким и сербским языками, перед своим назначением в Сараево он прошел годичную практику в российской дипломатической миссии в Константинополе. Как и Гильфердинг, он был сторонником освобождения славян, но в отличие от консула являлся человеком увлекающимся и несколько авантюрного склада. Единство позиций сблизило молодых дипломатов, которые во всем действовали заодно.

Из Дубровника Гильфердинг отправился в Мостар. Он предпочел длительный сухопутный вояж быстрому водному пути морем вдоль Далмации и затем по р. Неретве. Целью было ознакомление с Герцеговиной и посещение ее главных городов — Мостара, Требинья, Любинья и Столаца, где население наполовину состояло из христиан. Как писал Гильфердинг 17 мая из Мостара Ковалевскому, османские власти встречали его внешне радушно, но всячески препятствовали его контактам с православным населением, которому даже было запрещено приветствовать русского дипломата, выходить к нему и тем более его посещать¹⁵. В то же время при проезде двумя месяцами ранее английского консула католическому населению разрешалось с ним общаться.

Приезд Гильфердинга в Герцеговину весной 1857 г. явился знаменательным событием для православного населения провинции. Несмотря на строгие запреты османских властей, православные радостно встречали российского представителя во всех городах и селах, где ему приходилось проезжать. Русских здесь никогда не видели. Близ Требинья, замечает Гильфердинг в своих записках, «стояли толпы христиан, чтобы увидеть нас. <...> Я не способен выразить той любви, с какою простые поселяне смотрели на нас. Они нарочно приходили из разных мест, чтобы увидеть русских. <...> Про Россию они имеют самое смутное понятие, про политические отношения и расчеты — никакого. Вся их политическая наука ограничивается тем, что где-то далеко на севере есть православный царь, который „промышляет“ о всем народе православном. Их просто влекла любовь к братьям-единоверцам»¹⁶.

«Задачи деятельности Гильфердинга определялись двумя инструкциями. Инструкция МИД от 2 марта 1857 г. определяла их в общих чертах: консул должен был собирать информацию о положении в Боснии и своевременно передавать ее российской миссии в Константинополе и параллельно в Азиатский департамент МИД. Главными предметами его внимания должны были стать: исполнение османскими властями хатта 1856 г., положение православных церквей в Боснии, «расположение умов в этой области, о котором само турецкое правительство мало знает». Инструкция обязывала консула стремиться к преодолению разногласий между православным населением и греческими владыками, способствовать примирению и сближению обеих сторон, ибо церковная распря открывала путь к усилению католической и униатской пропаганды. Рекомендовалось действовать с осторожностью и не давать повода к конфликтам с властями. «Министерство надеется на ваше усердие, на вашу осторожность и не сомневается в том, что благоразумным исполнением преподанных вам инструкций вы оправдаете его к вам доверие»¹⁷.

Инструкция миссии от 19 апреля 1857 г. была более подробной и ориентировала Гильфердинга на решение конкретных вопросов, определяла тактику действий консула. Указывая на сложный в конфессиональном плане состав населения Боснии (православные, католики и мусульмане), инструкция требовала от консула представления подробных сведений о взаимоотношениях этих трех групп между собой, а также о политических стремлениях и влиянии Австрии и других европейских держав. Консул должен был следить за политикой Сербии и Черногории в Боснии и Герцеговине. Одной из главных задач называлось ознакомление населения с Россией: «Вам предстоит впервые познакомить этот славянский край с русским консульским флагом». Действительно, о России в Боснии почти ничего не знали. Там не было российских подданных, взаимные торговые связи и коммерческие интересы отсутствовали. Поэтому единственной почвой, на которой мог действовать консул (помимо контроля за исполнением хатта) являлась церковно-культурная сфера. «Самый главный предмет вашей заботливости, — говорилось в инструкции, — пользы и преуспевания православной церкви», ведь на Востоке «религия тесно связана с государственной жизнью и почти всегда служит знаменем политических и национальных стремлений»¹⁸. Консулу предлагалось сообщать подробные сведения о состоянии и нуждах православных церквей, монастырей, училищ и школ, о взаимоотношениях духовенства и его паствы, об образовании населения и т. п. и действовать в церковном конфликте в духе примирения.

Консулу рекомендовалось также приобрести доверие османских властей и установить с ними благоприятные отношения.

Первоначально следовало лишь ограничиться наблюдениями, и только тогда, когда будет собран достаточный достоверный материал о несоблюдении хатта, обратиться на это внимание администрации. Инструкция особо упирала на проверку полученных консулом сведений и предостерегала его от «увлечения слухами» и «пристрастия к единоверцам», чтобы не принести более вреда, чем пользы.

В отношениях с консулами европейских держав Гильфердинг должен был соблюдать осторожность, избегать конфликтов, но быть бдительным и следить за действиями их, могущими повредить православной церкви и политике России.

Осторожность была важнейшим принципом внешней политики России на Балканах в этот период. Только что пережив тяжкое поражение, Россия опасалась возникновения конфликтных ситуаций в этом регионе, могущих втянуть ее в новую войну. Горчаков рассчитывал, что в случае реализации хатта и уравнивания прав христиан и мусульман Османская империя будет развалена, поэтому основную задачу консулов он видел в обеспечении выполнения объявленных хаттом реформ, а поскольку хатт упоминался в Парижском договоре, то он превращался как бы в обязательство султана перед Европой¹⁹. 11 мая 1857 г. МИД направил циркуляр консулам в Османской империи с требованием представления подробных сведений об исполнении хатта и в особенности о всех обидах, наносимых христианскому населению. Уже первое донесение Гильфердинга, отправленное 31 мая 1857 г. из Сараева, говорило о тяжелом положении христиан в Герцеговине, через которую он только что проехал. Консул писал, что хатт не воспринимается серьезно турками, что крестьянство, составлявшее большинство населения провинции, по-прежнему подвергается жестокой экономической эксплуатации, задушено налогами, повсеместны аресты и убийства христиан, разгром православных церквей²⁰. В следующем донесении от того же числа Гильфердинг дал обстоятельное описание административного, экономического и демографического положения Герцеговины. Даже кратковременное пребывание его в провинции позволило сделать важный вывод о политическом значении Герцеговины для России. Отмечая, что православное население преобладало здесь над мусульманами, консул писал: «В Герцеговине народный славянский дух необыкновенно жив, живет, я уверен, чем где-либо в Турции»²¹. Причину этого он видел, с одной стороны, в близости Черногории, с другой, в незначительном количестве мусульманского населения, в особенности по сравнению с Боснией. Отсюда проистекала его уверенность в том, что Россия могла бы получить большое влияние в Герцеговине, где уже начали активно действовать католические монахи. Опираясь на католическое население, Австрия уже получила преобладание в западной части провинции. Восточная же

Герцеговина, отмечал консул, на три четверти населена православными, «имя России здесь чтится, как святыня». Гильфердинг считал необходимым усиление российского присутствия в Герцеговине и прежде всего учреждения российского консульства в Мостаре, на чем настаивало и само население. Православные герцеговинцы были недовольны, что российское консульство создано только в Сараеве, в то время как в Мостаре давно обосновались австрийский и английский консулы. Это предложение Гильфердинга было учтено, в августе 1858 г. состоялось решение об открытии в Мостаре российского вице-консульства. Однако первый вице-консул — Валериан Владимирович Безобразов, магистр Петербургского университета, работавший помощником секретаря в константинопольской миссии, приехал в Мостар только в августе 1859 г. Пока же временно герцеговинскими делами стал управлять Гильфердинг, посылавший в Мостар А. С. Ионина в качестве своего представителя для обозначения российского присутствия и оказания помощи православному населению провинции.

Мысль Гильфердинга о значении Герцеговины для русской политики на Балканах была справедлива. Там потенциально существовала взрывоопасная ситуация, обусловленная злоупотреблениями властей и религиозным притеснением. Это ставило перед российской дипломатией задачу не допустить в случае возникновения конфликтов вмешательства в них Австрии и добиваться урегулирования их мирными средствами. Задачу эту приходилось выполнять в том числе и Гильфердингу.

8 июля 1857 г. в Сараеве было торжественно открыто российское консульство и водружен российский флаг в присутствии турецких властей, иностранных консулов и многочисленных христиан. Сараевский митрополит Дионисий, грек по национальности, в знак протеста против молебна, где произносилась молитва за русского царя, явился только к концу богослужения, да и то после долгих уговоров, чем сразу же поставил себя в неприязненные отношения к Гильфердингу²².

Прежде чем посылать в МИД и миссию информацию о положении в Боснии, консул совершил 10-дневную поездку вместе с английским и французским консулами в ближайшие к Сараеву города и католические монастыри — Крешево и Фойницу. В дальнейшем он посетил и более отдаленные районы Боснии. Стремление самолично ознакомиться с положением дел в Боснии способствовало получению подробной и достоверной информации обо всех сторонах жизни провинции. В донесениях Гильфердинга, направленных им в МИД и миссию, детально характеризовались деятельность турецкой администрации, состояние экономики, образования, церкви. Особое внимание консул обращал на систему аграрных

отношений и порядок сбора налогов, ибо именно здесь наблюдались многочисленные злоупотребления. обстоятельное донесение посланнику А. П. Бутеневу от 3 июля 1857 г. Гильфердинг посвятил именно этим сюжетам. Консул считал, что «зло требует незамедлительного пресечения», ибо разоренные и доведенные до отчаяния люди, фактически оставляемые без средств к существованию, готовы восстать, а это неминуемо приведет к прямому вмешательству Австрии²³. Мнение Гильфердинга подтверждается донесениями австрийского вице-консула в Мостаре И. Дубравича. Оба дипломата отмечали несправие крестьян-арендаторов. Лишение наследственных прав на аренду земли приводило к тому, что когда крестьяне, в течение многих лет облагораживавшие землю, увеличивали ее прибыль, помещик либо повышал арендную плату, либо сгонял арендатора с земли.

Реформы, обещанные султаном, в жизнь не проводились, и даже если иногда боснийский генерал-губернатор Мехмед Решид-паша пытался их реализовать, то его указания саботировались местной администрацией, противящейся всем нововведениям.

Донесения Гильфердинга вызвали обеспокоенность в Петербурге, опасавшемся нестабильности в Боснии, особенно в пограничных с Австрией областях. Летом 1857 г. начались волнения в Посавине в связи с злоупотреблениями откупщиков. По требованию российского консульства наиболее злостные откупщики были арестованы, а взятые ими незаконно деньги возвращены крестьянам. Волнения, начавшиеся в Тузле, перекинулись в Бихач и Преполе, делегаты из этих округов практически ежедневно обращались в российское консульство за помощью. Ситуацией стремилась воспользоваться Вена. Гильфердинг сообщал в Петербург, что австрийские агенты «раздувают в христианах Северной Боснии ненависть к туркам и манят их под покровительство Франца Иосифа²⁴.

Опасаясь вмешательства Австрии, турки решили силой усмирить волнения. Положение российского консульства в этих условиях было крайне затруднительным, как называл Гильфердинг, «страдательным». Оно не могло оказать решительной помощи населению и противодействовать проiscaм Австрии, готовившей почву к присоединению Боснии. Из-за такой возможности консул опасался явно поддерживать посавинцев и поэтому не протестовал против отправки в Тузлу турецких войск. «Мы можем только убеждать пашу обратить внимание на то, что христиане при нынешнем положении законов о податях действительно не в состоянии жить», — писал он²⁵. Консул надеялся на демарш российской миссии в Порте и считал, что инициатива должна исходить именно от нее, ибо «нельзя предоставить это благодетельное решение единственно влиянию Австрии и Англии, которые всеми средствами стараются

заставить здешний православный народ забыть о существовании России»²⁶. Однако Горчаков, сторонник «европейского концерта», считал коллективное давление держав на Порту куда более действенным. В августе 1857 г. он предписал Бутеневу выступить в защиту христиан в Боснии, привлекая и других европейских представителей. В итоге этого состоявшегося коллективного демарша Порты послала в Боснию специального комиссара для расследования событий, но его миссия не принесла ощутимых результатов.

Влияние России в Боснии и Герцеговине было пока незначительным, а потому российским дипломатам приходилось зачастую лавировать между христианами и турецкими властями; с одной стороны, противодействовать интригам иностранных консулов, с другой, действовать подчас совместно с ними, словом, идти на всяческие компромиссы.

Гильфердинг пытался привлечь православную церковь к делу улучшения положения христиан. На территории Боснии и Герцеговины существовали две православные епархии — Мостарская и Сараевская. Количество православного населения в обоих санджаках составляло 45 %, мусульман — 35 % и католиков 15–17 %²⁷. Митрополиты в силу особенностей политического и конфессионального устройства Османской империи являлись не только религиозными владыками, но и политическими представителями своей паствы перед османскими властями. Греческое духовенство было абсолютно чуждо интересам православного славянского населения и больше заботилось о личном обогащении. Оно сотрудничало с властями и даже не гнушалось прибегать к ложным доносам на славян-учителей и низшее духовенство, которое состояло из сербов и мало отличалось по своему достатку и образу жизни от своих прихожан²⁸.

Ввиду того, что Россия считала православную церковь в Османской империи опорой своей политики на Востоке, МИД предписывал консулам оказывать помощь церкви и действовать совместно с ее иерархами в защиту православного населения. Гильфердинг поначалу пытался наладить добрые отношения с сараевским митрополитом Дионисием и герцеговинским митрополитом Григорием. Но оба встретили враждебно российских представителей. Многочисленные жалобы православного населения на греческих владык побудили консула ходатайствовать перед российской миссией в Константинополе об их смещении. Положение Гильфердинга было сложным. С одной стороны, он располагал множеством фактов злоупотреблений владык, с другой, опасался жаловаться на них турецким властям, ибо это подрывало авторитет православной церкви. 31 августа 1857 г. консул писал Бутеневу: «Я не могу говорить против поступков митрополита, чтобы не ронять достоинства церкви и усугублять раздор, не могу убеждать славян быть с ним в хороших

отношениях, иначе я уронил бы достоинство русского имени. И равнодушным быть не могу. Вообще архиереи вроде нынешнего герцеговинского составляют для русского консульства в славянских областях Турции едва ли не самое важное затруднение. Мирить с ними народ невозможно, жаловаться на них турецким властям неполитично, а иметь на них влияние нельзя, ибо они держат себя как можно дальше от русского консульства, показывая властям, что они России не сочувствуют»²⁹.

На оснований донесений Гильфердинга МИД направил Бутеневу предписание потребовать от константинопольского патриарха пресечь злоупотребления митрополитов в Боснии и Герцеговине и напомнить ему, что Россия оказывает патриархии существенную материальную помощь, которая может быть и прекращена³⁰. Терпение консула лопнуло, когда митрополиты отказались дать ему сведения о состоянии церквей в Боснии и Герцеговине. Пришлось самому объезжать провинции и собирать информацию у местных священников и в монастырях. В 1857 и 1858 гг. Гильфердинг предпринял ряд поездок в основные центры Боснии и Герцеговины для ознакомления с положением церквей, монастырей и школ. Церкви и школы в Боснии, по его свидетельству, находились в жалком состоянии, «духовенство во всей Боснии срамит свой сан своим невежеством», — писал он позднее в своем труде «Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии»³¹. В донесениях в МИД консул обстоятельно обосновывал необходимость оказания материальной помощи церквам и монастырям Боснии: «Дайте только православному сербскому духовенству в Боснии возможность просветиться, дайте Боснии архиереев-славян, и духовенство быстро преобразует не только общественное, но и нравственное состояние православного населения Боснии, от него разольется новая жизнь во всем этом народе», — считал консул³².

В Герцеговине он нашел положение церквей и монастырей несколько лучшим. Особенно порадовало его училище при Дужском монастыре, где в 4-х классах обучалось 200 человек. Среди учителей были дужские иеромонахи Никифор Дучич и Серафим Перович, ставшие в 60–70-х гг. лидерами освободительного движения в Герцеговине. Оба они являлись выпускниками Белградской семинарии и вели большую деятельность в области народного образования в провинции. Благодаря усилиям Гильфердинга из России стала поступать помощь церквам и школам как со стороны российского МИД, так и со стороны созданного в 1858 г. Московского славянского комитета.

Посещая монастыри, консул не забывал и о собственных интересах. Там он разыскивал старинные рукописи, копировал настенные надписи. Впоследствии собранную им огромную коллекцию

славянских, греческих и турецких рукописей Гильфердинг передал в дар Публичной библиотеке в Петербурге, часть рукописей была куплена собирателем Хлудовым.

Положение католических церквей Гильфердинг нашел неизмеримо более лучшим. Католические монастыри были освобождены султаном от податей, священники обучались за границей — в Австрии, Франции, Италии — и были более образованны, чем православное духовенство. Они имели большое влияние на паству и, как отмечал консул, отучили ее пить. В Герцеговине действовал энергичный епископ Баришич, который основывал там школы, церкви и монастыри. Католичество при поддержке австрийской церкви вело наступление.

Гильфердинг приложил немало усилий к улучшению положения православной церкви в Боснии и Герцеговине, он добился смены митрополита Григория, на место которого был назначен известный деятель просвещения, настоятель православной церкви в Мостаре, серб по национальности Иоанникий Памучина. Осенью 1857 г. консул организовал поездку в Россию мостарского монаха Прокопия Чокорицы для сбора милостыни в пользу церквей и монастырей Герцеговины. Одновременно Чокорице было поручено сопровождать первых четырех юношей-герцеговинцев, направляемых Гильфердингом в Россию для получения образования на казенный счет.

Гильфердинг верил в возрождение православных церквей в Боснии и Герцеговине и придавал особую важность этому процессу, считая церковь мощным орудием в деле просвещения народа и роста его национального самосознания. Он не видел другой интеллектуальной силы, способной внушить народу чувство собственного достоинства, веру в лучшее будущее, в необходимость борьбы за выживание.

Известный югославский историк М. Экмечич порицал Гильфердинга за отождествление национального сознания с верой и церковью³³. Действительно, консул, будучи приверженцем славянофильства, во главу угла ставил религию, а не национальность. В силу этого он считал, что религиозное разделение сербов в Боснии по сути дела превратило их в три народа. Общий язык ничего не значит, утверждал ученый, перед религиозным различием. «Нет национальности, есть религия»³⁴. М. Экмечич полагает, что развитие национальной идеи имело место в Боснии и Герцеговине и что ее носителем являлся средний городской класс — сербские торговцы и интеллигенция. Однако он относит первые проявления национального самосознания к началу 60-х гг.³⁵, когда Гильфердинга уже не было в Боснии. Возможно, что из-за кратковременного пребывания консула в Сараеве он не увидел начало этого процесса, тем более, что

не смог установить отношений с боснийским православным купечеством. Характеризуя городское сословие в Боснии, Гильфердинг отмечал, главным образом, корыстолюбие торговцев, их равнодушие к крестьянству, безграмотному, бесправному и забитому налогами. «Купцы — каста эгоистическая», — резюмировал консул. Православные торговцы, указывал он, сами разоряют крестьян, выступая в роли откупщиков и взимая арендные платежи в счет долгов помещиков-мусульман. Кроме того, купцы наживались, скупая за бесценок сельскохозяйственные продукты у крестьян и продавая их в Австрии за гораздо более высокую цену. В своих донесениях консул писал, что считает своей основной задачей помощь крестьянству. Представляется, что не последнюю роль здесь сыграло влияние на Гильфердинга событий в России: в конце 50-х гг. шла подготовка крестьянской реформы, активными участниками которой были славянофилы, относившиеся к крестьянству вообще как к социальной основе общественного строя России.

В крестьянстве Боснии и Герцеговины Гильфердинг видел опору русского влияния. Его предпочтение крестьян вызывало враждебное отношение к нему торгового сословия. Некоторые торговцы даже уговаривали крестьян не посещать российское консульство. «С своей стороны, консульство, зная эгоизм и чрезмерное туркофильство здешнего торгового класса, не искало с ним сближения», — писал консул³⁶. Царивший среди богатых горожан дух соперничества мешал их объединению, и зачастую в боснийских городах даже не были построены православные церкви и школы, тогда как в сельской местности народ объединялся и общими силами сооружал храмы.

Тем не менее Гильфердинг стремился к единению православного населения. Он писал: «Сохранив свою независимость в отношении к исключительным интересам торгового класса, я стараюсь употреблять то влияние, которое имею как агент православной державы на то, чтобы внушать обоим сословиям здешнего православного населения пользу и необходимость единения между ними»³⁷. Однако усилия консула были напрасны, ибо интересы крестьян и торгового класса расходились.

Отношения Гильфердинга с турецкой администрацией были формальными. Характеризуя турецких чиновников, консул отмечал, что большинство их принадлежало к так называемой новой школе образованных турок: они знакомы с европейской цивилизацией, носят европейские мундиры, употребляют вилки, но по сути в них сохранился дух старого турецкого управления — все они взяточники, интриганы, обманщики и развратники. Наружная их образованность сочетается с «полным отсутствием духовных побуждений», интеллекта и нравственных устоев³⁸. И хотя у Гильфердинга

установились неплохие отношения с Мехмед Решид-пашой, консулу было чрезвычайно трудно добиваться прекращения или хотя бы ограничения злоупотреблений местных чиновников и откупщиков. Паша оказался человеком слабым, всецело подверженным влиянию своего аппарата и крупных помещиков.

Одной из задач консула являлось наблюдение за действиями Австрии. Уже в ноябре 1857 г. Гильфердинг отправил в МИД обширное донесение о политике Австрии в Боснии и Герцеговине. Он указывал, что с 40-х гг. Вена стремилась включить эти османские провинции в орбиту своего влияния. Дальней целью являлось их присоединение. Для воздействия на население, в том числе и православное, и привлечения его на свою сторону использовались и пропаганда католичества, и назначение консулов-славян по национальности в крупные города (Сараево, Мостар, Банялука, Ливно, Тузла и др.), и усиление экономических связей с православной буржуазией. Гильфердинг обвинял австрийских агентов в подстрекательстве населения к антиосманским выступлениям «возбуждении национальных чувств» с тем, чтобы Вена могла использовать восстание христиан в своих интересах. С этой целью на границе с Боснией были сосредоточены войска, планировалось строительство стратегических дорог из Венгрии и Далмации, а австрийские офицеры часто посещали Боснию и Герцеговину под разными, большей частью надуманными предлогами. В то же время в деле защиты населения, в особенности православного, никаких мер австрийцами не предпринималось.

Однако открытие российского консульства в Сараево, по мнению Гильфердинга, изменило методы (но не цели) австрийской политики. Уже смена сараевского консула-славянина Д. Атанасковича на немца и католика И. Ресслера осенью 1857 г. означала, как справедливо полагал Гильфердинг, конец австрийского покровительства православным. Теперь все внимание австрийцы уделяли только католикам. Пытаясь противодействовать интригам австрийских представителей, Гильфердинг нашел союзника в лице французского консула (что было, заметим, следствием российско-французского сближения в конце 50-х гг.) и оптимистически смотрел в будущее, надеясь с помощью француза эффективно защищать интересы православных и нейтрализовать австрийцев³⁹. Конечно, серьезные надежды на помощь французского консула Вьетта были иллюзорны. Центр франко-австрийских противоречий в конце 50-х гг. заключался в итальянской проблеме. Но хотя Балканы находились на периферии французской политики, Париж совсем не собирался способствовать там усилению российских позиций. Совместные действия консулов могли проявляться лишь в частных случаях. Кроме того, Франция являлась католической державой, и в ее цели

не входила поддержка православного населения. Французский консул, как и его австрийский коллега, в отличие от Гильфердинга, занимали наблюдательную позицию в отношении православного населения и редко выступали против злоупотреблений властей. Английский же консул, по свидетельству Гильфердинга, вообще с пренебрежением относился к православному населению.

Деятельность Гильфердинга в Боснии и Герцеговине продолжалась недолго. Уже 10 октября 1857 г. он был смещен с должности консула, но еще более четырех месяцев исполнял консульские обязанности до приезда сменившего его в феврале 1858 г. Е. Р. Шулепникова. Документальных свидетельств, впрямую говоривших о причинах смещения консула, найти не удалось. Вероятнее всего оно явилось следствием безосновательного обвинения со стороны турецких властей и иностранных консульств, считавших, что «Гильфердинг <...> весьма и весьма способствовал недавней вспышке народного волнения в Герцеговине», как доносил австрийский вице-консул в Мостаре И. Дубравич министру иностранных дел Австрии К. Буолю-Шауенштейну в январе 1858 г.⁴⁰ Югославский историк И. Тепич тоже указывает, что Гильфердинг был замешан в возникновении волнений в Герцеговине, но никаких доказательств не приводит⁴¹.

В начале сентября 1857 г. ряд округов Южной Герцеговины провозгласил объединение с Черногорией. Находившийся в это время в Мостаре Ионин активно протестовал против посылки в восставшие округа турецких войск, в чем был поддержан Гильфердингом. В помощь восставшим герцеговинцам черногорский князь Данило выслал вооруженные отряды в количестве нескольких тысяч человек. Однако Гильфердинг в своих донесениях отрицал этот факт, а захваченных турками в плен черногорцев называл обычными разбойниками, ничего общего не имевшими с Черногорией. Кроме того, османские власти связывали восстание с поездкой Гильфердинга в августе 1857 г. в Косово и Герцеговину. Сам же консул утверждал, что предпринял ее с «археологическими» целями для изучения славянских древностей в монастырях⁴². Маловероятно, что консул, лишь недавно приступивший к своим обязанностям, имел отношение к народным выступлениям. Однако российский МИД не желал конфликта с Портой, хотя для Горчакова было ясно, что начало восстания не зависело от действий Гильфердинга. В отчете МИД за 1857 г. министр указывал, что восстание в Герцеговине явилось «следствием несбывшихся надежд и совершенного отчаяния» и что хатт 1856 г. является мертвой буквой⁴³. Беспокойство министра вызывало намерение Австрии использовать восстание в своих целях и занять восставшие территории. Деятельность же российских консульств он оценил положительно: «Вновь учрежденные консульства

наши в славянских краях являлись при всяком случае ревностными защитниками прав христианства. Если не всегда они успевали в своих домогательствах, то уже христиане могли убедиться ясно, что правительство наше заботится не о целостности и сохранении Турецкой империи, как было прежде, но о правах и соблюдении религии единоверного нам населения Турции»⁴⁴.

Для сбора сведений о восстании в Герцеговине Гильфердинг послал в Мостар Ионина, который подтвердил участие Австрии, снабжавшей повстанцев оружием и боеприпасами. Ионин сообщал также о провокационных действиях английского консула. Донесения Гильфердинга и Ионина раскрывают двурушническую политику Австрии, которая, с одной стороны, подстрекала христиан к восстанию, с другой, не желала широкого развития освободительной борьбы и ослабления Османской империи и даже помогала туркам готовить экспедицию для подавления восстания.

7 января 1858 г. в связи с готовящейся посылкой турецких войск в Герцеговину Гильфердинг в отчаянии писал Ковалевскому: «Ради Бога, обратите внимание на судьбу этого несчастного народонаселения, которое решительно не думало и не думает о мятеже. Оно может быть спасено, если миссия в Константинополе немедленно представит Порте истинное положение дела и потребует отозвания Вассиф-паши, который явно действует вопреки всем законам и воле своего правительства, возбуждая сознательно в Герцеговине фанатизм и междоусобную войну»⁴⁵. За помощью к России обратились и повстанцы.

Считая, что Герцеговина важнее в геополитическом значении для России, чем Босния, консул прилагал все силы, чтобы предотвратить расправу, и не всегда точно интерпретировал события. Не соответствовало действительности его утверждение о том, что герцеговинцы и не помышляли о мятеже. Еще во время осенних волнений в Герцеговине крестьяне отказывались платить налоги и захватывали пустующие земли. Лукавили Гильфердинг и Ионин относительно роли князя Данилы в возникновении восстания и участия в нем черногорцев. Гильфердинг писал в Петербург, что обвинения в адрес князя вызваны желанием Порты и Вены уничтожить Черногорию, «последнее убежище славянской независимости». Он даже вступил в спор с российским консулом в Шкодре А. Е. Сученковым, отстаивая непричастность Данилы к восстанию⁴⁶. Однако Сученков имел твердые доказательства противного. Уже после отъезда из Сараева Гильфердинг получил депешу Бутенева, содержащую убедительные факты о роли Черногории и лично Данилы в развязывании восстания⁴⁷. Представляется, что консул и его секретарь были осведомлены об этом, но руководствовались в первую очередь желанием отвести беду от Герцеговины и Черногории.

4 марта 1858 г. Гильфердинг сдал дела консульства своему премнику, а 9 марта выехал из Сараева. Таким образом, он пробыл на консульском посту менее года⁴⁸. Деятельность его была оценена положительно, 1 января 1858 г. он был награжден орденом Св. Анны 3-й степени «за отличную и усердную службу». В период своего недолгого пребывания в Сараеве Гильфердинг сумел достаточно хорошо ознакомиться с политическим и экономическим состоянием Боснии и Герцеговины. Его подробные донесения содержали ценную информацию и ее глубокий анализ, что было очень важно для ориентации МИД и константинопольской дипломатической миссии и определения задач политики России в этом регионе. Российский консул активно выступал в защиту православного населения и заслужил его уважение и признательность. Вся его деятельность опровергала данную ему ранее Стремоуховым характеристику как холодного и равнодушного эгоиста. Равнодушно наблюдать страдания угнетенного населения Гильфердинг не мог и активно стремился по возможности облегчить его участь. Однако рамки, в которые была поставлена российская дипломатия в этот период, ограниченная решениями Парижского договора и политикой европейских держав, не давали Гильфердингу, как и другим российским консулам на Балканах, эффективно действовать в защиту православного христианства.

Гильфердинг считал своим долгом познакомить русское общество с положением Боснии и Герцеговины. По приезде в Россию он опубликовал работы «Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии» и «Босния в начале 1858 г.», из которых русский читатель впервые узнал о жизни неизвестного ему ранее уголка Европы. А. Н. Пыпин назвал труд Гильфердинга «одним из немногих ученых путешествий по славянским землям, каким может похвалиться наша литература»⁴⁹. Высокую оценку этому труду дали И. И. Срезневский, К. Н. Бестужев-Рюмин, М. И. Семевский. Однако труд Гильфердинга имел не только научное и познавательное значение. Политическая его задача состояла в том, чтобы представить обществу то безотрадное положение, в котором находился единоверный народ, и возбудить сочувствие к нему в общественном мнении. Последнее еще не могло влиять на политику правительства, но времена, когда такое влияние стало ощутимо, были уже недалеки.

При отъезде из Сараева Гильфердинг оставил Шулепникову подробную записку о работе и задачах консульства⁵⁰. Он указал на трудное положение консульства в Боснии, не имевшего опоры ни среди властей, ни среди иностранных консулов, ни среди городской торговой верхушки. Единственной опорой России являлось сельское православное население и низшее духовенство. Именно на них должно было быть обращено основное внимание российских

представителей, на их защиту и поддержку. Таким образом, Гильфердинг не ставил задачи расширения общественно-социальной базы, на которую бы опиралось консульство, что могло повести к сужению его возможностей. Гильфердинг советовал новому консулу опасаться австрийских агентов, а с представителем Франции поддерживать тесные связи. Одну из основных задач он видел в замене греческих владык в Сараеве и Мостаре сербскими священниками. Ограничить влияние греков или, по крайней мере, нейтрализовать их можно было бы, по мнению Гильфердинга, широкой помощью России церквям и школам. Наконец, открытие консульства в Мостаре и налаживание постоянных связей с Герцеговиной послужило бы утверждению там российского влияния, тогда «мы могли бы рассчитывать этим народом совершенно»⁵¹.

В начале апреля 1858 г. Гильфердинг вернулся в Россию и продолжил работу в Азиатском департаменте МИД. Через год он получил должность старшего столоначальника, а в июне 1860 г. — чин надворного советника. В сентябре 1861 г. он был переведен из МИД в Государственную канцелярию в отделение государственной экономики⁵². Однако главным для Гильфердинга была не чиновничья служба, а научные занятия. Пребывание на Балканах расширило кругозор и интересы ученого. В конце 50-х — начале 60-х гг. он написал множество научных и публицистических работ, посвященных актуальным проблемам истории и современного ему положения славянства. Их анализ не является задачей настоящей статьи, однако отметим злободневность таких поставленных Гильфердингом проблем, как славянское единство, роль религии в разобщенности славянского мира, судьбы сербского народа, перспективы развития государственности славян, рост их национального самосознания, сущность панславизма, место и роль России и русского народа в славянском мире и др. И хотя все эти проблемы трактовались ученым в славянофильском духе, уже одно их обсуждение на страницах русской прессы имело важное значение для развития русской общественной мысли.

Дипломатическая деятельность Гильфердинга была недолгой, но значение ее в том, что в глухом уголке Балкан, где население имело весьма смутное представление о России, он выполнял благородную миссию защиты угнетенных единоверцев, способствовал развитию просвещения и культуры, созданию кадров национальной интеллигенции. Гильфердинг несомненно способствовал также росту авторитета и влияния России в Боснии и Герцеговине, этот процесс получил развитие и в период консульства Е. Р. Шулепникова и А. Н. Кудрявцева, продолживших начинания первого консула России в Сараеве.

В 1863 г. Гильфердинг работал в Комитете по делам Царства Польского, затем цензором на Петербургском почтамте. С середины 60-х гг. его интересы сконцентрировались на собирании и изучении северных былин. Его труд «Онежские былины» увидел свет в 1873 г. уже после смерти автора.

Помимо чисто научных занятий Гильфердинг вел активную научно-общественную деятельность. С 1858 г. он являлся действительным членом Русского географического общества, с 1869 г. — председателем Петербургского славянского комитета, с 1870 г. — председателем Этнографического общества. С 1856 г. Гильфердинг — член-корреспондент Академии наук. Безвременная его смерть от брюшного тифа в июне 1872 г. в Каргополе, куда он выехал в этнографическую экспедицию, прервала его подвижнический труд.

Ф. И. Тютчев, близко знавший и любивший Гильфердинга, откликнулся на его гибель кратким стихотворением:

Он родом был не славянин,
Но был славянством всем усвоен.
Он делом доказал, что в поле и один
Быть может доблестный и храбрый воин!

Представляется, что эти слова можно целиком отнести и к дипломатической деятельности Гильфердинга в Боснии и Герцеговине.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Некоторые донесения А. Ф. Гильфердинга из Сараева опубликованы: «Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1850—1864. Документы». М., 1985. Сведения о его дипломатической деятельности содержатся в работах: *Кондратьева В. Н.* Русские дипломатические документы об аграрных отношениях в Боснии и Герцеговине. М., 1971; *Тепић И.* Босна и Херцеговина у руским изворима. 1856—1878. Сарајево, 1988; *Экмечич М.* Русские дипломатические документы о национальном сознании в Боснии и Герцеговине в 1850—1875 гг. / Балканские исследования. Вып. 13. Босния, Герцеговина и Россия в 1850—1875 гг.: народы и дипломатия. М., 1991; *Хевролина В. М.* Донесения российских консулов в Боснии и Герцеговине как источник по истории их дипломатической деятельности (1856—1874 гг.) / Внешняя политика России. Источники и историография. М., 1991 и др.
- ² Архив внешней политики Российской империи (далее АВП РИ). Ф. 159 (Департамент личного состава и хозяйственных дел). Оп. 464. Д. 825. Л. 8.
- ³ Там же. Л. 9.
- ⁴ *Лантеева Л. П.* Гильфердинг А. Ф. / Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 121.
- ⁵ *Гильфердинг А. Ф.* Письма об истории сербов и болгар. М., 1859. Вып. 2. С. 125—126.

- 6 Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия. 1850–1864. Документы. М., 1985. С. 11–18.
- 7 Там же. С. 13.
- 8 Там же. С. 13–15.
- 9 Там же. С. 19–23.
- 10 Зарубежные славяне и Россия. Документы архива М. Ф. Раевского. 40–80 гг. XIX в. М., 1975. С. 415.
- 11 Там же. С. 417.
- 12 Освободительная борьба... С. 28–31.
- 13 Там же. С. 33.
- 14 АВП РИ. Ф. 180 (Посольство в Константинополе). Оп. 517/2. Д. 2321. Л. 1–2.
- 15 Освободительная борьба... С. 39–40.
- 16 *Гильфердинг А. Ф.* Поездка по Герцеговине, Боснии и Старой Сербии / Собр. соч. Т. 3. СПб., 1873. С. 11.
- 17 АВП РИ. Ф. 161 (СПб. Главный архив) V-A₂. 1857 г. Д. 799. Л. 221.
- 18 Там же. Л. 231.
- 19 *Виноградов В. Н.* Князь А. М. Горчаков — министр и вице-канцлер / Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 178.
- 20 АВП РИ. Ф. 161. V-A₂. 1857 г. Д. 799. Л. 28–31.
- 21 Освободительная борьба... С. 41.
- 22 АВП РИ. Ф. 161. V-A₂. 1857 г. Д. 799. Л. 71.
- 23 Освободительная борьба... С. 65.
- 24 Там же. С. 80.
- 25 Там же. С. 81.
- 26 Там же.
- 27 *Тепић И.* Указ. соч. С. 77–84.
- 28 См. подробнее: *В. М. Хевролина.* Православная церковь в Боснии и Герцеговине в 50–70-х гг. XIX в. и Россия / Балканские исследования. Вып. 17. Церковь в история славянских народов. М., 1997. С. 195–206.
- 29 АВП РИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2321. Л. 52.
- 30 Освободительная борьба. С. 85–86.
- 31 *Гильфердинг А. Ф.* Собр. соч. Т. 3. С. 58.
- 32 Там же. С. 321.
- 33 *Экмечич М.* Указ. соч. С. 9–11.
- 34 *Гильфердинг А. Ф.* Собр. соч. Т. 3. С. 88.
- 35 *Экмечич М.* Указ. соч. С. 12.
- 36 Освободительная борьба... С. 89.
- 37 Там же.
- 38 *Гильфердинг А. Ф.* Собр. соч. Т. 3. С. 52–56.
- 39 АВП РИ. Ф. 161. V-A₂. 1857 г. Д. 799. Л. 142–147 об.

- ⁴⁰ Освободительная борьба... С. 116.
- ⁴¹ *Тепић И.* Указ. соч. С. 32.
- ⁴² АВП РИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2321. Л. 44.
- ⁴³ Освободительная борьба... С. 105.
- ⁴⁴ Там же. С. 106.
- ⁴⁵ АВП РИ. Ф. 161. V-A₂. 1858 г. Д. 800. Л. 5.
- ⁴⁶ Там же. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2322. Л. 49.
- ⁴⁷ Там же. Л. 278–279.
- ⁴⁸ В библиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979) сообщается, что Гильфердинг являлся российским консулом в Боснии в 1856–1859 гг. С. 121.
- ⁴⁹ *Пыпин А. Н.* Александр Федорович Гильфердинг / Вестник Европы. 1872. № 8. С. 903.
- ⁵⁰ Освободительная борьба... С. 141–146.
- ⁵¹ Там же. С. 145.
- ⁵² АВП РИ. Ф. 159. Оп. 464. Д. 825. Л. 11.

А. Н. Пыпин (1833–1904)
и его вклад в славяноведение

Большое значение для развития славяноведения в России во второй половине XIX в. имела творческая деятельность крупнейшего русского историка литературы и общественной мысли, этнографа и публициста А. Н. Пыпина. Не считая себя профессиональным славистом, Пыпин во многом определял направление исследований так называемого славянского вопроса, который был весьма актуален в России в тот момент, когда Пыпин вступил на ученую стезю. Конец 50-х и 60-е гг. XIX в. отмечены в русской интеллектуальной жизни не только общественным оживлением в результате смены монарха и проведения реформ, но и разделением элементов, участвовавших в общественной жизни на несколько направлений, главным из которых было славянофильское (заявлявшее о себе в разных вариантах) и антиславянофильское, западническое (тоже неоднородное). Наряду с этими направлениями, представители которых излагали свои суждения по вопросам современности и истории, литературы и т. д. в научных сочинениях, философских рассуждениях и публицистических статьях, существовало и третье — официальное — направление, самое мощное по «материальному» обеспечению, т. е. по количеству журналов, газет, специальных изданий, а также государственных и негосударственных учреждений и других средств, находившихся в распоряжении власть имущих. Официальное направление было настроено недружелюбно по отношению к двум первым, а иногда, смотря по обстоятельствам, и враждебно. Каждый гражданин Российской империи, выступавший, как говорили в XIX в., на поприще общественного служения, должен был определить для себя путь, по которому он пойдет. Нет необходимости долго рассуждать о том, что большинство русской интеллигенции пореформенного периода представляло собой верноподданое и законопослушное сообщество, что однако не исключает фрондирования отдельных личностей или даже групп по отношению к власти в разных вопросах текущей жизни. Демократическое движение было весьма скромным, ограничивалось узким кругом лиц и небольшим числом средств пропаганды своих взглядов. Слабость демократических сил в России в рассматриваемый период была результатом не только репрессивной политики государственного режима, но, главным образом, и неподготовленности русского общества, даже образованной его части, к восприятию демократических идей.

Россия только что сбросила феодальные путы; предстоял еще долгий и болезненный путь развития в иных условиях. Западные образцы устройства общества не подходили России, ибо демократические идеи здесь не имели социальной почвы. Конечно, условия в России, сложившиеся в пореформенный период, породили революционных демократов, вклад каждого из которых в эмансипацию русского общества, общественную мысль и культуру трудно переоценить. Но в целом тезис о революционной ситуации в России накануне реформ, так широко пропагандировавшийся в советской литературе, представляется значительным преувеличением, менталитет мыслящей части общества, разумеется, менялся, но не в такой степени, чтобы воспринять идеи революционных демократов. Можно считать, что та часть общества, которая не принадлежала безоговорочно к официальному направлению, представляла собой либеральный лагерь многих оттенков, в разной степени критиковавший существующий порядок и полный внутренних разногласий при оценке наиболее важных процессов в жизни страны.

Как известно, отношение России к зарубежным славянам всегда было предметом повышенного интереса со стороны ученых, публицистов и общественных деятелей. Особенно активизировалось это внимание после Крымской войны. А в 60-х гг. этот вопрос приобрел дополнительную актуальность в связи с польским восстанием 1863–64 гг., образованием Австро-Венгерской монархии и другими событиями и процессами, происходившими в странах, где жили славяне.

Именно к этому времени относится начало творческой деятельности А. Н. Пыпина, внесшего огромный вклад в развитие русской культуры XIX в. в целом, и славяноведения, как ее составной части. Об этом ученом написано много работ. Имя Пыпина было широко известно среди современников. Сведения о нем можно найти в любом справочном издании соответствующего профиля, в энциклопедиях не только русских, но и иностранных. Научные труды Пыпина, основанные, как правило, на использованном ранее материале, отличающиеся новаторским подходом к его осмыслению и неординарностью выводов, не оставляли равнодушными специалистов и находили широкий отклик в печати. Публицистическое творчество Пыпина уже по самому характеру этого жанра, вызывало полемику со стороны его идейных противников и других лиц, причастных к обсуждению того или иного вопроса. Таким образом, в распоряжении исследователя нашего времени, изучающего творчество Пыпина, имеется большой спектр мнений и суждений о нем, исходящих от его современников. Наряду с этим имеется и литература о Пыпине, написанная в связи с юбилейными датами его жизни¹, с его кончиной², и работы, оценивающие значение Пыпина,

вышедшие из под пера его коллег младшего поколения. В этом плане весьма интересной представляется оценка Пыпина, подписанная такими учеными как С. Ольденбург, В. Истрин, Н. Никольский, И. Крачковский, Е. Карский, составленная в 1925 г. и хранящаяся в петербургском филиале архива РАН³. Этот документ мало кому известен; во всяком случае, автору этих строк не приходилось встречать в литературе упоминаний о нем. По этой причине и ввиду исключительной полноты имеющейся в нем оценки значения Пыпина, считаем целесообразным привести его текст почти полностью:

«Александр Николаевич Пыпин, — начинают свой отзыв академики, — родился в 1833 г., умер в 1904 г. Высшее образование получил в Петербургском университете по историко-филологическому факультету, который окончил в 1853 г. Впоследствии, по получении степени, он здесь был профессором всеобщей литературы до 1861 г., когда он оставил кафедру, будучи недоволен введенным тогда университетским уставом и правилами для студентов. В 1898 г. за свои ученые труды, которые неоднократно удостоивались академических премий, был избран в ordinарные академики, в каковой должности оставался до своей смерти».

«А. Н. Пыпин рано начал научно работать, — говорится в характеристике далее. — Еще на университетской скамье им написаны и напечатаны в 1853—54 гг. сочинение о Владимире Лукине и Словарь к первой Новгородской летописи, и с тех пор его большие и малые труды непрерывно появлялись в печати в течение его долголетней жизни и даже после смерти, до 1913 г., в общем 1151 труд, что по подсчету Венгерова составило бы около 30 больших томов. Имя покойного академика одинаково известно и историку русской и всеобщей литературы, и слависту, и русскому этнографу, а как сотрудник „Современника“ и член редакции „Вестника Европы“ в течение 30 лет, А. Н. Пыпин известен каждому образованному русскому человеку, следившему за развитием русского просвещения и общественности в стране. Его многочисленные труды, печатавшиеся большей частью в журналах, впоследствии были переизданы отдельными книгами. Из них главнейшие: „Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских“ (СПб., 1857) — тут дана история русской повести, начиная с заимствований из византийских и югославянских источников и кончая попытками русской оригинальной повести XVII в.; труд этот составил эпоху в русской научной литературе и послужил толчком и исходным пунктом для дальнейшей разработки этого предмета. — Таковы же его капитальные труды: „Общественное движение в России при Александре I“ (1870), „Белинский, его жизнь и переписка“ (1871); исторические очерки: „Характеристика литературных мнений от двадцатых до

пятидесятых годов“ (1878), „История русской литературы“ (1898, 4 тома) и многое другое. Все перечисленные труды являются ценным вкладом в науку, они богаты новыми материалами и дают цельные картины известных эпох. Разные писатели охарактеризованы больше с точки зрения их общественно-политических взглядов. Сказанное относится не только к таким писателям как Белинский, но даже и к Жуковскому, Пушкину, Гоголю. В „Истории литературы“, кроме указания главных литературных течений, дан свод всего сделанного в этой области за все предшествовавшее время. Одной из ранних работ Пыпина является «Обзор славянских литератур» (1865), переработанный в 1879–1881 гг. в „Историю славянских литератур“. Эта книга (2 тома; сведения о польской литературе принадлежат В. Спасовичу) переведена на немецкий, французский и чешский языки и представляет до сих пор единственное полное изложение тысячелетней истории литературы южных и западных славян. Она замечательна по строго научному методу, что в свое время будило многих славистов приняться за детальное изучение этого предмета.

Не менее замечательна единственная в своем роде „История русской этнографии“ (1891), 4 тома, заключающая в себе обозрение этнографического изучения — в широком смысле этого слова — племен великорусского, малорусского и белорусского. Автор, поражающий читателя своей необычайной эрудицией и глубоким знакомством даже с мелочами этнографической литературы, выводит перед нами не только этнографов, но и вообще исследователей русского народного творчества. Без этого труда не может обойтись на один настоящий этнограф, занимающийся славянством.

Из сказанного можно видеть, какое выдающееся место занимает А. Н. Пыпин, близкий друг и родственник Чернышевского, в истории русской общественности, литературы, просвещения, этнографии, а также истории славянских литератур».

Такое мнение о деятельности и значении А. Н. Пыпина было высказано уже при советской власти, но следует подчеркнуть, что это — суждения ученых дореволюционного склада мыслей и убеждений. В таком же духе характеризовали Пыпина еще и в 1933 г. В. Н. Кораблев⁴ и Н. К. Пиксанов⁵. Позднее оценка ученого изменилась. К нему стали подходить с позиций вульгарного социологизма, обвинять его в идеологической узости, навешивать на него ярлыки «утилитариста», пропагандиста идей русского либерального радикализма⁶.

С конца 50-х гг. и в 60-х гг. в литературе стала признаваться прогрессивная роль Пыпина в исследовании проблем культуры, в том числе и славянской⁷. Однако авторы некоторых работ, на наш взгляд, умаляют теоретическую самостоятельность Пыпина,

полагая, что методологические основы для правильного понимания славянских проблем выработали А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, а Пыпин лишь следовал этой методологии⁸. Не отрицая большого влияния мнений революционных демократов на Пыпина, особенно в период его работы в журнале «Современник», необходимо заметить, что ученый не стал революционным демократом, а имел собственное мнение как о внутренних российских проблемах, так и о славянском движении и культуре. Укажем также, что прогрессивное значение для развития русского общества имели не только представители революционно-демократической мысли, но и другие течения, особенно либерально-демократического толка.

В последние десятилетия XX в. изучение духовного наследия Пыпина оживилось. Появились работы об отдельных сторонах его мировоззрения⁹ и деятельности¹⁰, анализировались взгляды ученого на отдельные проблемы славянской истории¹¹, разрабатывались документы об откликах на его славистические работы в Германии¹², Чехии¹³ и других странах. Однако много архивного материала, важного для понимания значения Пыпина в области славянской культуры, еще не введено в научный оборот. Более детального изучения требуют и многочисленные труды ученого. Не до конца изучены и некоторые аспекты его биографии, поэтому есть необходимость остановиться на ряде моментов и исправить допущенные в прежних работах фактические ошибки.

А. Н. Пыпин родился в 1833 г. в Саратове, в семье дворянина. Учился в Саратовской губернской гимназии и жил в это время в семье священника Г. Чернышевского (мужа тетки Пыпина по материнской линии), человека умного, просвещенного и обладавшего значительной и хорошо составленной библиотекой русских и иностранных книг. Н. Г. Чернышевский, двоюродный брат Пыпина, был на 5 лет старше своего родственника, и Пыпин почти три года находился под его непосредственным влиянием. В гимназии Пыпин был выдающимся учеником, поражал товарищей и учителей своими знаниями и начитанностью¹⁴. В 1849 г. Пыпин поступил в Казанский университет, где слушал лекции В. И. Григоровича по славянским литературам. В своих воспоминаниях Пыпин говорит, что Григорович открыл перед студентами совершенно неведомый для них мир; до этого времени они не имели понятия о целых народах, их истории, географии умственной жизни и т. д. Славянских книг в Казанском университете не было, и Григорович делился ими со студентами, извлекая их из собственной библиотеки. Так Пыпин познакомился с некоторыми произведениями славянской литературы и науки¹⁵. В Казанском университете Пыпин проучился один год, а затем перешел в Петербургский, куда призвал его Н. Г. Чернышевский. В Петербурге Пыпин слушал лекции И. И. Срезневского,

которые также служили возбуждению интереса к славянству. В те годы жизни Пыпина центральной фигурой, вокруг которой сосредотачивались все его интересы, был именно Н. Г. Чернышевский.

В Петербурге Пыпин полностью отдается изучению рукописей, книг, журналов, разнообразной иностранной литературы гуманитарного направления (он был хорошо обеспечен материально, и ему не приходилось, как некоторым другим, бегать по урокам и заниматься всякой мелочной работой, чтобы зарабатывать средства к существованию). По мнению биографов¹⁶, начитанность и лингвистическая образованность Пыпина были поразительны. Он не только читал на разных языках, но и писал на латинском, греческом, французском, немецком, сербском и чешском, о чем свидетельствуют материалы его архива.

Первые труды были написаны Пыпиным в 1852 г. За работу о комедиях Сумарокова и Фонвизина студент IV курса Пыпин получил золотую медаль. В том же году появился первый печатный труд Пыпина — «Словарь к Новгородской первой летописи»¹⁷, представляющий собой лексикографическую обработку «драгоценного исторического памятника». Как указано в более позднем отзыве РАН о трудах Пыпина, «уже в этом первом опыте виден в авторе развивающийся критик, чуждый иллюзий относительно состояния тогдашнего текста Новгородской летописи. Как полезный труд, он и до сих пор удержал свое значения для историков»¹⁸. В 1853 г. Пыпин окончил Петербургский университет со степенью кандидата по разряду общей словесности¹⁹ и был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре русской словесности. Еще в студенческое время, как говорится в упомянутом отзыве ОРЯС РАН о Пыпине, «он с жаром принялся за отыскивание в рукописях новых источников для истории одной для того времени малоценной отрасли допетровской письменности. Мы разумеем повести и сказки, обращавшиеся в допетровской Руси и происходящие частично из Византии и с Востока, а частью занесенные через посредство польской и немецкой литературы и отчасти попавшие в хронографы и летописи. Некоторые из них могут по всей справедливости считаться источниками для истории русской народности до Петра Великого». «Первые плоды своих изысканий, — говорится далее в отзыве, — г. Пыпин поместил в 3 и 4 томах Известий ОРЯС. Затем он приступил к составлению обширного сочинения, которое, будучи основано на изучении рукописей, имеет целью расширить знакомство с этою, оставшеюся до сих пор только отрывочно обработанною частью духовной жизни допетровской Руси. При этом по самому существу дела он должен был прибегать к сравнениям с литературами других народов, причем выказал начитанность, которая ясно свидетельствовала о серьезности направления молодого автора.

Этот критический обзор источников под заглавием «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» был помещен Отделением РЯС в его Записках в 1857 г. Кроме того, Академия сочла своим долгом для продолжения этого богатого по результатам исследования оказать г. Пыпину поддержку при присуждении Демидовской премии». — Затем в «Записке ОРЯС» о Пыпине следует текст разбора книги, данного рецензентом при представлении на премию. Авторы «Записки» считают, что этот разбор объясняет тогдашнее положение науки и, следовательно, определяет место и значение работа Пыпина. «Труд г. Пыпина, — писал рецензент, — дорогой вклад в запас исторических исследований о русской литературе как разработка по той доле памятников нашей древности и старинной письменности, которая доселе всего менее была разработана. Дорожить им мы можем тем более, что он не мог быть веден без особенного самоотвержения, и веден был с внимательностью, достойной подражания... Книга г. Пыпина в том виде, как она вышла в первый раз есть необходимая настольная книга для всякого, кто научно занимается русской историей, а вместе с тем и старославянской литературой»²⁰.

Характеризованная таким образом книга Пыпина²¹ была им защищена в качестве магистерской диссертации 24 марта 1857 г.²² и принесла ему степень магистра русской словесности²³. К исследованному в этой диссертации сюжету ученый обращался еще не раз, опубликовав ряд статей, таких как «Сказание о хождении Богородицы по мукам»²⁴, «Для истории ложных книг»²⁵, «Шемякин суд»²⁶, «О русских народных сказках (по поводу издания Афанасьева)»²⁷. «Заметки по литературной археологии»²⁸. Все эти статьи созданы на основании новых, открытых самим Пыпиным источников и являются своего рода дополнением к магистерской диссертации. Научное значение «Очерков литературной истории старинных повестей и сказок русских» отмечалось и в посмертных работах о Пыпине. Так, Б. Глинский в выше цитированной статье об ученом писал: «Труд этот по всей справедливости считается классическим в нашей литературе и составил в ней в некотором роде эпоху. В этой работе дана у нас впервые история русской повести, начиная с заимствований из византийских и южно-славянских источников и кончая повестями, сложившимися под западным влиянием, и первыми попытками оригинальной бытовой повести XVII в. Автор пользовался рукописными сборниками Публичной библиотеки и Румянцевского музея, в то время еще мало известными и необследованными. Некоторые старинные повести впервые исследованы А. Н., другие („Девгениево Деяние“, повесть „О Горе-Злосчастии“) даже впервые им открыты. Этот труд Пыпина сделал настоящую эпоху в изучении взятого отдела нашей старой литературы. Перед русской наукой

разом открылась целая неведомая область, одновременно подвергнутая и самому тщательному документальному изучению. По обширности захваченного к изучению материала, по эрудиции и тщательности изучения, труд Пыпина является событием для всей тогдашней нашей науки, только что начинавшей становиться на ноги... „Очерк“ Пыпина не только во все последующее время являлся исходным пунктом для каждой специальной работы в области нашей старинной повести, но продолжает вполне сохранять это значение до сих пор»²⁹.

В 1858 г. Пыпин отправляется в командировку за границу на два года для приготовления к профессорскому званию по русской словесности. Он побывал в ряде городов Германии и Италии³⁰, в Париже, дважды посетил Лондон, где встречался с А. И. Герценом, П. В. Анненковым, В. П. Боткиным, И. С. Тургеневым и др.³¹. Кроме того он посещал Прагу, где провел значительную часть своей командировки. Здесь он общался с деятелями национального возрождения, с писателями, изучал современную литературу, наблюдал общественную жизнь. О своих впечатлениях он сообщал в письмах и в воспоминаниях³².

Впечатления Пыпина от состояния умственных движений в Праге не вызвали у него особого восторга. Скорее он, наслушавшись в России романтических рассуждений представителей славянофильских кругов о славянской взаимности, был разочарован. «Я уже второй месяц в Праге, ко многому присмотрелся, видел много любопытных людей, интересные вещи, — писал он Ламанскому 19 декабря 1858 г. — Вообще все это, взятое вместе, довольно печально. Я ожидал найти больше в Праге, думал найти живое движение, хотя и сдавленное, но, как мне кажется, по крайней мере до сих пор этого живого движения очень мало; люди разъединены, серьезного труда нет; всякой решительной, даже просто несколько смелой попытки выразить свою мысль боятся и отдают на произвол своих надсмотрщиков»³³. Пыпин заметил среди деятелей чешского движения разрозненность, интриги, «грызню» по поводу подлинности или поддельности РКЗ и т. д. — «Молодежь далека от стариков и не совсем их любит, старики держатся особняком от молодежи», — извещает он своего приятеля³⁴. Шокирующее впечатление произвела на молодого русского ученого его встреча с П. И. Шафариком и Ф. Палацким. «У Шафарика я был два раза, но его прием такой, что называется, сдержанный, что нет охоты ходить к нему чаще, — хотя бы это было очень поучительно, быть может», — замечает Пыпин. А в письме от 29 января 1859 г. он сообщает тому же адресату: «Другой мой визит был к Шафарику. Его ученые заслуги уважаю... и поторопился увидеть знаменитого человека, это, без сомнения, человек очень обширного ума и сведений, разговор его

очень назидателен, но он играет такую недоступную фигуру, что я с трудом заставил себя пойти к нему во второй раз. Он был столько же сух. Я надеялся от него большей любезности, тем больше, что с моей стороны изъявил ему свое уважение, приславши ему книгу — о чем он только кстати вспомнил. Разумеется, после двух визитов я оставил его в покое». — «Не подумайте, — замечает далее Пыпин, — что это мои личные впечатления, нисколько. Отчего же не знает его никто из пражской молодежи, отчего ни одна молодая душа не идет к нему, не ищет от него пользы, которую он, конечно, мог бы принести своими разговорами?»³⁵.

Что касается Ф. Палацкого, то Пыпин делится с Ламанским таким впечатлением: «Утин, с которым я был первое время в Праге, отправился к Палацкому и вынес от него подобное впечатление. Это, признаюсь, замедлило мой визит, я вовсе не был намерен заниматься идолопоклонством и ходить свидетельствовать свое почтение деревянным господам»³⁶.

Впечатления Пыпина о знакомстве с чешскими корифеями показывают, как последние изменились с течением времени, во всяком случае, по отношению к русским. В 30–40-е гг. Шафарик в своих контактах с русскими учеными был гораздо более любезным, живым, открытым и благожелательным. Как показывает его обширная переписка с О. М. Бодянским, М. П. Погодиным, П. И. Кеппеном и многими другими русскими учеными³⁷, в то время Шафарик не был «деревянным господином». Он принимал их у себя, встречался с ними на чешских курортах и стремился всеми средствами поддерживать связи с Россией, даже преодолевая свой животный страх перед австрийскими властями, якобы стремившимися преследовать Шафарика за связи с Россией. Впрочем, насколько это известно, ни одного случая «преследований» в жизни Шафарика не случилось. — А дело в том, что в 30–40-е гг. Шафарик был восходящей звездой в чешском славяноведении. Он создавал сочинения, сделавшие эпоху в науке о славянах в первой половине XIX в. Для написания «Славянских древностей», и «Славянской этнографии» и других трудов Шафарику, никогда не выезжавшему за пределы Чехии со времени его поселения в Праге, нужны были источники — древние письменные памятники славян, летописи, хроники и проч. Этот материал доставляли ему русские ученые — И. И. Срезневский, исколесивший Европу в поисках сведений о славянских народах; О. М. Бодянский, крупнейший знаток источниковой базы о малороссийских славянах; М. П. Погодин, обладатель знаменитого «Древлехранилища» с необыкновенным богатством славянских памятников, которых было не сыскать в остальной Европе. Эти и другие русские ученые щедро делились своими открытиями и наблюдениями, посылали копии и оригиналы документов, книги и пособия, создавая

источниковую базу для издания главных произведений Шафарика. Хорошо известно, что для издания этих произведений русские ученые выделяли значительные денежные суммы, чем и обеспечивали выход их в свет. Наконец, именно в русском переводе прежде всего появились «Славянские древности» и «Славянская этнография» Шафарика³⁸.

Увы, те годы пролетели! Шафарик достиг высокой славы и к приезде Пыпина в Прагу в помощи русских уже не нуждался. Молодой человек не мог быть ему ничем практически полезен, а самосознание пражанина поднялось на столь высокую ступень, что он мог позволить себе высокомерие «деревянного» свойства. Аналогичная эволюция произошла в отношении к русским и у Палацкого. Перед революцией 1848—1849 гг. он был заинтересован в переводе своих сочинений на русский язык и публикации их в русской печати, ему было лестно узнать об избрании его почетным доктором того или иного университета и о том авторитете, который он приобретал среди русских ученых³⁹. В период пребывания Пыпина в Праге Палацкий считался духовным вождем чешского народа, выступал в защиту чешских национальных святынь (РКЗ, в подлинность которых верил тогда и Пыпин) и был чрезвычайно популярен в чешских патриотических кругах. В такой ситуации человек обычно столь возвышается в своих собственных глазах, что высокомерие становится отличительной чертой его поведения, что и испытал на себе молодой русский магистр; ведь от него Палацкий практически никакой пользы не ожидал. Снобизм чешских корифеев был, по-видимому, своеобразной чешской «звездной болезнью» XIX в. и распространялся не только на отношение к русским. Пыпин писал Ламанскому: «Оба они [Шафарик и Палацкий. — Л. Л.] не нравились мне своим высокомерием относительно Ганки, человека все-таки почтенного, что бы они ни говорили. Один раз в ученом обществе Шафарик возмутил меня своим неотесанным обращением с ненаходчивым Ганкой»⁴⁰.

В Праге Пыпин, разумеется, не только заводил знакомства и носил визиты, но и усердно работал над материалами по литературе. Он писал: «Мои занятия относятся всего больше к новой чешской литературе, 48-му году; другими славянами здесь заниматься трудно, потому что мало новых книг»⁴¹. Пыпин заметил, что русская литература известна чехам лишь отрывочно. «Знают только Пушкина, Лермонтова, Хомякова и Гоголя, отчасти Тургенева; об Аксакове-отце, Островском, Некрасове и многих других замечательных людях почти понятия не имеют»⁴². Еще в одном письме Пыпин, осуждая русских славянофилов, отмечает, что они много говорят о литературной взаимности, но мало делают для нее, и добавляет: «Как хотите, славянское литературное общение — шаг, почти

достигший сатиры. Что же это за общение, когда буквально в целой Праге кроме меня не было человека, которой был бы знаком сколько-нибудь с нашей новой литературой; а мы можем изучать друг друга только литературным путем. Когда вышла в «Revue de deux mondes» статья Делаво о Некрасове, чехи спрашивают: что это за замечательный поэт Некрасов? Мы и не слышали. <...> Да вообще, французам и немцам русская литература несравненно лучше известна, нежели чехам»⁴³. — Пыпин решил содействовать исправлению неосведомленности чехов о русской литературе и, еще находясь в Праге, написал пару статей о ней. В «Часописе Чешского Музея» вышло несколько «Писем» Пыпина на эту тему, где характеризовался литературный процесс в современной России⁴⁴. Что касается чешской литературы, то Пыпин считал, что она сильно задавлена цензурой, но все же имеет и значительные произведения.

По возвращении из Праги русский ученый познакомил общественность с современным развитием чешской литературы и общественно-политической жизни в статьях, опубликованных в «Современнике», это были очерки «Два месяца в Праге»⁴⁵, «Из Праги»⁴⁶, «Вячеслав Ганка»⁴⁷.

Таким образом, молодой русский ученый, общаясь с чехами в период своего пребывания в Праге, трезво подошел к оценке чешского литературного возрождения, скептически — без присущего некоторым профессорам-славяноведам и славянофилам романтизма — оценил вклад чешских деятелей его времени в их собственную и в европейскую культуру, как и уровень русско-чешской литературной взаимности.

Во время своей командировки Пыпин работал также в Вене, Берлине и других городах Европы, а в 1860 г. возвратился в Россию⁴⁸. В Петербургском университете была учреждена кафедра истории всеобщей литературы⁴⁹, и Пыпина в том же 1860 г. назначили на эту кафедру в качестве экстраординарного профессора. Так началась недолгая университетская карьера молодого ученого. 14 июля 1860 г. он также был избран членом Санкт-Петербургской Археографической комиссии⁵⁰, в сентябре того же года — членом Комитета для испытания лиц, желающих получить звание домашнего учителя по предмету русской словесности⁵¹, и тогда же — секретарем историко-филологического факультета Петербургского университета⁵².

Но уже 7 ноября 1861 г. Пыпин подал прошение об отставке, в котором написал: «По расстроенному здоровью я затрудняюсь в настоящее время выполнением моих университетских обязанностей и имею честь покорнейше просить об увольнении меня от занимаемой мною в университете должности»⁵³. Приказом министра народного просвещения от 20 ноября 1861 г. Пыпин был уволен от

службы в университете. Но хорошо известно, что истинной причиной отставки Пыпина было его несогласие с политикой правительства в отношении университетов и сочувствие открытым протестам против этой политики. Один из современников писал, что в отставке Пыпина повинны «официальные руководители нашей образованности», принявшие меры к тому, чтобы ни один из русских «храмов науки» более не открывал дверей перед Пыпиным, «тем самым навсегда вписав в историю отечественного просвещения страницы мрака и позора»⁵⁴. После своей отставки Пыпин постоянно встречал более чем холодное отношение правительственных кругов к своей деятельности. В 1862 г. он был вычеркнут из списка представленных к награждению по случаю тысячелетия России. Сопроводительная записка к этому документу сообщает о Пыпине: «Орден не имеет. Высочайших наград не получал»⁵⁵. Из полицейской справки о Пыпине следует, что в 1862 г. он находился «в самых тесных сношениях с государственными преступниками Чернышевским, Серно-Соловьевичем и Михайловским» и часто организовывал у себя на квартире «многочисленные сборища с участием вышепоименованных лиц». Жандармерия была недовольна Пыпиным и потому, что он участвовал в открытии книжного магазина Серно-Соловьевича, пропагандировал продававшуюся там литературу и был инициатором открытия при магазине читальни, которая сделалась сборным местом «всех нигилистов и революционеров». Помимо этого он распространял «запрещенные книги». В связи со всем этим Пыпин характеризовался как человек «самого крайнего направления», близкий к кругам «красных и революционных» деятелей⁵⁶.

После ухода из университета Пыпин стал заниматься исключительно литературной и научной деятельностью. Плодотворной была его работа в журнале «Современник», в котором он участвовал как автор, а в 1863–1865 гг., до закрытия журнала был и редактором. В «Современнике» Пыпин опубликовал более 20 научных и публицистических статей, рецензий и т. д. по славянской проблематике⁵⁷. Пыпин не только публиковал собственные труды, но и пропускал в печать статьи прогрессивного направления, за что и был в октябре 1866 г. оштрафован на 100 рублей и приговорен к трехнедельному аресту⁵⁸. Его собственные статьи содержали острую критику правительственной реакции и общественного консерватизма, ратовали за европеизацию русской жизни, уничтожение остатков крепостничества, развитие образования и т. д. Однако революционные и социалистические идеи Чернышевского, как отмечал сам Пыпин, не были им усвоены⁵⁹.

Ввиду сказанного не приходится удивляться тому, что государственные органы решительно воспротивились принятию Пыпина в члены Академии наук в 1871 г. В период с августа по октябрь

1871 г. он прошел баллотировку в Академию и получил «законное большинство», однако, «когда это избрание уже состоялось», до официальных органов дошли слухи, «будто бы Пыпин состоит на замечании как человек политически неблагонадежный»⁶⁰. В результате вмешательства Александра II министр народного просвещения Д. А. Толстой нашел предлог для отклонения кандидатуры Пыпина. Признав его заслуги в области «словесности», министр объявил, что «по части русской истории, по которой Пыпин ныне избран членом Академий, из под его пера не вышло ни одного сочинения, не только дающего ему право на столь высокое научное звание, но даже имеющего серьезное научное значение»⁶¹. Однако неосновательность этого предлога была столь очевидна, что некоторые члены Академии, включая и президента, стали поговаривать о своем намерении уйти в отставку в знак протеста против правительственного произвола. Не желая доводить дело до скандала, Пыпин сам снял свою кандидатуру⁶².

В том же году министр народного просвещения вновь выказал свое отрицательное отношение к Пыпину. Он не утвердил ходатайство Казанского университета о возведении Пыпина в степень доктора русской словесности без представления диссертации, хотя ученый к тому времени был известен уже не только в России как крупнейший знаток в этой области. Комментируя отрицательный ответ министра на указанное представление, один из биографов ученого пишет: «Этот достойный ответ последовал от графа И. Д. Делянова, продолжавшего — как бы по завету своего патрона и предшественника графа Д. А. Толстого — относиться к нашему ученому с удивительным нерасположением и непонятным озлоблением. Демонстративный выход из профессоров университета в 1861 г., несочувственное отношение к политике Александра I, высказанное им в статьях, посвященных той эпохе, приверженность ко всякому освободительному движению и свободному проявлению независимого человеческого духа — вот те главные «преступления» со стороны Пыпина в глазах гр. Толстого, которые побуждали и его единомышленников упорно отказываться зачесть заслуги Пыпина перед родиною в послужной список с государственным знаком одобрения, и предпочитать, чтобы его деятельность протекала вне рамок официальных учреждений»⁶³. — Пыпин был допущен в члены-корреспонденты Академии только в 1891 г., а действительные ее члены в 1898 г.

Научная общественность России и Европы иначе относилась к ученой деятельности Пыпина. Он был членом многих ученых организаций и до допущения в Академию: Археологических обществ в Петербурге и Москве, Географического общества, Общества Естествознания, Антропологии и этнографии, Общества Истории

и Древностей, Общества Любителей Российской Словесности, нескольких ученых археографических комиссий, Общества Любителей Древней Письменности (а всего — четырнадцати ученых обществ и организаций). С 1884 г. Пыпин являлся почетным членом Болгарского ученого общества в Софии, с 1896 г. — членом-корреспондентом Сербской Академии наук в Белграде, а в 1903 г. был избран иностранным членом Чешской Академии наук и искусств. В 1899 г. Пыпин получил звание почетного гражданина г. Саратова, в 1902 г. был избран почетным доктором и почетным членом Юрьевского университета⁶⁴. В «Современнике», как впоследствии и в «Вестнике Европы», Пыпин уделял внимание истории и литературе славян, а также затрагивал вопросы этой темы, имеющие теоретическое значение. Особенно упорно он вел борьбу со славянофильскими взглядами на историю славян и славянскую взаимность. В спорах между славянофилами и западниками Пыпин, несомненно, был близок к последним, хотя еще в 1858 г. писал В. И. Ламанскому: «Я очень славянофил для западника. <...> Для меня собственно славянская часть славянофильского вопроса была всегда предметом большого интереса и сочувствия»⁶⁵. Но вопреки этим словам (вероятно, Пыпин вкладывал в них некое особое содержание), эн всю свою жизнь боролся со славянофильством и панславизмом, особенно в их политическом аспекте. Он полностью отвергал всякие рассуждения о возможности возвращения России на допетровский путь развития, а также теорию противоположности «греко-славянской и романо-германской стихий», одобрял — в противоположность славянофилам — реформы национальных наречий, проведенные Вуком Караджичем и Людовитом Штуром, отрицал возможность объединения славян под эгидой России. Объясняя свои западнические позиции, Пыпин писал: «Я все-таки видел подлинный народ, и мне трудно было идеализировать его так, как необходимо было для славянофильства, то есть до фантастики»⁶⁶.

Первой печатной работой Пыпина, направленной против славянофильства и панславизма, является его рецензия на книгу В. И. Ламанского «О славянах в Малой Азии, Африке и в Испании». Правда, эта рецензия не позволяет прямо судить о позитивных исторических взглядах Пыпина, но вполне определенные заключения о них можно сделать на основании осуждаемых Пыпиным приемов и методов исторического исследования. Так, из контекста рецензии ясно, что он не верит во «всеобщее водворение заветных убеждений» публицистов, группировавшихся вокруг славянофильского журнала «Русская беседа». Пыпин уверен в том, что эти убеждения вовсе не следует принимать «всем и каждому». Высказывая сожаление по поводу того, что В. И. Ламанский приступил к своему труду «с готовым взглядом», и что «факты принимают в его глазах необычайные

размеры», а «обыкновенные доказательства занимают очень мало места», Пыпин тем самым обнаруживает себя сторонником позитивного метода исторического исследования. По его мнению, В. И. Ламанский «не столько разбирает факты, сколько фантазирует на их тему», а «подобные приемы совершенно неуместны в научной книге». К числу тех фантастических гипотез, которыми оперирует Ламанский, Пыпин относит в частности и его положение о тесных взаимных связях славян в средние века. Рецензент иронизирует по поводу попыток некоторых славянофилов объявить славянами Лессинга и Лейбница, искать славян в Африке лишь на том основании, что у ее берегов действовало несколько славянских корсаров, или в Малой Азии, где при турецком дворе обреталось несколько славян-евнухов. Подобные аргументы Пыпин с полным основанием считает анекдотическими, совершенно неспособными дать какое-либо представление о «народных симпатиях и антипатиях, племенных сочувствиях и племенной вражде». Вывод Пыпина сводится к тому, что книга Ламанского «повторяет у нас те первые увлечения панславизмом, которые уже пройдены самими благоразумными панславистами»⁶⁷.

Вопросы средневековой истории славянских народов затрагивались и в других работах Пыпина. Особое внимание он уделил гуситскому движению в Чехии XV в. С критикой взглядов славянофилов на это явление он выступал с 1864 г., когда рецензировал магистерскую диссертацию В. К. Надлера, который утверждал, что чехи были обязаны историей хранить идею «всеславянского единства». Провиденциализму диссертанта Пыпин противопоставлял необходимость исследовать идеалы и действия основной массы чешского населения в гуситскую эпоху, поскольку именно с выступлением народа связана «господствующая идея гуситства, его стремление к первобытному христианству, однако вовсе не реставрацией православия, а полной религиозной и общественной революцией». Народные массы, игравшие в исторической концепции Пыпина роль положительного полюса в развитии общества, пытались, по его мнению, «осуществить на деле» наиболее прогрессивный для своего времени строй, который «не мог быть в ту эпоху ничем иным, как сколком с первобытного христианства». Касаясь сущности гуситского движения, Пыпин отмечает «весьма ограниченную роль в этом движении восточной церкви». Правда, он делает некоторую уступку славянофилам, считая возможной православную традицию в Чехии «как воспоминание очень неясное», но выражает уверенность в том, что «оружие гуситской реформы было западноевропейское», и что «чехи имели в этом деле своих предшественников в той же Западной Европе». В связи с этим ученый решительно осуждает и попытки выявить некую заранее predetermined миссию славянских

народов, отвергает проповедь отказа от западной науки и цивилизации. Ограничение культуры славянских народов лишь их собственными научными достижениями (а именно этого требовали славянофилы во имя сохранения «исконно славянских начал») Пыпин называет «переливанием из пустого в порожнее»⁶⁸.

Коснулся Пыпин гуситского движения и в «Обзоре истории славянских литератур», в главе о чешской литературе⁶⁹. Здесь автор вновь затронул славянофильскую историческую концепцию, изложив свое мнение о ней во введении и в главе «Возрождение и панславизм». Пыпин говорит о безответственности безудержных восхвалений национальных качеств славян «ревностными защитниками славянской народности» (т. е. славянофилами), о противопоставлении этих качеств мнимой «испорченности» Запада, о преждевременности концепции «высших начал» славянской цивилизации, призванной якобы «заменить современную европейскую цивилизацию, будто бы разъедающую славянскую натуру»⁷⁰.

Мнение о «завершении» Западом его исторической миссии, о неизбежности выдвигания славян на первое место среди народов Европы, Пыпин считает бесплодной фантазией. Эту «известную теорию Хомякова, Шевырева, Киреевских и т. д. и многих западно-европейских славянских патриотов» он расценивает как «несерьезные увлечения»⁷¹.

Касаясь непосредственно гуситского движения, Пыпин в рассматриваемой работе вообще не упоминает ни о какой его связи с православием, но зато подчеркивает, что гуситская идеология внесла вклад в историю Европы, ускорив эмансипацию умов, распространение образования, подготовку наступающей реформации⁷².

И по отдельным, частным проблемам гуситского движения Пыпин также высказывается противоположно славянофилам. Как известно, всех авторов славянофильского направления, писавших о национальных предпосылках гуситского движения, объединяет пристрастное отношение к славянам и откровенная враждебность к немцам. В противовес им, Пыпин выдвинул положение о том, что роль немцев в истории Чехии была далеко не всегда однозначной. Вопреки мнениям большинства историков 40–60-х гг. 19 в. ученый утверждает: «Немецкая колонизация, бывшая одним из самых главных средств онемечения Чехии, была добровольным делом со стороны чехов, а не военным насилием... Если общее направление и дух века были таковы, что требовали немецкой помощи, ...не значит ли это, что собственные силы народа были недостаточны?»⁷³. И далее Пыпин упрекает славянофильских историков в игнорировании положительных моментов деятельности немцев в средневековой Чехии, не умалчивая при этом и об отрицательных ее сторонах. Отвергая «исконный характер» сходства между православием

и учением Гуса, Пыпин подчеркивает общие элементы гусизма и виклефизма, отмечая в то же время, что это сходство определяется историей эпохи. В связи с этим он приводит примеры некоторых аналогий в исторических ситуациях Англии и Чехии конца XIV — начала XV в.⁷⁴

Главная заслуга Пыпина в освещении гуситского движения состоит в том, что он уже в 60-е гг. понял многоплановость этого явления. Он писал, что наряду с религиозной оппозицией «чешских проповедников» и «национальной антипатией к иноземному преобладанию», в гуситском движении «вполне последовательно... явилось стремление преобразовать общественное устройство, явились те социальные попытки, которые так ревностно защищали табориты». Народные массы, по мнению Пыпина, «присоединили к религиозному вопросу вопрос социальный»⁷⁵. Таким образом, Пыпин гораздо отчетливее, чем его предшественники, представлял себе соотношение отдельных факторов и побудительных причин движения.

В марксистски ориентированной литературе о гуситском движении можно встретить утверждение — в целом правильное, что Пыпин «фактически признал социальный характер гуситского движения, а религиозную форму гуситских войн объяснял значением религии в средние века и ролью, которую играла католическая церковь в Западной Европе». Но из этого положения делается совершенно неправомысленный, на наш взгляд, вывод: «Весьма вероятно, что Пыпин был знаком с работой Ф. Энгельса „Крестьянская война в Германии“»⁷⁶. Нельзя полагать, что каждый автор, усматривавший в общественных конфликтах помимо религиозной формы также и социальные моменты, был знаком с работами основоположников марксизма. Известно к тому же, что Пыпин относился к марксизму отрицательно.

В 1879—1881 гг. вышло второе издание рассматриваемого труда под заглавием «История славянских литератур» в двух томах⁷⁷. Здесь в трактовку гуситского движения автором внесены отдельные изменения, которые можно считать уступкой славянофильской концепции. Однако и тут Пыпин далеко не во всем пошел за славянофилами. Так, он проявляет большой интерес к таборитам, подчеркивает народный характер этой партии, полагая, что табориты были «самым полным (и вместе — самым крайним) выражением гуситства, его наиболее последовательным и <...> самым национальным развитием»⁷⁸. Пыпин высоко оценивает социальные принципы учения таборитов и полагает, что радикальные гуситы далеко опередили свое время, а до некоторых положений, которые прямо высказывались таборитами, «позднейшая философия додумалась только долгими размышлениями и только при помощи громадного ученого материала»⁷⁹.

Разумеется, такой взгляд не имеет ничего общего с оценкой таборитов как «шайкой разбойников», что было свойственно абсолютному большинству славянофильских историков. Самое важное в оценке Пыпиным гуситского движения состоит в том, что он смог рассмотреть в нем социальный протест. И в целом он оценивал гуситское движение значительно прогрессивнее многих своих современников, хотя и не являлся специалистом по истории этого явления⁸⁰.

В своих работах Пыпин, уделяя основное внимание прежде всего чешскому народу, все же касался истории и других славян, входивших в состав Австрийской империи. Наибольший интерес он проявлял к проблемам национально-освободительной борьбы, говорил о положении угнетенных славянских народов; например, болгар, которые не только находились под турецким игом, но и испытывали религиозные притеснения со стороны греков-фанариотов. О тяжелой судьбе южно-славянского населения Пыпин говорит в рецензии на книгу А. Ф. Гильфердинга «Босния, Герцеговина и Старая Сербия» (СПб., 1860)⁸¹.

В этом отношении весьма интересной представляется «Записка» об историко-этнографическом изучении южно-славянских земель, особенно Болгарии, составленная Пыпиным в 1876 г. Автор «Записки» считает, что «лучшая помощь славянам со стороны русских — изучение южно-славянских земель, которые до сих пор своим политическим положением были закрыты даже для научного изучения, — именно Болгарии и Боснии. Эти страны известны у нас очень мало, Болгария в особенности». Далее в «Записке» указывается, что русская наука может указать только на одно путешествие, сделанное в те годы известным профессором В. И. Григоровичем, находки которого «свидетельствуют о наличии памятников древности — болгарской письменности, о деятельности Кирилла и Мефодия. И Гильфердинг в своем путешествии по Боснии, Герцеговине и Старой Сербии приобрел редчайшие письменные памятники, до него совершенно неизвестные и исполненные интереса для разъяснения не только южно-славянской, но и древней русской письменности». — «К сожалению, — констатирует автор, — о странах славян гораздо больше писано и известно в немецкой и английской литературе, нежели в русской. Особенно Болгарии следует помочь. Болгарская народность находится на первой ступени своего возрождения, на той, которая уже пройдена другими славянскими народами. В то время как другие имеют своих ученых и свои ученые учреждения, болгары еще только стремятся приобрести средства образования».

«Всякое национальное возрождение, — говорит далее Пыпин, — начиналось обыкновенно обращением к старине и изучению

народности. Предшественниками политического возрождения бывали историки, филологи, этнографы, археологи. На этой стадии находится теперь и болгарская образованность и литература. Поддержка этих изучений русскими, а также и болгарскими силами с русским содействием и ободрением была бы благородной и ценной помощью».

Далее автор замечает, что нужно организовать историко-этнографическую экспедицию в Болгарию для изучения этой страны, а также Старой Сербии, Боснии и Герцеговины. Затем Пыпин предлагает план изучения названных славянских земель. Предметы деятельности экспедиции он определяет следующим образом: «а) Археология памятников — доисторических времен, древности греко-римской, памятники сербской и болгарской древности (на что указано в «Путешествии» Гильфердинга); б) Письменные памятники древней южно-славянской литературы; в) Этнографическое распределение племен славянских и неславянских; г) Народная поэзия: песни, предания, сказки, пословицы и т. д.; д) Народные обычаи; е) язык; он наименее исследован из всех славянских языков, нет сколько-нибудь сносного словаря; он делится на несколько наречий»⁸².

Планам Пыпина по изучению южных славян не суждено было осуществиться. Экспедиция не состоялась. Но сам документ не только свидетельствует о большом интересе ученого к южным славянам, но и показывает, что Пыпин четко представлял себе задачи русской науки в рассматриваемом вопросе.

Европейскую известность обрел труд Пыпина по истории славянских литератур. Такого комплексного обзора не было еще не только за границей, но и в России. Уже первое издание книги под названием «Обзор истории славянских литератур» (1865) вызвало большой интерес среди славян в Австрии, а также у публики Германии и Франции. Пыпин изложил историю болгарской, сербской, хорватской, словенской, чешской, словацкой, серболужицкой литератур с древнейших времен до эпохи национального возрождения включительно. Польскую литературу в этой книге характеризовал В. Д. Спасович.

Пыпин стремился включить историю славянских литератур в рамки славянской и мировой истории, подчеркивая органическую связь писателей и их творчества с религиозными течениями и общественной средой, истории литературы с историей умственной жизни. Работы Пыпина по истории славянских литератур представляли собой не перечень имен и дат, как это бывало у других авторов; литература трактовалась им как плод народной жизни, как естественный результат развития идей и общественных отношений своего времени, и такой подход был в тот период совершенно новым.

Однако не все принимали его положительно. В славянофильских кругах «Обзор» был встречен крайне отрицательно. Вот что писал казанский славист М. П. Петровский А. Патере в 1865 г.: «В российском ученом мире есть новость. <...> Это „История славянских литератур“ Пыпина. Книга почтенной наружности, в 540 страниц. Эта книга — одно из безобразии петербургского прогресса. Вместо изложения духовной деятельности славян книга трактует о иезуитстве (sic!!!) славянофилов. Всем панславистам (и Коляру [т. е. Коллару — Л. Л.], и Ганке, и даже Шафарику) досталось! Задет и „Národ“. Жаль, что Ваши прогрессисты не читают по-русски! Они прислали бы автору диплом на звание почетного члена их корпорации! Все поэты Ваши тоже перечислены. Милейший Осип Ивнович Kolarsch [т. е. Коларж. — Л. Л.] отнесен к той категории писателей, которые начали „...красу небес и ласку милой воспевать“. Вся книга сшита на живую нитку — и вышла преплохая компиляция»⁸³.

В 1879–1881 гг. вышло второе, переработанное и сильно расширенное издание труда, состоявшее уже из двух томов, называвшееся «История славянских литератур» и доводившее изложение предмета до 70-х гг. XIX в. Кроме характеристики литератур как таковых, в работе имеются общеисторические сведения о славянских народах, очерки этнографии, статистики, фольклора. Книга возбудила недюженный интерес в славянских и неславянских странах. Она была проникнута единой концепцией. Для русского читателя этот первый обобщающий труд такого характера и объема представлял большой интерес не только ввиду богатства материала и его систематического изложения, но и благодаря своему идейному направлению. Это направление — антиславянофильское. Пыпин стремился показать не проявление абстрактной «славянской идеи» у разных народов, а живое развитие каждой литературы, обусловленное особыми историческими и общественными обстоятельствами. Русские славянофильские и славянофильствующие издания выступили с резкой критикой и опубликовали отрицательные рецензии на труд Пыпина. Так, в «Филологических записках» рецензент упрекал автора в том, что он не ставит в центр изложения понятие «единого славянского духа», и осуждал стремление раскрыть политические противоречия, существовавшие между различными «славянскими племенами»⁸⁴. С тех же позиций выступили газета «Новое время» (в редакционной статье), В. И. Ламанский в газете «Русь», О. Миллер в работе «Славянство и Европа». Да и профессор Новороссийского университета В. И. Григорович в своих лекциях по славянским литературам решительно осуждал проявившуюся, по его мнению, в работе Пыпина «недооценку славянской самобытности».

Прогрессивная критика оценивала труд Пыпина по-иному. Так, в журнале «Мир Божий» говорилось, что эта книга представляет

собой «первый свод о истории славянских литератур, явление замечательное не только для русской науки; со времени его появления... он остается ценным и единственным общим трудом в области славянских литератур... Важная основная идея книги — идея племенной равноправности и глубокого уважения к народной личности. Книга Пыпина нанесла решительный удар славянофильским тенденциям в области русского славяноведения»⁸⁵.

Во втором томе 2-го издания книги (1881) Пыпин в предисловии ответил на критику, суммируя возражения на два главных вопроса, изложение которых не удовлетворяло его оппонентов. Это — «враждебность к народным началам» и стремление выставить ярче то, что делит племена, вместо того, что утверждает их единство. Пыпин считает, что для понимания славянского единства в русском обществе характерна шовинистическая или мистическая форма, а «народные начала» — очень консервативная, кабинетная теория, где ссылка на народ является «злоупотреблением»⁸⁶.

Вне России труд Пыпина вызвал критику иного порядка. Ввиду недостатка у Пыпина новейших материалов, его характеристики славянских литератур нередко основывались на устаревших данных, неравноценно освещалось творчество отдельных славянских литераторов, допускались и фактические ошибки. Так, словенский деятель Ф. Левец отметил, что книга Пыпина представляет собой первую критически и прагматически написанную историю всех славянских литератур, но раздел о словенской литературе написан слабо⁸⁷. Отмечались недостатки книги Пыпина также и в освещении сербской, хорватской и далматинской словесности. Но в целом «История славянских литератур» была принята положительно. Ее концепция стала стимулом и для создания истории национальных литератур у славян и оказала влияние на более поздних исследователей. Несмотря на критику, отмечавшую недостатки работы Пыпина, она была вскоре после выхода в свет второго издания переведена на ряд европейских языков. В 1881 г. вышел французский перевод, в 1880–1882 — чешский, а в 1880–1884 гг. лейпцигское издательство Брокгауза выпустило немецкий перевод. В отечественной историографии имеются подробные разборы откликов на книгу Пыпина в славянских странах, изложение содержания ряда разделов, оценки взглядов Пыпина и их значения для развития славяноведения в области литературы. В этом смысле особенно повезло чешской⁸⁸, югославянской⁸⁹ и словенской⁹⁰ литературам.

Что же касается немецкого перевода книги Пыпина для ознакомления европейского образованного общества со славянскими литературами, тот этот вопрос освещен в нашей историографии явно недостаточно. А между тем, именно немецкое издание стало в первую очередь тем источником сведений, из которого впоследствии

литераторы Центральной и Западной Европы черпали материал о славянских литературах. Считаю поэтому необходимым более подробно остановиться на истории возникновения немецкого перевода, используя при этом архивный материал, не введенный еще в полной мере в научный оборот в нашей историографии⁹¹.

Немецкий перевод был выполнен известным серболужицким литератором Я. Б. Пехом. Иоганн Курт Трауготт (Ян Богувер) Пех (1838–1913) окончил Бауценскую гимназию, изучал медицину в Лейпциге, затем перешел на книжную торговлю в Бауцене. В 1870 г. он вместе с фирмой переселился в Лейпциг и стал сотрудником Ф. А. Брокгауза. У профессора А. Лескина в Лейпцигском университете он изучал славянские языки, перевел на серболужицкий язык ряд сочинений И. С. Тургенева («Смерть», «Лес», «Степь», отрывки из романа «Рудин») и опубликовал свои сочинения и переводы в журнале «Лужичан» за 1872–1878 гг. Переводил он также и научные материалы на немецкий с русского и чешского языков и стал постоянным сотрудником энциклопедических изданий Ф. А. Брокгауза; опубликовал также в «Лужичане» полную верхне- и нижне-лужицкую библиографию за 1867–1869 гг. и другие работы⁹². Таким образом, переводчик книги Пыпина на немецкий язык был человеком весьма образованным и опытным в языковом и литературном отношении, поборником межславянских и славяно-немецких контактов.

Письма Пеха Пыпину показывают, как усердно и скрупулезно он работает над переводом «Истории славянских литератур», высказывает свои мнения по разным вопросам и помогает Пыпину более точно и подробно обрисовать в своем труде историю литературы серболужицкой. Соответствующую главу книги Пыпина Пех основательно перерабатывает, дополняет и издает в 1884 г. в Лейпциге на немецком языке как отдельную брошюру под названием «Сербско-вендская письменность в Верхней и Нижней Лужице. А. Н. Пыпина. Перевел с русского и снабдил исправлениями и дополнениями Трауготт Пех»⁹³. Эта брошюра была первой подробной историей серболужицкой литературы. Я. А. Смолер еще в 1881 г. опубликовал текст той же главы на серболужицком языке, почти сразу же после выхода в свет книги Пыпина.

«Мои земляки очень счастливы, что вышла из печати серболужицкая глава, — пишет Пех Пыпину 4 ноября 1880 г. — Но, боюсь, не все одобряют общую концепцию книги, что, впрочем, разумеется, особого значения не имеет»⁹⁴. Сам же Пех целиком присоединяется к выраженной в труде тенденции. По мнению переводчика, Пыпин создал «...нечто большее, чем просто историю литературы; это одновременно славянская философия на литературно-исторической основе». Книга, показывающая, что Пыпин первым правильно

постиг сущность «славянского вопроса» в его широких взаимосвязях, способна, по мнению Пеха, «вливать свежую кровь в Германию, где дух гуманизма сильно ослабел в результате недавно наступившей эры обманов»⁹⁵.

Пех постоянно извещает Пыпина не только о ходе перевода, но и о своем впечатлении о книге. «Из польского раздела я перевел почти два листа, — пишет он 24 января 1880 г. — Но не меньше радости доставил мне и 1-й том. Страницы о сербской и южнорусской литературе были просто великолепны... Полагаю, что лучшие критики отзовутся о книге с большим одобрением».

Очень интересны сообщения Пеха о распространении книги Пыпина в европейском образованном обществе. И по этому поводу Пех использует случай, чтобы высказать свое мнение о труде. «В газете „Политик“, — пишет он 3 ноября 1879 г., — я прочел, что Вы авторизовали также чешское издание Вашей „Истории“. Это успех. Всего несколько лет тому назад я прочел в какой-то чешской газете о первом издании Вашего труда, что „книга написана в ненародном духе“. Но ведь „народный дух“ у разных людей различен и частенько довольно примитивен». А в марте того же года Пех извещает своего русского корреспондента: «В предисловии к немецкому изданию я хотел мотивировать публикацию немецкого перевода между прочим и тем, что книга могла бы оказаться полезной и для западных славян, поскольку русский язык они знают недостаточно. Но теперь... я увидел, что должно выйти чешское издание; далее я где-то прочитал, ...что Ваша книга переводится также на сербский, французский, английский, итальянский. Это верно? ...Я был бы со своей стороны искренне обрадован, если бы Ваша книга нашла столь всестороннее признание, так как она его, несомненно, заслуживает, это поистине труд общеевропейского значения»⁹⁶.

Уникальные сведения содержатся в письмах Пеха Пыпину относительно откликов немецкой прессы на произведение русского ученого; с этими откликами корреспондент Пыпина в корне не согласен, что, конечно, важно для реакции на оценку книги за границей. В письме 1880 г. без точной даты читаем: «В одной весьма поутраченной своей прежнюю славу газетке — „Магацин фюр Литератур дес Аусландес“ — появилось под заголовком „Письма о русской литературе“ простое, как мне показалось, повторение придинок русских рецензентов к Вашей книге. Говорится, что в некоторых частях она слишком специальна (содержит такие вещи, которые могли бы интересовать только специалистов), а в других — слишком далека от полноты (упоминались, как пример, страницы о Шевченко). По-моему, это — ложная точка зрения для суждений о книге. Упоминаемые недостатки были неизбежны ввиду малого числа предварительных работ и общей неустойчивости славянской ситуации.

Действительная же ценность книги состоит в том, что она показывает, каким образом вообще нужно подходить к истории славянских литератур. В этом книга, наверное, навсегда останется образцом. Последующие детальные исследования всегда должны будут исходить из Ваших принципов, чтобы создать действительно научные сочинения. Нелегко было выявить эти принципы в ходе динамического процесса создания книги; в этом и состоит Ваша великая заслуга перед славянами и вообще перед Европой. Какие бы недочеты ни сопутствовали местами отдельным высказанным в книге положениям, они с лихвой возмещаются тонким пониманием жизненно-способных элементов в славянском движении, пониманием общей его цели. Вы предложили нам нечто большее, чем историю славянских литератур: это одновременно и славянская философия на литературно-исторической основе»⁹⁷.

Количество откликов на книгу «История славянских литератур» в немецком переводе было поистине огромно. 24 декабря 1880 г. Пех сообщает: «Из рецензий на немецкое издание Вашего труда вышли: Краткая заметка в «Прагер Тагеблатт» № 316; затем — действительно рецензия в «Ригаэр Цайтунг» № 265 — передовая политического раздела... Далее заметка в Ревю критик (Revue Critique) № 75 в разделе «Литературная хроника», и довольно подробный разбор в «Атенеум бельж» № 23... Основная масса рецензий еще впереди, в том числе и во всех венских газетах, затем в Пеште (включая венгерские издания), в Граце, в словенских газетах, в Берлине. В «Аугсбургер Цайтунг» книгу будет разбирать А. Карriere (Carriere)». — 8 февраля 1881 г. Пех сообщает: «Из рефератов о немецком издании Вашей книги... появились в печати следующие: Богемия (Bohemia) 1881, № 9; Занкт-Петербургер Цайтунг, 1880, № 56; венская «Трибуне», 1881, № 13; «Политик», 1881, № 35–36 (фельетон). Довольно благоприятный отзыв нашла Ваша книга также в „Аусланд“ № 21 [1881]»⁹⁸. Пех не только извещает Пыпина о рецензиях на немецкое издание его книги, но и посылает их тексты и сообщает об откликах, высказанных попутно. «...Высылаю в редакцию Вестника Европы на Ваш любезный просмотр газету „Пешти Напло“ № 353 с рецензией на немецкое издание Вашей книги», — пишет он 10 января 1882 г. Между прочим, в этой рецензии Пыпин обвиняется в панславизме, а также в том, что он большой приверженец славянского единства. Таким образом, автор рецензии в венгерской газете оценивает книгу Пыпина в духе, совершенно противоположном тому, в каком говорили в ней русские рецензенты.

«Великолепная рецензия на II часть появилась в берлинской „Национальцайтунг“, — сообщает далее Пех. — А проф. Карriere написал Брокгаузу, что читает сейчас книгу с пользой для своих знаний и с удовольствием, и напишет рецензию в „Альгемейне

Цайтунг“. Итак, признаний достаточно»⁹⁹. — «Если так пойдет и дальше, то Ваше имя скоро будет одним из самых известных в Германии», — восклицает Пех, добавляя, что в последнее время начали появляться и рецензии на второй том. Одной из первых была рецензия в „Ригаэр Цайтунг“, затем — рецензия Карriere в „Альгемейне Цайтунг“ № 193, отклик в „Дойтше Литературцайтунг“ № 43 (проф. Коха) и в „Нойе Фрайе Прессе“ от 4 ноября [1884 г.]. Корреспондент русского ученого сообщает и о полемике между газетами по поводу книги. Так, рецензия в „Нойе Фрайе Прессе“ под названием „Русский голос о чешских делах“ вызвала в Богемии сильное раздражение, поскольку „там приводятся некоторые цитаты из Вашей книги, вполне справедливые, но не очень лестные для чехов“. — „Народни листы“ и „Покрок“, — продолжает Пех, — открыли против рецензии ожесточенную полемику. Немецкое издание Вашей книги, несомненно, много содействовало прояснению позиций сторон. Также и небольшой по объему отрывок VI главы (в „Лужичане“) везде принят с симпатией. Впервые шовинисты обеих сторон были вынуждены умолкнуть»¹⁰⁰.

Таким образом, книга Пыпина стала не только фактом литературным, но и предметом полемики между общественно-политическими партиями и группировками, каждая из которых черпала аргументы для обоснования своих взглядов из книги русского ученого. Труд приобрел многостороннее значение для европейского общества, как-либо соприкасающегося со славянскими проблемами. Оценивая в целом переведенный труд Пыпина, Пех в предисловии к изданию первого тома «Истории славянских литератур» на немецком языке высказал следующее соображение: «После преимущественно библиографической по своему характеру работы Шафарика 1826 г., а также не исчерпывающего тему опыта Тальви¹⁰¹, русский историк литературы Александр Пыпин в сотрудничестве с В. Д. Спасовичем, разработавшим польскую часть, издал сначала „Обзор истории славянских литератур“ (СПб., 1865), соответствовавший предъявляемым к таким трудам требованиям и нашедший всеобщее признание в Германии, например, у Августа Шлейхера, который уже тогда выразил желание видеть эту книгу в немецком переводе. В России книга была увенчана Уваровской премией». — Далее Пех, изложив структуру второго издания и охарактеризовав концепцию Пыпина, резюмирует, что согласно точке зрения русского автора, «он не принадлежит к тем, кто собирается создавать „табула раза“, чтобы на месте существующей цивилизации возвести совсем новую, славянскую; наоборот, он рассматривает славянские дела во взаимосвязи со всемирными процессами, как часть общечеловеческой культуры, к которой славяне должны присоединиться, а вовсе не противопоставлять ей себя. Не-славянин ознакомится по этой книге

в большей мере, чем это нередко имело место ранее, со справедливыми сторонами славянского движения, в результате чего, несомненно, научится их уважать»¹⁰².

Резюмируя иностранные отклики на книгу Пыпина «История славянских литератур», особенно на ее издание на немецком языке, следует подчеркнуть, что сочинение это стало не только культурным фактом, но и явлением общественной жизни определенной части Центральной Европы, где наблюдалось противостояние славянского и неславянского элементов, и каждый из них апеллировал к производству русского ученого как к аргументу в пользу своих концепций. Весьма любопытным представляется тот факт, что в России Пыпин должен был отбиваться от критики главным образом славянофильского толка, обвинявшей его в прозападнических тенденциях, в недооценке таких категорий как славянские начала, славянская взаимность и т. п. для русских славянофилов он был явным западником. Немецкая же критика, напротив, подчеркивала славянские симпатии автора. Для австрийцев, немцев и венгров Пыпин был даже славянофилом.

В заключение обзора значения Пыпина для развития русского славяноведения второй половины XIX в. следует констатировать, что его научная и литературная деятельность в этой отрасли знаний составляет целую эпоху. Пыпин, как никто другой из русских ученых и общественных деятелей своего времени, разрабатывал славянский вопрос многосторонне. Он исследовал историю развития общественной мысли по славянскому вопросу, разработал ряд оригинальных и плодотворных теорий, касающихся прошлого и современного состояния славянских народов. Ему принадлежит ряд ценных исследований, освещающих и осмысливающих уровень развития науки о славянах как в России, так и за рубежом. Пыпин был талантливым пропагандистом сведений о славянах, всегда предлагавшим свою оценку событий и явлений в области научной и вообще духовной жизни славян. Эти оценки были для своего времени прогрессивны. Через журналы «Отечественные записки», «Современник» и «Вестник Европы» он воспитывал прогрессивное мышление читающей публики.

Академик А. Н. Веселовский, вспоминая Пыпина в 1911 г., писал: «С преданностью знанию, с культом науки в ее освобождающем, просветительном влиянии, соединялась [в Пыпине — Л. Л.] руководящая идея свободы политической, общественной, личной, национального равенства, веротерпимости. Непримируемый враг произвола, стеснения мысли, слова, совести, народности, он, выступив впервые среди мрака реакции 50-х гг., сохранил до конца... его личной жизни неизменную и деятельную веру в жизненность свободы. Защищая ее в родной стране и для своего народа, он возмущался

угнетением какой бы то ни было национальности... Сочувствия его проявлялись ко всякому... народу в защите его от стеснения и гнета, будь это народ финский, еврейский, армянский. Ненавистничество ко всем иным нашим же народам не только гнусно в нравственном отношении, но и губительно в отношении общественном, и даже политическом, писал он мне в 1893 г.»¹⁰³.

Известно, что в журнале «Вестник Европы», в редакцию которого Пыпин вступил в 1866 г., он поместил целый ряд классических работ. «Тут целая гуманная энциклопедия русской жизни, — писал один из биографов ученого, — неисчерпаемый источник фактов, обнимающих собой все главнейшие моменты в истории русского народа, источник светлых мыслей, облагораживающих и возвышающих ум читателей. Большое культурное и просветительское значение имели его переводческие и редакторские работы, где во всем блеске сказались его широкие лингвистические, социологические, философские и исторические познания. Он принимал участие в переводе на русский язык и редактировании историко-литературных и исторических сочинений Шерера, Геттнера, Дрэкера, Лекки, Тэна, Рохау, Бентама. Вместе с М. Антоновичем он перевел «Историю индуктивных наук» Уэвеля. В 1890-х гг. под его редакцией вышли «История немецкой литературы» Шерера и «Искусство с точки зрения социологии» Гьюо¹⁰⁴.

Разумеется, как каждый ученый, особенно гуманитарного профиля, Пыпин бывал подчас субъективен в оценках, допускал в некоторых работах фактические ошибки, за что ему сполна воздала как современная, так и более поздняя критика.

Духовное наследие Пыпина является крупнейшим вкладом в русскую науку и культуру XIX в. Через два десятка лет после смерти ученого его бывшие младшие коллеги по Академии наук оценивали его значение по самому высшему разряду. В неопубликованной «Записке» о его деятельности, датированной 1925 г., дается его подробнейшая характеристика. Приводим ее текст:

«Действительный член Российской Академии наук Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) принадлежит к числу крупнейших наших ученых прошлого века. Его труды в области изучения древней русской литературы и по истории нашей общественности давно приобрели ему почетную заслуженную известность как капитальнейшие сочинения, без которых до настоящего времени не может обойтись ни один исследователь, работающий по истории русской литературы и общественности. С богатством фактического материала, извлеченного из первоисточников, в трудах этих соединяются глубина анализа исторических явлений и широта построений и обобщений. Кроме целого ряда специальных работ, посвященных самым разнообразным вопросам истории литературы и общественных

начинаний, покойный ученый оставил нам также ряд сочинений обобщающего характера, к числу которых должна быть отнесена его «История русской литературы», где впервые у нас с непревзойденной до сих пор проясненностью дана общая картина развития нашей литературы и характеризованы главнейшие литературные течения. Не менее важное значение имеет капитальный труд Пыпина (совместно со Спасовичем) «История славянских литератур», переведенный на многие иностранные языки; и его известная работа «Общественное движение в России при Александре I. Не может быть обойдена молчанием и «История этнографии», в которой наш ученый автор подверг подробному изучению труды исследователей русского народного творчества в широком смысле. Оценивая многолетнюю разностороннюю научную деятельность А. Н. Пыпина, нельзя, конечно, не прийти к выводу, что это был первоклассный ученый европейского значения. Российская Академия наук еще в начале 70-х гг. прошлого столетия сделала попытку привлечь его в свой состав, но внешние обстоятельства того времени помешали этому, и А. Н. Пыпин смог занять место в академии только в 1898 г. Говоря о его заслугах, совершенно невозможно не упомянуть также и о его публицистической деятельности. В качестве одного из редакторов «Современника», в котором он работал вместе с Н. А. Некрасовым до самой приостановки журнала, а затем в качестве постоянного и очень деятельного сотрудника «Вестника Европы», журнальные статьи А. Н. Пыпина, проникнутые широтой взгляда и гуманностью, несомненно, имели большое общественное значение, воспитывая молодые поколения для новой жизни»¹⁰⁵.

К этой характеристике, данной А. Н. Пыпину российскими академиками в 1925 г., можно присоединиться и спустя почти 100 лет после смерти ученого.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Например: *Веселовский А.* К характеристике А. Н. Пыпина (отголоски юбилея) // Русские Ведомости. 1903. № 94; Юбилей А. Н. Пыпина // Киевская Старина. Т. СXXXI. 1903. Май. С. 102–105.
- ² А. Н. Пыпин. [Некролог] // Исторический вестник. 1905. № 1. С. 379–381; *Глинский Б.* Александр Николаевич Пыпин (материалы его биографии и характеристики) // Исторический вестник. 1905. № 1. С. 263–307; *Сакулин П. Н.* А. Н. Пыпин. Его научные заслуги и общественные взгляды // Вестник воспитания. 1905. № 4 (также отд. оттиск — М., 1905); *Пиксанов Н. К.* Памяти А. Н. Пыпина // Известия ОРЯС АН. Т. XV. 1910. Кн. 3. С. 220–228.
- ³ ПФАРАН. Ф. 2. Оп. 1925. № 16. Л. 169.

- 4 *Кораблев В. Н.* Академик А. Н. Пыпин и славянский вопрос // Вестник Академии наук СССР. 1933. № 8–9. С. 67–78.
- 5 *Пиксанов Н. К.* Академик А. Н. Пыпин. К столетию со дня рождения (1833 — 4.VI. — 1933) // Вестник АН СССР. 1933. № 4. С. 39–43.
- 6 См.: *Мельц М. Я.* А. Н. Пыпин — исследователь фольклора зарубежных славян // Русский фольклор. VIII. М. — Л., 1933. С. 357–372.
- 7 *Бернштейн И. А.* Чешская литература в русской критике второй половины XIX в. // Из истории связей славянских литератур. / Сборник статей. М., 1959. С. 22–60.
- 8 См.: *Ровда К. И.* Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60-е гг. XIX в. Л., 1968. С. 174, 175 и др.
- 9 *Озерянский А. Л.* А. Н. Пыпин о славянофилах // Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1968. С. 72–80.
- 10 *Аксенова Е. П.* Славянская проблематика в статьях А. Н. Пыпина в «Современнике» // Там же. С. 56–71.
- 11 *Лантева Л. П.* Русская историография гуситского движения. М., 1978. С. 102–114 (и др. по указателю).
- 12 *Zeil W.* Slawische Solidarität und slawisch-deutsche Wechselseitigkeit im Wirken Jan Bohuwer Pjechs (1838–1913) // Lëtöpis. Rjad A. Č. 26/1. Budyšin, 1979. S. 62–86.
- 13 См.: *Ровда К. И.* Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур 1870–1890. М., 1978. С. 178–217 и др.; *Соловей Т. Д.* Александр Николаевич Пыпин и его место в русской историографии // Этнографическое обозрение. 1994. № 4. С. 69–93.
- 14 *Глинский Б.* Александр Николаевич Пыпин // Исторический вестник. Т. ХСІХ. 1905. № 1. С. 266.
- 15 *Пыпин А. Н.* Мои заметки. М., 1910. С. 39.
- 16 *Глинский Б.* Указ. соч. С. 283.
- 17 Исторический вестник. 1905. № 1. С. 380.
- 18 РГАДА. Ф. 109. 3-е отделение СЕИВК. 3-я экспедиция. Д. 198. Л. 4–9 — Записка об ученых заслугах магистра А. Н. Пыпина, читанная в заседаниях Академии 24 августа и 8 октября 1871 г.
- 19 ЛГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5546. Л. 13 — диплом кандидата А. Н. Пыпина от 11 июня 1853 г.
- 20 РГАДА. Ф. 109. Д. 198 — упомянутая «Записка об ученых заслугах магистра А. Н. Пыпина» 1871 г.
- 21 *Пыпин А. Н.* Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857.
- 22 ЛГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5546. Л. 8 — Донесение историко-филологического факультета в Совет Санкт-Петербургского университета о том, что 24 марта 1857 г. А. Н. Пыпин удостоен степени магистра.
- 23 Там же. Л. 12. — Диплом магистра А. Н. Пыпина.
- 24 Отечественные Записки. 1857. № 11. С. 335–360.

- ²⁵ Архив исторических и практических сведений Калачева. 1860—1861. Кн. 2.
- ²⁶ Там же. 1859. Кн. 3.
- ²⁷ Отечественные Записки. 1859. Кн. 3.
- ²⁸ Археологический вестник. М., 1867. Вып. 3.
- ²⁹ Глинский Б. Указ. соч. С. 291.
- ³⁰ ЛГИА. Ф. 14. Оп. 4. Д. 5821 — О командировании А. Н. Пыпина за границу на два года для приготовления к профессорскому званию (Л. 1 и др.).
- ³¹ Пыпин А. Н. Мои заметки. СПб., 1910. С. 121.
- ³² Например, в письмах к В. И. Ламанскому, а также в автобиографических заметках, продиктованных в 1900—1904 гг. (Пыпин А. Н. Мои заметки. СПб., 1910).
- ³³ А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 7/19 декабря 1858 г. из Праги // Документы к истории славяноведения в России (1850—1912). М.; Л., 1948. С. 21.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 17/29 января 1859 г. из Берлина // Там же. С. 24.
- ³⁶ Там же.
- ³⁷ Переписка П. Й. Шафарика с русскими учеными опубликована в двух томах В. А. Францевым. См.: Korespondence Jozefa Šafařika / Vyd. V. A. Fransev. I. Vzájemné dopisy P. J. Šafařika s ruskými učenici. Č. 1—2. Praha, 1927—1928.
- ³⁸ См.: Францев В. А. Очерки по истории чешского возрождения. Русско-чешские ученые связи конца XVIII и первой половины XIX стол. Варшава, 1902; Лантева Л. П. Чешско-русские научные связи в XIX в.: переписка П. Й. Шафарика и М. П. Погодина // Вестник Московского университета. Сер. 8 — История. 2003. № 2. С. 72—84; Широкова Е. В. П. Й. Шафарик и М. П. Погодин. К вопросу о чешско-русских научных связях 30—60-х гг. XIX в. М., 1999 (автореферат — 30 стр.).
- ³⁹ См. об этом: Лантева Л. П. Чешский ученый XIX в. Франтишек Палацкий и его связи с русской наукой // Славяноведение. 1999. № 2. С. 51—69.
- ⁴⁰ А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 17/29 января 1859 г. из Берлина // Документы к истории славяноведения. С. 24.
- ⁴¹ А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 7/19 декабря 1858 г. // Там же. С. 22.
- ⁴² Там же.
- ⁴³ А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 17/29 янв. 1859 года // Там же. С. 25.
- ⁴⁴ Речь идет о статьях: Listy o ruské literatuře // ČČМ. 1858. Č. 4; Listy o nejnovější ruské literatuře // ИИМ. 1859. С. 1; Listy o nyníjší ruské literatuře // ИИМ. 1859. С. 2.
- ⁴⁵ Современник. 1859. № 3 и 4.
- ⁴⁶ Там же. 1860. № 2.
- ⁴⁷ Там же. 1861. № 3.
- ⁴⁸ ЛГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5821. Л. 3.

- 49 РГИА. Ф. 733. Оп. 27. Д. 161 — об учреждении в Петербургском университете кафедры всеобщей истории литературы и назначении на оную магистра Александра Пыпина на должность экстраординарного профессора (Л. 60б, 7, 11); — Докладная записка попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в министерство Народного Просвещения от 24 февраля 1860 г. (Л. 7).
- 50 Там же. Л. 12.
- 51 Там же. Л. 17.
- 52 Там же. Л. 18.
- 53 Там же. Л. 24 — прошение А. Н. Пыпина об отставке; Л. 29 — приказ об отставке.
- 54 Глинский Б. Александр Николаевич Пыпин // Указ. изд. С. 295.
- 55 РГИА. Ф. 733. Оп. 5. Д. 322. Л. 25–26.
- 56 РГАДА. Ф. 109. 3-е отделение СЕИВК, 3-я экспедиция. Д. 198. Л. 14–15 — Справа об А. Н. Пыпине. Опубликовано в статье: *Ткаченко П. С.* Новые материалы о А. Н. Пыпине // *Русская литература.* 1967. № 4. С. 119–121.
- 57 См.: *Аксенова Е. П.* Славянская проблематика в статьях А. Н. Пыпина в «Современнике» // *Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы.* М., 1986. С. 56–71.
- 58 РГАДА. Ф. 109. 3-е отделение СЕИВК. Д. 198. Л. 14–15.
- 59 Пыпин А. Н. Мои заметки, СПб., 1910. С. 65–66.
- 60 РГАДА. Ф. 109. Д. 198. Л. 1. — Конфиденциальный запрос в 3-е отделение СЕИВК о благонадежности А. Н. Пыпина.
- 61 Там же. Л. 10–11 — Докладная записка, содержащая мнение министра народного просвещения Д. А. Толстого о трудах А. Н. Пыпина.
- 62 Там же. Л. 16–17 — Донесение жандармского агента 3-му отделению СЕИВК; Л. 18 — письмо Д. А. Толстого П. Шувалову от 22 декабря 1871 г.
- 63 Глинский Б. Указ. соч. С. 306.
- 64 ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 4. № 27. Л. 54–55 — данные к биографии А. Н. Пыпина.
- 65 А. Н. Пыпин — В. И. Ламанскому 7/19 декабря 1858 г. из Праги // Указ. изд. С. 21.
- 66 *Кораблев В. Н.* Академик А. Н. Пыпин и славянский вопрос // Указ. изд. С. 70.
- 67 Пыпин А. Н. [Рец. на кн.:] О славянах в Малой Азии, Африке и в Испании. Сочинение В. Ламанского // *Современник.* 1860. № 4. С. 310, 311, 314, 317, 319, 320.
- 68 Пыпин А. Н. [Рец. на кн.:] В. Надлер. Причины и первые проявления оппозиции католицизму // *Современник.* 1869. № 7. Отд. 2. С. 45, 47, 58.
- 69 Пыпин А., Спасович В. Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865.
- 70 Там же. С. 1–2.

- ⁷¹ Там же. С. 506.
- ⁷² Там же. С. 2.
- ⁷³ Там же. С. 46.
- ⁷⁴ Там же. С. 48.
- ⁷⁵ Там же.
- ⁷⁶ См.: *Иванов Ю. Ф.* Гуситское движение в русской историографии // Вопросы истории. 1973. № 9. С. 56.
- ⁷⁷ *Пыпин А., Спасович В.* История славянских литератур. Изд. 2. Т. 1–2. СПб., 1879–1881.
- ⁷⁸ Там же. Т. 2. С. 860.
- ⁷⁹ Там же.
- ⁸⁰ Подробно позиция А. Н. Пыпина по вопросу о гуситском движении освещена в работе: *Лаптева Л. П.* Русская историография гуситского движения (40-е года XIX в. — 1917 г.). М., 1978 (см. по указателю).
- ⁸¹ Современник. 1860. № 3. Отд. III. С. 123 и далее.
- ⁸² ОР РГБ. Ф. ОИДР. II. 53. Д. 24. Здесь указывается, что эта «Записка» была передана в ноябре 1876 г. князю В. А. Черкасскому (1824–1878) — русскому государственному деятелю, участвовавшему во время русско-турецкой войны в организации гражданского управления в Болгарии. Говорится также, что «Записка» была читана в заседании Отделения этнографического географического общества 7 декабря 1879 г. и напечатана в «Известиях Имп. Русского Географического общества», Т. XV. Вып. 5.
- ⁸³ LAPNP. Pozůstalost A. Patery. Korespondence. — Письмо М. П. Петровского без даты (между мартом и июлем 1865 г.).
- ⁸⁴ Филологические Записки. Воронеж, 1865. Вып. 2 и 3.
- ⁸⁵ ИРЛИ. Ф. 163 (Б. Ляцкого). Оп. 4. № 44. Л. 3 — вырезка из журнала «Мир Божий». 1903. Июль (рецензент — П. Щеголев).
- ⁸⁶ Подробно об этом см.: *И. А. Бернштейн.* Чешская литература в русской критике второй половины XIX в. // Указ. изд. С. 22–60.
- ⁸⁷ *Чуркина И. В.* Русские и словенцы. Научные связи конца XVIII в. — 1914 г. М., 1986. С. 117–118.
- ⁸⁸ См. об этом: *Бернштейн И. А.* Указ. соч.; *Ровда К. И.* Россия и Чехия. Взаимосвязи литератур 1870–1890. Л., 1978, особенно гл. 3. С. 137–218; *Он же.* Чехи и русские в их литературных взаимосвязях. 50–60-е гг. XIX в. Л., 1968 (247 с.).
- ⁸⁹ *Беляева Ю. Д.* Литература народов Югославии в России. Восприятие, изучение, оценка. Последняя четверть XIX — начало XX вв. М., 1971.
- ⁹⁰ *Чуркина И. В.* Указ. соч.
- ⁹¹ Архив А. Н. Пыпина: ИРЛИ. Ф. 250. Оп. 3. № 36а. Л. 1–31об, 36, 38–69, 71–106об, 108–127об., 138–139об: Письма Богувера (Трауготта) Пеха А. Н. Пыпину 1879–1887 на немецком языке.
- ⁹² Пех — Пыпину 16 июня 1880 г. из Лейпцига // Указ. фонд. Л. 62.

- ⁹³ Об этом и другой деятельности Пеха на ниве славяно-немецких контактов см.: *Zeil W. Slawische Solidariät und slawisch-deutsche Wechselseitigkeit im Wirklen Jan Bohuwěr Pjechs (1839–1913) // Lětopis. Rjad A. 26/1. 1979. S. 62–85.*
- ⁹⁴ Указ. фонд. Л. 50–51. Отметим, что Пыпин высылал набранные листы книги еще до выхода книги в свет.
- ⁹⁵ Пех — Пыпину, письмо без даты (1880 г.) и 24.1.1880 // Указ. фонд. Л. 40–41.
- ⁹⁶ Пех — Пыпину 27 марта 1880 // Указ. фонд.
- ⁹⁷ Это письмо является ответом на письмо Пыпина от 29.3 /10.4. 1880 г. Видимо, Пех писал в апреле 1880 г.
- ⁹⁸ Пех — Пыпину, 7 июля 1881 г.
- ⁹⁹ Пех — Пыпину, 31 августа 1883 г.
- ¹⁰⁰ Пех — Пыпину, 10 ноября 1884 г.
- ¹⁰¹ Тальви (Talvj) — литературный псевдоним Терезы Альбертины Луизы фон Якоб (1797–1870), жены американского ориенталиста Робинсона. Переводила на немецкий язык «Сербские песни», изданные В. С. Караджичем, занималась народной поэзии славянских народов вообще.
- ¹⁰² Приложение к письму Т. Пеха А. Н. Пыпину от 2 августа 1880 г. (типографский текст) // ИРЛМ. Указ. фонд. Л. 44–45.
- ¹⁰³ ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 4. № 44 — Алексей Николаевич Веселовский об А. Н. Пыпине, сентябрь 1911 г. Автограф и машинопись. 9 стр.
- ¹⁰⁴ Глинский Б. Указ. соч. С. 300, 301.
- ¹⁰⁵ ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1925. № 16. Л. 172 — «Записка» датирована июнем 1925 г. и имеет любопытное заключение: «Все изложенное побуждает нас всемерно поддержать ходатайство дочери покойного академика А. Н. Пыпина — Веры Александровны Пыпиной — о назначении ей пенсий, на которую заслуги ее отца дают ей полное право».

К истории создания Института славяноведения в Ленинграде (1931–1934 гг.)

До ликвидации самостоятельного существования в рамках структуры Академии наук ее Второго отделения — Отделения русского языка и словесности¹ — вопроса о создании какого-либо другого исследовательского центра по изучению славянства не возникало. Именно при Отделении находились научные комиссии, в деятельности которых это изучение и находило место. В их числе была не только собственно Славянская комиссия (СК), но также и Словарная комиссия (КС), Комиссия по изданию старославянских памятников (КСП), да и деятельность других комиссий в той или иной степени затрагивала славистическую проблематику. Большинство из них были связаны с изучением периода Древней Руси: Комиссия по собиранию словарных материалов по древнерусскому языку (КСМ), Комиссия по изданию памятников древнерусской литературы (КПДЛ), Комиссия по составлению толковой библиографии по древнерусской литературе (КТБ), а также Комиссия по диалектологии русского языка (КД).

О необходимости каким-либо образом сохранить организационно единство славистов, влившихся в бывшее Третье, Историко-филологическое отделение, состоявшее в основном из востоковедов, свидетельствует письмо Перетца Сперанскому от 7 июня 1927 г. Ученый полагал, что необходимо «поднять вопрос об организ[ации] разряда слав[яно]-русс[кой] филол[огии]. Это тем более удобно, что ведь и в 3-м Отд[елении] есть „разряды“ (очень немногочисленные)»².

В период развернувшейся борьбы вокруг выборов в Академию все прочие вопросы отошли на второй план. Как только ситуация окончательно прояснилась и стало очевидным, что действовать придется в тех рамках, которые Академии определены властью, члены бывшего ОРЯС стали активно искать новые организационные формы для своей научной деятельности. Уже в протоколе заседания Группы по языковедению и литературе (ГЯЛ) 22 и 23 апреля 1929 г. зафиксирована мысль о создании Института славяноведения. Идея эта возникла в связи с предполагавшейся серьезной перестройкой работы и структуры ГЯЛ. Мы полагаем, что вопрос об организации Института славяноведения необходимо рассматривать в контексте деятельности Отделения гуманитарных наук (ОГН) по созданию новых академических институтов.

В протоколе отмечалось: «Слушали и обсуждали вопрос о структуре Группы по языковедению и литературе на основании доложенных Е. Ф. Карским материалов и проекта структурной схемы П. Н. Сакулина.

Постановили: принимая во внимание всесоюзное значение Академии Наук и необходимость подчеркнуть значение Академии наук СССР как центра для изучения русского языка и литературы, а также учитывая наличный состав Группы по языковедению и литературе, — а) предложить ОГН именовать Группу Русско-Европейским Разрядом; б) Разряд подразделить на три Секции: 1) Секцию русского языка литературы; 2) Секцию славяноведения, в которую войдут Институты славяноведения и украинского и белорусского языков и литератур; 3) Секцию всеобщей литературы (классические языки и литература, Византийская комиссия, Западно-Европейские языки и литература)³. Что касалось необходимости расширения уже утвержденных издательских планов, то в решении ГЯЛ отмечалось: «И сверх того принять пожелание: Е. Ф. Карского об увеличении на 8 листов для Славянской энциклопедии; П. А. Лаврова — о 30 листах для сборника по славяноведению»⁴. Можно констатировать, что известные слависты предприняли очень серьезную попытку для укрепления позиций славяноведения внутри Академии наук. Надо отметить, что на заседании, на котором председательствовал П. Н. Сакулин, присутствовали в основном единомышленники: М. С. Грушевский, М. Н. Сперанский, С. А. Жебелев, Е. Ф. Карский, Б. М. Ляпунов, Н. К. Никольский, В. М. Истрин, М. М. Покровский, В. П. Бузескул, что и позволило сформулировать столь радикальные предложения.

Выдвижение предложений, однако, не означало их принятие. В конце 1929 г. академики-слависты предложили не менее радикальный план реорганизации, основной мыслью которой было объединение всех комиссий бывшего ОРЯС в рамках одного института. Заседание ГЯЛ 19 декабря 1929 г. состоялось почти в том же составе, что и весеннее, отсутствовали М. С. Грушевский и В. П. Бузескул, но добавился В. Н. Перетц. На заседании был заслушан «доклад акад[емика] Е. Ф. Карского о возможном объединении научных Комиссий. Предлагается образование Института Русского языка и словесности, который бы объединил 7 комиссий — в виде трех групп»⁵. Ученый предлагал объединить в единую Комиссии по языку Словарную Комиссию, Комиссию по диалектологии русского языка, Комиссию по древнерусскому словарю «(др[евне]русский и старославянский словари)» и новую Комиссию по народному языку. В Комиссии по древнерусской литературе должны были объединиться: Комиссия по изданию памятников древнерусской литературы, Комиссия по составлению толковой библиографии по

древнерусской литературе, Комиссия по научному изданию старославянских памятников. И, наконец, третья Комиссия по славянским языкам, литературам и истории организовывалась на базе Славянской комиссии.

Важным преимуществом своего плана Карский считал то, «что предлагаемая форма объединения, во-первых, не нуждается в новых больших ассигнованиях, а во-вторых, может быть произведена быстро и легко». В обсуждении проекта приняли участие почти все присутствовавшие, «причем, — отмечается в протоколе, — П. Н. Сакулин выдвинул идею организации специального Института по славяноведению параллельно с Институтом русского языка и словесности». В итоге идея образования Института русского языка и словесности была поддержана. Предполагалось создать в нем и три отдела: русского языка, древнерусской литературы и новой русской литературы. Однако, отмечалось, что «каждый отдел объединяет относящиеся к нему существующие комиссии не в форме слияния, а в форме координации работы»⁶.

Результатом обсуждения явилась и следующая корректировка первоначального проекта Карского, отраженная в постановлении заседания. В нем отмечалось: «Принимая во внимание оживление в общественно-политических кругах интереса к изучению славянства, поставить на очередь вопрос об организации при АН Института по славяноведению, в основу коего должны лечь существующие по славянским наукам комиссии. Разработку вопроса об Институте славяноведения поручить особой комиссии». Но, с одной стороны, о самостоятельном существовании такого института пока речи не шло, а с другой, — он должен был образоваться не на основе только одной Славянской комиссии, как предлагавшаяся Карским Комиссия по славянским языкам, литературам и истории. В решении уточнялось: «Впредь до организации института по славяноведению все существующие при АН комиссии по славянским дисциплинам оставить в составе Института русского языка и словесности в виде четвертого отдела — славяноведения»⁷. В тот же день постановление ГЯЛ было доложено Сакулиным на заседании Отделения гуманитарных наук⁸.

Разработка положения об Институте русского языка и словесности (ИНРЯС) продвигалась быстрыми темпами. Уже через несколько дней, 28 декабря состоялось новое заседание ГЯЛ по этому вопросу. Вновь выступали Сакулин и Карский, первый доложил проект организации, а второй сделал «содоклад о том же». После обсуждения, в котором приняли участие все присутствовавшие, включая С. Ф. Платонова и Н. Я. Марра, было решено «принять проект акад[емика] П. Н. Сакулина, прося автора согласовать с ним некоторые дополнения проекта акад[емика] Е. Ф. Карского, а также

включив положения, чтобы в ИНРЯС'е нашли себе место временно, до самостоятельной организации, изучения материалов по языкам, литературам и фольклору Украинно-Белоруссии»⁹. В результате на заседании была принята «докладная записка», в которой тесно увязывалась задача учреждения ИНРЯС с организацией других институтов, и в первую очередь Института славяноведения. Так, во «Введении» указывалось: «Все свое значение Институт русского языка и словесности получит лишь при условии, что он не будет занимать изолированного положения, а войдет, как часть, в общую систему институтов ОГН в известной постепенности, но за этим Институтом должны возникнуть институты славяноведения, всеобщей литературы, сравнительного языкознания и т. п. <...> Вот почему нижеследующее положение об Институте русского языка и словесности устанавливает, хотя временную, но необходимую связь с дисциплинами, которые впоследствии должны составить Институт славяноведения»¹⁰.

Что касается предполагаемой структуры ИНРЯС, то она повторяла утвержденную еще на заседании 19 декабря. К разделу о структуре было сделано особое важное для нашей темы «Второе примечание». В нем указывалось: «Впредь до образования самостоятельного Института славяноведения в состав Института входят также: Славянская Комиссия, Комиссия по изданию памятников старославянского языка и комиссия по изданию Славянской Энциклопедии. Перечисленные учреждения временно составляют Славянский Отдел Института. В тот же Отдел временно следует отнести также изучение языков, литератур и фольклора Украины и Белоруссии»¹¹. В общем «примечании» также отмечалось: «Временно (см. пункт 5, прим[ечание] Второе) в ведении Института русского языка и словесности находятся издания: „Энциклопедия славянской филологии“ и „Труды славянской комиссии“»¹².

С началом нового года началась работа уже по подготовке проекта собственно Института славяноведения. На заседании ГЯЛ 30 января 1930 г. было заслушано «сообщение ак[адемика] П. Н. Сакулина о своевременности приступить к разработке положения об Институте Славян оведения АН СССР. Заслушаны докладные записки ак[адемика] Б. М. Ляпунова и ак[адемика] В. Н. Перетца (прилагаются при протоколе *)»¹³. Сам Перетц на заседании не присутствовал. После обсуждения представленных материалов было принято решение «считать своевременным составление положения об Институте славяноведения и поручить Особой комиссии в составе

* К сожалению, не только эти записки, но и большинство материалов, которые определены как прилагающиеся к протоколам заседаний ГЯЛ или ОГН, не сохранились.

академиков Б. М. Ляпунова, М. С. Грушевского, Е. Ф. Карского, Н. К. Никольского и М. Н. Сперанского это положение представить к заседанию ОГН 31 января, учтя необходимость открытия в АН СССР кафедры западнославянских языков и этнографии с фольклором»¹⁴. В тот же день Сакулин доложил на заседании ОГН о решении Группы, и было решено заслушать «Положение» уже на следующем заседании ОГН¹⁵.

На заседании ОГН 31 января было принято решение: «вопрос об организации Института славяноведения продолжать прорабатывать, войдя в сношение с Комакадемией»¹⁶. Уже само это последнее предложение говорит о том, что времена для организации подлинно академических институтов наступали неподходящие. Еще в конце зимы и весной 1929 г. на комфракции АН СССР неоднократно обсуждались планы по реорганизации работы Академии и прежде всего Отделения гуманитарных наук. Записки и проекты с предложениями «коренной» реорганизации подавались в Политбюро ЦК ВКП(б)¹⁷. По одному из таких обращений Политбюро приняло 15 апреля резолюцию, в одном из пунктов которой значилось: «В основном принять предложение комфракции Академии Наук о дальнейшем направлении и организации работ Академии Наук с тем, чтобы не разворачивать на данной стадии организации гуманитарных институтов»¹⁸.

В Политбюро 1 ноября поступил «Отчет председателя фракции Академии Наук СССР о сессии Академии 28–30 октября 1929 года» М. Н. Покровского. В его отчете прежний проект устава Академии наук был охарактеризован как «нелепый». С циничной откровенностью Покровский советовал: «Надо было составить новый проект, который отдал бы дирижерскую палочку в руки партийных органов и ставил бы академиков на их надлежащее место — руководителей по той или другой специальности, где они могут быть действительно полезны»¹⁹. Он предлагал «образовать правительственную комиссию» по коренной реорганизации Академии, а состав ее утвердить на ЦК ВКП(б)²⁰. Вполне естественно, после последовавших в конце 1929 г. указаний от партийных властей в Академии был поставлен вопрос о необходимости для нее нового устава. Для выполнения задачи была создана специальная комиссия, состоявшая из академиков — коммунистов и сочувствующих, а также из представителей Комакадемии, отделов ЦИК СССР, ВСНХ, ВЦСПС и общественных организаций²¹.

Другим советчиком Политбюро по делам Академии выступал Г. М. Кржижановский. В поданной им 11 декабря под грифом «сов. секретно» записке содержались соображения по будущему составу руководства Академии, а также ставились и конкретные задачи, в частности, касавшиеся и интересующей нас области

славяноведения. Так, Кржижановский предлагал «поручить фракции академиков <...> реорганизовать Пушкинский Дом Академии в научно-исследовательский Институт по изучению русского языка и литературы, не возражая против сохранения в его составе действительно ценной части научной работы Академии в области славяноведения»²².

Напомним, что выдвигались и радикальные предложения. Так, 23 февраля 1930 г., Луначарский вместе с Бухариным направили в Политбюро свои соображения по реорганизации Академии, в одном из пунктов предлагалось со временем постепенно ликвидировать гуманитарное отделение, а его институты передать Комкадемии²³. В итоге обсуждения их записки на Политбюро была решена судьба будущего руководства Академии. Политбюро 25 февраля постановило «оставить президентом Карпинского, вице-президентами утвердить т. Кржижановского, Марра и Комарова, неизменным секретарем т. Волгина»²⁴. Поэтому выборы, состоявшиеся на Общем собрании Академии, 1–3 марта²⁵, были лишь формальностью. Такой же формальностью стало и утверждение нового устава Общим собранием, проходившим с 31 марта по 5 апреля. Тогда же состоялось и знаковое переименование Отделения гуманитарных наук в Отделение общественных наук (ООН)²⁶.

Марр, став вице-президентом, еще больше увеличил свое влияние на всю гуманитарную часть Академии, что тут же сказалось и на планах создания ИНРЯС и Института славяноведения. Новоизбранный академик-секретарь Отделения А. Н. Самойлович ознакомил 3 апреля Отделение с результатами «работ Ком[иссии] по реорганизации в отношении II Отд[еления] АН». Докладчик особо подчеркнул: «По группе языковедения и литературы — Ком[иссия] наметила сосредоточить общие, теор[етические] вопросы языковедения в Яфетическом Институте»²⁷. В записи доклада в протоколе заседания ОГН ничего специально о судьбе славяноведения не говорится. Но в составленном в тот же день протоколе заседания ГЯЛ кратко обозначены основные положения собственно проекта «Оргкомиссии от 2 апреля с/г. о полной реорганизации существующих академических учреждений и комиссий, касающихся вопросов языка и литературы», одно из которых имело прямое отношение к славяноведению. Всего пунктов в проекте было пять, кроме пункта о Яфетическом институте, предлагалось полное «отделение дисциплин языковедных от литературных», для исследований русского языка предполагалось создать «Особую Комиссию», предполагалось также до утверждения проекта «всем комиссиям продолжать свою работу», и, наконец, последний пункт гласил: «Комиссия Славянская упраздняется»²⁸.

На следующий день состоялось еще одно заседание ГЯЛ, на котором обсуждался доклад Самойловича и предложения Оргкомиссии.

На нем присутствовали в основном участники прежних обсуждений: Сакулин, Истрин, М. М. Покровский, Сперанский, Жебелев, Перетц, Ляпунов, новой фигурой был только Луначарский²⁹. В результате обсуждения было выработано специальное «заключение». Этот документ, безусловно, учитывает весьма ограниченную возможность для выражения какого-либо несогласия с предложениями руководства Академии. Он состоит из восьми пунктов. В первом пункте «Группа приветствует принципы рационализации, объединения и планоности научной работы». Далее утверждается, что именно эти принципы «лежат в основе ее собственного проекта о создании Института русского языка и словесности, который уже получил одобрение ОГН в заседании от 19 декабря 1929 года». Во втором — Группа «вполне соглашается» с идеей «образовать Институт новой русской литературы имени Пушкина»³⁰.

Инициатором проекта выступил Сакулин еще 23 апреля 1929 г., и тогда же поддержанный Группой³¹. Идея получила одобрение в высших сферах. В уже упоминавшейся записке Кржижановского в Политбюро от 11 декабря 1929 г. такой институт предлагалось создать на базе Пушкинского Дома³². В другой записке, также поданной в Политбюро 11 декабря Ю. П. Фигатнером, весьма красочно и цинично описывались приемы, которые уже были применены в деле создания нового института. В ней сообщалось: «В Пушкинском Доме имеются колоссальные богатства по истории русской литературы, начиная с конца XVIII века и до кануна революции. Но там нет ни одного марксистского литературоведа. Мы сейчас вышибли оттуда часть сотрудников, часть посадили в ДПЗ (Дом предварительного заключения. — М. Р.). Вопрос об объединении Пушкинского Дома и Толстовского Музея решается в положительном смысле. Будет создан Институт истории русской литературы. Но положение останется без изменений, если мы не посадим туда в качестве работников нескольких коммунистов-литературоведов. Мы можем и должны найти нескольких марксистов-литературоведов. Сейчас Пушкинский Дом возглавляется академиком Сакулиным»³³.

Следующие шесть пунктов содержат в основном возражения членов Группы, выраженные с разной степенью решительности, и попытки отстоять свои прежние предложения. Указывалось на слабую мотивированность упразднения комиссий и создания новых, переименованных комиссий на базе существовавших. Отмечалось, что «проще сохранить прежние наименования комиссий и объединить их в Институты». Предлагалось добавить к Институту новой русской литературы комиссии по древнерусской литературе и русскому языку и получить таким образом «одно учреждение типа Института русского яз[ыка] и словесности, как он сконструирован

в проекте Группы». Выразилось неудовлетворение тем, что в схеме реорганизации не нашлось места для классических языков и литературы, что никак организационно не оформлены занятия «академиков по языку и литературе Украины и Белоруссии».

Зная истинное мнение о «новом учении о языке» академиков-славистов, часть следующего пункта их резолюции можно считать данью новым академическим реалиям. Однако смысл всего пункта явно антимарровский. Итак, «признавая важность того научного направления, которое представлено в Яфетическом Институте, Группа находит, что существование названного Института не должно закрывать путей для развития индоевроп[ейского] языкознания. Мало того, Группа выражает уверенность, что АН примет необходимые в этом отношении меры».

Вполне естественно, что наибольшие возражения всех филологов вызвало предложение о ликвидации Славянской комиссии. В резолюции прямо указывалось, что «Группа не может согласиться с полной ликвидацией Славянской комиссии. Ссылка на то, что со временем предполагается образовать Институт Славяноведения на широких основаниях, не может служить аргументом против существования Славянской Комиссии. С ее закрытием работа славистов неминуемо утратит коллегиальный и плановый характер, что находится в противоречии с основными принципами реорганизации, и что сделает невозможным продолжение коллективных изданий АН, именно „Славянская Энциклопедия“ и [труды] Комисс[ии] по изданию старослав[янских] памятников. Славяноведение составляет столь важную отрасль науки, что отсутствие в АН организованных работ этого рода было бы вопиющим пробелом». И далее подчеркивалось: «Группа считает аксиомой, что пока проект реорганизации не получил окончательного утверждения, существующие учреждения (в том числе и Славянская Комиссия) продолжают функционировать на прежних основаниях»³⁴. В тот же день Сакулин доложил «постановление» Группы на ОГН. После этого Отделение внесло в свое решение специальный пункт, гласивший: «Выразить в Общем собрании от имени Отделения пожелание, чтобы деятельность существующих учреждений, в частности, Славянской комиссии, не прекращалась до организации нового учреждения»³⁵.

Академики-слависты все еще не оставляли надежд на осуществление хотя бы части своих наиболее разработанных планов, не совпадавших, однако, с общим планом реорганизации работы Отделения, направленным на усиление возглавлявшегося Марром Яфетического института. На заседании ОГН 25 мая 1930 г. обсуждалась записка «шести академиков (В. М. Истрина, Е. Ф. Карского, Б. М. Ляпунова, Н. К. Никольского, В. Н. Перетца и М. Н. Сперанского) о необходимости вместо выдвинутого Комиссией по

реорганизации АН проекта двух Комиссий: по русскому языку и древнерусской литературе — учреждения единого Института русского языка и древнерусской словесности». Эта записка была рассмотрена ранее ГЯЛ, которая рекомендовала «предложить ее на утверждение ОГН для пересмотра вопроса в комиссии по реорганизации АН»³⁶. При голосовании за такое предложение выступили практически только сами составители записки, ее поддержало 7 академиков (из составителей присутствовало 5 человек). В постановлении заседания зафиксировано: «Произведенным голосованием — большинством 10-ти против 7-ми постановлено остаться при постановлении апрельской сессии об образовании двух Комиссий: по русскому языку и древнерусской литературе»³⁷. Всего на заседании присутствовало 24 или 23 человека (председательствовавший на заседании Карпинский одновременно значится и в списке отсутствовавших), отсутствовало 15 человек³⁸. Часть членов Отделения, по-видимому, или не принимала участия в голосовании, или к его моменту разошлась. Очевидно, что не поддержали коллег-славистов прежде всего члены бывшего Историко-филологического отделения — востоковеды и новые академики.

Неудача, постигшая действия группы академиков, произвела тяжелое впечатление на Ильинского, который, как всегда, определенно и резко высказался по поводу реформирования Академии и о своих впечатлениях об итогах майского заседания ОГН. Он писал Ляпунову 5 июня: «М. Н. С[перанс]кий привез самые удручающие известия о том, что происходит сейчас у Вас в Академии. Да и то, что Вы сообщаете о судьбе проекта Инст[итута] Русс[кого] Языка, прямо ужасно. Для разных фантастических учреждений вроде Яфетического Института находятся деньги, а для изучения языка, на котором говорит огромная часть населения Союза, считается достаточной „Комиссию“!»³⁹

Ввиду очевидного нежелания Отделения поддержать идею создания ИНРЯСа, не говоря уже о самостоятельном Институте славяноведения, были предприняты попытки в рамках Комиссии по русскому языку (КРЯЗ) найти место и для славяноведения. Инициатором дела выступил Ляпунов. ГЯЛ одобрила его проект и внесла на обсуждение ООН 27 ноября 1930 г. следующий вопрос: «Заявление ак[адемика] Б. М. Ляпунова с просьбой, ввиду сокращения деятельности Славянской Комиссии, ходатайствовать перед ООН об учреждении при КРЯЗ как особой подкомиссии — Подкомиссии по славяноведению. Группой было постановлено возбудить ходатайство перед ООН об утверждении председателем Подкомиссии по славяноведению (при КРЯЗ) акад[емика] Б. М. Ляпунова». Отделение ответило отказом: «Постановлено: „По произведенном голосовании вопрос об утверждении Подкомиссии по славяноведению отложить

до весенней сессии»⁴⁰. Тогда же было отложено и другое ходатайство Ляпунова о возобновлении издания «Энциклопедии славянской филологии» «впредь до решения вопроса об Институте славяноведения в АН СССР»⁴¹.

Если принять во внимание дальнейший ход событий, то становится совершенно очевидно, что принятие каких-либо решений затягивалось намеренно. Дело об учреждении каких-либо особых славяноведческих институций не продвигалось потому, что инициатива исходила от представителей бывшего ОРЯС. Нет сомнений, что созданное по этой инициативе учреждение было бы ориентировано на исследования в области славянской филологии, кирилло-мефодиевской традиции и в целом славянских древностей. Кроме того, в таком институте собрались бы открытые или скрытые противники методологических нововведений и прежде всего марризма. Все это никак не вписывалось в указания властей, на которых основывалось проводившееся реформирование. Безусловно, эти же причины были основанием в отклонении идеи создания ИНРЯС'а *. Дополнительными обстоятельствами, осложнявшими отстаивание и без того не многочисленной старой академической элитой своих планов, были существенные потери, понесенные ею за два с небольшим года. В 1929 г. в мае умирает А. И. Соболевский, в ноябре — П. А. Лавров, теряет свою былую активность Е. Ф. Карский, умерший в апреле 1931 г., в начале того же месяца скончался и В. П. Бузескул, сочувствовавший своим коллегам, а в сентябре 1930 г. умер председатель ГЯЛ П. Н. Сакулин, поддерживавший группу академиков-славистов в их планах по созданию новых гуманитарных институтов.

Руководство Отделения оттягивало принятие решения об Институте славяноведения, очевидно, и потому, что весь 1930 г. велась подготовка к январским выборам 1931 г. новых членов Академии. Одним из фаворитов этой кампании считался Н. С. Державин, рекомендателем которого выступал сам Марр. Попытка Марра провести в академики Державина еще на выборах 1929 г. не удалась, академики-слависты смогли отвести его кандидатуру еще на предварительной стадии⁴². Теперь в успехе кандидата, за которого хлопотал вице-президент Академии, были уверены даже его противники⁴³. Неожиданно для многих Державин с трудом, всего одним голосом, прошел 31 января 1931 г. в Отделении общественных наук⁴⁴. Практически сразу же появляется новый проект «Положение об Институте славяноведения АН СССР», составленный уже Державиным

* Самостоятельный Институт русского языка АН СССР был создан только в 1944 г. уже в совершенно иной научной и радикально изменившейся политической обстановке.

15 февраля. Столь быстрая подготовка проекта из полутора десятка пунктов свидетельствует только о том, что он готовился заранее в расчете и на избрание Державина академиком, и на то, что именно ему будет доверено директорство в новом институте.

В науке существуют мнения, что 15 февраля был составлен «окончательный вариант» Положения⁴⁵, который, однако, потом дорабатывался, и что в Положении от 15 февраля была закреплена «структура Института славяноведения»⁴⁶. Приведенные мнения требуют серьезного уточнения, так как они, во-первых, не раскрывают того, когда и в чем собственно выразилась доработка Положения, и, во-вторых, от прояснения этого вопроса зависит, какова была предполагавшаяся структура Института. Итак, обсуждение Положения началось уже 1 марта на заседании ГЯЛ, причем этот вопрос был специально добавлен к повестке дня⁴⁷.

Проект Положения был достаточно многословен и стремился отразить все стороны деятельности будущего Института, его структуру, проблематику. Он декларировал актуальность работы Института, которая будет проводиться «в теснейшей органической увязке с интересами социалистического строительства СССР», основное внимание предполагалось уделить жизни славянских народов «эпохи империализма и пролетарских революций»⁴⁸. Но кроме таких обязательных для соответствующей эпохи положений документ содержал постановку и вполне традиционных задач в изучении славянства. Державин строил грандиозные планы, которые нашли отражение и в предлагавшейся структуре Института. Научно-исследовательская работа сосредотачивалась в пяти секторах, которые имели в Положении буквенную нумерацию: а) Сектор историографии и библиографии славяноведения; б) Сектор текстологический; в) Сектор истории литератур и языков; г) Сектор этнографии и фольклора; д) Сектор истории и экономики⁴⁹. В качестве руководителей секторами он предполагал себя и еще четырех академиков, соответственно: Н. С. Державин, Н. К. Никольский, В. Н. Перетц, Е. Ф. Карский и М. С. Грушевский⁵⁰. Надо отметить, что Державин не сразу пришел к такому распределению секторов между академиками. В предварительных набросках на руководство первым сектором намечался К. А. Пушкиревич, а себя Державин видел во главе сектора «в) Истории литературы и языка», причем, оставлять ли «язык» в названии сектора, было под вопросом. По-видимому, решив создать руководство секторов только из академиков, Державин, осознавая безусловный приоритет Перетца, решил уступить сектор ему⁵¹.

В Положении были подробно описаны задачи каждого из подразделений. Обратим внимание на номенклатуру славянских народов, на которые распространялось «изучение истории литератур

и языков» в Секторе истории литератур и языков «славянских и смежных с ними народов». В нее попали и восточные славяне («украинцы, белорусы, русские»). В специальном примечании оговаривалось, что история русской литературы будет изучаться «только в пределах эпохи средневекового феодализма и торгового капитала (XI–XVII), ввиду сосредоточения ее изучения в позднейшее время в академическом Институте новой русской литературы (ИНЛИ)»⁵². Все это означало, что Державин планировал полностью похоронить проект создания Института русского языка и древнерусской словесности, потому что КРЯЗ и Комиссия по древнерусской литературе (КДЛ) теперь должны были бы составить сектор в Институте славяноведения. Подобная перспектива членов названных комиссий явно не вдохновляла. На уже упоминавшемся заседании ГЯЛ 1 марта наряду с обсуждением проекта организации Института славяноведения основную повестку дня составляло обсуждение планов работ комиссий на 1932 г., в том числе КДЛ и КРЯЗ⁵³. Относительно же предлагавшейся в Положении структуры Института славяноведения были сделаны весьма существенные замечания. Так, в постановлении ГЯЛ, в частности, предлагалось «объединение секторов б) и в), выделение в положении самостоятельного сектора — сектора языков»⁵⁴.

На следующий день, 2 марта Державин докладывал свой проект на заседании ООН. В постановлении заседания предложения ГЯЛ учтены не были, а проект в целом получил одобрение. В одном из пунктов была кратко сформулирована основная задача института — «изучение истории экономической жизни, культуры, языков и литератур славянских народов, а также других народов Юго-Восточной Европы». Но претензии Державина на включение в состав Института КДЛ и КРЯЗ поддержки не получили. Этот вопрос предлагалось «временно оставить открытым». Возможно, что в этом пункте совпали настроения членов данных комиссий и еще не объявленные планы Марра относительно одной из них.

Было постановлено также: «Создать Комиссию в составе ак[аде-миком]: Н. С. Державина, А. С. Орлова, В. П. Волгина, В. Н. Перетца и Б. М. Ляпунова для просмотра проекта Положения Института Славяноведения. Положение внести на утверждение в апрельскую сессию»⁵⁵. Уже по составу комиссии можно представить, что никаких шансов у Перетца и Ляпунова, представителей академических традиций, как-либо повлиять на Положение об Институте не было. Знаком, свидетельствующим о том, какое важное значение придавалось руководством Академии созданию Института с таким инициатором и такой программой, служило включение в ее состав непременно секретаря Академии Волгина, ученого, чьи интересы были далеки от славяноведения. Волгин практически одновременно за год

до описываемых событий был избран академиком и на свою высокую должность по решению Политбюро ЦК ВКП(б), а до того, еще не будучи академиком, возглавлял Комиссии по составлению нового Устава Академии⁵⁶. Оправдывая столь высокое доверие властей, «В. П. Волгин активно старался превратить тогдашнюю Академию наук в орудие тоталитарного режима»⁵⁷. Орлов, отличавшийся лояльностью к существующему строю, был избран в Академию вместе с Державиным в январе 1931 г.

На следующий день, 3 марта решение ООН было подтверждено Общим собранием АН СССР. Но в части, перечислявшей области знания, которыми предполагали заниматься в Институте славяноведения, была внесена — при помощи запятой — одна важная поправка. Если в протоколе ООН значилось — «изучение истории экономической жизни», то же было повторено и в выписке из этого протокола⁵⁸, то в выписке из протокола Общего собрания этот текст выглядел следующим образом — «изучение истории, экономической жизни»⁵⁹. Возможно, отсутствие запятой в протоколе ООН можно объяснить просто опiskeй. Но ее появление можно объяснить и диктовавшимся марксистской методологией вниманием к вопросам экономического развития.

Комиссия по доработке Положения об Институте славяноведения свою задачу выполнила. На следующем заседании ООН, состоявшемся 27 апреля 1931 г., Положение было принято. Судя по тому, что «непременный секретарь доложил проект положения об Институте славяноведения в окончательной редакции»⁶⁰, сам Волгин и возглавлял комиссию. В результате обсуждения к проекту было сделано только одно несущественное замечание, предлагалось сократить список народов, связанных со славянами «в процессе своего исторического развития»⁶¹, что и было сделано в тексте Положения⁶², приложенном к протоколу. Этот документ остался вне внимания исследователей, занимавшихся историей Института славяноведения.

Некоторые пункты Положения были достаточно сильно отредактированы, и текст в целом стал короче. Редактирование еще больше приближало документ к новому направлению, заданному перестройкой всей деятельности Академии наук. Остановимся лишь на принципиальных изменениях, касавшихся задач Института и его структуры. Первый пункт проекта Положения в первоначальной редакции гласил: «Институт славяноведения Академии Наук СССР имеет своей задачей — всестороннее изучение истории культуры славянских народов <...> в ее литературно-художественных, языковых, историко-социальных и бытовых проявлениях в их развитии, в прошлом и настоящем, в теснейшей связи с развитием социальных отношений и международных связей»⁶³. В окончательной редакции

этот пункт не только был сформулирован четче, но и дополнен принципиально новым методологическим аспектом: «Институт славяноведения Академии Наук СССР имеет своей задачей всестороннее изучение, *на основе материалистической методологии* (выделено нами. — М. Р.), — истории, экономической жизни, языков, литератур и быта славянских народов...». К первому пункту было сделано примечание, четко отграничившее русскую проблематику от славянской: «История, экономика, язык, литература и быт русского народа не входит в круг изучения Института славяноведения»⁶⁴. Данное положение было учтено и в пункте, касавшемся учреждений, в «тесном контакте» с которыми должен был работать Институт. По сравнению с первоначальным списком были добавлены «Комиссия по русскому языку, Комиссия по древнерусской литературе»⁶⁵.

Менее радикальному, но в том же направлении редактированию подвергся и второй пункт Положения. Теперь в нем формулировались задачи лаконичнее, исчезло упоминание «теснейшей органической увязки», ясно провозглашалась идеологическая и политическая актуальность: «Связывая свою научно-исследовательскую работу с интересами социалистического строительства СССР, Институт славяноведения выдвигает на первый план: а) изучение славянских и близких к ним народов в эпоху империализма и пролетарских революций»⁶⁶. Что касается структуры Института, то в новом положении было сокращено количество секторов с пяти до трех, изменилось и их расположение в списке, поменялись местами области знаний в названии одного из секторов. С последнего на первое место переместился как наиболее актуальный Сектор истории и экономики, за ним следовали Сектор языков и литератур, далее — Сектор этнографии и фольклора. Вместо исчезнувших секторов а) и б) «при Институте организуется Комиссия, объединяющая работу всех Секторов в области историографии и библиографии»⁶⁷, текстология как особая отрасль из нового перечня выпала. Окончательно Положение об Институте славяноведения было утверждено на Общем собрании АН СССР 28 апреля⁶⁸. Таким образом, структура Института была окончательно определена, поэтому источником информации о ней не следует считать статью Державина и Кораблева, появившуюся в начале 1932 г.⁶⁹

Дальнейшие события, связанные с организацией Института славяноведения и началом его деятельности, относятся к осени 1931 г. Нет необходимости подробно останавливаться на характеристике деятельности этого учреждения за весь период его существования, его печатной продукции, появившейся в двух томах его трудов. Эта работа была начата К. И. Логачевым⁷⁰, продолжена и на новом уровне выполнена в монографии Е. П. Аксеновой⁷¹. Тем не менее в истории Института славяноведения остались вопросы, требующие

ответа, а некоторые положения указанных исследований нуждаются в уточнении и пересмотре.

Уже на первых заседаниях 27 и 29 сентября Державин продемонстрировал, что Институт строго придерживается современных идеологических установок. Предлагалось не просто «организовать учет славистов Сов[етского] Союза», к сотрудничеству с Институтом следовало привлекать только «тех из них, которые порвали со старым славянофильством и перешли на позиции материалистической науки»⁷². Выдвинутое положение переводило критерий отбора коллег по работе из области науки в область политики и идеологии, ибо под «материалистической наукой» понималась не только приверженность соответствующей методологии. В оглашенном Державиным перспективном плане работ Института отмечалось, что в него «в качестве специальной проблемы должна войти критика на базе марксизма современного славянофильства и панславизма и проработка совр[еменных] западноевропейских буржуазных славяноведов»⁷³. Планировалось не только не допускать в свой круг методологически чуждых отечественных ученых, но и развернуть с подобными учеными борьбу. Таким образом, не только объявлялось о разрыве с дореволюционным отечественным славяноведением⁷⁴, но и отбрасывались традиции русского академического славяноведения, продолжавшие оставаться его основой до начала 1930-х гг. В плане также провозглашалось: «Основная работа Института должна пойти по линии разработки проблем эпохи промышленного капитализма и империализма»⁷⁵. Таким образом, были декларированы ориентация на изучение актуальных проблем новой и новейшей истории и критика буржуазного славяноведения, на долгие годы ставшая обязательной составляющей советского славяноведения.

Намеченные планы Института⁷⁶ явно страдали гигантоманией. Поэтому, когда Державин представил их 3 октября 1931 г. для обсуждения на заседании ГЯЛ, его покритиковали. Как отмечено в протоколе: «В обсуждении плана приняли участие ак[адемики] В. М. Истрин, В. Н. Перетц, отметившие широту плана сравнительно с штатом И[нститу]та». В итоге Группа постановила план «утвердить; рекомендовать сократить количество намеченных к разработке тем»⁷⁷. Отметим, что Державин представлял план Института, директором которого он был избран официально только на следующий день на заседании ООН⁷⁸. Но это будет уже вторая должность в системе Академии наук, на заседании ГЯЛ 3 октября Державин занимал председательское место, остававшееся свободным после смерти Сакулина.

Но не обсуждение планов Института славяноведения составило основную интригу заседания ГЯЛ. На обсуждение Группы поступил новый проект Марра о преобразовании Яфетического института

в Институт языка и мышления (ИЯМ). Над лингвистическими подразделениями Академии возникла угроза влиться в новое образование. Если 3 апреля в Положении о Яфетическом институте значилось, что в нем должны сосредоточиться только общие «теоретические вопросы языковедения», то в первом же пункте Положения об ИЯМ отмечалось, что Институт «объединяет в себе всю языковедную работу АН». Проект был густо сдобрен марксистской риторикой и отсылками к партийным документам. Приоритетным провозглашалось «изучение методом диалектического материализма и на основе достижений нового учения об языке (яфетидология) истории языка в его неразрывной связи с мышлением», выражалось намерение исследовать практические проблемы языкового строительства, «выдвигаемые потребностями классовой борьбы и социалистического строительства», и ставилась задача «изучения диалектики и движущих сил» развития языков «в связи с развитием обществ[енных] формаций для научного обоснования путей языкового строительства (согласно установки тов. Сталина на XVI съезде)»⁷⁹.

Проект вызвал бурное обсуждение, в котором упоминался и новосозданный Институт славяноведения. Выступавшие академики В. М. Истрин, Б. М. Ляпунов, А. С. Орлов, В. Н. Перетц, претензии ИЯМа оценили отрицательно. Их мнения были суммированы в протоколе из пяти пунктов. Прежде всего подчеркивалась «нежелательность отрыва изучения русского и славянских языков от изучения соответствующей литературы» и «неясность с дальнейшим положением самой Группы „языка и литературы“, от которой одна из ее органических частей — язык — подлежала бы отчленению с переключением ее в проектируемый И[нститу]т языка и мышления». Обращалось особое внимание «на необходимость и с учреждением проектируемого И[нститу]та в отдельных учреждениях Группы иметь дело с изучением языковых проблем (например, в И[нститу]те славяноведения)». В пункте, указывавшем «на трудность для отдельных специалистов-лингвистов включиться в работу И[нститу]та языка и мышления», сквозило явное нежелание лингвистов-славистов попадать в организационном плане в прямую зависимость от марристов. Секретарь ГЯЛ С. П. Обнорский специально остановился на неясности «с положением КРЯЗ в проекте И[нститу]та языка и мышления». Академиком смущала «сложность и неясность организационных форм, в каких могла бы осуществляться необходимая связь с Группой представителей русской и славянской лингвистики»⁸⁰.

Больше всех в курсе дела оказался Державин, который и давал объяснения «по поводу высказанных суждений». В частности, он ознакомил коллег с решениями, принятыми руководством Академии относительно КРЯЗ. «Ее упразднение предрешиено, — отмечается

в протоколе, — постановлением Президиума от 13 июня, определившего передачу Комиссии в ведение Института языка и мышления на правах самостоятельного его отдела»⁸¹. Данное разъяснение стало тяжелым ударом для всех славистов, но, тем не менее, и несмотря на решение академического начальства, ими было предложено на общее обсуждение три резолюции. Первая из них специально обращалась к вопросам славяноведения: «Считать целесообразным сохранение дисциплин русского и славянского языков в ведении Группы, оставив изучение русского языка за КРЯЗ, отнеся изучение славянских языков к задачам И[нститу]та славяноведения». Две другие касались судьбы КРЯЗ, предлагали или «не сливать КРЯЗ с И[нститу]том языка и мышления», либо «согласиться на включение задач по изучению русского языка в функции И[нститу]та языка и мышления». Последнее предложение обставлялось рядом оговорок. В итоге именно оно стало основой принятой резолюции: «Не возражать против учреждения Института языка и мышления при условии, однако, создания в нем единой организационной формы, объединяющей все работы по русскому языку, а также обеспечения необходимого для прочих дисциплин Группы контакта с нею»⁸².

Решение о сосредоточении в ИЯМе всех исследований в области языкознания могло привести к формальной ликвидации исследований в области славянских языков, заявленных в планах и структурно закрепленных в Институте славяноведения. Однако соответствующее подразделение продолжало существовать в Институте до его закрытия. При этом, несмотря на то, что согласно окончательно утвержденной структуре «язык» переместился в соответствующем секторе на первое место (в первоначальном проекте название — «Сектор истории литератур и языков», в окончательном — «Сектор языков и литератур»), практически никакой работы в области славянского языкознания в Институте не велось. Специально обсуждавшийся на заседании Инслава 18 ноября 1931 г. вопрос о приглашении к сотрудничеству двух ведущих лингвистов-славистов А. М. Селищева и Г. А. Ильинского закончился принятием решения «воздержаться» от их приглашения⁸³. Заменить их оказалось некем, поэтому на заседаниях Института за всю историю его существования не было прочитано ни одного доклада по проблематике славянской филологии.

В планах института «язык» продолжал присутствовать, но только в соответствующем обрамлении. В плане «работы Инслава на вторую пятилетку (1933—1937)» тема была сформулирована следующим образом: «Отражение классово-борьбы в художественной литературе, языке, массовом рабоче-крестьянском быту и в устном творчестве славянских <...> народов»⁸⁴. Можно отметить лишь индивидуальный «пятилетний» план Ляпунова, основным местом работы

которого был, кстати, ИЯМ. В разделе плана ученого «общая тема» значилось: «собираание материалов для словаря староболгарского, древнерусского и современных славянских языков по рукописям и печатным изданиям». А в качестве «частной» темы: «Морфологические исследования славянских языков в освещении классовой диалектологии». Последняя тема была конкретизирована в плане работ 1933 г.: «Пересмотр вопроса о местоименных формах *tebě/tobě, sebě/sobě* в восточнославянских языках в освещении классовой диалектологии»⁸⁵. Возможно, что такое положение с лингвистической проблематикой в Инславе сложилось не только из-за марристских убеждений его директора, но и ввиду попыток сосредоточить языковедческую проблематику в Институте языка и мышления.

Державин, выступая с докладами и статьями, отвечавшими идеологическим установкам партии и носившими такие многозначительные названия, как, например, «От филологического формализма к марксистско-ленинской методологии славяноведения», тем не менее, прекрасно сознавал, что без привлечения видных ученых-славистов его Институт в рамках Академии наук будет выглядеть несерьезно. Уже на упоминавшемся заседании Инслава 18 ноября 1931 г. рассматривались возможные кандидатуры для сотрудничества. Решение было компромиссным: наряду с отказом от контактов с Селищевым и Ильинским было постановлено «озаботиться привлечением к сотрудничеству» Ляпунова и Сперанского⁸⁶. Но еще до данного постановления началось активное сотрудничество. Так, первый собственно научный доклад в Инславе «Украинский перевод жития князя Вячеслава Чешского» прочитал 14 октября 1931 г. Перетц⁸⁷. Сперанский писал Державину 20 октября: «Поздравляю с началом хорошего дела — заседаний Слав[янского] Инст[итута]. Вам, вероятно, передал Влад[имир] Ник[олаевич] Перетц мою тему для плана в качестве материала для будущих работ по его составлению: я его об этом просил». Темы, предложенные Сперанским, не выходили за рамки классического славяноведения. «Часть моей темы, — писал ученый, — взаимоотношения за XIII [в.] — кончая половиной XVI [в.] — мною закончена и переписана для печати (всего по моему подсчету листа на 3—4 она состоит из ряда отдельных очерков, из которых любой можно превратить в доклад на одном из заседаний Слав[янского] Инст[итута]»⁸⁸. А в протоколе № 8 от 14 ноября того же года отмечалось: «Поручить Н. С. Державину снести с акад. Грушевским по вопросам о его сотрудниках и о порядке их приглашения, а равно указать ак[адемику] Грушевскому, что его личные темы для Инслава приемлемы»⁸⁹.

Информация о создании нового славистического Института, основанного в системе Академии наук, вскоре стала достоянием и зарубежных славистов. Ляпунов не преминул написать об этом

события и ученику М. Фасмера, К. Менгесу. Молодой немецкий славист пользовался в период своего пребывания в СССР в 1928—1929 г. вниманием и содействием в своих научных занятиях таких видных отечественных славистов, как Ильинский и Ляпунов. Ответное письмо Менгеса Ляпунову от 28 октября 1931 г. свидетельствует, с одной стороны, о том, что работы Державина были мало известны в среде зарубежных славистов-филологов. Так, Менгес писал: «Я очень рад узнать из Вашей открытки, что у вас в Ленинграде основан Институт по славяноведению. Есть ли академик Державин славист? Я уж о нем когда-то слыхал, но не знаю, какой он специальности. В Институте только исследовывают (так!) или и преподают?»⁹⁰. В то же время открытие нового научного Института производило сильное впечатление, вызывая даже чувство зависти. «У нас здесь в Германии, — сетовал Менгес, — такое дело не было бы возможно потому, что деньги имеются для разных других вещей, но не для науки. Вообще перспективы для нас всех — во-первых, молодежи — очень плохие. У нас нарастает как раз в этом кризисе (так!), которого здесь еще не видели никогда»⁹¹.

Штат сотрудников Инслава, кроме самого Державина и В. Н. Кораблева, состоял по преимуществу из молодых и начинающих ученых. Державин же не только вынашивал грандиозные планы научных работ, но и предполагал развернуть серьезную издательскую работу. В Протоколе № 2 заседаний Инслава от 28 сентября 1931 г. отмечалось, что Институт будет издавать «Труды» объемом 60 печатных листов и «Вестники» — по 20 листов, а «материалы печатать на всех европейских языках и, прежде всего, на славянских»⁹². Поэтому путь сотрудничества со старыми кадрами славистов, обеспечивавшими высокий научный уровень предоставляемых исследований, для Державина был очевиден. Но некоторые молодые его коллеги видели принцип формирования проблематики «Трудов» Инслава иначе. Так, Д. Д. Димитров, выступая 10 октября 1932 г. на обсуждение отчета Инслава за первый год работы, отмечал среди недостатков: «В „Трудах“ Института, заключающих много ценного, все же боевая современность (политика и экономика) не нашла себе отражения»⁹³, на что ему достаточно жестко ответил Державин: «Текущие (боевые) политические моменты не входят ни в круг задач и работы академических учреждений, ни в компетенцию Инслава»⁹⁴. Державин, сам не чуждый ярко выраженных политических пристрастий, все же, как нам думается, понимал, что чрезмерная актуализация научной проблематики может привести только к потере качества научных исследований. Но критика, по всей вероятности, его задела. Мы полагаем, что для Державина подобные упреки были достаточно неожиданны, и на будущее, стремясь обезопасить себя от обвинений в забвении остро актуальной современности, он решил за счет

экономической проблематики расширить пятилетний план 1933–1937 гг. Предполагалось заняться изучением «хозяйства современной Польши и промышленности Чехословакии»⁹⁵. Но решение академической Комиссии под председательством Волгина, рассматривавшей, в частности, и этот план, «без объяснений предписывало снять из плана Инслава „темы, связанные с современной экономикой и политикой славянских стран“»⁹⁶. По-видимому, руководство Академии наук придерживалось той же позиции, что и сам Державин в его ответе на критику Димитрова.

Державин, привлекая в «Труды» работы известных славистов, стремился таким образом обеспечить не только высокий научный уровень состава первого тома «Трудов» Института, но и оперативность его составления. Он воспользовался уже готовыми статьями, предложенными ранее в несостоявшиеся по разным причинам издания. Таковой была работа Е. Ю. Перфецкого о чешском и польском летописании, принятая при поддержке Лаврова в «Известия Академии наук» еще в 1928 г., а затем переданная в так и не вышедшие «Труды» Славянской комиссии⁹⁷.

Очень показательна в этом же отношении и история с публикацией в «Трудах» Инслава статьи Сперанского «Неизвестный византийский флорилегий в старом славянском переводе». Впервые Сперанский доложил свою статью, носившую первоначально название «Неизвестный византийский флорилегий в старославянском переводе» на заседании Отделения гуманитарных наук еще 29 сентября 1929 г. Тогда же было постановлено поместить ее в «Известия» Отделения гуманитарных наук⁹⁸. Прошло ровно два года, и Сперанский озаботился судьбой нескольких своих работ, сданных в печать, и, в частности, и этой статьи. Он обратился к Державину 26 сентября 1931 г.: «...будьте добры справиться, нашлась ли в Издательстве А[кадемии] н[аук] моя статья о М. Маяре, о которой мы с Вами говорили во время московской сессии? Она была сдана покойному Лаврову для предполагавшегося сборника по славяноведению. Вы хотели ее иметь в виду для нового издания Института славяноведения. Кстати, нельзя ли вынуть оттуда и еще одну мою статью — о болгарском флорилегии и его греческом оригинале, которую я в свое время передал Жебелеву для книжки Виз[антийского] Временника (последней, не состоявшейся). <...> Статья также, может быть, годилась бы для издания Института»⁹⁹.

Сперанскому удалось узнать, какова была дальнейшая судьба его статьи после закрытия «Византийского временника». Он вновь обратился к Державину 8 октября с большим письмом. В частности, Сперанский отмечал: «Одновременно с этим письмом пишу Н. К. Никольскому относительно своей статьи о болгарском флорилегии с просьбой вручить ее Вам: поэтому можете непосредственно

обратиться к нему»¹⁰⁰. А Никольскому Сперанский писал следующее: «Наводя справки о своих статьях, сданных в издательство А[кадемии] н[аук], я получил известие о том, что моя статья о болгарском флорилегии и его византийском оригинале, давно переданная для Виз[антийского] Врем[енника], передана издательством в распоряжение КДЛ, т. е. в Ваше. Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой передать статью Н. С. Державину для 1-го тома „Трудов“ Слав[янского] Института: он просит ее и, по моему мнению, основательно: статья касается болгарской лит[ерату]ры и более подходит для „Трудов“ Слав[янского] Инст[итута], нежели КДЛ»¹⁰¹.

Следует отметить, что Сперанский все-таки сомневался в пригодности своей статьи о флорилегии для изданий Инслава. Он делился своими размышлениями с Державиным: «По поводу печатания этих статей мне приходит в голову такое соображение: нельзя ли устроить в Издательстве такого рода мену: статью о флорилегии поместить в № 8 Известий ООН (куда, по Вашим словам в письме, предназначена статья о Маяре), а статью о Маяре в „Труды“ Слав[янского] Инст[итута]? Это соображение возникло у меня ввиду следующего: во-первых, как будто не совсем ловко помещать в первом томе «Трудов» две статьи одного и того же автора (будто у нас не хватает людей); а, выбирая из двух статей одну, я бы для трудов предпочел статью о Маяре *, как относящуюся к истории XIX в. и этнографии славянской этого времени (а ведь этнография входит в программу Института), тогда как статья о флорилегии касается XII–XIII вв. и очень специального вопроса по истории литературы. Кроме того, думаю, статья о флорилегии более тяжеловесна, нежели о Маяре: в ней и старый болгарский текст; и довольно большой греческий, и она сойдет в Известиях легче среди разных восточных и лингвистических статей, помещенных в них. Объем же статьи о флорилегии не превысит предельного в Известиях»¹⁰².

Ученый высказывал пожелание, свойственное всем пишущим: «...лишь бы статьи были напечатаны, а то они больно уж залежались». А далее Сперанский, возможно, и неумышленно, сделал предположение, на наш взгляд, решившее вопрос о ее публикации именно в «Трудах» Инслава. Он писал: «В крайнем случае, я мог бы статью о флорилегии попытаться пристроить в Праге, оттуда Вейнгарт давно просит статей для его журнала, куда эта статья вполне подойдет»¹⁰³. Не успел ученый сделать такое предположение, как возникло очередное обстоятельство, казалось бы, препятствовавшее публикации статьи в «Трудах» Инслава. Так, Сперанский сообщал

* Статья о М. Маяре в «Трудах» Инслава напечатана не была, не удалось ее обнаружить и в библиографии трудов Сперанского, составленной В. Д. Кузьминой.

Никольскому 9 октября: «Только вчера утром отправил Вам письмо с просьбой уступить для „Трудов“ новосозданного Слав[янского] Института статью о флорилегии, как вчера же вечером получил набор статьи из Издательства А[кадемии] н[аук] с пометой, что она предназначена в КДЛ. Таким образом, моя просьба уступить статью Слав[янскому] Институту, по крайней мере, с моей стороны отпадает. Одновременно я уведомляю об этом и Н. С. Державина»¹⁰⁴. Однако написал Сперанский Державину не сразу, а только 20 октября. «Что касается статей о флорилегии и о Маяре, — сообщал ученый, — то дело обстоит так: 1) я получил, прочел и отправил в Издательство АН на днях корректур обеих; 2) статья о флорилегии, судя по подписи на конверте, предназначена для Известий ООН; 3) стало быть, Маяр может пойти к Вам. Настаивайте на этом и от моего имени»¹⁰⁵. Но перспектива того, что статья Сперанского останется в Известиях Отделения общественных наук и тем более может уйти в журнал «Slavia», явно не устраивала Державина, и она была определена в «Труды».

Отвергнутые Державиным слависты-лингвисты были в курсе подготовки издания первого тома «Трудов» института. Так, Ильинский, очень тяжело переживавший в это время гонение на его «Православянскую грамматику» за ее якобы немарксизм, отмечал в письме Ляпунову от 23 декабря 1931 г.: «Державин, которому нельзя отказать в недостатке сочувствия к официальным доктринам, печатает в 1 т. Трудов Слав[янского] Ин[ститу]та три статьи Сперанского, в которых Вы напрасно стали бы искать даже со свечой марксистских или ленинских идей»¹⁰⁶. Для нас в данном случае интересно то, что Ильинский отметил перспективу появления в «Трудах» Инслава статей, не соответствующих методологическим взглядам Державина. Вероятно, Ильинский еще не был знаком с содержанием программного выступления Державина на первом открытом заседании Инслава 16 ноября 1931 г.: «От филологического формализма к марксистско-ленинской методологии славяноведения»¹⁰⁷. Доклад был опубликован в конце того же года в «Вестнике Академии наук»¹⁰⁸. Те же положения Державин высказывал и в статье, открывавшей первый том «Трудов» Института¹⁰⁹. К лету следующего года Ильинский уже вполне представлял содержание этой статьи еще не опубликованного к тому времени тома. Он совершенно верно охарактеризовал ее в письме Попруженко от 26 июня 1932 г.: «У нас в скором времени выйдет 1 т[ом] Трудов Института славяноведения при Всесоюзной академии наук. В вводной статье Державин доказывает, что старая славистика умерла вместе с Ягичем; теперь же наступает новая эра марксистского славяноведения»¹¹⁰. И при таком определении Державиным современного славяноведения в том же томе была напечатана не только статья Сперанского, но и работы Перетца

и Грушевского, которые, кстати, Ильинский называл в письмах Попруженко «вполне научными и вполне приличными»¹¹¹.

Судя по письмам Сперанского, ученый встретил новую возможность для публикаций своих статей с энтузиазмом. Уже второго декабря 1931 г. он сообщал Державину еще о двух работах: «Посылаю Вам для Трудов Слав[янского] Инст[итута] письмо Караджича, о котором я с Вами говорил на сессии: если годится, возьмите; если — нет, то бросьте. Передал я для тех же трудов Вам перед заседанием группы и свой очерк взаимоотношений русской и славянских литератур. Но Вы его забыли на одном из столов Словарной комиссии: он находится у С. П. Обнорского; которого я просил Вам передать рукопись, буде Вы ее хватитесь»¹¹². О том, что статьи приняты в «Труды», Ильинский сообщал Попруженко 27 марта 1932 г. вместе с известием о появлении новой славистической институции: «...славистика получила в Ленинграде новый центр в виде открытого при Академии наук Института славяноведения, возглавляемого новым ак[адемиком] Державиным. В первом томе его трудов, между прочим, будут помещены интересные статьи М. Н. Сперанского о влиянии русской письменности на южнославянскую»¹¹³. Именно эти «три статьи» и имел в виду Ильинский в письме Ляпунову в декабре 1931 г. Но и публикация письма В. Караджича и статья, получившая название «К вопросу о русском влиянии в сербской литературе XVIII в.», были отложены и появились уже во втором, последнем томе «Трудов» Инслава.

Проблем с публикацией работ по «неактуальной» проблематике славянской филологии становилось все больше. Ильинский, сетуя в письме Попруженко 4 февраля 1932 г., на проблему с реализацией уже готовых работ — «издавать их делается все труднее», отмечал: «Державин, правда, весной выпустит 1 т[ом] трудов Института славяноведения, но лингвистика и филология там будут на последнем месте: ни я, ни Селищев даже не получили приглашения принять в нем участие»¹¹⁴. В последних словах ученого можно видеть даже некоторое сожаление об упущенной возможности публикации. Надо отметить выдающуюся оперативность, проявленную Державиным при подготовке и издании первого тома «Трудов» Института. В отчете Инслава за сентябрь — декабрь 1931 г. уже было зафиксировано: «Подготовлен к печати первый том „Трудов Института Славяноведения“»¹¹⁵. Том, составивший при публикации более 500 страниц, фактически был собран всего за три месяца и вышел из печати летом следующего, 1932 г. Но и такая скорость издания казалась авторам недостаточной. Так, 28 апреля 1932 г. Сперанский писал Державину: «Жду с нетерпением, хотя и без надежды, 1-го мая, которое по обещанию Издательства Академии и Вашим словам, должно, между прочим, быть отмечено выходом первого выпуска Трудов Института

Славяноведения. Корректуры своей не получил, почему заключаю, что или до выхода книги фактически еще далеко, либо моя статья не удостоилась попасть в первую книгу по причинам, меня не касающимся. Ну, да к таким неожиданностям и случайностям нам не привыкать»¹¹⁶.

Статья Сперанского о византийском флорилегии благополучно увидела свет, но с очень существенным, хотя внешне и незаметным изменением в заглавии. Вместо сочетания «в старославянском переводе» стало «в старом славянском переводе», исчезло определение языка перевода, оно было заменено простым указанием на хронологию. Это изменение отнюдь не было случайным. В таком уточнении проявились прежде всего марристские методологические вкусы Державина, а также проболгарская позиция в определении языка Кирилла и Мефодия. В том же томе «Трудов» он поместил рецензию на две статьи болгарского ученого Ст. Младенова, опубликованные в 1930 и 1931 гг. в журнале «Родна речь». Державин не стеснялся в выражениях, критикуя не понравившиеся ему положения Младенова. Вначале он обрушился на общепринятое положение об едином предшественнике восточнославянских языков: «А вот еще одно из младеновских откровений: „прарусским языком, — говорит он, — называется тот, не сохранившийся ни в каком письменном памятнике славянский диалект или язык, от которого произошли три нынешние русские языка или наречия — великорусский, белорусский и малорусский или украинский“. Очень жаль, конечно, что это своеобразное лингвистическое явление — младеновский „прарусский язык“, плод фантазии старой науки, воспитанной в традициях насильнического великодержавного шовинизма, „не сохранился ни в каком письменном памятнике“. И очень хорошо, впрочем, что не сохранился, потому что, если бы только он сохранился, тогда, несомненно, от украинцев и белорусов не сохранилось бы сейчас и мокрого места...»¹¹⁷.

Далее Державин вполне солидаризировался с определением Младеновым языка первоучителей славянских, но при этом вновь возвращался к общетеоретическим положениям: «...язык Кирилла и Мефодия должен называться, как думает Ст. Младенов, „древнеили староболгарским“, а не „старославянским“, какого никогда и нигде, конечно, не существовало и не существует, как, к сведению проф. Младенова, никогда и нигде не существовало и не существует и фантастического „прарусского“ языка в его понимании: подлинная наука давно уже и очень далеко ушла от всяких „праязыков“»¹¹⁸. Столь резкие и революционные высказывания Державина вызвали не менее эмоциональную реакцию у славистов, приверженцев академических традиций.

Ильинский писал Ляпунову 31 августа 1932 г.: «Последний (Сперанский. — М. Р.) одолжил мне на днях 1 том Трудов Инслава. Впечатление от него невеселое. Это — бочка, в которой немногие ложки меду тонут в массе дегтя, которым пачкаются имена не только отдельных почтенных ученых, как Младенов, но и целых учреждений, как Пражского Славянского Института; не обошлось там и без инсинуаций; вроде, например, изречения редактора, что, если бы от прарусского языка сохранились памятники, то от белорусов и украинцев не осталось бы даже мокренького. <...> Вообще безобразное впечатление производит самый стиль редактора, может быть, подходящий для газетного листка, но недопустимый в органе научного учреждения. В общем помещенные в сборнике статьи представляют концерт довольно какофонический, и я радуюсь, что моя скромная скрипка там не участвует»¹¹⁹. Теперь у ученого не осталось сожалений о том, что его не пригласили в это издание.

Но, как было отмечено ранее, Ильинский признавал достоинства целого ряда статей. А статьи академиков Перетца, Сперанского и жившего в Москве под надзором органов безопасности Грушевского, а также эмигранта Перфецкого составили ровно половину объема отдела «Статьи и исследования» (4 статьи из 11) первого тома «Трудов» Института славяноведения. Кстати, материалы представленные приверженцами традиционного славяноведения, к которому с некоторыми оговорками можно отнести и Грушевского, составили половину объема и всего тома. Возможно, именно поэтому первый том и оказался удачнее второго. Как отмечали исследователи, «по сравнению с первым томом во втором резко сократился объем главного раздела», в нем было всего пять статей, в итоге этот раздел оказался «беднее и бледнее»¹²⁰, и «в целом второй том производит гораздо более скромное впечатление, чем первый»¹²¹. Но совершенно очевидно, что первый том «Трудов» Инслава с точки зрения и традиционного, и нового «марксистского» славяноведения носил по составу компромиссный характер. И мы полагаем, что это было удачей для славяноведения в целом.

Ученым-славистам, продолжателям традиций Отделения русского языка и словесности, так и не удалось, несмотря на многочисленные попытки создать Институт славяноведения, отвечавший их идеалам. Период разработки проектов гуманитарных институтов в рамках Академии наук пришелся на время ее подведения под полный государственный контроль. Организация институтов уже полностью зависела от комьячейки в составе Академии, находившейся в постоянном контакте с государственными властями. Во главе Института славяноведения был поставлен Державин, ученый, не имевший серьезной научной репутации среди элиты отечественного славяноведения. Уже при откровенном диктате внутри Академии таких

фигур, как Марр, чьим ревностным сторонником и провозглашал себя, и был Державин, академиком-славистам, и прежде всего Карскому, удавалось некоторое время отклонять его кандидатуру на выборах в Академию наук. Марр старался провести своего протеже в академики еще на знаменитых выборах 1929 г., радикально изменивших лицо Академии. Но как только это избрание в начале 1931 г. совершилось, вопрос о создании Инслава на новых, «марксистских» основах решился практически сразу.

Провозглашавшиеся Державиным «научные» принципы могли только отталкивать от сотрудничества с ним любого приверженца академических традиций. Тем не менее Державин, человек, безусловно ощущавший себя славяноведом, кроме личных амбиций, искренне стремился к развитию этой области знания. Поэтому в практической деятельности он был готов к некоторым компромиссам. К осени 1933 г. изменилось отношение даже относительно отвергнутого в 1931 г. Селищева. Встал вопрос о его приглашении в Инслав, решенный положительно к концу года. Но перебраться из Москвы в Ленинград Селищев не успел, в начале февраля 1934 г. он был арестован.

Привлеченные Державиным к сотрудничеству ученые были крайне далеки от методов идеологизированной науки, поэтому он не навязывал им «актуальной» проблематики. Готовыми к разумному компромиссу оказались такие академики-слависты, как Перетц, Сперанский, Ляпунов. Сотрудничество с Инславом давало им возможность публиковать свои работы, выступать с докладами на заседаниях, выезжать в командировки от Института, включать в планы Института не только свои работы, но и работы своих учеников. И Перетц, и Ляпунов активно пользовались предоставленными возможностями, а Сперанский, живший в Москве, даже посылал свои доклады для прочтения на заседаниях Института. В сложившихся в советской науке того времени условиях такая деятельность позволяла поддерживать традиции академического славяноведения в рамках Института, организованного с целью искоренения тех самых традиций. Поэтому даже только с этой точки зрения создание Института славяноведения было делом, безусловно, положительным.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ О ликвидации ОРЯС см.: Робинсон М. А. Отделение русского языка и словесности в период реформирования Академии наук (1920-е годы): взгляд изнутри // Славянский альманах 2001. М., 2002. С. 234–262.
- ² С.-Петербургский филиал архива РАН (далее — ПФА РАН). Ф. 172. Оп. 1. Д. 226. Л. 146 об.

- 3 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1929. Д. 253. Л. 23.
- 4 Там же. Л. 23 об.
- 5 Там же. Л. 62.
- 6 Там же.
- 7 Там же.
- 8 Там же. Л. 56.
- 9 Там же. Л. 64.
- 10 Там же. Л. 65.
- 11 Там же. Л. 65 об.
- 12 Там же. Л. 66.
- 13 Там же. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 7.
- 14 Там же.
- 15 Там же. Л. 2.
- 16 Там же. Л. 16.
- 17 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 1922–1952. М., 2000. С. 57, 59–60.
- 18 Там же. С. 62.
- 19 Там же. С. 75, 76.
- 20 Там же. С. 79, 80.
- 21 Академия наук СССР. Краткий исторический очерк. М., 1974. С. 286.
- 22 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 81.
- 23 Там же. С. 92.
- 24 Там же. С. 91.
- 25 Академия наук СССР... С. 289.
- 26 Там же. С. 287.
- 27 ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 34.
- 28 Там же. Л. 41–41 об.
- 29 Там же. Л. 46.
- 30 Там же. Л. 47.
- 31 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1929. Д. 253. Л. 23 об.
- 32 Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)... С. 81.
- 33 Там же. С. 84.
- 34 ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 47–47 об.
- 35 Там же. Л. 44 об.
- 36 Там же. Л. 57.
- 37 Там же.
- 38 Там же. Л. 54.
- 39 Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 271–271 об.
- 40 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1930. Д. 256. Л. 83 об.
- 41 Там же. Л. 84.

- 42 РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Д. 238. Л. 36 об.
- 43 ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 301.
- 44 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 4 об.
- 45 *Логачев К. И.* Советское славяноведение до середины 30-х годов // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 99–100.
- 46 *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения 1930-е годы. М., 2000. С. 65.
- 47 ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 19.
- 48 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
- 49 Там же.
- 50 *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения... С. 66.
- 51 ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 3. Д. 37. Л. 37.
- 52 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
- 53 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 22.
- 54 Там же. Л. 23.
- 55 Там же. Л. 18 об.
- 56 Академия наук СССР... С. 286.
- 57 *Гладышев А. В.* Вячеслав Петрович Волгин (1879–1961) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4. Новая и новейшая история. М., 2004. С. 82.
- 58 ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 1. Л. 1
- 59 Там же. Л. 2.
- 60 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 35 об.
- 61 Там же. Л. 35 об.
- 62 Там же. Л. 59.
- 63 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
- 64 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 59.
- 65 Там же. Л. 60.
- 66 Там же. Л. 59.
- 67 Там же.
- 68 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.
- 69 См.: *Логачев К. И.* Первый этап развития советского славяноведения. (Славистические учреждения Академии наук в 1917–1934 гг.). Дис... канд. ист. наук. М., 1979. С. 96.
- 70 Там же. С. 96–166. Гл. IV. Институт славяноведения (1931–1934 гг.)
- 71 *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения... С. 59–90. Очерк 4. Институт славяноведения АН СССР.
- 72 ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 1.
- 73 Там же. Л. 4 об.
- 74 *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения... С. 69.
- 75 ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.

- 76 См.: Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 67.
- 77 ПФА РАН. Ф. 1. Оп. 1 — 1931. Д. 259. Л. 80.
- 78 Там же. Л. 75.
- 79 Там же. Л. 95.
- 80 Там же. Л. 79.
- 81 Там же. Л. 79–80.
- 82 Там же. Л. 80.
- 83 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 17 об.
- 84 Там же. Д. 22. Л. 8.
- 85 Там же. Л. 40.
- 86 Там же. Д. 7. Л. 17 об.
- 87 Там же. Л. 6.
- 88 Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 5.
- 89 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 12.
- 90 Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 204. Л. 11.
- 91 Там же. Л. 11 об.
- 92 Там же. Ф. 220. Оп. 1. Д. 7. Л. 4.
- 93 Там же. Д. 15. Л. 61.
- 94 Там же. Л. 63.
- 95 Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 68.
- 96 Там же.
- 97 ПФА РАН. Ф. 284. Оп. 3. Д. 147. Л. 1, 5, 6.
- 98 Там же. Ф. 1. Оп. 1 — 1929. Д. 253. Л. 44.
- 99 Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 3 об.
- 100 Там же. Л. 4.
- 101 Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 662. Л. 46.
- 102 Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 4–4 об.
- 103 Там же. Л. 4 об.
- 104 Там же. Ф. 247. Оп. 3. Д. 662. Л. 45.
- 105 Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 5–5 об.
- 106 Там же. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 334.
- 107 Там же. Ф. 220, Оп. 1. Д. 7. Л. 14.
- 108 О содержании доклада подробнее см.: Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 23.
- 109 См.: Там же. С. 77–78.
- 110 Българо-руски научни връзки XIX–XX век. Документи. София, 1968. С. 173.
- 111 Там же. С. 175.
- 112 ПФА РАН. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 7.
- 113 Българо-руски научни връзки... С. 170.

¹¹⁴ Там же. С. 168.

¹¹⁵ ПФА РАН. Ф. 220. Оп. 1. Д. 5. Л. 3.

¹¹⁶ Там же. Ф. 827. Оп. 4. Д. 516. Л. 11–11 об.

¹¹⁷ Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Т. 1. Л. 1932. С. 450.

¹¹⁸ Там же.

¹¹⁹ ПФА РАН. Ф. 752. Оп. 2. Д. 117. Л. 361.

¹²⁰ Аксенова Е. П. Очерки истории отечественного славяноведения... С. 83.

¹²¹ Там же. С. 85.

Проблема возрождения российской славистики перед Второй мировой войной в отечественной историографии

После Октябрьской революции некогда процветающая отрасль отечественной науки — славяноведение — подверглась гонениям и остракизму со стороны властей и нового научного сообщества прежде всего в идеологическом отношении, ибо не соответствовала классовым канонам пролетарского интернационализма и постепенно уничтожалась как в научно-организационном плане (ликвидация академических структур, закрытие университетских кафедр и пр.), так и в отношении своего кадрового состава (голод, репрессии, переквалификация, эмиграция).

После закрытия в 1934 г. Института славяноведения АН СССР в Ленинграде, возглавлявшегося академиком Н. С. Державиным, началось мрачное пятилетие, когда эта наука в СССР фактически перестала существовать.

Угроза и начало Второй мировой войны в 1939 г., вызвавшие настроения великодержавного патриотизма, убедили советское руководство в необходимости возрождения этой научной дисциплины в СССР прежде всего в ее исторической части, которая в наибольшей мере могла обеспечить идеологические цели внешней политики и приоритеты внутренней пропаганды, чем скомпрометированная в глазах советской общественности стараниями марристов славянская филология. Поэтому одновременно с идейным разгромом сугубо «классовой» школы М. Н. Покровского увенчались успехом усилия ведущих историков-славистов по реабилитации исторического славяноведения. Ярким свидетельством чего стала организация в 1939 г. Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР (25 февраля) и кафедры истории южных и западных славян на историческом факультете МГУ (11 мая) во главе с членом-корреспондентом АН СССР В. И. Пичетой.

Лидеры отечественного славяноведения прекрасно сознавали, что успешная работа в этой области знания невозможна без создания положительного образа данной дисциплины в глазах политизированной советской общественности. Этой цели добивались всеми силами и средствами, с использованием арсенала господствующей идеологии: поначалу путем громкого отмежевания от наследия «реакционной», пропитанной «панславизмом» дореволюционной славистики. В этом плане проблема возрождения этой дисциплины

долгое время прямо не ставилась, а стыдливо скрывалась за постулатом о необходимости усвоения марксистской идеологии, полностью обновленной наукой, начинающей свое поприще по существу на голом месте.

Первой по времени работой историографического плана был неопубликованный в то время очерк известного слависта, специалиста по истории Сербии Ю. В. Готье (1878–1943) «Славяноведение в России и СССР», написанный в конце 1930-х гг. предположительно для БСЭ, материалы которого использовались позднее В. И. Пичетой¹. Автор представил определенную концепцию развития историко-славистических исследований в дореволюционной России. Как представитель «старой школы» в науке, хотя и ставший адептом советской власти, он вынужден был признать, что «русское славяноведение успело выполнить достаточно большую работу, накопить большой материал и занять прочное место в области европейского славяноведения»². Однако он упрекнул дореволюционных славистов в предпочтительном изучении проблем славянской филологии и в то же время в неравномерном и недостаточном изучении истории славянских народов, в приверженности к славянофильству, неославизму и «интригам панславизма», чем отличалась, по его мнению, школа В. И. Ламанского. Чтобы избежать упрека в том, что именно *в результате* (здесь и далее выделено нами. — М. Ю.) Октябрьской революции славистические исследования в России значительно ослабли, Ю. В. Готье должен был написать, что уже *ко времени* революции «кадры русских славистов поредели, а новых кадров почти не было». Но все же он признал, что «кое-кто из оставшихся *исчез* в эмиграции»³, как бы закрывая вопрос о возможности плодотворного продолжения славистической работы эмигрантов за рубежом.

О возрождении российского славяноведения в конце 1930-х гг. Ю. В. Готье впрямую не писал. Он только констатировал, что «занятая строительством нового социалистического мира, нарождающаяся советская наука в первые годы мало интересовалась славяноведением», обойдя, таким образом, вопрос о дискредитации славистики и её кадровых потерях в годы репрессий. Но по стилю изложения следовало, что сейчас (в конце 30-х гг.) славяноведение переживает новый этап развития, и перед ним встают новые задачи: «В настоящее время советской науке предстоит пересмотреть то наследство, которое оставила ей буржуазная эпоха, оно очень значительно по линии отдельных славянских народов и отдельных лингвистических и исторических вопросов». Примечательно, что Ю. В. Готье не связывал решение этой задачи со старыми кадрами славистов (видимо потому, что их оставались единицы и, возможно, признавая их неспособность к переквалификации) и поэтому утверждал, что

«затем с новыми кадрами ей придется ставить для изучения новые проблемы и исследовать их на основе марксистско-ленинской методологии»⁴.

Логическим продолжением неопубликованного, но известного в тогдашних научных кругах, очерка Ю. В. Готье стала статья видного чешского историка, политэмигранта З. Р. Неедлы (1878–1962) «К истории славяноведения до XVIII в.», опубликованная в ведущем историческом журнале в 1941 г. Автор критически оценил зарождение и развитие этой науки в Европе и России с древних времен вплоть до эпохи Просвещения. Начал он свою статью с важной для нас преамбулы о современном состоянии славистики в СССР. И снова, не говоря напрямую о возрождении этой дисциплины, З. Р. Неедлы тем не менее пишет о необходимости «обновить» славяноведение, что «является одной из актуальных задач, стоящих перед советской исторической наукой». Важным почином этого «обновления» чешский историк считал создание упомянутых Сектора славяноведения и кафедры истории южных и западных славян. И все же он вынужден был констатировать «полный отказ от изучения истории и культуры славянских народов» в 20–30-е гг. и, более того, справедливо считал такую ситуацию «крупной ошибкой» в истории советской науки. Главным виновником падения славистики он называет академика М. Н. Покровского и его «школу», в 1939–1940 гг. разоблаченных и осужденных в сборниках «Против исторической концепции М. Н. Покровского» (Т. 1. М.; Л., 1939; Т. 2. М., 1940). Он полагал, что причиненный «школой» «вред упрощенчества исторических проблем» привел к «полному отрицанию целой научной дисциплины»⁵. Тем не менее Неедлы усматривал определенные предпосылки для подобных «ошибок» в самой славистике, ее кадровом составе, «в неоспоримой реакционности большинства дореволюционных славистов»⁶, работы которых были проникнуты «идеями панславизма». Этим он как бы оправдывал пренебрежительное отношение к славистике после 1917 г., считая его «вполне основательным». Вину за реакционность славистики он возложил на ориентацию дореволюционных славистов, на «царскую Россию». И далее Неедлы сделал посыл, неоднократно повторенный в советской историографии, что «падение царской России и возникновение СССР» неизбежно должны были «знаменовать и в славистике крупный революционный переворот». На самом деле этого не случилось. Позднейших ученых такая ложная констатация уже не смущала. Но для Неедлы, активно участвовавшего в возрождении славистики, этот факт был более чем очевиден, и в первой опубликованной работе на эту тему, он не сумел его скрыть. Чешский историк не нашел ничего лучшего, чем лукаво обвинить в стагнации славистики межвоенного времени не политику новых властей (что было чревато

негативными для него последствиями), а самих славистов: «Но вместо того, чтобы взять на себя труд осуществить этот переворот в славяноведении и повести славистику по новому пути, советские историки на первых порах просто-напросто забросили эту область».

Выход из сложившейся ситуации и исправлении «неправильного решения» Неедлы с большевистской прямоотой искал в энергичной и упорной работе: «Преодолевать, превозмогать препятствия — таков всегда и во всем единственный и правильный путь Ленина и Сталина». И потому он считал «боевой задачей» советского славяноведения «с ещё большей энергией приниматься за работу, повести ее по марксистскому пути»⁷, преодолевая недостатки консервативной и реакционной «буржуазной» науки⁸.

В статье «Историческая наука у славян и задачи советского славяноведения» (1942) академик Н. С. Державин (1877–1953) продолжил размышления коллег о становлении советского славяноведения. Он отметил «блестящие» исторические труды деятелей славянского национального возрождения, но не распространил это определение на современных зарубежных «буржуазных» ученых (В. Ягич, В. Златарский и др.), обвинив их в использовании «идеалистических и метафизических» методов и «филологическом формализме». Такая преамбула была необходима для того, чтобы ярче очертить задачи историко-славистических исследований в СССР. Н. С. Державин, как и его предшественники, по существу обошел вопрос о возрождении отечественного славяноведения, начав его как бы с «чистого листа». Он признал, что только в последние годы советская историческая наука сделала определенные успехи в изучении славян, что проявилось в создании славистических структур в АН СССР и МГУ. На этом фоне, по мнению академика, «перед советской наукой в области изучения истории славянских народов открываются широчайшие перспективы коренного методологического пересмотра [как] всего огромного наследия буржуазной науки, так и в смысле коренной переработки основных проблем истории славянских народов в соответствии с задачами передовой марксистско-ленинской науки». Державин выдвинул принципиальное положение, многократно повторенное в последующей литературе о принципиальном отличии советской славистики от «буржуазной», которое заключается в том, что советские слависты рассматривают «славянский мир» не изолированно от других народов и не противопоставляют его им. Славяне развиваются по тем же законам и являются равноправными членами «великой общечеловеческой семьи»⁹. (По существу он повторил мнение «буржуазного» ученого А. Н. Пыпина.) Но в то же время, вступая в некоторое противоречие с самим собой, он признавал в годы войны необходимость выделения в науке и политике некоего славянского целого: призывал к объединению славянских

народов, к сплочению их вокруг СССР «в целях самообороны, против наступающего на него кровожадного фашизма», что диктует «советской науке в качестве важнейшей очередной задачи всемерное содействие делу сплочения и укрепления единого международного фронта всех славянских народов для решительной борьбы до полного разгрома и уничтожения гитлеризма!»¹⁰. Далее Державин определил круг актуальных проблем, которыми должна заниматься историческая наука в СССР в области славяноведения: этногенез славян, образование первых славянских государств, гуситское движение, борьба южных славян за свое освобождение от османского ига, славянское национальное возрождение и др. Статья оканчивалась призывом к советским историкам коллективными усилиями поднять непаханную марксистами целину славяноведения, обратив преимущественное внимание на социально-экономические проблемы, классовую борьбу и новейшую историю.

Таким образом, статья Н. С. Державина была построена так, что у читателя создавалось впечатление о плачевном наследстве «буржуазного» славяноведения и о начале «настоящих» славистических исследований только с 1939 г. Что делалось в этой сфере науки с 1917 г. оставалось неясным.

Если статья Державина по существу посвящалась проблеме «от какого наследства мы отказываемся», то очерк В. И. Пичеты и У. А. Шустера (1907–1997) «Славяноведение в СССР за 25 лет» (в сборнике 1942 г. «25 лет исторической науки в СССР»), напротив, имел своей задачей показать достижения советской науки в данной области исторических исследований за последнюю четверть века. Авторы не обошли вниманием развитие исторической славистики в дореволюционный период, тесно связав ее с перипетиями внешней политики России на Балканах, несколько упрощенно считая, что «политические стремления царского правительства на Восток объективно толкали русских славистов к изучению болгар и сербов»¹¹. Это, а также славянофильское мировоззрение большинства дореволюционных славистов, по мнению авторов, во многом объясняло приоритетность исследований истории южных славян по сравнению с западными в тогдашней славистике.

Отрицая вслед за академиком Н. Я. Марром теорию прародинности славян, авторы обвиняли дореволюционных филологов-славистов в том, что те, «противопоставляя славянский мир западноевропейскому», якобы выступали сторонниками «особого пути в историческом развитии славянских народов» и приписывали им стремление «доказать необходимость самодержавия и православия в России как исконных начал славянства». Тем не менее авторы вынуждены были признать, что «дворянское и буржуазное славяноведение оставило после себя ряд работ по отдельным проблемам, связанным

с историей славян», но не теоретического плана, а «работ ценных по своему конкретному материалу»¹².

Отрекшись, таким образом, по существу от наследия дореволюционных историков-славистов, авторы должны были, тем не менее, показать успехи развития данной отрасли науки в советский период, что требовал юбилейный характер издания. Выход из положения они нашли в превознесении всего того, что сделано после 1917 г., невзирая на то, принадлежали ли ученые к «старой школе», овладели ли они в должной степени марксистским методом исследования. Поэтому труд крупного историка-слависта М. К. Любавского, принадлежавшего по методологии к дореволюционной плеяде исследователей, «История западных славян» (М., 1917) справедливо был признан «безусловно выдающимся». Авторы обнаружили в учебнике у Любавского хорошее знание источников и литературы вопроса, некоторое представление о «классах» и «классовой борьбе», признание наличия феодальных отношений в Польше.

Примечательно, что с книги Любавского авторы смело шагнули в 1938 год, не найдя в прошедшем двадцатилетии ничего достойного упоминания, и обратились к учебнику «История средних веков», написанном А. Д. Удальцовым, Е. А. Косминским и В. В. Берешковичем уже с марксистских позиций, не усматривая между ними принципиальных различий. Далее в этом ряду были указаны «Средние века» Н. П. Грацианского (1939. Ч. 1 и 2), глава в готовящейся к печати «Истории СССР» (Т. 1–2), очерки по истории Польши в словаре Гранат (В. И. Пичеты) и БСЭ (М. В. Джервис, У. А. Шустер), глава в «Истории Византии» (М. В. Левченко. 1940) и др.

Таким образом, перед вдумчивым читателем невольно возникала двадцатилетняя пауза в историко-славистических исследованиях в СССР после 1917 г., никак не объясненная авторами, и невольно вставала картина оживления славистических исследований пока в рамках учебных пособий, хотя В. И. Пичета и У. А. Шустер прямо не писали о возрождении отечественного славяноведения.

Авторы вслед за Державиным назвали и осветили особенности марксистского подхода к проблемам, на решении которых сосредоточились советские историки-слависты с конца 1930-х гг., добавив к названному ранее «древнейший социально-экономический быт славян» и славяно-византийские отношения¹³.

Указав также ряд работ военного времени, авторы пришли к оптимистическому заключению, что за последние 25 лет «советские слависты стремились на основе марксистско-ленинской методологии осветить по-новому ряд сложных вопросов, которые касаются истории славянских народов и культурных связей между ними»¹⁴.

Таким образом, развитие советского исторического славяноведения представлялось в названном юбилейном очерке бесконфликтным

триумфальным процессом усвоения новой марксистской методологии, позволяющей достичь новых научных результатов как бы из самой себя, без опоры на предшествующую, полную недостатков «буржуазную» историографию.

К концу Великой Отечественной войны ситуация изменилась. С победоносным наступлением Красной Армии в идеологии была допущена поправка патриотическим настроениям, стало возможно обращаться к дореволюционному научному и культурному наследию. Это заметно в почти идентичных статьях В. И. Пичеты «Академия наук и славяноведение», опубликованных в «Вестнике Академии наук» (1945. № 5–6) и журнале «Славяне» (1945. № 7). Статьи были приурочены к торжественно отмечаемому в СССР 220-летию АН СССР (1945 г., июнь), на которое были при приглашены и многие авторитетные зарубежные ученые.

В статье не было сказано ничего принципиально нового по проблеме возрождения славяноведения в СССР: этот феномен по-прежнему игнорировался и затушевывался. Однако в послевоенной эйфории заметно акцентировался вопрос о преемственности дореволюционной и советской науки: подчеркивалась принципиальная правильность взглядов титана российской науки М. В. Ломоносова, а также И. Н. Болтина на этногенез славян, их автохтонность в Европе, антинорманизм и пр. В. И. Пичета с патриотической гордостью констатировал: «Вместе с университетом Академия наук составляла мощную организацию, разрабатывающую историю славянских народов: русские историки-слависты занимали выдающееся место в мировом славяноведении»¹⁵.

Чтобы завуалировать факты угасания и неравномерности развития историко-славистических исследований в советский период, В. И. Пичета без всяких преамбул писал о вкладе в науку виднейших советских славистов, развернувших свои исследования с конца 1930-х гг. и в период войны — Ю. В. Готье, Н. П. Грацианского, Б. Д. Грекова, Н. С. Державина, Б. А. Рыбакова, М. Н. Тихомирова и др. Он подчеркивал их опору на традиции дореволюционного славяноведения, обогащение их марксистско-ленинской методологией, что привело, по его мнению, к впечатляющим результатам в изучении славянского этногенеза, проблем возникновения славянских государств, изучении русско-славянских политических и культурных связей и пр.

В канун и после широко отмечаемого 30-летия Октябрьской революции снова появился ряд историографических статей (Н. С. Державина, В. И. Пичеты, С. А. Никитина, А. Л. Сидорова), где подводились итоги славистических исследований в СССР. В этот период снова начался постепенный откат к сугубо классовому подходу к историческим явлениям, и подуло ветрами «холодной войны». Статьи

по-прежнему отражали линию тогдашней историографии на игнорирование феномена возрождения славистики в конце 1930-х гг. и представление ее как процесса непрерывного восходящего развития по пути усвоения марксистско-ленинской методологии. При этом академик Н. С. Державин, отдавая теперь должное заслугам дореволюционных ученых и не отождествляя их всех поголовно со славянофилами, панславистами, сторонниками теории официальной народности и народника ми-утопистами, все же продолжал громить на этот раз «левых», обвиняя их в игнорировании классовой борьбы, отрицании развития капитализма в славянских странах и доказательствах того, что «славянские народы должны идти путем, отличным от пути развития остального человечества». Одним из первых он сформулировал положение о том, что после Октябрьской революции «начинается новая эпоха в развитии славяноведения» и что «советское славяноведение *безостановочно* (выделено нами. — М. Д.) движется вперед»¹⁶. Он вынужден был, правда, сделать оговорку, что свои успехи советское славяноведение пока черпает из достижений «в смежных областях науки» (вероятно, имея в виду византиноведение), которые открывают «новые горизонты» славистическим исследованиям. Успешному развитию славяноведения в СССР способствует, по его мнению, овладение методами исторического и диалектического материализма, нашедшее наиболее зримое отражение в «материалистическом учении о языке» академика Н. Я. Марра. Помимо этого марксизм-ленинизм позволяет, по представлению Державина, «осветить самые темные уголки всемирной истории, найти ясные, отчетливые объяснения наиболее запутанным этапам общественного и культурного развития», а также разоблачать «реакционно-идеалистические заблуждения» «буржуазных» предшественников, преодолевать «филологический формализм в интерпретации исторических источников», «фальсификаторские теории» западных и немецких историков¹⁷. Последним положением он предвосхитил надвигающуюся кампанию борьбы с космополитизмом.

Державин, чутко реагирующий на все повороты официальной политики и пропаганды, не мог не внести свою лепту в формирование культа личности Сталина в преддверии его 70-летия. Он с пафосом завершил статью словами: «Обогащая и двигая вперед современное славяноведение, советские ученые вносят ценный вклад в дело великой освободительной борьбы всего славянства и всего передового человечества, борьбы, вдохновленной и руководимой гением великого Сталина»¹⁸.

Работа В. И. Пичеты «Основные проблемы советского славяноведения» (Юбилейный сборник, посвященный 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции. АН СССР. М.; Л., 1947.

Ч. 2. С. 677–690) не содержала ничего принципиально нового по интересующей нас тематике.

В статье С. А. Никитина (1901–1979) «Работы советских ученых в области истории и филологии зарубежных славян» (1948) также не рассматривалось поэтапное развитие советского славяноведения и феномен его подъема в конце 1930-х гг. работ. Автор акцентировал только послевоенный размах славистических исследований, произошедший благодаря массовому открытию славистических кафедр в 32 университетах, 300 пединститутах, подразделений в академических институтах Белоруссии и Украины, Института славяноведения АН СССР в Москве. Автор в духе тогдашних представлений подчеркнул, что рост науки и вся реорганизация стала возможна благодаря Октябрьской революции, явившейся «причиной столь бурного политического роста науки» и вызвавшей «благодетельную ее перестройку на новых началах»¹⁹. Если в отношении подъема престижа науки, особенно в 30–40-е гг. с оговорками в отношении разрушения ее старой ипостаси в 20-е гг., мнение историка можно еще признать справедливым, то «благодетельные» последствия ее порой нецелесообразных преобразований в угоду идеологии более чем сомнительны, тем более что сам автор пережил преследования и ссылку.

С. А. Никитин отметил «богатые многовековые традиции» советского славяноведения и в патриотическом порыве подчеркнул первостепенное влияние русского славяноведения в мировой науке, отодвинув на второй план достижения, например, немецких и чешских славистов. Затем, следуя ритуалу советской историографии, противореча сам себе, он указал на «серьезные принципиальные пороки» дореволюционного славяноведения, проникнутого «антинаучным, идеалистическим мировоззрением», повторив эскападу Н. С. Державина о реакционных охранителях и славянофилах, великодержавных панславистах и народниках, стремившихся обособить славян от остального человечества.

В своей статье С. А. Никитин более отчетливо, чем его предшественники, выразил особенности марксистско-ленинской методологии, которой руководствуются в своих трудах советские слависты, опираясь на положения труда И. В. Сталина «История ВКП(б). Краткий курс» (М., 1938) и учение о социально-экономических формациях. Он отметил, что в центре внимания советских историков находится «история производителей материальных благ, история трудящихся масс». Вслед за Н. С. Державиным особо подчеркивались заслуги академика Н. Я. Марра в утверждении «материалистического нового учения о языке» в противовес «идеалистической индоевропейской школе» в языкознании.

С. А. Никитин рассмотрел основные направления историко-славистических исследований, выделенных ранее в статьях Державина

и Пичеты, по-прежнему не акцентируя, в какой период они создавались, добавив сюда проблемы революций 1848–1849 гг. в Европе, балканской политики России во второй половине XIX в., польских восстаний 1830 и 1863 гг., которыми слависты активно стали заниматься после окончания войны.

Новым и важным было то, что историк впервые положительно охарактеризовал в своей статье работы славянских филологов межвоенного периода, обвиняемых прежде Державиным в «филологическом формализме» и антимарризме (самого ученого не смущал при этом свой реверанс Марру в начале статьи). Сюда он отнес исследования ведущих представителей «старой школы» в отечественном славяноведении — И. Г. Ильинского, Е. Ф. Карского, П. А. Лаврова, Б. М. Ляпунова, А. М. Селищева, М. Н. Сперанского и нового поколения филологов, не разделявших теории Марра — С. Б. Бернштейна, П. Г. Богатырева, Л. А. Булаховского, М. Г. Долобко. При этом только Н. С. Державин был охарактеризован автором как образец применения «марксистского метода в советском литературоведении»²⁰.

В преддверии готовящегося в 1948 г. в Москве международного конгресса ученых-славяноведов С. А. Никитин выразил важную претензию советской славистики на приоритет в мировом славяноведении: «Передовой метод советской науки — условие ее дальнейшего развития и роста, залог сохранения за нею и впредь её руководящего места в славяноведении. Научное сотрудничество славянских ученых с учеными СССР — залог дальнейшего подъема и расцвета славяноведческой науки»²¹.

В статье А. Л. Сидорова (1900–1966), специалиста по истории России XIX — начала XX вв., волею судеб принявшего активное участие в установлении и развитии послевоенных связей со славянскими учеными, которая называлась «Достижения советской науки в изучении истории славянских народов» (1948), были повторены основные положения вышеназванных авторов. Он также игнорировал проблему возрождения советской славистики в конце 30-х гг., отметив только, что создание Института славяноведения АН СССР представляет «заметный шаг в развитии науки»²². Он постарался изобразить равномерный рост исследований в данной области после 1917 г., приведя ставшую уже обязательной фразу о том, что советская наука является «наследницей всего лучшего, что было создано в прошлом многими поколениями ученых»²³, назвав при этом специалистов по истории России, Украины и Белоруссии и критически отнесясь к методологии их исследований.

Основное отличие от предшественников здесь заключалось в том, что А. Л. Сидоров львиную долю статьи посвятил характеристике основных положений теории исторического процесса, выработанных

К. Марксом, Ф. Энгельсом, В. И. Лениным и особенно И. В. Сталиным. Возрождение исторической науки в стране он связал с выступлениями в 1934 г. И. В. Сталина, С. М. Кирова, А. А. Жданова по поводу конспектов учебников по истории СССР и новой истории, после которых действительно последовали оживление и поддержка исторических исследований в СССР, открытие исторических факультетов в университетах, поворот от исторического нигилизма к великодержавному патриотизму, выражением которого стала кампания по разоблачению «исторической школы» М. Н. Покровского. Ученый писал по этому поводу: «Советская историческая наука, вооруженная указаниями товарищей И. В. Сталина, С. М. Кирова и А. А. Жданова и Советского правительства, преодолела вульгаризаторские, антимарксистские ошибки так называемой школы Покровского, которая заменяла изучение конкретного исторического материала и связанное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами»²⁴. Автор рассмотрел «Историю ВКП(б). Краткий курс» и др. работы И. В. Сталина, представленные как творческое развитие марксизма в вопросе об образовании наций, формировании многонациональных государств Запада и Востока и пр. Он особо подчеркнул, что «в свете марксистско-ленинской теории национального вопроса ясны основы понимания новой славянской взаимности, которая складывалась исторически и в корне отличается от понимания Палацкого, Ригера и русских воинствующих панславистов и польских буржуазных националистов Первой мировой войны». В год подготовки Первого послевоенного конгресса ученых-славяноведов, проведение которого было запланировано в Москве в апреле 1948 г. и не состоялось по политическим причинам, А. Л. Сидоров выразил советское понимание славянской идеи, направляющее славянские народы на путь строительства социализма по примеру СССР: «Основой славянской взаимности и общности в настоящее время является движение широких масс — рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции — в борьбе за новый, народно-политический общественный строй. Примеры героического труда советских народов в строительстве социалистического общества и освободительная роль Советской Армии — вот что воодушевляет, сплачивает и поддерживает славянские народы в их борьбе за свою государственную и экономическую независимость»²⁵.

А. Л. Сидоров безапелляционно среди «славистических» проблем рассмотрел успехи исторической науки в СССР в области изучения наследия классиков марксизма-ленинизма, Гражданской войны, отметил рост числа институтов исторического профиля в рамках АН СССР. Однако вслед за Державиным, Пичетой и Никитиным указал и главные проблемы, изучаемые историками-славистами, прибавив к ним исследования по истории Белоруссии, Украины

и России с древнейших времен до современности, проблемы образования великорусского, украинского и белорусского народов и вопросы российской дипломатии.

Статью завершал оптимистический образ советской историко-славистической науки как науки истинно марксистской, постоянно находящейся в состоянии борьбы с измышлениями «буржуазной» историографии: «Советская историческая наука, являясь боевой, воинствующей наукой, ведет неустанную борьбу против реакционных, антиславянских, антидемократических теорий, а также против измышлений лжеученых фальсификаторов истории. Опыт и достижения советских историков представляют огромный вклад в развитие передовой, подлинно прогрессивной советской науки и её столь важной области, какой является советское славяноведение»²⁶.

После известной лингвистической дискуссии 1950 г., развенчавшей после вмешательства И. В. Сталина «новую теорию о языке» академика Н. Я. Марра, славянская филология, традиционно базировавшаяся на сравнительно-исторической методологии исследования, была полностью реабилитирована, что способствовало и численному росту работ в этой области. Об этом говорил в своем докладе на Белградском совещании славистов в 1955 г. ленинградский филолог-славист, профессор ЛГУ Ю. С. Маслов (1914–1990). Доклад назывался «Изучение южных и западных славянских языков в СССР за последние десять лет». Он был издан отдельной брошюрой. Автор справедливо отметил большой интерес к славянской филологии в послевоенное время и сосредоточился на обзоре работ советских славистов этого периода, указав также главные научные центры славистических исследований. Вопрос о том, как и в каких условиях развивалась славянская филология после 1917 г., он старательно обошел, бесстрастно указав, что «в дореволюционной России и СССР всегда существовал живой общественный интерес к истории, быту, культуре и языку братских славянских народов». Одним из первых автор отметил, однако, возрастание интереса к этой тематике уже в военные годы: «Особенно возрос и усилился этот интерес за последние пятнадцать лет, в период совместной борьбы славян против фашистской агрессии». Послевоенный подъем работы по изучению языков южных и западных славян ученый связал с формированием лагеря «стран народной демократии» — «тесным сближением славянских стран, укреплением дружеских связей между нами», и особенно со «свободной лингвистической дискуссией» 1950 г., когда «советское языкознание, освободившись от антинаучных, *немарксистских* концепций, вступило на новый путь развития, когда, в частности, был восстановлен в правах сравнительно-исторический метод и получила признание работа в области сравнительной грамматики

славянских языков»²⁷. Таким образом, автор главные факторы подъема филолого-славистических исследований искал во внеученой области, не оставив, однако, без внимания создание кафедры славянской филологии в МГУ в 1943 г. и создание славистических структур в АН СССР.

В короткий период хрущевской «оттепели» перед славянской филологией в стране открылись новые горизонты. По случаю 40-летия «Великого Октября» были опубликованы две большие программные статьи С. Б. Бернштейна (1911–1997) и Н. А. Кондрашова (1919–1996) об изучении южнославянских и западнославянских языков в СССР. Обе статьи были построены по одному плану. Обзорные истории изучения общих проблем славянской филологии и отдельных славянских языков позволило авторам, по существу, стереть грани между дореволюционной и советской славистикой, рассматривая её в едином потоке научного развития. При этом С. Б. Бернштейн, которому в большей степени был присущ «личностный» подход к истории науки, её представление через научную характеристику отдельных ученых и их вклада в избранную специальность, охарактеризовал деятельность как ученых «старорежимной» закалки, так и их советских коллег в неразрывной связи, с учетом контекста дореволюционной славистики. В таком ключе он писал о больших научных заслугах Л. А. Булаховского, М. Г. Долобко, Г. А. Ильинского, Б. М. Ляпунова, А. М. Селищева и др. Примечательно, что С. Б. Бернштейн сознательно не исключил из этого круга труды сербиста С. М. Кульбакина, покинувшего родину (хотя, естественно, не акцентировал его эмигрантство). Впервые в советской славистике ученый подверг резкой критике работы тогда уже покойного академика Н. С. Державина, который «особенно упорно пропагандировал марризм», выступал в 20–40-е гг. «последовательным сторонником учения о стадильности, отрицал генетическое родство славянских языков, отрицал их внутренние законы развития»²⁸.

Большую часть статьи Бернштейн посвятил анализу научной деятельности своего университетского учителя А. М. Селищева, которого он отнес «к новым лингвистическим силам», выдвинувшимся после Октябрьской революции из числа дореволюционных ученых. Он справедливо писал, что как исследователь македонских говоров и многих славянских языков ученый «занимает выдающееся место в истории изучения южных славянских языков, русского и советского языкознания»²⁹.

Таким образом, С. Б. Бернштейн пока не отважился рассказать о бедственном положении, по существу упадке славянской филологии в СССР в первые годы Советской власти, об идеологических преследованиях и репрессиях славистов, что затушевывалось позитивным обзором научных трудов А. М. Селищева и других выдаю-

щихся филологов «старой школы», продолжавших свою научную деятельность в неимоверно тяжелых материальных и моральных условиях (о чем также умалчивалось). Впрочем, время для этого еще не пришло. Он позволил себе только «разрешенную» после лингвистической дискуссии критику «марристских заблуждений» академика Н. С. Державина, что также было смелым шагом, так как авторитет советского академика и далее тщательно оберегался.

Точно также и в статье Н. А. Кондрашова «Изучение западнославянских языков в России и СССР» проблема возрождения славянской филологии в годы войны не поднималась. В этом смысле это был шаг назад по сравнению с работой Ю. С. Маслова. Автор представил беспроblemно успешную научную деятельность дореволюционных славистов и в советское время: Д. В. Бубриха, Л. А. Булаховского, М. Г. Долобо, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинского, А. М. Селищева, А. И. Соболевского, Л. В. Щербы и др. Отмечалось только, что в период длительного господства «нового учения о языке» академика Н. Я. Марра и его последователей «работа по изучению славянских языков была затруднена. Особенно большой вред нанес марризм делу подготовки молодых научных кадров»³⁰.

Принципиально новым моментом статьи Н. А. Кондрашова по сравнению с очерком С. Б. Бернштейна была увязка заметного подъема (по существу возрождения) исследований по славянскому языкознанию и литературоведению со временем создания кафедры славянской филологии в МГУ, а затем и в других вузах СССР, и «славянской» политикой военного и послевоенного времени. Он писал: «Дружественные отношения, установившиеся между Советским Союзом и славянскими странами в ходе Великой Отечественной войны и после её окончания, вызвали подъем славяноведческой науки в нашей стране. Прежде всего, в нескольких университетах (Московском, Ленинградском, Киевском, Львовском) была организована подготовка славистов-филологов»³¹. Среди славистов нового поколения, определивших подъем славистических исследований, автор особо отметил труды В. В. Виноградова, С. Б. Бернштейна, В. П. Петруся, А. Г. Широковой, С. С. Советова и свои собственные. При этом новизна методологических подходов современных филологов не акцентировалась, больше подчеркивалась их верность научному наследию дореволюционной славистики.

Определенный шаг вперед в постановке проблемы возрождения советской исторической славистики накануне Великой Отечественной войны сделали В. Д. Королук и И. А. Хренов в статье «Итоги и задачи славистических исследований в СССР. 1945–1959». Здесь впервые было высказано утверждение, что элементы марксистского славяноведения возникли на рубеже XIX–XX вв. под воздействием работ В. И. Ленина, который идейно разгромил ложные теории

славянофильства и дал «гениальный анализ национального движения в славянских странах в эпоху империализма». Принципиально важным рубежом в развитии отечественного славяноведения признавалась Октябрьская революция, которая «привела к коренным изменениям в судьбах славянских народов и оказала огромное влияние на развитие славяноведения, вставшего на прочный фундамент марксистско-ленинской методологии»³².

В статье впервые указывались негативные факторы в развитии советского славяноведения 20–30-х гг. Их находили в «ошибках школы Покровского», а также в отсутствии «научных контактов со славянскими странами, реакционные правящие круги которых всемерно препятствовали установлению научного сотрудничества»³³. О том, что установлению научных контактов мешали как раз последствия Октябрьской революции, отделившей Россию от Европы, и «пролетарская» политика советского правительства, авторы дипломатично умалчивали.

В статье впервые констатировался факт активизации историко-славистических исследований в конце 30-х гг. Но в объяснении этого феномена авторы ограничились только указанием, что этого требовали задачи «разоблачения фальсификации всемирной истории в писаниях фашистских лжеученых и расистов». Авторы справедливо утверждали, что «в годы Второй мировой войны разработка вопросов истории, культуры и языка зарубежных славянских народов приобрела особенно большую научную и политическую актуальность», усиленную после войны формированием блока стран народной демократии, что способствовало, в свою очередь, образованию Института славяноведения в системе АН СССР³⁴.

Авторы сформулировали принципиальные отличия советского славяноведения от буржуазного в трактовке славянской общности, используя некоторые, высказанные ранее постулаты Н. С. Державина. По их мнению, «буржуазное славяноведение» выделяло славян из процесса мирового развития, «рассматривая единство происхождения славянских народов и общие черты в их истории, культуре и языке, исходило из ложных, идеалистических представлений об особых свойствах „славянской души“». Напротив, «марксистское славяноведение рассматривает историческую и культурную жизнь славянских народов в свете общих закономерностей исторического процесса, не противопоставляя славян другим народам. Общие черты в истории, культуре и языке славянских народов марксистская наука объясняет как результат общности их этнического происхождения, смежности территорий, тесных экономических, политических и культурных связей, развивавшихся на протяжении веков. Поэтому без глубокой разработки историко-культурной проблематики славяноведение не может быть подлинно общественной наукой»³⁵.

Авторы особо подчеркнули ошибочность взгляда на славяноведение как на чисто филологическую науку, представляющего, по их мнению, «пережиток ранней стадии развития этой дисциплины», и выступили за введение историко-славистических проблем в программу возрожденных Международных съездов славистов³⁶. Это утверждение было особенно актуально после проведенного в Москве в 1958 г. IV Международного съезда славистов, ориентировавшегося на традиционное понимание славистики. После этого ведущие слависты комплексного Института славяноведения АН СССР начали упорную борьбу за включение исторической проблематики в программу съездов.

Статья содержала обзор историко-славистических исследований в СССР с 1945 г. с включением ряда работ военного времени и характеристику основных направлений исследований и заключалась пафосным утверждением, что в советском славяноведении в отличие от буржуазного полностью изжиты господствовавшие прежде реакционные славянофильские и панславистские концепции.

Основные положения данной статьи были повторены в исторической части брошюры «Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945–1963» (М., 1963), подготовленной к V Международному съезду славистов в Софии. Её авторами выступили В. Д. Королук, Н. И. Толстой, И. А. Хренов, И. М. Шептунов, С. А. Шерлаимова. Здесь снова с осуждением подчеркивалось преобладание филологического направления не только в дореволюционной славистике, но и в славяноведении первых лет советской власти. Указывалось, что ведущие филологи-слависты П. А. Лавров, Е. Ф. Карский и др. не столько создавали новые научные сочинения, сколько «подводили итоги своим дореволюционным исследованиям в области славянской филологии»³⁷. Исключительно филологическая направленность исследований приписывалась и ленинградскому Институту славяноведения, хотя на самом деле он имел комплексный характер. Курс М. К. Любавского по истории западных славян, хотя и относился авторами по методологии «к дореволюционным исследованиям», но критике не подвергался.

В брошюре были внесены некоторые дополнения в оценку развития советского славяноведения в межвоенный период. Констатировалось, что Октябрьская революция «создала условия для развития нового, основанного на марксистско-ленинской методологии направления славистических исследований». Но успешно развиваться с правильных позиций «пролетарского интернационализма, с позиций признания равноправия и исторической полноценности больших и малых народов» оно могло только после «разоблачения панславистских, великодержавно-шовинистических или наивно-романтических представлений о славянстве». Констатируя трудности развития

славистики этих лет, авторы указывали на недостаток «марксистски образованных кадров» и, не называя Покровского и его «школу», подчеркивали: «мешала имевшая место в общественных науках этого периода недооценка значения изучения гражданской истории»³⁸. (Дипломатичность, проявленную по отношению к М. Н. Покровскому, по-видимому, можно объяснить попытками его реабилитации в готовящемся 4-м томе «Очерков по истории исторической науки в СССР».)

Авторы снова зафиксировали «подъем славистических исследований в СССР» в конце 30-х гг. Но связали его на этот раз не с разоблачением «школы Покровского», а — завуалировано — с «торжеством» марксистско-ленинской методологии исследований, сумевшей творчески переработать дореволюционное научное наследие с его огромным фактическим материалом и освоить достижения советской исторической науки, достигнутые в области изучения истории СССР и всеобщей истории, а также в публикациях источников по истории международных отношений периода Первой мировой войны³⁹.

Впервые в подобном очерке были отмечены негативные последствия, разоблаченного на XX съезде КПСС культа личности И. В. Сталина, которые тормозили развитие общественных наук и часто загоняли «творческую исследовательскую мысль в прокрустово ложе схематизма и цитачничества». Авторы указали и на конкретные отрицательные последствия «культа» для исторической части славяноведения — они сказались на изучении новой и новейшей истории и «прежде всего на изучении опыта революционного, коммунистического движения в славянских странах, межславянских революционных связей»⁴⁰.

К числу факторов, обусловивших «усиление интереса к прошлому славянских народов» в конце 30-х гг., авторы отнесли «оголтелую антиславянскую пропаганду германского фашизма», которой необходимо было дать отпор: «Перед советскими историками встала серьезная задача разоблачения фальсификации всемирной истории в писаниях фашистских лжеученых и расистов, отрицавших способность славянских народов к прогрессивному развитию в области культуры и экономики, политической жизни»⁴¹. И, действительно, в 1939 г. был выпущен сборник «Против фашистской фальсификации истории». Авторы отметили также в этой связи чрезвычайную актуальность славистических работ во время Великой Отечественной войны и значение образования Института славяноведения АН СССР для дальнейшего развития славяноведения в стране.

Таким образом, советские историки-слависты в начале 60-х гг., по-прежнему не употребляя термин «возрождение» славяноведения в СССР в конце 30-х гг., регулярно отмечали «подъем» славистических

исследований в это время и период войны и определяли факторы, обусловившие это явление.

Литературоведы-слависты пока только констатировали, что после Октябрьской революции литературоведение получило «прочную методологическую основу», и перечислили немногие работы, вышедшие в СССР в межвоенный период, в которых творчество крупных славянских писателей рассматривалось как выражение «идейной борьбы» своего времени. Авторы считали, что благодаря пропаганде революционных славянских литератур в журналах «Иностранная литература» и «Вестник иностранной литературы» «несмотря на известные элементы вульгарного социологизма, в исследовании славянских литератур советское литературоведение в 20–30-е гг. сделало важный шаг вперед»⁴².

Пропустив годы войны, авторы констатировали рост интереса «широких кругов советского общества» к литературам Чехословакии, Польши, Болгарии и Югославии после войны и закономерно связывали его «с образованием стран народной демократии, укреплением дружбы и сотрудничества с этими странами»⁴³.

Н. И. Толстой (1923–1996), автор очерка о развитии славянского языкознания, остановился исключительно на разработке специальных лингвистических проблем в послевоенное время, ни слова не сказав о славистике предшествующего периода, видимо, отсылая читателей к очеркам С. Б. Бернштейна и Н. А. Кондрашова. О характере славистических исследований предшествующего периода можно судить по такому пассажу: «Таким образом, в развитии славянского языкознания в СССР в послевоенный период наблюдается во многом постепенный переход от исследований, носящих более *описательный* характер, ставящих обычно ряд *частных*, хотя и важных проблем, к исследованиям, более учитывающим *пра*-славянский, древний славянский и современный славянский лингвистический ландшафт в целом, к исследованиям, связанным с *кардинальными* задачами славянского типологического и общего языкознания»⁴⁴.

Новый аспект в решении проблем развития отечественной славистики межвоенного периода проявился в статье университетских историков И. М. Белявской и И. Д. Очака «Некоторые проблемы истории зарубежных славянских народов в советской исторической науке» (1966). Статья начиналась с констатации «очистительного значения» решений XX и XXII съездов КПСС для развития исторической науки в стране и определении ее актуальных задач. Начало советской исторической науке, по мнению авторов, положили труды В. И. Ленина, в которых были высказаны мысли, связанные с «узловыми проблемами истории славянских народов». Речь шла о польском вопросе, национальном вопросе в Австро-Венгрии,

социально-экономических и политических отношениях на Балканах, о Балканских войнах, о сербских социал-демократах, болгарских тесняхках и пр.⁴⁵

Авторы предлагали даже включить работы В. И. Ленина в историю дореволюционной и первых лет советской славистики.

После реабилитации многих участников коммунистического и рабочего движения, пострадавших от сталинских репрессий, авторы первыми обратили внимание на работы коммунистов-эмигрантов в СССР, внесших вклад «в становление советского славяноведения как марксистско-ленинской науки»⁴⁶. Таким образом, они впервые назвали имена и работы политэмигрантов, работников Коминтерна, многие из которых в 30-е гг. «подверглись необоснованным репрессиям». В статье подчеркивалось: «Именно они занялись кропотливым сбором и выявлением документального материала по истории своих стран и, в первую очередь, по истории революций и освободительной борьбы, по истории рабочего и коммунистического движения. Польские, чехословацкие, болгарские и югославские коммунисты издали в СССР ряд монографий и статей, а также документальные и публикации, имеющие важное научное значение и сейчас»⁴⁷.

Авторы наконец-то сосредоточили внимание на проблеме возрождения славистики в СССР. Однако сделали они это очень своеобразно. После дежурного пассажа о том, что до революции славяноведение представляли историки официально-монархического направления, часть которых после революции 1917 г. оказалась в лагере эмиграции (А. Л. Погодин, В. А. Францев, А. В. Флоровский, Н. В. Ястребов) или, оставшись в СССР, отошла от исследовательской работы (М. К. Любавский и др.), следовал пробел, видимо, свидетельствующий об отсутствии славистических работ, и вывод, что «*поэтому* создание в 1939 г. кафедры истории южных и западных славян в МГУ и Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР, преобразованного в Институт славяноведения АН СССР, явилось важной вехой в становлении советского славяноведения»⁴⁸. Авторы назвали главное средоточие научных интересов историков-славистов в годы войны и послевоенный период, указав, что их внимание «было сосредоточено преимущественно на проблемах борьбы славянских народов с немецкой агрессией, на исследовании роли России в освобождении славянских народов, на проблемах развития государственности у славян и вопросах славяно-русских связей и отношений»⁴⁹.

Авторы критически отнеслись к трудам историков военного времени, от метив, что многие из них «страдали односторонним освещением событий и процессов прошлого, идеализацией политики царской России в отношении к зарубежным славянским народам»,

а в обобщающих трудах конца 40–50-х гг. обнаружили нарушение «правильного понимания ленинского требования национальной гордости» и упрощения⁵⁰.

Пятидесятилетие Октябрьской революции Институт славяноведения АН СССР отметил серией статей, в которых подводились итоги славистических исследований в области истории, литературоведения, языкознания, истории культуры, начиная с 1917 г.

Открывала ее главная по институтской табели о рангах статья В. Д. Королюка «Советские историко-славистические исследования (1917–1967)». В этой работе повторялись многие положения упомянутых выше очерков 1960 и 1963 гг., но вносились и некоторые нюансы. Автор вступил в полемику с некоторыми чехословацкими славистами (М. Куделка и др.)⁵¹, которые пытались сузить предмет славистики вообще и исторической в частности, ограничив ее проблематикой «происхождения славян и славянской письменности, межславянских связей, обращая особое внимание на развитие идеи славянской взаимности»⁵². В. Д. Королюк выступал за утвердившееся в отечественной науке комплексное понимание предмета славяноведения, которое расширительно трактовало предмет славистических исследований, вне зависимости от их общеславянского содержания. Согласно такому пониманию «славяноведение является комплексом дисциплин, изучающих происхождение, историю, современное общественно-политическое развитие, историю культуры и языки славянских народов»⁵³. В подобной трактовке предмета славяноведения, в отличие от большинства зарубежных стран, история занимала лидирующее место, включая в себя страноведческие исследования от древности до современности.

В связи с таким подходом автор формулировал коренные отличия «буржуазного» и советского славяноведения, в котором слышатся далекие отзвуки идеологических установок конца 1930 — начала 1940-х гг. В первом, по его мнению, преобладало филологическое направление, «реакционные славянофильские и панславистские идеи и теории». Во втором — восторжествовала марксистско-ленинская методология исследований, позволившая «расширить рамки общеславистических исследований за счет включения в них огромной исторической проблематики» и решительно отбросить все реакционные идеи. Марксистское славяноведение, в представлении автора, проникнуто «благородными идеями интернационализма и чувствами революционной солидарности всех народов» и направлено изучать историю славян «на основе познания всеобщих закономерностей мирового исторического процесса»⁵⁴.

В. Д. Королюк впервые дал периодизацию советского славяноведения, выделив в нем три главных периода: 1917–1938/1939 гг.,

время войны и послевоенный период, существенный рубеж в котором определили «исторические решения XX и XXII съездов КПСС»⁵⁵.

Не называя конец 30-х гг. началом возрождения славистики в СССР (поскольку тогда надо было бы признать ее предшествующий упадок), автор констатировал, что создание Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР и кафедры южных и западных славян в МГУ существенно стимулировали историко-славистические исследования в стране и обеспечили подготовку кадров историков-славистов.

В. Д. Королюк вынужден был признать, что историческая славистика развивалась в СССР «несколько более замедленными темпами, чем вся наша историческая наука», усиленное развитие которой началось с известных постановлений 1934 г. Но причину этого явления он видел не в репрессивной политике новых властей, а в «сохранении доминирующей роли филологических исследований», создаваемой трудами авторитетных филологов-славистов «старой школы» П. А. Лаврова, Е. Ф. Карского и др. Работы историков-славистов дореволюционной закалки — Ф. И. Успенского, М. К. Любавского, А. Н. Ясинского, по мнению автора, погоды в советском славяноведении не делали. За неимением других работ В. Д. Королюк особо отметил публикации новых архивных материалов по истории «балканской политики царизма и первой мировой войны», по вопросам русско-славянских (преимущественно польских) революционных связей XIX в., а также работы по истории внешней политики царизма и истории революционного движения в России. Не обошел вниманием автор и работы коммунистов-политэмигрантов из славянских стран (Ю. Мархлевский, Ю. Лещинский, Г. Димитров, В. Коларов, К. Готвальд, Б. Шмераль, Я. Шверма, А. Запотоцкий, Б. Бошкович и др.) по национальной истории и истории международного рабочего движения для выработки «современной (значит, марксистской. — М. Д.) концепции советского славяноведения».

В. Д. Королюк, как и прежде, полагал, что непременно условием создания в СССР «подлинно марксистско-ленинского славяноведения» было раз облачение и отказ от прежнего «буржуазного» славяноведения. Эту задачу должен был выполнить Институт славяноведения в Ленинграде, который, однако, ввиду своей сугубо филологической направленности, с ней не справился и потому закономерно был ликвидирован. Принципиально важным и новым моментом статьи В. Д. Королюка стало определение «предгрозовых» 1938–1939 гг. как «переломных» в отечественном славяноведении. «Перелом» он справедливо связал с угрозой Второй мировой войны, «когда стало очевидным, какую ужасную участь готовит зарубежным славянским народам германский фашизм и как тесно

связаны судьбы этих народов с судьбой СССР — главной силой, способной противостоять гитлеровской Германии»⁵⁶.

Автор закономерно связал тематику начавших проводиться до 1941 г. исследований с современной политической ситуацией. Он писал: «Проблематика осуществлявшихся тогда историко-славистических исследований определялась, прежде всего, условиями борьбы с фашистской опасностью, и потому в центре внимания историков-славистов находились вопросы истории борьбы славянских народов с германской феодальной и империалистической агрессией. Очень много было сделано в эти годы и для разоблачения нацистского извращения истории народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы»⁵⁷. В определении проблематики военного времени он следовал за В. И. Пичетой.

Таким образом, в статье Королюка впервые определенно был поставлен вопрос если не о возрождении, то о «переломе» в историко-славистических исследованиях в СССР в конце 30-х гг.

В статье литературоведа и историка культуры В. И. Злыднева (1919–1999) «Изучение зарубежных славянских литератур в Советском Союзе (1917–1967)» также впервые выделялись два периода в развитии славистического литературоведения, рубежом между которыми устанавливался 1945 год. Здесь, как и в очерке 1963 г., по-прежнему констатировалось, что успешному развитию науки «мешало наличие упрощенческих представлений о славянском мире, зачастую связанных с вульгарным социологизмом»⁵⁸. Новым было то, что автор включил в рассмотрение работы ученых дореволюционной школы — А. М. Селищева, М. Н. Сперанского, П. А. Лаврова и др. Но положительным моментом литературоведческих исследований все же определили стремление перенести центр тяжести на «социологический анализ» в работах Н. С. Державина, М. С. Живова, В. Г. Чернобаева и др., не находя в конкретном анализе названных ученых указанных выше «элементов вульгарного социологизма», а только упор на освещение «передовых и революционных тенденций в разных литературах»⁵⁹.

Автор справедливо отметил, что коренным рубежом в литературоведческих исследованиях стал 1945 год, когда сложились новые научные центры, расширился круг специалистов и «существенно изменились принципы исследования литературных процессов»⁶⁰. Таким образом, возрождение славистики связывалось с послевоенным периодом.

И. И. Свирида в статье «Художественная культура зарубежных славянских народов в советской науке» впервые дала очерк культурологических исследований в СССР. Автор справедливо отметила, что в 20–30-е гг. они не имели систематического характера. Причину такого положения автор, не углубляясь в первоисточники, искала

в отсутствии «достаточно прочной научно-организационной основы» и сложных политических отношениях между славянскими странами в межвоенный период⁶¹. В статье отмечалось повышение интереса к культурологическим исследованиям в годы войны против фашизма и особенно в послевоенное время, когда формировались народно-демократические режимы в славянских странах, устанавливались тесные научные и культурные связи между ними, расширялась источниковая база исследований.

Серию статей 1967 г. завершал очерк С. Б. Бернштейна «Советской славянской филологии 50 лет», во многом повторявший предыдущие статьи ученого на эту тему. Автор начал с обширного экскурса в дореволюционное славяноведение, подчеркнув успехи и высокий мировой уровень тогдашних исследований. В то же время он повторил державинские эскапады о том, что официальное академическое славяноведение активно «пропагандировало панславизм, к которому отрицательно относились передовые люди России». В качестве примера выразителей подобных взглядов он называл А. И. Соболевского, А. С. Будиловича и Т. Д. Флоринского⁶². С. Б. Бернштейн упрекнул славистов, исповедовавших панславистские и либеральные взгляды, в одинаковом неприятии Февральской и Октябрьской революций, приведшей к их эмиграции из России (А. Л. Погодин, М. Г. Попруженко, В. А. Погорелов, В. А. Францев, И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. К. Поржезинский, М. Р. Фасмер). Однако он впервые отметил существенные потери в среде отечественных славистов в тяжелое лихолетье Гражданской войны (А. А. Шахматов, С. К. Булич, В. Н. Щепкин, Р. Ф. Брандт, Н. М. Петровский). Пренебрежение к славистике в первые годы Советской власти С. Б. Бернштейн, не повторяя постулатов Державина, объяснил тогда задачами интенсивного национального строительства, заставившими некоторых славистов (Д. В. Бубрих и др.) переключиться на изучение других языков народов СССР. Отметив малую продуктивность работы Славянской комиссии под руководством академика П. А. Лаврова, он все же весьма положительно охарактеризовал труды Б. М. Ляпунова, П. А. Лаврова, В. М. Истрина, Е. Ф. Карского и др. в области изучения старославянской письменности. В дополнение к своему очерку 1957 г. он впервые проанализировал не только труды, но и педагогическую деятельность в Московском университете на рубеже 20–30-х гг. А. М. Селищева и Г. А. Ильинского, детально осветив читаемые ими курсы, слушателем которых он сам был в то время. Ученый также упомянул о других преподавателях Цикла южных и западных славян на Этнографическом отделении факультета общественных наук МГУ (П. А. Расторгуеве, Н. Л. Туницком, П. П. Свешникове, М. К. Любавском, Ю. В. Готье, С. Д. Сказкине), а также аналогичных структур ЛГУ (Н. С. Державин, В. Г. Чернобаев,

К. А. Пушкаревич, М. Г. Долобко, Н. В. Щерба), отметив малое влияние марризма на отечественных славистов-языковедов.

Пожалуй, впервые в историографии советского славяноведения С. Б. Бернштейн констатировал, что «в 30-е гг. прекратилась подготовка славистов в нашей стране, резко сократился объем общеславянистической подготовки русистов и других специалистов по восточнославянским языкам, прекратилась публикация трудов. За все 30-е гг. не вышло ни одной книги, посвященной сравнительной грамматике славянских языков или зарубежных славянских языков. В печати участились резкие нападки на славистику, как на реакционную „лженауку“»⁶³. Говоря о деятельности Института славяноведения в Ленинграде, Бернштейн, в отличие от своих коллег историков, подчеркнул его комплексный характер, успешно начавшуюся работу секций истории и экономики, языков и литературы, этнографии и фольклора. Он посетовал на то, что, не успев окрепнуть, Институт был неожиданно закрыт.

Главную вину за упадок славистики в СССР в 30-е гг. автор возложил не на репрессивную политику властей, а на ее опосредованное проявление в лице марристов, наступавших на сравнительное славянское языкознание, индоевропеистику и «теорию праязыка»⁶⁴.

С. Б. Бернштейн впервые сформулировал также понятие «возрождения» славяноведения в СССР в конце 30-х гг. и указал на его основные факторы. Главным из них он назвал возросшую «потребность в людях, практически владеющих славянскими языками», не связывая ее однако с военной угрозой. Политэмигранты, по его мнению, с этой задачей не справлялись. Признав упадок славистики в 30-е гг., ученый закономерно заключил, что за ним должно было последовать возрождение: «Уже в конце 30-х гг. стали реально ощущаться все отрицательные последствия ликвидации подготовки славистов в нашей стране. Все чаще и чаще начали раздаваться голоса о необходимости *возрождения славяноведения*»⁶⁵.

Главными правительственными мероприятиями, способствовавшими возрождению славянской филологии в СССР, справедливо, с точки зрения филолога, назвал постановление Всесоюзного комитета по делам высшей школы (лето 1935 г.) об усилении преподавания славянских языков в МИФЛИ и решение ВКВШ (лето 1943 г.) об основании кафедр славянской филологии в МГУ и ЛГУ. На последнее решение, по его мнению, повлияли события войны, подъем настроений славянской солидарности: «Как остро в этот период ощущалась нехватка людей, владеющих славянскими языками, знакомых с культурой зарубежных славян. Впервые советские слависты (но как их было мало в то время!) остро осознали и почувствовали огромную важность их науки. Они принимали активное и горячее участие в борьбе славянского народа с врагом»⁶⁶.

Таким образом, в статье Берштейна впервые был реально показан упадок славянской филологии в 30-е гг. в нашей стране и сформулирован тезис о ее возрождении в конце этого десятилетия. Хотя автор в силу дозированной информации еще не смел написать о репрессиях в стане славистов и не рассматривал начало Второй мировой войны как один из важных факторов, способствовавших созданию центров славистики в СССР.

На сходные с Бернштейном позиции относительно оценки историко-славистических исследований в области медиевистики в первые десятилетия Советской власти, с учетом специфики этой дисциплины, вышел историк О. Л. Вайнштейн в своей книге «История советской медиевистики» (М., 1968). Ученый провел яркие параллели между развитием византиноведения и исследованиями славянского средневековья в указанный период. О. Л. Вайнштейн справедливо подчеркнул, что до 1917 г. эти отрасли отечественной науки «занимали ведущее место в мире», придя в упадок после революции. Он выступил против тех ученых, которые этот упадок «бездоказательно приписывали ошибочным установкам Покровского и его школы»⁶⁷. Этим постулатом автор отдал должное тенденциям по реабилитации деятельности главы советской исторической школы, проявившимся, в частности, в четвертом томе «Очерков по истории исторической науки в СССР» (М., 1966). О. Л. Вайнштейн, как некогда З. Р. Неелды и Н. С. Державин, приписал вину за такое положение самим славистам и византинистам, которые «нередко выступали в качестве апологетов самодержавия и православия, панславизма и империалистической политики царизма», тем самым скомпрометировав свои науки «в глазах русской передовой общественности». Автор впервые указал центры славяноведения и византиноведения русской эмиграции, сложившиеся в межвоенной Чехословакии (Институт [семинарий] им. Н.П. Кондакова и др.) и Югославии (Русское археологическое общество и др.), подчеркнув, что это были учреждения «с довольно заметной антисоветской окраской». Согласно тогдашним представлениям он также заключил, что «усилия вдохнуть жизнь в русское буржуазное византиноведение и славяноведение на чужбине были неизменно обречены на полную неудачу»⁶⁸. Ученый вынужден был констатировать, что после революции ряды «буржуазных» медиевистов, оставшихся в России, значительно поредели из-за смерти ведущих специалистов (не указав действительные причины этих потерь), а новая смена в университетах и академических институтах не подготавливалась. Солидаризировавшись по существу с М. Н. Покровским, О. Л. Вайнштейн отнес труды ученых «старой школы» к числу «академических засушин», выразив лукавое удивление, что они к тому же почему-то (!) «перестали что-либо печатать по своей

специальности» (А. И. Яцимирский, Н. Н. Любич, Н. В. Ястребов), либо публиковали «узко специальные исследования источниковедческого характера» (П. А. Лавров, Е. Ф. Карский, Ф. В. Тарановский). К числу ученых, которые сыграли видную роль в становлении советского славяноведения в области медиевистики, он отнес А. Н. Ясинского, В. И. Пичету и М. В. Бречкевича, естественно, не упомянув о репрессиях, которым подверглись слависты старшего поколения.

Дальнейшие успехи в развитии советского славяноведения и византиноведения автор связывал с утверждением в нем марксистско-ленинской методологии, чему способствовали, по его мнению, постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. о неудовлетворительной постановке преподавания истории в начальной и средней школе и мерах по коренной перестройке исторического образования в университетов (образование истфаков в МГУ и ЛГУ). (Для славяноведения на деле началось мрачное пятилетие полной ликвидации этой дисциплины).

Факт возрождения славяноведения путем создания университетского и вузовского центров в 1939 г. автор по существу обошел, лишь мельком упомянув об этом событии, зато подчеркнул значение борьбы с фашистской расистской идеологией в конце 30-х гг. Главную точку отсчета размаха славистических исследований он начал с образования Института славяноведения АН СССР в Москве в 1947 г.

В докладе профессора МГУ И. М. Белявской (1913–1975) «Советское славяноведение за 50 лет», прочтенном на всесоюзной конференции историков-славистов в Минске (1968), несмотря на широкое название, речь шла прежде всего об исторической славистике. Здесь впервые приводились архивные данные о курсах по истории славянских народов, читаемых на факультете общественных наук МГУ в первые годы Советской власти Ю. В. Готье, В. И. Пичетой и М. К. Любавским. На этом основании автор пыталась опровергнуть утверждение американского историка Марина Пундефа (*Slavic review*. Vol. 26. № 2. 1967, June. P. 315, 316) о том, что «революция разбила славяноведение, представлявшее одну из сильнейших сторон русской науки»⁶⁹.

Тем не менее автор вынуждена была признать (в опровержение начального постулата), что в дальнейшем «буржуазные историки-слависты в большинстве своем не только не включились в процесс становления советской исторической науки, но и оказались ему враждебны»: одни эмигрировали, другие, за исключением Ю. В. Готье и В. И. Пичеты, отошли от активной исследовательской работы и не восприняли марксистскую методологию⁷⁰. Работы славянских политэмигрантов, по существу открытых автором в статье

1966 г., теперь она не относилась напрямую к советскому славяноведению⁷¹.

Белявская одной из первых пришла к печальному заключению о том, что реформа исторического образования, проведенная в СССР в конце 20-х — начале 30-х гг., привела по существу к ликвидации исторической славистики в стране. На историческом факультете МИФЛИ, переведенном из МГУ, славяноведение не было предусмотрено. Дело усугублял, по её мнению, и «поворот к вульгарно понимаемому „классовому освещению“ истории (школа М. Н. Покровского. — М. Д.), исключавшему возможность иного аспекта исторического исследования. В частности, было полностью отвергнуто исследование национальных особенностей в историческом процессе развития отдельных стран и народов». Многих отпугивал сам термин «славяноведение»⁷².

Белявская подошла к важному выводу о том, что в результате непродуманных реформ высшего образования в стране на волне принесенной марксизмом вульгарно понимаемой «классовости» утвердился «догматический подход к объяснению исторических процессов, событий и явлений»⁷³. Таким образом, по заключению автора, «в начале 30-х гг. почвы для развития советского славяноведения не было». «Неблагоприятными условиями» для развития славяноведения она объяснила и закрытие ленинградского Института славяноведения. Открыто говорить о репрессиях время еще не пришло.

И. М. Белявская связывала «коренное изменение в советской исторической науке и историческом образовании», приведшем в конечном итоге к «возрождению исторического образования», а вместе с тем и к созданию в 1939 г. кафедры истории южных и западных славян на историческом факультете МГУ и Сектора славяноведения в Институте истории АН СССР с известным постановлением «партии и правительства» 1934 г. о преподавании гражданской истории. Автор справедливо отметила, что «как особая отрасль советской исторической науки славяноведение выделилось окончательно в канун Второй мировой войны, а значительное развитие получило в послевоенный период»⁷⁴. (Период войны из рассмотрения Белявской исключался.) Другие факторы возрождения автором не рассматривались.

Таким образом, И. М. Белявская одной из первых среди историков сформулировала положение о возрождении историко-славистических исследований в СССР в канун Второй мировой войны, указав на существования периода их упадка после 1917 г.

В 1971 г. в 13-м томе «Советской исторической энциклопедии» был опубликован коллективный очерк «Славяноведение», в котором кратко обзревалась история этой науки со времен Кирилла

и Мефодия до современности. Об интересующем нас периоде писал В. Д. Королюк. Опираясь на свои предыдущие разработки, он предложил, на наш взгляд, оптимальную для своего времени периодизацию советского славяноведения, разделив ее на три этапа: 1917–1938/39; 1939–1945; послевоенный период, хотя, конечно, по результатам современных исследований следовало бы наметить подразделы в первом и последнем этапах. Автор во многом повторил свои прежние мнения, но в то же время внес в них некоторые коррективы. В. Д. Королюк по-прежнему считал, что в славистике 20-х гг. «доминирующую роль» сохраняли филологические исследования, приводя имена П. А. Лаврова и Е. Ф. Карского, на старой методологии базировались труды Ф. Н. Успенского и М. К. Любавского. Этим фактам он демонстрировал свое осуждение. Но далее, вступая в противоречие с данным утверждением, историк указал на выход многочисленных архивных публикаций по истории балканской политики «царизма» и Первой мировой войны, по истории русско-славянских (преимущественно польских) революционных связей. На этот раз он не обошел вниманием многочисленные работы славянских политэмигрантов по истории революционного и международного рабочего движения в славянских странах, считая, что они сыграли большую роль «для выработки современной концепции советского славяноведения»⁷⁵.

В. Д. Королюк не забыл упомянуть о «кардинальной ломке» в советский период «буржуазного» славяноведения, о «ненаучности», питавших его «славянофильских и панславистских концепций», отказ от которых и освоение новой методологии стали «непременным условием создания в СССР максистско-ленинского славяноведения»⁷⁶. М. Н. Покровского и его «школу» автор традиционно осудил в недооценке историко-славистической проблематики. Не обвиняя в этот раз ленинградский Институт славяноведения в исключительно филологическом уклоне, В. Д. Королюк, тем не менее, заключил, что он не выполнил задач по организации комплексных славистических исследований в СССР.

Принципиально важным моментом статьи была констатация, что «перелом» в советском славяноведении произошел в канун Второй мировой войны, «когда с организацией историко-славистических центров в Институте истории АН СССР. МГУ <...> и ЛГУ (?) были созданы предпосылки для решения одной из основных задач советского славяноведения — подготовки квалифицированных кадров историков-славистов». Определение проблематики славистических исследований 1939–1945 гг. он справедливо связывал с «условиями борьбы с фашистской опасностью»⁷⁷.

Таким образом, в очерке В. Д. Королюка об истории советского славяноведения впервые специально выделялся этап 1939–1945 гг.,

совпадающий с периодом Второй мировой войны, имеющий свою специфику и в то же время свидетельствующий о позитивном «переломе» в его развитии.

Если в предыдущие годы начальный этап советского славяноведения освещался только в историографических обзорах, то с 70-х гг. XX в. началось его детальное изучение. Это было связано в том числе и с тем, что в это время славистическая историография постепенно сложилась в отдельное направление научных исследований, что нашло организационное оформление в создании в 1975 г. в стенах Института славяноведения и балканистики АН СССР Сектора историографических и источниковедческих проблем под руководством В. А. Дьякова.

Первые исследования в этой области принадлежали ленинградскому слависту К. И. Логачеву, который тесно сотрудничал с сектором, прошел в нем аспирантуру и успешно защитил в 1979 г. диссертацию «Первый этап развития советского славяноведения (славистические учреждения Академии наук в 1917–1934 гг.)». В опубликованных статьях⁷⁸ и в автореферате автор впервые на архивных материалах детально рассмотрел научную деятельность академических славистических структур — Комиссии по научному изданию текстов кирилло-мефодиевской традиции (1918–1921) под фактическим руководством И. Е. Евсеева, Славянской научной комиссии (существовавшей до 1927 г. под руководством П. А. Лаврова) и Института славяноведения АН СССР в Ленинграде (1931–1934) под руководством Н. С. Державина. Автор пришел к ряду интересных и новых выводов. Он с должным уважением отнесся к тому, что члены вышеназванных комиссий продолжали базировать свои исследования на немарксистской методологии и, тем не менее, достигли в своей области серьезных научных результатов, выработав новый подход к изучению древнеславянских памятников письменности. Обе Комиссии, по мнению автора, выступали за комплексное, более широкое, чем у И. В. Ягича, не чисто филологическое понимание славистики. Тем самым он, несомненно, отдал дань утвердившемуся тогда в нашей историографии постулату о комплексности предмета славяноведения. Логачев показал на документах, что члены Славянской научной комиссии по-своему стремились откликаться на веяния времени и большее внимание стали уделять «проблемам славянства Нового времени»⁷⁹.

Автор впервые проанализировал основные направления деятельности ленинградского Института славяноведения, показал его региональный подход к исследованиям (включавший изучение не только зарубежных славян, но и советских украинцев и белорусов, а также балканских народов) и решительно отверг обвинения его в чисто филологическом уклоне, отмечая внимание директора

и сотрудников к актуальным общественно-политическим и экономическим вопросам. К. И. Логачев показал стремление Н. С. Державина ориентировать коллег на овладение марксистской методологией, не умолчав о его увлечении «марризмом» (по научным доводам, а не из конъюнктурных соображений) и «вульгарным социологизированием» в литературоведении. Однако автор не смог удовлетворительно объяснить причины неожиданного закрытия Института в 1934 г., которое понятно только в контексте начавшихся репрессий в среде славистов. Он связал его с «реорганизацией в Академии наук исторических исследований и созданием в ней Исторической комиссии», а также с существовавшей тогда «недооценкой славяноведения», оказавшей «влияние на нашу научную общественность»⁸⁰.

Автор впервые указал на существование «глухого» пятилетия (1934–1939) в отечественном славяноведении, когда славистические центры в Академии наук и вузах были ликвидированы, а исследования нерепрессированных славистов велись в порядке частной инициативы. В конце 30-х гг. он отметил «существенные сдвиги»⁸¹ в славяноведении, связанные с организацией вышеназванной кафедры в МГУ и Сектора славяноведения в структуре АН СССР, которые в конечном итоге привели к созданию Института славяноведения АН СССР в 1947 г. «Новый подъем» советского славяноведения К. И. Логачев справедливо связывал с осложнением «международной обстановки», вызванной «подготовкой и развязыванием Второй мировой войны»⁸².

1981 год ознаменовался сразу тремя работами, вносящими вклад в исследование советской славистики межвоенного периода — статьями В. А. Дьякова, А. Н. Горяинова и введением к библиографическому словарю «Историки-слависты СССР».

В статье В. А. Дьякова (1919–1995) «О некоторых аспектах развития славистики в 1918–1939 гг.»⁸³, повторенной с незначительными изменениями в немецком⁸⁴ и польском⁸⁵ изданиях, история советского славяноведения впервые представлялась в широком международном контексте и в соответствии с пониманием славянской идеи в новых славянских государствах и в СССР. Большое значение придавалось деятельности российских эмигрантов-славистов (особенно в Чехословакии, Югославии и Болгарии), признавался их вклад в зарубежное славяноведение, хотя согласно установкам того времени подчеркивались их антисоветские настроения, но об этом говорилось не в избличительном плане: «Не все они были убежденными и последовательными противниками Советской власти, но уже само эмигрантское положение толкало их к антисоветизму»⁸⁶. Точно так же с должной объективностью говорилось о достижениях «буржуазного» славяноведения, об исследовательских центрах

в Польше, Болгарии, Югославии и Чехословакии в межвоенный период. При этом автор не скрывал, что большинство трудов славянских историков не основывалось на марксистской методологии, хотя старался не упускать из поля зрения работы первых историков-марксистов.

В таком широком контексте, хотел того автор или нет, но достижения советского славяноведения 20–30-х гг. выглядели более чем скромными. В. А. Дьяков должен был как-то объяснить это положение, указав на трудности «методологического» и «научно-организационного характера». Сокращение кадрового состава славистов и распад «организационных структур славистики» он связывал с трудностями Гражданской войны и первых лет Советской власти, с эмиграцией многих известных славистов из России. Автор повторил и утвердившееся в нашей историографии мнение, что «в кругах советской общественности существовало отрицательное отношение к славяноведению, так как многие из корифеев дореволюционного славяноведения прочно связали свои имена с дворянско-буржуазными партиями и с реакционными панславистскими доктринами в идеологической сфере»⁸⁷. Для преодоления этих трудностей, по мнению автора, требовалось время и «кардинальная перестройка мировоззрения славистов». О том, кто настраивал советскую общественность против славяноведения и в каких облициях внедрялась марксистская методология в науку, автор не считал нужным и, вероятно, не мог тогда разъяснить.

В 70–80-е гг. В. А. Дьяков придерживался концепции, принятой в советской историографии и особенно наглядно представленной в «Очерках по истории исторической науки в СССР» (М., 1963. Т. 3), согласно которой историческая наука (в том числе и историческая славистика) накануне Октябрьской революции переживала глубокий идейный кризис. По этому поводу он неоднократно дискутировал с профессором Л. П. Лаптевой, напротив, утверждавшей и своими трудами доказывавшей, что славяноведение в России в то время переживало период расцвета. В данной статье В. А. Дьяков говорил о «кризисном состоянии» предреволюционной славистики «в методологической сфере». Это положение он подкрепил обширной цитатой из «Очерков», где говорилось, что кризис это «сложный процесс научного *развития*, <...> а не прекращение движения <...> идейный перелом, отмеченный усиленной работой буржуазных историков, активными поисками выхода из создавшегося идеалистического тупика, идейной дифференциации историков, из которых часть скатывалась на реакционные позиции и идет назад, часть мечется в поисках других решений»⁸⁸. Это заключение было необходимо автору, чтобы показать идейный тупик, переживаемый славистами «старой школы» в первые годы Советской власти, усугубляемый

слишком большой дифференциацией славистических дисциплин в ягичевском понимании предмета славяноведения. В этом плане он говорил о деятельности в рамках Академии наук Комиссии по изданию памятников кирилло-мефодиевской традиции, руководимой А. И. Соболевским, и Славянской комиссии под председательством П. А. Лаврова. На базе этих комиссий, как полагал Дьяков вслед за Логачевым, и возник Институт славяноведения в Ленинграде, возглавляемый в 1931–1934 гг. Н. С. Державиным. Как мы помним, К. И. Логачев, детально разобравший деятельность указанных Комиссий, подчеркивал, что даже на базе старой методологии обе Комиссии имели потенции для научного развития и внесли весомый вклад в отечественное славяноведение.

Говоря о деятельности Института славяноведения, В. А. Дьяков детально рассмотрел и в общих чертах одобрил комплексное понимание развития славяноведения на марксистской основе, выраженное в статье Н. С. Державина «Наши задачи в области славяноведения»⁸⁹, естественно, осудив налет «вульгарного социологизма» и приверженность к марризму, нашедшие отражение в этой статье и других трудах советского академика⁹⁰.

Вслед за Логачевым он подчеркнул региональный характер Института, его стремление изучать национальные меньшинства СССР, значительное внимание к историческим проблемам, а не только филологическим, в чем необоснованно обвиняли его ранее, и, что важно, к историографическим вопросам.

В. А. Дьяков также ушел от ответа на вопрос, почему столь перспективный в научном отношении Институт в 1934 г. был закрыт, глухо указав, что «условия для дальнейшего развития специального научного учреждения, занимающегося славистическими проблемами, тогда еще не полностью созрели»⁹¹.

К сожалению, далее В. А. Дьяков обошел проблему возрождения отечественной славистики, затушевав мрачное пятилетие после закрытия Института упоминанием, что проблемами истории славян активно занимались Б. Д. Греков, В. И. Пичета, М. Н. Тихомиров, Ю. В. Готье, Н. П. Грацианский и др. Почему-то не было упомянуто и о создании славистических центров в МГУ и АН СССР в 1939 г. Опираясь на статью В. И. Пичеты⁹², он полагал, что только к 1941 г. «в СССР появилась возможность для научного обеспечения советского славяноведения», к тому же к тому времени «советские слависты изжили черты вульгарного социологизма, которые отчасти были свойственны им в 30-е гг.»⁹³.

В выводах статьи В. А. Дьяков обратился к проблеме изменения общественного мнения по отношению к славистике в конце 30-х гг., впервые связав его с общими представлениями о славянской идее. Он писал: «Если буржуазные партии молодых славянских государств

все шире использовали идею славянской взаимности для пропаганды национализма, пользуясь традиционными симпатиями к ней со стороны народных масс, то в Советском Союзе, а также в коммунистических и рабочих партиях славянских стран в первое время преобладало настороженное отношение, вызванное ошибочным отождествлением идеи с панславизмом и аналогичными реакционными доктринами. Постоянное изживание сектантско-догматических ошибок и вульгарного социологизма, нарастание фашистской опасности для славянских народов изменили положение, и накануне войны установилось отношение к славяноведению как к комплексу наук, заслуживающих внимания и поддержки⁹⁴. Последнее положение спорно, так как предыдущие и последующие исследования свидетельствовали о том, что накануне войны была вполне реабилитирована только историческая часть славяноведения. Об этом, кстати, далее оптимистически писал и сам автор, косвенно свидетельствуя о начале возрождения исторической славистики в конце 30-х гг.: «В СССР, несмотря на имевшиеся трудности, слависты активно овладевали марксистско-ленинской методологией. Накануне войны она стала господствующей и послужила идейной основой для значительного числа конкретных исследований, отчасти опубликованных в последние годы, а отчасти оставшиеся в рукописи и изданных на протяжении первого послевоенного десятилетия»⁹⁵. (Военные годы, таким образом, из активной фазы развития советского славяноведения исключались).

В целом статьи В. А. Дьякова с учетом издержек времени их написания надолго определили подход к исследованию истории отечественной славистики межвоенного периода.

В 1981 г. из печати вышел первый историографический сборник сектора историографических и источниковедческих проблем Института славяноведения и балканистики АН СССР «Исследования по историографии славяноведения и балканистики». Его открывала статья А. Н. Горяинова «Советская славистика 1920–1930-х гг.». Автор впервые поднял и обстоятельно рассмотрел вопрос о благоприятных и неблагоприятных факторах развития отечественного славяноведения межвоенного периода, подытожив и переосмыслив существующие в литературе мнения. К негативным факторам автор со ссылкой на В. А. Дьякова отнес «антисоветские выступления буржуазных идеологов зарубежных славянских стран и русских белогвардейцев, а также враждебную политику правительств этих стран по отношению к Советскому Союзу»⁹⁶. Далее — негативное отношение советской общественности к панславистской идеологии якобы пропагандировавшейся дореволюционными славистами, приводя обвинения М. Н. Покровского.

Автор справедливо отметил также в числе негативных факторов ликвидацию материальной базы славяноведения — нарушение книготорговых и книгообменных связей во время Первой мировой войны и революции, прекращение издания научных журналов, закрытие славистических кафедр в результате преобразования университетов, Отделения русского языка и словесности и Комиссий в Академии наук. Эмиграция крупных славистов, научная переориентация многих оставшихся, отсутствие личных контактов с зарубежными учеными также не способствовали развитию славистики в СССР⁹⁷.

Если негативные факторы, к сожалению, этим не исчерпывавшиеся, так или иначе уже были сформулированы в литературе, то факторы, благоприятствующие развитию славяноведения, А. Н. Горяинов определил впервые (хотя их в дальнейшем не приводил, так как в историографии постепенно утверждалась констатация лишь негативной стороны развития этой отрасли науки). Автор полагал, что эти факторы связаны «с воплощением в жизнь национальной программы партии и принципов пролетарского интернационализма»⁹⁸. Если в статье И. М. Белявской и И. Д. Очака 1966 г. только намечался пласт историко-славистической литературы, характеризующий деятельность славянских политэмигрантов, связанных с Коминтерном в СССР, то несомненной заслугой А. Н. Горяинова был детальный обзор их трудов и публикаций документов, касавшихся в основном проблематики Нового и новейшего времени, рабочего и коммунистического движения, причем как в России, так на Украине и Белоруссии. Впервые в нашей историографии автор охарактеризовал деятельность организационных центров по подготовке квалифицированных национальных кадров, действовавших на территории СССР и их изданий — это, в частности, Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, где существовали польский и болгарский секторы, болгарские центры на Украине, Институт мирового хозяйства и мировой политики, Польский институт пролетарской культуры на Украине, польский отдел в Институте белорусской культуры в Белоруссии и пр.

В отличие от И. М. Белявской А. Н. Горяинов признавал «большой вклад зарубежных ученых-марксистов в создание советского славяноведения»⁹⁹.

Сосредоточившись на рассмотрении славистической деятельности политэмигрантов, А. Н. Горяинов лишь обозначил деятельность академических структур, согласившись с К. И. Логачевым, что «уже в первый период своей истории советское славяноведение <...> было осязательно комплексным и разносторонним, т. е. уже обладало теми характеристиками, которые типичны для современного советского славяноведения» и что академические Комиссии стремились к преодолению «филологической ограниченности и обращались

к изучению современного славянства»¹⁰⁰. В дополнение к Логачеву автор охарактеризовал работы по истории славян, появившиеся в академических и неакадемических изданиях не только России, но и Украины и Белоруссии.

Пафос статьи А. Н. Горяинова заключался в том, чтобы показать, что советская славистика в 20–30-е гг. довольно успешно развивалась, несмотря на действие негативных факторов, из которых пока исключались репрессии. Основанием для такого вывода служили и цифры выпускаемой продукции. Автор насчитал 280 работ только по художественной литературе славянских народов. Он указал, что из славистов «старой школы» только А. И. Степович и А. Н. Ясинский остались на прежних методологических позициях, в то время как Н. С. Державин, К. А. Пушкаревич, А. М. Селищев, В. Г. Чернобаев успешно овладевали азами марксизма-ленинизма и способствовали формированию нового поколения славистов (М. В. Миско, Л. В. Разумовская, А. А. Савич).

Картина в целом оптимистического развития отечественной славистики межвоенного периода, разумеется, исключала какой-либо посыл о ее возрождении в конце 30-х гг., хотя автор в другом контексте все же отметил, что в 1939 г. «наметился перелом в развитии советской славистики»¹⁰¹.

Столь же оптимистический взгляд на развитие советской славистики в 20–30-е гг., столь характерный для позднебрежневской эпохи, был выражен во введении «Вклад советской науки в изучение истории зарубежных славян» к биобиблиографическому словарю «Историки-слависты СССР» (М., 1981). Авторами вводного очерка выступили: А. Н. Горяинов, В. А. Дьяков, Г. Г. Литаврин, А. Я. Манусевич, А. Е. Москаленко, И. И. Поп, С. И. Сидельников, Г. И. Чернявский. Здесь были подытожены результаты предшествующих исследований в области историографии, говорилось о развитии историко-славистических исследований в университетах и Академии наук с широким обзором работ славянских политэмигрантов, выявлялась тематика и общая направленность исследований. К сожалению, авторы обошли столь важный вопрос о негативных и позитивных факторах в развитии славяноведения данного периода, но пришли к выводу о «разной интенсивности» изучения различных зарубежных славянских стран. По их мнению, «наибольшие успехи были достигнуты в исследовании истории Польши, очень мало было создано работ по истории Чехословакии и Югославии. При этом если историки Польши уделяли внимание как средневековой, так и новой и новейшей польской истории, историки Чехословакии занимались преимущественно средневековьем, историки Болгарии и Югославии — новым временем и современными событиями»¹⁰².

Авторы определили начальный этап истории советского славяноведения 1917–1945 гг., включив в него годы войны и затушевав тем самым значение 1939 г. для возрождения славистики. Они традиционно полагали, что «новый импульс развитию славистических исследований на основе марксистско-ленинской теории дало принятое в 1934 г. постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР „О преподавании гражданской истории в школах СССР“»¹⁰³. Тем не менее в очерке констатировалось, что с 1939 г. «изучение славянской истории поднялось на новую ступень», чему способствовало создание славистических подразделений в МГУ и АН СССР¹⁰⁴ и подъем исследований по истории славянских народов.

На исходе «перестройки» в 1989 г. стало возможно появление статьи С. Б. Бернштейна «Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е гг. XX в.)», которая знаменовала собой важный поворот в развитии исследований межвоенного периода. Он первым поднял вопрос о волнах репрессий против славистов, принятых властями в 30-е гг., правда о которых долго скрывалась от общественности. Ученый, основываясь в основном на собственных воспоминаниях, впервые откровенно написал, что под колесо репрессий попали многие ведущие слависты СССР, оставшиеся на родине. Среди них: М. Н. Сперанский, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, А. М. Селищев, В. В. Виноградов, В. Ф. Ржига, И. Г. Голанов, П. А. Расторгуев, В. Н. Сидоров, Ю. М. Соколов, А. И. Павлович, Н. И. Кравцов. При этом он назвал имена исключительно филологов. Написал автор и о характере необоснованных обвинений — всем им приписывалось участие в некоей антисоветской организации, ставившей перед собой задачу свержения Советской власти и восстановления монархии. Во главе её филиала в СССР якобы стоял М. Н. Сперанский, а венский центр возглавлял «белоэмигрант» князь Н. С. Трубецкой.

От взгляда С. Б. Бернштейна не укрылась и такая деталь, подтвержденная затем документально, что с приходом к власти фашистов в 1933 г. обвинения славистов в намерениях реставрации монархии отошли на второй план, на авансцену же выступили обвинения в адрес самой славянской филологии, которая якобы «льет воду на мельницу фашистам». Этот постулат был положен в основу обвинительного заключения против Н. И. Кравцова. Особо одиозным стало заказное выступление Д. Д. Димитрова в Институте языка и мышления АН СССР в Ленинграде «Славянская филология на путях фашизации» в 1935 г., где прямо указывалось, что эта наука «в качестве своей теоретической базы имеет в настоящее время идеализм фашистского толка» и «врастает в фашизм», тем самым теряя право называться наукой¹⁰⁵. Автор сообщил, что репрессии не пощадили впоследствии и самого рыяного обвинителя. Из содержания статьи

становилось ясно, почему советская общественность долгое время была настроена настороженно или вообще отрицательно к славистике, о чем глухо неоднократно писалось в литературе.

Автор пришел к выводу об упадке исследований по славянской филологии в середине 30-х гг.: «Жестокий каток прошел в 30-е гг. по славяноведению в нашей стране. В равной степени это коснулось всех его разделов и всех его научных центров. В Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Минске на длительный срок прекратилось преподавание славяноведческих дисциплин»¹⁰⁶. Возрождение славянской филологии в стране Бернштейн справедливо относил к 1943 г., когда было решено открыть соответствующую кафедру на филологическом факультете МГУ, на следующий год в ЛГУ, позднее в других университетах страны¹⁰⁷.

Статья С. Б. Бернштейна имела широкий общественный резонанс в славистических кругах и вдохновила исследователей на более детальную разработку темы «репрессированная славистика» (аналогичные работы появились в конце 1980–1990-х гг. и в области других научных дисциплин). Об этом писали на основе архивных материалов следственных органов А. Н. Горяинов и М. А. Робинсон в паре с Л. П. Петровским¹⁰⁸. Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов издали книгу «Дело славистов» (СПб., 1994). Был опубликован сборник документов «Академическое дело 1929–1931 гг.» (СПб., 1993). В указанных работах впервые были преданы гласности основные сфабрикованные против славистов «дела» — «академическое дело» 1929 г. академика С. Ф. Платонова, по которому проходили С. В. Бахрушин, В. Н. Бенешевич, Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров, М. К. Любавский, С. А. Никитин, В. И. Пичета, Е. В. Тарле. По «делу славистов» 1933–1934 гг. проходили Д. Д. Димитров, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, К. А. Копержинский, В. Н. Кораблев, Н. И. Кравцов, А. И. Павлович, В. Н. Перетц, А. М. Селищев, М. Н. Сперанский, Н. Л. Туницкий, причислявшиеся к несуществующей «Российской национальной партии», якобы стремившейся к реставрации монархии в стране. В статье А. Н. Горяинова впервые говорилось и о репрессиях по отношению к славяноведам политэмигрантам из славянских стран.

Определенным итогом осмысления развития советского славяноведения стал «Краткий обзор основных этапов истории советского славяноведения», предваряющий библиографический словарь «Славяноведение в СССР. Изучение южных и западных славян» (N.-Y., 1993).

Авторы (Е. П. Аксенова, А. Н. Горяинов, В. А. Дьяков, В. Э. Орел, М. А. Робинсон, Е. А. Хелимский) исходили из широкого понимания предмета славяноведения, включая в него разноступенчатое изучение зарубежных (до распада СССР) славян. В очерке выделено четыре этапа развития советского славяноведения:

1917–1941; годы Великой Отечественной войны; первое послевоенное двадцатилетие; период с середины 60-х по середину 80-х гг.¹⁰⁹ К сожалению, конец 1930-х гг. в качестве определенного рубежа, к чему подводила предшествующая литература, авторами не рассматривался.

В очерке справедливо констатировались трудности первых лет развития советской славистики: голод и разруха периода Гражданской войны, эмиграция, закрытие славистических кафедр и циклов. Традиционно отмечалось негативное отношение советской общественности к славяноведению (из-за принадлежности славистов к буржуазным партиям и пропаганды панславизма). Тем не менее авторы пришли к выводу о том, что организационные основы советского славяноведения начали складываться уже в 20-е гг., тогда же началось активное освоение марксистской методологии, чему активно содействовали коммунисты-политэмигранты из славянских стран, осмысливавшие «проблемы истории их революционного и рабочего движения, политическое положение и культурное развитие в современную эпоху»¹¹⁰. Отмечались нетерпимость и пренебрежение к славяноведению адептов «школы» М. Н. Покровского.

В обобщающем очерке впервые отмечался разгул политических репрессий в 30-е гг., от которых пострадали историки — М. К. Любавский и В. И. Пичета, филологи — В. В. Виноградов, Н. Н. Дурново, Г. А. Ильинский, Н. И. Кравцов, М. Н. Сперанский, политэмигранты-слависты — Б. Будкевич, Т. Домбаль, Е. Пшибышевский, Х. Штейн (Польша), И. Василев, Д. Гачев (Болгария), Ф. Филипович (Югославия) и др.¹¹¹

Авторы, опираясь на исследования К. И. Логачева, подчеркнули плодотворную деятельность славистических комиссий АН СССР, комплексный характер Института славяноведения в Ленинграде и политические причины его закрытия.

Не выделяя 1939 г. как начало нового этапа в развитии славяноведения, авторы, тем не менее, отметили позитивное значение в его истории образования славистических центров в АН СССР и МГУ, справедливо связав их возникновение с международной обстановкой кануна Второй мировой войны, которая «стимулировала интерес советской дипломатии, а вслед за нею и общественности к славянским странам»¹¹². Вопреки начальному постулату об особом периоде 1941–1945 гг. в очерке отмечалось, что именно к 1939 г. созрели «объективные условия для важных изменений как научного, так и организационного характера» в развитии советского славяноведения. В то же время период Великой Отечественной войны рассматривался авторами только как деформация «естественного процесса развития советского славяноведения». Поэтому ни о каком возрождении речь в очерке не шла, хотя в качестве стимулов его развития

указывалась «совместная борьба славянских народов против гитлеровского фашизма, неуклонно расширявшееся политическое, экономическое и культурное сотрудничество между ними»¹¹³.

Биобиблиографический словарь рассматривался сотрудниками сектора В. А. Дьякова как важный подготовительный материал к предполагавшейся коллективной монографии, посвященной истории советского славяноведения с 1917 по 1945 гг. При этом А. Н. Горяинов взял на себя изучение развития университетской славистики на основе архивных документов и материалов периодики в 20-е — начале 40-х гг., охарактеризовав, в частности, славистические (посвященные в основном восточным славянам) курсы В. И. Пичеты в предвоенные годы¹¹⁴. М. А. Робинсон погрузился в исследование трагических судеб представителей академической элиты (преимущественно филологов-славистов, связанных с ОРЯС)¹¹⁵ на основе их хранящегося в архивах эпистолярного наследия. Е. П. Аксенова изучала состояние академического славяноведения в 30-е гг., обнаружив в ПФ АРАН важные документы — письма академика Н. С. Державина руководителям партии и правительства о необходимости возрождения славяноведения в СССР¹¹⁶. М. Ю. Досталь приступила к анализу развития отечественной славистики в годы Великой отечественной войны и первые послевоенные годы, неизбежно обратившись к вопросу о причинах его возрождения в канун Второй мировой войны¹¹⁷.

В монографии Е. П. Аксеновой «Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е гг.» (М., 2000), суммировавшей предыдущие исследования автора и её коллег, впервые на основе архивных документов была показана деятельность основных славистических центров в СССР (в том числе и в МИФЛИ), а также борьба ведущих советских славистов, в лице академика Н. С. Державина и его коллег, за возрождение практически ликвидированного славяноведения в стенах АН СССР. Автор подробно рассмотрела вопрос об основных объективных факторах, способствовавших возрождению славистики в стране, показав, уже отмеченную в литературе, внутри и внешнеполитическую подоплеку изменения отношения властей к славистике в канун Второй мировой войны, не акцентировав при этом, правда, в заключении роль субъективной составляющей. Автор пришла к справедливому выводу о том, что «рубеж 1930–1940-х гг. — важная веха в истории отечественного славяноведения; это период его возрождения после многих лет гонений, приведших к почти полному затуханию нескольких очагов славистики, пытавшихся сохранить хоть слабые ростки этой науки»¹¹⁸. Славяноведение периода Великой Отечественной войны, внесшей, по мнению автора, «существенные коррективы» в развитие этой науки, отнесено ею

к следующему этапу его истории, хотя он являлся логическим продолжением реалий 1939 г.

Таким образом, проблема возрождения советской славистики в конце 30-х гг. прошлого века, нашла сложное и достаточно противоречивое освещение в отечественной литературе. Долгое время этот феномен вообще игнорировался, так как авторы ставили своей задачей показать бесконфликтный прогресс славистических исследований в СССР. Тем не менее важно отметить наметившуюся в литературе констатацию факта одновременного подъема славистических исследований в области истории и филологии, тесно связанный с созданием определенных центров славистики. Только во времена перестройки, когда стало возможно откровенно писать о репрессиях (под колесо которых попали в том числе и отечественные слависты) и углубленно изучать тяжелые реалии выживания отечественной славистики, приведшие к ее почти полному уничтожению к 1934 г. (зловещим символом данного процесса стало закрытие державинского Института славяноведения в Ленинграде), т. е. показать реальный упадок славистики в СССР, встал вопрос и о его возрождении, интуитивно отмеченный в предшествующей литературе. В связи с этим необходимо, по нашему мнению, пересмотр периодизации отечественного славяноведения, закономерное выделение периода Второй мировой войны как особого этапа его развития, что уже предпринималось в работах В. Д. Королюка. Особой задачей является также систематизация и углубленный анализ объективных и субъективных факторов, способствовавших возрождению отечественного славяноведения в указанный период, определение специфики его развития и пр.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ *Готье Ю. В.* Славяноведение в России и СССР // Из истории университетского славяноведения в СССР. М., 1983. С. 146. (Публикация А. Е. Москаленко).
- ² Там же. С. 157.
- ³ Там же. С. 157–158.
- ⁴ Там же. С. 158.
- ⁵ *Неедлы З.* К истории славяноведения до XVIII века // Исторический журнал. 1941. № 2. С. 81.
- ⁶ Там же.
- ⁷ Там же.
- ⁸ Там же. С. 94.
- ⁹ *Державин Н. С.* Историческая наука у славян и задачи советского славяноведения // Исторический журнал. 1942. № 1. С. 50.

- 10 Там же. С. 51.
- 11 *Пичета В. И., Шустер У. А.* Славяноведение в СССР за 25 лет // 25 лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 223.
- 12 Там же. С. 225.
- 13 Там же. С. 229.
- 14 Там же. С. 235.
- 15 *Пичета В. И.* Академия наук и славяноведение // Вестник Академии наук. М., 1945. № 5–6. С. 173.
- 16 *Державин Н. С.* О задачах советского славяноведения // Славяне. 1947. № 9. С. 4.
- 17 Там же. С. 6.
- 18 Там же. С. 7.
- 19 *Никитин С. А.* Работы советских ученых в области истории и филологии зарубежных славян // Славяне. 1948. № 5. С. 29.
- 20 Там же. С. 34.
- 21 Там же.
- 22 *Сидоров А. Л.* Достижения советской науки в изучении истории славянских народов // Славяне. 1948. № 6. С. 27.
- 23 Там же. С. 14.
- 24 Там же. С. 16.
- 25 Там же. С. 18.
- 26 Там же. С. 27.
- 27 *Маслов Ю. С.* Изучение южных и западных славянских языков в СССР за последние 10 лет. М., 1955. С. 3.
- 28 *Бернштейн С. Б.* Из истории изучения южных славянских языков в России и СССР // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. № 2. С. 150.
- 29 Там же. С. 142, 150.
- 30 *Кондрашов Н. А.* Изучение западнославянских языков в России и СССР // Вопросы славянского языкознания. М., 1957. С. 170.
- 31 Там же. С. 173.
- 32 *Королюк В. Д., Хренов И. А.* Итоги и задачи славистических исследований в СССР (1945–1959) // Вопросы истории. 1960. № 6. С. 117.
- 33 Там же.
- 34 Там же. С. 118.
- 35 Там же.
- 36 Там же. С. 115.
- 37 *Королюк В. Д., Толстой Н. И., Хренов И. А., Шептунов И. М., Шерлаимова С. А.* Советское славяноведение. Краткий обзор литературы. 1945–1963. М., 1963. С. 3.
- 38 Там же. С. 4.
- 39 Там же. С. 4–5.

- 40 Там же. С. 5.
- 41 Там же.
- 42 Там же. С. 53.
- 43 Там же.
- 44 Там же. С. 66
- 45 *Белявская И. М., Очак И. Д.* Некоторые проблемы истории зарубежных славянских народов в советской исторической науке // *Славянская историография.* М., 1966. С. 6.
- 46 Там же. С. 7.
- 47 Там же.
- 48 Там же. С. 11.
- 49 Там же. С. 13.
- 50 Там же. С. 14.
- 51 Подробнее см.: *Досталь М. Ю.* Предмет славистики в работах чехословацких ученых (1945–1984) // *Славяноведение и балканистика в странах зарубежной Европы и США.* М., 1989. С. 144–164.
- 52 *Королюк В. Д.* Советские историко-славистические исследования (1917–1967) // *Советское славяноведение.* 1967. № 5. С. 37.
- 53 Там же.
- 54 Там же. С. 37–38.
- 55 Там же. С. 38.
- 56 Там же. С. 39.
- 57 Там же.
- 58 *Злыднев В. И.* Изучение зарубежных славянских литератур в Советском Союзе (1917–1967) // *Советское славяноведение.* 1967. № 5. С. 53.
- 59 Там же. С. 57.
- 60 Там же.
- 61 *Свирида И. И.* Художественная культура зарубежных славянских народов в советской науке // *Советское славяноведение.* 1967. № 5. С. 67.
- 62 *Бернштейн С. Б.* Советской славянской филологии 50 лет // *Советское славяноведение.* 1967. № 5. С. 79.
- 63 Там же. С. 87.
- 64 Там же.
- 65 Там же. С. 88.
- 66 Там же.
- 67 *Вайнштейн О. Л.* История советской медиевистики. М., 1968. С. 70.
- 68 Там же. С. 71.
- 69 *Советское славяноведение за 50 лет* // *Советское славяноведение.* Материалы IV конференции историков-славистов (Минск 31 января — 3 февраля 1968 г.). Минск, 1969. С. 13.
- 70 Там же.
- 71 Там же. С. 12.

- 72 Там же. С. 13.
- 73 Там же. С. 14.
- 74 Там же. С. 12.
- 75 Славяноведение // СИЭ. 1971. Т. 13. С. 18.
- 76 Там же. С. 19.
- 77 Там же.
- 78 *Логачев К. И.* Отечественная кирилло-мефодиевская текстология в 1910–1920-е гг. (Из истории русской славистики) // Советское славяноведение. 1977. № 4. С. 66–80; Советское славяноведение до середины 1930-х годов // Советское славяноведение. 1978. № 5. С. 91–103.
- 79 *Логачев К. И.* Первый этап развития советского славяноведения: Славистические учреждения Академии наук в 1917–1934 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1979. С. 21.
- 80 Там же. С. 20.
- 81 Там же.
- 82 Там же. С. 22.
- 83 Советское славяноведение. 1981. № 1. С. 78–92.
- 84 *Дьяков В. А.* Основные черты славистики в межвоенный период // Zeitschrift für Slawistik. Berlin, 1982. Bd. XXVII. Hf. 1. S. 29–37.
- 85 *Дьяков В. А.* Важнейшие черты развития славяноведения в 1938–1939 годах // Słowianoznawstwo w okresie międzywojennym (1918–1939). Wrocław, 1988. S. 9–28.
- 86 *Дьяков В. А.* О некоторых аспектах развития славистики в 1918–1939 годах // Советское славяноведение. 1981. № 1. С. 82.
- 87 Там же. С. 88.
- 88 Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т. 3. С. 6–7.
- 89 Труды Института славяноведения. Л., 1932. Т. 1. С. 1–14.
- 90 *Дьяков В. А.* О некоторых аспектах... С. 89.
- 91 Там же. С. 91.
- 92 *Пичета В. И.* К истории славяноведения в СССР // Исторический журнал. 1941. № 3. С. 62.
- 93 *Дьяков В. А.* О некоторых аспектах... С. 91.
- 94 Там же. С. 92.
- 95 *Дьяков В. А.* Важнейшие черты развития славяноведения... С. 28.
- 96 *Горяинов А. Н.* Советская славистика 1920–1930-х годов // Исследования по историографии славяноведения и балканистики. М., 1981. С. 6.
- 97 Там же. С. 6–7.
- 98 Там же. С. 7.
- 99 Там же. С. 10.
- 100 Там же. С. 14.
- 101 Там же. С. 11.

- ¹⁰² Историки-слависты СССР. Биобиблиографический словарь. М., 1981. С. 14, 15.
- ¹⁰³ Там же. С. 9.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 15.
- ¹⁰⁵ *Бернштейн С. Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е гг. XX в.) // Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 82.
- ¹⁰⁶ Там же.
- ¹⁰⁷ Там же. С. 77–78.
- ¹⁰⁸ *Горяинов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920–1940-х гг. Некоторые неизвестные страницы из истории советской науки // Советское славяноведение. 1990. № 2; *Горяинов А. Н., Петровский Л. П.* Неизвестные страницы биографии С. А. Никитина (По материалам ОГПУ начала 30-х гг.) // Балканские исследования. Путь ученого: К 90-летию со дня рождения С. А. Никитина. М., 1992. Вып. 14; *Робинсон М. А., Петровский Л. П., Дурново Н. Н., Трубецкой Н. С.* Проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ — НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4; *Горяинов А. Н., Петровский Л. П.* Тоталитаризм и славяноведение: к изучению источников по истории советской науки 20-х — начала 50-х гг. // Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 1995 и др.
- ¹⁰⁹ Краткий обзор основных этапов истории советского славяноведения // Славяноведение в СССР. Изучение южных и западных славян. Биобиблиографический словарь. N.-Y., 1993. С. 6.
- ¹¹⁰ Там же. С. 7.
- ¹¹¹ Там же. С. 8.
- ¹¹² Там же.
- ¹¹³ Там же. С. 9.
- ¹¹⁴ *Горяинов А. Н.* Славяноведение на историческом факультете МГУ (1934–1941 гг.) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х гг. XX в. М., 1992; Трактовка славянской взаимности и славяноведения советскими учеными (1920–1930-е гг.) // Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики. Roma, 1994 и др.
- ¹¹⁵ *Робинсон М. А.* Судьбы отечественного славяноведения глазами ученого (По письмам Г. А. Ильинского) // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х гг. XX в. М., 1992; Перелом в довоенном советском славяноведении. Идеолого-теоретические аспекты // Идея славянской взаимности и ее роль в развитии истории славистики. Roma, 1994; Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение: 1917 — начало 1930-х гг. М., 2004.
- ¹¹⁶ *Аксенова Е. П.* «Изгнанное из стен Академии»: Н. С. Державин и академическое славяноведение в 30-е гг. // Советское славяноведение. 1990. № 5; Из истории советской славистики в 30-е гг. // Советское славяноведение. 1991. № 5; Академическое славяноведение в предвоенный период (Документальные этюды из истории славяноведения в конце

1930-х — начале 1940-х гг. // Славистика СССР и русского зарубежья 20–40-х гг. XX в. М., 1992.

- ¹¹⁷ *Досталь М. Ю.* Неизвестные документы по истории создания Института славяноведения АН СССР // Славяноведение. 1996. № 6. С. 3–25; Идея славянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. первый общеславянских конгресс ученых славистов // Славянский вопрос: вехи истории. М., 1997. С. 182–203; Сектор славяноведения Института истории АН СССР // Славянский альманах 2002. М., 2003. С. 253–290; Кафедра славянской филологии МГУ (1943–1948): К 60-летию основания // Славяноведение. 2003. № 5. С. 32–47; Кафедра истории южных и западных славян МГУ накануне и в годы Великой Отечественной войны (К 65-летию ее основания) // Славяноведение. 2004. № 4. С. 48–67 и др.
- ¹¹⁸ *Аксенова Е. П.* Очерки истории отечественного славяноведения. 1930-е гг. М., 2000. С. 22.

«Неистовая, ожесточенная война за существование».
Национальные движения народов Югославии
1941—1945

В результате государственного переворота 27 марта 1941 г. к власти в Белграде пришло правительство генерала Душана Симовича¹. Новые власти заявили о своей приверженности протоколу от 25 марта 1941 г. о присоединении Югославии к Тройственному пакту². В ночь с 5 на 6 апреля был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. 6 апреля 1941 г. началась агрессия Германии и ее союзников против Югославии.

После полного поражения югославской армии, 15 апреля король Петр II вместе с правительством Югославии улетел на Ближний Восток под защиту британских войск, с тем чтобы потом перебраться в Лондон³. 17 апреля генерал Данило Калафатович вместе с министром иностранных дел Александром Цинцар-Марковичем поставили свои подписи под актом о капитуляции. «Первая», королевская Югославия, как выяснится позднее, навсегда прекратила свое существование как независимое, суверенное и целостное государство. Ее территория была поделена между гитлеровской Германией и ее союзниками — муссолиниевской Италией, хортистской Венгрией и царской Болгарией.

Западная часть Балканского полуострова в качестве оккупационной зоны была отдана по соображениям политического характера итальянцам. Демаркационная линия между итальянской и немецкой зонами проходила от Загреба через Сараево, Рудо и далее по гребню горного массива Пинд. Сербию, как наиболее важную в стратегическом отношении территорию, Германия оставила под своим непосредственным управлением. Банат остался в составе Сербии, но власть в нем находилась в руках представителей немецкого национального меньшинства. Сербию и Банат оккупанты разделили на четыре военно-административных округа — Белград, Врнячка Бяня, Ужице и Ниш⁴. Бачка была отдана Венгрии. Область Косово и Метохия была разделена между Албанией, Сербией и Болгарией. Срем, до 1918 г. входивший в состав автономной Хорватии-Славонии, был присоединен к созданному 10 апреля, сразу же после занятия Загреба германскими войсками, государству НДХ (Nezavisna Država Hrvatska). Его территория, включавшая в себя также и территорию Боснии и Герцеговины, в свою очередь, была разделена на итальянскую

и германскую оккупационные зоны⁵. Во главе государства встал усташский «поглавник» Анте Павелич⁶.

Вардарская Македония «досталась» Болгарии, жаждавшей реванша за поражения во Второй Балканской и Первой мировой войнах, а также Италии. Болгарская зона оккупации постепенно расширялась и в 1943 г. достигла границ с НДХ. Оккупированные Вардарская Македония и Поморавье, считавшиеся «освобожденными от югославского ига», были включены в состав Болгарии. Словения также оказалась разделенной между тремя «победителями». После раздела на три административные единицы северная ее часть с г. Марибор отошла к Германии, южная — к Италии (так называемая Люблянская провинция), а восточная (Прекмурье) — к Венгрии⁷. Созданные в каждой из областей режимы имели свои особенности: комиссариат, затем правительство — в Сербии, НДХ — в Хорватии, «консульта» — в Люблянской провинции, временный административный комитет — в Черногории, гражданский комиссариат для Косово и Метохии, Санджака, Дебора и Струги, сформированной албанскими квислингскими властями — в одной из частей разделенного Косово и т. д.⁸ Как подчеркивают словенские и македонские историки, присоединение оккупированных областей к государствам-агрессорам и их включение в иную правовую, политическую, экономическую и финансовую системы противоречило нормам международного права⁹.

Молниеносное поражение в апрельской войне 1941 г. привело Югославию к распаду и началу, по сути дела, трех войн: за освобождение страны от германских, итальянских, венгерских, болгарских оккупантов; между созданными оккупантами псевдонезависимыми моноэтничными государствами; гражданской войны между коммунистами и антикоммунистами¹⁰. Коллаборационисты из созданных оккупантами «государств» взяли на вооружение и фашистские расовые теории, и традиции собственного крайнего национализма. Четники и «недичевцы» в Сербии, усташы в Хорватии¹¹, бойцы различных националистических мусульманских, словенских, македонских и албанских формирований непрерывно воевали между собой¹². В условиях оккупации и среди сербов, и среди хорватов, и среди словенцев, и среди боснийских мусульман нашлись силы и деятели, стремившиеся использовать представившуюся возможность для достижения национального самоопределения в виде создания своих псевдонезависимых «этнически чистых», т. е. моноэтничных государств на великодержавной основе. Для мирного населения, независимо от национальности, вооруженная борьба различных военных формирований означала постоянную угрозу физического уничтожения по этническому или религиозному признаку, политических репрессий, грабежа и насильственной мобилизации. Эта угроза

исходила и от иностранных оккупантов, и от сербских четников, и от хорватских усташей, и от коммунистических партизан Й. Броза Тито, при всем том, что последние, безусловно, были ведущей силой в антифашистском сопротивлении и освободительном движении. Однако линия фронта в гражданской и межэтнической войне на территории Югославии была гораздо более извилистой и скрытой, чем в других странах и в глобальном противостоянии.

Официальная югославская историография считала днями начала восстания 7 июля — в Сербии, 13 — в Черногории, 22 — в Словении и 27 — в Боснии и Герцеговине и Хорватии. Ныне в Хорватии официально отмечается День антифашистской борьбы 22 июня — тогда под городом Сисак произошел первый бой хорватских партизан с оккупантами¹³.

Между великосербским коллаборационизмом и сопротивлением «интегральных югославистов»

Милан Недич: «Мы живем лишь ради Сербии и лишь ради нее умрем».

1 мая 1941 г. оккупантами в Белграде было создано «правительство» Милана Ачимовича. 29 августа 1941 г. ему на смену пришло так называемое правительство Сербии во главе с Миланом Недичем, бывшим генералом югославской армии, некоторое время занимавшим и пост военного министра. Его власть распространялась на территорию вновь созданного образования, охватывавшего Сербию в границах до 1912 г. Оккупанты хотели создать видимость самостоятельности Сербии под эгидой Германии, сформировать «сербские вооруженные силы» и задушить коммунистических партизан руками сербов. Но, как сообщал командующий германскими войсками в Сербии, правительство М. Недича было не в состоянии подавить повстанческое движение, даже несмотря на создание собственной Сербской государственной стражи (СДС — Српска државна стража) и сотрудничество с вооруженными отрядами сербских фашистов во главе с Димитрием Лётичем и с четниками Дражи Михайловича, сторонниками воссоздания королевской Югославии.

В Декларации «правительства национального спасения» от 2 сентября 1941 г., начинавшейся словами «дорогие братья и сестры», новоявленный «спаситель» возвестил сербам, что «после неполных пяти месяцев несчастливо начавшейся и еще более несчастливо закончившейся войны, в которой наш народ утратил свободу и независимость и все завоевания своей столетней тяжелейшей борьбы, Сербия и сербский народ обрели свое правительство, которое самостоятельно, под наблюдением германского командующего будет

руководить страной»¹⁴. Пытаясь оправдать свой коллаборационизм, М. Недич утверждал, что новое правительство пришло для того, чтобы «собственными силами сербского народа воспрепятствовать страданиям и возможной гибели сербского народа во имя чуждых интересов и под руководством иностранных агентов»; т. е. его «первой и самой важной задачей является спасение своей страны и своего народа» от угрозы со стороны «подрывных элементов», победа которых приведет страну к «анархии и гибели». При этом глава «правительства» подчеркивал, что, «когда будет установлен мир и порядок, правительство посвятит себя экономическому и социальному строительству Сербии, и, таким образом, делу спасения ядра сербского народа ради его единого и свободного участия в будущем мирном строительстве Новой Европы — общего отечества, которое должно обеспечить каждому народу широкие возможности и свободное развитие своих собственных сил на общее благо»¹⁵.

Идеалом М. Недича была «Великая Сербия» как крестьянское государство. Его экономической и социальной основой должна была стать задруга (т. е. большая патриархальная семья). Естественно, эти планы не должны были противоречить замыслам Гитлера и не могли осуществиться без помощи Германии.

В концентрированном виде взгляды Милана Недича были изложены в написанном им вместе со своим братом Милутином сочинении «Сербы и сербские земли. Этнографические проблемы сербской нации». На основании этого «исследования» М. Недич в 1941 г. составил меморандум, направленный верховному коменданту Сербии германскому генералу П. Бадеру и министру иностранных дел Германии Иоахиму фон Риббентропу. В нем М. Недич ходатайствовал перед германскими властями о расширении границ оккупированной Сербии и присоединении к ней территорий, на которых проживало более или менее значительное сербское меньшинство, путем обмена территорий с НДХ А. Павелича. Свою позицию он обосновывал тем, что по отношению к сербам, значительная часть которых проживала вне границ Сербии, совершались преступления, и тем, что в Сербию ежедневно прибывали тысячи беженцев со всех концов оккупированной Югославии. Это ухудшало и без того катастрофическое положение в экономике Сербии¹⁶.

Перечислив области Югославии, в которых проживали сербы — Воеводина, Срем, Славония, Хорватия, Далмация, Босния и Герцеговина, — М. Недич «подсчитал», что вне границ собственно Сербии проживало 2 337 936 сербов, т. е. более 31 % всех сербов. Он полагал, что тяжелые последствия разъединения сербского народа были бы ликвидированы «формированием интегрального единства сербско-хорватского народа».

М. Недич предложил свое решение проблемы: определить территорию, «принадлежащую» сербской нации, добиться переселения на нее всех сербов, остающихся вне Сербии, и выселить оттуда «инородные элементы, проживающие ныне на территориях, которые должны принадлежать сербской нации». При этом автор исходил из того, что за редким исключением все православные по вероисповеданию являются сербами, а все католики — хорватами.

На первом этапе предполагалось присоединение к Сербии части Боснии и Герцеговины, на втором — Срема и части Далмации, а на третьем — территорий, из которых прибыло наибольшее количество беженцев. План предусматривал также проведение новых границ, в связи с чем предусматривалось выселение католиков из Герцеговины, Боснии, Далмации и Срема — всего 771 168 чел. На их место должны были переселиться сербы из тех же областей и Хорватии общим числом 750 263 чел. Во многом это было проявлением старых сербско-хорватских противоречий относительно этнотерриториального размежевания, а также взаимных претензий на территорию Боснии и Герцеговины. Такое решение, полагал М. Недич, приведет к «реальному объединению», к «созданию условий для интегрального освобождения сербской нации». Но эти устремления М. Недича противоречили как интересам Германии и ее союзников, прежде всего интересам НДХ А. Павелича.

Позднее М. Недич выдвинул идею создания федерации Сербии, Черногории и Санджака. На пост президента он предлагал свою кандидатуру. Предполагалось, что это будет экономическая и финансовая уния. Исполнительные органы и вооруженные силы должны были остаться под контролем центра. Но и этот план не получил одобрения Берлина.

Проблема коллаборационизма в поверженной Югославии в период Второй мировой войны чрезвычайно сложна. Сербский, хорватский, словенский и иной коллаборационизм в первую очередь питался межнациональными противоречиями и этнотерриториальными претензиями, возникшими еще в XIX в. и только усилившимися в королевской Югославии. Не последнюю роль играла и политика оккупационных властей, основанная на старом безотказном принципе «разделяй и властвуй», а так же факт оккупации Югославии войсками четырех государств, между которыми отношения также были весьма непростыми. Российский исследователь М. И. Семиряга справедливо утверждал, что «сербским националистам была глубоко безразлична судьба Югославии» как многонационального государства¹⁷.

В январе 1945 г., когда исход Второй мировой и Народно-освободительной войн уже не вызывал сомнений, а само «правительство» бежало из Сербии в Австрию, М. Недич обратился с меморандумом

к германским властям, пытаюсь сохранить не только свое политическое, но и физическое существование. Даже находясь на краю пропасти, в одном из последних своих документов он упрекал своих хозяев в том, что они до сих пор не известили «сербский народ» о том, «какие границы Сербии предполагает Германия». Это, утверждал он, «есть самый больной вопрос, который оказывает наибольшее влияние на характер сотрудничества Сербии и Германии». Подчеркивая общность интересов «сербского и немецкого народов», бежавший «премьер» упорно предлагал себя (и «свой» народ) потерпевшей полное поражение фашистской Германии и твердил, что «сербский народ трудолюбив, конструктивен, позитивен, способен к образованию государства и в своей наилучшей части не заражен никакой деструктивной идеологией» (т. е. «большевизмом». — С. Р.), а также «претендует на то, что он является на Балканах самым способным к здоровой, позитивной и конструктивной политике порядка, труда и прогресса [народом]». Более того, он утверждал, что «во время оккупации Сербии с 1941 по 1944 г. сербский народ, хотя и находился в тяжелейшей военной ситуации, был лояльным [союзником] (в тексте, по-видимому, ошибка: „perrijateljem“ — „врагом“. — С. Р.) Великого Германского Рейха». Но сейчас сербский народ, подпавший «под советскую оккупацию и коммунистический режим, находится в чрезвычайно тяжелой ситуации»: «на его шею повисли его кровные враги — Советы, коммунисты, хорваты и болгары». Поэтому М. Недич из обоза германской армии предлагал Германии сотрудничество в будущей «общеευропейской войне против коммунизма»¹⁸.

Противоречия режимов М. Недича в Белграде и А. Павелича в Загребе касались и этнотерриториальных проблем (оба стремились к созданию крупных этнически «чистых» государств), и соперничества за «влияние» на германские и итальянские власти. Это им не мешало, впрочем, установить между собой некое подобие дипломатических отношений, и в Белграде почти до самого конца обоих режимов просуществовало консульство НДХ¹⁹.

М. Недич и его сторонники для осуществления своих национально-государственных целей и для борьбы с коммунистами пошли на сотрудничество с оккупантами. Правительство М. Недича использовало также некоторые идеи и помощь откровенного сербского фашиста Д. Лётича. По мнению Н. Н. Протопопова, одного из офицеров состоявшего из эмигрантов и подчинявшегося германскому командованию Русского корпуса, Д. Лётич был не только «большим сербским патриотом», но и «русофилом»²⁰.

Сербский поклонник идей Гитлера и Муссолини, ставший опорой правительству М. Недича, Д. Лётич писал в одной из своих статей об отличиях идеологии возглавлявшегося им движения «Збор»

от гитлеризма и итальянского фашизма: «Збор» возник спонтанно в условиях наших общественно-политических трудностей без влияния чужих решений, методов и опыта, в отличие от фашизма, который основывается на чисто языческой концепции Древнего Рима и древних германцев: фашизм — это обожествление государства, а гитлеризм — это обожествление расы. <...> Для славян наряду с государством и раса имеет большое значение. Мы против парламентаризма, но не против парламента; мы не против полного и реального участия представителей нации в законодательном процессе и наблюдении за деятельностью правительства. <...> Нынешний парламентаризм во всем мире создает запутанную систему безответственности власти. Этому противостоит наша позиция: абсолютная и реальная власть и такая же ответственность». Забегая немного вперед, скажем, что руководитель четнического движения Д. Михайлович и его сторонники выступали оппонентами Д. Лётича не из-за его крайнего национализма, а из-за его негативного отношения к парламентской демократии, «последовательное осуществление» принципов которой они на словах считали «необходимым во всех областях государственного управления»²¹.

Для реализации своих целей Д. Лётич создал Сербский добровольческий корпус, в который в основном вошли члены его «патриотического» движения «Збор». По мнению русского эмигранта — участника событий тех лет, именно «когда части СДК были сформированы, обучены и вступили в ряды активных борцов против партизан Тито — „малая война“ обратилась в гражданскую»²².

Дража Михайлович: «За короля и отечество»

М. Недич и его противник на сербском политическом пространстве Д. Михайлович были великосербскими националистами, занимавшими высокие посты еще в королевской Югославии. Их позиции во время войны различались в том, что первый предполагал для создания Великой Сербии опереться на германские штыки, другой, в борьбе за восстановление централистской «старой» Югославии, разделенной по этнотерриториальному принципу, первоначально исходил из идей сопротивления оккупантам. Отношения между ними были противоречивыми — от попыток сотрудничества до непримиримой вражды. Во всяком случае, современный автор, не скрывающий своих симпатий к великосербскому национализму, горестно замечает, что в конце концов М. Недич и Д. Михайлович «пошли разными путями, что нанесло непоправимый ущерб сербскому народу и югославскому государству, оказавшимся под властью Й. Броза Тито, коммуниста и хорвата по национальности»²³. На встрече с представителями германского командования 11 ноября

1941 г. Д. Михайлович, которого немцы оценили как «сербского националиста», заявил, что «генерал Недич, открыто встав на сторону оккупантов, совершил ошибку и что он не собирается подобную ошибку повторять»²⁴. «В предательстве своего собственного народа никто не зашел так далеко, как Милан Недич и его правительство спасения», — восклицал автор статьи, опубликованной в газете «Одъек слободних планина» 10 февраля 1944 г.²⁵ В то же время «Дража искал контактов с Лётичем, а не Лётич с Дражей. И связь была установлена»²⁶.

Противоречивость сути четнического сопротивления как явления и его положения, считает современный сербский историк М. Зечевич, состояла еще и в том, что часть присоединившихся к нему бывших военнослужащих была патриотически настроена; однако сам «генерал Дража» был представителем королевства Югославии, значительная часть государственного аппарата которого отказалась от сопротивления и перешла на службу марионеточному режиму М. Недича²⁷.

Можно ли генерала Драголюбa (Дражу) Михайловича назвать «прозападно настроенным сербским монархистом, антикоммунистом и антифашистом, боровшимся за установление после войны улучшенного демократического порядка, при котором сербы сохранили бы свою центральную роль»²⁸? Мог ли он быть реальным и искренним союзником «западных демократий»?

Действительно, после капитуляции югославской армии ее бывший полковник Д. Михайлович и его сторонники скрывались в районе Равной Горы. Поскольку Д. Михайлович и его единомышленники, в отличие от коммунистов, не были связаны советскими обязательствами по договору о ненападении с Германией, их столкновения с оккупантами начались уже в мае 1941 г., до нападения Германии на СССР²⁹. От имени эмигрировавшего в Лондон правительства короля Петра II они начали устанавливать связи с монархистами и представителями кругов, ориентированных на Англию и США, а также формировать вооруженные отряды четников. Они окончательно были объединены под командованием Д. Михайловича, ставшего военным министром лондонского правительства и генералом, в конце 1941 — начале 1942 г. Его отряды получили статус «Королевской армии на Родине». При этом, по-видимому, нельзя полностью и во всех случаях отождествлять позиции и идеологию эмигрантского королевского правительства Югославии и четнического движения в Сербии и Боснии и Герцеговине, которое также не было единым ни идеологически, ни организационно.

Осенью 1941 г. по инициативе Верховного штаба партизанских сил состоялись две встречи Й. Броза Тито и Д. Михайловича. Политические противоречия между сторонниками Д. Михайловича

и Й. Броза Тито, как и, вероятно, личные амбиции обоих лидеров, сказались почти сразу; оба по-разному представляли себе и будущее восстановленного югославского государства, став в итоге непримиримыми врагами. «С коммунистами-партизанами не может быть никакого сотрудничества, так как они борются против династии, за осуществление социальной революции, что никогда не может быть нашей целью, ведь мы — единственно и исключительно только солдаты и борцы за короля и отечество», — говорилось в инструкции Д. Михайловича от 20 декабря 1941 г. Для борьбы с коммунистическими партизанами Д. Михайлович вступил в контакт с созданной германским оккупационным командованием администрацией — «правительством национального спасения» М. Недича — и неизбежно стал сотрудничать с германскими и итальянскими оккупационными властями, а также и усташским государством — НДХ³⁰.

Главными составляющими идеологии движения четников был великосербский шовинизм, борьба против хорватов и боснийских мусульман вплоть до их истребления. В их представлении вся территория Югославии считалась «Великой Сербией», за исключением районов с подавляющим большинством хорватского населения. Целью четников было восстановление монархии и довоенного социального и политического строя, а идеалом — создание «Великой Сербии» в рамках «Великой Югославии», очищенной от инонациональных меньшинств, и обеспечение, таким образом, доминирующего положения Сербии на Балканах.

Главным идеологом движения Дражи Михайловича стал Стеван Мольевич. Его перу принадлежит известный труд под названием «Гомогенная Сербия», написанный в июне 1941 г. В нем прямо говорилось, что «первым и главным долгом сербов является создание и организация гомогенной Сербии, которая охватила бы всю сербскую этническую территорию, и обеспечение этой Сербии необходимых транспортных коммуникаций и экономического пространства, которое гарантировало бы ей свободное хозяйственное, политическое и культурное развитие на все времена»³¹. В основание этой идеи легла мысль о том, что вследствие своей долгой и упорной борьбы против турок, а также сопротивления германской экспансии на Балканах, сербы имеют право на положение главенствующей нации в регионе³².

Добиться этой цели, по мнению С. Мольевича, можно было исключительно путем взаимного обмена сербского и хорватского населения. Это, считал идеолог четничества, могло бы не только улучшить отношения между двумя народами, но и «отвести угрозу повторения ужасных преступлений во время прошлой (т. е. Первой мировой. — С. Р.) войны на территориях, где сербы и хорваты проживают попеременно и где хорваты и мусульмане приступили

к планомерному истреблению сербов». (Интересно, что в данном контексте, когда ему надо было обозначить врага, идеолог сербского национализма признавал факт существования боснийских мусульман, что во многих других случаях отрицалось не только им, но и современными сербскими националистами!)³³

Программа четников, в частности, предусматривала создание однородной в этническом отношении Сербии, территория которой охватила бы всю их этническую территорию, где бы они только ни проживали, будучи даже в абсолютном меньшинстве. В этом отношении программа С. Мольевича практически не отличалась от планов братьев Недичей. «Нация превыше всего и сербство должно быть важнее любой идеологии, — считали четники. — Наш путь к югославианству лежит через сербство»³⁴.

Главной ошибкой устройства государства, возникшего в 1918 г., С. Мольевич полагал отсутствие в нем фиксированных границ собственно Сербии. По его проекту Сербия должна охватывать территории, завоеванные в Балканских войнах (югославскую Македонию и часть Санджака), Черногорию, часть Боснии и Герцеговины, северную часть Албании, северную Далмацию, «сербскую часть» Лики, Кордуна, часть Славонии. Таким образом, согласно этим планам, «Великая Хорватия», лишившаяся почти половины своих территорий, оказалась бы окруженной «Великой Сербией» и «Великой Словенией»³⁵. Выдвигая эти требования, которые добровольно не могли быть приняты ни одним из соседних сербам народов, С. Мольевич всерьез полагал, что Сербия, «верная своему прошлому и своей миссии на Балканах, и в будущем останется носителем югославянской идеи, первейшим поборником балканской солидарности и принципу: «Балканы — балканским народам». Обосновывая стремление Сербии стать «центром Балкан», он писал, что «время требует объединения небольших государств в более крупные образования, союзы и блоки, а от сербов этого требуют и их друзья». В то же время С. Мольевич резко отзывался о хорватах, словенцах и мусульманах-босняках, которые «вознамерились получить от Югославии все, ничего ей не отдавая»³⁶.

Восстановленная Югославия, согласно его плану, должна была стать федеративным государством, состоящим из трех образований — Сербии, Хорватии и Словении. Когда же все сербские области окажутся в составе единой гомогенной Сербии, считал Мольевич, можно будет подумать и о более тесном сближении с болгарями. «Сильное сербство, Великая Югославия, федеративные Балканы — вот цель нашей национальной борьбы», — провозгласил «Глас равногорске омладине» 1 марта 1943 г.³⁷

Между тем, размышляя о планах послевоенного урегулирования и устройстве Балкан и Югославии, автор газеты «Уединено српство»

писал 23 июля 1944 г., что нельзя повторять ошибок 1918 г. «Основной порок Версальской системы проистекал из неоправданного оптимизма ее творцов. <...> Они верили в силу самоопределения народов: достаточно на руинах отживших империй Австро-Венгрии, России и Турции создать независимые национальные государства, границы которых будут совпадать с этническими, чтобы исчезли все источники недовольства и возможных конфликтов»³⁸.

Премьер-министр правительства в изгнании Слободан Йованович в записке Энтони Идену весной 1943 г., характеризуя «югославское национальное движение», подчеркивал, что «национальное движение военного министра генерала Михайловича объединило вокруг себя весь сербский народ, большую часть словенского народа, и в последнее время к нему начали присоединяться и хорваты». В числе структур этого движения премьер назвал: «Центральный национальный комитет, в который входят сербы из всех областей Югославии и словенцы; Словенскую звезду — Национальный комитет в Словении, в котором объединены все партии, кроме коммунистической, с целью помочь организации югославской армии в Словении; Мусульманскую революционную организацию, во главе которой находятся видные мусульмане, ставящую своей целью помощь отрядам югославской армии в Боснии; через делегатов в Сплите, — говорилось далее в записке, — поддерживается связь с партией д-ра В. Мачека в Хорватии»³⁹.

Считая, что «общественным устройством Югославии, основанным на неограниченном либерализме, в межвоенное время сильные злоупотребляли в ущерб слабым и индивидуумы — в ущерб общности», С. Мольевич предлагал заложить в фундамент общественного устройства обновленной Сербии следующие принципы: «труд должен быть основой, целью и смыслом жизни каждого человека, и он должен вознаграждаться соответственно его качеству и количеству; капитал является средством, при помощи которого сербская нация осуществит свою историческую миссию в области национальной обороны, национальной экономики и национальной культуры, а также обеспечит свое национальное существование; но носителем капитала и инвестиций должно быть в первую очередь государство». При этом, по его мнению, «частный капитал также является национальной собственностью и должен находиться под защитой и под контролем государства для того, чтобы он служил борьбе народа и общества». Подчеркивалась и важность аграрного вопроса для сербов: «сербский вопрос — это крестьянский вопрос»⁴⁰. В резолюции молодежной организации четников провозглашалось требование перехода банков, промышленности и торговли в собственность государства, которое должно находиться в руках четников⁴¹.

Признавая, что «государство должно создать каждому гражданину возможность трудиться и зарабатывать», что «свобода личности и личного имущества должна каждому гражданину быть гарантирована законом», С. Мольевич добавлял: «только этой свободой нельзя злоупотреблять и использовать ее во вред ни другому человеку, ни обществу». Такой же подход демонстрировал он и в вопросе о свободе идей, религии и печати. Печать, по его мнению, должна служить нации и государству, а также «развитию общественной нравственности». Под этими словами вполне мог бы подписаться и Й. Броз Тито, как и любой из коммунистических вождей.

Глава некоммунистического сопротивления Д. Михайлович и сам не был чужд попыткам сформулировать идеологию своего движения. Присущий генералу сербский этнический национализм противоречил его внешне демократическим декларациям, рассчитанным на Лондон и Вашингтон. По-видимому, не без влияния единомышленников Д. Михайловича из Лондонского правительства У. Черчилль во время переговоров с Й. Броз Тито в 1944 г. «высказал мысль, что правильным решением для Югославии была бы демократическая система, опирающаяся на крестьянство и, возможно, какая-то постепенная аграрная реформа там, где наделы слишком малы»⁴². У. Черчилль, как правительство короля Петра II, был противником планов Й. Броз Тито создать федерацию по этнотерриториальному принципу со смешанным населением, обвиняя последнего в антисербских намерениях. Генерал считал, что осуществление этих планов привело бы к разделу сербского народа на четыре федеральных образования⁴³.

Несмотря на ярко выраженную враждебность идеологии великохорватского национализма и практике НДХ, четнические отряды в Боснии и Герцеговине сотрудничали с ненавистными им усташами. Объяснялось это просто — расходясь по всем вопросам с усташами, четники сходились с ними в двух пунктах — ненависти к партизанам и стремлении создать на территории Боснии и Герцеговины свои «этнически чистые» территории. Как заметил Й. Томашевич, «силы хорватских квислингов с января 1942 г. находились под германским командованием; поэтому сотрудничество четников с усташами можно рассматривать как косвенное сотрудничество с немцами»⁴⁴.

Свои планы Д. Михайлович определил еще в декабре 1941 г. Он считал, что главными целями его движения должны быть: «борьба за свободу всей нашей нации под скипетром Его Величества короля Петра II»; создание Великой Югославии и внутри ее — этнически чистой Великой Сербии, охватывавшей Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Срем, Банат и Бачку; борьба за «вовлечение в нашу государственную жизнь всех еще не освобожденных от итальянцев и немцев славянских территорий (Триест — Горица —

Истрия и Корушка), а также Болгарии и северной Албании со Скадаром»; «очистка государственной территории от всех национальных меньшинств и инонациональных элементов»; создание «непосредственной границы между Сербией и Черногорией, а также между Сербией и Словенией путем очистки Санджака от мусульманского населения и Боснии от мусульман и хорватов»; расселение черногорцев в областях, «очищенных от национальных меньшинств и инонациональных элементов»⁴⁵.

Замышлявшийся как альтернатива заседаниям «титовского» АВНОЮ (Антифашистское вече народного освобождения Югославии), состоявшимся в ноябре 1942 и 1943 гг., Светосавский конгресс сторонников Д. Михайловича 25–28 января 1944 г. провозгласил следующие цели и принципы четнического движения: «Югославия должна быть федеративным государством и конституционной монархией. <...> Прочность будущей Югославии будет гарантироваться созданием сербского образования в рамках государственного сообщества, которое на принципах демократии объединит весь сербский народ на территориях его проживания. То же самое произойдет и с хорватами, и со словенцами». В рамках этих государственных образований, как провозглашали Д. Михайлович и его сторонники, «необходимо предоставить народу возможность удовлетворять свои особые региональные экономические, социальные и другие интересы путем широкого народного самоуправления»⁴⁶. Предполагалось, что во вновь созданном государстве этнические территории должны совпадать с границами федеральных образований.

Подобные идеи «чистого» этнофедерализма у четников относились к устройству не только Югославии, но и всего Балканского полуострова⁴⁷. «Сотрудничая с политическими представителями балканских государств, которые обладают подлинным большинством и признанием у своих народов, распространяя свою организацию и деятельность на весь Балканский полуостров, а также подчеркивая программу освобождения и объединения всех балканских государств на демократически-федеративных принципах, Югославия превратилась в балканский Пьемонт и в качестве такового заслужила право решающего голоса в вопросах, касающихся балканского пространства», — утверждалось в статье, опубликованной в ноябре 1944 г. газетой «Препород»⁴⁸. Федеративное устройство предполагалось использовать не для достижения равноправия народов и тем более граждан, а для обеспечения господства «Великой Сербии» не только в границах Югославии, но и во всем Балканском регионе. Под разговоры о том, что «сербы не боролись и не борются за то, что им не принадлежит», подобный принцип «балканского соглашения» четники распространяли на греков, турок и румын⁴⁹.

Своей главной задачей четники считали «освобождение Королевства Югославии и братьев, живущих ныне вне его границ, а также создание условий для нормального и прогрессивного развития югославян». Войну за освобождение идеологи четников делили на три этапа. Первый охватывал Апрельскую войну 1941 г. и «позорную капитуляцию», а также отказ сторонников Д. Михайловича смириться с ней и начало борьбы против врагов. Второй — на тот момент «текущий» — подъем движения Сопротивления. И, наконец, третий — наступление и изгнание врагов из страны⁵⁰.

Но ни этим, ни иным планам четников не суждено было осуществиться. Одна из причин их поражения состояла в том, что Д. Михайлович и его единомышленники были наследниками идей Н. Пашича, который представлял себе Югославию прежде всего как сербское национальное государство. При этом они считали и Черногорию, и Македонию частями Сербии, а черногорцев и македонцев соответственно сербами, отрицали этническую индивидуальность босняков-мусульман. Подобная позиция не могла не играть на руку коммунистам Й. Броз Тито, которые признавали право этих народов на собственные государства в рамках югославского федеративного государства⁵¹.

Белградская операция Советской армии и частей Народно-освободительной армии Югославии Й. Броз Тито в октябре 1944 г. поставила точку в политической карьере и сербских откровенных коллаборационистов, и колебавшихся между Сопротивлением и сотрудничеством с оккупантами «михайловичевцев». 1946 год стал для обоих противников Тито роковым: М. Недич в тюрьме покончил с собой, а Д. Михайлович по приговору суда был казнен.

Мустафа Круя: «Сербских поселенцев надо убивать»

Особняком в сербской политике стояла проблема Косово. В каждой из трех — сербской, албанской (итальянской) и болгарской частей Косово и Метохии имелись свои особенности. При этом албанцы в сербской части имели особые права. Зона Косово, оккупированная итальянскими войсками, была присоединенная к находившейся под полным контролем Италии «Великой Албании», а болгарская часть — включена в состав Болгарии. После объявления Италией войны Германии последняя признала «Великую Албанию» и фактически стала управлять ею. Между албанскими националистами, стремившимися использовать ситуацию для решения албанского национального вопроса, не было единства. Одни из них выступали за ослабление зависимости от Германии, другие — находившиеся в г. Тетово, выступали против единства албанцев, турок и македонцев⁵².

Еще в конце 1944 г. ставший в будущем крупнейшим историком «титовской» Югославии серб Васо Чубрилович, по традиции воспринимавший Югославию исключительно как сербское национальное государство, сочинил записку о проблеме национальных меньшинств в новой Югославии. В ней он утверждал, что «еще до начала войны наблюдался рост сепаратистских тенденций национальных меньшинств во всех государствах, в том числе и в Югославии. Все свои культурные и экономические привилегии они использовали исключительно как средство ломки государств, в которых они проживали». Поэтому, считал историк, национальные меньшинства (немцев, венгров, албанцев, итальянцев, румын и других) из страны надо просто выселить. Косово он предполагал превратить в этнически «чистую» сербскую область⁵³.

Разделенное между «Великой Албанией» и царской Болгарией Косово стало ареной преследований сербов по этническому и конфессиональному признаку. Уничтожались их дома, люди становились беженцами; многие были убиты. «Сербских поселенцев надо убивать», — говорил в 1941 г. глава албанского «правительства» Мустафа Круя⁵⁴. Нельзя не упомянуть также и организацию албанских националистов «Бали комбетар» («Национальный фронт») с ее идеей создания «Великой Албании». Ее идеология была типологически схожей с этно-великодержавными идеологиями других балканских народов, независимо от славянского или неславянского их происхождения⁵⁵.

В то же время албанские коммунистические партизаны внесли свой вклад в антифашистскую борьбу и общую Победу. При этом существовали прямые связи между КПА и КПЮ, причем последняя оказала албанским товарищам большую помощь⁵⁶. В ноябре 1943 г. вторая сессия АВНОЮ приняла решение о том, что будущее югославское государство, создаваемое под руководством компартии Югославии и при помощи СССР, должно стать «подлинным отечеством для всех своих народов». Чтобы «осуществить принцип суверенности народов Югославии», новое государство должно было стать федерацией. Как тогда казалось, это могло обеспечить «полное равноправие» всем народам⁵⁷. Однако даже в коммунистических планах воссоздания югославской государственности ни Косово, ни населявшие эту область албанцы не упоминались. Коммунистическая Югославия создавалась, прежде всего, как государство славянских народов.

«Южные сербы» или «болгарские македонцы»?

Вопрос о судьбе македонцев, которых в королевской Югославии называли «южными сербами», а Македонию, соответственно, Южной Сербией, был тесно связан как с отношениями Сербии

с Болгарией и Грецией, так и с албанским населением Македонии. «После поражения Югославии и Греции македонцы не ощущали потери», — утверждали македонские историки⁵⁸. Македонское национальное движение претендовало на объединение в одном государстве (или государственном образовании) трех территорий, которые они считали «своими» — Вардарской Македонии (входившей в состав королевской Югославии), Пиринской (царской Болгарии) и Эгейской (Греции).

Каждое из этих государств, а также Албания, стремились к обладанию возможно большей частью македонских земель, которые они считали своими этническими территориями, ссылаясь на преобладание населения соответствующей этнической принадлежности. Не оставались в стороне и Германия с Италией. Их политику после оккупации Югославии и Греции пытались использовать болгарские и албанские националисты⁵⁹. В 1943 г., после выхода Италии из войны, немцы установили свою власть на территориях, ранее занятых итальянцами. Проитальянские коллаборационисты сменились пронемецкими; Болгария также оккупировала дополнительную территорию⁶⁰. Поэтому процесс формирования македонской нации был тесно связан с освободительной и антифашистской борьбой и в самой Македонии, и на территории оккупированной Югославии в целом⁶¹.

Вместе с этим, начиная понимать, что исход войны сложится не в пользу Германии и ее союзников, болгарские власти на фоне переговоров с США и Великобританией, под их давлением предпринимали попытки создать автономию Македонии⁶². Германское командование, со своей стороны, попыталось использовать членов ВМРО — «ванчовистов», сторонников Ванчо Михайлова, тесно связанного с официальной Софией. Именно ему после пребывания в НДХ было поручено создать подобное государство под протекторатом немцев. Однако попытка провалилась⁶³.

В 1941 г., в короткий период немецкой оккупации и до установления болгарской оккупации в Скопье функционировал созданный группой бывших македонских эмигрантов-коллаборационистов «Македонский Центральный комитет действия». Его задачей была подготовка населения к предстоящей оккупации, с одной стороны, и с другой, — попытка представить эту оккупацию и последующее присоединение к Болгарии как отражение требования македонского народа и доказательство «исторического права» Болгарии на Македонию. Этот комитет также действовал и в Эгейской (греческой) и Западной Македонии, входившей в итальянскую зону оккупации и в июне 1941 г. включенной в состав марионеточной «Великой Албании». Это вызывало естественную ответную реакцию со стороны албанских националистов, которые начали образовывать соответ-

вующие организации (например, в Тетово), требовавшие присоединения к Албании даже Скопье⁶⁴.

Болгарские власти стремились представить оккупацию как возвращение своих национальных территорий, утраченных или не полученных в ходе Балканских и Первой мировой войн. Болгарские оккупационные власти вели пропагандистскую работу с целью распространения среди македонцев болгарской национальной идеологии; ими использовался официальный термин «македонские болгары». Одним из способов идеологического обеспечения официальной точки зрения было введение в образовательный курс предмета «болгароведение»⁶⁵. Создавались проболгарские политические организации радикально-националистического толка, всего их было около сорока.

Политика «болгаризации», проводившаяся оккупационными властями в подконтрольных им частях Македонии, не могла не привести к сопротивлению тех, кто считал себя македонцами. Среди них все большую роль начинали играть коммунисты. Именно имея в виду общность целей — борьбу с партизанами, болгарские власти установили контакт со своими противниками — движением Д. Михайловича⁶⁶. Югославское правительство в изгнании стремилось распространить на Македонию деятельность четников (поскольку те были вооруженными силами признанного государства и законного правительства), однако и великосербская пропаганда не нашла отклика среди местного населения⁶⁷. Тот факт, что в оккупированные области были присланы чиновники из Болгарии и Албании, по мнению македонских историков, свидетельствовало о том, что «оккупанты столкнулись с наличием ярко выраженного македонского национального самосознания»⁶⁸.

Как болгарские в глазах македонцев, так и итальянские власти в глазах албанцев пытались представить себя «спасителями от политики национального угнетения со стороны антинародного режима королевской Югославии». В то же время албанские коллаборационисты вели схожую с болгарскими и итальянскими оккупантами политику разжигания межэтнической розни среди населения оккупированных территорий⁶⁹. Однако общность целей не означала отсутствия противоречий между союзниками. Так, например, демаркационная линия между Италией и Болгарией несколько раз менялась в пользу Болгарии. Итальянцы же пытались использовать албанское национальное движение со встречными требованиями — присоединения этих территорий к «Великой Албании»⁷⁰.

Отрицательное отношение королевского правительства в Лондоне к национальному движению македонцев, отказ признать существование македонского этноса, толкало национально настроенных македонцев к коммунистам⁷¹.

Македонский вопрос стал камнем преткновения и в коммунистическом движении, породив разногласия между компартиями Югославии, Болгарии и Греции. В начальный период войны это выразилось в проблеме распространения организационных структур трех компартий на территории Вардарской, Пиринской и Эгейской Македонии. Национализм прорывался даже сквозь «железную» сталинскую дисциплину в Коминтерне и коммунистические убеждения партийцев. Ни одна из коммунистических партий не хотела и не могла отказаться от национальных требований. И дело было не только в личных убеждениях и настроениях коммунистов, но и в традиционном и восприятии «македонского вопроса» общественным мнением их стран. Переступить через это значило потерять большую долю влияния и популярности среди соотечественников и быть обвиненными в «национальной измене»⁷². Поэтому исторически обусловленные конфликты национальных движений не прекратились и после возникновения в них коммунистической составляющей, несмотря на декларируемые компартиями принципы права наций на самоопределение и равноправие. Не последнюю роль играл и растущее собственно македонское национальное самосознание, стремившееся к объединению всех «своих» этнических территорий и созданию независимого македонского государства, что позволило бы македонскому народу вернуть «утраченные достижения своей борьбы против Османской империи»⁷³.

Восстание против оккупантов македонцы рассматривали как единственную возможность добиться национального и социального освобождения и воссоединения. Но именно это стремление и мешало болгарским и греческим коммунистам определить свое отношение к македонскому вопросу. В особенно трудном положении находились «болгарские товарищи», поскольку их попытки убедить организацию КПЮ в Македонии присоединиться к своей партии «фактически означали поддержку аннексии Македонии Болгарией». В разразившемся в 1941 г. конфликте Москва и Коминтерн в тот момент приняли сторону КПЮ⁷⁴. Естественно, КПЮ рассматривала Вардарскую Македонию как часть Югославии, считала установленный правящими кругами Болгарии режим оккупационным, а македонцев — большинство славянского населения, — в соответствии с решением Коминтерна — отдельным народом⁷⁵. Организация КПЮ в Македонии так и не была переименована в КП Македонии в рамках КПЮ (наподобие КП Хорватии и КП Словении в 1937 г.). Однако реально она все же была создана. После этого, по мнению македонских историков, оккупанты больше не могли изображать движение сопротивления как великосербское, а коммунисты получили возможность сосредоточиться на задачах социальной революции⁷⁶. Однако в данном случае интересы сербского и македонского

национализма объективно совпадали. В октябре 1943 г. Главный штаб народно-освободительной армии и партизанских отрядов в Македонии в своем манифесте назвал врагов македонского народа. К ним относились «великоболгарские фашисты, великосербские гегемонисты, великоалбанские фашисты и гегемонисты, македонские фашисты Ванчо Михайлова и Китинчева»⁷⁷.

В этом контексте идеи создания широкой федерации балканских народов с ориентацией на коммунистические партии «создавали уверенность, что македонский народ таким образом объединится и причины для этнотерриториальных притязаний и раздоров будут ликвидированы в трех государствах»⁷⁸. Федерация рассматривалась как способ и форма решения межэтнических конфликтов не путем традиционной «перекройки» границ, а изменением внутренней структуры общего федеративного государства⁷⁹. Осенью 1943 г., планируя устройство будущей Югославии, руководство КПЮ решило выделить Македонию в особую федеративную единицу. Это нашло свое выражение в уже цитировавшемся выше документе Второй сессии АВНОЮ. При этом не упоминалось, о какой части (или частях) Македонии идет речь, однако подчеркивалось право македонцев на самоопределение⁸⁰. Подобная позиция КПЮ уже в 1944 г. могла предполагать как минимум сохранение Вардарской Македонии в составе Югославии, как максимум — присоединение к ней также Пиринской и Эгейской частей⁸¹.

Однако такая расширительная трактовка «македонского вопроса» не встречала поддержки не только у соседей, но и у ведущих членов антигитлеровской коалиции. Это же относилось и к возможным вариантам создания независимого македонского государства. Югославское правительство в изгнании отрицательно отнеслось к идеям, прозвучавшим в Москве на всеславянском митинге 10 августа 1941 г. относительно будущей самостоятельности Македонии и Черногории⁸². Поэтому создание македонской государственности в 1944–1945 гг. происходило в границах Вардарской Македонии⁸³. В дальнейшем, после окончания Второй мировой войны «аннексионистская программа на Балканах», выдвинутая руководством КПЮ (объединение всех трех частей Македонии в одной федеральной единице в составе Югославии и создание Балканской федерации в форме «предоставления Болгарии равных прав с отдельными югославскими народами») вызвала негативное отношение и у И. В. Сталина⁸⁴.

**Анте Павелич: «Единственный путь к спасению —
создание своего собственного независимого государства»**

Движение усташей — крайних хорватских националистов, вставших на путь террористической борьбы с королевской Югославией —

возникло еще в 1929 г. Его приверженцы стремились к созданию независимого этнически и конфессионально «чистого» хорватского государства. В «Принципах хорватского усташского движения» (1933) и в брошюре «Хорватский национальный вопрос» (1936) А. Павелич сформулировал основные положения доктрины усташского движения и его цели. Многие из основных положений этой программы совпадали или были логически и типологически сходны с соответствующими положениями сербских националистов М. Недича и Д. Михайловича.

«Принципы» усташского движения состояли в следующем: хорватам с самого начала их истории присуща национальная индивидуальность и исключительность; они издревле обладают своим собственным этнонимом, общим отечеством и неделимым государством, границы которого охватывают территории от рек Муры и Дравы до Дрины, от Дуная до Адриатического моря, а также долины рек Зрманья, Сава, Босна и Неретва и города Вараждин, Сень, Сараево, Мостар, Осиек, Макарска; хорваты не признают на территории Хорватии никаких иных наций и национальностей; непрерывная традиция хорватского исторического государственного права является основой хорватского государства и государственности. Отсюда вытекало и требование присоединения к хорватскому государству всех районов, которые в разные исторические периоды входили в состав хорватского государства (и в которых проживали хорваты, включая и районы Боснии и Герцеговины), а также отрицание всяких форм государственной связи с другими южнославянскими народами. Не допускалось и мысли о том, чтобы Хорватия стала частью какого-либо другого государства того, чтобы хорватская нация с кем-то делила свой суверенитет, а хорваты как национальность-нация — власть⁸⁵.

Национальное государство провозглашалось фундаментальной ценностью, которая позволяет хорватской нации осуществить право на собственную суверенную власть и отчизну. До его создания все попытки идеологических и социальных преобразований объявлялись лишь иллюзией, пустой тратой времени и сил нации. В «Принципах» подчеркивалось, что хорваты имеют право создать свое государство силой оружия.

Подобно М. Недичу и Д. Михайловичу, А. Павелич провозглашал нацию непреходящей ценностью, исключительно в рамках которой «каждый отдельный хорват имеет право на достаток и счастье»⁸⁶. Используя лозунг основателя демократического хорватского национализма XIX в. Анте Старчевича «Бог и хорваты», будущий «поглавник» подчеркивал не только свою приверженность католицизму, но и отождествлял этноним (хорваты) с конфессионимом (католик).

Сходясь в этом со своими злейшими врагами, великосербскими националистами, великохорватский националист А. Павелич провозглашал крестьянство «фундаментом и первоисточником национального развития и носителем государственной власти» в своем национальном государстве и «истинной нацией». «Любые материальные и духовные ценности в хорватском государстве являются национальной собственностью, и нация одна уполномочена ими распоряжаться и пользоваться», — писал усташский идеолог. Но, по его представлению, земля должна быть собственностью только того, кто ее обрабатывает со своей семьей, т. е. крестьянина. Подобно иным носителям тоталитарной идеологии, он провозглашал, что «труд является основой любой ценности, а основой всякого права — обязанность. Никто не смеет обладать никакими особыми правами, ведь лишь обязанности перед нацией и государством дают право на безопасную жизнь». Подобно сербскому почитателю идей Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, Д. Лётичу, их хорватский последователь А. Павелич рассуждал о том, что «выполнение любых общественных функций связано с обязанностью» перед хорватской нацией и государством.

Подводя итоги, А. Павелич заканчивал: «Нравственная сила хорватской нации определяется правильной и проникнутой религиозностью семейной жизнью, хозяйственная мощь нации — крестьянским хозяйством, достояние общины — природными богатствами хорватской земли, а оборонное могущество — испытанной воинской доблестью. <...> Производство, ремесло, домашнее хозяйство и торговля должны стать помощниками крестьянскому труду и национальной экономике. Эти области должны быть полем честного труда и источником достойной жизни трудящегося, а не средством накопления национального имущества в руках капиталистов». В этом взгляды А. Павелича практически не отличались от взглядов его заклятых врагов — С. Мольевича и Й. Броза Тито, которые также собирались править «от имени» нации или класса.

В брошюре «Хорватский вопрос», изданной первоначально на немецком языке в Германии в 1936 г. (там же и перепечатанной во время войны), а в Хорватии — только в 1942 г., А. Павелич попытался, так же как это делали сербские националисты, придать своей позиции и трактовке общенациональных интересов и требований некоторое наукообразие. Он резко отрицательно отзывался о «версальском диктате», в результате которого хорватский народ оказался вынужденным жить в «чужом государстве». Но целостность этого государства, вынужденного вести борьбу за свое единство, по мнению А. Павелича, постоянно оказывалась под угрозой⁸⁷.

Отвергая концепцию «интегрального югославизма», А. Павелич подчеркивал, что хорваты и сербы не являются ни одной нацией,

ни одной национальностью, поскольку история, культура и раса определяют индивидуальность хорватов. «Уже тысячу лет, — писал он, — хорватский народ принадлежит к западной культуре и цивилизации. Находясь на границе Запада и Востока, он, успешно защищая эту культуру и цивилизацию от византийской и турецкой агрессии, принес тяжелейшие жертвы во имя не только своих собственных, но и европейских интересов». Идеолог экстремистского хорватского национализма, критикуя либеральный югославизм конца XIX в. и не проводя различия между ним и экстремистским «интегральным югославизмом» 1920-х — 1930-х гг., а также исходя из негативного отношения к Австро-Венгрии, утверждал, что «югославянская идеология вплоть до конца прошлого столетия была орудием венской политики». Он пытался убедить читателя, что в «широких слоях хорватской нации никогда не существовало никакого общеславянского сознания, которое можно было бы противопоставить хорватскому национальному сознанию». Слои, «не чувствовавшие своей принадлежности к славянству, отвергли, как нечто чуждое и опасное, славянскую и югославянскую инициативу, исходившую в предшествующем веке из Праги, Москвы и Белграда». Этот неопровержимый, по мнению А. Павелича, факт якобы свидетельствовал, что хорваты по происхождению не славяне, а готы.

«Поглавник» писал, что делегация Национального вече, присоединившаяся 1 декабря 1918 г. в Белграде к провозглашению Королевства сербов, хорватов и словенцев, не имела на то никаких полномочий. Кроме того он считал, что страны Антанты, победившие в Первой мировой войне, силой вынудили хорватов объединиться с Сербией. Тем самым Хорватия оказалась вовлеченной в «балканский хаос», и поэтому «хорватский вопрос» является не только внутренней проблемой Югославии, но и проблемой международной политики.

Подобно сербским националистам, А. Павелич провозглашал целью национального движения создание «свободного и независимого национального, (т. е. хорватского. — С. Р.) государства на всей его исторической территории и пространстве хорватского народа».

В число врагов хорватской нации А. Павелич включил сербское государство, масонов — «вольных каменщиков», евреев и коммунистов. Последние утверждения совпадают с приведенной выше, антикоммунистической и антисоветской позицией Д. Михайловича. Другой хорватов и будущего государства НДХ А. Павелич назвал в своих обращениях «К хорватскому народу» и «Солдатам-хорватам» 5 апреля 1941 г., еще до нападения Германии на Югославию и до провозглашения НДХ. Это — «великие вожди великих народов — Гитлер и Муссолини»⁸⁸.

В статье, опубликованной в 1940 г., А. Павелич трактовал национальное самоопределение как «национальную свободу», что в его глазах означало «свободу от иностранного господства, право нации на собственное управление и суверенитет в своем собственном государстве». «Тот, кто не проникся мыслью, что единственный путь к спасению — это освобождение от иноземного господства и создание своего собственного независимого государств, тот не хорват», — писал будущий «поглавник» в 1939 г. (Похожий по своей логике пассаж присутствовал и в рассуждениях Д. Михайловича, отказывавшего в принадлежности к славянству любому, кто не разделял его убеждения!)

«Путем просвещения идут к свободе народы, уже обладающие своим государством, — продолжал он, — а внутренняя свобода и современный образ жизни зависят от уровня образования и культуры». Но исключительно просвещением и миролюбием никто и никогда не изгонял из своей страны вражеские орудия, аргументировал он необходимость вооруженной борьбы против Югославии и против сербов. Он сожалел, что во время Первой мировой войны хорваты не воспользовались возможно стью обрести независимость, и что среди них нашлись люди, которые «впряглись в телегу так называемого югославизма и вступили в югославские, вернее, сербские, отряды»⁸⁹.

Усташская «теория» обвиняла всех сербов — и как народ, и как нацию — в том неблагоприятном положении, в котором оказались Хорватия и хорваты в межвоенной Югославии. «Со стороны сербских государственных деятелей было сделано все возможное, чтобы разорвать связь хорватских земель, стереть связь нации со своей землей, чтобы нация забыла произошедшее вчера и, таким образом, утратила свое сознание. Для достижения этой цели был использован весь государственный и церковный аппарат», — утверждал в соответствии с официальной теорией один из авторов изданной в 1943 г. в Загребе книги «Наше отечество»⁹⁰.

Поэтому в так называемом Независимом Государстве Хорватия происходили массовые депортации сербского населения, проводились акции по его уничтожению. Более всего известны концлагеря Ясеновац, Госпич, Стара Градишка, Босанска Дубица и другие. Туда же посылали на смерть в соответствии с расовыми законами НДХ евреев и цыган, а также антифашистов и противников режима всех национальностей, включая и хорватов⁹¹. Уничтожение и преследование евреев определялось указом о расовой принадлежности и указом о защите арийской крови и уважении хорватской нации. Репрессии по отношению к сербам обосновывались тезисом о том, что в прошлом сербы в Хорватии как народ всегда якобы были на

стороне противников хорватов. Им вменялось в вину угнетенное положение хорватов в Королевстве СХС и Югославии.

Относительно степени поддержки и популярности А. Павелича и его режима в разные годы существуют разноречивые свидетельства. Например, в одном из октябрьском донесений 1943 г. представительства в Стокгольме королевскому правительству, переехавшему к тому времени в Каир, говорилось о том, что «ушастская власть эффективна только в радиусе трех километров от Загреба, а в самом городе власть опирается исключительно на пять тысяч человек личной гвардии Павелича. Если бы не было германской армии, ушастский режим рухнул бы через полчаса. Домобраны (мобилизованные солдаты хорватской армии. — С. Р.) совершенно ненадежны и только и поджидают момента, чтобы перебежать к партизанам»⁹². Автор донесения приводит пример, когда один из офицеров, обратившись к своим подчиненным со словами «Герои, я освобождаю вас от присяги Павеличу. Да здравствует Сталин! Переходим к партизанам», привел свою батарею к «титовцам».

Характеризуя политическую ситуацию в стране в этот момент, автор утверждал, что в «Хорватии существуют три политических фактора — коммунисты, мачековцы (сторонники лидера хорватской крестьянской партии В. Мачека⁹³. — С. Р.) и апатичная неопределенная масса». Позиции коммунистов, например, были сильны в Лике, Босанской Крайине и Далмации; мачековцев — между реками Савой и Дравой. Объекты ненависти хорватского народа можно выстроить следующим образом — «ушасты, итальянцы, немцы. К этим последним ненависть сильнее всего там, где есть немецкое меньшинство». Кроме того, в Хорватии было распространено мнение, что «в эмиграции существует острый конфликт между сербами и хорватами». Что же касается взаимоотношений двух народов в самой Хорватии, то их характеризуют страх ответственности и социальная и экономическая дифференциация⁹⁴.

В другом донесении в феврале 1944 г. говорилось, что хорватский народ ныне борется против трех противников: против собственных «ушастских правителей и их приспешников, причиной чему стали бомбардировки с воздуха городов и сел с целью репрессий»; против четников генерала Михайловича, которые «режут и убивают все несербское»; против «зверствующей части черкесских орд, как называют казачьи дивизии генерала Власова, которые немцы перебросили с Кавказа»⁹⁵.

8–9 мая 1944 г. в городке Топуско состоялось Третье заседание Краевого антифашистского веча национального освобождения Хорватии (ZAVNOH). Оно конституировалось в качестве высшего законодательного и представительного органа власти Федеративного государства Хорватии, составной части провозглашенной в ноябре

1943 г. демократической федеративной Югославии. Таким образом, наряду с Лондонским правительством, стало реальностью еще одно теперь уже хорватское государственное образование, основанное на антифашистских принципах, оспаривавшее легитимность и суверенитет у НДХ. Обеспокоенные развитием событий, а также своим собственным будущим, два высших функционера НДХ Младен Лоркович и Анте Вокич решились на заговор против А. Павелича. В случае успеха возникала возможность представить НДХ как союзницу Антигитлеровской коалиции. Однако заговор провалился⁹⁶.

Цели и методы «павеличевцев» по сути ничем не отличалась от целей и методов «недичевцев» и четников — создание чистой этнической территории и приведение государственных границ в соответствие с этническими. Так же, как и «недичевцы», усташи считали, что переселение людей по национальному признаку (в данном случае — выселение сербов в Сербию), может решить проблему национального самоопределения и хорватов, и сербов⁹⁷.

Подобно М. Недичу и Д. Михайловичу, А. Павелич для борьбы с партизанами Й. Броза Тито посылала своих солдат вместе с оккупационными войсками. Значительное место в «национальной политике» НДХ занимали проживавшие в Хорватии представители немецкого национального меньшинства. По сути дела ему был предоставлен особый льготный статус, подтвержденный тремя законами и множеством распоряжений. Им было разрешено сформировать даже собственную дивизию войск СС «Принц Евгений», которая отличалась особой «эффективностью» в борьбе с партизанами и беспощадностью к местному славянскому, в том числе и хорватскому, населению⁹⁸.

Как утверждает германский военный историк, государству Анте Павелича было суждено сыграть негативную роль в военных операциях в 1945 г. «Было совершенно ясно, что всем вооруженным силам, действовавшим на Юго-Востоке, следовало продолжить отход к границам Германии. Данное Гитлером главе хорватского государства обещание оборонять Хорватию до последнего немецкого солдата как раз и помешало осуществить это единственно правильное решение. Вместо этого вопреки всякому здравому смыслу 6 марта 1945 г. немецкие войска начали наступление через Драву в общем направлении на север с целью соединиться с группировкой немецких войск, наступавшей из района Секешфехервара. Наступление это, конечно, провалилось. Марионеточное хорватское государство, являвшееся карикатурной копией национал-социалистского рейха, потребовало от немцев пожертвовать для обороны своей страны всей группой армий «Юго-Восток». Оно, видите ли, желало удерживать Сараево в то время, когда уже пал Бреслау. Уверенность в скорой победе подняла все балканские народы на восстание,

которое приняло колоссальные размеры, так как восставшие снабжались теперь не только оружием и боеприпасами, но и советскими комиссарами. Оно вспыхнуло ярким пламенем, подобно тому, как вспыхивают тлеющие угли, если на них сильно подуть. Одетые в немецкую форму и имевшие немецкое вооружение и немецких инструкторов хорватские войска дезертировали целыми полками»⁹⁹. Ему вторит и У. Черчилль: «Численность [партизан] быстро росла. Никакие самые кровавые репрессии против заложников или деревень не останавливали их. Для них речь шла о смерти или свободе»¹⁰⁰.

**Боснийские мусульмане: «цвет хорватской нации»
или «часть 300-миллионного исламского народа Востока»**

Режим А. Павелича почти во всем зависел не только от Германии, но и от Италии, и вынужден был лавировать между Римом и Берлином. Марионеточному государству А. Павелича пришлось пойти на значительные территориальные уступки Италии и отдать ей территории, которые этногосударственная программа А. Старчевича и его последователей провозглашали «истинно хорватскими». Италия по соглашению с НДХ оккупировала Герцеговину, хотя формально территория Боснии и Герцеговины целиком вошла в НДХ¹⁰¹.

В июне–июле 1941 г. территория НДХ была разделена на двадцать две великих жупании (губернии), которые, в свою очередь, состояли из котаров (округов). Столица Загреб была выделена в особую единицу. Боснийско-герцеговинские котары вошли в следующие жупании: Бирбир и Сидрага (центр — Книн), Дубрава (Дубровник), Хум (Мостар), Лашва и Глаж (Травник), Ливац и Заполье (Н. Градишка), Крбава и Псат (Бихач), Плива и Рама (Яйце), Посавле (Славонский Брод), Сана и Лука (Баня Лука), Усора и Соли (Тузла), Врхобосна (Сараево)¹⁰². Некоторые части Боснии и Герцеговины вошли в состав жупаний, центры которых находились вне Боснии и Герцеговины. Это, а также совпадение названий многих жупаний с названиями жупаний и областей, существовавших в средневековом государстве Хорватии, должно было подчеркнуть хорватское историческое и государственное право на территорию Боснии и Герцеговины¹⁰³. В одном из документов сербских четников Босний перечислялись округа, которые, по их мнению, следовало бы присоединить к Сербии — Сараево, Вышеград, Рогатица, Сребреница, Високо, Власеница, Зворник, Кладань, Фойнич, Травник, Брчко, Фоча, Добой, Бийелина, Тузла, Зеница и Чайниче¹⁰⁴.

Только в трех из них великими жупанами (главами администрации) были мусульмане-босняки. Сходная картина наблюдалась и в других органах власти и государственных учреждениях. Лишь

председатель Югославской мусульманской организации Джафер Куленович «удостоился» поста вице-премьера правительства НДХ и пробыл на нем с ноября 1941 г. вплоть до эмиграции в 1945 г. Несмотря на красивые слова о том, что босняки-мусульмане являются «цветом хорватской нации», на практике усташи ничего не делали для того, чтобы защитить их от нападений сербских четников. Эти нападения соответствовали идеологии Д. Михайловича и С. Мольевича и их территориальным притязаниям в Боснии и Герцеговине, которую они считали сербской этнической территорией. Достаточно вспомнить приведенную выше статью С. Мольевича «Гомогенная Сербия», в которой провозглашалась цель «очистить» сербские территории от несербских элементов. Первое массовое истребление босняков со стороны четников относится к июню 1941 — февралю 1942 г.; второе — к августу 1942; третье — к началу 1943 г. В августе 1942 г. в Сараево мусульмане-босняки создали Комитет национального спасения для вооруженного сопротивления не только четникам, но и устам. В то же время усташское руководство рассматривало никогда не угасавшие среди мусульман-босняков автономистские традиции как самую большую опасность для НДХ¹⁰⁵.

Усташские пропагандисты, играя на чувствах обиды и унижения, которые, несомненно, существовали у босняков-мусульман по отношению к королевской («сербской») Югославии, не признавшей их особым народом с соответствующими правами, сами натравливали босняков (объявляя их хорватами!) на сербов, говоря о том, что «пришло время отмщения»¹⁰⁶. И эта пропаганда имела успех. Современные босняцкие историки утверждают, (опираясь на авторитет Али Исетбеговича, бывшего фактически первым главой независимого государства в 90-е гг. XX в.), что в то время как сербы и хорваты в Боснии и Герцеговине имели свои военизированные организации, у мусульман-босняков они отсутствовали¹⁰⁷. В известном смысле мусульмане оказались между двух огней.

В статье «Наказ мусульманам», опубликованной в четнической газете «Глас Цера» 25 февраля 1944 г., им предлагался выбор: «остаться на стороне НДХ и ее хозяина — Германии; встать на сторону партизан и бороться против Германии, Хорватии и нас, солдат Югославской регулярной армии на родине и, в конце концов, и против наших могущественных союзников; или своевременно присоединиться к нам и встать под команду Дражи Михайловича, чтобы вместе бороться против общих врагов»¹⁰⁸.

В то же время находил отклик и призыв коммунистов, обращенный к хорватам и мусульманам, «помочь борьбе своих сербских братьев» против «гитлеровских и павеличевских банд», заканчивавшийся, между прочим, словами «Да здравствуют Советская Россия, Англия и Америка!». Однако эти и другие призывы, хотя

и показывали мусульманам, против кого и чего надо бороться, но совершенно не проясняли вопрос — за кого и во имя чего. Дело в том, что в этих призывах упоминались «все народы Югославии», т. е. сербы, хорваты и словенцы, а мусульманам по-прежнему отказывали в признании¹⁰⁹. В этих условиях мусульманам было чрезвычайно трудно сделать выбор и найти свое место по ту или иную сторону баррикад в освободительной, гражданской и межнациональной войне.

Автономистское движение боснийских мусульман играло важную роль в их национальном развитии и политической борьбе в годы войны. Усташское государство не пользовалось широкой поддержкой босняков. Исключение сначала составляла лишь группа во главе с профессором Х. Хаджичем. 14 августа 1941 г. А. Павелич принял часть руководства бывшего Югославянского мусульманского сообщества во главе с Д. Куленовичем, которые также перешли на сторону НДХ. Однако постепенно мусульманское население во все большей мере теряло веру и в германские войска, и в НДХ¹¹⁰.

В условиях оккупации 1941–1945 гг. среди боснийских мусульман, как и среди сербов, и среди хорватов, и среди словенцев, и среди представителей других народов Югославии нашлись силы и деятели, стремившиеся использовать представившуюся возможность для достижения национального самоопределения в виде создания своих псевдонезависимых «этнически чистых», т. е. моноэтнических государств на великодержавной основе. Легитимация подобных образований в глазах германских нацистов и итальянских фашистов была неизбежно связана с декларативной сменой культурно-конфессиональной и региональной самоидентификации (отречением от «славянства») во имя этнополитических интересов и попыток создания при опоре на германских нацистов своей псевдо-национальной государственности во второй половине 30-х — первой половине 40-х гг. В этой связи упомянем типологическое сходство с «теориями» А. Павелича «концепции» части национальных деятелей-мусульман, не принимавших политику НДХ. 11 ноября 1942 г. и 20 января 1943 г. они от имени Национального комитета обратились к Гитлеру с идеей о выделении Боснии и Герцеговины из состава НДХ и создании босняцко-мусульманской автономии под германским протекторатом.

В первом меморандуме, в частности, говорилось: мусульмане Боснии являются «составной частью 300-миллионного исламского народа Востока, который может добиться своего освобождения только в борьбе против английского империализма, еврейства, свободных каменщиков и большевизма, возглавляемой германской нацией под руководством Фюрера». Авторы меморандума писали о своем разочаровании тем, что Босния вошла в состав НДХ

и надеялись, что она останется под германским военным управлением, а мусульман как самый «сильный» элемент, пригласят во власть. Ответственность за создавшуюся ситуацию они возлагали лично на А. Павелича, «насиленно включившего Боснию в границы НДХ и передавшего ее в руки Черному интернационалу, а также своему доверенному лицу в Боснии и Герцеговине, видному клерикальному католическому священнику Божидару Брали»¹¹¹. Ориентированные на Берлин босняцкие политики надеялись, что после оккупации их положение улучшится, а на деле оно ухудшилось, поскольку боснякам не предоставили свободу.

Часть национальных деятелей-мусульман, не принимавших политику НДХ, 20 января 1943 г. вновь обратилась к германским властям с идеей о выделении Боснии и Герцеговины из состава НДХ и создании босняцко-мусульманской автономии под германским протекторатом. Это образование должно было бы иметь и свои собственные военные формирования. У. Хаджихасанович, М. Софтич и С. Салихагич направили Гитлеру меморандум с обоснованием этих идей. В нем они вновь выражали разочарование тем, что Босния не осталась под управлением германской военной администрации, а вошла в состав НДХ; утверждали, что босняки-мусульмане надеялись, что после оккупации их положение улучшится, а оно ухудшилось, что им не предоставили свободу. Наоборот, происходят массовые убийства мусульман, общее число жертв среди которых составляет около 150 тыс. человек. Выступая с антисемитских позиций, авторы меморандума в то же время высказались против массовых убийств сербов и натравливания на них мусульман.

Осенью 1943 г. «бывший сенатор Омер Хасанович вместе с несколькими видными мусульманами еще раз направил Гитлеру просьбу о «выделении Боснии из Хорватии»¹¹². Автономистское движение мусульман, как и многие иные политические движения у других южнославянских народов того времени, было внутренне противоречивым. С одной стороны, оно отвергло идею А. Павелича и его боснийского приспешника Д. Куленовича о том, что мусульмане-босняки — это этнические хорваты. С другой стороны, его руководители отрицали и саму принадлежность своего народа к славянству и, наподобие тех же «павеличевцев» в Хорватии утверждали, что мусульмане Боснии относятся к «готской расе». На этой теории и основывалась их просьба о предоставлении Боснии автономии в рамках Третьего рейха, просьба, выражавшая неадекватным образом естественный этнополитический процесс национального самоопределения, объективно приведший «автономистов» в специфических условиях Второй мировой войны в лагерь сторонников А. Гитлера.

Так же как А. Павелич использовал «готскую теорию» против великосербской идеи, мусульмане-босняки использовали ее же против

идеи великохорватской. Их представители, пошедшие на сотрудничество с оккупантами, утверждали: «Мы, босняки, по расе и крови не славяне, мы готского происхождения, которое нас связывает с немецким народом», поскольку между «между некоторыми основными принципами ислама, богомилства и древней религии готов много общего». «Мы в 1463 г. Встретили турок как спасителей, поскольку сербы, хорваты и венгры стремились нас уничтожить, а турки нам предоставили автономию. В период австро-венгерской оккупации мы обладали конфессиональной, а частично — и политической автономией», — писали авторы первого документа. Авторы январского «послания» пытались убедить «фюрера» в том, что «босняки все равно, что готы, то есть, будучи германским племенем под именем „босны“, пришли в III в. с севера на Балканы, в тогдашнюю римскую провинцию Иллирия»; что «духовные и антропологические различия между нами, босняками, с одной стороны, и славянскими племенами, т. е. хорватами и сербами (показательно, босняки называют хорватов славянами в противовес утверждениям А. Павелича! — С. Р.), с другой, сохранились и поныне»; что «сербы сразу же приняли восточное христианство, хорваты — римскокатолическое, а босняки сохранили твердую верность своей готской, арийской религии, согласно которой Иисус является не Богом, а божественным существом, олицетворением совершенства; что одна из основных причин перехода в ислам, наряду с вышеупомянутыми основными вероисповедными принципами, состояла в том, что и восточная римская церковь, т. е. сербы, и западная римская церковь, т. е. хорваты и венгры, вели против нашего государства крестовые походы, поскольку мы [для них] были неверными...» и т. д.¹¹³ Все это, по-видимому, было написано для того, чтобы обосновать просьбу о предоставлении Боснии и Герцеговине как этнополитическому образованию боснийских мусульман особого статуса в Третьем рейхе.

Таким образом босняцкий этно-коллорабионизм сталкивался с хорватским. Был возрожден тезис хорватского национального движения XIX в. о том, что мусульмане-босняки — это часть хорватской нации. И в соответствии с этим постулатом ислам тогда рассматривался как фактор, интегрирующий хорватскую нацию. В своих этнодемо-демографических «изысканиях» А. Павелич назвал этот народ «хорватами исламского вероисповедания», «цветом хорватской нации», а 5 апреля 1941 г. выступил с обращением к «хорватам, солдатам, католикам и мусульманам»¹¹⁴. Чтобы воспрепятствовать попыткам мусульман отделить Боснию и Герцеговину от НДХ, власти в Загребе производили и манипуляции со статистическими данными. Стремясь обосновать свои притязания на территорию Боснии и Герцеговины, где помимо официально не признаваемых

сербов жили еще и мусульмане-босняки, не только хорватским государственным правом, но и естественным правом и национальным принципом, идеологи усташества провозглашали мусульман-босняков, несмотря на их конфессиональные отличия, «истинными хорватами». В своих этнодемографических изысканиях А. Павелич назвал этот народ «хорватами-мусульманами», а в апреле 1941 г. выступая с обращением к «хорватам, солдатам, католикам и мусульманам» он заявил, что «мусульманская кровь — это хорватская кровь».

Но надеждам на решение проблем национального самоопределения с помощью «внешнего фактора», в данном случае — германских нацистов и их союзников, не осуществились. И никакие попытки изменить или сменить самоидентификацию не помогли — в Берлине ясно видели их политический смысл. Автономистские устремления боснийско-мусульманских деятелей не находили поддержки у оккупационных властей. Не говоря уже о том, что в реальности подобная смена самоидентификации в столь короткий срок и насильственным путем и не могла осуществиться.

Нельзя не заметить также, что при акцентировании права народов на самоопределение вплоть до отделения, в документах КПЮ и АВНОЮ боснийские мусульмане как отдельный народ не упоминались.

Чтобы воспрепятствовать попыткам мусульман отделить Боснию и Герцеговину от НДХ, власти в Загребе производили и манипуляции со статистическими данными. Был также возрожден тезис хорватского национального движения XIX в. О том, что мусульмане-босняки — это часть хорватской нации. И в соответствии с этим постулатом ислам тогда рассматривался как фактор, интегрирующий хорватскую нацию. Стремясь обосновать свои притязания на территорию Боснии и Герцеговины, где помимо официально не признаваемых сербов жили еще и мусульмане-босняки, не только хорватским государственным правом, но и естественным правом и национальным принципом, идеологи усташества провозглашали мусульман-босняков, несмотря на их конфессиональные отличия, «истинными хорватами». В своих этнодемографических изысканиях А. Павелич назвал этот народ «хорватами-мусульманами», а в апреле 1941 г. Выступая с обращением к «хорватам, солдатам, католикам и мусульманам» он заявил, что «мусульманская кровь — это хорватская кровь»¹¹⁵.

В 1941 г. был представлен проект исламских религиозных законов и конституции. На территории НДХ первое время признавались три религии — католическая, протестантская и ислам. Официально считалось, что мусульмане в прошлом были хорватами-католиками, и остались хорватами после принятия ислама. Православие было запрещено; разрушались церкви, закрывались монастыри,

изгонялись и уничтожались православные священники. Были попытки и насильственного окатоличивания, но они ни к чему не привели.

Преследуя свою главную цель — «очистку» Боснии и Герцеговины от сербов, власти НДХ использовали мусульман для расправ над сербами. Но с мусульманской стороны были и открытые протесты против этих расправ. Первый относится к августу 1941 г. В сентябре—декабре были опубликованы резолюции против злодеяний, собравшие довольно много подписей. Не остались в стороне мусульмане-босняки и от антифашистского сопротивления. В отличие от католической церкви в Хорватии, мусульманскому духовенству удалось уклониться от прямых выступлений с осуждением партизан¹¹⁶.

Усташи натравливали мусульман на православных и сами их истребляли. В Сербии погромные кампании против мусульман вели сербские националисты. В это же время в Боснии сербские четники совершали насилия над мусульманским населением, а часть мусульман, пойдя за усташами, участвовала в гонениях на сербов.

Как известно, было сформировано подразделение СС, состоявшее из мусульман-босняков — 13-я СС «Ханджар-дивизия». Некоторые босняки считали это возможностью защититься от нападений со стороны четников, усташей и партизан. Однако формирование этой дивизии встречало и сопротивление со стороны части мусульман-босняков. Впоследствии дивизия была передислоцирована во Францию на обучение (там в ней произошло быстро подавленное антинемецкое восстание), а по возвращении была брошена на борьбу с партизанами. В 1944 г. дивизия практически прекратила свое существование, а ее многие солдаты перешли к титовским партизанам, ставшим к тому времени значительной силой¹¹⁷.

Историки — сербы, хорваты, босняки — отмечают в своих работах, что военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны совершались в тех же городах и в тех же районах, что и пятьдесят лет спустя, в первой половине 1990-х гг.: Власеница, Сребреница, Рогатица, Вышеград, Горажда, Чайнич, Фоча. Естественно, каждая сторона обвиняет в них войска и военизированные формирования двух других национальностей.

Если «недичевцы» и четники были повержены с помощью Советской армии, то усташи НДХ были разбиты Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) Й. Броз Тито самостоятельно. НДХ перестала существовать, самому главарю А. Павеличу удалось бежать; он умер в 1959 г. в эмиграции в Мадриде. Многие же солдаты, мобилизованные в его армию («домобраны» — ополченцы) во время войны, были выданы союзниками новой власти из лагеря

в Бляйбурге (Австрия), где они находились вместе с также выданными СССР казаками, и либо были казнены на месте, либо позднее погибли в лагерях¹¹⁸. Такая же судьба постигла и многих солдат «армии» М. Недича, четников Д. Михайловича и усташей А. Павелича.

«Свободная и объединенная Словения»

Ситуация на территории Словении во время Второй мировой войны, будучи в чем-то схожей, имела и существенные отличия от ситуации в Сербии и Хорватии. Специфика положения словенцев состояла в том, что активная ассимиляторская политика итальянских властей, откровенный геноцид по отношению к словенцам германской администрации, аннексионистские устремления Будапешта — все это толкало к сопротивлению широкие слои населения. Хотя «реакция на оккупацию первоначально была спокойной, особенно в итальянской зоне»¹¹⁹, многие словенцы очень скоро поняли, что цель оккупантов, которую те и не скрывали, — уничтожение словенцев и как этнической общности, и как нации¹²⁰.

Это толкало словенцев на путь активного сопротивления. Поэтому в данной исторической ситуации цели национального самосохранения и освобождения во многом совпадали с лозунгами коммунистов, задачи социальной революции и национального освобождения тесно переплетались. По этой причине Освободительный фронт набирал влияние и силу, становился в известной мере общенациональной организацией. Хотя каждая из сторон — коммунисты, традиционные партии и откровенные коллаборационисты — по понятным причинам утверждала, что большинство словенцев поддерживало именно ее.

Вместе с тем югославизм стал господствующим политическим течением у словенцев в годы Второй мировой войны, в известном смысле единственной словенской национальной идеей и возможностью самосохранения. Однако словенский югославизм не был един, и ни один из его вариантов ни в коем случае не означал признание концепции этнического единства словенцев с сербами и хорватами. Война обозначила новый этап в развитии идеологии словенского национального движения, для которого была характерна попытка скоррелировать узкий, моноэтнический, собственно словенский национализм с более широким, полиэтническим югославистским национализмом, понимаемым исключительно как государственная идея. Это было лишь согласием на вхождение словенцев и их государственного образования в состав федеративной Югославии и признанием того факта, что в той исторической ситуации лишь в составе Югославии словенцы могли сохранить свою национальную индивидуальность и обеспечить национально-политические

интересы. При этом словенский югославизм времен Второй мировой войны опирался на традиции словенского национального движения XIX — начала XX в., а также межвоенного периода и носил ярко выраженный и широко трактуемый федералистский характер.

Идеологическая полемика и политическая борьба в рамках словенского национального движения шла между Освободительным фронтом во главе с коммунистами, Национальным вече и словенскими политиками, входившими в состав Лондонского правительства. Основной причиной разногласий был, естественно, вопрос о власти.

Освободительный фронт выступал за решительную вооруженную борьбу за освобождение; за самоопределение словенцев с правом на отделение; за изменение социальной и политической системы будущего югославского государства; за опору на СССР; за создание новой армии на основе партизанских отрядов создание новой, коммунистической Югославии. Национальное вече, в которое вошли традиционные словенские политические партии — либералы, социал-демократы и клерикалы (Словенская народная партия), не исключало сотрудничества с оккупационными властями, выступало за восстановление королевской Югославии при некоторых реформах, максимально возможное объединение словенских этнических территорий и опору на Англию и США. Словенские политики в Лондоне были непримиримо настроены по отношению к оккупантам, однако ставили своей целью восстановление «старой» Югославии, выступали с антикоммунистических позиций против социальной революции и за объединение всех словенских территорий. Находясь на антикоммунистических и антиреволюционных позициях, Лондонское правительство обнаружило гораздо большую склонность к сотрудничеству с традиционными партиями, чем с Освободительным фронтом.

Конкурируя за общественную поддержку, партии и лидеры всех группировок зачастую перенимали друг у друга лозунги и активно их использовали. Освободительному фронту не был чужд словенский национализм, а буржуазным политикам — рассуждения о «социальной справедливости». Однако относительно того, что освобожденная и объединенная Словения должна войти в югославское государство, разногласий практически не было.

Несмотря на ничем не прикрытую и жесткую ассимиляторскую политику и осуществлявшийся оккупантами этноцид, среди словенцев нашлись и убежденные коллаборационисты, и прямые пособники оккупантов, будь то итальянских, германских или венгерских. Против освобождения и вхождения Словении в той или иной форме в восстановленную Югославию выступали лишь откровенные коллаборационисты, вроде бывшего генерала югославской

армии Леона Рупника, служившего и итальянскому и германскому оккупационным режимам. Некоторая часть словенского общества приветствовала и присоединение Люблянской провинции к Италии¹²¹.

Общество и нация фактически раскололись на несколько групп, причем с течением времени раскол только усиливался¹²². Первую представлял Антиимпериалистический, затем Освободительный фронт (создан 27 апреля 1941 г. Исполком ОФ 16 сентября 1941 г. был преобразован в Словенский комитет национального освобождения)¹²³. Ведущую роль в нем играла Коммунистическая партия Словении (в соответствии с решением 1934 г. в 1937 г. образована, как и компартия Хорватии, в составе КПЮ в рамках политики Коминтерна, допускавшей создание «национальных партий» в этнически компактных странах, находящихся под национальным угнетением¹²⁴). В него входили также левые христианские социалисты, левая часть организации «Сокол» и деятели культуры левых убеждений.

В июне 1941 г. были опубликованы «Лозунги нашей освободительной войны». Они декларировали право словенского народа на самоопределение, включая право на отделение и присоединение к другим народам; освобождение и объединение разъединенного словенского народа, включая Корушку и Приморскую Словению; согласие и единство народов Югославии и всех Балкан в их борьбе за освобождение. Советский союз провозглашался «главной силой и главной опорой в освободительной борьбе словенского народа и угнетенных народов». ОФ считал своей целью «национальное самоопределение и национальный суверенитет в форме федеральной и федеративной Югославии»¹²⁵. Однако об автономизации или федерализации Словении и речи практически не шло: во время войны к итальянцам, немцам, венграм словенцы относились не только как к меньшинствам, но и как к оккупантам и врагам или их пособникам. (Впрочем, ориентированный на католические круги комитет приморских словенцев и истрийских хорватов 25 августа 1941 г. выступил за федеративную Словению в составе Югославии и за сотрудничество всех партий¹²⁶.)

На рубеже 1941–1942 гг. ОФ сформулировал свои «Основопологающие принципы». Они были следующими: борьба против оккупантов, которая одновременно является и борьбой за объединение всех словенцев; отказ признать раздел Югославии; согласие и единство всех югославянских и славянских народов под руководством великого русского народа на принципах права каждой нации на самоопределение; борьба народных масс за национальные права и права человека и создание нового облика активного «словенства»; лояльность всех партий и групп, входящих в ОФ; переход после

победы власти в Словении в руки ОФ и установление народной демократии; в соответствии с Атлантической хартией, после национального освобождения решать вопрос о внутреннем устройстве объединенной Словении будет сам словенский народ; национальная армия на территории Словении будет формироваться из отрядов народно-освободительной армии и Национальной обороны, куда призывались вступать все сознательные словенцы¹²⁷.

В январе 1942 г. коммунисты выдвинули концепцию «трех фаз народной революции»: первая — «текущая»; вторая — изгнание оккупантов; третья — «социальное освобождение словенского трудящегося»¹²⁸.

«Контрреволюционный лагерь» обвинял ОФ в стремлении создать средневропейское коммунистическое государство и, следовательно, в антиюгославизме, в антинациональности¹²⁹. КПС в феврале 1942 г., естественно, отвергла «клевету». Партия заявила, что она никогда не имела в своей программе плана Дунайской федерации, что она на совещании компартий Югославии, Австрии и Италии 1933 г. «уступила» Триест, Целовец и Марибор, поскольку выступала за право на отделение словенцев Корошки (Каринтии) и Приморья и их объединение со словенским народом, что она не проповедует ненависть к хорватам и сербам¹³⁰. Некоторые современные словенские историки считают, что до 1942 г. КП Словении не окончательно признавала вхождение Словении в состав Югославии, а имела в виду и иные альтернативы, например «Советскую Словению в составе средневропейско-дунайской федерации»¹³¹.

1 мая 1942 ЦК КПС выпустил заявление о том, что «под освобожденной и объединенной Словенией» партия понимает «территории, на которых проживает словенское население, а также территории, с которых оно в период империализма изгнано». По сути дела, это была прикрытая коммунистической фразеологией программа чуть ли не безграничного приращения соседних территорий, на которых проживали отнюдь не только словенцы¹³². С одной стороны, это был ответ и Лондонскому правительству, и партиям Национального веча; с другой — программа могла способствовать распространению коммунизма путем присоединения новых территорий под национальными лозунгами. В конце концов, во второй половине 1942 г. издал Исполком Комитета национального освобождения коммюнике, в котором были очерчены его представления о границах «свободной и объединенной Словении — от Триеста до Шпиля, от Колпе до Целовца» (Клагенфурта)¹³³.

В конце февраля 1943 г. было принято Доломитское заявление, в котором два «младших партнера» КПС — христианские социалисты и «соколаши» признали руководящую роль коммунистов, и ОФ

превратился в значительной мере в «проводной ремень» политики партии¹³⁴.

В 1943 г., когда ОФ подтвердил свою приверженность «свободной и объединенной Словении в свободной и демократической Югославии», один из его руководителей, ближайший соратник Й. Броза Тито Эдвард Кардель заявил: «Наша деятельность строится на принципах самоопределения и равноправия в общем югославском отечестве»¹³⁵. Но и в этот раз не было речи ни о федерации или автономии внутри Словении, ни об иных правах национальных меньшинств.

Наконец в 1944 г. Словенский комитет национального освобождения объявил о том, что «словенский народ объединился с народами Сербии, Хорватии, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины»¹³⁶. В этом документе относительно словенцев этноним был использован и как политоним (то есть, фактически словенцы признавались единственной этнической общностью в Словении и на словенских территориях), а в отношении народов других республик допускалась их полиэтничность (использовался лишь политоним).

Дальнейший ход событий показал, что созданная югославскими, в том числе и словенскими, коммунистами — последователями Сталина и учениками Коминтерна — «федерация», в особенности в конце 1940 — начале 1950-х гг., была лишь прикрытием централистского и тоталитарного государства, имевшим мало общего с традициями словенского федерализма первой половины XX в.

Вторую группировку и идейно-политическую тенденцию составляли предвоенные буржуазные партии. 6 апреля 1941 г. в Любляне их представители образовали Национальное вече, которое робко попыталось взять власть, когда прекратилась связь с Белградом. После того как власть полностью перешла в руки оккупантов, Вече попыталось добиться для Словении положения, сходного с положением, которое имела Словакия¹³⁷. Но бывшая Дравская бановина была безжалостно разделена, и входившие в Вече партии предлагали свои услуги и немцам, и итальянцам. Востребованы они были лишь последними в рамках их более мягкой и хитрой оккупационной политики с предоставлением Люблянской провинции особого статуса — «культурной автономии». Это означало присоединение к Италии при этнической и культурной автономии, участие в управлении, двуязычие и освобождение мужчин от военной службы. Но Люблянская провинция была включена в итальянскую политическую экономическую и правовую системы, что предполагало не только «сближение», но и ассимиляцию словенцев¹³⁸. Однако уже в 1942 г. Муссолини признал: «Наша политика была наивной».

В двух оккупированных германской армией областях открыто проводилась политика онемечивания с целью их присоединения

к Третьему Рейху. Прекмуре было присоединено к хортистской Венгрии, власти которой также проводили соответствующие мероприятия¹³⁹.

Целью традиционных партий было восстановление подновленной королевской Югославии, и они занимали «контрреволюционные» и антикоммунистические позиции. Национальное вече колебалось между сопротивлением и умеренным коллаборационизмом. Имея в виду возможность победы Антигитлеровской коалиции, оставляло дверь открытой и в другом направлении, не утрачивая связь с Лондонским правительством. Уже в 1941 г., когда судьба войны еще была отнюдь не решена, буржуазные политики выработали соглашение относительно своих требований в случае победы союзников. Они выступали за создание объединенной Словении, которая вошла бы в состав федеративного королевства Югославии, а также за объединение Югославии и Болгарии¹⁴⁰.

Первым программным документом и первой реакцией на сложившуюся в словенских землях ситуацию было обращение, с которым 20 апреля 1941 г. выступили Миха Крек, Франц Сной, Франц Габровшек и Алоизий Кухар. Они осудили нападение на Югославию и заявили, что национальной целью должно стать «освобождение и объединение всех областей и краев, в которых проживает словенский народ»¹⁴¹. (Фактически это означало пересмотр Сен-Жерменского договора с Австрией 1919 г. и результатов плебисцита 1920 г., отрицание Лондонского соглашения 1915 г. держав Антанты с Италией). Они считали, что только объединение Словении в границах Югославии может дать ей свободу и «защитит ее только вместе с другими славянскими братьями, в особенности с сербами и хорватами». По сути дела, так ставили вопрос в ходе Второй мировой войны все словенские национально-политические программы — и революционного, и контрреволюционного лагеря, расходясь только в степени последовательности и решительности применения принципов суверенности и федерализма. Лишь группа правых католиков Ламбрета Эрлиха игнорировала югославский вариант и выступала за «католическую средневропейскую конфедерацию»¹⁴². И впоследствии, обвиняя коммунистов в стремлении создать «Дунайскую федерацию», клерикалы сами подумывали о католической федерации средневропейских государств — с Польшей и Чехией¹⁴³. Таким образом, «средневропейская альтернатива» Югославии, хотя и по иным причинам, будоражила сознание отнюдь не только коммунистов.

1 мая 1941 г. «группа словенских эмигрантов в Англии» следующим образом очертила границы существования словенского национального вопроса: в Австрии — от Каринтии до Плецкен пасса и реки Крки, в Венгрии — до Моноштра, в Италии — до реки

Талиаменто¹⁴⁴. Это была объяснимая в условиях войны максималистская националистическая программа этнотерриториальных претензий к соседним государствам, совершившим агрессию, где, однако, проживали и представители других народов, также считавших эти территории своими.

В середине сентября 1941 г. возродилось сотрудничество традиционных партий — Словенской народной, Югославской национальной и социал-демократической. Национальный комитет сформулировал свой подход к решению проблем национального освобождения и будущего устройства страны. «На основе национального единства словенского народа» оно потребовало «свободной и самостоятельной Словении со всеми прилегающими в географическом и транспортном отношении территориями, а также в государственной связи со всеми югославянскими народами». Авторы документа считали, что «на словенской земле только словенец является хозяином», а вопрос о «гражданстве на территории Словении решает сама Словения». При этом подчеркивалось, что все граждане обладают как равными правами, так и равными обязанностями¹⁴⁵.

Осенью 1941 г. Словенская народная партия в «Лондонских пунктах» выступила за свободную и независимую Словению, как равноправную часть обновленной и федеративной Югославии. Партия предполагала также установить связь Югославии с Болгарией и создать Балканскую федерацию. В 1943 г. эта идея переключалась и в программу Освободительного фронта. Однако ОФ и КПС признавали права черногорцев и македонцев, а нереволюционные партии оставались верны старой формуле «словенцы, сербы, хорваты»¹⁴⁶.

23 ноября 1941 г. по радио ВВС из Лондона прозвучала новая версия национальной программы — обновленное и расширенное королевство Югославия; Словения — самостоятельная и равноправная часть Югославии со всем, что находится на ее территории в соответствии с национальным принципом; устройство обновленной Югославии должно быть принято при согласии всех ее составных частей и базироваться на основании принципа равенства на федеративной основе; к компетенции общих органов относятся лишь международные отношения, оборона государственной независимости, а также улаживание конфликтов для обеспечения мирного сожительства всех частей государства; все остальное относится к компетенции федеральных единиц. При этом Югославия составляет единое экономическое пространство и является демократическим государством¹⁴⁷.

26 апреля 1942 г. Словенский национальный комитет в Лондоне обнародовал новый вариант словенской национальной программы. «Югославское правительство, — говорилось в ней, — единственный

представитель всей югославской государственной территории, получивший международное признание всех союзников». Военным министром назначен генерал Д. Михайлович, «единственный законный представитель и организатор югославских вооруженных сил и движения сопротивления врагу, — говорилось далее в документе. — Все те, кто не подчинился генералу Михайловичу, будут считаться национальными изменниками и дезертирами и будут отвечать перед военным судом». Словенские политики-эмигранты были твердо убеждены в том, что, «для словенского народа единственная возможность — стать самостоятельной частью освобожденной Югославии»¹⁴⁸. Хотя политически поддержка Д. Михайловича как «военного министра» объяснима и понятна, с точки зрения не только национальной программы, но и национальных интересов словенцев она трудно объяснима, поскольку программа четников противоречила федералистским устремлениям словенских политиков. Осуществись на деле восстановление королевской Югославии на великосербской основе, — положение словенских министров и их сторонников было бы не лучше, а хуже, чем это было в межвоенные времена.

18 октября 1942 г. министр Лондонского правительства Янез Крек выдвинул свою программу. Она предусматривала объединение словенцев на всех их территориях в единую очищенную в национальном отношении территорию, сохранявшую для своей пользы транспортные экономические и географические связи. Словения вошла бы в состав Югославии и составляла бы с хорватскими и сербскими территориями единое неделимое государственно-политическое образование. Такая Югославия должна быть обустроена на принципах «самой полной демократии и социальной справедливости». Повторяя программу от 26 апреля 1941 г. и поддерживая военного министра, Я. Крек писал: «Как король и правительство являются единственной законной властью, так и югославская армия является единственной законной военной силой. Военным министром является генерал Дража Михайлович». «Все движения, направленные на отлучение словенского народа от Югославии, являются изменническими», — заканчивал он, явно имея в виду Освободительный фронт¹⁴⁹.

Оформившись в 1942 г. в два четко выраженных направления, либералы и клерикалы «на всякий случай» создавали и собственные нелегальные структуры. В 1942 г. либералы и клерикалы сформировали Словенскую лигу, которая прекратила свое существование после капитуляции Италии. По мере усиления позиций Освободительного фронта перед Национальным вече возникла дилемма — борьба за национальное освобождение под руководством коммунистов или коллаборационизм. Большинство оппозиционеров

межвоенного периода выбрало второй путь, который привел их к бесславному бегству из страны вместе с германскими войсками в мае 1945 г.¹⁵⁰

12 сентября 1943 г. после капитуляции Италии Гитлер признал «культурную автономию» Люблянской провинции и назначил «президентом» областного управления Леона Рупника, бывшего ранее жупаном этой области под итальянской администрацией. После этого клерикалы, на словах отказавшись от сотрудничества с немцами, при их поддержке создали Словенское «домобранство» под германским командованием, а также Антикоммунистическую лигу. Ранее были созданы и другие словенские военизированные формирования (Добровольная антикоммунистическая милиция — «белая гвардия», помогавшая итальянским властям, и «голубая гвардия», связанная со Словенской лигой), что было еще одним проявлением коллаборационизма¹⁵¹. (Один из руководителей ОФ и компартии Словении Эдвард Кардель призывал «безжалостно уничтожать „белую гвардию“»¹⁵².) В то же время часть либералов была арестована гестапо. И итальянская и германская администрации вовсе не отказывались от насилия над гражданским населением и от подавления национального движения. Многие его участники попали в концентрационные лагеря, например, на острове Раб¹⁵³.

29 октября 1944 г. обе группировки вновь объединились против Освободительного фронта и подписали совместный документ — Национальное заявление. В нем содержалось требование объединения Словении, создания федеративной Югославия, основанной на принципах социальной справедливости и восстановления Национального комитета в качестве органа «верховой власти словенского народа». Было даже распределено количество мест, выделенное каждой группировке и партии в составе этого комитета: 7 — клерикалам, 6 — либералам и социалистам. Решающим стало заседание 27 апреля 1945 г. На нем было принято постановление о смещении «президента» Л. Рупника, о взятии комитетом власти и переподчинении ему «домобранов». Но Л. Рупник пользовался полной поддержкой немцев, а «ополченцы» в апреле 1944 г. в присутствии епископа Люблянского Рожмана принесли присягу на верность Гитлеру. Фактически немцы держали власть в своих руках вплоть до самого конца¹⁵⁴.

Пытаясь любыми путями воспрепятствовать наступлению господства коммунистов, словенские политики пытались найти всевозможные новые формы государственного устройства — это и объединение словенских земель, включая Целовец, под итальянским протекторатом (в тот момент Италия уже воевала на стороне Антигитлеровской коалиции); передача Краньске под немецкий протекторат, о чем подумывал Л. Рупник; создание «Великой Словении»

или Словенской республики во главе с Рупником; конфедерация с НДХ; средневропейская католическая федерация и т. д.¹⁵⁵. Первые — антикоммунистические и коллаборационистские силы — сильно отставали от Освободительного фронта и в области стратегии будущего развития словенской государственности, и в ее реализации¹⁵⁶. Не говоря уже о том, что все эти планы в сложившейся ситуации были абсолютно утопичны.

Йосип Броз Тито: «Югославия строится и будет построена на федеративной основе»

В соответствии с планами Й. Броза Тито и руководства КПЮ Югославия должна была превратиться в территориальную федерацию, названия единиц которой совпали бы с этнонимами основных народов Югославии. Их границы частично совпали бы с этническими, но многонациональный характер населения в каждой республике сохранялся. Таким образом, отвергался принцип Д. Михайловича «одна национальность — одна нация — одна территория — одно государство». Югославия должна была стать централизованной федерацией республик, основанной на принципах «пролетарского интернационализма». Югославские коммунистические руководители стремились совместить марксистскую теорию, опыт СССР и предвоенной Югославии, воссоздать югославизм в новой форме. Они отвергали и «интегральный югославизм», и этнический национализм отдельных южнославянских народов. Они не рассматривали национальность как субъект государственного права и политических отношений, выступали против отождествления религиозной и национальной принадлежности¹⁵⁷. Некоторые из приближенных Й. Броза Тито мечтали о присоединении Югославии к СССР¹⁵⁸.

Однако и с коммунистами все не было однозначно, и завоевать поддержку населения им было совсем не просто. «Факты состоят в том, что до объявления Германией войны России <...> отечественные коммунисты не проявляли никакой активности, а было и немало случаев, когда они приветствовали договор России с Германией и считали несвоевременным выступать против оккупантов. <...> До вступления России в войну в лесах на территории Хорватии находились только сербы, бежавшие от насилия усташей, — писал неизвестный информатор королевскому правительству в Лондон. — Руководство коммунистической партии и ее главные функционеры перебросились из Сербии в Боснию. Их тактика в самом начале, в особенности когда они переместились в Хорватию, была очень хорошо рассчитана, так как в селах они выступали за [В.] Мачека, изображали из себя армию д-ра Мачека, Матии Губеца и т. д., пропагандировали войну против оккупантов и в то же время открыто

выступали против того, чтобы народ шел в [югославскую] армию. <...> Сразу же они ввели обращения „товарищ“, восхваляли, конечно, очень осторожно, Россию, выступали за свободную Хорватию, но резко критиковали усташский режим и его верхушку и, в особенности, немцев и итальянцев как оккупантов»¹⁵⁹.

В то же самое время, летом 1944 г. ориентированная на движение Д. Михайловича газета «Уединено српство» утверждала: «До начала войны между Германией и СССР они (коммунисты. — С. Р.) были на стороне Германии. В нашем народе никто еще с такой степенью цинизма не бичевал уродство западной демократии, как это делали югославские коммунисты. <...> Они спрашивали: почему мы проливаем кровь за британских капиталистов?.. После нападения на СССР ситуация полностью изменилась. Из крайних пораженцев коммунисты превратились в самых горячих патриотов»¹⁶⁰.

Тем не менее объективно КПЮ оказалась единственной по составу многонациональной партией, а также единственной партией, выступившей против оккупации и раздела страны, принципиально отмежеввавшейся от королевской Югославии. Все остальные политические организации имели локальный и национальный характер и прекратили свое существование. Например, часть Крестьянской партии д-ра В. Мачека — крупнейшей оппозиционной партии в Хорватии, стала сотрудничать с режимом А. Павелича, часть — перешла к партизанам, часть — отошла от политики¹⁶¹.

В связи с этим нельзя не упомянуть об излишне политизированном в последние годы по понятным причинам вопросе о национальном составе участников Народно-освободительной борьбы. Еще в августе 1944 г., отвечая на утверждения У. Черчилля (по-видимому, под влиянием эмигрантского королевского правительства), что «существует разрыв между народно-освободительным движением и сербским народом», Й. Броз Тито подчеркнул, что «НОД является сербским по происхождению и в значительной мере по составу» и что «сербы представляют костяк НОД»¹⁶². Однако сейчас это утверждение, непосредственно связанное с политической борьбой за власть и влияние, вызывает возражения. Хорватские историки, например, приводят данные (опубликованные еще в 1960-е гг.), что среди участников Народно-освободительной борьбы на территории Хорватии хорваты составляли около 60 %, а сербы — около 30 %¹⁶³.

Коммунистическая партия Югославии во время войны соединила в своей программе традиционную югославистскую идею, поддерживавшуюся и частью социал-демократов до Первой мировой войны, с принципами пролетарского интернационализма. Основой его стала известная формула «братство и единство всех наций и национальностей». Это признавали и бывшие враги. «Наилучшим материалом для агитации против немцев располагали коммунисты.

Искусно пользуясь патриотическими лозунгами, они внушали народу мысль об освободительной миссии СССР и коммунистическую идею о завоевании пролетариатом мирового господства. Ярко выраженные сословные различия, существовавшие на Балканах, являлись для их агитации благоприятной почвой, а возникшие продовольственные трудности, испытываемые населением, усилили его ненависть к оккупантам. Начавшаяся тем временем война на Востоке развеяла у балканских народов последние сомнения относительно истинных целей Гитлера и Муссолини. <...> В июле 1941 г. во главе движения встал Тито — обученный в Москве партийный работник. Главной целью освободительной борьбы он объявил не только очищение от оккупантов всей территории Югославии, но и равноправие всех населяющих страну народов в единой независимой Югославии. Одним словом, между борющимися с немцами в этом районе политическими силами с самого начала существовала огромная и непреодолимая стена», — такова оценка германской историографии¹⁶⁴. Отдельные представители германского командования еще в ходе войны признавали ошибки, сделанные на Балканах¹⁶⁵.

Комментируя в феврале 1943 г. ставшую уже известной программу Й. Броза Тито — Ивана Рибара (тогда — председатель Исполкома АВНОЮ), министр эмигрантского правительства Милан Грол записал в дневнике, что «если не считать одного пункта — о федерации сербов, хорватов, словенцев и македонцев (и др.), оппозиции в стране у них (партизан. — С. Р.) не будет»¹⁶⁶. Официально программа была принята 29–30 ноября 1943 г. на знаменитой второй сессии АВНОЮ. Документ гласил: «Чтобы осуществить принцип суверенности народов Югославии, чтобы Югославия превратилась в подлинное отечество для всех народов и не стала бы вотчиной каких бы то ни было господствующих клик, Югославия строится и будет построена на федеративной основе, которая обеспечит полное равноправие сербов, хорватов, словенцев, македонцев, черногорцев, народов Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины»¹⁶⁷.

Несмотря на значительную поддержку в Югославии коммунистических идей, без поддержки СССР — материальной, политической, дипломатической и военной, — движению Тито вряд ли удалось бы одолеть своих многочисленных противников и, обосновавшись в Белграде, воссоздать югославское государство, но уже в новой форме — социалистической этнотерриториальной федерации, которая унаследовала межэтнические и межнациональные противоречия Австро-Венгрии и межвоенной королевской Югославии.

В конституции Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ) 1946 г. были формально провозглашены принципы

равноправия народов, закреплено федеративное устройство и, как тогда представлялось, окончательно обеспечено право всех наций и национальностей страны на самоопределение¹⁶⁸.

* * *

Военное поражение и крах королевской Югославии привели к новому обострению межэтнических противоречий на ее территории, к очередной перекройке административных и политических границ. Оккупанты умело использовали сербских, хорватских и других радикальных националистов, стремившихся использовать крах единого государства и осуществить, как им казалось, национальное самоопределение по принципу «одна этническая общность — одна территория — одно государство». В результате межэтнические противоречия между южнославянскими народами приняли характер междоусобной и гражданской войны в условиях иностранной оккупации. Террор был развязан по этническому, религиозному и политическому принципам.

В 1941–1945 гг. на территории оккупированной Югославии столкнулись различные варианты этнического национализма. Узкий этнический национализм, радикальный югославизм и упрощенный интернационализм были основаны на политическом экстремизме и насилии, на идее авторитарного или тоталитарного государства. В этом состояло их идейное и психологическое родство. Круг идей их руководителей был весьма ограничен и обусловлен их принадлежностью к одному времени, одной политической культуре и сходным идеологическим традициям. Этим объясняется множество типологических и смысловых совпадений в конкретных пунктах программ и схожесть логики мышления непримиримых врагов, каждый из которых имел к тому же и свои собственные политические амбиции.

Казавшиеся в XIX в. демократическими и гуманистическими идеи (и бывшие отчасти таковыми), в XX в. были доведены до логического конца и исторического абсурда. Они стали идеологическим фундаментом тоталитарных и антигуманных режимов, обречших на смерть миллионы людей. На территории побежденной, разделенной и оккупированной Югославии соперничали между собой несколько типов социальных и национальных движений, но ни одно из них не было и не могло быть демократическим. Это было последствием слабого и деформированного развития процессов модернизации в государстве, раздираемым межэтническими конфликтами в процессе национального самоопределения населявших его народов.

После распада королевской Югославии в национальных движениях и сербов, и хорватов возобладали силы, представлявшие радикально-националистические течения, использовавшие экстремист-

ские методы и вставшие на путь сотрудничества с оккупантами. Опыт отношений между частью югославянских народов и их псевдо-независимыми государственными образованиями во время Второй мировой войны и иностранной оккупации ясно свидетельствует об однотипности национального экстремизма у конфликтующих народов и наличии одинаковых структурных элементов в его идеологии и политике. Этническая общность считалась единственным субъектом права, собственником территории и государства, границы которого должны были совпадать с границами расселения «своего» этноса. Этническую (или классовую) однородность предполагалось достичь путем массового истребления населения других национальностей или людей с иными политическими убеждениями, насильственным переселением и «этническими чистками». Иных путей добиться поставленных целей у правителей созданных оккупантами государственных образований, как и у руководителей коммунистического и антикоммунистического сопротивления, не было.

Вожди этих течений и соответствующих им вооруженных формирований враждовали между собой, что не мешало им поочередно блокироваться друг с другом против наиболее сильного в данный момент соперника. Они искали разные пути осуществления своих теорий и планов. Не стал выходом из замкнутого круга и югославизм нового типа, основанный на пролетарском интернационализме и коммунистической идеологии.

Политики, выступавшие за воссоздание единой Югославии в той или иной форме, возглавили коммунистическое и антикоммунистическое сопротивление оккупантам; радикальные этнические националисты независимо от национальности оказались в лагере коллаборационистов. Сложность исторической ситуации заключалась в том, что процесс национального самоопределения проходил у нескольких народов, находившихся приблизительно на одной стадии развития и проживавших на одной территории. Экстремизм одних неизбежно порождал экстремизм других. Эксперименты по созданию «великих» моноэтнических государств «во имя нации» дорого обошлись самим югославянским народам. По разным подсчетам потери в войне сербов составили приблизительно более 500 тыс. человек, хорватов — 200 тыс., босняков-мусульман — около 100 тыс., а общее количество погибших на территории Югославии составило примерно 1,7 млн человек.

Ослепленные крайним этническим национализмом, однотипные оккупационные режимы, представлявшие лишь часть сербов, хорватов и босняков, несут ответственность и перед своими народами, и перед своими жертвами. Их «вожди» после победы государств Антигитлеровской коалиции были объявлены военными преступниками,

и почти все казнены¹⁶⁹. А созданная «железом и кровью» коммунистом-югославистом Й. Броза Тито Югославия через десять лет после его смерти распалась, породив межэтническую бойню, не менее страшную, чем в 1941–1945 гг.

В исторических условиях, сложившихся на Балканах после Второй мировой войны, единственным реальным ответом крайнему национализму и фашизму, проводившим на территории оккупированной и раздробленной Югославии политику этнических чисток и массовых репрессий, было коммунистическое сопротивление. Однако и оно не могло, да и не хотело полностью отказаться от национальных и националистических традиций. Подавив национальные противоречия внутри страны, Й. Броз Тито и его единомышленники выдвигали в соответствии с притязаниями «своих» народов этнотерриториальные требования к соседним государствам по всему периметру югославских границ. Демократической и мирной альтернативы развития Югославии во время и после Второй мировой войны не было и быть не могло.

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль писал: «Неистовая, ожесточенная война за существование, война против немцев пламенем разгоралась среди партизан»¹⁷⁰. Но эта характеристика относится отнюдь не только к коммунистическому и интернационалистскому партизанскому движению. «Неистовую и ожесточенную борьбу за существование вели и те представители национальных движений южнославянских народов, которые стремились к неосуществимой цели — созданию этнически однородных государств в их максимальных границах, и которые ради ее достижения связали свою судьбу с гитлеровским нацизмом и итальянским фашизмом.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Подробнее об апрельских днях 1941 г. и задачах правительства см.: Слободан Јовановић у емиграцији. Разговори и записи. Београд, 1993. С. 192–193, 201–203; *Terzić V. Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. Uzroci i posledice poraza*. I. Београд; Ljubljana; Titograd, 1982. С. 457–482.
- ² *Balkanski ugovorni odnosi. 1876–1996. Dvostrani i višestrani ugovori i drugi diplomatski akti o državnim granicama, političkoj i vojnoj saradnji, verskim i etničkim manjinama / Prired. M. Stojković. T. II. (1919–1945)*. Београд, 1998. С. 472–473.
- ³ *Balkanski ugovorni odnosi... S. 478–479*. Союзник королевского правительства У. Черчилль настаивал на том, что британский посол в Белграде Р. Кэмпбелл «должен и впредь всемерно поддерживать боевой дух югославского правительства и армии, напоминая им, с каким переменным успехом велась война в Сербии в прошлый раз». В инструкции своему послу премьер жестко писал, что его правительство «не понимает, зачем

- королю или правительству покидать обширную гористую страну, в которой полным-полно вооруженных людей». *Черчилль У.* Вторая мировая война. Т. 3. Великий союз / Пер. с англ. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Книжная лавка — РТР, 1999. С. 125.
- ⁴ *Borković M.* Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava. 1941–1944. Beograd, 1979. Kn. 1. 1941–1942. S. 253–263.
- ⁵ См.: *Zecevic M., Lekic B.* Frontiers and internal territorial division in Yugoslavia. Belgrade, 1991. P. 15–16; *Boban L.* Hrvatske granice od 1918. do 1993. godine. Zagreb, 1993. S. 45–49; *Cesarich G.-W.* Croatia and Serbia. Why is their Peaceful Separation a European Necessity? Chicago, 1954, V. 3; *Magocsi R. P.* Historical Atlas of East Central Europe. Seattle; London, 1993. P. 152–155; *Мировая война 1939–1945* / Пер. с нем. М.; СПб., 2000. С. 164; *Семиряга М. И.* Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 177–183.
- ⁶ *Horvat R.* Hrvatska na mučilištu. Pretisak. Zagreb, 1992. S. 627–630; *Balkanski ugovorni odnosi...* S. 489–490, 503–508.
- ⁷ См.: *Габрич А., Ченич З.* Развитие словенской государственности в 1941–1991 гг. // *Словения. Путь к самостоятельности. Документы.* М., 2000. С. 55.
- ⁸ См.: *Šesták M., Tejman M., Havlíková L., Hladký L., Pelikán J.* Dějiny Jihoslovanských zemí. Praha, 1998. S. 447–452.
- ⁹ См.: *Pirjevec J.* Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije. Koper, 1995. S. 113; *Slovenska kronika XX stoljetja. 1941–1995.* Ljubljana, 1997. S. 10; *История на македонскиот народ.* Скопје, 1969. Кн. 3. С. 280–282.
- ¹⁰ Сходные идеи высказал английский историк Н. Малькольм в кн.: *Malcolm N.* Bosnia. A Short History. London, 1994. P. 174.
- ¹¹ Чета (сербск.) — отряд; усташа (хорв.) — повстанец.
- ¹² См.: *Кьежевић Р. и Ж.* Слобода или смрт. Сијатл, 1984; *Omrčanin I.* Military History of Croatia. Pennsylvania, 1984; *The Creation and Changes of the Internal Borders of Yugoslavia.* [n. p., n. d.]; *Трифковић С.* Усташе. Балканско срце таме на европској политичкој сцени. Н.р., 1998; *Енциклопедија Југославије.* Zagreb, 1962. Sv. 5. S. 129–140; *История Югославии.* М., 1963. Т. 2. С. 187–257.
- ¹³ *Doprinos Hrvatske pobjedi antifašističke koalicije.* Zagreb, 1995. S. 39.
- ¹⁴ *Недић М.* Десна Србија. Моја реч Србима 1941–1945. Изабрани ратни говори. Београд, 1996. С. 12.
- ¹⁵ Там же. С. 13.
- ¹⁶ Этот документ опубликован в 1968 г. в книге сербского историка С. Кракова «Milan Nedić» (München, 1968). В книге цит. по: *Etničko čišćenje. Povijesni dokumenti o jednoj srpskoj ideologiji* / Prired. M. Grmek, M. Gjičedara, N. Simac. Zagreb, 1993. S. 135–141. См. также: *Borković M.* Milan Nedić. Zagreb, 1985. S. 268–320.
- ¹⁷ *Семиряга М. И.* Коллаборационизм... С. 328–330, 333–335, 415. В нынешней сербской историографии значительное место занимают аполо-

- гетические труды и публикации, посвященные М. Недичу. См.: *Костић Л. М.* Армијски генерал Милан Недич. Нови Сад, 2000.
- ¹⁸ *Павловић И.* Милан Ђ. Недич и његова доба. Београд, 1994. Књ. 1. С. 167–171.
- ¹⁹ *Vojinović A.* NDH u Beogradu. Zagreb, 1995. См. также: *Borković M.* Kontrarevolucija u Srbiji. Kvislinška uprava. 1941–1944. Кн. 2. 1943–1944. Beograd, 1979. S. 239–243; Документи о издајству Драже Михаиловића. Beograd, 1946. Књ. 1. С. 203–209.
- ²⁰ См.: Русский Корпус на Балканах во время II Великой войны. 1941–1945. Воспоминания соратников и документы. Сб. 2. СПб., 1999. С. 20–21.
- ²¹ *Суботић Д.* Затомљена мисао. О политичким идејама Димитрија Љотића. Београд, 1994. С. 18, 74–76; *Матић М.* Равногорска идеја у штампи и пропаганди. Београд, 1995. С. 274. См. также: *Прави Љоти.* Како настају револуције и други рани текстови Димитрија В. Љотића. Београд, 1997; *Ljotić D. V.* Odabrana dela. Minhen, 1981. Кн. 1.
- ²² Русский Корпус на Балканах... С. 20, 44.
- ²³ *Павловић И.* Милан Ђ. Недич... С. 85, 75–77, 82.
- ²⁴ *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu. 1941–1945 / Prevod sa engleskoga. Zagreb, 1979. S. 141–142.
- ²⁵ *Матић М.* Равногорска идеја... С. 259, С.258, 260–267.
- ²⁶ *Павловић И.* Милан Ђ. Недич... С. 257–258. *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 109–110, 119, 234, 301, 313, 316, 344, 391–394, 399.
- ²⁷ *Зечевић М.* Југославија 1918–1992. Јужнословенски сан и јава. Београд, 1994. С. 96–97.
- ²⁸ *Djordjevic D.* The Yugoslav Phenomenon // The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth Century. N.-Y., 1992. P. 325.
- ²⁹ Однако говорить о начале широкой партизанской борьбы с оккупантами, как это делают последователи Д. Михайловича, для того, чтобы подчеркнуть, что именно он, раньше Й. Броз Тито организовал сопротивление державам «Оси», чуть ли не первое в Европе, вряд ли есть основания. См.: *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 120. Подробнее о советско-югославских отношениях в начале 1941 г. напр., см.: *Восточная Европа между Гитлером и Сталиным 1939–1941.* М., 1999. С. 405–501; *Гибианский Л. Я.* Югославский кризис начала 1941 г. и Советский Союз // *Война и политика. 1939–1941.* М., 1999. С.207–225.
- ³⁰ См.: Документи о издајству Драже Михаиловића. Beograd, 1946. Т. 1. С. 203–209; *Milovanović N.* Draža Mihailović. Zagreb, 1985. Т. 1. С. 203–209; *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana. Sarajevo, 1993. S. 138–142; *Enciklopedija Jugoslavije.* Zagreb, 1956. Sv. 2. S. 572–586; *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 206–210.
- ³¹ Приводимый документ опубликован в 1981 г.: *Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije.* XIV. Knj. 1. Dokumenti četničkog pokreta Draže Mihailovića. 1941–1942. Beograd, 1981. В книге цит. по: *Етничко чишћење. Повијесни документи о једној српској идеологији,* S. 127–133. Далее — *Moljević S.* Homogena Srbija.

- 32 *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 156–157. Также см.: *Hadri A.* Narodnooslobodilački pokret na Kosovu... S. 275–281.
- 33 *Moljević S.* Homogena Srbija. S. 127.
- 34 Цит. по: *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana... S. 142.
- 35 *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 156–157.
- 36 *Moljević S.* Homogena Srbija. S. 128.
- 37 *Matuš M.* Равногорска идеја... С. 158.
- 38 *Matuš M.* Равногорска идеја... С. 20. Чуть больше месяца спустя хорватские политики в эмиграции также поминали 1918 г. недобрым словом: «Чтобы воспрепятствовать братоубийственной войне (и для того чтобы не повторился 1918 г.), надо, чтобы Хорватия осталась в нынешних границах НДХ как единой административной территории до тех пор, пока не будут урегулированы отношения с Сербией». *Boban L.* Hrvatska u diplomatskim izveštajima izbegličke vlade 1941–1943. Zagreb, 1988. Кн. 2. S. 292.
- 39 *Къежевић Р. и Ж.* Слобода или смрт... С. 853–854.
- 40 *Станишић М.* Пројекти «Велика Србија». Београд, 2000. С. 91–93.
- 41 Документи о издајству Драже Михаиловића... С. 14–19, 23–25.
- 42 *Черчилль У.* Вторая мировая война. М., 1998. Т. 6. С. 49–50.
- 43 Говори и изјаве генерала Драже Михаиловића. Чикаго, 1966. С. 58–63.
- 44 *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 206.
- 45 Оригинал опубликован в кн.: *Dedijer V., Miletić A.* Genocid nad muslimanima 1941–1945. 2 izd. Sarajevo, 1990. В книге цит. по: *Etničko čišćenje. Povijesni dokumenti o jednoj srpskoj ideologiji*, S. 144, 146. Фрагмент опубликован в кн.: Документи о издајству Драже Михаиловића... С. 10–13. См. также: *Matuš M.* Равногорска идеја...
- 46 Говори и изјаве генерала Драже Михаиловића... С. 76–82.
- 47 О перипетиях тактических маневров и борьбы великосербского и югославистского течений в четническом движении см. уже упоминавшуюся выше очень интересную, хотя и далеко не бесспорную книгу М. Станишича.
- 48 Цит. по.: *Matuš M.* Равногорска идеја... С. 177.
- 49 Там же. С. 210.
- 50 *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 160–161.
- 51 *Ibid.* S. 163–164.
- 52 Более подробно о ситуации в Косово и Метохии во время Второй мировой войны см.: *Hadri A.* Narodnooslobodilački pokret na Kosovu. 1941–1945. Beograd, 1973. S. 73–392; *Imami P.* Srbi i Albanci kroz vekove. Beograd, 2000; *Коматина Б.* Југословенско-албански односи 1979–1983. Белешке и сећања амбасадора. Београд, 1995. С. 15–19; *Коматина М.* Енвер Хоџа и југословенско-албански односи. Београд, 1995. С. 9–35; 143–165; Косово. Международные аспекты кризиса. М., 1999. С. 82–85; *Horvat B.* Kosovsko pitanje. Zagreb, 1989. S. 68–79; *Malkolm N.* Kosovo. London, 1998. S. 289–333.

- ⁵³ *Horvat B.* Kosovsko pitanje... S. 78.
- ⁵⁴ *Батаковић Д.* Косово и Метохија. Историја и идеологија Београд; Ваљево; Србинје, 1998. С. 155.
- ⁵⁵ *Hadri A.* Narodnooslobodilački pokret na Kosovu... S. 282–284.
- ⁵⁶ См.: *Ляука И.* Эволюция Проблемы Косовы и ее современное состояние. Автореф. дис... канд. полит. наук. М., 1994. С. 16; *Левитин О. Л.* Проблемы югославско-албанских отношений послевоенного периода. (1940-е — начало 1990-х гг.). Автореф. дис... канд. ист. наук. М., 1995. С. 10; *Balkanski ugovorni odnosi...* Т. 2. S. 583–585, 601–603.
- ⁵⁷ История Югославии... С. 226. См. также: *Balkanski ugovorni odnosi...* S. 583–584.
- ⁵⁸ История македонского народа. Скопье, 1986. С. 399. Документы периода Народно-освободительной борьбы в Македонии во время Второй мировой войны см. в кн.: Документы о борьбе македонского народа за самостоятельность и национальное государство. Т. 2. С конца Первой мировой войны до создания национального государства. Скопье; Београд, 1985. С. 315–583.
- ⁵⁹ Историја на македонскиот народ. Кн. 3. Скопје, 1969. С. 279–280; *Balkanski ugovorni odnosi...* S. 492–493.
- ⁶⁰ История македонского народа... С. 373–374.
- ⁶¹ *Карасев А. В., Косик В. И.* Этапы борьбы македонского народа за независимость // Македония. Путь к самостоятельности. Документы. М., 1997. С. 20; *Миловановски С.* Дијалектика развоја македонске националне свести. Београд, 1997. С. 149–157.
- ⁶² История македонского народа... 1986. С. 395. Об истории албанского населения в Македонии см.: *Trifunovski J.* Albansko stanovništvo u Makedoniji. Beograd, 1988.
- ⁶³ История македонского народа... С. 395; Историја на македонскиот народ... С. 293–301.
- ⁶⁴ История македонского народа... 1975. С. 338; Историја на македонскиот народ... С. 280–283.
- ⁶⁵ История македонского народа... 1975. С. 344–345; История македонского народа... 1986. С. 392, 393–394; *Семиряга М. И.* Коллаборационизм... С. 336–347.
- ⁶⁶ История македонского народа.. 1975. С. 339–340. *Grol M.* Londonski dnevnik. 1941–1945. Beograd, 1990. S. 37.
- ⁶⁷ История македонского народа... С. 367.
- ⁶⁸ История македонского народа... 1986. С. 392.
- ⁶⁹ История македонского народа... 1975. С. 341.
- ⁷⁰ Там же. С. 342–343; Историја на македонскиот народ... С. 289–290.
- ⁷¹ См.: *Jugoslavenske vlade u izbeglištву. 1941–1943. Dokumenti.* Priredio Bogdan Krizman. Zagreb, 1981. S. 183, 186; *Grol M.* Londonski dnevnik... S. 9–10; *Романенко С. А.* Югославия, Россия и «славянская идея». М., 2002. С. 194–197.

- 72 *Гибианский Л. Я.* Проблема Македонии и вопрос о федерации на Балканах в отношениях между Москвой и коммунистами Югославии и Болгарии в 19541–1945 гг. // *Македония: Проблемы истории и культуры.* М., 1999. С. 207–208.
- 73 *История македонского народа...* 1986. С. 391.
- 74 *Balkanski ugovorni odnosi...* S. 509–510.
- 75 *Гибианский Л. Я.* Проблема Македонии... С. 207.
- 76 *История македонского народа...* 1986. С. 403–404, 406–407. См. также: *Димитров Г.* Дневник (9 март 1933 — 6 февруари 1949). София, 1997. С. 414, 418 и сл.
- 77 *Аникеев А. С.* Македонская проблема в контексте международных отношений на Балканах (1943–1949). // *Македония. Проблемы...* С. 269.
- 78 *История македонского народа,* 1986. С. 390–391.
- 79 *Гибианский Л. Я.* Проблема Македонии... С. 216.
- 80 Там же. С. 213; *История македонского народа...* 1986. С. 380–381.
- 81 *Гибианский Л. Я.* Проблема Македонии... С. 219, 220. О решениях Антифашистского собрания народного освобождения Македонии 1944 г. и становлении македонской государственности, напр., см.: *Карасев А. В., Косик В. И.* Этапы борьбы македонского народа... С. 20–21.
- 82 *Аникеев А. С.* Македонская проблема... С. 267.
- 83 *Карасев А. В., Косик В. И.* Этапы борьбы македонского народа... С. 21–22; *Ристовски Б.* Русско-македонские исторические связи // *Македония. Путь к самостоятельности...* С. 45.
- 84 *Аникеев А. С.* Македонская проблема... С. 283–285.
- 85 *Dokumenti ustaša / Prired. P. Požar.* Zagreb, 1995. S. 57–89. См. также: *Matković H.* Povijest Jugoslavije. Zagreb, 1998. S. 243–245; *Matković H.* Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Zagreb, 1994.
- 86 Типологическую общность хорватского и сербского «шовинизма и сепаратизма» отметил и М. И. Семиряга. См.: *Семиряга М. И.* Коллаборационизм... С. 334.
- 87 *Dokumenti ustaša...* S. 95–109. См. также: *Pavelić A.* Die kroatische Frage. Berlin, 1941; *Horvat R.* Hrvatska na mučilištu...; *Barišić M.* Ante Pavelić. Zagreb, 1985; *Enciklopedija Jugoslavije.* Zagreb, 1971. Sv. 8. S. 438–444; *Šesták M., Tejthman M., Havlíková L., Hladký L., Pelikán J.* Dějiny Jihoslovanských zemí... S. 453–458. Этнодемографическую концепцию хорватского экстремистского радикального национализма см.: *Lorković M.* Narod i zemlja Hrvata. Zagreb, 1996 (первое издание — Zagreb, 1939).
- 88 *Horvat R.* Hrvatska na mučilištu... S. 620, 621.
- 89 *Pavelić A.* Oslobođenje // *Croatian Almanac—Godišnjak—Kalendar hrvatskog domobrana.* 1940. Pittsburgh; Byenos Aires, [s. a.]. P. 17–27.
- 90 *Naša domovina.* Zbornik. Kn. I. Nezavisna država Hrvatska. Izdanje glaynog ustaškog stana. Sv. I. Hrvatska zemlja — Hrvatski narod — Hrvatska povijest — Hrvatska znanost. Zagreb, 1943. S. 5–6.
- 91 *Dokumenti ustaša...* S. 160–174.

- ⁹² *Boban Lj.* Hrvatska u diplomatskim izveštajima... Кн. 1. S. 287.
- ⁹³ Подробнее о ХКП в период Второй мировой войны, см.: *Radelić Z.* Hrvatska seljačka stranka. 1941–1950. Zagreb, 1996.
- ⁹⁴ *Boban Lj.* Hrvatska u diplomatskim izveštajima... Кн. 1. S. 287.
- ⁹⁵ *Ibid.* Кн. 2. S. 262, 268–269, 275.
- ⁹⁶ См.: *Bilandžić D.* Hrvatska moderna povijest. Zagreb, 1999. S. 175–176; *Doprinos Hrvatske pobjedi...* S. 64–66.
- ⁹⁷ О вызванной такой политикой миграции населения в НДХ и ее демографических последствиях, см., напр.: *Heršak E.* Panoptikum migracija: Hrvati, hrvatski prostor, Evropa // *Migracijske teme.* Zagreb, 1993. № 3–4. God. 9. S. 274–277; *Marić F.* Pregled pučanstva Bosne i Hercegovine između 1879 i 1995. godine. Zagreb, 1996. S. 101–170.
- ⁹⁸ *Семиряга М. И.* Коллаборационизм... С. 396–400.
- ⁹⁹ *Мировая война 1939–1945.* С. 174.
- ¹⁰⁰ *Черчилль У.* Вторая мировая война. Т. 5. С. 285.
- ¹⁰¹ *Redžić E.* Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu... S. 339–343.
- ¹⁰² *Naša domovina...* S. 8. См. также: *Brkljača S., Pelešić M., Kamberović H.* Bosna i Hercegovina... S. 344–352.
- ¹⁰³ *Imatović M.* Historija Bošnjaka... S. 531–532; *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana... S. 128; *Srkulj S., Lucić J.* Hrvatska povijest u dvadeset pet karata. Zagreb, 1996. S. 105–107.
- ¹⁰⁴ *Станишић М.* Проекти «Велика Србија»... С. 68.
- ¹⁰⁵ *Imatović M.* Historija Bošnjaka... S. 537–538. О четниках в Боснии и Герцеговине см. также: *Tomašević J.* Četnici u drugom svjetskom ratu... S. 149–152, 232–233; *Brkljača S., Pelešić M., Kamberović H.* Bosna i Hercegovina... S. 357–361.
- ¹⁰⁶ *Sulejmanpašić Z.* 13. SS divizija «Handžar»: istine i laži. Zagreb, 2000. S. 35, 9–13.
- ¹⁰⁷ См.: *Trhulj S.* Mladi Muslimani. Zagreb, 1992. S. 10–12, 57–61.
- ¹⁰⁸ *Mamuh M.* Равногорска идеја... С. 218–219.
- ¹⁰⁹ *Sulejmanpašić Z.* 13. SS divizija «Handžar»... С. 49–50.
- ¹¹⁰ *Redžić E.* Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu... S. 101–103.
- ¹¹¹ *Redžić E.* Muslimansko autonomaštvo i 13. SS divizija. Autonomija Bosne i Hercegovine i Hitlerov Treći Rajh. Sarajevo; Svjetlost, 1987. S. 71–72 i sl.
- ¹¹² *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana. S. 150–152; *Boban Lj.* Hrvatska u diplomatskim izveštajima izbegličke vlade. 1941–1943. I. Zagreb, 1988. S. 289. О позиции различных течений в национальном движении боснийских мусульман во время Второй мировой войны также см.: *Redžić E.* Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu. Sarajevo, OKO, 1998. S. 299–375; *Filandra S.* Bošnjačka politika u XX stoljeću. Sarajevo, Sejtarija, 1998. S. 157–195; *Brkljača S., Pelešić M., Kamberović H.* Bosna i Hercegovina u toku Drugog svjetskog rata, S. 352–356; *Boban Lj.* Hrvatska u diplomatskim izveštajima. I. S. 289.

- ¹¹³ Цит. по: *Redžić E.* Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu. S. 334; *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana. S. 151–152. См.: *Redžić E.* Muslimansko autonomaštvo. S. 224–225. О позиции различных течений в национальном движении боснийских мусульман во время Второй мировой войны также см.: *Filandra S.* Bošnjačka politika u XX stoljeću. Sarajevo, Sejtarija, 1998. S. 157–195; *Brkljač S., Pelešić M., Kamberović H.* Bosna i Hercegovina u toku Drugog svjetskog rata // Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata. 2 izd. Sarajevo, 1996. S. 352–356.
- ¹¹⁴ *Horvat R.* Hrvatska na mučilištu. S. 621. Также см.: *Pavelić A.* Strahote zabluda. Komunizam i bolševizam u Rusiji i u svijetu. Zagreb, CROATIA-PROJEKT, 2000. S. 245–249; *Ljotić D. V.* Odabrana dela. I knjiga. Minhen, 1981. I knjiga. Minhen. 1981. S. 168–170, 180–189, 216; *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana. Sarajevo, Oslobođenje, 1993. S. 125; *Imamović M.* Istorija Bošnjaka. Sarajevo, Bošnjačka zajednica kulture, 1998. S. 531.
- ¹¹⁵ *Horvat R.* Hrvatska na m ucilištu. S. 621.; *Duraković N.* Prokletstvo Muslimana. S. 125.
- ¹¹⁶ *Imamović M.* Historija Bošnjaka... S. 534.
- ¹¹⁷ Различные точки зрения на отдельные аспекты истории этой дивизии, см., напр., в упоминавшихся выше книгах: *Sulejmanpašić Z.* 13. SS divizija «Handžar»...; *Redžić E.* Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu... S. 74–77; *Imamović M.* Historija Bošnjaka... S. 538, 540–543; *Романько О. В.* Мусульманские легионы во Второй мировой войне. М., 2004.
- ¹¹⁸ *Lucić J., Šanjek F., Antić Lj. i dr.* Hrvatski povijesni zemljovid. Zagreb, 1994. S. 47, 84.
- ¹¹⁹ Slovenska kronika XX. stoljetja... S. 11.
- ¹²⁰ *Габрич А., Ченуц З.* Развитие словенской государственности... С. 55–56.
- ¹²¹ *Prunk J.* Slovenski narodni vzpon. Narodna politika. (1768–1992). Ljubljana, Državna založba Slovenije. 1992. S. 303.
- ¹²² *Prunk J.* Slovenski narodni vzpon... S. 321.
- ¹²³ *Pirjevec J.* Op. cit., S.123; *Габрич А., Ченуц З.* Развитие словенской государственности... С. 58–60.
- ¹²⁴ См.: *Kisić-Kolanović N.* Andrija Hebrang (1899–1949): iluzie i otrežnjenja. Zagreb, Institut za suvremenu povijest, 1996. S. 37, 51–52; *Сумарокова М. М.* Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны. 1929–1939. М., Наука, 1980. С. 94–95.
- ¹²⁵ *Prunk J.* Slovenski narodni vzpon... S. 305–306.
- ¹²⁶ Ibid. S. 312.
- ¹²⁷ Ibid. S. 315; Slovenska kronika XX stoljetja... S. 21–23.
- ¹²⁸ *Prunk J.* Slovenski narodni vzpon... S. 322.
- ¹²⁹ Ibid. S. 326.
- ¹³⁰ Ibid. S. 327–328.
- ¹³¹ Slovenska kronika XX stoljetja. S. 59–60.
- ¹³² *Prunk J.* Slovenski narodni vzpon... S. 328.
- ¹³³ Ibid. S. 341–342.

- ¹³⁴ Slovenska kronika XX stoljetja. S. 48–49.
- ¹³⁵ Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 349, 352. Также см.: Pirjevec J. Jugoslavija. S.137–138.
- ¹³⁶ Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 363.
- ¹³⁷ См.: Краткая история Чехословакии с древнейших времен до наших дней. М., Наука, 1988. С. 58, 364; Семиряга М. И. Коллаборационизм... С. 253–257.
- ¹³⁸ Slovenska kronika XX stoljetja... S. 14.
- ¹³⁹ Pirjevec J. Op. cit., S. 123–124; Ferenc T. Položaj slovenskega naroda ob okupaciji. Ljubljana, Sodobnost, 1991. S. 857; Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 298–300.
- ¹⁴⁰ Enciklopedija Jugoslavije. Sv 7. S. 263.
- ¹⁴¹ Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 301.
- ¹⁴² Ibid. S. 302.
- ¹⁴³ Ibid. S. 331.
- ¹⁴⁴ Ibid. S. 302.
- ¹⁴⁵ Ibid. S. 313.
- ¹⁴⁶ Slovenska kronika XX stoljetja... S. 59. Подробнее о позиции королевского правительства в эмиграции и дебатах внутри него напр., см.: Krizman B. Jugoslavenske vlade u izbeglištvu. 1941–1943. Dokumenti. Zagreb, 1981; Petranović B. Jugoslavenske vlade u izbeglištvu. 1943–1945. Dokumenti. Zagreb, 1981.
- ¹⁴⁷ Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 314.
- ¹⁴⁸ Ibid. S. 329.
- ¹⁴⁹ Ibid. S. 339.
- ¹⁵⁰ Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb. 1968. Sv 7. S. 263.
- ¹⁵¹ Габрич А., Чепич З. Развитие словенской государственности... С. 57.
- ¹⁵² Prunk J. Slovenski narodni vzpon... S. 326.
- ¹⁵³ Slovenska kronika XX stoljetja. S. 20–21.
- ¹⁵⁴ Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb. 1968. Sv. 7. S. 263, 268–260.
- ¹⁵⁵ Slovenska kronika XX stoljetja. S. 60.
- ¹⁵⁶ Габрич А., Чепич З. Развитие словенской государственности... С. 60; Balkanski ugovorni odnosi... S. 575–578.
- ¹⁵⁷ Balkanski ugovorni odnosi... S. 573–575.
- ¹⁵⁸ Гиренко Ю. С. Сталин–Тито. М., 1990. С. 276, 365. См. также: Šesták M., Tejhtman M., Havlíková L., Hladký L., Pelikán J. Dějiny Jihoslovanských zemí... S. 459–492.
- ¹⁵⁹ Boban Lj. Hrvatska u diplomatskim izveštajima... Кн. 2. S. 275.
- ¹⁶⁰ Матућ М. Равногорска идеја... С. 140.
- ¹⁶¹ См. напр.: Radelic Z. Hrvatska seljačka stranka. 1941–1950. Zagreb, 1996.
- ¹⁶² Цит. по: Гиренко Ю. С. Сталин–Тито... С. 218.

- ¹⁶³ Ср.: Doprinos Hrvatske pobjedi... S. 76; *Bilandžić D.* Hrvatska moderna povijest... S. 182.
- ¹⁶⁴ Мировая война... С. 165.
- ¹⁶⁵ *Штрик-Штрикфельдт В.* Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение. 2-е издание. Frankfurt-Main, 1981. С. 327.
- ¹⁶⁶ *Grol M.* Londonski dnevnik... S. 290.
- ¹⁶⁷ История Югославии... С. 226. О взаимоотношениях Сталин—Тито и влиянии сталинистской идеологии на Тито см.: *Гуренко Ю. С.* Сталин—Тито...; *Джилас М.* Лицо тоталитаризма. М., 1992.
- ¹⁶⁸ См.: Конституции и основные законодательные акты Федеративной народной Республики Югославии. М., 1956. С. 9—45.
- ¹⁶⁹ *Семиряга М. И.* Коллаборационизм... С. 798—799.
- ¹⁷⁰ *Черчилль У.* Вторая мировая война. Т. 5. С. 285.

Плюс история минус

Рассуждая об исторической памяти, у нас, случается, бывает странная амнезия: мы хорошо помним традиционный набор стереотипов, позволяющих легко воспроизводить те или иные схемы, но «забывать» при этом иные сюжеты. Более того: история и литература нашего Отечества всегда шли и продолжают идти разными путями. Другого и быть не могло: мы всегда стремились «выскочить» из подавляющей личность истории, создаваемой государством, и «вскочить» в литературу, творящую героя, творца, освободителя. Так, хотелось бы привести ту мысль, что наша российская литература всегда воспитывала борцов, а уж где-то по том человека, опять-таки стоящего на перепутье между культурой и цивилизацией, человека, который, не утратив доверчивой веры в атеизм, в «плохую» отечественную историю, надеется обрести место своей Родины в европейской истории.

И в этой ситуации чрезвычайно важно попытаться разобраться с самой Европой, которая все больше превращается в поликультурное «гетто» для «умных» европейцев, страдающих комплексом неполноценности и лечащих его импортом миллионов «глупых» мусульман. Так зачем же нам так стремиться туда: нас туда не зовут, да и места дворников и таксистов все заняты. К тому же у нас своих дворников не хватает. И на всех бесплатного сыра не хватит. Но если перестать иронизировать, то ситуация с Европой довольно сложна и непонятна. У нас был «мировой жандарм», «империя зла», теперь что — строится «империя с человеческим лицом», т. е. Европейский союз, Соединенные штаты Европы. Исчезают национальные интересы, уступая место европейским, а те — общечеловеческим. В целом этот процесс можно расценить как положительный, если забыть про опасность того, что «общечеловечность» потребует самых кровавых войн и жертв для установления «общемировой гармонии» в «отдельном регионе» для «отдельного поликультурного конгломерата людей». Последние события с Ираком позволяют предположить, что этим «отдельным раем» совсем не обязательно будет европейское пространство.

Разумеется, сам феномен в абсолюте должен представлять собой своеобразные соединенные штаты человечества, объединенные одной системой бытия. На современном этапе он наиболее ярко представлен через идею глобализации мира. Одновременно, как и любая идея универсального характера, она имеет свой антипод —

контекстуальную идею, суть которой в контексте той или иной культуры. Как я предполагал ранее, это противопоставление не означает противостояния. Увы, дело обстоит несколько по-иному: речь идет «о выпадении в осадок» в учебниках истории культур и самого политического бытия народов, переживших свой расцвет. При этом этот непростой процесс может длиться веками, прерываясь отчаянными и кровавыми попытками возрождения. И здесь, возможно, самым эффективным средством сохранения своей «национальной» идентичности может опять-таки оказаться литература, уводящая людей в область «бессознательно-магического прошлого», позволяющего завязать нить времен на личностно-подсознательном уровне.

Надо признать, что имя России — царской или советской — в сущности, не вызывало у зарубежных славян особых положительных эмоций, разве только в некоторые кризисные моменты их существования. Конечно, была историческая память о всем том положительном, связывающем славянство, но она была и остается лишь одним из многих факторов, определяющих тактику дня и стратегию времени. Все они, так или иначе, связаны с европейскими интеграционными процессами, с глобализацией мира. И здесь возникает старый вопрос, связанный с феноменом «отмирания государства» в процессе строительства «Всемирной выставки человечества» в его начальной форме Европейского союза. Родиной того же болгарина станет в будущем Европа... но мусульманская, черная, азиатская! И не верится, судя по надписям на домах в Софии, что потомки хана Аспаруха станут себя чувствовать комфортно в такой Европе.

Конечно, не стоит забывать и о параллельном процессе активного строительства национальных государств на Балканах, на территории бывшего СССР. Но здесь надо подчеркнуть, что обретение ими самостоятельности следует трактовать прежде всего как естественное следствие развала СССР, а не как результат их собственных усилий. И в своем беге от России эти страны ищут спасения своей национальной идентичности, своего возрождения в западном мире, забывая о том, что он находится в состоянии кризиса культуры, депрессии и затуманивания человеческого духа. Да, и российский мир окутан мглой, и наше будущее также тяжело предугадать, тем более что Европа, куда и мы стремимся, перестанет существовать, если она будет включена в Евразию.

Но... Если верить тому, что правда никогда не бывает сладкой, то не исключено, что славянство сгнило, не дождавшись зрелости. Славянский мир, о котором столь вдохновенно писали его мечтатели, не стал реальностью. К этому было множество известных и набивших всем оскомину причин.

Если говорить о главной из них, то стоит вспомнить старый аргумент атеистов в их борьбе с православием: «Если Господь всемогущ, то сможет ли он создать такой камень, который Сам не сможет поднять?». Ответ на эту хитроумную уловку может быть таков — этим «камнем» является человек, в нашем случае славянство, чьи дороги, используя фразу Николая Васильевича Гоголя, расплзались как раки.

Всеславянская империя в форме конфедерации под скипетром самодержавной России с ее византизмом не устраивала славянскую интеллигенцию, вскормленную на идеях свободы, равенства, братства. Лозунги Великой французской революции, окрашенные в национальные, а зачастую в националистические, цвета были гораздо привлекательней, нежели «заедающие» их жизнь призрачные идеи всеславянства, грозящие в случае их воплощения отрывом от Европы, к которой они так стремились.

Безусловно, что те же балканские народы, только что пробуждавшиеся к самостоятельной жизни, должны были искать себе опекуна, защитника, покровителя, стража их интересов. Но по справедливости не они выбирали, а их делили и разделяли.

А как же Петербург, можно задаться «глупым» вопросом? Конечно, и в России желали укрепления своего геополитического влияния на Балканах. Но история ей отвела роль только освободительницы, с опекуном у нее получалось плохо.

В сущности, прагматика еще в позапрошлом веке пронизывала всю политику тех же балканских земель с их вечными спорами, ссорами, конфликтами, войнами из-за турецкого наследства. Кратко говоря — их испортил «квартирный вопрос».

И здесь представляется уместным поставить вопрос о «великой всеславянской империи»? Да, конечно, по результатам войны 1877—1878 гг. свою программу-минимум по Восточному вопросу Россия выполнила. В туманном будущем рисовалась заманчивая картина формирования восточноправославной политической, религиозной, культурной — но не административной — конфедерации славянских стран.

Именно эта конфедерация под гегемонией самой не славянской и в то же время самой славянской России должна была обеспечить *«новое разнообразие в единстве, всеславянское цветение»*.

Время не оправдало надежд. Потуги славянского мира к гармонизации отношений были безнадежно испорчены самими славянами. Можно даже сказать в запальчивости, что славяне «сожрали» императорскую Россию, чтобы потом, заплатив долг соцлагерем, уйти на Запад.

Для полноты общей картины расстройств славянского дела следует добавить, что война империй, начавшаяся в 1914 г., заставила

славян в очередной раз испытать и прочувствовать «поэзию борьбы», умирая за свою родину и чужую «свободу». И картины тех братоубийственных сражений крепко врежутся в историческую память народов, «оживая» всякий раз при очередной «разборке» отношений между теми же сербами, болгарами, хорватами. При этом нож, веревка, бомба, револьвер — обычный набор национального революционера. У диссидента — перо, бумага, готовность к жертве, в основном к чужой. Понятие блага у всех них подменялось категорией свободы. Национализм победителей мог подчинить иные народы, но не мог нейтрализовать национализм, зачастую только тлеющий, иных народов. Как известно, под пеплом угли гораздо дольше сохраняют свой жар: именно таким был и тот же албанский сепаратизм. Нежелание идти под охраной сербов к «братству и единству» создавали трудности для Белграда, для сербских националистов, видевших в уступках мусульманам пропасть для своих соплеменников, живущих в Боснии и Герцеговине. Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что эта идея, получавшая распространение прежде всего в сербской молодежной среде и не принимаемая теми же хорватами, все же была скрытой, во многом еще неясной формой сербизма наоборот, цель которого заключалась в создании нового человека — югослава. Однако процесс растворения сербов в югославянстве требовал определенных условий, прежде всего консенсуса всех народов. А этого не было и не могло быть по причинам исторического характера. Добавлю, что сам термин «югославянство» многими трактовался в духе великосербской идеи. В случае с королевской Югославией это означало одно — сербский югославизм. «Все люди равны, но некоторые — равнее» — этот тезис из «Скотного двора» Джорджа Оруэлла достаточно ярко отражал внутреннюю ситуацию в королевстве «сербских зеркал».

Сама идея самоопределения наций, где тон задавали хорваты, как ржа разъедала югославянскую империю.

И хотя власти первой Югославии выдерживали натиск, но маховик центробежных сил раскручивался все быстрее. Провозглашенный в конце 20-х гг. принцип — «одно государство, один народ» терпел крах. Сама идея «югославянской нации» не была так уж близка и самим сербским массам, не забывавшим, на чьей стороне воевали хорваты в первой мировой войне. В то же время нельзя сказать, что вся политическая элита сербского народа был настроена и действовала с позиций «племенного национализма». В ней были и свои «непримиримые», и свои «соглашатели», действовали «победители» и «побежденные».

Их тактика может быть объяснена лишь только через «постепенщину»: надо сначала «сломать» монархию, чтобы потом через демократизацию прийти к «социализации».

Единственной опорой режима могла стать Коммунистическая партия Югославии, но это было равносильно подписанию властями смертного приговора самим себе.

В конечном итоге, опять через войну, была создана вторая Югославия, в которой национальный вопрос получил свое разрешение через федеративное устройство государства. Пришедшие к власти коммунисты целенаправленно и последовательно строили новую историческую общность — югославский народ. И надо отметить, что в этом деле они достигли немалых успехов.

Однако на пути к формированию «югославского сознания» по-прежнему высились завалы, созданные самой историей и памятью входивших в Югославию наций. В стране и за ее пределами было немало тех, кто мечтал о создании независимой Хорватии или о формировании великой Албании.

Значительную трудность для новой власти представляли мусульмане Боснии и Герцеговины. Как ни парадоксально, но высшее образование, которое должно было бы служить стиранию национальных перегородок, зачастую способствовало укреплению национальной памяти и росту настроений национального сепаратизма.

Конкретным примером может служить история с Приштинским университетом. Получавшая солидное образование албанская молодежь, чей интеллектуальный потенциал часто не был затребован обществом, не могла не ставить перед собой вопросов о неудовлетворительности положения своего народа в административно-территориальной системе Югославии, в политико-экономической жизни страны.

В определенной степени это было вызвано и самой слабой подключенностью к современным экономическим задачам тех же албанцев и боснийцев с их патриархальной замкнутостью.

В то же время говоря о политической ситуации, не следует забывать о явной и неявной «сербизации» в сфере управления различными процессами общественной жизни в регионах, чьи территории в историческом прошлом входили в состав сербских земель; прежде всего речь идет о Косово, Боснии и Герцеговине.

Достаточно сказать, что сама история этих земель преимущественно подавалась с позиций сербства, иными словами, их народы были объектом, а не субъектом соответствующих изысканий, что не могло вызывать недовольства и протеста среди историков той же Боснии, чему я был свидетель.

Безусловно, температура межнациональных отношений на мифологическом уровне поддерживалась фольклорной литературой, например, в жанре анекдота. Причем, если брать Сербию, Хорватию, Словению, то здесь господствовал политический анекдот, который по своей сути был связан с ведущими фигурами на югославской

политической сцене. Добавлю, что для него не было характерно высмеивание тех же сербско-хорватских национальных отношений, он шел дальше — едко прохаживаясь по идее единого югославского народа.

Совершенно иначе обстояло дело с так называемыми бытовыми анекдотами, сопряженными с той же Боснией, Македонией или даже с Черногорией. Иронией, фарсом, гротеском были пронизаны сюжеты, где главными героями выступали, например, Муйо и Хасо. И надо думать, что у боснийцев в их подсознании эти анекдоты, мягко говоря, не были интегративным средством укрепления широко прокламируемого властями лозунга «братства и единства». Относительно Македонии замечу, что в сербском анекдоте проблема национальности ее основного народа решалась в пользу болгар.

Конечно, анекдот — всего лишь одна из форм народной мысли, смеховой культуры, инакомыслия. Но если принимать на веру, что творцом истории является народ, то следует непреложный вывод о тех поистине непреодолимых трудностях, стоявших перед Югославией в межнациональной сфере управления.

Разумеется, работа и усилия центральных властей — будь то Югославия или Болгария — были нацелены на выполнение главной задачи — воспитание молодежи в духе государственного патриотизма и всенародной любви к другу Тито — «субичице беле» или товарищу Живкову. С внешней, парадной стороны дело шло успешно. Достаточно вспомнить НРБ, когда в ней шло массовое «обращение» турок в болгар. В то же время дезинтеграционные процессы в различных формах, я говорю о СФРЮ, не исчезали с политического горизонта. Недовольство и раздражение активно накапливалось прежде всего не в Хорватии или Словении, обладавших относительно независимостью и мощной исторической памятью, а в Боснии и Герцеговине, Косово, где новое поколение активно впитывало в себя идеи высвобождения от сербства и не желало оставаться «маргиналами» Балкан и европейской цивилизации.

И здесь активную роль в этом разрушительном для «братства и единства» процессе сыграла Европа вместе с США, взявшими на себя мессианскую задачу переустройства мира по американской модели «братства и единства». Развал СССР, а в последующем и социалистического лагеря, убыстрил распадение второй Югославии. Нельзя «забывать» и известные ошибки, допущенные руководством страны при разрешении того же боснийского и косовского кризиса.

В свое время Константин Леонтьев утверждал, что «силу славянства дробило само славянство». В своей абсолютной форме этот тезис остается верным, хотя я бы сказал несколько по-иному, а именно: потенциальную силу славянства разрушала его история. Возможно, такой взгляд кто-то охарактеризует как попытку

«протащить» провиденциализм, но, как представляется, дело не столько в нем, сколько в том всемирном процессе упрощения, глобализации истории.

В сущности, наше время может быть охарактеризовано как век подмен, прежде всего в сфере самосознания, растворения национального в общечеловеческом, в решении проблем с использованием военной машины как «единственного» средства для эффективного урегулирования горячей ситуации где-либо далеко от Вашингтона.

И само становление, а для некоторых государств выживание зависит прежде всего от нахождения верной пропорции национального и европейского. Этот труднейший вопрос каждое государство решает на свой манер, исходя из своей истории, забывая о ее тупиках. Здесь следует вспомнить, что «закат» страны, империи может отсрочить только культура в своем единстве оригинальных начал. Но для нашего времени характерна резкая поляризация культуры элиты и культуры масс, что не внушает особого оптимизма при взгляде на будущее. Далее. Процесс деления и разделения институтов власти продолжается и будет длиться до тех пор, пока «славянин» не превратится в «европейца». Конечно, это потребует больших инвестиций самого различного характера. Здесь и обычное вливание денежной евромассы, «раздача» денег остальным балканским славянским странам, отношения между которыми далеко не безоблачны. Тут — напряженная и трудоемкая работа по «промывке мозгов» с обязательным стиранием в памяти всего отрицательного, что должно быть уничтожено. Необходимо не забыть и привлечение специалистов к активной деятельности по подмене истории этнографией. На «выходе» должен получиться средний европеец. Будет ли он хорошим судить трудно. Плохо одно — он средний. Иными словами, он будет опять-таки той самой массой, почвой, на которой или не вырастет ничего, или история пойдет по своему кругу.

Более того, в построениях и лозунгах о равенстве в обществе, государстве лиц, сословий, наций, экономическом и умственном равенстве полов можно, вслед за многими философами, увидеть все тот же грозный процесс уравнивания, упрощения и, соответственно, разрушения культурного мира с его своеобразием. Наш русский мыслитель К. Н. Леонтьев шел дальше и; как мне представляется, говорил и предупреждал об упрощении Бога, приспособлении идеи Бога к человеческим нуждам и интересам. Эта угроза воплотилась в массовой культуре, в том числе и политической, государственной. Собственно говоря, эта философская сентенция может быть с одинаковым правом отнесена к нашей эпохе и соотносима с практикой общегосударственной жизни в мире, где «свобода есть осознанная необходимость», а иное «рабство» обосновано наукой и «ходом исторического развития». Казалось бы, зависимость очевидна и идея

всеобщего блага может быть реализована. Но сам ход человеческой истории указывает на идеальность, вернее, на иллюзорность такой идеи. Практически же она осуществляется лишь в Боге.

В свое время «певец британского колониализма» Редьярд Киплинг написал знаменитые строчки: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, / Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд, / Но нет Востока и Запада нет, что — племя, родина, род, / Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?»

Время и сейчас все больше подтверждает эти мысли, и «солнце» для многих всходит на Западе.

Но такая «аномалия» может ассоциироваться со всемирным «потопом» или, если угодно, «очищением», вследствие чего человек обретет свободу и одновременно, можно допустить, что он станет и ее рабом.

Южнославянский мир на рубеже XX и XXI вв.

Прежде всего я хочу выразить благодарность организаторам международной конференции «Славянский мир: общность и многообразие», проводящейся в Самаре в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры, за приглашение принять участие в работе «круглого стола».

Положение южнославянских народов в начале XXI в. во многом определили события, которые произошли в конце XX в. Решающее значение в этом смысле имел, несомненно, исход борьбы между двумя основными концепциями обустройства глобальных отношений в мире, которые в общественной практике после Второй мировой войны оформились в виде институтов западной и восточной демократии. Эти системы опирались на существенно различные модели политических отношений, характер власти, способ функционирования экономики, общественных институтов и государственного аппарата в целом. Одна из них обозначалась термином «либерализм», тогда как другая определялась как «коммунизм» или «социализм». Исход этой борьбы за власть на глобальном уровне определил судьбу мира не только славянского, и не только в конце XX — начале XXI в., а по оценкам отдельных историков Запада, окончательно утвердил модель либеральной демократии как единственно возможную.

Поддерживая такую позицию синтагмой «конец истории», Френсис Фукуяма, по сути дела, обозначил не только исход конфликта периода «холодной войны» и державу-победителя США, но и триумф концепции, которая легла в основу идеологическо-политических идей блока стран, которые они проводили. Кроме того, идеей его работ было и то, что, с точки зрения политической теории и практики, победа модели западной демократии одновременно означает и неизбежный провал всех проектов, касающихся будущих направлений исторического развития, т. е. всех политических концепций, будущий мир которых строится на «восточной идеологической парадигме». Поскольку сама по себе модель социалистических общественных отношений не нашла исторического подтверждения, то она обозначена как «неудачный исторический эксперимент».

Хотя конец «холодной войны» символически выразился в падении Берлинской стены, он, по существу, имел гораздо более широкий и далеко идущий круг последствий. Кроме того, что он вызвал крах хозяйственных, политических, социальных, экономических,

одним словом, целых государственных систем в странах, которые до этого функционировали по принципам восточноевропейской, т. е. просоветской политической доктрины, он в еще более радикальной форме поставил вопрос об их будущем. Чтобы уйти от прошлого, с которым было связано ощущение ошибочности, кроме психологического момента, подразумевавшего присутствие необходимого уровня коллективного сознания о потребности быстрого принятия новой системы ценностей, столкновение с реальностью содержало в себе и необходимость поисков наиболее подходящего пути для того, чтобы принять неизбежные перемены. Была нужна и новая политическая элита, способная направить общественные процессы по пути реформ не только в политической и экономической областях, но и во всех других сферах жизни. При этом, по крайней мере на уровне исторического достоинства, следовало сохранить историческую перспективу, т. е. не допустить полную политическую и любую другую маргинализацию мира, прежде всего славянского, который до тех пор развивался по иной модели общественных отношений. Правда, особых возможностей выбора и не было. Западные историки поражение одной, т. е. победу другой, модели на идеологическо-политическом уровне истолковали как окончание «в смысле развития идеи о свободе». При этом крах реального социализма, которым были охвачены все славянские народы, истолковывался как осязаемое свидетельство того, что больший порядок свободы, чем существующий в обществах, построенных на либеральных конституционных принципах, невозможен. Из этого сделан вывод, что задачей победителей в «холодной войне» является распространение своей демократии на все остальные территории. Этот процесс в глобальном плане назван «созданием нового мирового порядка», тогда как населению каждой конкретной страны следовало преобразовывать собственность, управление, имущество в целях принятия западных стандартов и системы ценностей, а период преобразований для этих отдельных стран, назван переходным периодом или периодом адаптации.

Для южнославянского мира перемены, происшедшие в общем плане, имели не только характер перехода от одной модели общественных отношений к другой. Для большинства южнославянских народов весьма болезненной промежуточной фазой оказалась постановка вопроса о пересмотре их прежнего государственного статуса. Это было характерно прежде всего для народов, которые некогда объединились и создали государство — Югославию. Но вопрос о новом государственном статусе, кроме отказа от изживших себя форм организации государства, имел и другую сторону, т. е. подразумевал интеграцию на международном уровне в новые формы отношений между государствами, которые вытекали из развития

международного сообщества после окончания периода холодной войны. Таким образом, почти одновременно на южнославянской территории начались процессы дезинтеграции с точки зрения отказа от существующих государственных и блоковых структур, которые олицетворяли раньше государство Югославия и Варшавский пакт, а также процессы, вводившие только что сформированные государственные субъекты в новые европейские интеграции.

С разрушением биполярной структуры международного сообщества, основанной на системе равновесия сил, после объединения двух Германий, распада Советского Союза и прочих вытекающих отсюда последствий оказалось, что историческая потребность в существовании прежнего югославского государства в политическом смысле в значительной мере исчерпана. Хотя в это государство входили главным образом южнославянские народы, выражавшие синтез своих национальных и исторических стремлений и воплотившие свое государственное сознание, развивавшееся в течение XIX в., в создании югославского государства в 1918 г. и в его восстановлении в 1945 г., это государственное содружество с точки зрения внутренних учредителей оказалась неспособным выжить в условиях существенно изменившихся международных обстоятельств. Наряду с Болгарией Югославия в течение всего XX в. была наиболее важной южнославянской страной и фактором мира и стабильности на Балканах. Но в отличие от Болгарии, являвшейся значительно более древним мононациональным содружеством с глубоким историческим фундаментом, оказалось, что существование государства южнославянских народов было в значительной мере обусловлено внешними факторами. Будучи «санитарным кордоном» после Октябрьской революции, нейтральной зоной между Востоком и Западом после Второй мировой войны, по окончании «холодной войны» Югославия сделалась как бы ненужной страной.

Из шести федеральных единиц, находящихся в рамках ее государства, четыре получили государственную самостоятельность при благосклонном отношении международного сообщества, тогда как две, вошедшие во время создания первой Югославии в нее как международные субъекты, остались вместе, в рамках третьей Югославии. Сегодня — это слабое госсодружество Сербии и Черногории, из имени которого исчезло определение «югославский», с ярко выраженными атрибутами государственной самостоятельности Черногории.

Геополитическое распределение южнославянских территорий началась с югославского кризиса и распада бывшего югославского государства. Этот процесс в целом, тем не менее, нельзя рассматривать изолированно и сводить только к внутренним факторам. Абсолютно ясно, что никакие изменения государственных границ на

Балканах не могло произойти без согласия и влияния великих держав. Изменения в глобальном плане, о которых мы говорили выше, создали необходимые внешнеполитические рамки, в которые трагическим образом вписались накопившиеся внутренние противоречия, многочисленные неразрешенные экономические и политические проблемы, национальная и религиозная рознь, пережитки прошлого, потеря веры в возможность дальнейшей совместной жизни. Неблагоприятные внутренние факторы, которые поощрялись извне, привели сначала к отделению нескольких республик, а затем к брутальной гражданской войне с непредсказуемыми трагическими последствиями для всех югославских народов.

В то же время югославский кризис, если обозначить этим термином сам процесс дезинтеграции югославского государства, может быть, не имел бы столь трагического характера, если бы с самого начала не решался непоследовательным применением принципов международного права, особенно, если рассматривать это с точки зрения двойных стандартов в его применении. Очевидно, к примеру, что право народа на самоопределение было основой для создания новых национальных государств. Это опосредованно обеспечивало легалитет процессу исчезновения СФРЮ, так же как СССР. Таким образом, и с одной и с другой стороны свои государства впервые получили и некие «новые народы», которые недавно, а иногда и искусственно, оформились в нацию. Вместе с тем при определении этнических границ этих государств не применялся принцип самоопределения, так что относительно большой процент представителей других народов остался в рамках вновь созданных национальных государств, не имея возможности использовать этот принцип и высказаться о своей судьбе, что привело к межэтническим конфликтам и военному ущербу широкого масштаба.

То, как распалось предыдущее югославское государство, повлияло на сегодняшние взаимоотношения южнославянских народов, которые осложнены и новыми проблемами. Хотя недавние события на территории бывшей Югославии — одна из причин, из-за которой их принадлежность к славянскому этническому пространству, славянской цивилизации и культурному кругу, не является ни политическим фактором, ни фактором интеграции, существуют и другие причины такого положения. Идея коммунизма и мировой революции, которые после 1918 г., а затем и в течение всего XX в. объединяли славянский мир по этой политической матрице, сначала сделали ненужными, а затем почти полностью оттеснили на второй план природные истоки славянского единства, которые содержались в этнической тождественности, культурной, религиозной и языковой близости, а прежде всего в стремлении православного славянского мира к взаимосвязям. Сегодня все южнославянские страны,

включая и Болгарию, не только взаимно удалены друг от друга в политическом и культурном смысле, но находятся на дистанции и по отношению к своей славянской матери — России, которая опять же, впервые со времени Петра Великого, разделена на три тоже политически полярных центра, в которых все чаще присутствуют конфессиональные, да и политические различия. Как самая большая славянская страна Россия сегодня и в переносном, и в реальном смысле дальше от южнославянского мира, чем когда бы то ни было за последние два века.

Несомненно, что занятость собственными проблемами — одна из причин такого положения в славянском мире в целом и особенно среди южнославянских стран. Созданные на руинах предшествующих политических систем и государств, на национальной концепции, обращенные в большей мере к прошлому, чем к будущему, южнославянские страны с разоренным хозяйством, прерванными экономическими, торговыми и финансовыми связями, в ссоре друг с другом, без возможностей самостоятельного экономического развития естественно вынуждены устанавливать более прочные экономические и политические связи с западными странами. К этому их, с одной стороны, подталкивали процессы интеграции в Европе, а с другой стороны — процесс глобализации, охватывающий кроме политической стороны, смысл которой в установлении нового мирового порядка, и другую сторону, обусловленную научно-техническим развитием, развитием телекоммуникации, компьютерной технологии, биотехнологии, стирающими государственные границы, а общественную жизнь превращающими в глобальный феномен.

Но для включения в процесс евроатлантической интеграции, Европейский союз или некоторые другие виды интеграции, вроде Партнерства во имя мира, Пакта об ассоциации и стабилизации Балкан, южнославянские страны должны выполнить многочисленные условия политического, экономического, военного характера, которые им предъявляются, что наряду с требованием быть кооперативными с международным сообществом нередко сводит их государственную самостоятельность к статусу половинчатого суверенитета. Из-за этого южнославянские страны находятся сегодня в состоянии экономической подчиненности или зависимости, которые в отдельных случаях, из-за политической и военной несамостоятельности, имеют и элементы протектората.

Имея в виду, что дальнейшие интеграционные процессы с перспективой членства в Европейском союзе для южнославянских стран — историческая неизбежность, встает вопрос, как эти процессы отразятся на судьбе славянских народов на юго-востоке Европы, кризис идентичности которых уже частично проявляется в потере атрибутов веками сохранявшегося национального и государственного

суверенитета, а также в том, что традиционные ценности славянской цивилизации все больше вытесняются на второй план, сталкиваясь с искушениями потребительской культуры, приматом материального над духовным и другими моделями жизни по западным стандартам.

Для судьбы южнославянского мира на рубеже XX и XXI вв. характерно и то, что ему, если рассматривать на уровне явления, предлагается только одна перспектива благосостояния — через рамки и стандарты политического и экономического характера западного происхождения. Имеются в виду, по существу, политические и экономические программы великих западных держав, окончательная реализация которых ведет к мировому господству, которое должно охватить и самые северные точки славянского мира. Южнославянский мир сегодня находится не только на рубеже веков, но и на рубеже своей истории, поскольку ему, раздробленному и разобщенному, оставшемуся без опоры на исходные точки своей исторической вертикали, среди которых всеславянская общность и солидарность — краеугольные камни его исторического сознания и идентичности, созданной в борьбе за национальную независимость, грозит отставание в историческом развитии. Судьба южных славян зависит, таким образом, от судьбы славян в целом и от того, в какой мере они будут в состоянии внести своей исторической энергией, цивилизационными ценностями и культурой вклад в современные политические и экономические процессы в мире.

Древнеболгарский перевод Ветхого Завета

В конце XX в., в 1998 г., Кирилло-Мефодиевский научный центр БАН опубликовал первый том серии под названием «Древнеболгарский перевод Ветхого Завета»¹. В этом томе была разработана концепция издания и опубликован текст книг двенадцати малых пророков по старейшему славянскому списку Ветхого Завета, находящемуся в болгарской рукописи последней четверти XIV в. Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (F. I. 461). Это был первый результат работы по проекту о публикации древнейшего славянского небогослужебного перевода ветхозаветных книг по его старейшему списку, принимая во внимание всю болгарскую рукописную традицию, а также — соотношение славянского текста с греческим текстом Септуагинты. Именно на этом проекте сейчас сосредоточено внимание Кирилло-Мефодиевского научного центра.

Известно, что первый славянский перевод Ветхого Завета связан теснейшим образом с деятельностью славянского первоучителя св. Мефодия². Об этом впервые свидетельствует самый авторитетный и самый полный источник о его жизни и деятельности — «Пространное житие Мефодия». Оно было создано его учеником, вероятнее всего, вскоре после смерти Мефодия, когда группа известных нам учеников Кирилла и Мефодия прибыла в болгарскую столицу Плиска в конце 885 или в начале 886 г. При этом произведение сохранилось в очень древнем списке XII—XIII вв., в хорошо известном русском Успенском сборнике. В 15-й главе жития можно прочесть: «Потом же отверг все волнения (света) и возложил печаль свою на Бога. Раньше же (еще), посадив из учеников своих двух попов скорописцев, перевел быстро и полностью все книги (библейские) кроме Макавеев, с греческого языка на славянский, за шесть месяцев, начав от марта месяца и до двадцать шестого октября. <...> Ведь только Псалтырь и Евангелие с апостолом и избранными службами церковными перевел сначала с Философом»³. Здесь я не буду останавливаться на спорных вопросах, возникавших в связи с этим местом жития⁴. Отмечу только факт, что, несомненно, оно свидетельствует о полном переводе Библии, за исключением Макавейских книг, сделанном Мефодием и его учениками в конце жизни учителя, вероятнее всего между 882 и 884 гг. Это сведение подтверждается и другими ранними источниками — Богословием Иоанна Экзарха Болгарского (точнее, его Предисловием)⁵, Проложным

житием Кирилла и Мефодия, предназначенным для 25 августа⁶ — произведения, возникшие в Болгарии в конце IX — начале X вв., а также и более поздними текстами как, например, Изборником 1073 г.⁷, т. н. Успением св. Мефодия, возникшим в Болгарии около 1211 г.⁸, и др. Анализ данных о мефодиевском переводе Ветхого Завета показывает, что они свидетельствуют о составе ветхозаветных книг, соответствующем современной восточноправославной традиции: 39 канонических и 11 неканонических книг.

Сразу нужно задаться вопросом — почему именно полный древнеболгарский небогослужебный перевод Ветхого Завета (за исключением Псалтыри, у которой совершенно самостоятельное развитие в славянской средневековой традиции) стоит в центре научных исследований Кирилло-Мефодиевского центра? Почему это место не занимают переводы Евангелия, Псалтыри, Апостола, богослужебных книг, оригинальных произведений славянских первоучителей? Эти переводы тоже входят в исследовательские задачи Центра, но первостепенное место изучения древнейшего славянского четьего перевода Ветхого Завета определяется фактом, что именно этот перевод заслуживает исключительного внимания современной славистики. Первая причина — то обстоятельство, что он почти совсем не изучен. Чтобы убедиться в истинности этого утверждения, достаточно указать на данные, собранные итальянским ученым Марчелло Гардзанити об исследованиях и изданиях древнейшего славянского перевода Евангелия и о развитии его текста: в книге, опубликованной в Германии в 2001 г., на 796 страницах он приводит сведения о 2257 евангельских рукописях с X—XI до XVI вв., о 134 изданиях евангельского текста и о приблизительно 1400 научных исследованиях, посвященных ему⁹. Хотя относительно Кирилло-Мефодиевских переводов Псалтыри, Апостола и Паримейника подобные данные еще не собраны, известно, что они тоже хорошо исследованы, опубликованы, и их рукописная традиция сравнительно хорошо известна.

Состояние исследований полного небогослужебного Мефодиевского перевода Ветхого Завета сильно контрастирует с положением изучения Евангелия, Псалтыри, Апостола и Паремийника. Его рукописная традиция неясна и не исследована. До 1998 г. были опубликованы переводы только восьми ветхозаветных книг — книги Бытия, Песни песней и книг пророков Даниила, Осии, Иоила, Амоса, Авдия и Ионы. Число научных исследований этого перевода вряд ли превышает сотню¹⁰.

Кроме того, как хорошо известно, библейский корпус, включая ветхозаветные книги и в целом, и в виде конкретных текстов, не только связан теснейшим образом с оригинальными произведениями древнеболгарской и всей восточноправославной средневековой

литературы, но и целиком определяет основные черты ее поэтики. Поэтому чрезвычайно важно знать, в каком виде средневековые писатели *Slavia Orthodoxa* читали и использовали библейские тексты.

Процесс ознакомления ученых со славянскими средневековыми небогослужебными текстами Ветхого Завета начался очень давно и преимущественно благодаря замечательным исследованиям русских ученых конца XIX и первых десятилетий XX вв. И. Е. Евсеева (1868–1921)¹¹ и А. В. Михайлова (1859–1927)¹² продвигался очень быстро. К сожалению, после них этот процесс прервался более чем на пятьдесят лет и начал восстанавливаться только в 80-х гг. XX в. Именно тогда появилась серия трудов русского филолога А. А. Алексеева, посвятившего много усилий изучению и изданию Песни Песней¹³. Именно тогда была предпринята первая попытка, оставшаяся пока единственной, собрать воедино все сведения о славянских средневековых рукописях православного региона, содержащих списки четых ветхозаветных книг. Ее осуществил американский ученый Р. Матисен, профессор Brown University. В его публикации, конечно, неполной, содержатся данные о 141 рукописи с XII по XVI вв.¹⁴

Я встретила эту публикацию с огромным интересом, в связи со своей работой об истории текста Похвального слова святого Климента Охридского о пророке Илье. В статье, вышедшей в 1984 г., я уже довольно детально исследовала вопрос о влиянии полного текста Книги Царств на это слово и обнаружила, что сохранился очень древний их список последней четверти XIV в. в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (F. I. 461)¹⁵. По неясным для меня причинам, однако, и Алексеев¹⁶, и Матисен¹⁷ относили этот кодекс к концу XIV — началу XV в.

Вот почему в 1984 г., когда я имела возможность в первый и последний раз работать продолжительное время, полные две недели, в петербургских хранилищах, я решила посвятить свое время именно этой рукописи. Исследование показало, что эта уникальная рукопись чрезвычайно важна для славянской филологии. У меня созрела идея о подготовке полной публикации ее текста, а также необходимости полного исследования средневековой болгарской рукописной традиции древнейшего славянского перевода Ветхого Завета и его развития в болгарских землях. Я должна признать, что тогда состояние этой проблематики напоминало темный лес, в котором почти нет никаких дорожек, и только изредка проходящий через него человек мог видеть какие-то более светлые места. Было немножко страшно начать такую работу, но в то же самое время это был и волнующий вызов — проложить хотя бы несколько дорожек и открыть дорогу проникновения света хотя бы к некоторым частям этого леса.

Так начались мои многолетние занятия с болгарской рукописной традицией ветхозаветных книг, приведших состояние исследований к тому, что в конце 1980 — начале 1990-х г. у меня была не только идея о масштабном проекте для их полного исследования и публикации, но обнаруженный мною материал давал уже возможность начать конкретную работу над осуществлением этого проекта. И эта работа действительно началась в Кирилло-Мефодиевском научном центре БАН после его реорганизации в 1993 г. В ней уже принимают участие пять сотрудников Центра и несколько иностранных ученых.

Здесь я не могу останавливаться на всех проблемах, исследованных до сих пор. Попробую представить коротко только некоторые результаты изучения части проблематики. В первую очередь укажу, что до сих пор я обнаружила 19 рукописей с XIV по XVI века, в которых сохранилась средневековая традиция текста ветхозаветных книг в болгарских землях¹⁸. В них представлены перевод св. Мефодия, в большинстве случаев редактированный в Восточной Болгарии в IX—X вв., так называемый преславский перевод, или только редакция библейского корпуса, а также переводы или редакции XIV — начала XV в.¹⁹ Сразу хочу указать, что ранние переводы и редакции широко распространялись в русских землях, однако переводы и редакции XIV и XV в. ограничиваются распространением только в южнославянских землях.

Здесь я хотела бы сказать несколько слов о самых важных рукописях и о проблеме их публикации.

Без сомнения важнейшая среди них — Петербургская рукопись F. I. 461²⁰. Она представляет собой внушительный том, состоящий из 440 листов форматом в лист, и в ней представлены все разделы Ветхого Завета (возможно, в ней было представлено в свое время также Восьмикнижие). Здесь содержится толковый текст пророческих книг, но некоторые из них в книге не представлены (Книга пророка Даниила) или представлены неполным текстом (прежде всего книги пророков Исаяи, Иеремии и Иезекииля). Рукопись создана в неизвестном нам большом скриптории, вероятнее всего — монастырском, не менее чем семью переписчиками, местами заменяющими друг друга, даже по середине строки. В кодексе наблюдаются все характерные черты среднеболгарских текстов, написанных на территории Болгарии во второй половине XIV в. и отличающихся особенностями реформированного тырновского правописания, предшествующего реформе патриарха Евфимия. Сегодня мы пока не можем сказать с полной уверенностью, какие этапы истории текста наличных в рукописи переводов представлены в книге в целом. По всей вероятности, однако, рукопись не содержит текст, вполне гомогенный по отношению к представленному в ней переводу,

а переводы отдельных ветхозаветных книг имеют самостоятельное происхождение. В книгах, отражающих Мефодиевский перевод (например, в Книге Иова, Притчах Соломона, Иисуса сына Сирахова) во всех случаях сохранены изменения восточноболгарских книжников конца IX — начала X в. До сих пор, однако, не определены тырновские лингвистические черты текстов и не ясно, существуют ли вообще какие-нибудь перемены в языке перевода после «преславского» этапа истории текста, или в Тырнове была осуществлена только орфографическая редакция. Петербургская рукопись по сути дела — важнейшая болгарская средневековая рукопись, содержащая ветхозаветные книги, предназначенная для индивидуального чтения, а не для богослужения. Она — не только древнейшая в хронологическом отношении, но до сих пор — единственная болгарская рукопись этого типа и самое полное болгарское собрание книг Ветхого Завета эпохи Средневековья, обнаруженное до сих пор. Она — также старейшая сохранившаяся до сих пор славянская рукопись вообще, в которой предпринимается попытка собрать в одну книгу текст Ветхого Завета и по этой причине — чрезвычайно интересна для изучения истории первого славянского перевода ветхозаветного текста не только в Болгарии, но и во всем славянском мире.

Текст этого списка лежит в основе ряда молдавских среднеболгарских рукописей, передававших очень пунктуально свои болгарские протографы²¹. Эти рукописи следующие: ГИМ. Шук. 507, написанная в монастыре Нямец иеромонахом Гервасием в 1475 г., самый роскошный по своему художественному оформлению среднеболгарский список ветхозаветных книг; № 85 Румынской академии наук в Бухаресте, середины или третьей четверти XV в.; РГБ. Ф. 178 (Музейное собрание). № 3750 второй половины XV в.; № 171 Румынской академии наук в Бухаресте, 80–90-х гг. XV в.; РГБ, собрание Румянцевского музея № 29, написанная в монастыре Бистрица в 1537 г. монахом Иоанном. Интересно отметить, что некоторые из молдавских списков сохранили следы продолжительного развития текста в болгарской рукописной традиции до XIV в. Так, например, в № 85 документировано существование второго протографа Книг Царств, отличающегося от протографа Петербургского списка и других среднеболгарских списков. Этот протограф в некоторых случаях — ближе к первоначальному переводу по сравнению с протографом Петербургского списка. В № 171 представлено более позднее состояние среднеболгарской текстовой традиции, но в нем сохранились также чтения, более близкие к общему протографу списков и даже к первоначальному переводу.

Что касается других рукописей, содержащих списки ветхозаветных книг, распространявшихся в болгарских землях, отмечу

несколько фактов. В первую очередь — существование текстовой традиции пророческих книг, различной от представленной в Петербургской рукописи. Мы находим ее в рукописи № 1 Хлудовского собрания ГИМ первой половины XVI в., написанной, вероятно, Матеем, иеромонахом Слепенского монастыря св. Иоанна Предтечи²². В этой рукописи находятся тексты всех пророческих книг, и в некоторых случаях текст архаичнее и не наблюдается редактирование преславских книжников. Этот текст восходит к традиции, начинающейся со списка русского книжника Упыря Лихого 1047 г., списанного, вероятно, с глаголического текста, и широко распространенной в русской средневековой книжности.

Во-вторых, я укажу на второй болгарский перевод Книг Царств XIV в., старейший текст которого сохранился в роскошном кодексе Одесской научной библиотеки 1/106, написанном в 1418 г. переписчиком Доситеем для сербского деспота Стефана Лазаревича²³. Именно этот перевод находим в одной тоже роскошной рукописи РГБ, № 1/ М., 1684, написанной монахом Висарионом из Дебра, работавшим в Слепенском монастыре Св. Иоанна Предтечи по повелению охридского архиепископа Прохора не позднее 1544 г., и предназначенной для архиепископской церкви Св. Климента в Охриде²⁴. Заслуживает внимания факт, что тот же болгарский книжник активно участвовал в создании нескольких списков Песни песней. Он списал три раза эту библейскую книгу — в рукописи № 311 НБКМ, № 1/118 и № 1/119 Одесской научной библиотеки, список, обнаруженный мною четыре года тому назад²⁵.

Отмечу также широкое распространение Песни песней в болгарских землях в XVI в. в толковом переводе Константина Костенецкого, осуществленном до 1427 г., но без толкований (он представлен во всех списках Висариона, а также в списке Висариона Хилендарского первой четверти XVI в., в рукописи Австрийской национальной библиотеки Cod. Slav. 14 (№ 111). Единственный болгарский список этого перевода с толкованиями находится в библиотеке Рильского монастыря и датируется концом XV в.²⁶.

В болгарских землях распространялась и текстовая традиция так называемой южнославянской группы Восьмикнижия, восходящая к среднеболгарскому оригиналу. Она сохранилась в одной валашской рукописи 80–90-х гг. XV в. (ГИМ. Собрание Е. Барсова № 3) в уже упомянутой рукописи собрания В. Григоровича (РГБ. № 1/М., 1684), где Восьмикнижие переписано монахом Сисоем, и в рукописи Хорватской Академии наук и искусств в Загребе (№ 3. С. 17), списанной, вероятно, в Лесновском монастыре²⁷.

Наконец, я упомяну три важных и совсем не исследованных до сих пор текста книги Иова²⁸. О двух из них считается, что они связаны с переводом (или редакцией) хилендарского монаха Гавриила,

возникшем в 1412 г. и основанном на греческом оригинале афонского монастыря Есфигмен, сохранившемся и до сих пор в ГИМ (Син. 63/202). Первая рукопись, конца XV в., написана в Рыльском монастыре и хранится до сих пор в его библиотеке, № 1/4. Вторая рукопись находится в Библиотеке Румынской академии наук в Бухаресте, № 96. Она написана в 1503 г. в Зографском монастыре Висарионом Хилендарским, учеником сучавского митрополита Теоктиста (1446–1457), по повелению сучавского митрополита Георгия, умершего в 1511 г. Третий болгарский список, совершенно неизученный, находится в библиотеке Рыльского монастыря, № 4/14. Он написан в 1456 г. Владиславом Граматиком в деревне Младо Нагоричино и содержит полный текст с толкованиями различных византийских авторов, оформленными как схолии на полях.

Несомненно, особенности Петербургской рукописи свидетельствуют, что именно она — самый подходящий объект для подготовки полного научного издания ветхозаветных книг, находящихся в этой книге. Поэтому в Кирилло-Мефодиевском научном центре БАН началась подготовка дипломатического издания именно этой рукописи Ветхого Завета с вариантами по сохранившейся среднеболгарской традиции и по греческому тексту. Кроме упомянутого в самом начале первого тома этого издания, недавно вышел из печати второй том, содержащий Книгу пророка Иезекииля²⁹, почти готовы к печати книги пророка Иеремии и Варуха, Плач Иеремии и Послание Иеремии, ведется интенсивная работа над изданием Книги Иова, Притч Соломона и Книги Иисуса сына Сирахова.

Ясно, однако, что для издания древнеболгарского перевода Ветхого Завета мы не можем ограничиться только публикацией Петербургской рукописи. На основе среднеболгарской традиции будет опубликован также текст Восьмикнижия (кроме Книги Бытия), и уже завершается подготовка издания Книги Исход по рукописи собрания Е. Барсова № 3. После публикации среднеболгарской традиции мы намерены продолжить публикации переводов и редакций, возникших в болгарских землях, но не сохранившихся в среднеболгарской традиции. В этих изданиях будут опубликованы списки, возникшие в болгарских скрипториях, с вариантами всех списков, возникших в таких скрипториях. Дальше можно предпринять публикацию переводов и редакций ветхозаветных книг XIV и XV вв., распространившихся в болгарских землях.

Вся эта огромная работа — самая трудная и самая ответственная задача Кирилло-Мефодиевского научного центра в настоящем столетии. Но она — вызов и славистике XXI в. в целом, так как познание текстов древнейшего славянского перевода ветхозаветных книг чрезвычайно важно для изучения всей духовной культуры восточноправославных славян эпохи Средневековья. Вот почему я надеюсь, что

она успешно продолжится, и постепенно слависты будут, наконец, иметь в своем распоряжении тексты ветхозаветных книг в таком виде, в каком их читали и знали наши предки до конца средних веков.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Старобългарският превод на Стария Завет / Под общ. ред. и введ. С. Николова, Р. Златанова. София, 1998. Т. 1. Книга на дванадесетте пророци с тълкования.
- ² См.: Thomson F. J. Has the Cyrillomethodian Translation of the Bible Survived? // Thessaloniki Magna Moravia. Proceedings of the International Conference Thessaloniki: 1997, 16–19 October. Thessaloniki, 1999. P. 149–164; Николова С. Проблема полного Мефодиевского перевода Библии // Слов'янський збірник. Одеса, 2000. Вип. VII. С. 8–14. Этот вопрос рассматривается на фоне общей проблематики средневековых славянских переводов Библии также в новейших обобщающих трудах Ф. Томсона и А. А. Алексеева: Thomson F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament // Interpretation of the Bible. Ljubljana-Sheffield, 1998. P. 605–920; Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
- ³ Текст цитируется по переводу в кн: Флоря Б. Н. Сказания о начале славянской письменности. Науч. изд. СПб., 2004. С. 193.
- ⁴ Насколько мне известно, последняя статья, посвященная этому вопросу, принадлежит Е. Вайеру: Weiher E. Die Frage der Rekonstruktion altbulgarischer Texte und Kapitel XV der Vita Methodii // Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. München, 1999. S. 331–339.
- ⁵ См.: Des hl. Johannes von Damaskus Εὐχέλεις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Überetzung des Exarchen Johannes. Hrsg. von L. Sadnik. Wiesbaden, 1967. S. 2–6, 212–213 (Monumenta Linguae slavicae dialecti veteris. V).
- ⁶ См.: Старобългарският превод на Стария Завет... С. XIII; Станиславов (Лесновски) Пролог от 1330 година // Павлова Р. Увод и научно разчитане на текста; Желязкова В. Научно разчитане на текста. Календар. Велико Търново, 1999. С. 333–334.
- ⁷ См.: Симеонов сборник (По Светославовия препис от 1073 г.). Изследвания и текст. София, 1991. Т. 1. С. 29, 697–702.
- ⁸ См.: Иванова К. Успение Мефодиево // Palaeobulgarica. 1999. № 4 (23). С. 24.
- ⁹ Garzaniti M. Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung. Köln; Weimar; Wien, 2001 (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A, Slavistische Forschungen, N. F., Bd. 33).
- ¹⁰ Библиографию этих изданий и исследований см. в: Thomson F. J. The Slavonic Translation...; Алексеев А. А. Текстология...
- ¹¹ О его исследованиях см. труды Ф. Томсона и А. Алексеева (сноска 10), а также: Дилевски Н. Евсеев Иван Евсеевич // Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1985. Т. 1. С. 645–646.

- ¹² О его исследованиях см. труды Ф. Томсона и А. Алексеева, а также: *Грашева Л. Михайлов Александър Василевич* // Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 1995. Т. 2. С. 702–706.
- ¹³ Библиографию его трудов см.: *Алексеев А. А. Текстология...* С. 234, 242; *Он же. Песнь песней в древней славяно-русской письменности.* СПб., 2002. См. о нем: *Вълчанов В., Милтенова А. Алексеев Анатолий Алексеевич* // Кирило-Методиевска енциклопедия. София, 2003. Т. 4. С. 593–597.
- ¹⁴ *Mathiesen R. Handlist of Manuscripts Containing Church Slavonic Translation from the Old Testament* // Полата књигописна. 1983. № 7. С. 3–48.
- ¹⁵ *Николова С. Някои текстологически проблеми в панегиричното творчество на Климент Охридски (По материали от «Похвално слово за пророк Илия»)* // Кирило-Методиевски студии. София, 1984. Кн. 1. С. 115.
- ¹⁶ *Алексеев А. А. К определению объема литературного наследия Мефодия* // ТОДРЛ. Л., 1983 Т. 37. С. 248.
- ¹⁷ *Mathiesen R. Handlist of Manuscripts...* С. 20. № 27.
- ¹⁸ *Николова С. Проблемът за издаването на небогослужебните български средновековни текстове на Стария Завет* // Старобългарският превод на Стария Завет... С XIX–XXVI. После этой публикации, где указано 18 рукописей, я обнаружила неизвестный список XVI в. Песни песней в переводе Константина Костенецкого в Одесской государственной научной библиотеке, 1/119 (см. об этом: *Алексеев А. А. Песнь песней...* С. 156).
- ¹⁹ *Николова С. Проблемът...; Она же. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария Завет* // Старобългарска литература. 1994. № 28–29. С. 110–118; *Она же. К истории текста Книг Царств в славянской письменности* // *Jews and Slavs. Jerusalem, 1995. Vol. 3. P. 54–68; Она же. За два непроучени среднобългарски ръкописа от XV в., съдържащи старозаветни книги* // *Ricerche Slavistiche. 1996. Vol. 48. P. 6–35; Она же. Ръкописите на Висарион Дебърски и текстовата традиция на Стария Завет* // Българският шестнадесети век. София, 1996. С. 363–402; *Она же. Болгарские тексты Ветхого Завета до Геннадиевской Библии и проблема их публикации* // *Одеська болгаристика. Одеса болгаристика. Одесская болгаристика. Науковий щорічник. Одеса, 2003. Вип. 1. С. 71–76.*
- ²⁰ Подробнее о ней см.: *Николова С. За най-стария...*
- ²¹ О них более подробно см.: *Николова С. За два непроучени ръкописа...; Болгарские тексты Ветхого Завета...*
- ²² О нем см. подробнее: *Николова С. Проблемът... С. XXIII–XXIV; Николова С., Йовчева М., Попова Т., Тасева Л. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. София, 1999. С. 17–18, обр. 33–34.*
- ²³ О нем см. более подробно: *Николова С. К истории текста Книг Царств...*
- ²⁴ Там же; *Николова С. Ръкописите на Висарион Дебърски...*
- ²⁵ См.: *Николова С. Ръкописите на Висарион Дебърски... С. 385–386; Алексеев А. А. Песнь песней... С. 156.* Здесь необходимо уточнить, что Висариону принадлежат только эти три списка Песни Песней. Я, как и А. Минчева, считаю, что второй список в отрывках — 1/118а, расположенный

- на 4 листах, не принадлежат Висариону (см. *Николова С.* Ръкописите на Висарион Дебърски... С. 386–387; *Она же.* Проблемът... С. XXVI). Мое мнение по этому вопросу неправильно передано в книге: *Алексеев А. А.* Песнь песней... С. 156, сноска 10).
- ²⁶ Об этих списках см.: *Николова С.* Проблемът... С. XXV–XXVI; *Алексеев А. А.* Песнь песней... С. 155–162.
- ²⁷ Об этих рукописей см.: *Николова С.* За два непроучени ръкописа... С. 90; *Она же.* Проблемът... С. XXIII, XXIV, XXV.
- ²⁸ О них см.: *Николова С.* Проблемът... С. XXIII, XXV. Списки Ръльского монастыря недавно привлекли внимание И. Христовой (см.: *Христова И.* Перевод книги Иова с катенами в среднеболгарских списках // Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция в София, 26–28 юни 2003. София, 2004. С. 143–152).
- ²⁹ Старобългарският превод на Стария Завет / Под общ. ред. и въвед. от С. Николовой. Изд. подг. от Л. Тасева, М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева. Т. 2. Книга на пророк Иезекиил с тълкования. София, 2003.

**«Праздньство слоугы твогго васиана»
(загадочная служба в древнеславянской Минее
за октябрь)**

В известном издании древнерусских служебных Миней за первую четверть годового круга опубликован текст церковной службы св. Василию Чудотворцу, поминовение которого приурочено к 10 октября¹. В примечаниях к своему труду И. В. Ягич отметил, что данное песенное последование отсутствует в древнейшей новгородской Минее 1096 г. и печатается по рукописи нач. XII в. из Софийского собрания (РНБ, Соф. 188)². Другой, несколько сокращенный список этой же службы ученый обнаружил во втором комплекте новгородских Миней из Синодального собрания (ГИМ, Син. 160)³. Богослужбное последование св. Василию, состоящее из седальна, трех стихир и канона 6-го гласа, присутствует и в составе современной Миней⁴, однако здесь название службы звучит как «преподобному Василию (Вассиану) Чудотворцу». Попытка выяснить, какому именно Василию или Вассиану посвящены церковные гимны и почему они не встречаются в большинстве аналогичных средневековых славянских списков, принесла неожиданные результаты.

Вассиан или Василий?

Архиепископ Сергей (Спасский), работая над «Полным месяцесловом Востока», не обнаружил в греческих рукописях свидетельств празднования памяти некоего св. Василия в октябре⁵. Но во многих греческих списках Устава Великой церкви, синаксариях и минологиях IX–XII вв. именно на 10 октября приходится память преп. Вассиана, жившего в V в.⁶ Сведения о жизни св. Вассиана чрезвычайно скудны и противоречивы⁷. Краткое проложное житие⁸ рассказывает о нем как об одном из устроителей монастырской жизни в Константинополе: святой основал обитель, ставшую местом стечения многочисленных учеников; среди которых была и св. Матрона⁹. Еще при жизни Вассиан заслужил почтение со стороны светских властей, в том числе и императора Маркиана (450–457 гг.), и прославился не только своей мудростью, своим даром предвидеть будущее, но и многочисленными чудесами, случившимися после его смерти. День памяти св. Вассиана зафиксирован во многих греческих памятниках, отражающих богослужбную практику Константинопольской церкви: например, в Типиконе Великой церкви

по патмосской рукописи¹⁰ или в так называемой минологии императора Василия II¹¹. А вот в Евергетидском уставе и других ктиторских типиконах, опубликованных А. А. Дмитриевским, имя Вассиана отсутствует. Вероятно, празднование памяти святого постепенно вышло из богослужебной практики византийской церкви; тем более что последнее упоминание о константинопольском монастыре св. Вассиана относится к 1203 г., а после захвата столицы латинянами эта монашеская обитель исчезает со страниц исторических документов¹². Из наследия византийской гимнографии известен лишь один канон, посвященный св. Вассиану¹³ и составленный знаменитым Иосифом Песнописцем (IX в.)¹⁴. К сожалению, нам пока не удалось ознакомиться с его текстом, но известно, что эта греческая служба не является оригиналом для заинтересовавшего нас песенного последования в древнерусской Минее.

Кропотливое изучение истории Месяцеслова позволило архиепископу Сергию высказать следующее мнение: приуроченные к 10 октября песнопения посвящены именно преп. Вассиану, хотя в некоторых древних славянских рукописях святой ошибочно называется Василием¹⁵. По-видимому, владыка Сергей видел причину неправильного употребления имени святого в оплошности славянского переводчика или справщика при передаче греческого антропонима Βασσιανός, близкого по звучанию и написанию другому, более распространенному имени собственному Βασίλειος. Главным аргументом в пользу такого преположения являлось отсутствие в греческих минологиях памяти св. Василия в октябре. Однако при внимательном прочтении стихир и канона, опубликованным И. В. Ягичем, становится очевидным, что песнопения обращены не к св. Вассиану, а все-таки к св. Василию.

Во-первых, несмотря на определенную схожесть греческих имен Βασσιανός и Βασίλειος, эти антропонимы для славянского книжника не были «трудными» с точки зрения орфографии и орфоэпии. Например, в двух сохранившихся древнерусских Триодях XII в., в каноне Феодора Студита для сыропустной субботы, первое имя имеет славянские эквиваленты *Васианъ* и *Васианось*, а второе — *Василь*, *Василность* и *Василни*¹⁶.

Во-вторых, не только историко-литургические источники, но и содержание самой службы может помочь при определении адресата интересующих нас песнопений. В тексте же седальна, стихир и канона автор обращается к «блаженному» (эта лексема использована 1 раз), «преподобному» (2 раза), «чудотворцу» (1 раз), «святителю» (8 раз!). Первые три определения могут быть отнесены к св. Вассиану, а вот последнее, употребляемое чаще остальных, никак не согласуется с тем ликом святых, к которому причислен живший в V в. игумен одного из константинопольских монастырей. Следовательно,

песнопения обращены к святому, получившему при жизни высокий священнослужительский чин и заслужившему почитание после кончины. В 3-м тропаре 5-й песни канона есть такие слова: «прославляю ти память славою Б(ог)а, непрестанно давьшаго ти причастик славы Своима»¹⁷. Может быть, они напоминают и об обязанности именно церковного иерарха совершать таинство евхаристии и давать причастие верующим?

В целом песнопения не содержат каких-либо агиографических или исторических сведений. Есть, пожалуй, в каноне единственное место, сообщающее о деяниях прославляемого святого. 2-й тропарь 6-й песни начинается так: «Всю землю изидѣ гласъ твои, възвоужага съпацага въ мраце, одържимыа лъстью греховною, призывага на свѣтъ невѣчернии». Это созвучно с новозаветным текстом Послания ап. Павла к Римлянам, где говорится о проповедующих слово Божие, благовествующих о Христе: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныа глаголы их» (Рим 10: 18). Слова же Послания заимствованы из Псалтыри: 18-й псалом, 5-й стих, который поется на литургии в качестве прокимна по четвергам — в тот день седмичного круга, когда звучат песнопения в честь святых апостолов, а также в дни празднования памяти кого-то из св. апостолов. Именно с таких слов начинается один из тропарей в общей службе апостолам древнеболгарского гимнографа Климента Охридского (3-я п. 3-й тр.)¹⁸ и тропарь в каноне верховным апостолам Петру и Павлу 8-го гласа этого же славянского песнописца¹⁹. Следовательно, святой, которому посвящена интересующая нас служба, был продолжателем апостольского дела, а наставления его и житие его известны пастве верующих — ничего не говорить о святом можно или при полном отсутствии агиографического материала, или при всеобщем знании этого материала.

Третье обстоятельство, на которое следует обратить внимание, — общая тематика службы. Гимнограф не рассказывает о жизни святого (если не считать 3-й тр. 5-й п., содержание которого — трафаретные компоненты мотива борьбы с искушениями: «Вѣрою въоружь са, дѣмоньскыа пълкы попыралъ еси и страсти плѣтскыа повѣди»), но в молитвенно-просительном тексте произведения несколько раз вспоминаются чудотворные мощи святителя. По-видимому, св. Василий должен иметь в церковном календаре еще один день поминовения, который в богослужебной практике часто совпадает с днем кончины, и этому празднеству могут быть посвящены другие песнопения, рассказывающие о деяниях святителя подробнее. Наша же служба, вероятно, связана с обретением или перенесением останков святого. Поэтому автор говорит в каноне только о чудотворении, происходящем от святых мощей, и обращается к святителю, к Богородице (в богородичных тропарях) и даже к Самому Спасителю

(два тр. 9-й п. и 1-й тр. 5-й п.) с горячими мольбами даровать верующим «греховъ оставленникъ», «недоугомъ цѣленикъ» (1-й тр. 5-й п.), «пища вечныя наслаженникъ» (3-й тр. 9-й п.).

То, что песнопения приурочены ко дню обретения или перенесения нетленных останков святого, косвенно подтверждается текстом греческих гимнов, которые автор использовал в качестве подобнов при составлении службы. Подобном для седальна св. Василию является известный воскресный седален 1-го гласа из Октоиха «Гробъ Твои, Спасе...» («Τὸν τάφον σου, Σωτήρι»). Тропари песен канона (кроме 9-й) составлены на подобен редко используемых греческими гимнографами ирмосов²⁰ 6-го гласа из канона Великой субботы, авторство которых принадлежит монахине Кассии (до 5-й песни включительно) и мниху Косме²¹. Греческие образцы (седален — своим содержанием, а ирмосы — и содержанием, и своим местом в богослужебном календаре) связаны с темой молитвы у Гроба Господня, темой смерти и Воскресения. Такой выбор подобнов согласуется с общим содержанием службы святителю: «Гробъ твои, свѣте²², источникъ яви св, источаи целеникми в(а)годати вьсегда вѣроу приходящимъ къ мощьмъ твоимъ...» (седален); «Тебе, о(ть)че Василии, Х(ристос)ъ Б(ог)ъ дарова на поможь земьнымъ, видѣвшемъ нын дарованнцѣленикми чудѣсно...» (3-я п. 1-й тр.); «Имоуще чьстно гробъ твои, вѣ нже пририщоще, целениа дары приимлемъ...» (4-я п. 2-й тр.).

Еще одно подтверждение тому, что рассматриваемая служба была составлена на день праздника перенесения мощей св. Василия, имеется в славянской рукописи. В так называемой Драгановой минее (болгарская праздничная минея кон. XIII в., основная часть которой находится в Зографском монастыре на Афоне) под 8 октября указаны памяти св. Пелагии и «пренесение отца нашего Василия (службы нет)»²³. А под 10 октября здесь вписаны имена св. Евлампия, Асепсима и Вассиана. Ценнейший манускрипт, содержащий ряд произведений древнеболгарских гимнографов, свидетельствует не только о наличии в церковном календаре праздника перенесения мощей св. Василия, но и об ошибочности отождествления этого праздника с днем поминовения св. Вассиана. Архиепископ Сергей обнаружил наличие памяти «перенесения отца нашего Василия» и в русских святцах XVII в. под 15 октября²⁴.

Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что заинтересовавшие нас в Ягичевом издании песнопения посвящены празднику перенесения мощей святителя Василия Чудотворца. Служба была составлена не непосредственно ко дню данного исторического события, а лишь в память о нем, поскольку в молебном каноне и стихирах отсутствует слово «пренесение» и т. п.

Адресат службы

К какому святому по имени Василий обращается песнопевец в своих гимнах? По-нашему мнению, это не кто иной, как вселенский учитель и отец церкви Василий Великий, архиепископ Кесарийский (329–379 гг.), чей праздник ежегодно отмечается 1 января.

Сведения об истории чудотворных мощей Василия Великого практически отсутствуют. Святой был захоронен в Кесарии Каппадокийской, где он родился и завершил свой жизненный путь в сане архиепископа. В 1099 г. тело св. Василия было перенесено крестоносцами во Фландрию, и дальнейшая судьба нетленных останков неизвестна²⁵. Но, вероятно, раньше этого события часть св. мощей — глава Василия — была перенесена в Константинополь и хранилась там до перенесения на Афон. Русские паломники, путешествуя к святым местам через Царьград, поклонялись, в том числе, и главе Василия, находящейся в Панахрантовом монастыре вблизи св. Софии. Об этом пишут и Стефан Новгородец, посетивший Константинополь в 1348 или в 1349 г.²⁶, и дьякон Зосима, побывавший в византийской столице спустя 70 лет²⁷. Факт перенесения части мощей Василия Великого в Константинополь не вызывает сомнения, несмотря на молчание известных нам источников. Определить же хронологическое место этого события можно только гипотетически.

Перенесение главы св. Василия не могло быть связано со строительством во второй половине X в. константинопольского монастыря в честь вселенского учителя²⁸. Добрыня Ядрейкович (будущий архиепископ Новгородский Антоний), чье паломничество состоялось в 1200 г., в своем описании реликвий Царьграда не упоминает о мощах святого, а в монастыре Василия Великого русский путешественник видел только епитрахиль святителя²⁹. Строительство Панахрантова монастыря, первое упоминание о котором относится к 1073 г., также не могло ознаменоваться перенесением св. мощей из Кесарии в Константинополь. В противном случае это событие, во-первых, было бы представлено в исторических документах, во-вторых, нашло бы прямое отражение в тексте праздничной службы, в-третьих, оно бы вряд ли попало в древнерусскую Минею начала XII в. Остается предположить, что все случилось гораздо раньше.

В знаменитом труде Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора», где описываются дворцовые ритуалы, утвердившиеся, главным образом, в IX в., особенно при первом представителе Македонской династии императоре Василии (867–886 гг.), упоминается молеельня (εὐχτήριον) с престолом в честь св. Василия. В этой дворцовой часовне слушали литургию царские

чиновники и придворные, проводившие весь день на службе в императорских палатах³⁰. Можно предположить, что именно Василий I распорядился перенести во дворец часть мощей «великого» тезоименитого святого, способствуя укреплению сложившегося в Византии культа «благоверных василевсов». Если это было так, то становится понятным назначение цикла из 8-ми молебных канонов, посвященных Василию Великому и написанных Иосифом Песнописцем, являвшимся придворным гимнографом в годы правления Василия Македонянина³¹: этот октоих мог быть составлен для служб в Лавриаке у престола св. Василия.

Годы царствования Василия I или, если не сужать хронологические рамки, вторая половина IX в. кажется нам наиболее вероятным временем составления службы Василию Великому. Именно этот период истории Византии отмечен масштабным строительством в Константинополе и его окрестностях, восстановлением старых и возведением новых храмов. Тогда же происходит пополнение и начинается кодификация богослужебных гимнографических сборников. Поэтому праздник перенесения части мощей св. Василия мог «выпасть» из церковного календаря, а греческий канон в честь этого события просто не дошел до нас в рукописных книгах.

Однако все рассуждения о времени и причине написания нашей службы являются только предположением. С большей уверенностью мы говорим об адресате песнопений. В подтверждение тому, что служба посвящена Василию Великому, приведем еще один аргумент. Начало процитированного выше 2-го тр. 6-й п. канона созвучно не только словам из Послания ап. Павла (которые, в свою очередь, взяты из Псалтыри), но и началу тропаря св. Василию. Этот праздничный тропарь звучит на службах I (14) января: «Во всю землю изыде вещание твое...»³².

Автор службы

Служба св. Василию, включенная в Минею за октябрь, удивляет и другой своей особенностью — очень понятным, даже для современного читателя, языком. К этим песнопениям никак нельзя отнести слова И В. Ягича о том, что славянские переводчики не заботились «о правильном согласовании всех частей предложения, о соблюдении синтаксической отчетливости»³³. Не случайно служба вошла в современную Минею без какой-либо редакторской правки (изъяты лишь слова с молитвой за царя — см. ниже).

Стилистические особенности песнопений, а также отсутствие оригинального византийского образца, по нашему мнению, позволяет предположить, что автором службы Василию Великому является Климент Охридский — плодовитейший древнеболгарский

гимнограф, чье поэтическое наследие за последние годы значительно пополнилось благодаря открытиям болгарских и российских ученых. Конечно, это только предположение, поскольку в рассматриваемой службе не обнаружен акростих, содержащий имя автора — главный аргумент при атрибутировании богослужебных гимнов. Ведь нельзя не согласиться со словами М. Йовчевой о том, что, «если даже и не будут обнаружены византийские образцы, ряд произведений без акростиха <...> всегда останутся в группе предполагаемых древнеболгарских песнопений» (выделено мною. — Е. Ф.)³⁴. Этот вывод болгарский специалист в области древнеславянской гимнографии убедительно обосновала, доказав, что по наличию в службе мотива или топоса, характерного для произведений, в частности Климента Охридского, ошибочно приписывать данный текст этому же автору. Более того, можно только предполагать, что данный славянский текст является оригинальным, а не переводным. Однако ученые не оставляют в стороне проблему авторства анонимных славянских (или предположительно славянских) богослужебных текстов. При анализе таких произведений часто говорится об особенностях стиля Климента Охридского или, наоборот, указывается на отсутствие художественных средств, характерных для его творений. При этом атрибуция песнопений ограничивается гипотезой о возможном авторе с обязательной оговоркой, что данный вопрос остается открытым, поскольку нет объективных оснований для его окончательного решения, а упомянутые лексическо-стилистические приемы или мотивы могут принадлежать не конкретному автору, но целому жанру или эпохе³⁵.

Знакомство со службой св. Василию в который раз поставило перед нами вопрос: может ли первое впечатление о том, что текст составлен именно Климентом, получить научное подтверждение, тем более что известно много канонов болгарского гимнографа в Октоихе без акростиха с его именем? Ответ помогла найти не так давно опубликованная книга В. А. Рыбакова, посвященная творчеству Иосифа Песнописца. Священнослужитель и ученый-литургист, чей главный труд оставался практически неизвестным почти 80 лет, прекрасно знал, что язык конкретного византийского гимнографа близок к языку других песнотворцев и что, вдобавок к этому, дошедшие до нас рукописи не дают нам гарантии «правильности» текста оригинала. Но все же в различных произведениях преп. Иосифа В. А. Рыбаков наблюдал «прямо поражающее тождество слов, выражений, целых тропарей, форм, оборотов, тождество образов, тождество грамматической и синтаксической конструкции»³⁶. Вот как ученый описывает свое «узнавание» автора песнопений: «...читая эти каноны, приобретаешь какой-то механический навык без ошибки определять автора, несмотря даже на надписание и именной

акростих в IX или в VIII и IX песнях канона; и в последних находишь только большее подтверждение своего предположения и суждения по языку»³⁷.

Поиск отличительных черт или даже проявлений авторской свободы в произведениях первых славянских гимнографов является актуальной задачей. И в первую очередь это относится к творчеству Климента, так как важнейшим условием для данной работы является большой объем поэтического наследия. На сегодняшний день известно до полусотни канонов/служб болгарского песнописца и почти столько же небезосновательно приписывается ему. В службе святителю Василию мы постарались отыскать «любимые» топосы и словесные обороты Климента, благодаря которым и возникло предположение об авторе песнопений.

1. Среди особых примет поэтических и ораторских произведений Климента часто назывались два тематических компонента — тема света, просвещения (солнечного сияния, блеска, зари) и тема «троичности» (употребление сложных эпитетов, в которых одна из корневых морфем — *тръ-/три-*). Первая тема представлена в службе Василию, но без использования каких-то интересных лексем. Во 2-м тр. 1-й п. — «въ истинуоу во славацаа нго (Василия. — Е. Ф.) просвѣцакть Г(оспод)ь»; в 1-м тр. 4-й п. — «свѣтъмь озарма в(о)жства неиздреченьна»; во 2-м тр. 5-й п. — «свѣта вьселенки даровати вѣроу притѣкающимъ ти»; в трех тр. 6-й п. — «въ свѣтъ неиздреченьнааго в(о)жства престола», «призывает на свѣтъ невѣчернии», «чюдѣсы снага яко сл(ънь)це въ мирѣ, Васианк, просвѣца омраченымъ».

Однако данный мотив использовался многими византийскими гимнографами³⁸, поэтому его нельзя считать исключительно особенностью произведений Климента. Менее распространен в византийской церковной поэзии другой топос — приношение в дар святому (или Богородице, Господу) молебной песни. В каноне св. Василию 3-й тр. 7-й п. начинается так: «Прими отъ насъ, с(в)те, мольбноуоу пѣснь, юже ти приносимъ...». В 1-м тр. 9-й п. формула повторяется: «Прими отъ насъ, Х(рист[ос])е Б(ож)е, мольбноуоу пѣснь, юже ти приносимъ...». Подобный оборот иногда встречается и в греческих образцах — главным образом в текстах молитв и молебных канонах, и не характерен для минейных служб (нам пока не удалось найти примеры именно в греческой Минее, хотя, скорее всего, они там имеются). А вот для поэзии ученика Кирилла и Мефодия такой топос традиционен и встречается во многих произведениях. Из имеющихся у нас под рукой текстов песнопений Климента подобным обращением отмечены следующие каноны: канон ризе и поясу Богородицы («Прими, прѣчис(та)я г(оспо)жде, м(о)лебнжж похваж — 1-й тр. 5-й п.) (14. С. 185); канон общий

апостолам («Принми, в(ог)огласе, мольвьноюю ти пѣс(нь)...» — 1-й тр. 9-й п.)³⁹; канон на Успение Богородицы («Принми, вл(а)ще, изъ оустъ грѣшныхъ м(о)львнуюю пѣ(с)...» — 3-й тр. 7-й п.)⁴⁰. Есть такие слова и в анонимном каноне Кириллу и Мефодию, что было уже отмечено Г. Поповым⁴¹. Частота употребления этой формулы в канонах Климента из Октоиха гораздо выше, чем единичные случаи употребления схожих выражений в греческом Параклите. Например, в каноне Иоанну Предтече 6-го гласа, в 3-м тр. 5-й п.⁴², в каноне Петру и Павлу 2-го гласа, в 3-м тр. 7-й п.⁴³, в каноне Богородице 4-го гласа, в 4-м тр. 8-й п.⁴⁴ и т. д.

Следует отметить, что нельзя смешивать данный топос с похожим мотивом приношения в дар прославляемому святому радостных, хвалебных песен. Эта тема широко распространена в византийской гимнографии, но в творчестве Климента она почти не развивается и не включает авторское начало. Например, во 2-й стихире св. Василию поется: «Вѣрою съшьдѣше сѧ всѧи, славимъ Х(рист[ос]) а Б(ог)а нашего псалмы и пѣсньми д(о)ух(о)вьными...», или в каноне Алексию человеку Божьему 2-й тр. 8-й п. начинается словами: «И н(ы)нѣ покмь, вл(а)жене, похвалнж ти память, пѣс(нь)ми и пѣн[и]ми достоинно те слаवेशе...»⁴⁵. Гораздо чаще Климент приносит святому «малаа похваленная» (канон св. Аполлинарию Равеннскому, 9-я п., 1-й тр.) [29], «м(о)л[ь]вы оумаленыя» (канон ризе и поясу Богородицы, 6-я п., 4-й тр.)⁴⁶.

Обозначенный тематический компонент произведений славянского песнописца обязательно должен учитываться при атрибуции новообретенных песнопений. Создавая целые циклы и комплекты богослужебных песенных последований, Климент Охридский никогда не дает в них высокой оценки ни себе как автору, ни своим творениям, хотя практически все его произведения в большей или меньшей степени проникнуты личностным началом (тропари с молитвенно-покаянным содержанием). Свои гимны Климент называет очень «скромно», чаще всего как «молебная песнь» или просто «мольба», «хвала». Поэтому, например, нельзя считать Климента автором опубликованной Е. М. Верещагиным службы архангелу Михаилу (если она имеет славянское происхождение), поскольку в каноне архистратигу есть следующие слова: «архистратига пож свѣтло или Оди слово въспѣвати ми» (1-е л. ед. ч., плюс некоторая положительная оценка своего творчества)⁴⁷. Можно сравнить и два славянских канона св. Троице 8-го гласа, которые были открыты М. Йовчевой и идентифицированы ею как произведения разных авторов, но без указания на конкретные отличия⁴⁸. В анонимном акростихованном каноне автор несколько раз обращается к св. Троице от 1-го лица и определенным образом характеризует результат своего поэтического мастерства: «трѣс(в)тжж пѣс(нь)

приношж ти» (1-й тр. 7-я п.), «смѣрениа ми пѣс(нь) принашаж Тр(он)це тръплетеннж любезно» (2-й тр. 8-я п.), «хвалу ти и поклонение принося в(ог)ословоюю [вероятно, „богословлю“]», «не прѣзри ми... м(о)лвыи, нж пом(н)лоуи, м(н)л(о)срде, ѿ срдца ти пѣс(нь) принесеннжж прикмла» (1–2-й тр. 9-я п.). Климент же в своем аналогичном каноне пишет совсем иначе: «Прими молеж изь оусть н(а)шихъ недос(то)нныхъ» (1-й тр. 8-й п.); «Кыж ти възможемъ хвалы въздати, прѣс(ва)таа Тр(он)це, Б(ож)е въ трехъ свойствѣхъ, его же не възмогжть ни силы небесныхъ похвалити дос(то)нно, а не чл(о)в(ѣ)чь съставъ, нж прими ѿ нас малок се приношеник...» (1-й тр. 9-я п.)⁴⁹. Цель своего творчества древнеболгарский гимнограф видел не в благозвучном, а в достойном прославлении Господа и Его святых (подчеркнутая лексема и ее производные очень часто встречается в канонах Климента).

2. Кроме определенных мотивов и их трафаретных компонентов, в произведениях Климента Охридского повторяются некоторые словесные обороты, поэтические эпитеты и метафоры. Сами по себе они не являются уникальными, но, собранные вместе, представляют собой поэтический словарь великого славянского гимнографа. Знание этого словаря и сравнение его с лексикой других песнопевцев очень помогло бы при идентификации неизвестных стихир и канонов из древних рукописей. Например, слово «душа» у Климента чаще всего сочетается с эпитетами «окаянная» или «омраченная», «сердце» — «омраченное» или «ослабленное» и т. д.

В службе Василию есть характерные для языка Климента словосочетания: «вълны греховныя», «неиздреченное житие» (4-й тр. 1-я п.), «въпнемъ немълчно» (1-я стихира и 2-й тр. 3-я п.) и др. Наше внимание привлек словесный оборот «иметь дерзновение (к Богу, Владыке, Сыну)». В каноне Василию он повторяется 4 раза: в 1-м тр. 4-й п. («имыи дързновение»), во 2-м тр. 5-й п. («имея дързновение къ Б(ог)оу»), в 1-м тр. 6-й п. («имея дързновение къ Немоу») и во 2-м тр. 7-й песни. Такая формула достаточно широко распространена в византийских гимнографических текстах — главным образом, в богородичных тропарях. Читая греческую Минею или Параклит, можно встретить ее в каждом 7–8-м каноне. Но у Климента она используется с еще большей частотой. Имея текст десяти минейных служб песнописца, мы обнаружили ее в трех: в каноне Евфимию Великому⁵⁰, в общем каноне мученикам, где она встечается дважды⁵¹, и в общей службе святителям, где Климент использует ее 4 раза⁵². Среди песнопений древнеболгарского поэта для Октоиха это словосочетание употребляется в каждом 3–4-м каноне (например, в каноне Петру и Павлу 8-го гласа, в каноне Иоанну Предтече 5-го гласа, в каноне Богородице 4-го гласа и т. д.), а в некоторых молебных канонах автор использует его неоднократно (например, в каноне

Иоанну Крестителю 8-го гласа — 3 раза). По всей видимости, такие «любимые» словесные обороты Климента также должны войти в его поэтический словарь и учитываться при атрибуции песнопений.

3. В службе св. Василию, как и в других творениях древнеболгарского поэта, несколько раз звучат просьбы к святому «повѣдоу ц(ѣ)с(а)р(е)ви съвыше испросити на противьныхъ врагы» (3-я стихира). Наличие такого топоса не является специфической чертой произведений Климента на фоне византийского поэтического наследия. Однако в 3-м тр. 1-й п. канона гимнограф использует интересное фразеологическое сочетание: «находъ противьныхъ [с]оупостатъ покори подъ нозѣ ц(ѣ)с(а)рю нашемоу». Эти же слова (с вариацией «цесарь»/ «князь») звучат и в других канонах поэта: два раза в каноне Петру и Павлу 8-го гласа⁵³, два раза в каноне Богородице 4-го гласа⁵⁴ и др. Несмотря на то, что фразеологизм «покорить под ноги» встречается, в частности, в древнерусских рукописях⁵⁵, нам пока не удалось обнаружить выделенное словосочетание в гимнографических текстах, не принадлежащих перу Климента. В византийских богослужебных песнопениях подобное словосочетание, вероятно, не было распространено, и пока нам удалось найти его только в тексте молитвенном (в опубликованных списках литургии Василия Великого (!) сугубая ектенія содержит моление о князьях: «покорити под нозе их всякого врага и съпостата»⁵⁶). Думается, присутствие этого словесного оборота в службе св. Василию является еще одним аргументом в пользу авторства Климента.

4. Следует обратить внимание и на некоторые поэтические приемы организации текста в службе св. Василию. Текст отдельных тропарей без труда можно разбить на стихотворные строки, ориентируясь на синтагматическое членение текста. Называть эти (чаще всего двучастные) строки стихами дает право их изосиллабичность. Хотя количество таких примеров невелико.

Надежда гави сѧ родоу зельноуоуоуоу,	(13 /6+7)
порожши соугоуба Б(ог)а и чл(о)в(ѣ)ка.	(13 /7+6)
вынноу моли сѧ кмоу страсти избавити сѧ намъ,	(17 /8+9)
творящимъ праздньство слоугы твкго Васнана.	(18 /9+9)

(4-й тр., 4-я п.)

възведѣмъ очн свои на н(е)во,	(11)
оумы своя д(оу)хѣмъ въпѣрьше,	(11)
вышняаго мюдрьствоующе	(10)
и вышнихъ желающе	(10)
вечныхъ вл(а)гъ насладити сѧ	(12)
м(о)л(н)твами ти, вл(а)д(ы)ко Х(рист[ос]е),	(10/11)
преславнааго с(в)атителеа Васнана.	(14)

(2-й тр., 9-я п.)

В некоторых фрагментах помимо стремления к изосиллабизму (или силлабической симметрии) прослеживается и изотонизм:

Всю землю изидѣ гласъ твои, _||_ _ _ | _ | _ | _ (11)

възбоужаа съпашаа въ мраце, _ _ | _ _ | _ _ _ | _ (11)

одържимыа льстыю греховною, _ _ | _ _ | _ _ _ | _ _ (13)

призываа на свѣтъ невѣчерни... _ _ | _ _ | _ _ _ | _ _ (13)

(2-й тр., 6-я п.)

Пр(ѣ)ч(и)стаа вл(а)д(ы)ч[и]це _ | _ _ _ | _ _ (8)

пр(о)р(о)комъ събытик, _ | _ _ _ | _ _ (8)

ап(о)с(то)л[а]мъ радость, _ | _ _ _ | _ _ (8)

чл(о)в(ѣ)комъ оутвърженнѣ, _ | _ _ _ | _ _ (9)

с(в)т(и)лѣмъ слава... _ | _ _ _ | _ (7)

(4-й тр., 6-я п.)

Конечно, отделив текст песнопений от их музыкальной составляющей, мы не можем назвать службу св. Василию поэтическим произведением, так как указанные приемы ритмической организации не носят обязательного и регулярного характера. Но наличие ритмизации, иногда достигаемой просто за счет «неправильной» последовательности слов, свидетельствует о славянском происхождении творения. Учитывая же косвенные данные о месте и времени написания произведения (во-первых, его присутствие в старейших древнерусских рукописях, создававшихся, в том числе, и на основе древнеболгарского книжного наследия, а во-вторых, почти полное отсутствие в древнерусских месяцесловах памяти св. Василия в октябре⁵⁷), поиск его возможных авторов может быть ограничен кругом кирилло-мефодиевских учеников.

К сожалению, пока анализ службы св. Василию Великому Чудотворцу не дает ответа на многие вопросы. Главной загадкой остается исторический повод для составления службы и молчание известных нам греческих источников об этом факте. Молитвенно-просительное содержание песен делает данное творение необычным в ряду других минейных текстов: служба скорее подошла бы для Октоиха — «книги молебной»⁵⁸, чем для собрания праздничных песнопений годового круга. А наша гипотеза о возможном авторе службы может помочь только в определении времени ее написания (кон. IX — нач. X вв.), но пока никак не проясняет историю создания произведения. Однако более важной и разрешимой нам кажется проблема атрибуции анонимных славянских (или предположительно славянских) песнопений. Возвращая поэтическое наследие первых славянских гимнографов, нельзя оставлять в стороне пополняющийся список богослужебных текстов, авторство которых могло принадлежать кирилло-мефодиевским ученикам. В будущее издание песнопений

Климента Охридского (на что очень надеемся) должны войти и службы, не содержащие именной акрости, но приписываемые древнеболгарскому песнописцу⁵⁹. Для того чтобы включить незнакомое произведение в эту группу, необходимо учитывать определенные признаки: отсутствие византийских образцов; «прозрачный» синтаксис; присутствие характерных для творчества Климента мотивов (их список может пополняться); наличие эпитетов, метафор, образов и речевых оборотов из словаря поэта (необходимо составление такого словаря, в том числе, путем сравнения с лексическим фондом византийской гимнографии и при помощи обыкновенного подсчета частоты употребления излюбленных выражений). Предполагаем, что служба св. Василию из древнерусской Минее за октябрь могла бы войти в собрание сочинений Климента Охридского, пусть даже со знаком вопроса рядом с именем автора.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Ягич И. В. Службные Минее за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095–1097 гг. СПб., 1886. С. 227–232.
- ² Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: XI–XIII вв. М., 1984. № 63.
- ³ Там же. № 80; Ягич И. В. Службные Минее... С. 241–262.
- ⁴ Минее. Октябрь. М., 1980. С. 253–258.
- ⁵ Сергей (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. М., 1997. Т. 2. Ч. 1.
- ⁶ Там же. С. 314.
- ⁷ Acta Sanctorum. October. Paris; Roma, 1868. Т. 5. Р. 79–85.
- ⁸ Delehaye H. Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e Codice Sirmondiano nunc Berolinensi. Bruxelles, 1902. Col. 127–128. [Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembrii.]
- ⁹ В Житии св. Матроны игумен Вассиан является важным персонажем, но биографических сведений о нем в тексте не содержится. См.: Великие Минее Четы, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Вып. 7. Ноябрь, 1–12. СПб., 1897. Стб. 295–336.
- ¹⁰ Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. ТУРКА. Памятники патриарших уставов и ктиторские монастырские Типиконы. Киев, 1895. Ч. 1. С. 13.
- ¹¹ Migne J.-P. Patrologiae cursus completus. Series graeca. Т. CXVII. Col. 101.
- ¹² Janin R. La géographie ecclésiastique de L'Empire Byzantin. I. Le Siège de Constantinople et le Patriarcat oecuménique. Paris, 1953. Т. 3. Les églises et le monastères. P. 66.

- ¹³ *Follieri H.* Initia hymnorum ecclesiae graecae. Città del Vaticano, 1966. Vol. V. P. 2. P. 54.
- ¹⁴ *Рыбаков В. А., протоиерей.* Святой Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность. М., 2002.
- ¹⁵ *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока... Т. 2. Ч. 2. С. 420.
- ¹⁶ *Мурьянов М. Ф.* К истории древнерусского ономастикона // Гимнография Киевской Руси. М., 2003. С. 342–365.
- ¹⁷ Текст службы цитируется по изданию И. В. Ягича. Титлы раскрыты в круглых скобках, проставлены знаки препинания. При нумерации тропарей не учитываются ирмосы песен. По возможности используются след. сокращения: п. — песнь, тр. — тропарь.
- ¹⁸ *Станчев К., Попов Г.* Климент Охридски: Живот и творчество. София, 1988. С. 194.
- ¹⁹ РНБ. Софийское собр. № 128. Параклитик, XIV в. Л. 173.
- ²⁰ Не случайно в Софийской рукописи, по которой И. В. Ягич публиковал текст канона, ирмосы 1–8-й песен выписаны полностью.
- ²¹ *Eustratiades S.* Εἰρημολόγιον. Chennevières-sur-Marne, 1932. P. 164–165.
- ²² Переписчик Софийской рукописи или ее антиграфа под влиянием греческого образца ошибочно написал здесь «Спасе».
- ²³ *Срезневский И. И.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках (гл. LXVIII). СПб., 1875. [Приложение № 1 к 39 т. Зап. Имп. АН. Кн. 2. Вып. 4. С. 409].
- ²⁴ *Сергий (Спасский), архиеп.* Полный месяцеслов Востока... Т. 2. Ч. 1. С. 320.
- ²⁵ Там же. Ч. 2. С. 4.
- ²⁶ Книга хождений: Записки русских путешественников XI–XV вв. М., 1984. С. 34.
- ²⁷ Там же. С. 122.
- ²⁸ Константинопольский монастырь св. Василия был построен внебрачным сыном императора Романа I Лакапина (919–945 гг.) Василием Нофом, который занимал важные государственные должности со времени единоличного правления Константина VII Порфирогенета (945–959 гг.) до начала царствования Василия II (976–1025 гг.) (*Janin R.* La géographie ecclésiastique de l'Empire Byzantin. I. Le Siège de Constantinople et le Patriarcat oecuménique. Paris, 1953. Т. 3. Les églises et le monastères. P. 64). Сам же Василий II инициировал разграбление этого монастыря.
- ²⁹ Книга Паломник / Под ред. Х. М. Лопарева. СПб., 1899. (Православный палестинский сборник) Вып. 51.
- ³⁰ *Беляев Д. Ф.* Ежедневные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храм св. Софии в IX–X вв. СПб., 1893. С. 29. (Зап. Имп. Русского археологического общества. Т. 6.) Вып. 1–2.
- ³¹ *Рыбаков В. А., протоиерей.* Святой Иосиф... М., 2002. С. 117.
- ³² *Минчев.* Январь. М., 1983. Ч. 1. С. 11.

- 33 Ягич И. В. Служебные Минееи... С. LXXXI.
- 34 Йовчева М. Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников в русской книжности // Древняя Русь. 2002. № 8. С. 110.
- 35 Из последних публикаций см.: Иванова К. «Боже мой, Троица милостива, помози ми» (Фразов акростих от края на IX–X вв.) // Palaeobulgarica. 2003. № 3. С. 3–17.
- 36 Рыбаков В. А., протоиерей. Святой Иосиф Песнописец... С. 91.
- 37 Там же. С. 407.
- 38 Каждан А. П. История византийской литературы (650–850 гг.). СПб., 2002. С. 341–342, 355.
- 39 Там же. С. 196.
- 40 Мошкова Л. В., Турилов А. А. Неизвестный памятник древнейшей славянской гимнографии (канон Климента Охридского на Успение Богородицы) // Славяноведение. 2000. № 2. С. 35.
- 41 Станчев К., Попов Г. Климент Охридски... С. 149.
- 42 ГИМ. Собр. Московской Синодальной библиотеки. № 420. Параклитик, 1386 г. Л. 120.
- 43 РНБ. Софийское собр. № 128. Параклитик, XIV в., Л. 41об.
- 44 Там же. Л. 94.
- 45 Савова В. Непознато химнографско произведение на св. Климент Охридски за св. Алексей Човек Божи // Palaeobulgarica. 2003. № 2. С. 10.
- 46 Станчев К., Попов Г. Климент Охридски... С. 185.
- 47 Верещагин Е. Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001. С. 412, 408.
- 48 Йовчева М. Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха // Palaeobulgarica. 1999. № 3. С. 24.
- 49 ГИМ. Собр. А.И. Хлудова. № 135. Богослужебный сборник, XIV в. (Каноны св. Троице 8-го гласа начинаются на листе без номера между лл. 15 и 16 и заканчиваются на л. 17 об.)
- 50 Станчев К., Попов Г. Климент Охридски... С. 174.
- 51 Там же. С. 205, 208
- 52 Там же. С. 197–200
- 53 ГИМ. Собр. А. И. Хлудова, № 135. Л. 33об. Богослужебный сборник, XIV в. (Каноны св. Троице 8-го гласа начинаются на листе без номера между лл. 15 и 16 и заканчиваются на л. 17об.)
- 54 РНБ. Софийское собр. № 128. Параклитик, XIV в., русск. Л. 91об., 94
- 55 Словарь древнерусского языка: XI–XIV вв. (молимъ—обатьнъ). М., 2002. Т. 5. С. 427.
- 56 Орлов М. И. Литургия святого Василия Великого. СПб., 1909. С. 93, 97.
- 57 Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 173.
- 58 Службы Василию Великому присутствуют в ранних некодифицированных рукописях греческого Параклита. Святой почитался не только как вселенский учитель и отец Церкви, но и как «молитвникъ» за грешных

людей. Василий «имел дерзновение» ходатайствовать перед Богом даже за человека, отрекшегося от Христа, но раскаявшегося, и чудеса в Житии святителя совершаются именно через молитву. Наверное, молебные песнопения св. Василию могли бы навсегда остаться в Параклите, если бы не особое почитание верующими всеобщего милосердного помощника в любой человеческой беде Николая Мирликийского Чудотворца.

- ⁵⁹ Иначе может быть упущена немалая часть произведений Климента, например, циклы богородичных канонов в древнеславянском Октоихе, идентификация которых является, по нашему мнению, сложной, но решаемой задачей.

Тайный миф *Онегина*

«Сквозь магический кристалл»

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явились впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал... (8: 50)¹

Заключительные строки поэмы обращаются в прошлое, к ее магическим истокам в сфере смутного сна.

Прошло еще более дней с тех пор, как пушкинский *Евгений Онегин* утвердился основным, колоссальным столпом и основой русского поэтического мироосознания. Многое изменилось в судьбах России и мира; много литературных теорий сменили одна другую. Но в каком бы ключе мы ни взяли теперь интерпретировать *Онегина*, вряд ли останется незамеченным тот очевидный факт, что «даль свободного романа» вовсе не разъяснилась, а, напротив, помутнела в магическом кристалле его внезапной концовки. Ни наброски поэта, ни догадки критики о дальнейшей судьбе персонажей (как то: намерение впоследствии присовокупить Онегина к декабристам) не рассеивают нарочито сгущенного мрака, метафорой бури и грома обрывающего поэму при звуке «шагов Командора» — князя и мужа:

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьяны показался,
И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. (8: 48)

Читателю моего поколения, со школьной скамьи знающего поэму чуть не наизусть, трудно отрешиться от ощущения ее абсолютной знакомости. Тем более трудно — ввиду обилия посвященной

Онегину экзегетики — заподозрить, что некий аспект поэмы остается за пределами критического анализа. Ведь *Онегин* всегда с нами; *Онегин* — «энциклопедия русской жизни» (Белинский); альфа и омега русской литературы; дарохранительница национальной души. И все же, — когда, после многих лет незыблемого приятия *Онегина* за некую культурную константу, вдруг опять открываешь читать Пушкина, с удивлением обнаруживаешь новые родники непонимания.

Казалось бы, никому и в голову не придет искать в романе какие-то мифы. Напротив, все достоверно своими реалиями. С одной стороны, классическое лицо Петербурга, его гранитные набережные, парадные балы дворцов, мраморные изваяния Летнего Сада, ложи театров с Федрами и Клеопатрами. С другой — чарующие просторы русской природы; простонародный колорит деревни; смена времен года, скупость и щедроты северного лета, идиллия барской усадьбы, т. е. весь обиход каждодневной жизни поэта и его современников, да и последующих поколений.

Правда, трудно обойти стороной и мотивы мистической интуиции, тему гаданий и снов, особенно насыщающих атмосферу Татьяны. Обычно, — и справедливо, — фольклоризм Татьяны связывают с ее глубокими корнями в сфере народной жизни. Почему, однако, за Татьяной должна тянуться длинная тень народных поверий и древних обрядов, остается загадкой.

О чем, в сущности, *Евгений Онегин*? Кто такие Евгений и Татьяна согласно семантике жанра? Насколько их эмоции движут развитием действия (да и движут ли вообще)?

Общий контур событий поэмы — своего рода любовное несоответствие по фазе: девушка влюбилась без взаимности, а объект ее любви воспылал к ней страстью годы спустя, когда было уже слишком поздно. Героиня уже замужем и занимает высокопоставленное положение в петербургском свете, а герой наказан ее новообретенной неприступностью.

В поверхностном (синтагматическом, заимствуя термин структуральной поэтики) плане сюжета Татьяна Ларина — впечатлительная, тихая, непритязательная обительница уездного поместья — кажется жертвой неизгладимого впечатления, произведенного на нее блестящим петербургским аристократом, неотразимым Евгением Онегиным. Реакция Татьяны на его явление в саду специально представлена в метафорах охоты и жертвы:

Так бедный мотылек и блещет,
И бьется радужным крылом,
Пленный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалика
В кусты припадшего стрелка. (3: 40)

На именинах, сидя напротив Евгения, Татьяна «утренней луны бледней / И трепетней гонимой лани» (5: 30). По ходу сюжета, однако, метафорические роли меняются, и Онегин, хотя и преследуя Татьяну теперь уже буквально, сам оказывается в роли гонимой жертвы:

Бледнеть Онегин начинает:
 Ей иль не видно, иль не жаль:
 Онегин сохнет — и едва ль
 Уж не чахоткою страдает. (8: 31)

Однако же (как мы попытаемся показать) в ином, мифопоэтическом (парадигматическом, в терминах структурного анализа) плане, «сквозь магический кристалл» Онегин — «забав и роскоши дитя» (1: 36), «красавиц модных модный враг» (6: 42), губитель Татьяны, убийца Ленского — сам является изначально обреченной жертвой, а Татьяна, хотя и «дика, печальна, молчалива, / Как лань лесная боязлива» (2: 25), скрывает в себе черты извечного архетипа властной, неумолимой богини, чья любовь оказывается роковой для ее избранных.

Метаморфоза Онегина

Почему же все-таки Онегин под конец влюбился в Татьяну? Первоначальная его незаинтересованность понятна: он пресыщен любовными успехами; простосердечная уездная барышня ему не пара, да он и не ищет себе пары. Конечно, ее новая роль великосветской дамы вполне вероятно могла возбудить у Онегина естественный интерес. Положим, даже и привычный азарт светского соблазнителя:

Что шевельнулось в глубине
 Души холодной и ленивой?
 Досада? суетность? иль вновь
 Забота юности — любовь? (8: 21)

Подозрение в тщеславии любовной погони напрашивается само собой, и именно так и принимает его письма Татьяна, усматривая в домогательствах Онегина в основном мотивы социального престижа:

Зачем у вас я на примете?
 Не потому ль, что в высшем свете
 Теперь являться я должна;
 Что я богата и знатна,
 Что муж в сраженьях изувечен,
 Что нас за то ласкает двор?
 Не потому ль, что мой позор
 Теперь бы всеми был замечен,
 И мог бы в обществе принести
 Вам соблазнительную честь? (8: 44)

Но ежели новое чувство повзрослевшего, повидавшего свет, убившего друга на дуэли, обломанного жизнью Онегина — не просто *dejà vu* любовных увлечений угасшей юности, тогда как именно понимать эту внезапную страсть?

Прародительница и родители

Собственно, поэт сам предлагает прямое ее объяснение: Татьяна влечет Онегина именно в силу своей несомненной недосыгаемости.

О люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовет
К себе, к таинственному древу;
Запретный плод вам подавай,
А без него вам рай не рай. (8: 27)

Итак, тема Татьяны — тема змия; таинственного древа; запретного плода; праматери Евы.

Евгений Онегин — «роман в стихах», т. е. семейная хроника со множеством упоминаний родни, родственных связей и всякого рода замечаний о семейной жизни — скользких, ироничных, пародийных или сентиментальных. Как и во все сферы поэмы, в круг родни вовлекается и читатель:

Гм! гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня? (4: 20)

«Мой дядя самих честных правил», конечно, задает тон всему роману; мы встречаем московских кузин, молодых и старых (1: 30; 7: 40–46); заглядываем с визитом «к старой тетке, четвертый год больной в чахотке» (7: 40); Московские тетушки:

По родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалече,
Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!» (7: 44)

Поэт подробно знакомит нас с матерью и отцом Татьяны Лариной (2: 30–36). У могилы соседа-Ларина Ленский предается воспоминаниям:

«Он на руках меня держал.
 Как часто в детстве я играл
 Его Очаковской медалью!
 Он Ольгу прочил за меня,
 Он говорил: дождусь ли дня?»
 <...>

И там же надписью печальной
 Отца и матери, в слезах,
 Почтил он прах патриархальный...
 Увы! на жизненных браздах
 Мгновенной жатвой поколенья,
 По тайной воле провиденья,
 Восходят, зреют и падут;
 Другие им во след идут... (2: 37–38)

Об Онегине известно в целом, что он остался «наследник всех своих родных» (1, 2) — кроме, разве что, собственного отца:

Отец его тогда скончался.
 Перед Онегиным собрался
 Заимодавцев жадный полк.
 У каждого свой ум и толк:
 Евгений, тяжбы ненавидя,
 Довольный жребием своим,
 Наследство предоставил им,
 Большой потери тут не видя... (1: 51)

Жизнь отца упомянута вкратце:

Служив отлично, благородно,
 Долгами жил его отец,
 Давал три бала ежегодно
 И промотался наконец.
 Судьба Евгения хранила:
 Сперва *Madame* за ним ходила,
 Потом *Monsieur* ее сменил.
 Ребенок был резов, но мил. (1: 3)

Эту галерею семейных зарисовок можно продолжить, но одна фигура явно бросается в глаза своим отсутствием... Да, вы угадали, конечно: это мать Онегина. Она не упомянута ни разу. Ни словом, ни намеком. Ее как бы не существует. Почему?

Возможно, она умерла в родах. Возможно, еще жива. Могут быть и другие варианты (быть может, нелегкие отношения Пушкина с его собственной матерью сыграли какую-то роль, см.: Proffer 1968, 347–353). Это неважно. Важно то, что в романе место матери Онегина оставлено свободным.

Онегин — *puer aeternus*

Ощутимый вакуум материнского присутствия не помешал Онегину (а может быть, даже и подтолкнул его) необычайно рано освоить «науку любви»:

Но в чем он истинный был гений,
 Что знал он тверже всех наук,
 Что для него была измлада
 И труд, и мука, и отрада,
 Что занимало целый день
 Его тоскующую лень, —
 Была наука страсти нежной... (1: 8)

Как рано мог он лицемерить,
 Таить надежду, ревновать... (1: 10)

Как рано мог уж он тревожить
 Сердца кокеток записных! (1: 12)

Иными словами, поэт заостряет наше внимание на том, что любовные похождения Онегина начались чуть не с детства:

Три дома на вечер зовут:
 Там будет бал, там детский праздник.
 Куда ж поскачет мой проказник?
 С кого начнет он? Все равно:
 Везде поспеть немудрено. (1: 15)

Приглашение на детский праздник Онегин мог получить формально числясь ребенком, т. е., будучи не старше пятнадцати — шестнадцати лет.

Пушкин точно указывает его возраст: в финале романа, где он «дожил <...> до двадцати шести годов» (8: 12), Татьяна замужем «около двух лет» (8: 18). Год по крайней мере прошел от гибели Ленского до московского сезона и замужества Татьяны: итого, более трех лет отделяет финал романа от момента объяснения Онегина и Татьяны в саду, когда Онегину должно быть двадцать три, и, по замечанию поэта: «Вот как убил он восемь лет, / Утрата жизни лучший цвет» (4: 9). Двадцать три минус восемь равно пятнадцать — возраст, в котором Онегин уже «убивал» годы.

Кто же, в таком случае, бывал привычным объектом увлечений пятнадцатилетнего любовника? Уж конечно, не дворянские девочки его возраста, которых держали под тщательным надзором, готовя к скорому замужеству. Эротический список Онегина — «кокетки записные» (1: 12) и «модные красавицы» (6: 42); «блистательные победы» (1: 36); «причудницы большого света» (1: 42), равно как и «очаровательные актрисы» (1: 17) — всего скорее женщины старше его и, если его круга, то уже замужем: «Но вы, блаженные мужья, / С ним оставались вы друзья...» (1: 12; ср. «О вы, почтенные супруги, / Вам предложу свои услуги...» (1: 29).

Кажется странным, что любовные интересы Онегина, столь пылко и властно заявив о себе уже в столь нежном возрасте, именно по вступлении в пору полного расцвета мужской зрелости, т. е. едва перевалив двадцатилетний рубеж, внезапно сходят на нет без видимой к тому причины, физической или нравственной:

Но был ли счастлив мой Евгений,
 Свободный, в цвете лучших лет,
 Среди блистательных побед,
 Среди всedневных наслаждений?
 Вотще ли был он средь пиров
 Неосторожен и здоров?
 Нет, рано чувства в нем остыли;
 Ему наскучил света шум;
 Красавицы не долго были
 Предмет его привычных дум... (1: 37)

Ни милый взгляд, ни вздох нескромный,
 Ничто не трогало его,
 Не замечал он ничего (1: 38)

Что изменилось в мире Онегина за пять или шесть лет, по пути от мальчика к мужчине, что могло бы объяснить его знаменитый

Недуг, которого причину
 Давно бы отыскать пора,
 Подобный английскому сплину,
 Короче: русская *хандра*... (1: 38)

Объяснение, приводимое самим поэтом как бы от лица Онегина:

Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
 Шампанской обливать бутылкой
 И сыпать острые слова,
 Когда болела голова... (1: 37)

— мало что объясняет. Напротив, пирог все так же вкусен, а сам Онегин отменно здоров.

Упоительный и беззаботный мир остался прежним, но сам Онегин меж тем вырос, т. е. вышел по возрасту из привычной роли подростка-любownika. Соответственно изменились и женщины вокруг. А именно, те заведомо старшие дамы, которые всегда составляли предмет его любовных домогательств, теперь вдруг сделались его ровесницами. А те, что старше, видимо, уже заметно постарели. Интересно, что, даже появившись в доме Лариных, Онегин прежде всего привычно фокусирует внимание на хозяйке дома, матери Татьяны и Ольги — даме уже за пределами всякого флирта:

Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
 Какие глупые места!
 А кстати, Ларина проста,
 Но очень милая старушка. (3: 4)

(Напомним, что «старушка» Ларина вряд ли старше сорока лет и вполне может еще казаться привлекательной.)

Более того, и сам Онегин вступил в период жизни, когда, вообще-то, людям пора уже и жениться (а с этой мыслью он, конечно, смириться никак не мог).

Его объяснение с Татьяной в саду правдиво:

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый... (4: 13)

В Онегине явно различим «Peter Pan complex» — упорное нежелание взрослеть (нечуждое, впрочем, многим, включая и поэтическое «я» автора):

Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин... (4: 50)

Итак, Онегин — вечный мальчик, *puer aeternus*. (О символике *puer aeternus* см. Jung 1949, 107 f.) Очевидно эротическая сверхзадача Онегина (любовника старших женщин) устремлена в обратную сторону: не к продолжению рода, а к возвращению в материнское лоно, т. е. метафорически — к уничтожению и смерти (своего рода «Эдипов комплекс», следуя фрейдистской терминологии. О психоаналитическом истолковании Пушкина ср. Bethea 1998, 45–88.) Роман Онегина — это «семейный роман» и в более углубленном смысле: в своих любовницах Евгений бессознательно ищет мать.

Онегин и Ленский

Характером Онегина как *puer aeternus* во многом объясняется и драма между ним и Ленским — архетипическое столкновение двойников — дуэль Арлекина и Пьеро; конфликт Каина и Авеля (мифопоэтическое двойничество подчеркнуто и самыми именами Онегина и Ленского — оба произведены от русских акваторий: Онега и Лена). Ленский — это контрастная альтернатива Онегина:

...Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.

Молодых людей сближает неженатость:

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свести. (2: 13)

Наивный и восторженный Ленский, «чуть отрок, Ольгою плененный» (2: 21), однако же стоит на пороге «переходного обряда» от отрока к мужу и готов уже нести узы брака:

Мой бедный Ленский, сердцем он
Для оной жизни был рожден. (4: 50)

Дуэль случилась как раз накануне женитьбы Ленского:

Он весел был. Чрез две недели
Назначен был счастливый срок. (4: 50)

Почему Онегин убивает Ленского? (Поступок, несмотря на общую тенденцию критики обелить Онегина и принизить значимость Ленского, не имеющий оправданий: Briggs 1992, 48–60.) Ведь (в отличие от Ленского) он вовсе не сердит на друга и немедленно впадает в отчаяние, как только тот падает мертвым:

Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет... (6: 31)

Со стороны Онегина возможны лишь две мотивировки выстрела: либо простой инстинкт самосохранения (чтобы Ленский не выстрелил первым), что идет вразрез и с онегински холодным отношением к жизни и с тем, что поэт определил в нем как «души прямое благородство» (4: 18); либо же выстрелил он, бессознательно препятствуя женитьбе друга, т. е. его метаморфозе из мальчика в мужчину, пугающей Онегина.

Онегин — Эдип

Раскаяние торопит отъезд его из деревни, и, через годы возвратившись в Петербург, двадцатилетний Онегин на светском рауте опять встречает Татьяну, теперь уже знатную княгиню, чья метаморфоза внушает ему немедленную любовь. Можно подумать, что Татьяна внезапно заняла какое-то специальное, заранее кому-то отведенное место в душе Евгения.

Интересна с виду случайная деталь: князь, муж Татьяны — родственник Онегина:

— О, так пойдем же. — Князь подходит
К своей жене, и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него... (8: 18)

Онегин одинок. Князь, старший по годам и положению в обществе (он в чине генерала, участвовал в военных действиях и высоко титулован), быть может, единственный старший родственник Онегина. В каком-то смысле муж Татьяны воплощает для Евгения отцовскую фигуру. Соответственно Татьяна метафорически становится на место матери.

Таким образом, Евгений находит, наконец, тот уникальный компромисс, когда женщина его возраста заняла место, отведенное в его фантазии для матери. Когда-то принадлежавшая кругу потенциальных «невест» и потому отторгнутая Онегиным, теперь Татьяна —

молодая дама его круга, но «старшая» по своему положению, т. е. — эротическая проекция матери, мечта и любовная цель онегинской юности.

Княгиня не только заполняет внимание Онегина, но и как бы присваивает себе все кошмары и неудачи его прошлого; «сон Татьяны» (5: 11–21) теперь видится глазами Онегина:

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом, и у окна
Сидит она... и все она! (8: 37)

Она даже не названа по имени: она завладела Онегиным неодолимой сверхличностью юнгианского архетипа (о концепте архетипа Анимы, центрального в системе Юнга см.: Jung 1958: 9–22.) Почему же именно Татьяна заняла место Анимы (Души, Психеи), мистической и роковой матери-любовницы Онегина?

Татьяна приходит из его прошлого. Более того, она любила Онегина — сама, без просьб и домогательств с его стороны (при этом любила вполне девственно). Самое выражение онегинской страсти воспроизводит отношение малолетнего ребенка к матери:

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство...
<...>
Желать обнять у вас колени,
И, зарыдав у ваших ног,
Излить мольбы, признанья, пени... (8: 32)

Поэт не оставляет сомнения в характере онегинского чувства:

Сомненья нет: увы! Евгений
В Татьяну, как дитя, влюблен... (8: 30)

Выбор слов недвусмыслен: влюблен именно *как дитя*, — не как юноша, поэт или безумец. Даже болезнь Евгения (явно на любовной почве) как бы рассчитана вызвать материнское участие со стороны Татьяны:

Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль...
<...>

...Он заране
 Писать ко прадедам готов
 О скорой встрече; а Татьяна
 И дела нет (их пол таков)... (8: 31–32)

Любопытно, что в любви Татьяны Онегин ищет не исцеления, а смерти:

Внимать вам долго, понимать
 Душой все ваше совершенство,
 Пред вами в муках замирать,
 Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! (8: 32)

Т. е., если Онегин — тайный Эдип, то Татьяна — и мать-Иокаста, и губительница-Сфинкс, чья ласка смертельна для ее жертвы.

Метаморфозы Татьяны

Что вообще известно нам об облике Татьяны, столь, казалось бы, универсально хрестоматийном? По сути, очень немного. Поэт не описывает внешность Татьяны. Ее худощавая бледность («Татьяны бледные красы», 3: 20) — единственно конкретная деталь ее образа:

И вспомнил он Татьяны милой
 И бледный цвет, и вид унылый... (4: 11)

Ее находят что-то странной,
 Провинциальной и жеманной,
 И что-то бледной и худой,
 А впрочем, очень недурной. (7: 46)

Татьяна, в основном, характеризуется отрицаниями: «не», причем поэт не скупится на штрихи, рисуя ее не очень красивой, не слишком обаятельной, не особенно интересной в быту и компании, и как бы живущей в своем особом фантастическом мире, замещающем мир реальный:

Итак, она звалась Татьяной.
 Ни красотой сестры своей,
 Ни прелестью ее румяной
 Не привлекла б она очей.
 <...>

Она ласкаться не умела
 К отцу, ни к матери своей;
 Дитя сама, в толпе детей
 Играть и прыгать не хотела.
 <...>

Ее изнеженные пальцы
 Не знали игл; склонясь на пальцы
 Узором шелковым она
 Не оживляла полотна.
 <...>

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела. (2: 25–27)

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все... (2: 29; ср. 3: 9–10)

И позже, описывая триумф Татьяны в Петербурге, поэт опять определяет Татьяну преимущественно через отрицания:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
<...>

Никто б не мог ее прекрасной
Назвать; но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется *vulgar*... (8: 15)

Заметна тенденция поэта оттенить облик Татьяны чужою, превосходящей ее красотой. Так, сообщив, что в московском свете

Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов (7: 50)

— т. е., отчитавшись о сравнительной невзрачности своей героини, Пушкин тут же как бы нарочно, с приподнятым энтузиазмом описывает несравненные прелести другой красавицы:

У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Но та, которую не смею
Тревожить лирою моею,
Как величавая луна,
Средь жен и дев блестит одна.
С какою гордостью небесной
Земли касается она!
Как негой грудь ее полна!
Как томен взор ее чудесный!.. (7: 52)

Как эффект поэтического отступления, фольклорный параллелизм луны среди звезд, уникальной красавицы среди подруг, замещает реальность мифологическим архетипом (кем-то, кого поэт «не смеет тревожить».) Эта внезапная экфразея тем более любопытна, что по ходу поэмы именно Татьяна всюду ассоциируется с луной (3: 16, 20, 21, 32; 5: 5, 9, 13, 30. Ср. Clayton 1985, 115–137: «Tat'iana:

Diana's Disciple» о лунной метафорике Татьяны. Интересно, что по первому впечатлению Онегин видит луну в Ольге, — только круглую, красную и глупую: «Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна / На этом глупом небосклоне» (3: 5).

Возвращаясь же к эффекту, производимому Татьяной, поэт лишь вкратце замечает:

А глаз меж тем с нее не сводит
Какой-то важный генерал. (7: 54)

Сияние Татьяны в петербургском свете тоже передано через описание другой, более разительной (собираательно-вымышленной) красавицы:

Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была. (8: 16)

Ослепительный блеск Клеопатры; мраморность мира петербургской Татьяны — последняя, полная фаза изначальной бледности ее деревенского девичества. Клеопатра — архетип губительной красоты (ср. *Египетские Ночи*: «Скажите, кто меж вами купит / Ценою жизни ночь мою?») ассоциативно вызывает образ египетских сфинксов на гранитном берегу Невы, — а уж где Сфинкс, там и Эдип, разгадавший ее роковую загадку.

Татьяна как бы прячется в тени; ее постоянно кто-то заслоняет: сначала — сестра Ольга, потом — московская красавица-луна, наконец, мраморная Клеопатра, но — безуспешно. Бессмертная красота каменных изваяний, осеняющая Татьяну в ее последней, петербургской метаморфозе, как бы возводит ее на уровень мифа:

Не этой девочкой несмелой,
Влюбленной, бедной и простой,
Но равнодушною княгиней,
Но неприступною богиней
Роскошной, царственной Невы. (8: 27)

Татьяна — «богиня Невы», т. е. божество водной стихии; иначе говоря, — невская русалка. Ее главенство мгновенно признается в Петербурге, где она предстает почти мистически обожаемым идолом:

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей;
Девицы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал. (8: 15)

Поэт специфически находит слово «идол», представляя страсть Онегина на грани идолопоклонства, со шкодливо-завуалированным намеком на возжигание жертвоприношений:

Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*
Иль *Idol mio* и ронял
В огонь то туюлю, то журнал. (8: 28)

Внезапная метаморфоза Татьяны от «девчонки нежной» к «сей величавой, сей небрежной / Законодательнице зал» (8: 28) в бытовом (синтагматическом) плане требовала бы долгих психологических комментариев, ср. замечание Пушкина к выкинутой главе о путешествии Онегина: «П. А. Катенин <...> заметил нам, что сие исключение <...> вредит, однако ж, плану целого сочинения; ибо через то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики» (Пушкин 1975, 167).

В плане же мифопоэтическом (парадигматическом) Татьяна — русалка, идол, роковая ловушка — проглядывает уже с первых глав.

Татьяна — русалка

В сцене объяснения в саду, когда Татьяна в смятении ожидает приближающегося Онегина, рассказ и ритм внезапно прерываются пением крестьянских девушек:

Песня девушек

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь, девицы,
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему.
<...>
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи. (3: 39)

Зачем понадобилось поэту вдруг, безотносительно к действию и в нарушение стихотворного размера поэмы вставить именно сюда

простонародную песенку девушек? Как и всегда, вторжение фольклора имеет у Пушкина свой тайный смысл.

Жанр и тема песни заимствованы из репертуара весенних обрядов «русальной недели» — времени девических таинств на берегу реки. Девушки собирались особо от парней и справляли «завивание березки»; «похороны/проводы русалки» с магическими заклинаниями и ритуальными песнопениями (Земцовский 1970, 5–50; ср. о фольклорных интересах Пушкина: Миллер 1899). Метафорически, песня девушек в саду — русалочья игра: русалки — божества подводной стихии, духи девушек, умерших до брака. В народных поверьях русалки песней заманивают молодца в свой хоровод и шекочут до смерти или увлекают за собою на дно (ср. близость воды — озера и ручья — в момент объяснения Онегина с Татьяной (3: 38).

По событийному ходу сюжета Евгений подходит к Татьяне, чтобы вежливо отклонить ее признание в любви и дать снисходительный совет «учитесь властвовать собою» (4: 16). Однако в мифологическом прозрении фольклорной песни Онегин, вступая в магический круг Татьяны, уже заранее обречен в жертву ее русалочьей стихии (ср. момент второго и последнего их свидания в Петербурге («на берегах Невы»): Онегин «Идет, на мертвеца похожий...» (8: 40).

Сюжет *Онегина*, таким образом, внутренне идентичен сюжету пушкинской неоконченной мифологической драмы *Русалка*:

Как бросилась без памяти я в воду
Отчаянной и презренной девчонкой
И в глубине Днепра-реки проснулась
Русалкою холодной и могучей...

В *Русалке* молодая утопленница, ныне — мать, повелительница русалок, увлекает своего соблазнителя к себе на дно. В *Онегине* вместо Днепра — Нева и идол петербургского света, преображенная Татьяна, занимает место матери-русалки (только, добавим, матери не маленькой русалочки, как в неоконченной драме, а матери самого Онегина).

Тема Татьяны проникнута духом мифопоэтической символики. С именем героини нарочито «неразлучно / Воспоминанье старины / Иль девичьей!» (2: 24).

Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь... (5: 5)

И хотя сама Татьяна

...По-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,

И выражалась с трудом
На языке своем родном, (3: 26)

— однако же любила «страшные рассказы / Зимой в темноте ночей» (2: 27), — очевидно, в исполнении русской няни Филипьевны (3: 33).

Свадьба няни Филипьевны

История замужества няни, казалось бы, безотносительная к ходу сюжета, вторгается в повествование опять-таки в критический момент: Татьяна готова писать письмо Онегину. Изысканному ее посланию, написанному, как напоминает автор, по-французски, предпослана неумолимая мифологема традиционной русской свадьбы, где невеста выступает в роли жертвы:

— «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года.
Была ты влюблена тогда?»

— И полно, Таня! В эти лета
мы не слышали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница-свекровь. —
«Да как же ты венчалась, няня?»
— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет.
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня... (3: 17–19)

Никакой «любви» и в помине. Невесте тринадцать лет (а жених — и вообще ребенок моложе ее, и вызывает в памяти Филипьевны почти материнскую нежность: «мой Ваня <...> мой свет» — видимо, брак их оказался не совсем неудачным). Плач невесты; расплетание косы подругами — необходимые элементы русского свадебного ритуала: свадьба в фольклоре — своего рода похороны невесты; «переходный обряд» символической смерти и преобразования (см.: Колпакова 1973). Фольклорная семантика «расплетания косы» перед свадьбой проскальзывает и в московском сезоне Татьяны, где «младые грации Москвы... взбивают кудри ей по моде» (7: 46).

Рассказ няни о своей свадьбе являет собою оголенную до сути параллель замужествам Татьяны и ее матери, «старушки» Лариной, как бы иллюстрируя принцип: «Plus ça change, plus c'est la même chose».

Мать и дочь

Судьба Татьяны — как бы зеркальная проекция судьбы ее собственной матери: смолоду увлечение романами; влюбленность в тайного избранника; потом замужество без любви, привычка и удовлетворение новой жизнью:

В то время был еще жених
Ее супруг, но поневоле;
Она мечтала о другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле
<...>

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девицу повели к венцу.
И, чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастью она. (2: 30–31)

Мать, однако, вышла замуж из Москвы в деревню, в то время как Татьяна выходит из деревни в столицу.

Петербургская метаморфоза Татьяны замечательна своей амбивалентностью.

В деревне Татьяна даже «в семье своей родной / Казалась девочкой чужой» (2: 25) и жаловалась в письме к Онегину:

Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна. (3: 31)

Плохо адаптированная деревенская девочка, однако, нашла восторженный прием в высшем петербургском свете, где быстро освоилась в роли «законодательницы зал»:

Как изменилася Татьяна!
Как твердо в роль она вошла!
Как утеснительного сана
Приемы скоро приняла! (8: 28)

Но несмотря на видимый сверхуспех, Татьяна томится и в Петербурге:

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,

Мой модный дом и вечера,
 Что в них? Сейчас отдать я рада
 Всю эту ветошь маскарада,
 Весь этот блеск, и шум, и чад
 За полку книг, за дикий сад,
 За наше бедное жилище,
 За те места, где в первый раз,
 Онегин, видела я вас,
 Да за смиренное кладбище,
 Где нынче крест и тень ветвей
 Над бедной нянею моею... (8: 46)

Завораживающая северная столица, где начинается и кончается действие романа, Петербург описан Пушкиным с несомненной любовью и восторгом. Почему же Татьяне парадоксально «постыл» прекрасный город и его богатая жизнь, где она, наконец, обрела себя, являясь центром этой жизни, и где она пользуется таким же бесспорным авторитетом, как и мать ее в своей деревне, где:

Она меж делом и досугом
 Открыла тайну, как супругом
 Самодержавно управлять,
 И все тогда пошло на статью.
 Она езжала по работам,
 Солила на зиму грибы,
 Вела расходы, брила лбы... (2: 32)

Татьяна тоскует по книгам и няне, т. е. по утраченному девичеству.

Бряд ли в Петербурге не хватает книг, чтобы удовлетворить ее читательские запросы. Риска вызвать несправедливый упрек в циничности, заметим все же, что пушкинской Татьяне трудно угодить (ср. Briggs 1992, 60–79 — прямолинейно-критический взгляд на характер Татьяны Лариной). Она не удовлетворена в деревне; ей скучно на балах Москвы; она несчастлива в петербургском свете (потому что для счастья ей нужен Онегин?), но и теперь, когда Онегин у ее ног, она опять-таки несчастна. Мать ее оказалась счастливее: выйдя замуж в деревню, та, по крайней мере, «привыкла и довольна стала» (2: 31) и даже принудила дочь к благоустроенному замужеству: «Меня с слезами заклинаний / Молила мать...» (8: 47).

Татьяна — Прозерпина

Тема Татьяны и матери, «старушки» Лариной, развивает мифологическую тему двойничества Матери и Девы — Деметры (Цереры) и Персефоны-Коры (Прозерпины) античного мифа, где похищение Коры («Девы») богом подземного царства Аидом (Плутоном) — мифологический архетип всех браков (Kerenyi 1967, 17).

Как и Персефона, оказавшись в подземном царстве, оттесняет мужа на второй план и принимает на себя главенствующую роль, Татьяна — княгиня N. опережает мужа, лидируя в светской жизни Петербурга:

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею — важный генерал. (8: 14)

...И всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал. (8: 15)

Надо заметить, что и другие жертвенные невесты — мать и няня — тоже лидируют в браке: мать «самодержавно управляет супругом»; нянин муж ей, как ребенок.

Подобно Персефоне-Коре, Татьяна изначально противится браку (7: 25–26). Готовясь к отъезду «в Москву, на ярманку невест» (7: 26)

Она, как с давними друзьями,
С своими рожами, лугами,
Еще беседовать спешит.
Но лето быстрое летит.
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана... (7: 29)

Осень — время нисхождения Девы к мужу в обитель смерти, а природа — «жертва» в праздничном убранстве — метафорическая параллель Татьяне-Деве, приготовляемой к жертвенному замужеству (ср. весенние «похороны/проводы русалки») ².

Дочь-Персефона, в замужестве за Аидом владычица подземного царства, являет собой хтонический аспект Матери-Деметры, богини пашни и злаков. В то время как Мать-Деметра (старушка Ларина) остается наверху, в мире живых, Дева (Татьяна) спускается в покои мрачного супруга, где тоскует по свету деревенских просторов Матери.

«Ветошь маскарада, / Весь этот блеск, и шум, и чад» петербургской жизни в описании Татьяны повторяет гротескный кошмар ее девического сна:

И что же видит?... за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый
<...>
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ! (5: 16–17)

Путешествие в загробный мир

Вещий сон Татьяны — путешествие в иной, потусторонний мир, метафора похорон («как на больших похоронах...» 5: 16) и свадьбы (медведь в народных поверьях снится к свадьбе)³. Заботливый медведь татьяниного сна — это князь-генерал, муж Татьяны, который даже не назван по имени иначе, как «князь N.» (8: 21). Муж ее часто представляется стариком, не иначе как в силу его метафорической функции божества смерти: Аид — единственный бог греческого пантеона, традиционно изображавшийся стариком (на самом деле «князь N.» старше Онегина лет на десять, см.: Nabokov 1975. vol. 3, 124). Татьяна замечает, что «муж в сраженьях изувечен» (8: 44), т. е. может выглядеть несколько утраченным. Известно лишь, что он «важный» и кажется Татьяне толстым: «Кто? толстый этот генерал?» (7: 54) — поскольку в природе не бывает стройного медведя.

Приснившийся медведь подает ей когтистую лапу через «гибельный мосток», и «переходный обряд» переправы несет символику смерти/брака:

В сугробах снежных перед нею
Шумит, клубит волной свою
Кипучий, темный и седой
Поток, не скованный зимой;
Две жердочки, склеены льдиной,
Дрожащий, гибельный мосток,
Проложены через поток;
И пред шумящею пучиной,
Недоумения полна,
Остановилась она.

Как на досадную разлуку,
Татьяна ропщет на ручей... (5: 11–12)

Ручей — разлука; шумящая пучина; темный и седой поток в снегах — метафорически, мертвая вода, пересекающая путь в потустороннее царство: мифическая река смерти, Стикс.

В фазе своего петербургского полнолуния Татьяна — невящая русалка как бы окружена стихией мертвой воды⁴. Петербургская Нева; Нил Александрийской Клеопатры; темный поток татьяниного сна; водяная ономастика Онегина/Ленского; водяная стихия подземного мира — Стикс/Лета/Флегетон античных мифов метафорически уравниваются. Мифопоэтический Петербург — иной мир, подводный мир чудес и роскоши, гибельное дно⁵.

Тоска Татьяны в Петербурге, таким образом, мотивирована мифологически: безрадостный брак владычицы подземного царства Персефоны — прототип замужества законодательницы петербургских зал, Татьяны.

Контрастные судьбы няни, матери и Татьяны в глубинном плане идентичны, воспроизводя мифологический архетип жертвенного брака. Не любовь, не выбор, не эмоции, не культурная среда руководят участью персонажей поэмы, а универсальный, неотвратимый ход вещей, обнаруживающий себя в поэтике мифа.

Татьяна — Федра (Евгений — Ипполит?)

Няня Филипьевна, раскрывающая мифологическую подоплеку Татьяны, не целиком, впрочем, приходит из фольклора и уж, по крайней мере, не растворяется там без остатка. Отдав должное ее несомненному фольклоризму, равно как и ее реально-бытовым прототипам (включая и знаменитую няню Пушкина Арину Родионовну, ср.: 4: 35 о «старой няне, / Подруге юности моей») заметим также, что литературный прототип няни — фигуры, в основе своей, глубоко мифологической (ср.: Фрейденберг 1978, 146), восходит к античной традиции. Ее близкий аналог — няня Федры в трагедии Еврипида, обработанной в драмах Сенеки и Расина. Именно старуха-няня является посредницей в любви Федры к девственному пасынку Ипполиту. Няне же поверяет свое чувство и препоручает передать письмо к Онегину и Татьяна. (3: 34–35)

История знаменитой Федры — вариант сюжета об Иосифе Прекрасном. Молодая жена героя Тезея, царя Афин, пылает страстью к пасынку, целомудренному юноше Ипполиту. Ипполит отвергает ее любовь, и Федра ложно обвиняет его перед мужем, который проклятием обрекает сына на гибель.

Мифологически история Татьяны и Онегина — перелицовка классического сюжета Федры и Ипполита. На первый взгляд, у Пушкина дело обстоит наоборот: в традициях бытописательного романа поэт атрибутирует девственность девушке, и его Татьяна — невинная барышня, а вовсе не одержимая запретным желаньем царица-Федра (хотя и пушкинская Татьяна подвержена симптомам страсти, описанным уже у Саффо и Катутлла, стихотворение № 51):

Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах... (3: 16)

Онегин же — бывалый светский соблазнитель, охотящийся за столичными красавицами, а отнюдь не девственный отрок-охотник Ипполит античного мифа (хотя и он проявляет нетипичную воздержанность в ответ на любовное признание Татьяны). Однако пушкинская интерпретация сюжета такова, что даже, если сделать Федру невинной девушкой, а Ипполита опытным и пресыщенным Дон-Жуаном, то и тогда конечный итог все равно будет тот же

самый: еще один пример «Plus ça change, plus c'est la même chose». По логике пушкинского сюжета, каковы бы ни были характеры, эмоции и личные мотивировки его персонажей, мифологическое ядро остается все тем же: Онегин, как и Ипполит, — одновременно и охотник, и жертва; пассивный предмет страсти роковой богини; Татьяна, как и Федра, — как бы мать, ищущая недоступной любви и в итоге губящая избранника.

Татьянин Петербург: город-миф

Итак, в своих мифопоэтических метаморфозах Татьяна — идол; русалка; жертвенная Персефона; роковая Федра; Иокаста-Сфинкс; Ева; «мать», объект тайных эротических стремлений Онегина — вечного мальчика; братоубийцы-Каина; жертвенного Ипполита; тайновидца-Эдипа.

В чем же, наконец, поэтическая суть того, что именно Татьяна, — неяркая уездная барышня, — возглавила мир Петербурга, города классических красот и античных мотивов?

Петербург — город Онегина, который «родился на берегах Невы» (1: 2) и с детства впитал культуру его театров, дворцов и изваяний. Классическая эрудиция Онегина подчеркнута даже специальным уведомлением, что он в достаточной мере знал латынь (1: 6). Однако осведомленность его в античной традиции остается, в основном, формальной: Так, в театре, куда светский зритель едет «обшикать Федру, Клеопатру» (1: 17) —

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
<...>
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеяньи взглянул,
Отворотился — и зевнул... (1: 21)

Онегинские Федры и Клеопатры — лишь остов, внешние очертания классической древности. Татьяна меж тем наследует этот застывший мир классицизма в иной, романтической перспективе. Как и сам Петербург, Татьяна выросла на европейских образцах: «Она по-русски плохо знала...» (3: 26). Визиты в усадьбу Онегина после его отъезда и знакомство с его библиотекой — своего рода инициация Татьяны в онегинский мир. Здесь Татьяна — как бы анти-Эдип, разгадывающий загадку анти-Сфинкса — Онегина:

Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?...
Уж не пародия ли он?

Ужель загадку разрешила?
Ужели слово найдено? (7: 24–25)

Разгадывая, Татьяна не только усваивает, но и перерастает мир *Онегина*. Перерастает, в частности, и потому, что несет в себе более субстанциальное мироощущение, выходящее за рамки литературных (или социальных) конвенций: «Татьяна (русская душой, сама не зная почему)» (5: 4) живет интуицией народных поверий, обрядов и преданий (5: 4–10), из глубины веков несущих в себе живой родник архаической фантазии — сродни той самой, которая в древности породила образы классических сюжетов. Поэтика Татьяны возвращает окаменелым идолам Петербурга их изначальную мифическую суть. Остовы античности как бы оживают в магическом кругу Татьяны, где пересекаются Федра и няня Филипьевна; Персефона и засидевшаяся в девках невеста; праматерь Ева и уездная барышня; русалка и великосветская дама. В Татьяне Пушкин как бы воссоединяет классицизм и романтизм; литературу, миф и фольклор.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Первая цифра в скобках обозначает главу романа, вторая — строфу.
- ² Интересно, что мифическая тема любви богини смерти к смертному юноше давно волнует Пушкина, ср.: *Прозерпина* (1822): «Плещут воды Флегетона, / Своды тартара дрожат...».
- ³ О сне Татьяны см., напр.: Гершензон 1926, 96–110; Turkevich 1974, 40–45; Nasty 1999, 137–175.
- ⁴ Подводный миф Петербурга обнаруживает себя и у Ахматовой: «Там, у устья Леты-Невы...» (*Поэма без героя*, стр. 286).
- ⁵ Нева как поглощающая стихия, затопляемый Петербург как подводное царство предстает в *Медном Всаднике*, — пожалуй, самом ярком пушкинском панегирике Петербургу, где герой (тоже Евгений), которого преследует «кумир на бронзовом коне», оказывается жертвой любви к унесенной наводнением девушке. И так, *Каменный Гость*, *Египетские Ночи*, *Русалка*, *Медный Всадник* обнаруживают общность мифопоэтической символики.

ЛИТЕРАТУРА

- Гершензон 1926 — *Гершензон М. О.* Статьи о Пушкине. М., 1926.
 Земцовский 1970 — *Земцовский И. И.* Песенная поэзия русских земледельческих праздников. Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970.
 Колпакова 1973 — *Колпакова Н. П.* Лирика русской свадьбы. Л., 1973.
 Миллер 1899 — *Миллер В.* Пушкин как поэт-этнограф. М., 1899.
 Пушкин 1975 — *Пушкин А. С.* Собр. соч. в 10-ти т. / Примеч. Д. Д. Благого, С. М. Бонди. М., 1975. Т. 4.

- Фрейденберг 1978 — *Фрейденберг О. М.* Миф и литература древности. М., 1978.
- Bethea 1998 — *Bethea D. M.* Realizing Metaphors: Alexander Pushkin and the Life of the Poet. Madison (Wisconsin), 1998.
- Briggs 1992 — *Briggs A. D. P.* Pushkin *Eugene Onegin*. Cambridge (New York), 1992.
- Clayton 1985 — *Clayton J. D.* Ice and Flame: Alexander Pushkin's *Eugene Onegin*. Toronto, 1985.
- Hasty 1999 — *Hasty O. P.* Pushkin's Tatiana. Madison (Wisconsin), 1999.
- Jung 1949 — *Jung C. G., Kerenyi K.* Essays on a Science of Mythology. N.-Y., 1949. Bollingen Series XXII.
- Jung 1958 — *Jung C. G.* Psyche and Symbol. Garden City (New York), 1958.
- Kerenyi 1967 — *Kerenyi K.* Eleusis. Archetypical Image of Mother and Daughter. London, 1967.
- Nabokov 1975 — *Nabokov V.* Eugene Onegin. A Novel in Verse by Alexander Pushkin. Translated from the Russian, with a Commentary. N.-Y., 1975. Vol. 1–4. Bollingen Series LXXII.
- Proffer 1968 — *Proffer C. R.* «Pushkin and Parricide» // American Imago. 1968. № 25.
- Turkevich 1974 — *Turkevich L.* «Pushkin's Dreams and Their Aesthetic Function. A New Interpretation» // Russian Language Journal. 1974. № 101 (Fall).

«Воротися, отец, воротися!»
Георгий Черный: генеалогия харизмы
народного вождя¹

Харизматическое правление с легкой руки М. Вебера прочно вошло не только в обиход политической науки, но также в язык журналистов, разного рода обозревателей и PR-технологов. Особенно часто вспоминают о нем во время выборов того или иного масштаба. Разработаны и методы увеличения харизмы, которые, правда, не всегда ведут к нужному результату. А все потому, что эту материю трудно измерить и просчитать. Харизма — шарм — сродни чуду, в которое верят и на которое надеются. Разве может подобными вещами заниматься наука? Хотя политологи и социологи часто используют термин «харизма», они редко пытаются постичь происхождение этого феномена и материализованные формы его бытования. Тем более что изучать их методами какой-то одной из гуманитарных дисциплин практически невозможно.

Современные словари скупо говорят о содержании термина. «Харизматическое господство основано на исключительных качествах, приписываемых лидеру, — констатирует С. А. Эфиров в короткой статье, посвященной харизме. — Его считают пророком, гигантской исторической фигурой, полубогом, выполняющим великую миссию, открывающим новые невиданные горизонты. Взаимоотношения вождя и масс имеют эмоционально-мистический характер, предполагают полную „самоотдачу“, слепую веру, бездумное следование за харизматическим лидером»². Представление о харизме транслируется в категориях, ускользающих от холодного анализа. Перед «слепой верой» и «бездумным следованием» ученый вынужден сомкнуть уста, признав, что человек не до конца рациональное животное. К подобному выводу ведут воззрения самого М. Вебера, поместившего харизматику в трехчастной классификации «легитимного господства» между традиционным (архаическим) и рациональным (современным) типами. Будучи разочаровавшимся и усомнившимся наследником просветительской мысли, Вебер видел в харизме своего рода «волшебную палочку», которая способна перечеркнуть прошлое и привести общество либо к новой религиозной (религиозно-политической) традиции, либо в царство разумной законности. Вопреки ожиданиям оно так и не наступило, а «эмоциональное напряжение» все еще имеет значимый вес в мире

политики. Сам Вебер признавал, что чистые типы господства в реальности встречаются редко³.

Современные последователи немецкого теоретика различают порой истинную харизму, которая подразумевает наличие у лидера выдающихся качеств, и искусственную, создаваемую, например, аппаратом пропаганды в тоталитарных обществах⁴. Такое различие, как и веберовский акцент на «даре» («призвании»), не столько проясняют, сколько запутывают дело. Отношения между вождем и массой в случае «естественной» харизмы оказываются непроницаемыми, да и не требуют понимания, а в случае «искусственной» — становятся *слишком* понятными.

Ситуация меняется при условии рассмотрения неспровоцированного и спровоцированного вождизма в связи с более или менее устойчивыми структурами мифологического мышления в общественном сознании. В тоталитарных и авторитарных государствах пропаганда целенаправленно эксплуатирует мифо-символический комплекс для индоктринации населения. Но, пожалуй, нет ни одного харизматического лидера, который бы обошелся вовсе без идейной поддержки в деле овладения властью и удержания у власти. Скажем, никто не сомневается в незаурядных полководческих и управленческих способностях Наполеона Бонапарта, обладавшего, следовательно, «естественной» харизмой. При этом классическим примером фабрикации «героического мифа» является собственно-ручная правка молодым генералом печатного органа итальянской кампании, которая предшествовала его приходу к власти. В дальнейшем Наполеон I неустанно заботился о публичном образе собственной власти⁵.

«Наполеоновская легенда», как воплощение бонапартистской харизмы, имеет длинную историю изучения⁶. Но фундамент, на который она опиралась, скрыт от исследователя очевидными фактами ее пропагандистского конструирования. Участие в этом процессе крупных писателей, архитекторов, художников и т. д. обращает внимание исследователей, прежде всего, к уровню «высокой» культуры, а отсутствие в обороте необходимых источников затрудняет взгляд на бонапартизм «снизу», где преобладала культурная архаика⁷.

Символический аспект харизматического лидерства затрагивался в трудах социальных психологов и психоаналитиков, видящих в нем проявление «коллективного бессознательного»⁸. Однако данные исследования носят, как правило, достаточно общий, часто эссеистический, а иногда и откровенно рыхлый характер, смущая скороспелой генерализацией и отсутствием конкретного анализа на основе исторических источников. Не отрицая заслуг психологов в реконструкции индивидуально-субъективных механизмов легитимации

харизмы, следует отметить недостаточно убедительный подход к ее генеалогии, обусловленный психоредукцией в понимании социальных связей⁹.

В этой связи чрезвычайно интересный и по-своему уникальный случай представляет собой харизма Георгия Петровича Черного (Карагеоргия) вставшего во главе антитурецкого восстания 1804–1813 гг., родоначальника одной из двух сербских династий. Освободительная борьба сербов Белградского пашалыка, развернувшаяся в условиях преобладающей культурной архаики, при сохранении «живой» эпической традиции и господстве фольклорной стихии, породила контрастные сочетания «старого» и «нового» в легитимации повстанческого государства. Именно это позволяет выявить архаическую подоплеку харизматического правления, которая в данном случае не скрыта от исследователя образцами пропаганды, навязанной просвещенными идеологами, хотя и не дана в непосредственном виде¹⁰.

Литературно-мемуарная среда зафиксировала ряд эпизодов легендарной биографии Карагеоргия, большинство из которых относится к периоду жизни до начала восстания. Этот комплекс легенд сформировался в анонимной среде участников движения, воспитанных на сюжетах песен о юнаках. Поэт Сима Милутинович Саралия, служивший во время восстания писарем в Народном совете, вспоминал, что он неоднократно слышал рассказы о Карагеоргии от его земляков — жителей Шумадии, — охранявших Совет, а особенно часто от старого топольца¹¹.

Некоторые легендарные свидетельства были зафиксированы на бумаге представителями иной культурной среды (русскими чиновниками и путешественниками), которые вступили в контакт с повстанцами во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. Конечно, они не понимали контекст и глубинный смысл этих легенд. Затем — сподвижниками Карагеоргия, деятелями второго и третьего ряда, написавшими или надиктовавшими свои воспоминания по прошествии многих лет, а то и десятилетий после смерти их героя. Воссозданный на этом этапе легендарный слой биографии Карагеоргия, наверное, был не только данью эпической традиции, не только проявлением простодушия мемуаристов, выходцев из народа, но также своеобразной реакцией на конфликт двух сербских династий и попыток очернить имя основателя первой из них. Отдельные авторы, в силу культурной инерции или под влиянием романтической эстетики, сознательно стилизовали свои произведения под эпические песни-сказания, заимствуя сюжеты, детали и литературную форму фольклорных памятников, начиная со знаменитого кошовского цикла. Анонимно творимая легенда и писательский вымысел в этом случае тесно переплетались. Проблема заключается еще и в том, что

многие мемуарные произведения прошли этап произвольной литературной обработки и были опубликованы уже после смерти их авторов. Некоторые из свидетельств передавались устно из поколения в поколение, попали в сочинения первых историков-описателей сербского восстания и вошли в обиход одновременно как средства пропаганды, воспитания и в качестве исторических источников уже в начале XX в., когда у власти в Сербии вновь оказалась династия Карагеоргиевичей¹².

Автор пространной, но не доведенной до конца биографии Карагеоргия М. Вукичевич (1867–1930), пожалуй, первым собрал воедино, а в некоторых случаях и проанализировал всевозможные свидетельства об этих легендарных эпизодах, в частности, о необыкновенных обстоятельствах появления Георгия на свет. Выстраивая апологию верховного вождя, Вукичевич, тем не менее, не был столь наивен, чтобы принимать на веру откровенно фантастические детали. Он не придавал большого значения народной фантазии и объяснял ее механистически в соответствии с уровнем развития науки того времени: «Многие народы рождение своих великих людей облачают в некую таинственность, добавляя к нему странные знамения. Многие же уважение своих великих людей превозносят до обожествления и вероисповедания. Нечто похожее тому учинил и сербский народ с рождением Карагеоргия, обернув его в красивые сказки, ибо это в природе простого народа»¹³. Историк припоминает подобные рассказы, связанные с рождением Кира, Александра Македонского, Милоша Обилича, Змай–Огненного Вука, Скандербега. Любопытно, что, по крайней мере, двое персонажей из пяти названных — сербские эпические герои. Современникам восстания были удивительны некоторые личные качества Карагеоргия («сила мышц», величие духа, хладнокровие и т. п.), поэтому они придумали чудеса, сопровождавшие его рождение, добавляет Вукичевич.

В ночь, когда родился Георгий, в доме его родителей Петра и Марицы (отца по каким-то причинам не было на месте) остановился турок-спахия. Как повествует первым записавший эту историю Милутинович, в самый момент рождения посреди ночи вдруг вспыхнул яркий свет, окруживший дом, и это длилось около минуты. Турок так испугался, что закричал: «Да не горит ли что?» Остаток ночи несчастный только и твердил во сне тревожным голосом: «Я не Мурад, Обилич! / Не дахия, не кеседжия, / Но спахия и наследник отца, / Доброго, хорошего, как и я, / Бога ради, не дайте мне рая...»¹⁴ И так, во сне турку явился Милош Обилич, заколовший на Косовом поле в 1389 г. султана Мурада I. Соответственно, только что родившийся Карагеоргий — это его новое земное воплощение.

Даже новорожденным он внушает смертный страх каждому турку, «доброму» или «злому».

По версии мемуариста Я. Джурича, турок проснулся от плача родившегося ребенка. Он был смущен и напуган, поскольку ему только что приснился ужасный сон: огромный лев вонзил в него острые когти и готов уже был растерзать. В страхе турок бежал из дома, чтобы закончить ночлег в поле, и увидел на ночном небе световую дугу, опрокинутую с юго-запада на восток (на юго-западе расположена Старая Сербия и Косово поле, восток — направление, с которого пришли турки). В этом варианте легенды Георгий самим фактом появления на свет изгоняет из родного дома (из Сербии), захватившего этот дом чужестранца. Наутро турок поздравил мать с рождением ребенка, рассказал обо всем произошедшем с ним этой ночью, подарил дукат и предрек Георгию завидную судьбу: «Твой сын должен стать великим человеком и с большим уважением (млогим милетом) народом руководить»¹⁵.

Другой мемуарист П. Йокич рассказывает эту историю несколько иначе. Когда в доме оказался турок, мать не захотела рожать в его присутствии и вышла в сад, где в час ночи и появился на свет Георгий. Турок, выйдя на двор, увидел Марицу с новорожденным и сказал, чтобы она отправлялась в дом к огню, а сам остался снаружи. Сюжет изгнания из дома, таким образом, сохранен, но очищен от мистических мотиваций.

Не прошло и часа, появился отец Георгия; Йокич называет его Петроние. (Новорожденный выступает своего рода заместителем отца, способным постоять за мать — родную землю, Сербию.) Петроние разжег костер и переночевал вместе с турком в саду. Наутро выяснилась одна любопытная подробность рождения. И мать, и турок видели: когда новорожденный упал на землю, на его спине между плечами сиял месяц — удивительное знамение перенесено с ночного неба на тело необычного ребенка, который может источать свет. Турку оставалось только, как и в рассказе Джурича, одарить мать деньгами (на этот раз — 20-ю пара) и произнести пророчество: «Марица, ты не сына родила, но господаря»¹⁶.

Для архаической культуры наличие особых знаков на теле — верный признак необыкновенного человека¹⁷. Вукичевич сообщает далее, ссылаясь на рассказы собственной матери, которая в свою очередь слышала их от деда, воевавшего у Карагеоргия в 1806–1813 гг., о преданиях, передаваемых в Смедереве и Крагуевце. Согласно этим преданиям, Карагеоргий был «аловит»¹⁸. Во время битвы, в которой он участвовал, ветер всегда дул с его стороны, и все потому, что, когда его мать родила, у него подмышками (под пазухом) были крылья. Вукичевич приводит песню Й. Новича Оточанина, составленную на основе предания: «Не чадо жена родила, /

Но страшное создание драконово, / Бесподобное в нем обличие: / Крыла у него — перо самоставное, / Что из обоих плеч отросли, / А у крыльев были надкрылья, / Костистые у него и ноги и руки, / [На вид] как будто ему [уже] два года, / Как сталь его тело твердо»¹⁹.

В этом варианте, наиболее фантастическом, рождение Карагеоргия целиком и полностью списано из южнославянской фольклорно-языческой традиции, запечатленной в эпических народных песнях о юнаках, гайдуках и т. п., например, уже упомянутых — Змай—Огненном Вуке и М. Обиличе. Вероятно, те варианты, в которых доля традиции меньше, сложились позднее, благодаря литераторам и мемуаристам, придавшим рассказу о рождении Карагеоргия элементы реализма и пророческий смысл. Хотя, возможно, присутствие в доме родителей Карагеоргия турка — это тоже фольклорный сюжет, использованный в анонимной среде повстанцев — творцов легенды о непобедимом предводителе. Впрочем, и песню Оточанина необходимо рассматривать как более позднее вплетение трафаретных представлений о появлении на свет «змеевича» (см. ниже) в те обрывочные рассказы, которые сохранились в народной памяти в связи с рождением Карагеоргия.

В. Я. Пропп, посвятивший специальную статью мотиву чудесного рождения, сопоставил сюжеты сказок с другими фольклорными и мифологическими материалами и пришел к однозначному выводу: «„Чудесное рождение“ есть признак героя. Он рождается для спасения и избавления»²⁰. Правда, Пропп не использовал в данной статье южнославянские материалы. Не рассматриваются там и чудесные знамения, сопровождающие сам момент рождения. Зато в конце статьи выдвигается интересная гипотеза, объясняющая быстрый рост героя — Карагеоргий, согласно песне Оточанина, вскоре после рождения выглядел уже как двухлетний ребенок. По воспоминаниям Я. Джурича, «Карагеоргий возрастал опережая и всяко превосходя ростом, умом и храбростью многих старше себя...»²¹. Разумеется, всего этого Джурич помнить не мог, поскольку познакомился с Карагеоргием несколько позднее. Это свидетельство должно быть отнесено к народному преданию. «Герой рождается взрослым, — поясняет Пропп, — с одной стороны, именно как герой избавитель, в момент беды, с другой стороны — как возвращенец из мира умерших. Утроба женщины для него — своего рода врата жизни, сквозь которые он возвращается. <...> Он (герой. — М. Б.) рождается в момент беды и сразу же берется за дело освобождения. Он рождается взрослым, потому что он взрослый, вернувшийся с того света. Но так как женщина не может родить взрослого, появляется мотив превращения ребенка во взрослого, которое в сказке представляется как необычайно быстрый рост»²².

Если признать гипотезу Проппа достаточно убедительной, то легендарный Карагеоргий в контексте тех функций, которые ему приписывает фольклорная и литературная традиция, должен рассматриваться как реинкарнация Милоша Обилича, Змай—Огненного Вука и многих других героев сербского фольклора, которые вели борьбу против турок. Все эти образы восходят к одним и тем же глубоко архаическим представлениям, что подтверждают и современные исследования эпического наследия.

Разработка проблемы фольклор и действительность была продолжена учениками Проппа, и в частности Б. Н. Путиловым. Соглашаясь с другими исследователями (Е. М. Мелитинским), выделившими четыре типа эпического творчества — мифологический, архаический, «классический», поздний, — Путилов указал на сохранение некоторых элементов ранних этапов развития эпоса и их «стадиально-семантическое переименование» в последующих фазах: «Сверхчеловеческие возможности их (богатырей и юнаков. — М. Б.), фантастическая сила, иногда — неуязвимость для оружия и другие необычные качества обличают их древнее происхождение, заставляя нас искать их предков среди персонажей мифологии и архаической эпики»²³. Все это целиком и полностью относится и к Карагеоргию как герою позднего эпоса — наследнику прежних («классических») юнаков.

В качестве одного из архаических образов, используемых в «классическом» эпосе у Путилова назван образ Змея. «Необыкновенность, заложенная в самой природе героя, может проявляться уже в обстоятельствах его рождения, — указывает исследователь, следуя за реконструкцией Р. Якобсона. — В [восточно]славянском эпосе наиболее яркий пример — чудесное рождение Волха, зачатого княгиней от Змея. В эпосе южнославянском ряд персонажей принадлежит к „Змеевичам“, т. е. к потомкам Змеев»²⁴. Образ Змея (Змая) двойится в фольклорном сознании. С одной стороны, он вступает в борьбу с разного рода демонами — [х]алами, насылающими на поля бури и град, защищает мирные посевы, выполняет охранительную функцию, однако, с другой стороны, он и сам является демоном, способным, например, вызывать засуху. С одной стороны, дети, рожденные от Змея («змеевичи»), становились «юнаками или людьми, обладающими необыкновенными, но положительными свойствами...»; с другой — он наводит порчу на девушек и женщин, в результате «свадьбы» со Змеем девушка может и умереть, отсюда всевозможные заговоры и обереги, предохраняющие от подобного «общения»²⁵.

Амбивалентность образа Змея объясняется развитием фольклорной традиции, способной сохранять следы более ранних этапов ее бытования в сравнительно поздних²⁶. Как пишет, используя

собственно эпический материал, воспитанник «школы Проппа» Б. Н. Путилов, «стадиально-семантические перекрещивания придают многим образам эпоса, ситуациям мотивировкам многозначительность, глубину, странность сочетаний»²⁷. Архаический или даже мифологический Змей — это божество-медиатор, посредник между стихиями (небом и землей, огнем и водой), между верхом и низом, сторонами света и направлениями движения, между миром мертвых, живых и силами природы. Это уровень представлений космогонического мифа. С развитием этих представлений в земледельческих культурах образ Змея абсорбирует в себя враждебность слепой стихии, сил хаоса, в большей или меньшей степени тяготея к Абсолютному Злу²⁸. Как уже отмечено выше, в южнославянской архаике Змей сохраняет акцентированную амбивалентность, в отличие, например, от восточнославянского фольклора, где он — Абсолютное Зло²⁹. Возникает мотив змеборчества, в которое вступает «культурный герой», воспринявший силу от Змея — полузмей и получеловек. Отсюда — двойственность отношения к самому Змею. Абсолютное Зло ассоциируется с [х]алами и прочими демонами. В «классический» период развития эпоса функции «культурного героя» переходят юнакам-«змеевичам»³⁰. Разумеется, здесь намечен лишь один из многих вариантов эволюции мифологических представлений, позволяющий проследить генезис легенды о рождении Карагеоргия и связанные с ней смысловые коннотации.

Как отмечают исследователи мифа, фольклора и эпики, мотив змеборчества тесно связан с культом верховной светской власти, воспринявшей сакральную силу и установившей порядок из хаоса³¹. Не случайно, по южнославянским поверьям, при рождении «змеевича» мать ребенка должна ночью выйти нагой на крышу дома и крикнуть: «Слушайте, люди! У меня родился маленький царь на земле!»³². В легенде о рождении Карагеоргия, записанной ранними литераторами и мемуаристами, этот обычай переосмыслен и преподносится как предсказание соглядатая-турка. В одном из вариантов: «Марица, ты не сына родила, но господаря».

Световые знамения, сопровождавшие момент рождения Георгия, таким образом, тоже следует рассматривать как окультуренные в литературных текстах элементы народных представлений о «змеевиче». Согласно им, Змей ассоциируется со звездами, метеорами, радугой; во время полета он может выглядеть как огненная масса, светящаяся или падающая звезда, огненная дуга и т. д. Месяц, просиявший, по версии П. Йокича, у новорожденного Георгия между лопаток — это знак Змея, печать принадлежности к «змеевичам».

Некоторую роль в становлении легендарной биографии Карагеоргия, предположительно, сыграло и само его имя — Георгий, напоминающее о св. Георгии Победоносце, знаменитом змеборце

народно-христианских преданий³³. Правда, в Сербии славу Георгия-змееборца могли затмевать эпические юнаки — «змеевичи», хотя бы тот же Змай—Огненный Вук, ну и конечно же Милош Обилич, но их ипостаси не противоречили друг другу, а напротив — сливались, восходя к одному и тому же архаическому прототипу³⁴. Сам Карагеоргий культивировал почитание св. Георгия, отмечая именины и день собственного рождения одновременно в Тополе в шумных компаниях предводителей восстания и членов Совета. Вукичевич склоняется к тому, что Карагеоргий родился в День памяти св. Георгия (осенний) 3 (14) ноября³⁵. При этом он ссылается на сообщение русского агента К. К. Родофиникина: «...к Георгиевудню я был приглашен к Черному Георгию в деревню расстоянием отсюда во сто верст праздновать день его рождения и именин»³⁶. Однако из этого сообщения не следует, что Карагеоргий родился именно 3 ноября. Возможно, он сам либо ранее его родители лишь приурочили к этому дню собственно празднование. Возможно иначе — одна дата следовала за другой. К тому же празднества у Карагеоргия растягивались, как правило, на несколько дней.

Кстати, с годом рождения Карагеоргия тоже нет ясности. Я. Джурич, секретарь верховного вождя, ссылается в начале своих записок на воспоминания 80-летнего старца из Тополы, который якобы «...знал все дела Карагеоргия от рождения в 1766 г. и до 1813 г...». Однако уже на следующей странице тот же автор сообщает нам, что «Карагеоргий родился около 1752 г. в селе Вишевци, декабря месяца 21...»³⁷ Другой современник и товарищ Карагеоргия Г. Пантелич рассказывает: «Георгий старше меня на полных 8 лет, а мне было 14 в Кочину крайну (я бы сказал, что ему должно было быть больше, т. е. он выглядел старше. — М. Б.)»³⁸. Учитывая, что Кочина крайна — антитурецкое движение в Белградском пашалыке во время австро-турецкой войны — происходило весной — летом 1788 г., путем нехитрых подсчетов получаем тот же 1766 г. в качестве даты рождения Карагеоргия. П. Йокич дает самую позднюю дату — 17 ноября 1751 г.³⁹ Разница составляет уже целых 15 лет. Вукичевич, ссылаясь на Джурича, называет 1752 г., отметая 1762 г., указанный в книге К. Н. Ненадовича, как ничем не обоснованный⁴⁰. Однако, что странно, он оставляет вовсе без комментариев свидетельство Г. Пантелича. Путаница с датой рождения Карагеоргия затрудняет реконструкцию его начальной биографии⁴¹. Относящиеся к ней эпизоды с трудом размещаются на хронологической шкале, а потому приобретают исключительно легендарный смысл. Они могли происходить «всегда» или никогда.

Свидетельства о детстве Георгия очень скупы. Они целиком и полностью соответствуют трафаретным представлениям о вожде-спасителе, и потому, очевидно, так же легендарны. По рассказу

П. Йокича, маленький Георгий никогда не играл в иные игры, кроме как стрелял из пистолета, сделанного собственными руками из бузины. В селе, где рос Георгий, было еще два ребенка, которые всегда собирались вокруг него: «...ибо то чудо было, что все дети (правда, их было только двое. — М. Б.) хотели с ним играть»⁴². Дар вести за собой, таким образом, проявился уже тогда.

К легендарным, во всяком случае, отчасти, относится эпизод первого убийства, совершенного Карагеоргием. О нем с многочисленными подробностями поведал Я. Джурич⁴³. Когда Георгий подрос и «начал носить оружие», он нанялся к некому Новку из Жабара пасти свиней. Все произошло у моста через р. Курбшницу, где проходила дорога из Белграда в Крагуевац. Рядом с мостом близко к реке подходили заросли леса. Утомленный ходьбой, Георгий решил отдохнуть у большого ветвистого дуба и вскоре заснул. Во сне в ярком сиянии, осветившем все вокруг, ему явились Святой Король Студеницкий и с ним Архангел Гавриил, благовестивший святой Богородице о рождении спасителя; «сердце и душа его (Георгия. — М. Б.) тряслись от страха». Оба лика быстро исчезли, зато Георгий услышал голос: «Слушай и храбрись, юнак, с нами Бог! Плохо и туго довольно уж было, а ты, если имеешь твердую надежду на Бога, победишь врага, а храбрость может быть с божьей волей соединена (содружена). Сегодняшний день придаст решимости и укрепит силу твою и дух твой и направит, куда следует идти, чтобы искать остатки святых ваших сербских. И требовать там помощи и спасения под благочестивым скипетром, коей верует в распятие Христово. Очнись от сна!» Когда Георгий открыл глаза, он услышал рев свиней, лай борзых, увидел конного турка, который топчет его стадо и стреляет по свиньям из пистолета. Георгий незаметно прокрался к мосту, спрятался за широкий клен и одним выстрелом убил турка. Он упал с коня — мемуарист использует яркий фольклорно-поэтический образ — как «капля воды». Избавившись от тела, утопленного в омуте, и от коня, спрятав одежду и оружие турка, Георгий под покровом ночи вернулся в отчий дом в Загорицу. Кто убил турка, так и не выяснилось, тем более что он был янычар — перекати-поле.

Если само убийство турка, решившего потравить стадо заснувшего пастуха (а он оказался не прост!), и имело место в действительности, то этого было недостаточно для легендарной биографии. В рассказе Джурича убийство турка приобретает значение акта инициации. Георгий получает санкцию высших сил — индульгенцию за пролитие крови, ему надо только сделать первый шаг. Неслучайно явление Георгию сразу двух фигур — евангельского архангела Гавриила и сербского святого-правителя, вошедшего в эпический репертуар как символ сербской государственной традиции⁴⁴. Георгию

предстоит сыграть роль мессии — спасителя сербского народа, который возродит державу Неманичей, ведь все его предназначение, вся его грядущая жизнь, если верить «гласу с небес», — это поиск и обретение сербских святынь.

П. Йокич повествует о том же эпизоде несколько иначе⁴⁵. Быть может, намеренно он попытался сделать свой рассказ более реалистичным. Георгий пасет собственное стадо — несколько коз и свиней. Сон и чудесное предсказание в рассказе Йокича вовсе отсутствуют. Приводятся новые подробности — количество собак у напавшего на стадо турка: три охотничьих и одна борзая. После убийства — его детали соответствуют рассказу Джурича — Георгий якобы обратился за помощью к мельнику Пантелию (отцу Г. Пантелича, который в своих воспоминаниях об этом эпизоде почему-то не упоминает). Тот дал Георгию одну меру жита, чтобы приманить разбежавшихся свиней. Тело убитого было разрезано на части и спрятано в дупле полого дерева. Оружие, одежда и конь турка отданы «разбойнику и вору» Фарзли-баше из Паланки, у которого Георгий ранее служил конюхом. Миличевич в своем сборнике использует версию Йокича, как более реалистичную⁴⁶. Но главное — это убийство уже не первое. Ранее, находясь на службе у Фарзли-баши, Георгий убил как минимум двух турок. Правда, тогда он это делал по указке другого турка — своего хозяина, — так что оттенок инициации путем кровопролития сохраняется и в рассказе Йокича.

Конечно, самый известный эпизод из ранней биографии Карагеоргия — это эпизод отцеубийства. Вот как он описывается в воспоминаниях Г. Пантелича. Мемуарист утверждает, что неоднократно слышал об отцеубийстве из уст самого Карагеоргия⁴⁷. Вскоре после свадьбы Георгия и Елены из Маслошева мать стала допекать сына: «Сын мой Георгий, ты женился, а придет турок Мула Хусейин, нас отправит куда-нибудь, а с молодой сделает, что захочет; ты же, сын, что достиг такой силы и такого молодчества, не сможешь стерпеть, но убьешь его, так что схватят тебя и пропадешь ты. Бежим прежде зла, бежим в Австрию». Собрав весь свой нехитрый скарб, семья Карагеоргия отправилась в путь. Мула Хусейин отправил четыре группы по два-три человека в погоню за ними, но среди той группы, которая шла по следу беглецов, как раз оказались добрые приятели Георгия. Более того, один из них — «спрежник» (напарник) Георгия Илия — передал ему «тоску» (албанское ружье), чтобы в случае необходимости он мог обороняться. Наутро после ночлега вблизи Стойника отец Георгия Петар вдруг заупрямился: «Пойдем назад, откуда пришли. Куда ж мы в Австрию, когда нет денег, а в Австрии нужно иметь деньги; давайте возвратимся». Он повернул и пошел назад. Мать Георгия Марица пыталась его остановить, но ничего не помогло. Георгий сидел и молчал как в ступоре, не мог пошевелиться,

но когда он увидел, что отец твердо намерен повернуть назад, все же произнес: «Вон уходи, уходи же». Мать же не унималась никак. Обнажив грудь («извади недра»), которой вскормила своих детей, она взмолилась: «Сын Георгий, пускай сгниет в тебе молоко мое («сапрела те моја [х]рана»), если не убьешь его». Георгий поднял ружье и выстрелил: отец замятво упал на землю. Сразу отправились путь. Затем, когда уже смеркалось, Георгий вместе с проводником возвратился на место убийства, закопал тело у ручья и велел одному человеку из Стойника поставить надгробный камень, заплатив ему, что и было сделано. Пантелич добавляет, что Марица с семьей после переправы через Саву отправилась в Срем, в Крушедол, где Георгий был лесником при монастыре два года, иногда навещая родные края и гостя у мельника Пант[елия] — отца мемуариста — в Загорице.

Среди всех элементов повествования Пантелича об отцеубийстве, безусловно, выделяется сцена, как будто списанная из литературного источника (скорее всего, действительно заимствованная из песен о юнаках), та сцена, в которой мать закликает сына собственным молоком, призывая убить мужа и отца своих детей. Характерна для фольклора и такая деталь: Георгий получает орудие убийства из рук своего близкого товарища. Показательна также забота Георгия о могиле убиенного отца. Герой оказывается орудием высших сил, он только невольный исполнитель их воли. Его великое предназначение оправдывает любой поступок, превращающийся в очередное испытание. И наоборот, всякое преступление приобретает не вполне понятный, недоступный человеческому уму, но высокий смысл, соотносящийся с трансцендентальным замыслом его биографии. Однако, кажется, рассказ Пантелича, с которым солидарны и другие поздние мемуаристы⁴⁸, несколько профанирует эту эпическую ситуацию, перенося всю ответственность за отцеубийство на мать Георгия Марицу.

История с отцеубийством имела широкое хождение во времена восстания 1804–1813 гг., являясь, пожалуй, главным номером в репертуаре легенд о Карагеоргии. В России о ней рассказал будущий историк, а в то время двадцатилетний романтически настроенный юноша Д. Н. Бантыш-Каменский. Получив по протекции отца, управляющего Московским архивом Коллегии иностранных дел, поручение доставить в Сербию из России святое миро, летом 1808 г. он побывал в Белграде, где имел беседы с К. К. Родофиникиным, митрополитом Леонтием, М. Миловановичем и другими членами сербского Совета⁴⁹. Свои колоритные впечатления он изложил в путевых заметках, написанных в виде писем, не лишенных литературного таланта и опубликованных два года спустя. Образцом формы произведения для автора могли служить «Письма русского

путешественника» Н. М. Карамзина, который в свою очередь отталкивался от Л. Стерна.

Стоит заметить, что рассказ Бантыш-Каменского стал основным источником сюжета в стихотворении А. С. Пушкина «Песня о Георгии Черном» из цикла «Песни западных славян» (1834). Пушкин прибавил к самому сюжету лишь некоторые емкие и красноречивые детали: «Не два волка в овраге грызутся, / Отец с сыном в пещере бранятся». История Карагеоргия и его семьи была изложена также в статье П. П. Свинына «Письмо брату из Хотина»⁵⁰, прочитанной поэтом.

По приписке на пушкинской рукописи и по воспоминаниям И. П. Липранди следует заключить, что поэт мог слышать эту легенду от сербских эмигрантов в Кишиневе, в то время, когда было написано другое стихотворение — «Дочери Карагеоргия» (1820)⁵¹. После отцеубийства в тексте Пушкина следует диалог, не зафиксированный в других источниках: «Сын бегом в пещеру воротился; / Его мать вышла ему навстречу. / „Что, Георгий, куда делся Петро?“ / Отвечает Георгий сурово: / „За обедом старик пьян напился / И заснул на белградской дороге“». Здесь же дается авторское примечание: «По другому преданию, Георгий сказал товарищам: „Старик мой умер; возьмите его с дороги“». Эта реплика также не получила отражения в мемуарной литературе. Однако это вовсе не является основанием списать ее, как и стихотворный диалог, на авторский вымысел. Более того, следует считать текст Пушкина важным источником, сохранившим варианты легенды об отцеубийстве⁵².

Но вернемся к книге Бантыш-Каменского. Перед самым повествованием о Карагеоргии автор путевых очерков жалуется, что не застал сербского вождя в Белграде, поскольку тот в это время находился в Тополе: «Я хотел было ехать к нему туда, но мне отсоветовали, уверяя меня, что я увижу перед собою одного токмо грубого человека, без всякого воспитания, от которого не добьюсь не одного слова...»⁵³. Скорее всего, такую характеристику Карагеоргию дал Родофиникин. Он высказывался о сербском вожде примерно в том же духе. Бантыш-Каменский услышал легендарную биографию Карагеоргия в отрывках от разных лиц, вероятно, главным образом, от того же Родофиникина, который мог изменить последовательность эпизодов и исказить некоторые детали⁵⁴. Так же вероятно, что и сам автор заметок, повинувшись литературной интуиции, по собственной прихоти раскрасил бегло обрисованный и манящий загадкой портрет экзотического героя. Вот что у него получилось.

«Однажды попался ему (Карагеоргию. — М. Б.) на дороге турок, который требовал от него, чтоб он посторонился: оба они были верхами, и оба одушевлены одинаковою гордостью. Турок, видя упорство серба, вынимает свой пистолет, хочет застрелить его; но Черный

Георгий предупреждает его намерение. <...> Черный Георгий оставляет свое отечество и удаляется в австрийские владения. Ему было в то время только осьмнадцать лет. Он вступает в Австрийскую службу солдатом, дослуживается до сержанта, но и тут новое несчастье... Капитан того полку... хотел наказать его за сделанный им поступок; Черный Георгий убивает его и скрывается в своем отечестве». Здесь он делается «начальником разбойников». Смерть следует об руку с ним — «женщины, старики, младенцы, одним словом — все соделываются его жертвами...».

Далее в изложении Бантыш-Каменского следует, по-видимому, реминисценция «сечи кнезов», ставшей поводом к восстанию 1804 г. Турки подготовили расправу над 26 сербскими «военачальниками» и одним архимандритом. Опасность угрожает, кроме прочих, Карагеоργию. «Со всех сторон стекаются сербы к Черному Георгию; один токмо престарелый отец, живший с ним до того времени, хочет его оставить — упрекает его в чинимых им убийствах, в пролитии невинной крови и в неминуемой гибели, угрожающей всем соотечественникам. Он хочет идти к туркам, предать им своего сына и всех его соумышленников. Тщетно Георгий умоляет его, он не внемлет его представлениям — отправляется в Белград. Черный Георгий следует за ним — в последний раз просит его воротиться; старик упорствует в отказе — и наконец сын находит себя принужденным застрелить отца своего!!!»⁵⁵

Итак, по версии Бантыш-Каменского (его информаторов), отцеубийство явилось венцом кровавой биографии Карагеоργия как гайдука — разбойника с большой дороги. Судя по всему, оно приурочено к кануну восстания. Карагеоργий предстает подлинно романтическим героем, обуянным нечеловеческой гордостью и жестокостью. Несмотря на то, что он повсюду сеет смерть и ему самому грозит почти неминуемая гибель, к нему стекаются (если не *все*, то «со всех сторон») сербы — его воля притягивает как магнит. Получается, что Карагеоργий стоит перед выбором между *отцом* и *соотечественниками*. Путь к убийству открывается благодаря предательству, которое готовит его родитель. Последний оправдывает свое намерение моральной правотой — необходимостью противостоять злу, которое олицетворяет родной сын. У Карагеоργия — его правда выше морали, поскольку за ним идут люди, — руки оказываются развязанными: грех отцеубийства уравнивается «иудинным» грехом. Убивая отца, сам Карагеоργий превращается в отца отечества. Конечно, это всего лишь одно из возможных прочтений истории, рассказанной русским путешественником, логическое развитие того прочного сплава эпических и романтических интенций, который лежит в ее основе.

Тот же мотив предательства использован и в другой версии рассматриваемой легенды, которая была рассказана во второй части «Сербиянки» С. Милутиновича (1826), с той только разницей, что на месте отца Карагеоргия оказывается его отчим. Милутинович сообщает, что после смерти отца Георгия его мать вторично вышла замуж за жителя села Топола, «старейшиной этого села бывшего»; именно он вместе с другими сербами решил «в Австрийскую землю переметнуться / для безопасности себя и своей родни». Но в дороге, испугавшись трудностей, стал уговаривать родственников вернуться назад — к прежней мирной жизни, а когда они отказались, пошел на шантаж, обещая отправиться в Белград и донести на них туркам. Трижды Георгий уговаривал его одуматься: «Остановись, отец! Куда ты собрался?» Все тщетно. Георгию не оставалось ничего другого как выстрелить ему в спину. Убийство нелегко далось Георгию. Он «обесчувствовал», «все презрел и самого себя». Далее поэт оправдывает своего героя: «Это ужасно („гнусно“), но необходимо, / <...> / и это меньшее из двух зол». Убийством отчима—отца объясняется, как и во многих других версиях легенды, прозвище, полученное Георгием: «С тех пор Черный или же Строгий / Прозываться ему до века, / Так и турки на языке своем / Из-за чудесно удачных боев, / Где их всюду стал побивать, / Назвали его Кара, то есть Черный, / Карагеоргий — вечно знатное имя»⁵⁶.

Стилизованный под песенный эпос рассказ Милутиновича имеет к нему на самом деле довольно отдаленное отношение. Сверхзадача автора, в жертву которой приносятся многие детали, — это оправдание Карагеоргия. От фольклорной традиции сохранилось разве что троекратное обращение с просьбой к отчиму поменять решение. В целом же легендарный рассказ подвергнут капитальной рационализации (отчим предстает одновременно как провокатор, шантажист и предатель), а также психологизации — отсутствующий в других вариантах легенды фрагмент описывает мучительные переживания Георгия, которые призваны стерилизовать ужасное преступление. Возможно, по мысли Милутиновича, и то, что Карагеоргий убил не отца, а отчима, должно было, хотя бы отчасти, оправдать его в глазах читателя.

Дискуссия о том, кем же являлся убитый Карагеоргием во время бегства в Австрию человек — его отцом или отчимом, была начата еще современниками восстания. Оппонентом Милутиновича выступил, как ни странно, его товарищ В. С. Караджич. В конце 1820-х гг. он вместе с немецким историком Л. фон Ранке работал над книгой о восстании, которая впоследствии была опубликована по-немецки под именем одного Ранке и с названием «Сербская революция», а затем переведена на многие европейские языки. В ней приведена очередная версия отцеубийства, а в примечании сказано:

«Один из ближайших знакомых Карагеоргия сообщал нам, что это был действительно отец его, а не отчим, как говорили прежде, напрасно думая тем смягчить поступок Георгия»⁵⁷. Событие отнесено к 1787 г. Накануне Кочиной крайны некоторые сербы, не дождавшись появления австрийцев, опрометчиво поднялись на борьбу и вынуждены были спасаться бегством от гнева турок. Бежал и Георгий вместе с отцом. На полпути он стал убеждать сына, что надо сдаться на милость властям: «Старик, *подобно многим другим сербам* (курсив мой. — М. Б.), лучше желал покориться туркам...» Поскольку сын не согласился, отец хотел отправляться назад один. «Нет, — вскрикнул Георгий, — я не потерплю, чтобы турки уморили тебя медленной смертью; лучше умри теперь от моей руки».

В ближайшей деревне он подарил селянам все свое стадо, велел им похоронить тело и выпить за помин души. Таким образом, Карагеоргий расстался не только с отцом, убийство которого было продиктовано суровым милосердием, но и с мирной жизнью. Отец олицетворяет привычную покорность, а его сын — готовность идти до конца, разрыв с традицией. Он не такой, как «многие другие сербы» — лучше, сильнее и смелее их. Подобная мотивировка отцеубийства более нигде не повторяется, хотя она гораздо ближе по духу эпосу, нежели построения Милутиновича.

С приходом к власти династии Карагеоргиевичей в 1840-е гг. настало трудное время для Караджича, которому пришлось отбиваться от нападков апологетов верховного вождя. Полемизируя с М. Светичем (Й. Хаджичем) в 1844 г., Караджич вновь настаивал на той версии событий, которая рассказана с его слов в книге Ранке. Здесь он раскрыл имена своих информаторов⁵⁸. Караджич считал собственную версию отцеубийства единственно верной, поэтому разразился гневной филиппикой против тех, кто пишет историю «за талеры» или «из вражды» («за инат»), «мешая басни с историей», т. е. против Светича, который, в свою очередь, отвечая на эти обвинения в «Утуке II», сослался на свидетельство вдовы Карагеоргия Елены⁵⁹. Пересказывая разные варианты скандализированной легенды — «басни», по презрительному определению сербского просветителя, — и Караджич, и Светич, и, тем более, их информаторы были искренне убеждены, что именно они владеют самым достоверным известием о том, *как это было*.

Кто больше осрамил имя верховного вождя? — риторически вопрошал Караджич в упомянутой отповеди. Разоблачая своего оппонента, он сравнивает два варианта одной истории в нравственном отношении: «...по моему рассказу, отец Карагеоргия был почтенный человек, и он хотел возвратиться только потому, что ему было жаль [покидать] родные места, да и Карагеоргий был почтенный сын, который отца убил в ярости и из любви, чтобы его турки

не мучили, да и мать остается почтенной, будучи о ней и не вспоминаем. Согласно же рассказу г. Светича, непонятно, то ли хуже всех отец, который пошел предать своего сына, свою жену и других родственников туркам, то ли мать, которая могла приказать сыну убить мужа, то ли сын, который после долгого раздумья приказывает другу своему то учинить. Вот уж действительно, как русские говорят: „Услужливый дурак опаснее врага“». Итак, с точки зрения морали, личной репутации Карагеоргия и его семьи предпочтительнее оказывается версия Караджича. Значит ли это, что остальные свидетельства не имеют под собой, нет, не правды «факта», но правды эпоса? Вернемся чуть позже к этому вопросу.

Вновь тема отцеубийства была поднята уже в начале XX в., когда у власти в Сербии опять оказалась династия Крагеоргиевичей. В первом томе исследования, посвященного ее основателю, М. Вукичевич задался целью доказать, что убитым был вовсе не отец, а отчим Карагеоргия⁶⁰. Во-первых, историк указал на различие в именах, имеющиеся в источниках. Имя Петар Вукичевич приписал отцу Карагеоргия, а имя Петроний — сменившему его отчиму. Во-вторых, среди свидетельств современников Вукичевич выделил особо мнение С. Милутиновича. Он, находясь в Бесарабии с 1821 по 1825 гг. среди рядовых участников и воевод сербского восстания, «мог узнать многие подробности из жизни Карагеоргия и уточнить то, что слышал о Карагеоргии и что видел сам, пока был писарем в Правительствующем совете и добровольцем на Дрине с 1807 по 1813 гг.». Впрочем, другие литераторы, мемуаристы и первые историки восстания, опровергающие свидетельство Милутиновича, также имели информацию, полученную «из первых рук». В-третьих, используя местные предания и косвенные данные, Вукичевич попытался доказать, что отец Карагеоргия был убит в результате карательных действий турок, предпринятых в ответ на активизировавшуюся австрийскую агитацию, между 1781 и 1784 гг. Когда на пасху 1786 г., как утверждает Вукичевич, семья Карагеоргия отправилась в австрийские земли, его отец уже как минимум два года лежал в могиле. Слабая сторона предпринятой реконструкции заключается в том, что она не опирается ни на один письменный, достаточно достоверный источник.

Наконец, и это, пожалуй, самый убедительный аргумент, Вукичевич обратил внимание на следующее противоречие. По всем мемуарным свидетельствам отец Карагеоргия был гол как сокол, часто переселялся с места на место, жил на турецких пасеках. Что же касается эпизода отцеубийства, то согласно многим вариантам этой истории (Караджич—Ранке, Джурич, Пантелич, Йокич), отец хочет повернуть назад только потому, что ему жалко бросать имущество, землю, родные места. «По всему тому выходит, — делает

вывод Вукичевич, — что выше представленные воспоминания не относятся к убийству отца Георгия *Петра*, но отчима *Петрония*, который был родом из Тополы, никогда не покидал родного села, имел свой дом и свою баштину (а баштина есть имущество, унаследованное от отца) и которому могло быть действительно жаль оставить свой дом, баштину и родные места, у которого к тому же, как у отчима, бог знает насколько болело сердце за своих пасынков. Он мог и грозить предать их туркам и требовать, чтобы они возвратились назад. То, что его, по рассказам мемуаристов, Карагеоргий называл отцом, неудивительно, ибо отчим еще и теперь со стороны пасынков так называется»⁶¹. Иными словами, если несколько утрировать мысль Вукичевича, этот отчим был, судя по всему, жадный и ограниченный деревенский мироед, готовый ради клочка земли, дома, в котором, кстати, жил потом Карагеоргий, ради сытой и спокойной жизни пожертвовать чем угодно, хотя бы и родственниками новой жены. Убить такого негодяя вовсе не грех. Георгий действовал в пределах допустимой самообороны, спасая не только себя, но и всю свою семью. У него просто не было выбора.

Оправдательная логика доказательств, приводимых Вукичевичем, вполне очевидна. В его изложении эпос подгоняется под бытовую реальность, вырождаясь в банальную семейную распрю, такую грязную, что о ней совестно вспоминать — это же мать Карагеоргия, женщина сильная и решительная, выбрала себе подобного мужа, прямо или косвенно принудив сына к убийству, — наблюдение, сделанное в свое время и при других обстоятельствах еще Караджичем.

Неудивительно, что тема отцеубийства, совершенного или не совершенного Карагеоргием, оказалась закрыта, тем более что династия, основоположником которой он стал, надолго утвердилась у власти с Сербии, а затем и в Югославии (Королевстве сербов, хорватов и словенцев). Если историки просто не затрагивали эту тему, то литературоведы, писавшие о пушкинских стихах (Трубицын, Муравьева, Медриш), плохо знакомые с источниками и литературой на сербском языке, представляли вовсе не бесспорное мнение Вукичевича как безукоризненно доказанный исторический факт.

«Нельзя утверждать, что Пушкин это (то, что в действительности был убит отчим. — М. Б.) знал (хотя мог и знать, так как общался с друзьями Карагеоргия), — указывает, например, Муравьева, — но, во всяком случае, о стремлении к достоверности говорить трудно», более того, «...сюжет „Песни о Георгии Черном“ — пушкинский, а не фольклорный по своему существу, и потому допустимо искать аналогии в пушкинском творчестве»⁶². Здесь имеет место и незнание, и лукавство. Во-первых, «друзья Карагеоргия» по-разному

рассказывали эту историю и в большинстве своем говорили именно об убийстве отца, а не отчима. Во-вторых, сама Муравьева несколькими страницами ранее сообщала, соглашаясь с Трубицыным и Благим, что сюжет отцеубийства заимствован «по существу» у Бантыш-Каменского, а он в свою очередь использовал сербское предание⁶³.

«В действительности Георгий убил не отца, а отчима, — писал обратившийся к теме «рокового выстрела» уже в 1990 г. другой отечественный исследователь Д. Медриш; если на этот счет у кого-нибудь и оставались сомнения, то они окончательно рассеялись после того, как М. Вукичевич опубликовал свое исследование о Карагеоргии⁶⁴. Доказательства Вукичевича, их смысловой посыл и предшествующую полемику по этому вопросу Медриш не анализирует.

Напротив, исторический романист и биограф русских писателей Ю. Лошиц, проигнорировав доказательства Вукичевича, с исследованием которого он, наверное, был знаком, поскольку прекрасно владеет историческим материалом, занял противоположную позицию, близкую моралистической аргументации Караджича. Во вставной главе романа «Унион» (1992) писатель, говоря об истории с отцеубийством в изложении Ранке-Карджича, замечает: «...во вспышке сыновнего гнева, приводящего к непоправимому исходу, <...> просвечивает щемящая жалость: из-за него турки подвергнут старика мукам. Эта непонятная современному сентиментально-пацифистскому сознанию жалость — свойство последних людей эпических времен. Жестокая жалость великой мужественной любви». В отличие от Караджича Лошиц признает достоверность и другой версии событий, в которой инициатором убийства выступает мать Георгия: «Тогда народ еще жил эпической жизнью, и такое было в порядке вещей, хотя случалось, может, раз в жизни человеческой. Эти события, благодаря народному эпическому осмыслению, уже при жизни Георгия как бы не принадлежали ему, но стали неотделимой частью всей старой истории Сербии»⁶⁵.

Сопоставление всех заявленных точек зрения выявило одну общую для многих, если не для всех, авторов ошибку — смешение двух изначальных вопросов, стоящих перед исследователем данного сюжета. Первый: какие версии рассказываемой истории имеют отношение к реальности — полностью или частично, — а какие нет. Второй: какие варианты сюжета должны быть отнесены к анонимному фольклорному творчеству, а какие есть результат литературных, исторических и собственно идеологических интерпретаций или даже сознательных спекуляций заинтересовавшихся этим сюжетом творцов. Только строгое разведение этих двух сторон проблемы позволит нам продвинуться вперед, чтобы задаться и некоторыми

другими вопросами, касающимися уже не происхождения, а сущности рассматриваемого сюжета.

На первый вопрос ответить более или менее однозначно, пожалуй, нет никакой возможности. Причин тому несколько. Прежде всего, отсутствуют письменные свидетельства очевидцев произошедшего. Ссылки на устные свидетельства самого Карагеоргия (его вдовы) ведут в противоположные стороны. Возможно, эти ссылки понадобились рассказчикам и мемуаристам лишь для придания веса своим словам. Едва ли верховный вождь даже под хмельком любил распространяться об этой истории. Если он что-то и рассказывал в частных кругах, то уж точно в последнюю очередь стремился донести реальные подробности случившегося. Мог ли и хотел ли Карагеоргий идти наперекор сложившейся за ним эпической репутации? Скорее, она ему импонировала, и он шел за ней следом.

В связи с отсутствием прямых свидетельств невозможно установить точное время описываемой трагедии (вспомним к тому же расхождения относительно года рождения Карагеоргия), равно как и окружающие обстоятельства, мотивы поведения связанных с ней действующих лиц, которые в разных версиях так сильно разнятся. На зыбкой почве «чистого», потерявшегося во времени сюжета рушатся любые аргументации, включая, казалось бы, убедительный довод Вукичевича, противопоставившего бедному отцу Петару богатого отчима Петрония. Если это и разные лица, все равно невозможно сказать определенно, когда умер первый, появился и был убит второй. В конце концов, отчим мог появиться уже после убийства отца, а сопутствующая мотивация — сложиться *post factum* в народном предании, когда отчим тихо и спокойно умер своей смертью. Аргументацию Вукичевича, вопреки сложившемуся мнению, легко поставить под сомнение. Труднее, если вообще возможно, неопровержимо доказать какую-либо другую версию. Молчаливое, а в случае с литературоведами — вербализированное согласие с доводами Вукичевича лишь косвенно подтверждает это. Учитывая, что политико-династическая актуальность вопроса о том, убил Карагеоргий собственного отца или отчима, со временем улетучилась, на реальной подоплеке этой истории следует уже поставить крест⁶⁶.

Символический резонанс, идейно-смысловое звучание события, очертания которого теряются во мраке истории, оказалось гораздо более отчетливым, хотя и разноречивым, перейдя из фольклорной традиции в литературу и историографию. Фабульный отпечаток события заслонил само событие. Причина этого, на мой взгляд, отнюдь не только и не столько в том, что оно носит чрезвычайный, скандальный характер. Может ли традиционная фольклорная среда реагировать на «скандалы», как это делает образованное

«общество»? «Скандал» — это нарушение условностей «общества», а точнее — поколебленное отражение этих условностей. Предание, укоренившееся в фольклорной традиции, имеет более глубокий полифонический смысл. Он заключен в особом, прямо не названном предназначении героя предания, в той роли, которая отведена ему судьбой.

Среди литературоведов нет единства во взглядах относительно того, какую версию события следует считать собственно фольклорной, а какую — нет. О. С. Муравьева категорически отвергает фольклорное происхождение сюжета отцеубийства: «...трагический конфликт идеологического характера между отцом и сыном, завершающийся убийством, сознательным и обдуманном (!? — М. Б.), — ситуация для фольклора невыносимая. Резкое расхождение внутри одного стана борцов за национальную независимость, приводящее к отцеубийству, для патриархального сознания даже не трагедия, а катастрофа, крушение устоев жизни»⁶⁷. При этом исследовательница ссылается на монографию Б. Н. Путилова о славянской исторической балладе, которая всячески избегает нарушения кровнородственных связей, демонстрируя «торжество национального и семейного начала»⁶⁸. Между тем тот же знаток славянского фольклора неоднократно указывал на возможное сохранение в поздних этапах бытования традиции элементов предшествовавших эпох, включая элементы мифологии.

Оспорив мнение Муравьевой, Д. Медриш («версия об отцеубийстве — фольклорная по происхождению») сослался на песню, записанную в войске черногорского князя Данилы и включенную в 1862 г. в новое издание собрания песен Караджича⁶⁹. Однако здесь сюжет отцеубийства подвергся серьезной переработке, став частью другого знаменитого сюжета — о героическом сватовстве⁷⁰. Лишь в таком трансформированном виде (к тому же в смежном ареале фольклорной традиции) история отцеубийства, совершенного Каргеоргием, наконец, — в середине XIX в. — вошла в песенный репертуар. Доказать более раннее существование подобной песни не представляется возможным.

Медриш верно указал на мифологические корни сюжета отцеубийства, однако, с предложенной им реконструкцией происхождения фольклорной легенды и ее смысла согласиться невозможно: «Уже в фольклоре сложилась мифологема из трех элементов: отец и сын — донос — убийство. Реальный жизненный материал переосмысливается народным певцом в свете этого построения. Вероятно, для того, чтобы кристаллизация легенды началась, необходимо, чтобы из трех составных частей мифологемы две существовали реально. Так, сербские гусяры (а вслед за ними и Пушкин), сохранив две жизненные реалии, привнесли вымышленную третью —

превратили согласно мифологеме отчима в отца. Мифологическая цепь замыкается, и возникает повествование, осуждающее разрыв естественных человеческих связей и утверждающее принципы добра и человечности. Такова мифологизация фольклорная»⁷¹. Несмотря на расхождение в вопросе, имеет сюжет отцеубийства фольклорное или же литературное происхождение, и Муравьева, и Медриш пытаются найти в народном творчестве прямо-таки фотографическое — позитивное или негативное — отражение патриархального быта сербской деревни. Для Муравьевой подобный подход служит доказательством неприемлемости сюжета отцеубийства в фольклоре. По Медришу, легенда с этим сюжетом была создана в дидактических целях, чтобы осудить страшное преступление, утвердить патриархальные и в то же время общечеловеческие ценности. Медриш притом забывает, что Карагеоргий вовсе не относится к тому типу героя, которого фольклорная традиция решительно осуждает, напротив, он — «герой-освободитель»⁷². Впрочем, и функции мифа невозможно свести к сфере чистой морали. Миф и басня — это все-таки разные вещи.

Обратимся вновь к трудам исследователей фольклора. Уже В. Я. Пропп в классической работе, посвященной проблеме соотношения фольклора и действительности, прекрасно показал, что народное творчество «обладает специфическими законами своей поэтики, отличными от методов профессионального художественного творчества»⁷³. В связи с этим от фольклора нельзя ожидать полного «реализма» в изображении действительности, хотя, конечно, доля «реальности» и менялась от жанра к жанру с развитием традиции.

Концепция Проппа была подтверждена в исследованиях его учеников. Изучавший героический эпос Б. Н. Путилов, например, указывает: «Любая реальность истории, быта, географии, предметного инвентаря, человеческого поведения приобретает в контексте фольклора „свои“ черты, значения, характеристики, переходит в специфический эпический мир, утрачивая реально-эмпирические связи и обретая новые. Эти переходы и сдвиги характеризуют одну из существенных особенностей эпической эстетики. Реальности попавшей в орбиту эпоса уже нет обратного пути. Тем более нет выхода в эмпирическую реальность тем элементам эпического мира, которые рождены непосредственно фантазией, вымыслом, пришли из мифологии, их предшествующих состояний эпоса»⁷⁴.

Речь идет о так называемом «классическом» этапе в развитии эпоса. Но отчасти эти закономерности можно распространить и на позднюю эпическую поэму. История Карагеоргия не получила эпического воплощения как такового в виде длинной поэмы или цикла связанных песен, ведущих рассказ от его рождения до смерти. Литературная стилизация С. Милутиновича — поэма «Сербянка» — не в счет.

Многие из песен о подвигах Карагеоргия следует отнести к историческим песням. Другие предания о нем несут в себе лишь отголоски эпической традиции.

«...Эпическое творчество никогда не создает систем с вторичной (обратной) архаикой, — подчеркивает Путилов. — Этот закон носит универсальный характер: эпос, достигший форм классических, может двигаться лишь дальше — к формам поздним, но никак не назад». Однако и в поздних формах эпоса и даже, наверное, в его «осколках» сохраняются в преобразованном виде элементы мифологии и архаики. «Неизменным для эпоса является обоснование незыблемости социально-нравственного комплекса в предельно экстремальных обстоятельствах, когда испытанию подвергается существование этноса, родной земли, семьи, личности. В классическом эпосе преобладают идеи защиты народных начал жизни и морали „своего“ мира. <...> Идеологическим ядром эпоса оказываются триада: „свой“ мир / государство / город, семья — враг-захватчик — герой-защитник»⁷⁵. Все это верно для эпохи «классического» и отчасти — позднего эпоса. Сюжет отцеубийства действительно не вписывается в очерченный Путиловым «классический» треугольник. Вероятно, поэтому он не стал основой эпической песни, исторической баллады, но лег в основу предания, передававшегося изустно.

Говоря о моральном пафосе эпоса и вообще фольклора, его ценностных установках, Путилов следует по стопам Проппа. В связи с рассматриваемым сюжетом представляет интерес сравнительно недавно опубликованная в полном виде статья из архива ученого. Она посвящена жанру «легенды». По определению Проппа, «народная легенда есть прозаический художественный рассказ, обращенный в народе, содержание которого прямо или косвенно связано с господствующей религией»⁷⁶. В конце статьи исследователь рассматривает легенды, связанные с семейными отношениями: «Крестьянская мораль, выраженная в легенде, требует дружной и крепко спаянной семьи. Больше всего ее занимают отношения между родителями и детьми и отношения между супругами». Пропп, однако, замечает, что в некоторых случаях нарушитель незыблемых семейных норм и даже отцеубийца может быть не только наказан, но и прощен. Чтобы избавиться от греха, он обращается к старцу или какому-то иному лицу, который налагает на него епитимью — поливать головешку, пока она не прорастет. Грешник спасается и головешка прорастает только тогда, когда он убивает народного притеснителя (помещика, кулака, приказчика и т. д.), поскольку это «праведное дело, за которое прощаются грехи»⁷⁷. Конечно, случай с Карагеоргием нельзя отнести к жанру народной легенды, как ее понимает Пропп, это скорее историческое предание, важно другое —

по логике фольклора отцеубийца искупает вину, превратившись в народного мстителя. Тот же мотив характерен и для фольклорной репутации повстанческого вождя. Он выступает освободителем сербского народа от всех его притеснителей. Грех отцеубийства тем самым смывается, но в то же время он и обуславливает эту великую миссию.

Итак, в фольклоре отражен не узкий кругозор повседневной жизни «безмолвного большинства» или редуцированное восприятие «больших» исторических событий, в нем прессуется опыт разных поколений, разных эпох и мирозерцаний. Фольклор позднего бытования соединяет традицию прошлого с утопической перспективой, надеждой на лучшее, мотивами жертвы, искупления и избавления. Глядя в грядущее, фольклорный творец «оборачивается» на юнацкий век. Времена великих героев «возвращаются».

Карагеоргий, герой переломной эпохи, времени разложения эпоса, не мог уже действовать как классический «герой-защитник». Его функции принципиально иные, не вписывающиеся в прежнюю эпическую парадигму. Сюжет отцеубийства как раз символизирует этот разрыв и новое качество преемственности. «Герой-освободитель» призван не просто сохранить прежние ценности, отношения и связи, но пересоздать существующий мир; он вынужден попирать устоявшийся порядок вещей, нормы поведения и морали, жертвуя старым, обрекая на жертву и самого себя. Семейная трагедия, какой внешне представляется история отцеубийства, содержит значимый мифологический концепт, ампутация которого делает из нее банальный бытовой скандал со смертельным исходом. Разумеется, этот концепт является всего лишь преобразованным элементом («обломком», отголоском) большого и связного эдипова сюжета, получившего отражение и в древних мифологических системах, и в более позднем фольклоре⁷⁸.

Ранние психоаналитические (фрейдистские) трактовки эдипова сюжета давно стали притчей во языцех ввиду присущего им пансексуализма. Впрочем, уже ученик-отступник Фрейда Э. Фромм, ссылаясь на работы Бахофена, Моргана и других этнографов, опроверг мнение своего учителя и дал иную, социально обоснованную трактовку сюжета: «Главное в этом мифе — не сексуальная сторона, а отношение к власти — один из фундаментальных аспектов межличностных отношений. <...> Этот миф можно понимать не как символ кровосмесительной любви между матерью и сыном, а как символ протеста сына, восставшего против воли отца в патриархальной семье»⁷⁹. Иное, нежели Фрейд, понимание эдипова комплекса отстаивал и другой «рenegат» от психоанализа К. Г. Юнг. Один из крупнейших и уважаемых современных теоретиков П. Рикер, лояльный по отношению к классическому фрейдизму, тем не

менее, вынужден модернизировать его понимание: «...критическим моментом в теории Эдипа является стремление отыскать в изначальном образовании желаяния, в его мании величия всемогущество инфантилизма. Именно отсюда вытекает фантазм отца обладающего привилегиями, которые сын, чтобы стать самостоятельным, должен присвоить себе. Этот фантазм существа, обладающего властью и отказывающегося передать его сыну, и есть, как известно, основа комплекса кастрации, с которым связано желание умерщвления»⁸⁰. Таким образом, социальная и даже, если можно так сказать, политическая акцентировка в рассмотрении сюжета со временем стала преобладающей. Следует, однако, учитывать, как замечает Е. М. Мелетинский, что «все соответствующие обзоры [эмпирического материала] сделаны психоаналитиками, и они а priori группируют различные версии не вокруг эдипова сюжета, а вокруг эдипова комплекса»⁸¹.

Мощный стимул для рассмотрения эдипова сюжета в социально-политическом ключе был дан выходом в свет знаменитого исследования Д. Д. Фрэзера, многие страницы которого посвящены архаическим способам наследования и присвоения власти⁸². Хотя имя Эдипа сам Фрэзер и не упоминает. Используя в числе других материалы английского исследователя, В. Я. Пропп связал возникновение эдипова сюжета с наложением друг на друга и смешением в фольклорной традиции разных типов наследования власти при переходе от матрилинейной к патрилинейной общественной структуре⁸³.

В свою очередь основоположник структуралистского направления в гуманитарных науках, прежде всего в антропологии, К. Леви-Строс увидел в сюжете мифа об Эдипе бесконечно множасьуюся, пока жив миф, «бинарную оппозицию»: «Итак, мы можем отнести гипотезу Фрейда заодно с текстом Софокла к числу версий мифа об Эдипе», — в частности, заявлял он⁸⁴. Согласно этой теории, отцеубийство/инцест можно рассматривать как недооценку/переоценку родственных отношений, которые вытекают из мыслительного затруднения в преодолении идеи об автохтонном происхождении человека, появившемся из земли. При этом, однако, в словах авторитетного ученого присутствует некая доля лукавства. Во всяком случае, он оговаривается, что не стремился «...к правдоподобию толкованию мифа об Эдипе, приемлемому для специалиста»⁸⁵. Рациональным зерном в суждениях Леви-Строса следует считать указание на то, что мифическая структура способна воспроизводиться в повествовательных текстах разной степени удаленности от того, что мы привычно называем мифом.

Как уже названные, так и не названные пока авторы, главным образом, были заняты вопросом о происхождении мифа об Эдипе,

связывая его с теми или иными половозрастными, социально-политическими либо, наконец, мыслительными феноменами. Вопрос о том, какую роль данный сюжет играл в более поздней фольклорной традиции, какой смысл в него вкладывался (а он, разумеется, не мог оставаться прежним), занимал исследователей в гораздо меньшей степени. Вообще проблема влияния фольклора на развитие общественного сознания, о чем следует говорить уже в новое время, оказалась маргинализированной, поскольку ни историки, ни фольклористы не видели ее в собственной сфере интересов и списывали эту проблему друг на друга. Исключение, пожалуй, составляют лишь известное исследование К. В. Чистова, а также работы некоторых западных авторов. Так что фольклор и общественное сознание в гуманитарных исследованиях до сих пор существуют в основном только сами по себе. Тем не менее некоторые ценные замечания по поводу смысловых перспектив эдипова сюжета у исследователей мифа и фольклора имеются.

Принципиально важным для дальнейших построений является вывод, сделанный Г. А. Левинтоном на основе работ М. Перри, А. Лорда и Б. Н. Путилова, а также К. Леви-Строса: «...реальное функционирование текста связано с текстом не как с вербальной последовательностью, но как с некоторым семантическим комплексом (системой значений), реализуемым по определенным правилам... Соответственно можно предположить, что текст (даже в пределах данной традиции) всегда существовал лишь как система вариантов...». При этом «целесообразно считать пратекстом состояние максимальной конвергенции вариантов (тот этап эволюции текста, когда в нем не было вторичных расхождений), а сам пратекст — некоторой абстракцией, удобной для объяснения дальнейшей эволюции мотива». В связи с этим каждый «отдельный элемент [сюжета] получает иное значение в зависимости от того, в каком контексте мы его рассматриваем. В качестве контекста может выступать не только целый сюжет, но и отдельные его сегменты; разница в сегментации текста ведет к различию в интерпретации»⁸⁶. Подобный методологический подход освобождает нас от необходимости искать среди вариантов истории об отцеубийстве какую-то одну изначальную версию с тем, чтобы отвергнуть все остальные как «испорченные» при пересказе. (Заметим, что не «испорченных» вариантов предания попросту нет в нашем распоряжении.) В то же время данный подход примиряет разные способы толкования сюжета, поскольку они справедливы для разных вариантов, которые меняются в зависимости от контекста и сочетания элементов сюжета в разные эпохи и у разных народов.

Следует признать очевидным, что из всех предлагаемых интерпретаций эдипова сюжета в случае с легендарной биографией Кара-

георгия наиболее перспективной интерпретацией является обоснование права героя на власть и тех полномочий, которые ему при этом предоставляются. Не будем забывать, что предания слагались о верховном вожде, вставшем во главе антитурецкого восстания.

Среди ученых высказывалась точка зрения, что мотив отцеубийства и мотив инцеста имеют совершенно разное происхождения и были механически соединены лишь в эпоху литературной интерпретации мифов, т. е. в эпоху Софокла⁸⁷. Однако эта гипотеза не была подтверждена и не была принята исследователями в дальнейшем. Взаимосвязь двух мотивов можно считать доказанной. В легендарной биографии Карагеоргия мотив инцеста в чистом виде отсутствует. Для позднего фольклора переплавившего элементы древнего сюжета в тигле новых общественных интенций достаточно уже одного мотива отцеубийства, в более ранней традиции программирующего следующий мотив — инцест. Из дальнейшего будет видно, что этот мотив в снятом виде все-таки присутствует в преданиях о сербском вожде.

«В героических мифах инцест в ряду других нарушений табу трактуется двойственно, поскольку, во-первых, в истории героя, как и в истории мира, начало ассоциируется с хаосом и, во-вторых, инцест знаменует зрелость героя и одновременно его исключительность, — считает Мелетинский. — <...> борьба космоса и хаоса реализуется в сюжете как борьба поколений; <...> формирование личности (комплекс инициации) также реализуется в борьбе и смене поколений»⁸⁸.

Карагеоргий, совершив отцеубийство, поверг в хаос и свою собственную жизнь, и весь старый патриархальный миропорядок добропорядочной сербской райи, обрек ее на разрыв с прежним, покорным состоянием, гарантировавшим стабильность. Отцеубийство вызвало «хаос» восстания, результатом которого должно стать новое мироустройство. Созидателем его потенциально выступает герой-освободитель. Фигура отца ассоциирована с покорностью и стабильностью во всех вариантах предания, только в одном случае (в рассказе Бантыш-Каменского) отец проявляет заботу обо всех сербах, которых его сын обрекает на страдания и гибель от гнева турок, а во всех остальных вариантах — о своем собственном благополучии и спокойном существовании, что по существу не меняет дела. Бегство сына — это путь в никуда, которое так страшит его отца, но это бегство чревато возвращением с тем, чтобы принести освобождение соплеменникам.

Важным элементом во всех вариантах повествования об отцеубийстве являются маркирующие линии, которые разделяют пространство рассказа, противопоставляют отца и сына. В большинстве случаев — это р. Сава, своего рода Рубикон, отделяющий царство

покорности от царства свободы. Только по достижении этой границы, но никак не ранее, между отцом и сыном наступает разрыв, который ведет к кровавой развязке, обозначающей для героя переход в царство свободы. В рассказе Бантыш-Каменского (а также у Пушкина) отца и сына разделяет белградская дорога — дорога назад, в царство покорности, где «засыпает» отец. Сын же уходит в обратном направлении, либо вообще сворачивает с проторенного пути.

Теперь обратимся к фигуре матери, которая играет такую важную роль в сюжете отцеубийства, согласно рассказам нескольких мемуаристов. Пожалуй, ошибался В. С. Караджич, когда в пылу полемики объяснял ее появление в этой истории стремлением апологетов Карагеоргия снять с него какую-либо ответственность за отцеубийство. Ключом для понимания роли матери может служить анализ античного мифа об Эдипе, предпринятый крупнейшим отечественным ученым-гуманитарием С. С. Аверинцевым. Он истолковывает отцеубийство как предпосылку инцеста, который символизирует воцарение героя: «...тиран в своем отношении к родине-матери переходит от роли гражданина-сына к роли повелителя-супруга, он „овладевает“ и „обладает“ родной землей, как „отдавшей“ женщиной»⁸⁹. Чуть выше ученый оговаривается: «Было бы весьма странным полагать, будто конкретное наполнение рассматриваемых символических схем оставалось одним и тем же в архаическом мифе и в классической трагедии, в греческой философии и в римской жизни. Разумеется, нет; эти схемы переосмыслились. Но чтобы возможно было переосмысление, надо, чтобы было, чему переосмысляться: стабильная смысловая основа, смысловая матрица, заданная языком и простейшими символическими системами самой жизни»⁹⁰.

Думается, что такая смысловая матрица присутствовала в сербской, равно как и в русской, и в целом — славянской традиции. Речь идет о весьма распространенной семантической конструкции — «мати Србија» (в русском варианте — «матушка Русь», «мать сыра земля», «Родина-мать» и т. д.)⁹¹. Любопытно, что если об отце Карагеоргия источники сохранили только смутное воспоминание, то его мать, напротив, запечатлена в исторических преданиях и в рассказах мемуаристов достаточно ярко. Квинтэссенция ее характеристики, заимствованная из них, дается у М. Вукичевича: «...была она подвижна, прилежна и трудолюбива, рассудительна и отважна. Мыслила и действовала как мужчина. Готова ко всему и вынослива, как и всякая сербская крестьянка, <...> умела обращаться с конем лучше, чем какой мужчина <...> и потому ее многие звали „Марица-наездник“. У Марицы, по-видимому, душа пылала ненавистью к туркам, ибо во время, когда Карагеоргий юношей стал убивать отдельных турок, она не только его не отговаривала, но и помогала ему.

И эта сербиянка родилась под Рудником, на левой стороне Ясеницы выросла в ясеницких лесах и лугах, в удалении от больших дорог, на свежем и здоровом горном воздухе, вдохновленная свободой горцев и ненавистью к туркам, родила сербам и воспитала великого Карагеоргия»⁹². В этом отрывке особенно красноречивым выглядит последний пассаж: соотнесение матери Карагеоргия — простой крестьянки, которая, тем не менее, даст фору любому мужчине, — с географическим ландшафтом — сербскими лесами, лугами и горами, воздухом свободы, наконец. Вукичевич, не понимая того, по существу вскрывает здесь символику народного предания. Мать Карагеоргия — это сама сербская земля⁹³.

В таком случае активная роль матери в эпизоде отцеубийства следует истолковывать как стремление Сербии быть освобожденной. Когда мать закликает сына своим молоком и обнажает перед ним грудь, она, тем самым, одновременно и повелевает им, и вручает ему власть над собой — это остаточный мотив инцеста. Условием обретения верховной власти становится отцеубийство — ужасное преступление, но в то же время жертвоприношение, инициация, открывающая длинную цепь других преступлений, неизбежных на пути к освобождению.

Как подчеркивал В. Я. Пропп, «в облике Эдипа ясно чувствуется двойственность. Он — величайший герой и благодетель своего рода и царства и вместе с тем он величайший злодей. <...> Осознание отцеубийства как злодеяния, совершенного невольно благородным героем, требует либо реабилитации героя, т.е. поскольку уже имеется сознание скверны — его очищения, искупления греха, либо превращения его в окончательного злодея»⁹⁴. Легендарный образ Карагеоргия также двойственен. Совсем не случайно он обречен носить имя *Черный* Георгий. Кстати, согласно рассказу Бантыш-Каменского и у Пушкина, этим прозвищем его наградила та же мать. Двойственность облика сербского вождя особенно привлекала писателей-романтиков. В стихотворении «Дочери Карагеоргия», написанном Пушкиным в 1820 г., она предельно обострена: «Гроза луны, свободы воин, / Покрытый кровию святой, / Чудесный твой отец, преступник и герой, / И ужаса людей, и славы был достоин». Что же касается искупления «скверны», то в случае с Карагеоргием — это подвиг освобождения. Однако в данном случае, кажется, хотя это и не совсем так, отсутствует моментальная развязка. Подвиг во имя свободы и жестокие злодеяния совершаются «параллельно» друг другу, если не сказать одновременно (последовательность эпизодов в легендарной биографии Карагеоргия установить практически невозможно). Быть может, здесь тоже есть какая-то взаимосвязь?

Любопытные указания на этот счет имеются в оригинальной концепции французского мыслителя Р. Жирара, попытавшегося построить универсальный механизм всякой мифологии от самой ранней архаики и вплоть до наших дней. Главной «деталью» этого механизма выступает так называемая «жертва отпущения», а главным принципом функционирования — «экономика насилия». Разумеется, универсальные заявки концепции Жирара могут вызвать оправданное раздражение, однако рациональные зерна в ней все-таки присутствуют. «Религиозное мышление, — пишет Жирар, — вынуждено видеть в жертве отпущения — то есть попросту в последней жертве — ту жертву, которая терпит насилие, не провоцируя новых кар, видеть в ней сверхъестественное существо, сеющее насилие, чтобы пожать мир, видеть страшного и таинственного спасителя, делающего людей больными, чтобы затем их вылечить»⁹⁵. Далее автор противопоставляет логику «религиозного эмпиризма» «современному мышлению», где «герой не может стать благодетелем, не перестав быть пагубен, и наоборот». Напротив, с точки зрения «религиозного эмпиризма», «таинственное единство самого пагубного и самого благодетельного — это факт, который невозможно ни отрицать, ни преуменьшать... герой притягивает к себе насилие, поразившее всю общину, насилие пагубное и заразное, которое смерть героя или его триумф преобразуют в порядок и безопасность»⁹⁶.

Если следовать за этими указаниями, необходимо признать, что насилие, чинимое легендарным Карагеоргием, — суть проявления его сверхъестественных качеств или, выражаясь современным языком — языком М. Вебера, — его «харизмы». В этой связи необходимо вспомнить эпизод избрания Каргеоргия «верховным комендантом» на зборе в Орашце в феврале 1804 г., записанный многим мемуаристами с незначительными разночтениями. Когда собравшие стали предлагать ему встать во главе повстанцев, Карагеоргий сначала отказывался, мотивировав свой отказ следующим образом: «Я человек жестокий и злой (лут и зао), кто меня не послушает, или перейдет на сторону [врага], или начнет старые ссоры вспоминать, я его убью, а вы меня за то возненавидите, и все на стороны разделяться, тогда нас ничего не стоит разбить, а турки только того и ждут...». В ответ на это участники скупщины в лице протоиерея Атанасия Буковицкого якобы заявили: «Мы тебя хотим, и такой нам и нужен, и мы такого строгого начальника и хотим иметь, а все тебе будут помогать во всем». После этих заявлений Карагеоргий ведет речь уже несколько иначе. Да, он будет править жестко, может быть, даже жестоко, но справедливо: «...жуликов и гайдуков не будет, дороги, торговые пути и торговцы будут свободны и защищены; а если где таковые злодеи попадутся, сразу их убью». На что тот же

Атанасий и заключил: «...если знал и умел, как управлять сотнями гайдуков и четников самовольных в австрийскую войну, то сумеешь и теперь мирным народом тем более, а мы тебе все в помощи будем»⁹⁷. Почти то же самое, в сокращенном варианте, рассказывает Караджич, передоверивший свои слова Ранке: «Сначала он (Карагеоргий. — М. Б.) было начал говорить, что не умеет править, но кнезы обещали помогать ему советами. „Но ведь я жесток, — продолжал Георгий, — и у меня крутой нрав; я не стану долго толковать, и на кого рассержусь, убью на месте“. — „Теперь нам такой и нужен“, — отвечали кнезы. Таким образом Карагеоргий сделался комендантом сербов»⁹⁸.

Итак, главным аргументом в выборе «коменданта», главной причиной обретения власти над Сербией, как это ни странно, стала именно жестокость Карагеоргия. Чудесным образом в ходе диалога с кнезами (по Джуричу — с протоиереем Атанасием) эта черта Карагеоргия превращается из вполне осознаваемого зла во благо. В мгновение ока преображается и сам Карагеоргий, что получило отражение в акцентировке его речей. Возражения, данные им в начале на предложение верховного поста, рисуют, в общем-то, мрачную перспективу — путь деструкции и гражданской войны, но «воля народа» направляет насилие, творимое Карагеоргием, на охранительные функции, и теперь ему видятся только блестящие перспективы. Деструктивный потенциал Карагеоргия будет использован исключительно против притеснителей народа — турок, а также против собственных разбойников и мошенников. Эту метаморфозу обыгрывает, используя прозвище верховного вождя, один из творцов его посмертного культа Л. Арсениевич-Баталака: черным Георгий был для врагов Сербии, а для собственного народа — белее белого⁹⁹.

Безусловно, большинство рассказов о жестокости Карагеоргия связано с убийствами турок. Я. Джурич составил своеобразный каталог подобных эпизодов, привязав их к конкретным датам, доверять которым, конечно же, вряд ли возможно¹⁰⁰. Многие из этих рассказов заурядны и лишены каких-либо ярких деталей. Их общая черта — хладнокровие и решимость, с которой совершаются все убийства. Турки либо не успевают ничего понять, либо пускаются в пустые рассуждения, ничуть не сознавая опасности. Нет ни одного эпизода, в котором бы турки оказали сопротивление и Георгий хоть как-то пострадал. В некоторых случаях, относящихся ко времени службы Георгия у Вазлия (Фарзли-баши), убийства турок вообще никак не мотивированы, это что-то вроде охоты или спорта, соревнования. В конце концов, Вазлия признается Георгию по секрету, что его род происходит из албанской знати, он христианин и его настоящее имя Василий. В некоторых эпизодах мотивация убийства турок все-таки обозначена.

Один из таких сюжетов, имеющий, как минимум, два варианта, и изобилующий деталями, нуждается в более подробном рассмотрении. М. Вукичевич простодушно пересказывает этот эпизод по тексту «Сербянки» С. Милутиновича, которому он безгранично доверял, считая именно этот случай побудительной причиной для бегства семьи Карагеоргия в Австрию.

Итак, если верить Милутиновичу, однажды вечером в дом Карагеоргия, пока хозяина не было дома, заявился на ночлег некий Дели-Муса, имевший репутацию насильника и пьяницы. Заставив мать Георгия приготовить ему ужин, турок запалил яркий огонь, достал длинную трубку, пускавшую густой дым, и стал хлестать сначала ракию, а затем самогон. За столом ему прислуживала жена Георгия Елена. Дели-Муса «положил глаз» на молодую и заявил матери, что хочет ночевать с ней. В этот момент на пороге появился Георгий. Он сразу все понял, сел справа от турка и стал осушать стакан за стаканом, а потом, войдя в раж, отобрал у Елены посуду и сам прислуживал турку. Тот, рассвирепев, обозвал его «дикой свиньей», на что Карагеоргий спокойно заявил: «Разве ты не знаешь, турок, что для серба за честь убить всякого?» Тот стал возмущаться: «Ах, неверный... как посмеешь ты убить турка, своего господаря и царева сына?» Георгий выхватил из-за пояса пистолет и сразил его одной пулей. Затем вместе с женой и матерью разгребли угли с очага. Георгий выкопал могилу глубиной в полроста, закопал труп и на том же месте вновь развел огонь, сложив все угли обратно. Турецкого коня Георгий отвел в лес и крепко отдубасил, как будто бы конь был загнан. Турка искали целый год, да так и не нашли¹⁰¹.

Вариант Джурича отличается, во-первых, тем, что гостей оказалось сразу двое. Однако Георгий, замечает мемуарист, «не только двух, но и троих не боялся». Кроме того, Елена в рассказе Джурича вовсе не фигурирует, поскольку дело, как уверяет автор, происходило еще до женитьбы Карагеоргия, то ли в 1778, то ли в 1789 г. Зато пособницей сына в убийстве турок, по данной версии, является мать. Соответственно нет пародийного прислуживания турку за столом. Георгий возвращается домой и садится у огня, следя за очагом. Причина убийства — оскорбление, нанесенное Георгию. Турки заявили, что он «настоящий гайдук», на что его мать ответила: «...он, как и остальная царева райя — народ». Когда один из турков сравнил пистолет за поясом у Георгия с «козьей ногой» и усомнился в том, что он может стрелять и убить человека, тот, недолго думая, выхватил сначала один, а потом и другой пистолет и застрелил обоих турок. Захоронение трупов под очагом целиком совпадает с рассказом Милутиновича¹⁰².

Характерен спор, разыгравшийся между турками и матерью Карагеоргия, о том, кем является ее сын. Карагеоргий включается

в него, не проронив не слова, но используя в прямом смысле «убийственный» аргумент. «Возражает» он, конечно, не матери, поэтому вывод из рассказанной Джуричем истории прочитывается легко: Карагеоргий плоть от плоти простого народа, но этот народ — «царева райя» — больше не будет терпеть унижения и издевательства от своих «господ». Разумеется, подобное прочтение данного сюжета может быть целиком и полностью отнесено на совесть мемуариста, который, очень вероятно, внес в него выдуманные детали, подготовившие столь очевидный вывод.

В этой связи следует сконцентрироваться на другой подробности, фигурирующей в обеих версиях сюжета, — захоронение турок в доме под очагом с последующим разведением огня и продолжением мирной жизни на прежнем месте. (По версии Милутиновича, правда, она была достаточно короткой, поскольку именно это убийство он связывает с бегством семьи Карагеоргия в Австрию.) Совпадение концовки рассказа об убийстве турок в обеих версиях означает, по-видимому, что эта часть повествования имеет общее происхождение — и тем, и другим автором она заимствована из фольклорного предания о случившемся (или же *не случившемся*) однажды в доме Карагеоргия. Выяснить, какое событие произошло в реальности, не представляется возможным (как в случае и с другими эпизодами легендарной биографии Карагеоргия), но, так или иначе, фольклорная традиция преобразовала реальность, пропустив ее сквозь свой «магический кристалл». Заметим только, что сама процедура захоронения трупов прямо в доме, так сказать, «на месте преступления», хотя и кажется остроумной — известен парадокс, чтобы спрятать улику, ее надо положить на самом видном месте, — технически нелегка и не слишком рациональна, тем более — в расчете на спокойную мирную жизнь. В то же время погребение турок под очагом обретает особый смысл, если принять во внимание семантику домашнего огня в традиционной культуре славян, да и многих других народов.

Очаг представляет собой своего рода «сердцевину» дома, сакральный центр, оберегающий дом от нечистой силы, дающий свет и тепло, использующийся для приготовления пищи, т. е. поддерживающий жизнь. Поэтому очаг сам нуждается в защите. Припомним поэтическую формулу: «За алтари и очаги». Алтарь — это центр христианской мистерии, а очаг — домашней, языческой по происхождению магии. Вовсе неслучайно то, что Карагеоргий по возвращении домой, увидев там вероятных врагов — турок, присел именно у очага.

Исследователи традиционной культуры отмечают двойственность огня, который может играть и деструктивную, пожирающую, уничтожающую роль¹⁰³. Сам Карагеоргий, согласно другому

народному преданию, относится к так называемым «змеевичам». В этой связи его близость к огню должна быть тем более понятна. Закопав трупы под очагом, Карагеоргий, тем самым, расправился над своими врагами (и врагами всех сербов) вторично, символически предал их тела священному уничтожающему огню. Возжигание очага после погребения турок на том же месте символизирует начало новой жизни, во всяком случае, ее новое качество — свободу и безопасность.

Таким образом, предание сближает бытовую и, в общем-то, страшную именно этими бытовыми деталями историю убийства с высоким уровнем сакральных смыслов, превращая ее в притчу, которая легко может быть прочитана как история о спасении Сербии, если расширить до этого понятия домашний очаг и семью героя притчи Карагеоргия. Разумеется, такое толкование присутствует в предании лишь как семантическое зерно, прорастающее в традиционном поле народной культуры. Неопределенность смыслового диапазона препятствует однозначному пониманию рассказа. Но в заданных рамках, каковые проступают уже в сочинениях мемуаристов и у Милутиновича, смысл предания вполне поддается национально-патриотической формовке.

Еще одна страшная и жестокая история — казнь Карагеоргием младшего брата Маринко. Имея лавку в Тополе, он под прикрытием имени верховного вождя всячески досаждал своим односельчанам, обманывал и грабил их. Чашу терпения Карагеоргия переполнила жалоба на то, что его брат ведет себя хуже турок и вот: уже обесчестил одну из местных девушек. Верховный вождь лично накинул на шею притеснителю народа попавшуюся под руку веревку и повел к воротам, где велел одному из стражников повесить брата. Литератор и издатель журнала «Отечественные записки» П. Свиньин в 1816 г. сделал достоянием читающей публики в России существенную часть народного предания об этом событии. В то время, когда мать еще не знала о произошедшей трагедии, Георгий обратился к ней за «советом»: как поступить с человеком, который, «полагаясь на пособие могущего человека, делает беспрестанные буйства, бесчинства, грабежи и насилия, и которому два раза прощено было?». Мать, не задумываясь, ответила, что его следует повесить. Тогда «Георгий подвел ее к окошку и показал брата своего, повешенного на воротах». С ужасом она поняла, что вынесла приговор своему собственному сыну¹⁰⁴. Однако, учитывая роль матери в другом легендарном эпизоде — эпизоде отцеубийства — и сказанное выше о ней, это был приговор самой сербской земли. Во имя нее Карагеоргий, как и обещал на Орашском зборе, жестоко расправится с любым братом-сербом, и убийство Маринко — своего рода архетип этой суровой справедливости.

Проведенный анализ показывает генеалогическую связь культа Карагеоргия с глубинными слоями архаического и мифологического сознания, специфическим образом прореагировавшего на катастрофические события рубежа XVIII–XIX вв. (последняя австро-турецкая война, последовавшие за ней голод, эпидемии и исход населения, дахийский террор и начало восстания сербов Белградского пашалыка). Образ героя-спасителя, отца Отечества складывался стихийно в фольклорной среде и лишь затем стал оттачиваться в сочинениях образованных пропагандистов¹⁰⁵. Ключом к пониманию харизмы народного вождя являются амбивалентные и синкретические представления, уходящие корнями в первобытную эпоху. В условиях Нового времени они превращаются в формулу зла, которое приносит добро, хорошо известную по знаменитым словам из «Фауста» Гете, взятым М. А. Булгаковым эпиграфом к «Мастеру и Маргарите»: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 04-01-00047а.
- ² Современная западная социология: Словарь. М., 1990. С. 386–387. Ср.: Современная западная философия: Словарь. М., 1991. С. 367 (статья Л. Г. Ионина).
- ³ Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения / Сост., общ. ред и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайдено. М., 1990. С. 646–648.; *Он же*. Харизматическое господство // Психология и психоанализ власти: Хрестоматия. Самара, 1999. Т. 2. С. 55–68; *Ожиганов Э. Н.* Политическая теория М. Вебера. Критический анализ. Рига, 1986; *Гайдено П. П., Давыдов Ю. Н.* История и рациональность. Социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М., 1991. С. 81–87. Краткий, но содержательный обзор политологической дискуссии по поводу наследия М. Вебера в связи с харизматическим лидерством между исследователями тоталитарных систем и постколониальных стран см.: Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 383–385; Критика взглядов Вебера: *Блондель Ж.* Политическое лидерство. М., 1992.
- ⁴ См.: *Гудков Л.* «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия // *Гудков Л.* Негативная идентичность. М., 2004. С. 389.
- ⁵ См.: *Тарле Е. В.* Печать во Франции при Наполеоне I // Соч. М., 1958. Т. 4. С. 483–543; *Тюлар Ж.* Наполеон, или миф о «спасителе». М., 1996. С. 68–77.
- ⁶ См.: *Иванов И.* Герой современной легенды // *Иванов И.* Люди и факты западной культуры. М., 1898; Отечественная война и русское общество.

- М., 1912. Т. 6. С. 155–208; *Connard P.* Les Origines de la légende napoléonienne. Paris, 1906; *Deschamps J.* Sur la légende de Napoléon. Paris, 1931; *Bluche F.* La Bonapartisme, aux origines de la droite autoritaire (1800–1850). Paris, 1980; и др.
- 7 Замечательная попытка сочетания двух этих уровней в анализе срединной «массовой» культуры, из которой вышел преемник бонапартизма — шовинизм, представлена в диссертации и монографии французского историка, недавно переведенной на русский язык: *Люммеж Ж. де Шовен.* Солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма / Пер. В. А. Мильчиной. М., 1999.
- 8 *Одайник В.* Психология политики. Политические и социальные идеи Карла Густава Юнга / Пер. К. Бутырина; под общ. ред. В. Зелинского. М., 1996; *Он же.* Московичи С. Машина, творящая богов / Пер. Т. П. Емельяновой, Г. Г. Дилигинского. М., 1988; *Он же.* Век толп. Исторический трактат по психологии масс / Пер. Т. П. Емельяновой. М., 1998 и др.
- 9 Критику психоаналитической интерпретации мифа см.: *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 2000. С. 57–74.
- 10 Игнорированием данного факта грешат, как правило, исследования филологов и антропологов, появившиеся за последние десять лет. См.: *Карађорђе у епу и историји* / Приред. Н. Љубинковић. Велика Плана, 1994; *Карађорђе у миту и епизи* / Приред. Ж. Андрејић. Рача; Београд, 2001; *Карађорђе у приповедању и легенди* / Приред. Ж. Андрејић. Рача; Београд, 2002; *Антонијевић Д.* Митски слојеви у повести о Карађорђу // Даница: српски народни илустрирани календар. 2004 / Уред. М. Матицки, Н. Милошевић-Ђорђевић. Београд, 2003. С. 105–118.
- 11 *Милутиновић С.* Србианка. Липисци, 1826. Ч. 2. С. 186; *Вукићевић М.* Карађорђе. Београд, 1986. Књ. 1. С. 331. Топола — деревня, где располагалось имение Карагеоргия.
- 12 Речь идет о книге: *Милићевић М. Ђ.* Карађорђе у говору и твору. Београд, 1904.
- 13 *Вукићевић М.* Карађорђе... С. 21–22.
- 14 *Милутиновић С.* Србианка... Ч. 2. С. 10–15. Дахия — начальник янычар; кеседжия — разбойник; спахия — турецкий землевладелец, ленник султана. Согласно исламской мифологии мусульманин, погибший в бою с «неверными», попадает в рай.
- 15 Казивања о српском устанку 1804. Београд, 1980. С. 6–7; *Вукићевић М.* Карађорђе... С. 332–333.
- 16 Казивања... С. 151; *Вукићевић М.* Карађорђе... С. 333.
- 17 Ср. с «царскими знаками», которые должны быть у самозванца: *Успенский Б. А.* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 201–235.
- 18 [Х]аловит — 1) драконоподобный; 2) способный нагонять тучи, град и бурю; имеющий свойства чародея; хала — 'дракон, змей' //

Толстой И. И. Сербскохорватско-русский словарь. 4-е изд., стереотипное. М., 1976. С. 647, 648.

¹⁹ Вукићевић М. Карађорђе... С. 333.

²⁰ Пропп В. Я. Мотив чудесного рождения // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 237.

²¹ Казивања... С. 7.

²² Пропп В. Я. Мотив чудесного рождения... С. 238, 240.

²³ Путилов Б. Н. Экскурсы в историю и теорию славянского эпоса. СПб., 1999. С. 16, 19. Иную точку зрения см.: Кравцов Н. И. Фольклор и мифология // Кравцов Н. И. Проблемы славянского фольклора. М., 1972. С. 113–142.

²⁴ Путилов Б. Н. Экскурсы... С. 58; Он же. Русский и южнославянский героический эпос: Сравнительно-типологическое исследование. М., 1971. С. 70–78. Путилов ссылается здесь на две статьи Р. Якобсона о Волхе и Змай-Огненном Вуке: Jacobson R. The Vseslav Epos (with M. Szeftel) // Selected Writing. Slavic Epic Studies. Paris, 1966. Vol. 4. P. 301–368; Он же. The Serbian Zmaj Ogneni Vuk and the Russian Vseslav Epos // Ibid. P. 369–379. У героя, ставшего прообразом многих сербских юнаков, как поется в песне, записанной С. Милутиновичем, «на груди сплелась змея, под пазухой (т. е. под мышками, как и у новорожденного Георгия. — М. Б.) крылья золоченые, из глаз у него молнии сверкают, а из зубов огонь выскакивает». Песню «Смерть Змай-Огненного Вука» см.: Милутиновић С. Певаня црногорска и херцеговачка, собрана Чубром Чойковићем црногорцем. Лайпциг, 1837. С. 183–185. Переизд.: Милутиновић С. С. Пјевања Црногорска и Херцеговачка. Никшић, 1990. № 104. Пер. дан по: Путилов Б. Н. Экскурсы... С. 58. Как сообщает словарь «Славянские древности», «ребенок-змея <...> рождается с крыльями под мышками (юж.-слав.), от рождения обладает необычайной силой и начинает ходить на второй или третий день (макед.)» (Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 330. (Автор статьи — Е. Е. Левкиевская.)

²⁵ Славянские древности... Т. 2. С. 330–332.

²⁶ См.: Пропп В. Я. Специфика фольклора // Он же. Фольклор и действительность... С. 16–33, 258–259.

²⁷ Путилов Б. Н. Экскурсы... С. 16.

²⁸ Мифы народов мира / Под ред. С. А. Токарева. М., 1991. Т. 1. С. 468–471. (Автор статьи — В. В. Иванов.)

²⁹ Славянские древности... Т. 2. С. 332–333.

³⁰ Путилов Б. Н. Экскурсы... С. 20. Сам Путилов ссылается на работу болгарской исследовательницы: Иванова Р. Епос—Обред—Мит / 2-о изд. София, 1995. С. 21–42.

³¹ Мифы народов мира... Т. 1. С. 470.

³² Славянские древности... Т. 2. С. 330.

³³ Там же. М., 1995. Т. 1. С. 496–498. (Автор статьи — Н. И. Толстой.)

- 34 Ср.: *Щербинина Н. Г.* Мотив змеборчества в политической мифологии России // *Щербинина Н. Г.* Герой и антигерой в политике России. М., 2002. С. 31–78.
- 35 *Вукићевич М.* Карађорђе... С. 331.
- 36 РГВИА (Российский государственный военно-исторический архив). Ф. Военно-ученого архива (ВУА). Д. 394. Ч. 1. Л. 113. В тексте — подчеркивание последних слов этой фразы, очевидно, рукой Вукичевича, который одним из первых познакомился с документом.
- 37 Казивања... С. 5, 6.
- 38 Там же. С. 77.
- 39 Там же. С. 151.
- 40 *Вукићевич М.* Карађорђе... С. 21, 331 (прим. 36).
- 41 Ср.: *Пантелић Д.* Питање о години Карађорђевог рођења // Два прилога историји Карађорђа. Београд, 1932. С. 8–16; *Љушић Р.* Вожд Карађорђе. 2-о изд. Београд, 2000. С. 19, 20.
- 42 Казивања... С. 152.
- 43 Там же. С. 7–8.
- 44 См.: *Винавер В.* Историска традиција у Првом српском устанку // Историски гласник. 1954. № 1–2. С. 103–118.
- 45 Казивања... С. 152–153.
- 46 См.: *Милићевич М. Ђ.* Карађорђе... С. 2–4.
- 47 Казивања... С. 78–81.
- 48 Ср. свидетельства Я. Джурича и П. Йокича: Казивања... С. 15–16, 153–154.
- 49 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 394. Ч. 2. Л. 200–202 об.; Ч. 3. Л. 23–24.
- 50 Отечественные записки. 1818. Ч. 1. С. 45–46, 56–57.
- 51 А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 1. С. 319–320.
- 52 См. подробнее об этом стихотворении, его положении в цикле и литературной судьбе сюжета: *Кулаковский П.* Славянские мотивы в творчестве Пушкина. Варшава, 1899; *Лавров П. А.* Пушкин и славяне // Сб. Новороссийского университета. Одесса, 1900. С. 92–122; *Трубицын Н.* Два сербских юнака в изображении Пушкина // Пушкин и его современники. Пг., 1917. Вып. 28. С. 29–55; *Елизарова М. Е.* «Гюзла» и «Песни западных славян» // Литературная учеба. 1937. № 12. С. 41–72; *Воробьев В. П.* К вопросу о времени создания А. С. Пушкиным «Песен западных славян» // Учен. зап. Саратовского гос. ун-та. 1957. Т. 56. С. 52–66; *Прийма Ф. Я.* Из истории создания «Песен западных славян» А. С. Пушкина // Из истории русско-славянских литературных связей. М.; Л., 1963. С. 95–123; *Благой Д. Д.* Два стихотворения Пушкина о Георгии Черном // Славяне и Запад. М., 1975. С. 17–31; *Муравьева О. С.* Из наблюдений над «Песнями западных славян» // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 149–163; *Медриш Д.* После выстрела. Пушкин: «Песня о Георгии Черном» // Новый мир. 1990. № 6. С. 231–236.

- 53 *Бантыш-Каменский Д. Н.* Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию. М., 1810. С. 119.
- 54 Родофиникин упоминает о преступлениях, совершенных Карагеоргием, в послании А. А. Прозоровскому от 17 февраля 1808 г.: РГВИА. Ф. ВУА. Д. 394. Ч. 1. Л. 221–223 об.
- 55 *Бантыш-Каменский Д. Н.* Путешествие... С. 119–121, 128–129.
- 56 *Милутиновић С.* Певания черногорска и херцеговачка... С. 17–21, 26.
- 57 *Ranke L.* Die Serbische Revolution. Leipzig, 1829. S. 115–116; *Ранке Л.* История Сербии по сербским источникам. М., 1876. С. 184.
- 58 Вуков одговор на лажи и опадање у Србском Улаку // *Караџић В. С.* Историјски списи. Београд, 1969. Књ. 2. С. 27–28.
- 59 *Светић М.* Први прелазак Црног Ђорђа из Сербие у Срем... // Голубица. I. С. 151–159; *Караџић В. С.* Историјски списи... С. 337–338. Версия Светича в основном совпадает с рассказом Я. Джурича и Г. Пантелича.
- 60 *Вукићевић М.* Карађорђе... С. 34–38, 335–337, 339–343.
- 61 Там же. С. 342–343.
- 62 *Муравьева О. С.* Из наблюдений... С. 160, 161.
- 63 Там же. С. 152.
- 64 *Медриш Д.* После выстрела... С. 232.
- 65 Наш современник. 1992. № 11. С. 5–7.
- 66 Ср.: *Љушић Р.* Вожд Карађорђе... С. 24–30.
- 67 *Муравьева О. С.* Из наблюдений... С. 160, 161.
- 68 *Путилов Б. Н.* Славянская историческая баллада. М.; Л., 1965. С. 93, 130–131.
- 69 *Караџић В. С.* Српске народне песме. Београд, 1976. Књ. 4. № 25.
- 70 *Путилов Б. Н.* Героический эпос черногорцев. Л., 1982. С. 95.
- 71 *Медриш Д.* После выстрела... С. 235.
- 72 *Чоровић В.* Историја Срба. Београд, 1989. Д. 3. С. 22.
- 73 *Пропп В. Я.* Фольклор и действительность... С. 84.
- 74 *Путилов Б. Н.* Героический эпос и действительность. М., 1988. С. 7–8.
- 75 Там же. С. 5, 10, 16–17.
- 76 *Пропп В. Я.* Легенда // *Пропп В. Я.* Поэтика фольклора. М., 1998. С. 271. Poleмику по поводу того, что следует считать «легендой», см.: *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967. С. 5–13.
- 77 *Пропп В. Я.* Легенда... С. 298–300.
- 78 См.: *Николић В.* Едипов, електрин и други родоскрвини комплекси у Вуковима записима и данашњем нашем народном усменом стваралаштву // Гласник Етнографског института. 1969. Књ. 11–12. С. 97–118.
- 79 *Фромм Э.* Забытый язык. Введение в науку понимания снов, мифов и сказок // *Фромм Э.* Душа человека. М., 1992. С. 267–268 и др.
- 80 *Рикер П.* Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996. С. 204.

- 81 Мелетинский Е. М. Об архетипе инцеста в фольклорной традиции // Мелетинский Е. М. Изб. статьи. Воспоминания. М., 1998. С. 297, 298. См. там же краткий обзор точек зрения на проблему.
- 82 См., например, главу о царевубийстве: Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980. С. 299–319.
- 83 Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. С. 258–299.
- 84 Леви-Строс К. Структура мифов // Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 2001. С. 227.
- 85 Там же. С. 221. В другой своей работе ученый замечает: «Понятие „миф“ — это категория нашего мышления, произвольно используемая нами, чтобы объединить под одним и тем же термином попытки объяснить природные феномены, творения устной литературы, философские построения и случаи возникновения лингвистических процессов в сознании субъекта» (Тотемизм сегодня // Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1999. С. 45). Иными словами, миф — понятие условно-конвенциональное, предмет его обозначения «разбегается» в стороны. Согласно Леви-Стросу, непреложными остаются лишь универсальные способы мышления одинаковые и для «примитивных» народов, и для современных ученых.
- 86 Левинтон Г. А. К проблеме изучения повествовательного фольклора // Типологические исследования по фольклору. М., 1975. С. 309–310.
- 87 Толстой И. И. Черноморская легенда о Геракле и змееногой дева // Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М.; Л., 1966. С. 232–248.
- 88 Мелетинский Е. М. Об архетипе инцеста... С. 300–302. Ср. у Р. Жирара: «Для того чтобы порядок мог возродиться, беспорядок должен достичь предела; для того чтобы мифы могли сложиться заново, они должны полностью разложиться». (Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. С. 101).
- 89 Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 92–93.
- 90 Там же. С. 91.
- 91 Славянские древности... Т. 2. С. 315–321 (авторы статьи — О. В. Белова, Л. Н. Виноградова, А. Л. Топорков).
- 92 Вукићевић М. Карађорђе... С. 17–18.
- 93 Об образе матери героя в «классическом» эпосе см.: Путилов Б. Н. Героический эпос и действительность. С. 106–107.
- 94 Пропп В. Я. Эдип в свете фольклора... С. 294–295.
- 95 Жирар Р. Насилие и священное... С. 109.
- 96 Там же. С. 109–110.
- 97 Казивања... С. 35–36.
- 98 Ранке Л. История Сербии... С. 116.
- 99 Арсенијевић Л. Карактеристика Црног Ђорђа // Гласник друштва србске словесности. Београд, 1854. Св. 6. С. 150–155. Ср.: Щербинина Н. Г.

- Лидер белый, лидер красный и лидер черный // Герой и антигерой в политике России. М., 2002. С. 5–30.
- ¹⁰⁰ Казивања... С. 9–13.
- ¹⁰¹ Милутиновић С. Србианка... Ч. 1. С. 62–69; Вукићевић М. Караџорђе... С. 52, 53.
- ¹⁰² Казивања... С. 9, 10.
- ¹⁰³ Мифы народов мира... Т. 2. С. 239–240 (автор статьи — С. А. Токарев); Славянские древности... Т. 3. С. 513–519 (авторы статьи — О. В. Белова, Е. С. Узенева).
- ¹⁰⁴ Отечественные записки. 1818. Ч. 1. С. 52, 53.
- ¹⁰⁵ Родофиникин у Београду јавни живот... // Перовић Р. Грађа за историју српског устанка. Београд, 1954. С. 131–150; Срби е плачевно паки-порабошение лета 1813... [Venecija], 1815.

Н. Н. Старикова
(Москва)

Словенская литературно-критическая мысль в Вене: Й. Стритар и его журнал «Звон» (1870-е гг.)

«Звон» будет не колокольчиком для детей, но колоколом для взрослых, будет просвещать и обогащать читателей силой эстетического воздействия.

Й. Стритар

Йосип Стритар (1836–1923) — видный словенский литератор, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, вошел в историю национальной литературы прежде всего как основатель и редактор первого в полном смысле слова литературно-критического периодического журнала на словенском языке «Звон» («Колокол»), который в 1870-е гг. выходил в Вене. Выпуск периодического издания на языке национального меньшинства в столице Австро-Венгрии мог свидетельствовать о некотором изменении политического климата в империи в целом. Вена сыграла важнейшую роль в становлении словенской литературно-критической мысли 1870-х гг. Несмотря на то, что словенское национальное самосознание было сформировано в столкновении с германством, в постоянной борьбе за язык, школу, книгу, нельзя недооценивать позитивного значения немецкой и австрийской культур при формировании гуманитарного потенциала словенской нации. До начала XX в. знакомство с достижениями мировой науки и культуры осуществлялось в Словении посредством немецкого языка, Венский университет стал колыбелью практически для всех выдающихся деятелей национальной культуры. Известно, что еще в XIV–XV вв. в этом европейском университете получили образование свыше двух тысяч выходцев из словенских земель. Некоторые из них впоследствии сделали блестящую карьеру, как, например, Томаж Прелокар из Целья, ставший во второй половине XV в. наставником принца Максимилиана, канцлером университета и епископом¹. В Вене учились основоположник словенского письменного языка, протестант П. Трубар (1508–1586) и деятель национального возрождения М. Похлин (1735–1801), первый словенский драматург А. Т. Линхарт (1756–1795) и крупнейшие филологи своего времени Е. Корпитар (1780–1844) и Ф. Миклошич (1813–1891), впоследствии профессор славянской филологии Венского университета и действительный член Австрийской академии наук. В стенах Венского университета прошла юность первого историка словенской литературы М. Чопа

(1797–1835) и крупнейшего поэта-романтика Ф. Прешерна (1800–1849), в Вене состоялся его литературный дебют. После революции 1848 г. там учились писатель Я. Трдина (1830–1905) и физик Й. Штефан (1835–1893), слушал лекции Миклошича и встречался с В. Карраджичем — поэт, прозаик, драматург и литературный критик, автор первой национальной литературной программы Ф. Левстик (1831–1887). Весь цвет литературы 1860–80-х гг.: С. Енко (1835–1869), Я. Менцингер (1838–1912), Ф. Эрьявец (1834–1887), Й. Юрчич (1844–1889), Я. Керсник (1852–1897), С. Грегорчич (1844–1906), а затем и поэты словенского модерна Й. Мурн (1879–1901) и О. Жупанчич (1878–1949), а также И. Цанкар (1876–1918) так или иначе, были связаны со столицей империи. Тридцать этнических словенцев в разные годы были ректорами Венского университета.

Об изменении общественно-политической обстановки свидетельствует и тот факт, что в 1867 г. словенские депутаты Венского парламента впервые получили право присягать на родном языке. К этому времени в Вене существовало несколько словенских обществ-землячеств: студенческое литературное общество (1858), основанное так называемыми «ваевцами» (С. Енко, В. Мандельцем, Ф. Эрьявцем), группой гимназистов, учредивших в 1854–1855 гг. в Любляне рукописный гимназический журнал «Вае» («Опыты»); Словенское литературное общество, получившее впоследствии название «Кружок Стритара» (1864); студенческое общество Словения (1869) и т. д. При этом студенты-словенцы, учащиеся тогда в Вене, в массе своей были весьма демократически настроены, разделяя идейные позиции «младословенцев»; тогда как в самой Словении в этот период на фоне существенной активизации культурной жизни (создание сети просветительских, литературных, гимназических обществ, читален, издательств) у руля культурной политики стояли консерваторы — «старословенцы».

Идейное размежевание деятелей литературы и культуры восходит в Словении к 40-м гг. XIX в., когда, собственно, сложились общественно-политические группировки так называемых «старо-» и «младословенцев», т. е. представителей консервативного и либерального крыла национального движения. Первых возглавлял Янез Блейвейс (1808–1881), политический деятель и редактор газеты «Новице», выступавший за воспитание народных масс в духе верности «отечеству и императору» и соответственно за умеренно-просветительскую, «скромную» национальную литературу. Либералы, лидером которых в конце 1850-х гг. был поэт, прозаик и литературный критик Ф. Левстик, выступавшие против утилитарного догматического подхода к искусству, пытались на страницах издававшегося А. Янежичем в Целовце журнала общефилологической направленности «Словенски гласник» вести с консерваторами

публицистическую полемику. Однако это издание не было литературным журналом в прямом смысле слова, хотя и имело в целом культурно-просветительский характер. В Любляне же ключевые позиции в Словенской матице и других культурно-просветительских институтах занимали «старословенцы»². Одним словом, Вена в конце 1860-х гг. оказалась самым подходящим местом для учреждения словенского национального литературно-критического журнала демократической направленности. Появление стритаровского «Звона» автоматически перенесло центр словенской литературно-критической мысли в Вену.

Уроженец Нижней Крайны, Й. Стритар получил диплом Венского университета только в 1874 г. Закончив курс в 1859 г., он много путешествовал по Европе, даже собирался эмигрировать в Америку, писал стихи, учительствовал в состоятельных венских семьях, а защитить дипломную работу было все недосуг. Став дипломированным филологом (древние и романские языки), он более сорока лет прожил в Вене, преподавал в гимназиях, был переводчиком и даже редактором свода законов Австро-Венгерской империи и в отличие от Левстика, за которым был учрежден негласный надзор, не имел неприятностей с властями. Стритар в совершенстве знал немецкий язык, был женат на австрийке, писал по-немецки пьесы, в 1877 г. даже опубликовал немецкий перевод своего дебютного стихотворного сборника «Стихотворения» (1869) — «Boris Miran's Gesdichte» в Вене. Как поэт, он испытывал сильнейшее влияние поэтики Гейне и Гёте. Энциклопедически образованный, свободно ориентирующийся в античной и европейской литературе, Стритар в конце 1860-х гг. становится неформальным лидером литературного кружка словенских студентов в Вене, куда входили такие выдающиеся впоследствии деятели национальной литературы, как Й. Юрчич, Ф. Целестин, Й. Огринец, Ф. Левец, Я. Керсник и И. Тавчар. Каждое второе воскресенье месяца будущие великие писатели и литературные критики собирались на чьей-нибудь квартире, читали свои произведения и обсуждали только что услышанное. Последнее слово всегда оставалось за Стритаром. Его авторитет и литературный вкус были непререкаемыми. Он был глубоко убежден, что словенцы могут создавать художественные произведения, сопоставимые с мировыми образцами, поэтому-то, как впоследствии не без пафоса заметил литературовед И. Приятель, он и начал «плановое выращивание литераторов»³. В лице Стритара юная и робкая словенская литература получила первого педагога и воспитателя, деятельность которого дала реальные плоды, — целую плеяду поэтов, прозаиков, литературных критиков, редакторов. Он искал и поддерживал таланты, но был строг в своем отборе. Вот что писал участник дискуссий, впоследствии главный редактор «Люблянского звона» Ф. Левец:

будущему крупнейшему писателю-реалисту Я. Керснику в декабре 1867 г.: «Общество наше состоит всего из Стритара, Юрчича, Целестина, Огринца и меня ничтожного. Ты удивишься и, вероятно, спросишь, а что никто из других венских словенцев не умеет сочинять? Я могу на это ответить одно — Стритар так хотел. Его словам я верю больше, чем заветам Моисея. Этот человек дороже золота: знает все мировые литературы, у него быстрый ум, великолепный эстетический вкус, чуткое сердце и особая убедительность речи. Он художник с ног до головы»⁴.

Дебют Стритара в качестве литературного критика состоялся в 1866 г., когда молодой прозаик Й. Юрчич приступил к изданию серии произведений словенских классиков «Колосья отечественного поля», работа над которой проходила в частности в Вене. Первой книгой этой серии стало переиздание сборника стихотворений Ф. Прешерна под редакцией Левстика, вступительную статью «Прешерн и его стихотворения» написал Стритар. В этом «эпохальном», как восторженно отозвался о нем Левстик⁵, исследовании впервые в истории словенской литературы был дан тонкий и убедительный анализ художественной манеры великого романтика, показано место и значение его поэзии для развития национальной литературы. «У любого народа есть человек, который мыслится со святым, чистейшим ореолом славы над головой. То, что для англичан Шекспир, для французов Расин, для итальянцев Данте, для немцев Гёте, для русских Пушкин, для поляков Мицкевич, — это для словенцев Прешерн»⁶, — писал Стритар, недвусмысленно задавая масштаб дарования и тем самым стремясь включить совсем юную национальную словесность в европейский литературный контекст. Здесь же автор размышлял и о высоком предназначении поэта вообще, о его гуманистической миссии. При этом он был глубоко убежден, что дисгармония художественно одаренной личности и окружающего мира, недостижимость идеала есть необходимые условия для возникновения истинной поэзии, «мировая скорбь» — важная тональность искусства. Одновременно в «Словенском гласнике» начинают публиковаться «Критические письма» Стритара с подзаголовком «Что особенно необходимо нашим поэтам». В них выдвигается несколько крайне важных тезисов, раскрывающих позицию автора относительно стратегии национального литературного развития. Стритар говорит о необходимости создания литературы по европейскому образцу, подчеркивает независимость и самодостаточность искусства слова, первым в истории словенской критики пытается раскрыть психологический механизм творчества. Через два года Стритар, Юрчич и Левстик совместно издают литературный альманах со своими произведениями «Младика» («Побег»), подготовка которого также шла в Вене.

Впоследствии свои взгляды на задачи литературы и литературной критики Стритар развил в эссе «Литературные беседы», где были затронуты такие важнейшие проблемы, как стратегия развития журнального и издательского дела, соотношение ведущих литературных направлений в Европе и в словенской словесности, роль художественной формы, поэтического языка и фольклора в формировании национальной модели литературы и многие другие. Свои выводы Стритар использовал при анализе творчества современников — Енко, Левстика, Юрчича.

Эрудит, поборник принципов «чистого искусства», Стритар поражал современников широтой мышления, однако его общественные воззрения отличались некоторым идеализмом. Так, он полагал, что с помощью литературного журнала можно объединить художников слова «поверх» идеологии и политики, создать единую трибуну литературной жизни, так, чтобы принципиальными критериями отбора авторов стали эстетические: «через эстетическую свободу прийти к моральной, общественной и национальной»⁷. Вместо принципа определенной идейной ангажированности, исповедуемого как «старо-» так и «младословенцами», Стритар ввел понятие «прекрасного», которое вне политики и идеологии, будучи уверенным, что мир спасет красота. «Просвещать народ согласно требованиям сегодняшнего времени, руководствуясь принципами настоящего либерализма, <...> без всех побочных и своекорыстных целей <...> — вот вкратце задача нашего нового начинания»⁸, — писал он драматургу Йосипу Вошняку.

В январе 1870 г. с пометкой на титульном листе «в Вене» выходит первый номер «нового начинания» — журнала «Звон» на словенском языке с подзаголовком «Izroznanski list» (т. е. беллетристический журнал, журнал изящной словесности). Выбор названия, естественно, не случаен*, хотя прямую аналогию с герценовским «Колоколом» (1857–1867) провести трудно, поскольку по своей общественно-политической платформе стритаровское издание довольно далеко от русского. Однако помимо основной, заложенной в самом названии издания задачи «будить» общественное сознание и внешнего фактора — национальный журнал выходит за пределами национальных территорий — объединяет Стритара и Герцена, также стремление к актуальности проблематики. Стритар в целом разделял мысль Герцена о необходимости оперативно откликаться на все происходящее на родине («...события в России несутся быстро, их надобно ловить на лету, обсуживать тотчас»⁹, — писал Герцен).

* Ряд словенских исследователей (И. Приятель, С. Боршник и др.) полагают, что это название возникло в непосредственной связи с «Колоколом» Герцена.

«Звон» выходил почти весь 1870 год. Он был с воодушевлением встречен словенской диаспорой в Вене и несколько прохладнее на родине, куда, правда, попадал с некоторым опозданием. Главной трудностью для редактора оказался недостаток качественных, соответствующих его эстетическим запросам текстов на словенском языке, а ведь одной из стратегических задач журнала было ознакомление читателей с новейшими, свеженаписанными произведениями национальной литературы. Чтобы как-то выйти из положения, Стритар сам становится главным бенефициантом своего журнала, публикуя в первых номерах роман в письмах «Зорин», копирующий «Новую Элоизу» Руссо и «Страдания молодого Вертера» Гёте, и критическое эссе «Литературные беседы», в котором размышляет об экстенсивном пути развития национальной литературы. Однако желание привить читательской аудитории чувство прекрасного «разбилось», с одной стороны, о культурную ограниченность читателей, в массе своей не принимавших и не понимавших европеизированные, далекие от реальных проблем произведения Стритара (немногие знатоки могли оценить его усилия адаптировать классические сюжеты), с другой стороны, о нежелание как либералов, так и консерваторов сотрудничать с апологетом «чистого искусства». Повышение художественного уровня национальной литературы, стремление преодолеть ее вынужденную герметичность и включиться в процесс общеевропейского развития, обогатить систему жанров и эстетическую мысль — все эти предложения Стритара казались чересчур новаторскими и преждевременными как Левстику, так и Блейвейсу. Конечно, определенную роль здесь сыграла и принципиальность Стритара, всегда прямо указывавшего на слабости и недостатки своих авторов, что не могло не отпугнуть некоторых из них. Впоследствии именно в этой принципиальности Стритара-критика, в «воспитательном моменте», присущем его подходу, словенское литературоведение усмотрело один из способов «освобождения словенской литературы от пут лжи»¹⁰.

В 1876 г. Стритар вернулся к идее объединительного периодического литературно-критического издания, и обновленный «Звон» вышел вновь. Под влиянием Левстика была несколько изменена концепция журнала, теперь подзаголовок звучал так: «За отечество, свободу, правду», т. е. была сделана попытка трансформировать «чисто» литературное издание, ориентированное только на интеллигенцию, в более доступное широкой аудитории. Редактор понимал: чтобы сделать журнал понятнее и интереснее разным группам населения, относящимся к разным конфессиям (католики и протестанты), объединить их интересом к родному языку и культуре, надо отказаться от выбранного им элитарного подхода. Стремясь сделать «Звон» более привлекательным для разных слоев общества,

Стритар пришел к идее семейного журнала, образцом которого стала для него немецкоязычная газета «Gartenlaube». Он мечтал разнообразить содержание «Звона» за счет новых жанров, в качестве ведущего прозаика привлек к работе Й. Юрчича, уже прославившегося своими романами «Десятый брат» (1866) и «Иван Эразм Таттенбах» (1873). Юрчич начал писать для «Звона» повесть «Красавица Вида». Стритар первым опубликовал прекрасные стихи С. Грегорчича, открыв для читательской аудитории его огромный поэтический дар. Продолжая выступать как прозаик и поэт (роман «Господин Миродолски», поэтический цикл «Венские элегии» (1876)), Стритар уступил место литературного критика своему ученику Ф. Левецу, выступившему с программным обзором словенской литературы «Лучшие поэты и прозаики словенские» (1879). Обновленный «Звон» просуществовал до 1880 г. Прекращение его издания имело свои объективные и субъективные причины. С одной стороны, его редактор преподавал в гимназии, и времени на творчество оставалось все меньше. Несмотря на личные контакты и даже дружбу с авторами журнала, он постоянно ощущал нехватку готовых текстов. Юрчич был вынужден прекратить сотрудничать со «Звонком» из-за необходимости выполнять другие контракты с люблянскими издателями, и финала повести «Красавица Вида» «Звон» так и не дождался. Сам факт издания журнала в Вене начал рассматриваться либералами как непатриотичный. Стритар подвергался нападкам из-за его «оторванности» от национальной почвы. С другой стороны, к началу 1880-х гг. произошел естественный приток молодых прогрессивно настроенных литературных сил в Люблян, туда вернулись Ф. Целестин, Ф. Левец, Я. Керсник, готовые работать, чувствующие веяния нового времени. Как писал Керсник: «Новое время — это время науки, а не того чистого идеализма, который был фундаментом некогда благоуханной, а ныне уже увядшей романтики <...> Нужно познавать объективные закономерности мира, и если прежде основой литературы были вера и мифология, теперь единственным стимулом литературного развития должно стать знание»¹¹. Эстетизм, умеренность и аполитичность учителя не удовлетворяли более его учеников. С учетом всех этих обстоятельств Стритар отказывается продолжать издание своего венского детища и мужественно предлагает своим молодым коллегам учредить новый литературно-критический журнал в Любляне. Журнал «Люблянский звон», возглавленный Ф. Левцем, а затем более полувека определявший литературный климат Словении, вышел в свет в 1881 г.

Словенский просветитель Йосип Стритар, попытавшись привлечь внимание к эстетической стороне литературного творчества, потерпел неудачу, потому что в своих взглядах во многом опередил свое время. Его концепция развития национального литературного

процесса столкнулась с неустойчивостью, шаткостью самой литературной традиции, его теоретические предложения — с реальной литературной практикой. Но находясь в конце 1860-х — 1870-х гг. во главе литературной и культурной жизни Словении, именно Стритар подготовил почву для того прорыва, который словенская литература осуществила к 1890-м гг., когда мощным реалистическим рывком она «догнала» ведущие европейские литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: *Žitnik J.* Slovenski pisatelji in izobraženci na Dunaju: kratek pregled // Slovenska izseljenska književnost. Ljubljana, 1999. Knj. I. S. 80.
- ² См.: *Чуркина И. В.* Словенская матица // Славянские матицы XIX век. М., 1996. Ч. 2. С. 124
- ³ *Prijatelj I.* Književnost mladoslovencev. Ljubljana, 1962. S. 77.
- ⁴ Ibid.
- ⁵ *Levstik F.* Zbrano delo: 1948–80. Ljubljana, 1981. Knj. 11. S. 74.
- ⁶ *Stritar J.* Prešernovo življenje pa so njegove poezije // *Mušič J.* Sodobniki o Dr. Francetu Prešernu. Ljubljana, 1989. S. 78.
- ⁷ *Stritar J.* Literarni pogovori I // Slovenski literarni programi in manifesti. Ljubljana, 1990. S. 31.
- ⁸ Ibid. S. 79.
- ⁹ *Герцен А. И.* Собр. соч. М., 1954–1966. Т. 12. С. 357.
- ¹⁰ *Prijatelj I.* Izbrani eseji. Ljubljana, 1952. Knj. I. S. 401.
- ¹¹ Цит. по: *Pogačnik J.* Zgodovina slovenskega slovstva. Realizem. Maribor, 1973. Knj. 4. S. 284.

Н. В. Шведова
(Москва)

**«Корни действительности,
погруженные глубоко в пропасть сна»
(надреалистическая поэзия Владимира Райсела)**

Словацкий сюрреализм (надреализм) — одно из интереснейших течений национальной поэзии XX в. Годы его расцвета пришлось на околовоеенную и военную пору (словацкие ученые дают разные периодизации, но этот отрезок можно обобщенно выделить как 1939—1946 гг.). Теоретик надреализма М. Бакош в конце 1960-х гг. так оценил это явление: «Надреализм в словацкой лирике удивительным образом развился вопреки неблагоприятным условиям Словацкого государства, стал наиболее определившимся и внутренне наиболее компактным движением в словацкой литературе со времен штуровских (романтизма 1840-х гг. — *Н. Ш.*) и повлиял на все дальнейшее развитие нашей поэзии»¹.

Нельзя сказать, что надреализм до сих пор не изучался в российском литературоведении. В советские времена его преимущественно оказывались антифашистская направленность и левая ориентация поэтов (последнее характерно и для французского, и для чешского сюрреализма). В последние пятнадцать лет у нас делаются успешные попытки охарактеризовать надреализм как особое мировоззрение и поэтику (работы Л. Н. Будаговой, Ю. В. Богданова). Л. Н. Будагова, в частности, верно отмечала гносеологическую направленность надреализма: «Отстаивая право поэзии на разного рода алогизмы, многие надреалисты исходили не из творческого волюнтаризма, не из соображений о допустимости абсолютной творческой свободы, переходящей в произвол, а из стремления познать еще не познанное. Примечательны их попытки доказать жизненную обоснованность многих якобы абсурдных композиций, представляющих, однако, вполне реальное явление, показанное лишь в неожиданном ракурсе»².

К словацкому надреализму традиционно относят Рудольфа Фабри, Владимира Райсела, Павла Бунчака, Штефана Жари, Юлиуса Ленко, Яна Брезину, Яна Рака. К ним примыкают Иван Купец, Альберт Маренчин, отчасти Павол Горов, Рудольф Дилонг и др. В 1938 г. надреализм оформился как движение: выходит альманах «Да и нет», составленный Микулашем Бакошем и Клементом Шимончичем, в котором собраны стихи, переводы, статьи молодых авторов, провозгласивших: «Мы против культурной реакции, против фашизма, который есть порабощение духа, — в этом наше -

решительное „нет“ — и мы — за прогресс и положительно относимся к тому, что было прогрессивным в традиции словацкой, — в этом наше „да“³. По этому программному выступлению сторонники надреалистического движения (кроме поэтов, ученые и художники) стали называться «Авангард-38»; так названа и книга М. Бакоша, вобравшая в себя исследования самого ученого, статьи и выступления других авторов, документальные материалы. Примечательно, что словацкий надреализм, шедший непосредственно вслед за чешским сюрреализмом (листовка «Сюрреализм в ЧСР», 1934) и вливавшийся в общеевропейское сюрреалистическое направление, которое в 1930-е гг., по словам Л. Г. Андреева, «скорее начинает гаснуть, чем разгораться»⁴, вырастает как движение в тот год, когда Витезслав Незвал распускает сюрреалистическую группу (1938). Тем самым он словно подхватывает эстафету. В 1939 г. движение получает «более славянское» название, отразившее характерную черту словацкой надреалистической поэзии: быть верными традициям национальной литературы, таким, как глубина размышлений, неуспокоенность, таинственность и задушевность романтика Янко Краля.

И словацкие, и российские исследователи анализировали надреализм прежде всего как движение. Наиболее пристальное внимание из отдельных авторов вызывал Рудольф Фабри⁵ (1915–1982), первопроходец надреализма, поэт и художник, бунтарь и «хулиган» в своей первой книге «Отрубленные руки» (1935), неутомимый искатель в сборнике «Водяные часы часы песочные» (1938) и философ апокалиптического толка в композиции «Я это кто-то другой» (1946). Однако рядом с ним вырисовывается не менее яркая и своеобразная фигура: Владимир Райсел (р. 1919). Проявив себя как незаурядный поэт, переводчик и теоретик в русле надреализма, он впоследствии работает редактором в различных журналах и издательствах, становится малозаметным, одним из многих «социалистических» литераторов, представителей «официальной» поэзии, в которой, разумеется, было немало крупных дарований, например, наследник надреалистов в 1960-е гг. Мирослав Валек (1927–1991). М. Бакош писал о Райселе: «Среди поэтов надреалистической группы Райсел наиболее последовательно и без компромиссов прослеживал в своем творчестве поэтический сюрреализм»⁶.

Мне удалось непосредственно познакомиться с этим человеком, чья судьба явно несет на себе отпечаток трагичности. Поэт первой величины в 1939–1945 гг., он в начале 1980-х гг., будучи главным редактором старейшего словацкого литературного журнала «Словенске погляды» (примечательный пост), внешне производил впечатление весьма непоэтическое: обветшавший, нравственно и физически нездоровый человек, явно склонный к алкоголю, но стремившийся

выглядеть благополучным. Он присутствовал на встрече чешских и словацких писателей со студентами и аспирантами филфака МГУ, которую вела профессор Р. Р. Кузнецова (1920–2001). Такое впечатление, увы, надолго определило мое отношение к Райселу и его творчеству. Я была поистине ошеломлена, познакомившись поближе с поэзией Райсела при подготовке антологии словацкой поэзии «Голоса столетий» (М., 2002). Великолепные стихи периода надреализма, едва ли не самые яркие во всей надреалистической поэзии, — и лично стертые творчество послевоенных лет, из которого я с трудом выбрала для перевода короткий стишок о сломанной детской игрушке («Детский натюрморт»). (Подписано моим псевдонимом М. Васильева, что означало известную безучастность переводчика.) Отголоски надреализма звучат, в частности, в сборнике Райсела «Стихи о сне» (1962). Поэзия Райсела-надреалиста постепенно раскрылась мне во всем богатстве оттенков, в роскошной чувственности и фонтанирующей образности, по сравнению с холодноватостью и «рассудочной иррациональностью» Р. Фабри, с его коллажными образами. Райсел также высказывал интересные теоретические положения, например: «Однако очевидно, что когда был открыт настоящий источник поэзии, воображение, ведомое желанием, и доказательство, что величие отдельных поэтических произведений зависело только лишь от этого источника, будет напрасной попытка остановить развитие, которое, если оно легитимно и подлинно, вообще остановить нельзя»⁷. (На примере надреализма, увы, оказалось, что можно.) В этой формулировке словацкий поэт идет вслед за А. Бретоном⁸.

Для понимания картины словацкой поэзии в середине XX в. надреализм и, в частности, творчество Владимира Райсела имеют первостепенное значение. Справедливо заключение М. Бакоша: «Четыре надреалистические книги Владимира Райсела, в которых он весьма эффективно помогал намечать путь развития надреализма, являются его важнейшим вкладом, с которым он ярко вписался в историю современной словацкой поэзии»⁹.

Райсел рано определил свои приоритеты в поэзии и следовал им в разных областях своей деятельности. Он продолжал линию Р. Фабри. Из европейских образцов на Райсела прежде всего воздействовали французская поэзия от Шарля Бодлера и чешский сюрреализм в лице Витезслава Незвала. Еще гимназистом Райсел начинает публиковать стихи, пока что в постсимволистском ключе, и переводы с французского (он переводит А. Рембо, Г. Аполлинера, А. Бретона, Ф. Супо, П. Элюара и др.). По его словам, он в 1933 г. составил книгу примерно из 60 стихотворений (автору 14 лет!), хотел издать ранние стихи в конце 1930-х гг. под названием «Прикосновения», но этого не произошло. Юношеские произведения

Райсела вышли отдельной книгой в 1988 г. под заглавием «Терпкие дички». Название «Прикосновения» получил первый сборник (1959) ведущего поэта второй половины XX в. Мирослава Валека — по устному определению профессора Яна Штевчека, неосюрреалиста. Интересно, что первоначальное, авторское название сборника Валека созвучно итоговому названию ювенилий Райсела: «Тяга к плодам».

В 1939 г. был опубликован книжный дебют Райсела (третья книга надреализма) «Я вижу все дни и ночи». Его доминирующие темы — любовь и детство, в том числе воспоминания о первой любви. Молодой поэт воспринимает окружающий мир как жестокий, несущий страдание и смерть. Слова с таким значением пронизывают образную ткань сборника. Вот примеры только из одного стихотворения: «тоскливости», «мертвая легенда замерзших губ», «как экзотический плач», «безнадежные ногти несчастливых», «перламутр бедняг», «агонии (множественное число! — *Н. Ш.*) счастья», «карта всех болей»; «потом умереть <...> умереть ради того кто тебя мучил»¹⁰ (s. 117–118) — стихотворение «Ради того кого ты любила». Любовь — это противоречивое, загадочное чувство, мучительно-прекрасное. Все надреалистические книги Райсела целиком или частично связаны с темой любви. В отличие от традиционной словацкой лирики, весьма целомудренной (идушей от поэтов-священников), любовь у Райсела — телесная, чувственная и при этом часто сопряженная с причудливыми образами — любовь-греза. В стихотворении «Парижская ночь», например, необычные образы любовной лирики и предчувствие катастрофы переплетаются с парижскими реалиями. Собственно, Париж — это вдохновенность французской поэзией. Эротические образы экспрессивны:

Розовые знамена тел как спирт семафора
Почему бы вам не назвать ее статуей Наполеона

* * *

Вот их лирические одежды сливающиеся с радужной серостью минут
Вот их обледеневшие ресницы подвешенные на перекрестках

(s. 109–111)

В стихотворении «Час духов и любви» Райсел использует характерные для него «гробовые» образы:

Ты признаешься в любви своей загробной возлюбленной
Которая напоминает тебе гидру

* * *

Она спит и рисует панихиду по мертвому газону
Которым является поэт

(s. 143)

Негритянка у него «страшно похожа на плантацию жемчужин», здесь также встречаются образы «дождем сыплются бусы ее снов», «невинная варварская слоновою кость» (тело у негритянки!), оно же «золотое болото» («Негритянка», s. 89–90). Из стихотворения в стихотворение переходят, например, образы луков и стрел («Одетта в тени игры», «За стеной любви»): сначала «без луков и стрел», затем —

Натянутые луки хищные стрелы которые выходят из тебя
 Это стрелы симулированного несчастья
 Трагический гроб

(s. 99)

Звучит в первом сборнике и тема поэзии. Райсел посвящает стихи Г. Аполлинеру, А. Бретону, П. Элюару, Р. Кревелю, В. Незвалу, романтику Янко Кралю и своему сподвижнику Фабри. Этому предшествует стихотворение «Плакат», в котором поэт излагает свою программу, исходящую из революционных открытий Аполлинера. Важен здесь и образ «ненаследственного», т. е. не принадлежащего словацкой традиции, хотя надреалисты вовсе от нее не отказывались.

Во время нашего детства играли новые не унаследованные арфы
 Было нужно настроить музыку сфер в единственной метафоре

* * *

Мы нашли способ как изменять миры

* * *

Поэт акробат маг и король всех цветов

(s. 164)

В стихотворениях, посвященных французским сюрреалистам, часто встречается образ сна, заметный и в других стихах. Это «роза сна» («Андре Бретон»), «надежды на новый сон» (или мечту) («Рене Кревель»), «И вижу его сны / Грязевые фиалки предчувствий / И ухода» («Филипп Супо») (s. 167, 169, 170). Есть и просто стихотворение «Сон», в котором поэт видит возлюбленную «с отрубленными руками» (мотив из Фабри, идущий от Аполлинера). Стихи Незвала — «ослепительные драгоценные камни»,

Стихи нарисованные бесцветным мелом минуты
 Пастели чудес
 Арабески еще более чудесных случаев
 Пантомимы головокружительных мгновений

(s. 171)

Райсел подчеркивает не только новизну, но и путеводный характер надреалистической поэзии, сравнивая ее с Вифлеемской звездой («Ураган»). В этом стихотворении открытия, творения поэта соотносятся с новыми мирами, планетными системами, превращениями

в мире. Звезда поэзии зажигает «над тьмой безжизненных дней / Бесконечный день» (s. 175).

В своих теоретических рассуждениях Райсел писал: «Мы хотели видеть всю Вселенную и всю жизнь, жизнь в многообразии, сконденсированную в одной строке»; «в поэзию мы вкладывали всего человека»¹¹ — т. е. в частностях предполагалось увидеть важные обобщения.

Программный характер носит и стихотворение «Перед лицом всех», где поэт говорит (с преувеличением) о «гибели традиции» «тенденциозного корабля», о новых поэтах, которые пошли по пути «бунта прекрасного как нагота»:

Двигаясь по циферблату действительности при звуках иллюзии и сна
На местах где прикосновение вычурных антиномий высекает чудесную искру
Быть ясным и открытым как источник

(s. 183)

Стихи о новой поэзии проникнуты ожиданием будущего, наполненного светом, по сравнению с мрачноватой любовной лирикой Райсела.

В отличие от Фабри, дебютировавшего раньше и вначале прибегавшего к рифмованной силлабо-тонике, Райсел культивирует свободный стих без пунктуации. Он часто использует экспрессивность анафоры. Например, в стихотворении «Одетта в тени игры» Райсел повторяет анафору «твоего—твоих» 26 раз, разбив ее одной строкой. Анафора в основном относится к частям тела и нанизана на мотив игры (пьесы). Стихотворение «Нет и почему нет» насыщено анафорами «ничто», «нигде», «никто», «никогда», что создает ощущение нереальности и в то же время утраты. Они сливаются в одной строке:

Никогда никто нигде ничто
Горькие отрицания которым мы будем кланяться
Отрицания с глазами волков

(s. 145)

Одно из любимых слов Райсела — «меланхолия», например: «Мои слова / Это искры выходящие из кузницы меланхолии» («Колесо», s. 181). Или из стихотворения «Поэт»: «Мои стихи это обломки многих статуй / Соединенные в единую статую / Меланхолии» (s. 188).

Второй сборник Райсела «Темная венера» был составлен из стихотворений 1938–1940 гг., но вовремя не вышел, его рукопись была утрачена, затем найдена и опубликована в 1967 г. Здесь уже почти безраздельно властвуют эротические мотивы, по-прежнему сопряженные как с наслаждением, так и с мучением, изобилующие образами печали, тревоги, насилия, смерти, конца света. «Кто бы мог противиться прекрасному несчастью / Которое есть любовь» («Изо

дня в ночь», s. 238). Постоянный поэтический объект — тело женщины: «Твое тело покрашенное резкими безумными спектрами» («Атака плотоядной розы», s. 198). Часто стихотворения строятся как обращение к любимой: «Нет ничего с чем бы я тебя не мог сравнить», — и за этим следует 17 сравнений, которые завершаются сопоставлением с «мертвой статуей» и «эхом гибели» («Фиолетовое явление», s. 196–197).

Райсел воссоздает не только любовные переживания, но и раздумья о судьбе, жизни и смерти. «Корни действительности погруженные глубоко в пропасть сна» — строка стихотворения «Затуманенные женщины из предместья» (s. 218). «Конец конец всему / ...И женщине / Спокойному столпу / Поставленному на радость / Сынов запада» («Ты молчишь открытая», s. 247). Образы гибели не в последнюю очередь навеяны войной. «Сомкнутые рты / Кричат / Кричат / Зовут / Никто не откликается / Зовут камни / Откликается солнце» («Ты уходила за течением», s. 258). Эротические сны — преломленные реальности, причем всеобъемлющей. «А человек / Созданный для цивилизации / Для камней способных убивать / Для животных вплоть до обморока / Играет свою непостижимую пьесу» (Сразу», s. 256). Поэт становится первооткрывателем неизвестного: «Я никогда не откажусь / От образов которые я не создал / От путей по которым я не прошел / От женщин которых я не знал» («Я знаю места где никто не встретится ни с кем», s. 252).

Кроме сплетения мотивов (упоение — тревога, эротика — судьба), для стихотворений цикла характерны эффектные начала и концовки (такая склонность обнаруживалась еще в первом сборнике). Да и названия у Райсела весьма выразительны. Пример начала: «Это на твоих руках я сплю / С жестами убийцы» («У крепостей тишины», s. 243). Концовки: «...Как змееныш лампы / Которая колышется над бумерангом черных рассказиков» («Почему воют волки», s. 242); «Если бы это не была ты / Кто бы закрывал мои глаза / Легкими и неслышными голосами / Тайги» («Страны идут», s. 251). К концу книги начинают преобладать короткие, порой в одно слово, строки, отчего усиливается их весомость, например: «Закреть / Глаза / Перед гибелью» («Ты уходила за течением», s. 260).

Второй опубликованной книгой Райсела стала поэма «Нереальный город» (1943). Ю. В. Богданов называет ее одним из вершинных достижений словацкого надреализма¹². Словацкие ученые, впрочем, отмечают в ней отход от надреалистической поэтики¹³. Написанная в свободной монтажной технике, поэма все же содержит законченную сюжетную линию: путешествие героя в осенне-зимнюю Прагу, прогулки по городу и отъезд, связанный с концом любовной истории. Райсел подчеркивает рефреном в начале поэмы и в конце каждой части свое шемящее чувство ностальгии: «И была это все-таки

самая страшная ностальгия / Ходить долго до ночи по диким покинутым местам» (s. 271 и др.). Последняя строка поэмы — иная: «...ностальгия / Уезжать уезжать с мыслью о женщине которую мы не перестали любить» (s. 305).

Переживания героя просты и понятны: воспоминания, нынешние впечатления, любовь, неизбежность разлуки с женщиной по имени Эмилия. Образность в поэме порой необычна, часто в эротических мечтаниях, порой более традиционна (в повествовательных фрагментах). Например, о возлюбленной: «...Твоя многоцветная грудь поднятая до неба / Неоновая / Твой живот Вселенной», «...Постоянно эта твоя отсутствующая улыбка / Твои жесты мертвого ангела / Твои слова бури / Твое тепло птицы» (s. 294, 297). Символизмом отзываются, в частности, такие строки: «Тебя и не удивит разнородная песнь улиц / Где сбежались все краски Вселенной / Ты здесь среди людей бесконечно счастлив / Ибо ты незнаком / Как комета» (s. 287). В поэме различим трепет тонкого живого чувства, колеблющегося между ожиданием, восторгом и утратой.

В финале поэт прощается и с любовью, и с городом, и с прошлым: «Прощай Эмилия / Прощай нереальный город / Город любви и предательства / Город рук которые я любил / Голос глаз самых покорных глаз Вселенной / Город отданного тела / Город губ сотворенных лишь для любви / Город губ сотворенных говорить самые ласковые слова / Город поэтов и самоубийц» (s. 305)

Последняя книга надреалистического периода у Райсела — «Зеркало и за зеркалом» (1945). Первую часть — «Зеркало» — составляют уже привычные для поэта любовные стихи, вторую — «За зеркалом» — антивоенные и приветствующие освобождение. Хрупкая любовная лирика порой напоминает импрессионизм — тонкие оттенки чувства, трудноуловимая атмосфера. Женщины «напрасны / Как дым / Головокружительного / Колеса / Судьбы» («Ты», s. 314). Стихи второй части воссоздают ужасы войны, как у Р. Фабри («Я это кто-то другой») или П. Горова («Ниобея мать наша», 1942; «Возвращения», 1944). «Ты бы хотел услышать человеческий голос / И смерть откликается» («Огонь», s. 327). В собеседники себе лирический герой выбирает Янко Краля и Лотреамона. Образы в этой книге уже менее причудливы, чем в той же «Темной венере». К концу книги стихи становятся ясными и лаконичными, в них даже появляются рифмы («Факелы»). Лирический герой однозначно приветствует перемены, связанные с освобождением, мечтает о новом, революционном мире. «Это просто невозможно / Столько роз / В один день» («Победный день», s. 365). В 1946 г. Райсел выпустил монографию о крупнейшем поэте межвоенного периода, Лаце Новомеском, который, оглядываясь на 20-е гг., говорил о «революции поэзии и поэзии революции» («Вилла Тереза», 1963).

На этой волне становится понятным и вполне естественным переход Райсела (и других надреалистов) в стан певцов социалистических преобразований в 50-е гг. Как и французские сюрреалисты и Незвал, поэты относились к левому движению, и им не пришлось круто ломать мировоззрение в годы перемен. По-другому было с поэтикой. Как отмечал Ю. В. Богданов, из надреалистов «каждый по-своему, с большими или меньшими потерями, прошел через форсированный отказ от „декадентского“ прошлого в 1950-е гг., с трудом обретая новое, нередкое мнимое равновесие»¹⁴. Важно подчеркнуть искренность, неконъюнктурность перехода на новые рельсы, о чем говорили ведущие словацкие ученые М. Томчик и М. Бакош¹⁵. Поэты поверили в осуществление своей мечты о социальном устройстве. К 60-м гг. «эйфория» развеялась, наступил этап сложного возвращения к самим себе, к творческим истокам. Райсел и после 1950-х гг. публикует много сборников, в том числе и ранние произведения. Наиболее заметный его вклад в литературу состоялся, однако, в пору надреализма. Тогда его творчество было действительно новым словом, оригинальным по звучанию.

Надреалистические произведения В. Райсела обогатили национальную поэзию достижениями высокого уровня, представили словацкий вариант мирового сюрреалистического направления, который, наряду с натурализмом в словацкой прозе, был значительнейшим течением национальной литературы 1930–1940-х гг. У Райсела надреализм был отмечен неповторимыми нюансами: яркой эротичностью, тонкостью переживаний, причудливой, но не шокирующей образностью. К сожалению, более позднее творчество поэта и его официальные должности во многом заслонили прекрасный эпизод его надреалистической молодости.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ *Bakoš M. Avantgarda-38. Bratislava, 1969. S. 160.*
- ² *Будагова Л. Н. «Быть ближе к истине...» Направление поиска в поэзии Чехословакии 20–30 х гг. // Реализм, в литературах стран ЦЮВЕ первой трети XX в. М., 1989. С. 99.*
- ³ *Апо а не // Вакош М. Avantgarda-38... S. 181.*
- ⁴ *Андреев Л. Г. Сюрреализм. М., 1972. С. 40.*
- ⁵ Мы категорически против написания словацких мадьяризованных фамилий через «ы» (Фабры, Жары, Крчмеры), так как звука «ы» в словацкой фонетике не существует.
- ⁶ *Bakoš M. Prínos Vladimíra Reiséla a iné otázky nadrealizmu // Avantgarda-38... S. 138.*
- ⁷ *Reisel V. Ako vzniká moderná báseň // Bakoš M. Avantgarda-38... S. 195.*

- ⁸ *Андреев Л. Г.* Сюрреализм... С. 81.
- ⁹ *Bakoš M.* Avantgarda 38... S. 136.
- ¹⁰ *Reisel V.* Temné noci gozkoše. Bratislava, 1989 (здесь и далее цитаты в подстрочном переводе автора работы, страницы по этому изданию указаны в скобках).
- ¹¹ *Reisel V.* Ako vzniká moderná báseň // *Bakoš M.* Avantgarda-38... S. 199.
- ¹² *Богданов Ю. В.* Словацкая литература // История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3. С. 817.
- ¹³ *Bakoš M.* Avantgarda-38... S. 135; *Dejiny slovenskej literatúry / Pišút a kol.* Bratislava, 1984. S. 645.
- ¹⁴ *Богданов Ю. В.* Словацкая литература // История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны. М., 1995. С. 289.
- ¹⁵ *Bakoš M.* Avantgarda 38... S. 126–127.

Американцы польского происхождения в Милуоки, штат Висконсин

Вместе с пригородами население города Милуоки, расположенного в юго-восточной части штата Висконсин, рядом с границей штата Иллинойс (неподалёку от Чикаго) насчитывает примерно полтора миллиона человек. Статистика показывает, что после второй мировой войны американцев польского происхождения среди них было 150 тыс. человек, что составляет добрых 10 % жителей города. В отдельных же его кварталах, особенно в южной части, они составляли больше половины обитателей. После этого периода их число стало постепенно уменьшаться за счет смешанных браков, растворяясь в американском плавильном котле. Конечно, потомки первоначально польских семей всё еще здесь, но они уже не считают себя поляками. На сегодняшний день число тех, кто остался верен польским национальным традициям, оценивается в 15 тыс. человек. Для примера — в Чикаго проживает более двух миллионов поляков, и в течение многих лет его называли «самым большим польским городом», ибо в нем поляков было больше, чем в Варшаве. Тем не менее, в Милуоки польское землячество является хоть и не столь многочисленным, но зато крепким и влиятельным. Это находит отражение в числе политических и культурных организаций, которые представляют американцев польского происхождения, как на региональном, так и на государственном уровне, вплоть до самого верха. Среди них — Польский Американский Конгресс, Польский Национальный союз, Совет имени К. Пулаского, Фонд имени Т. Костюшко и Польский институт искусств и наук (Нью-Йорк), Американский институт польской культуры (Флорида), Пястовский институт (Детройт), Американский Совет по делам Польской Культуры (АСПК). Все они являются сильными и активными объединениями с бюджетами, исчисляемыми миллионами долларов.

В Милуоки у нас есть организация «Полянки» (Polanki), которой руководят жены (sic!) значимых в общественном или деловом мире людей, а также скромная по численности Ассоциация по распространению польской культуры. Последняя насчитывает всего 80 человек, но она действует под эгидой мощного Американского Совета по делам Польской Культуры (АСПК), значимого в общегосударственном масштабе. Всего АСПК объединяет 44 культурных клуба (Милуокский — один из них), которые заявили о своей

принадлежности к нему и вносят в его бюджет ежегодные взносы. В Висконсине все культурные и политические организации такого рода объединены «под одной крышей», и этой дружеской «крышей» является Польский центр штата Висконсин. Здание Центра было недавно возведено вблизи прекрасного пруда на окраине Милуоки, в его пригороде «Франклин» (конечно, в южной части города). Все сведения о деятельности Центра распространяются на страницах англоязычной газеты «The Polish Connection».

Польским эмигрантам в Америке предшествовали знаменитые военные деятели, такие как генерал Тадеуш Костюшко и генерал Казамир Пуласки, оба выходцы из тогдашней Польши. В годы, последовавшие сразу же за первым разделом Польши (1772), оба они внесли свой вклад в борьбу за американскую независимость от Британии. Воздвигнутые в их честь монументы стоят ныне в Вашингтоне на Пенсильвания-авеню, против Белого дома.

Большинство американцев польского происхождения принадлежат к рабочему классу, но имеется также значительное число юристов, писателей, научных работников, университетских профессоров, священников и конгрессменов. Хорошим примером политического деятеля польского происхождения является конгрессмен Джеральд Ключка, сын судьи из Милуоки. В районе Милуоки имеется 15 крупных польских костёлов. Среди них выделяются импозантный монументальный храм Св. Иосифа с огромным куполом и всемирно известный костёл Св. Станислава с двумя башнями на Линкольн-стрит. Под польским управлением находится также значительное число деловых учреждений, банков и промышленных предприятий.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что в 1946 г. отмечалось столетие со времени основания города Милуоки. По этому поводу Джон Якуш-Гостомски писал тогда о молодом Михале Скупневиче, крестьянском сыне из северной Польши, который в 1846 г. поселился в Милуоки: «Михал был первым представителем своего народа, кто построил свой дом в нашем городе, а за ним последовали сотни, а затем и тысячи его земляков, покинувших свою несчастную страну, лежавшую раздавленной у ног трёх деспотических соседей — России, Пруссии и Австрии. <...> Михал оставил свой скромный дом и родителей-крестьян в районе Кошмина, в части Польши, принадлежащей Пруссии, чтобы искать лучшей судьбы в стране, освободить которую помогали Костюшко и Пуласки, в стране, где свобода слова, религии и равные возможности были гарантированы высшим законом государства». Говорят, что Скупневич сумел собрать пятьсот долларов — огромную сумму по тем временам. «На эти деньги, — писал Якуш-Гостомски, — он купил 80 акров покрытой лесом земли в районе, известном теперь как местечко Каламус

в округе Додж. Молодой первопоселенец срубил часть своего леса и расчистил территорию для земледелия»².

Эта история иллюстрирует пример успешной жизни в Америке. Но было много и тех, кто успеха не добился, а проще сказать — потерпел неудачу. Иммигрантская жизнь никогда не была легкой или простой, языковой и культурный барьеры создавали дополнительные трудности. Судьба многих менее удачливых иммигрантов была прекрасно отображена Генриком Сенкевичем (лауреатом Нобелевской премии по литературе) в коротком рассказе «За хлебом», написанном в XIX в. В этом рассказе нет счастливого конца... Попутно отметим, что современница Сенкевича, знаменитая польская актриса Хелена Моджеевска, находилась в Калифорнии в то самое время, когда Сенкевич совершал свое трансамериканское путешествие. Оба они внесли свой вклад в развитие американской культуры. То же можно сказать о Марии Кюри-Склодовской, открывшей первые радиоактивные элементы и дважды лауреата Нобелевской премии (в 1903 г. по физике и в 1911 г. по химии), Яне Игнаце Падеревском, пианисте и активном борце за независимость Польши, который дожил до ее освобождения и рождения независимого государства в 1918 г. Независимость Польши была обретена при поддержке президента В. Вильсона, а день 11 ноября, когда возникла вторая Республика Польша, празднуется и в настоящее время в Польше как День независимости.

Анджела Пенкос писала: «С географической точки зрения поляки в Милуоки селились почти исключительно в двух районах города. Их самая большая коммуна находилась на южной стороне и включала почти три четверти всех американцев польского происхождения в Милуоки. Этот район покрывал в 1924 г. площадь приблизительно четыре квадратных мили, в котором поляки составляли по меньшей мере 50 % всех жителей. В этом районе была сконцентрирована организационная жизнь американцев польского происхождения в Милуоки: тринадцать польских римско-католических приходов, многочисленные отделения обществ взаимного страхования, многочисленные предприятия и банки, управлявшиеся поляками, а также редакции двух ежедневных газет, выходивших на польском языке»³. В наши дни сохранилась только одна газета, издающаяся на польском языке раз в две недели. Это «Gwiazda Polarna», выходящая в Висконсине, в городке Севенс Пойнт. Дух этой польской газеты чем-то напоминает газету «Колокол», издававшуюся Александром Герценом в XIX в., о чем говорит и её название («Северная звезда»). Газета существует уже почти 100 лет.

Слова А. Пенкос относились к первой волне польских иммигрантов в Америку, которые поселились здесь в конце XIX в., и кончая периодом непосредственно после Второй мировой войны. На

эту эпоху пришелся захватывающий дух рост американского процветания. Вторая волна иммигрантов была представлена менее многочисленными переселенцами 60 — 70-х гг. XX в., за которой последовала довольно большая группа «политических» иммигрантов из рядов движения «Солидарность», возглавлявшегося Лехом Валенсой, которое стремилось к свержению коммунизма в Польше. Если последняя волна по своим достоинствам и характеру была близка первому польскому поселенцу в Милуоки — Михалу Скупневичу, «классическому» иммигранту, добившемуся успеха в новой стране, то предшествовавшая ей волна характеризовалась стремлением к счастью и житейским принципом «хватай, что можешь». Специфический характер этой особой группы еще недостаточно уяснен. Вполне возможно, что она станет предметом будущего исследования.

В заключение хотелось бы привести пару мыслей, высказанных в предисловии к книге «Мы, милуокские поляки» ее издателем Тадеушем Боруном: «В Милуоки не существует ни одной улицы, ни одного здания, канализационного коллектора или коммерческого предприятия, созданию которых не способствовали бы в той или иной мере милуокские поляки». Даже Конституция Соединенных Штатов соответствует по своему духу польской Конституции 3 мая⁴.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ¹ Майкл П. Внук — профессор Университета штата Висконсин (г. Милуоки), США, Исполнительный директор Американской Ассоциации по распространению польской культуры (Висконсин).
- ² We, the Milwaukee Poles / Ed. by T. Borun. Milwaukee: Nowiny Publishing Co., 1946.
- ³ Ethnic Politics in Urban America: Polish American Historical Association / Ed. by A. Pienkos. 1978.
- ⁴ См. сноску № 2.

Т. И. Вендина
(Москва)

Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры (концепт Любовь)¹

Нам нельзя без любви. Без нее мы обречены со всею нашей культурою. В ней наша надежда и спасение.

И. А. Ильин. Без любви (из письма к сыну)

Среди нравственных императивов любой культуры Любовь занимает особое место, ибо Любовь — это идеальная нравственная норма, и поэтому она составляет основу и суть нравственной жизни человека. А так как культура «учит» людей, как жить, думать и чувствовать, то и Любовь играет важную роль в процессе социализации человека, вхождения его в общество. При этом в ментальном пространстве любой культуры в процессе ее эволюции складываются разные сценарии Любви, которые по-своему осмысляются языком этой культуры (ср., например, сценарии рыцарской, куртуазной, сентиментальной, романтической любви, которые в разное время возникали в западноевропейской культуре). Постепенно в языке формируется «лексикон» Любви со своей «философией» и даже цветом (ср. розовый цвет сентиментальной любви, кровавый цвет любви-страсти или бесцветный любви-привычки). Эта «философия любви» оказывается одновременно и этикой, и эстетикой, и психологией общества, поскольку социальные, нравственные, психологические установки культуры накладывают запреты на одни сценарии (так как они входят в противоречие с этическими нормами общества) и отдают предпочтение другим².

Теме Любви посвящена огромная литература, и мы не собираемся здесь входить в рассуждения об этом сложнейшем человеческом чувстве, а тем более излагать философию любви. Мы ставим перед собой более скромную задачу — взглянуть на этот концепт сквозь призму слова трех языков — старославянского, древнерусского и современного русского — и показать, как осмысляет каждый из них в границах слова это фундаментальное понятие своей культуры, поскольку слово — это не только единица языка, но и знак культуры, предстающий перед нами в единстве материального и духовного. Оно дает нам возможность понять, как человек воспринимает и оценивает мир сквозь невидимый фильтр своей культуры, ибо культура оказывает влияние не только на восприятие вещей, но и на их интерпретацию и осмысление. Слово формирует социальный и сакральный опыт человека, дает возможность постигать

и объяснять окружающий мир. Поэтому в совокупности слов, образующих то или иное семантическое поле языка, проявляется не только языкотворческая позиция субъекта, но и глубинные смыслы языка его культуры, так как и язык, и культура являются результатом действия единых законов смыслообразования. Это особенно хорошо видно при анализе семантической структуры и внутренней формы слова, в основе которых лежит интерпретация субъектом действительности, а любая интерпретация есть результат культурной рефлексии. Именно поэтому слово представляет собой культурное творение, которое нельзя объяснить, не обращаясь к истории народа, его традициям и религии.

В этой связи перед исследователем закономерно встает вопрос о том, как глубоко было освоено лексическое кирилло-мефодиевское наследие языком русской элитарной и традиционной культуры? Что из христианской этики Средневековья было усвоено русской культурой и получило отражение в ее языке? Как в языке культуры нового времени живёт старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями кирилло-мефодиевского наследия? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся сначала к материалу старославянского языка.

* * *

Старославянский язык говорит нам о том, что Любовь (възлюбленик 'любовь' СС, 140; прилюбленик 'любовь' СС, 506; любы СС, 317) в представлениях Средневековья осмыслялась, прежде всего, с позиций веры и тех христианских заповедей, которые составляют ее основу. В понимании средневекового человека Любовь была существенным атрибутом Бога, ибо, как учило христианство, богъ любы есть ижъ прѣбываетъ въ любѣви въ возѣ прѣбываетъ (СС, 317).

Эта формула любви «открыла глаза и уши» души человека, так как он узнал, что Любовь есть сила Божия, совершенствующая и благодатствующая человеческую жизнь.

Судя по материалам старославянского языка, в сознании средневекового человека отчетливо различались божественная любовь (любовь к Богу) и любовь земная (любовь к ближнему). Старославянский язык «рассказывает» о сострадательной, всеобъемлющей любви Бога к человеку (ср. чловѣколюбець 'тот, кто любит людей': ѣко благи чловѣколюбець богъ еси СС, 781; чловѣколюбивъ 'человеколюбивый': тѣмъ же чловѣколюбивын богъ не хотан смърти грѣшнымъ СС, 781) и о почтительной любви человека к Богу (ср. боголюбець 'человек, любящий бога' СС, 96; боголюбивъ 'набожный' СС, 96; христолюбець 'христоролюбец' СС, 766; христолюбивъ 'христоролюбивый' СС, 767). Так Любовь воссоединяла чело века с Богом.

Любовь к Богу, создавшему мир из любви, — это была «Истинная Любовь», определяющая и направляющая жизнь человека, его помыслы и идеалы (ср. в связи с этим слова Дионисия Ареопагита: «К божественному применяют главным образом имя Истинная Любовь» (Дионисий Ареопагит 1994: 125)).

Именно об этой любви говорит ап. Павел в своем послании к Коринфянам:

«Если я языками людей глаголю и даже ангелов, — любви же не имею, являюсь медью я звенящей или кимвалом звучащим. И если пророчество имею и знаю тайны все я, и всю науку, — и если веру всю имею, чтобы горы преставлять, — любви же не имею: нет пользы мне. И если все раздам имущество свое и если тело я предаю свое, чтобы быть сожженным, — любви же не имею: нет пользы мне» (1 Кор. 13: 1–3).

Осмысление Любви, таким образом, в старославянском языке проистекало из веры. Через любовь происходило обожение человека, который не плотью, а духом стремился походить на Бога, и уже поэтому она являлась одной из ценностей средневекового общества. Ценность любви определялась и нравственно-этическими установками христианства, проповедующего любовь к ближнему.

Эта «божественная любовь, — говорит Дионисий Ареопагит, — направлена во вне: она побуждает людей любящих принадлежать не самим себе, но возлюбленным. Высшие показывают это своей заботой о нуждающихся, те, кто на одном уровне — связью друг с другом, а низшие — более божественным обращением к первенствующим» (Дионисий Ареопагит 1994: 127). Именно эта любовь является источником высокой духовной любви, ибо главная заповедь человека, живущего духом, — поступать по духу, т. е. стремиться делать Добро, поэтому она осмыслялась как Благо, и любить (ср. *облюбити* 'полюбить, возлюбить' СС, 395; *прилюбвати* 'любить' СС, 506) в сознании средневекового человека — это «изволять благо» (ср. *благоволити* 'благоволить, любить' СС, 85; *благонзволити* 'возлюбить кого-либо' СС, 87; *въблаговолити* 'возлюбить' СС, 127). А поскольку любое *благонзволити* — это 'добродетель' (СС, 88), то и Любовь входила в число добродетелей человека. Призывая Галатов «жить по духу», т. е. быть добродетельными, ап. Павел перечисляет «плоды духа: *любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание*» (Галат. 5: 19–23). В послании к Тимофею он несколько расширяет список этих добродетелей, наставляя его преуспевать «в *правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости*» (1 Тим. 6: 11); знаменательно, что в этом перечне добродетелей Любовь помещается рядом с верой. Эта любовь мыслилась как состояние духа человека, как его духовная связь с людьми, которым он сострадает, ибо всякая любовь — сострадание (ср. также известные

слова св. апостола Павла: «Любовь не делает ближнему зла, <...> любовь есть исполнение закона» (Рим. 13: 10), а это значит, что праведник, в представлениях Средневековья, должен возлюбить всех людей, а не отдельного человека.

Такая любовь в языковом сознании средневекового человека — это возвышенное, святое чувство, дарованное как благо и ниспосланное человеку Богом, «Подателем и Родителем приязни и любви» (Дионисий Ареопагит 1994: 129), это любовь, обращенная к духовному началу в человеке, к сфере его нравственности (ср. да вѣдемъ въ истиннѣ тѣло єдино не тѣлеса къ себѣ съмѣшаѣште нъ доушѣ къ себѣ съвѣзомъ любовънымъ совѣкоупаѣѣште СС, 317). Отсюда заповедь христианской любви к ближнему (ср. господі воже нашѣ заповѣдавы намъ любити друѣгъ друѣга СС, 315).

Через композиты, содержащие корень люб-, старославянский язык дает субъектно-объектную характеристику Истинной любви, подсказывая человеку, что должно быть предметом этой любви (ср. ницелювьць 'любящий бедных' СС, 381; любонницъ 'любящий бедных' СС, 316; любостраннъ 'гостеприимный' СС, 317; вратолюбикъ 'братская любовь' СС, 101; чловѣколюбьць 'тот, кто любит людей' СС, 781; чадолубъць 'любящий детей' СС, 788; чистолубьць 'сторонник целомудрия, непорочности, чистоты' СС, 780; животолубьць 'жизнелюбивый человек' СС, 217; кротолубьць 'миролюбивый человек' СС, 294).

Эта высокая идеально-духовная любовь могла проявляться не только к людям, но и знаниям, мудрости (ср. философия 1) 'любовь к глубоким знаниям, мудрости'; 2) 'умудренность, премудрость' СС, 758; любовыча прил.-прич. 'любоznательный' СС, 316). Такая любовь, естественно, одобрялась.

Однако, будучи верным «правде жизни», старославянский язык говорит и о другой любви человека — любви плотской, связанной со страстью, влечением, физиологическими желаниями, являющейся, по словам Дионисия Ареопагита, «на самом деле не любовью, но ее образом, или скорее отпадением от Истинной Любви» (Дионисий Ареопагит 1994: 125), ср. любви 1) 'любовь'; 2) 'страсть, влечение': а любви не вѣстъ жѣдати врѣмене зовѣшта // любви дѣяти 'блудить, прелюбодействовать' СС, 317; любити 1) 'любить'; 2) 'хотеть' СС, 315; възлюбити 1) 'полюбить'; 2) 'захотеть, пожелать' СС, 139; възхотѣти 1) 'пожелать'; 2) 'проявить благосклонность, полюбить' СС, 157. Эта «частичная любовь, приличествующая лишь телам», любовь ко всему земному, плотскому не находила одобрения в языковом сознании средневекового человека³, что отчетливо видно в значениях следующих имен (ср. плѣтолюбивъць 'сластолюбивый' СС, 450; любонмѣннъць 'корыстолюбивый, алчный' СС, 316; сьребролюбьць 'сребролюбец, корыстолюбец' СС, 677; хоулолюбивъць 'любящий

все порицать' СС, 768) и особенно в лексемах *любовѣнць* 'блудник' СС, 316; *прѣлюбовѣи* прил. в знач. суш. 'прелюбодей' СС, 545; *любовѣнство* 'прелюбодеяние' СС, 316; *любовѣнник* 'прелюбодеяние' СС, 316; *прѣлюбовѣнство* 'прелюбодейство' СС, 545; *прѣлюбовѣнник* 'прелюбодеяние' СС, 545; *влъжденик* 'прелюбодеяние' СС, 94). Сама словообразовательная структура этих имен указывает на то, что прелюбодеяние в сознание средневекового человека осмыслялось как преступание меры, а потому как осквернение божественной любви. Приставка *прѣ-* в этих именах «означает *сверх, очень*, поэтому прелюбодеяние понимается как сверх любовь, недопустимая крайность, в конечном счете вовсе не любовь в христианском ее представлении» (Колесов 2001: 242). Такая любовь, с точки зрения старославянского языка, расценивалась как греховное состояние человека, в котором инерция природы брала верх над стремлением к Богу. Все эти имена являются своеобразной иллюстрацией к словам ап. Павла, который, развивая антитезу духа и плоти, говорит: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. <...> Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера...» (Гал. 5: 19, 22).

Это разное понимание любви — как идеально-духовной (*amor divinus*) и как страстно-земной (*amor profanus*) — особенно ярко проявилось в значениях глаголов *въсхотѣти* и *възлюбити*, отсылающих, с одной стороны, к плотским чувствам и желаниям человека (не случайно синонимами глагола *въсхотѣти* являлись глаголы *въждѣлѣти* и *похотѣти*, а глагол *хотѣти* выступает в качестве мотивирующего в девербативе *хоть* 'любовник' СС, 763, ср. также дериваты от глагола *похотѣти*: *похоть* 'вожделение, похоть' СС, 493; *похотѣнь* 'похотливый' СС, 493; *похотѣнник* 'желание, влечение' СС, 493), а с другой — к чувству духовному, которое могло быть обращено не только к человеку, но и Богу (ср. *възлюбивши господа бога своего от всего срѣдѣца твоего* СС, 139).

Таким образом, слова, формирующие лексико-семантическое поле Любви в старославянском языке, говорят о том, что это чувство рассматривалось, с одной стороны, как надприродная духовная интенция, как одна из высших добродетелей человека, служащих спасению его души (ибо эта Любовь проявлялась в том, что благородный снисходит до неблагородного, здоровый до больного, богатый до бедного, добрый и святой до злого и грешного и т. д.), а с другой — как греховное состояние человека, в котором побеждала природно-стихийная сила любви. Отсюда и семантический синкретизм корневой морфемы *люб-* (ср. *любы* 1) 'любовь'; 2) 'страсть, влечение' СС, 317; *възлюбити* 1) 'полюбить'; 2) 'захотеть, пожелать' СС, 139).

Однако и в том, и в другом случае Любовь в сознании человека была связана с изъявлением своей воли, готовности пойти ради

любви на страдания, на что указывает глагол *прѣнати* 1) 'полюбить'; 2) 'перенести, претерпеть, вытерпеть': тебе раді прѣнхъ поношеніе (СС, 516).

Итак, Любовь в старославянском языке — это категория, прежде всего, персонифицированная, ибо Любовь в понимании средневекового человека была сущностным атрибутом Бога. Эта любовь основывалась на вере, поэтому в Боге и через Бога средневековый человек шел к осмыслению любви, ибо, как поучал Иоанн Богослов, «если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь его совершенна есть в нас» (1 Ин. 4: 12).

При этом старославянский язык говорит не столько о плотской любви, сколько о духовно-нравственной как идеальном начале духовного и общественного единения. Именно эта Любовь определяла нормы человеческого общежития («Пока мы не научимся любить ближнего, — учило христианство, — в нашем сердце не будет и любви к Господу»).

Любовь в понимании старославянского языка — это и духовное тяготение одного человека к другому, и стремление сделать ему добро, и сострадание ему в тягостях его жизни. Эта способность к состраданию вытекала из отождествления себя с другим человеком, созданным по образу и подобию Божию. Не случайно сострадание осмыслялось как щедрость человеческой души (ср. *щедрота* 'милосердие, сострадание, милость' СС, 770) и милость человеческого сердца (ср. *милостыни* 'сострадание, милосердие' СС, 326; *милосръдик* 'сострадание, милосердие' СС, 326), поэтому 'быть милым' в старославянском языке — значит вызывать в душе человека сострадание, жалость (ср. *милъ быти комоу* 'вызывать жалость у кого-либо' СС 327). Любовь к ближнему как главная составляющая сострадания предполагала непосредственное проникновение в «Я» другого человека, слияние с ним, сопереживание его нравственной и физической боли (ср. *поскръвѣти* 'почувствовать сострадание, пожалеть' СС, 482) и заботу о нем (ср. *попеци* 1) 'позаботиться'; 2) 'почувствовать сострадание' СС, 479). И в этом стремлении к слиянию с другой личностью были ростки осознания «Я» другого человека как некоей ценности.

* * *

Древнерусский язык полностью усвоил «философию любви» старославянского языка, и творческая разработка этого понятия шла по линии его дальнейшего углубления и детализации.

Прежде всего следует отметить, что в древнерусском языке существенно расширился сам «лексикон Любви» (ср. *любы* 'любовь, привязанность' СДЯ XI–XIV 4: 479; *любва* 'любовь' СРЯ XI–XVII

8: 324; **любство** 'любовь' СРЯ XI–XVII 8: 340; **благоволение** СРЯ XI–XVII 1: 194; **возлюбленне** 'любовь', 'приятнь' СРЯ XI–XVII 2: 294; **желанне** 'любовь, страсть' СРЯ XI–XVII 5: 80; **милованне**, **милованье** 'благосклонность, любовь' СРЯ XI–XVII 9: 150–151; **раченне** 'любовь' СРЯ XI–XVII 22: 120; **рачительство** 'любовь' СРЯ XI–XVII 22: 121; **хотѣнник** 'любовь' Срезневский 3/2: 1389). При этом дуальный принцип ее осмысления сохранился.

Сохранилось и персонифицированное представление Любви, ибо Любовь по-прежнему осмысляется как некая сакральная сущность (ср. **любленикъ** 'возлюбленный (о Христе)' СРЯ XI–XVII 8: 328; **рачитель** 'о Христе, мыслимом как жених и возлюбленный христианской души' СРЯ XI–XVII 22: 120), и Бог в древнерусском языке — это не только **человеколюбець**, как в старославянском, но и **люבודарьникъ** 'тот, кто оказывает покровительство (о Боге)': (отъ единого же к намъ ба члвколюбца помощи и люבודарника претворенье тако же избра насть отъ темънаго соглашенна сѣтнаго мира сего СДЯ XI–XIV 4: 468), т. е. как «податель Любви».

Более того, эта идея находит свое дальнейшее развитие: о почтительной любви человека к Богу говорят не только лексемы **боголюбивый**, **боголюбный** 'любящий бога, благочестивый' (СРЯ XI–XVII 1: 262); **любовожный** прил. в знач. сущ. 'тот, кто любит бога' (СРЯ XI–XVII 8: 329), но и тот факт, что сама любовь к Богу получает в древнерусском языке однословную номинацию (ср. **любовожество** 'любовь к богу' СРЯ XI–XVII 8: 329; **боголюбие** 'любовь к богу' СРЯ XI–XVII 1: 262).

Любовь человека к Богу была одним из конститутивных признаков средневекового сознания, причем настолько значимым для человека, что он нашел отражение даже в традиции обращения к князю как наместнику Бога на земле (ср. **боголюбие** 'форма обращения': **О семъ же молимъ твое боголюбие, да не негодовательно бѹдетъ твоѣ неѹдобренное наше и грубое писанне** СРЯ XI–XVII 1: 262; **боголюбство** 'форма обращения': **И сего ради писахъ вашему боголюбствѹ не мнѣння ради ныне вины, но ища ползы** СРЯ XI–XVII 1: 262).

Оставаясь верным духовно-христианской направленности в осмыслении Любви, древнерусский язык значительно углубляет и понятие «Истинной Любви»: оно обрастает новыми словами и новыми смыслами (ср. в связи с этим вереницу лексем со значением 'любовь' не только от корня **люб-**, но и от других корней: **любы** СДЯ XI–XIV 4: 479; **любва**, **люво**, **любленне**, **любство** СРЯ XI–XVII 8: 324; 327–328; 340; **возлюбленне** СРЯ XI–XVII 2: 294; **благоволение** СРЯ XI–XVII 1: 194; **милованне**, **милованье**, **милолюбие** СРЯ XI–XVII 9: 150–151; **раченне**, **рачительство** СРЯ XI–XVII 22: 120–121).

Главный нравственный и психологический смысл Любви древнерусский язык по-прежнему видит в сострадании и милосердии к человеку (ср. *милованне* 1) 'любовь'; 2) 'сострадание, сочувствие; милосердие' СРЯ XI–XVII 9: 150 и *млый*, в представлении средневекового человека, — это не только 'возлюбленный', но и 'вызывающий сострадание, достойный сожаления' СРЯ XI–XVII 9: 156), а значит — и жалости (ср. *жалость* 'сострадание' СДЯ XI–XIV 3: 232; СРЯ XI–XVII 5: 74).

Такое понимание Любви определяло поведенческие установки средневековой русской культуры, ибо Любовь как сострадание проявлялась в заботе о человеке (ср. *раченне* 1) 'любовь'; 2) 'забота, попечение' СРЯ XI–XVII 22: 120; *рачительство* 1) 'любовь'; 2) 'попечение, деятельная забота': Да нам было, господине, достонт о том млъчати по твое, господине, рачительство пришло до нас, и аз не могу ослушатися СРЯ XI–XVII 22: 121; *рачити* 1) 'любить'; 2) 'заботиться о ком-чем-л.' СРЯ XI–XVII 22: 121; *рачительствовати* 'проявлять заботу' СРЯ XI–XVII 22: 121), в изволении ему блага (ср. *благоволити* 'испытывать, проявлять любовь, расположение к кому-л.' СРЯ XI–XVII 1: 195). Причем в этой милосердной Любви человек видел особое состояние своей души (ср. *милость* 1) 'любовь'; 2) 'радость, веселье' СРЯ XI–XVII 9: 155), высшее проявление счастья (ср. *благо* 'счастье, благополучие' СДЯ XI–XIV 1:166).

В этой связи невозможно пройти мимо одного чрезвычайно красноречивого грамматического факта: слово *любъвь* в древнерусском языке — это форма винительного падежа, которая утвердилась в языке вместо именительного, и то обстоятельство, что «винительный падеж прямого объекта заменил собою прежнюю форму именительного падежа *любвы* показателен: в любви важнее тот, кого любят, а не тот, кто любит» (Колесов 2001: 240).

Эта внимание и заботливость о субъекте своей любви говорили не только о том, что Любовь воспринималась как нравственно ответственное чувство, но и том, что это чувство имело деятельностный, активный характер, в нем проявлялась взаимозависимость с другим, что было характерно для древнерусской культуры, которая по сути своей была культурой коллективистского типа.

Отсюда становится понятным появление в древнерусском языке социально-этического аспекта в осмысления Любви как идеальной нравственной нормы общества, ибо Любовь стала восприниматься и как проявление дружеского, доброжелательного отношения к человеку (ср. *любость* 'любовь, дружба' СРЯ XI–XVII 8: 338; *любвы* 'дружеские отношения' СДЯ XI–XIV 4: 479, *любительство* 'дружественные отношения, дружба, приязнь' СРЯ XI–XVII 8: 327; *любенне* 'преданность, приверженность' СРЯ XI–XVII 8: 327).

Любовь, таким образом, еще больше расширила свое ментальное пространство, она предстает уже как регулятивная категория, устанавливающая нормы человеческого общения и даже межгосударственных отношений (ср., например, титулование дружественного государя как *ваше любительство* СРЯ XI–XVII 8:327).

Не случайно именно это понятие используется в деловом языке, в различных любительных грамотах и письмах: ср., например, отрывок из Ипатьевской летописи: *Послаша ны <...> створити любовь самими цсри, съ всѣмъ боярьствомъ и съ всеми людами грѣцкими на вся лѣта, где створити любѣвь ‘заключить мирный договор’* (СРЯ XI–XVII 8: 331); или такие устойчивые сочетания, как *въвести въ любѣвь ‘помирить’* (СДЯ XI–XIV 4: 479–480); *възати любѣвь ‘заключить мир’*; *въстоупити въ любѣвь ‘вступить в содружество, заключить союз’*; *пригати въ любѣвь ‘заключить мир’ съвести въ любѣвь ‘помирить’*; *съгнися въ любѣвь ‘помириться’* и др., в которых слово *любѣвь* является синонимом *мира*. Во всех этих устойчивых оборотах оно несет на себе древний отпечаток международного права, так как первые русские князья писали в договорах с греками: *хочю имети съ вами грѣки великую любѣвь*. Интересно, что противоположные качества — враждебность, воинственность — в древнерусском языке рассматривались как одержимость Злом (ср. *любовратный ‘любящий войны, вражду междоусобицы (о дьяволе)’*: *Зрю бо горцѣ же и лютѣ пленену нескврнью Христову невѣсту отъ всегубительнаго и любовратнаго бѣса* СРЯ XI–XVII 8: 337).

Об этой социологизации понятия *Любовь* говорит и тот факт, что ею определялись не только межличностные отношения (ср. *любезный ‘внушающий любовь, уважение; приятный, достойный’* СРЯ XI–XVII 8:325), но и отношения человека к труду (ср. *рачительный 1) ‘относящийся к любви’*; 2) *‘старательный, усердный’* СРЯ XI–XVII 22: 120; *любѣвныи ‘ревностный, усердный’ // ‘дельный, серьезный’* СДЯ XI–XIV 4: 477; *любѣзно ‘усердно, ревностно’* СДЯ XI–XIV 4: 480).

В языковом сознании русского человека *Любовь* как нравственно-этическая категория получила осмысление и как категория эстетическая, что было характерно для древнерусской «культуры-веры» (А. М. Панченко), в которой этическое и эстетическое были тесно связаны между собой. Так *Любовь* становится символом прекрасного (ср. *Любити ‘любоваться’* СРЯ XI–XVII 8: 327). Такая эволюция смыслов объясняется самой онтологией этого чувства, проявляющегося в восхищении предметом Любви (ср. *рачительный 1) ‘относящийся к любви, любовный’*; 2) *‘прекрасный, вызывающий восхищение’*; 3) в знач. сущ. ‘то, что вызывает восторг, прекрасное’ СРЯ XI–XVII 22: 120), ибо нельзя восхищаться и любоваться тем, что не соответствует эстетическим нормам. Об этом же говорит и семантика

глагола *любовати* 'любоваться, с удивлением рассматривать' (СРЯ XI–XVII 8: 329). Поэтому Любовь в древнерусском языке — это еще и восхищение прекрасным.

Этой высокой духовной любви в древнерусском языке противостоит другая любовь — связанная с плотскими желаниями человека, любовь как связь, а не как отношение (ср. *любовь, любы* 'любовь, страсть, влечение к лицу другого пола' СРЯ XI–XVII 8: 330; *желанне* 'любовь, страсть' // 'желание' СРЯ XI–XVII 5: 80; *раченне* 'любовь, страсть, сильное желание' СРЯ XI–XVII 22: 120; *возлюбленне* 'желание' СРЯ XI–XVII 2: 294; *хотѣнник* 1) 'любовь'; 2) 'желание': *Бъ хотѣнне є исполни Отъсѣцѣмъ хотѣнья наша плѣтская* Срезневский, СДЯ 3/2: 1389). Особенно красноречивы в этом отношении глаголы, которые не просто отсылают к плотским чувствам и желаниям человека (ср. *любити* 'испытывать влечение к лицу другого пола' СРЯ XI–XVII 8: 327; *рачити* 'любить, желать' СРЯ XI–XVII 22: 121; *възлюбити* 'захотеть, пожелать' СДЯ XI–XIV 2: 80; *восхотѣти* 'захотеть, пожелать' // 'воспылать страстью к кому-л.' (Клеопатра же възспустн къ нему, льстящи, акы хотящи ему. Антонинъ же, прельстився и похотню повѣженъ, възхотѣ єя и покорися єн СРЯ XI–XVII 3: 71); ср. также *вжелѣнне* 'вожделение, страсть, сильное желание': Ничьтоже во тако не отгоняет человеки от бога, якоже плотьское вжеленне и похоть СРЯ XI–XVII 2: 139), но и указывают на их физические проявления (ср. *любити* 'целовать, ласкать' СРЯ XI–XVII 8: 327; *любовати* 'ласкать': *В той час пришел црь Поръ ко црце и любует еѣ и изложит еѣ на црьску постѣлю* СРЯ XI–XVII 8: 329). Интересно, что в семантической структуре этих глаголов сохраняется тот же синкретизм (нерасчлененность материального и идеального, физического и духовного), который присутствовал и в старославянском языке.

Синонимический ряд композитов с корнями *люб-* и *дѣ-*, а также их синтагматика говорят о том, что «делать любовь» с точки зрения древнерусского языка нельзя, такая любовь воспринимается как прелюбодейство, распутство, разврат (ср. *люבודѣяти* 'предаваться разврату, распутству; прелюбодействовать' СРЯ XI–XVII 8: 333; *люבודѣйствовати* 'развратничать, распутничать; прелюбодействовать' СРЯ XI–XVII 8: 332; *люבודѣйство* 'разврат, распутство; прелюбодеяние' СРЯ XI–XVII 8: 332; *люבודѣянне* (-ѣе) 'распутство, разврат; прелюбодеяние' СРЯ XI–XVII 8: 333; *любы дѣяти* 'развратничать; прелюбодействовать' СРЯ XI–XVII 8: 331), а значит — как *любопохотный грехъ* (ср. в связи с этим глагол *зълудѣйствовати* 'прелюбодействовать' СДЯ XI–XIV 3: 416, который прямо оценивает это деяние как зло). И в этом смысле древнерусский язык остается верным этике старославянского языка.

Сочетание же корня люб- с корнем твор- (или глаголом творити) дает, напротив, значения, в которых отражается языковое одобрение (ср. *люботворный* 'творящий любовь, создающий согласие' СРЯ XI–XVII 8: 339; *створити любъвь* 1) 'оказать милость, благодеяние'; 2) 'заключить мирный договор' СРЯ XI–XVII 8: 331).

В этой связи заслуживают внимание имена с корнем блуд-: семантика этих имен (ср. *блудодѣяние* 'распутство' СРЯ XI–XVII 1: 246; *блудение* 'распутство' СРЯ XI–XVII 1: 244) свидетельствует о том, что древнерусский язык вслед за старославянским воспринимал плотскую любовь как «блудание» человека во тьме греховности, как отклонение его от истинного пути духовной Любви (ср. *блудити* 1) 'блудать; бродить не зная дороги' (отсюда *блудяга* 'бродяга, скиталец' СРЯ XI–XVII 1: 246); 2) 'заблудаться, ошибаться, отклоняться от истины'; 3) 'прелюбодействовать, распутничать' СРЯ XI–XVII 1: 244).

Это осмысление Любви как пути к Богу становится еще более очевидным, если вспомнить слова Иоанна Богослова *вогъ любви естъ* и слова самого Иисуса Христа *азъ есмь пъть і истина і животъ*, ставшие формулами христианства. Оба суждения являются своеобразными посылками силлогизма, из которых логически вытекает, что *Любовь есть путь*. Об этом же говорят и устойчивые сочетания, существовавшие в древнерусском языке *въвести въ любъвь*, *въстоупити въ любъвь*, *съвести въ любъвь*, *сънитиса въ любъвь* и др., в основе которых лежит та же идея движения.

Всякое же чувственное начало в любви древнерусским языком явно порицается, о чем красноречиво свидетельствует и внутренняя форма, и значение композитов с корнем люб- (ср. *любострастие* 'сладоистрастие' // 'то, что доставляет чувственное удовольствие' СРЯ XI–XVII 8: 337; *любострастие* 'сладоистрастие, похоть; любовь к чувственным удовольствиям' СРЯ XI–XVII 8: 338; *любоплотие* 'угождение плоти' СРЯ XI–XVII 8: 336; *любоплотовати* 'угождать плоти, телу' СРЯ XI–XVII 8: 336; *любопохотный* 'относящийся к похоти': *дүхъ сѣянна и зачатъя, съ нимъ ж(е) сходитъ любопохотный грехъ* СРЯ XI–XVII 8: 336), ибо стремление к чувственным наслаждениям, плотским утехам оскверняло душу человека, удаляло от Бога, между тем «идеал чистоты человека заключался в аскетике, в подвигах аскетов, которые боролись с грехом плоти и показывали замечательные примеры воздержания» (Шестаков 1991: 16). Эту плотскую любовь древнерусский язык воспринимал как незаконную (ср. *люבודѣйчище* и *люבודѣйчищъ* 'рожденный вне брака, побочный сын' СРЯ XI–XVII 8: 332; *блуднищъ* 'человек, рожденный блудницей' СРЯ XI–XVII 1: 245), т. е. в средневековом мире русского человека «существовало только две возможности осуществления любви: „брак“ и „блуд“» (Колесов 2001: 263).

Во всех этих именах Любовь предстает в виде любви-связи (ср. **рѣчитѣльнѣ прилежати** к кому-л. 'домогаться чьей-л. любви' СРЯ XI–XVII 22: 120), а не любви-отношения, свойственной Истинной любви. В представлении древнерусского языка плотскую любовь можно было вызвать колдовством (ср. **любжа** 'приворотный корень, любовное средство' СРЯ XI–XVII 8: 325). Функцией симпатической магии наделялось, например, такое растение, как любисток, названия которого в древнерусском языке соотносятся с корнем **люб-** (ср. **любистъ** 'название лекарственного растения (зоря, любисток, кукольник)' СРЯ XI–XVII 8: 326; **любистокъ** 'название растения (зоря, кукольник)' СРЯ XI–XVII 8: 326). В памятниках древнерусской письменности, в том числе и деловой (см., например: Московская деловая и бытовая письменность XVII в. М., 1968), встречаются описания любовной магии, привораживания с помощью растений, органов животных, различных ритуальных действий и проч. (подробнее см. СД 3: 156).

Многочисленные дериваты с корнем **люб-** говорят не только о тщательности проработки этого понятия древнерусским языком, но и о том, что человек как бы стремился обозначить все, что, с его точки зрения, было достойно и недостойно Любви: детализируя и конкретизируя в различных названиях это понятие, он как будто надеялся оградить себя от **грѣховного любнѣ**.

Анализ лексико-понятийной парадигмы Любви раскрывает перед нами глубинные смыслы этого человеческого чувства и дает возможность понять, какая же любовь, с точки зрения языкового сознания средневекового человека, была Истинной любовью, а какая лишь «отступлением» от нее.

Истинной любовью в представлении древнерусского языка была Любовь к ближнему (ср. **братолюбнѣ**, **братолюбленнѣ**, **братолюбество** 'любовь к брату, ближнему' СРЯ XI–XVII; **любобратнѣ** 'братская любовь' СРЯ XI–XVII 8: 329; 1: 323; **любочаднѣ**, **чадолубнѣ** 'любовь к детям, чадолубие' СРЯ XI–XVII 8: 340), предполагающая щедрость человеческой души (ср. **люבודарливый** 'склонный к щедрости' СРЯ XI–XVII 8: 331; **люבודаривитый** 'любящий дарить, щедрый' СРЯ XI–XVII 8: 331) и милость человеческого сердца (ср. **Милование** 1) 'любовь'; 2) 'сострадание, сочувствие, милосердие' СРЯ XI–XVII 9: 150). Причем понятие «ближний» трактовалось широко — это не только родственник, но и любой другой человек как сын Божий, будь то странник или нищий, нуждающийся в любви, ср. **дроглюбивый** 'любящий ближнего, человеколюбивый' СДЯ XI–XIV 3: 85; **любочеловѣчество** 'човеколюбие' СРЯ XI–XVII 8: 340; **любоничнѣ** 'нищелубие' СРЯ XI–XVII 8: 335; **любостранствнѣ**, **любостранство** 'гостеприимство по отношению к странствующим' СРЯ XI–XVII 8: 338), ибо средневековый человек, несомненно, знал слова Иоанна

Богослова: «Кто говорит: „Я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Ин. 4: 20–21).

Такая высокая духовная Любовь проявлялась не только к людям, но и ко всему достойному любви (ср. *любное* 'все, что достойно любви' СРЯ XI–XVII 8: 328), а именно: к добру (ср. *благолюбие* 'любовь к добру' СРЯ XI–XVII 2: 205; *любовдоброта* 'любовь к доброте' СРЯ XI–XVII 8: 333), к правде и истине (ср. *правдолюбество* 'любовь к правде' СРЯ XI–XVII 18: 101; *любонстинный* 'любящий истину' СРЯ XI–XVII 8:334), к мудрости (ср. *любезна прѣмудрость* 'любовь к мудрости, философия' СРЯ XI–XVII 8: 325; *любомудрити* 'размышлять, думать' СРЯ XI–XVII 8:334; *любомудрствовати* 'мудро рассуждать; философствовать' СРЯ XI–XVII 8: 334), к учению и наукам (ср. *любоучение* 'склонность к учению' СРЯ XI–XVII 8: 339; *любословець* 'тот, кто любит науки, ученый' СРЯ XI–XVII 8: 338; *любословити* 'описывать, излагать' СРЯ XI–XVII 8:338), к творчеству (ср. *любохитрствовати* 'делать что-л. с особенным искусством' СРЯ XI–XVII 8: 339; *любохудожество* 'искусная работа' СРЯ XI–XVII 8: 340), а главное — к труду (ср. *люботрудие* 'трудолюбие' СРЯ XI–XVII 8: 339; *дѣлолюбьнок* 'трудолюбие' СДЯ XI–XIV 3: 160; *люботрудствовати* 'быть трудолюбивым, усиленно работать' СРЯ XI–XVII 8: 339).

Именно эта Любовь становилась основой человеческих добродетелей (ср. *любовдобродѣтельный* 'украшенный любовью к добродетели' СРЯ XI–XVII 8: 333; *благолюбивый* 'любящий добро; добродетельный' СРЯ XI–XVII 2: 205; *любомудрый* 'образованный, просвещенный' СРЯ XI–XVII 8: 335; *любокнижный* 'любящий и знающий книги' СРЯ XI–XVII 8: 334; *любокнѣсный* 'искусный, превосходно знающий свое дело' СРЯ XI–XVII 8: 333; *любострадный* 'трудолюбивый' СРЯ XI–XVII 8: 338; *люботворный* 'творящий любовь' СРЯ XI–XVII 8: 339).

Этой высокой любви древнерусский язык противопоставлял злое *любление*, которое, с точки зрения средневекового человека, было лишь *пристрастием* к чему-либо (ср. *любление* 'пристрастие': *Прицѣпнвшеса люблениемъ злому и несытому пьянству* СРЯ XI–XVII 8: 327), оно предполагало языческое идолопоклонство (ср. *любондольное* 'любовь, приверженность к идолопоклонству, идолослужению': *Вѣдьян вѣтъ идололюбезное (любондольное) и многовожное челоувѣкъ* СРЯ XI–XVII 8: 333); любовь ко всему земному, вещному (ср. *любовещный* 'любящий вещественное' СРЯ XI–XVII 8: 329; *вещелюбие* 'жадность к вещам, страсть к накоплению вещей' СРЯ XI–XVII 2: 135; *вещелюбивый* 'жадный к вещам': *В Москов-*

скомъ государстве люди разумны, любовны, очестливы, но вещьлюбовны СРЯ XI–XVII 2: 135; любовъзватель ‘тот, кто имеет пристрастие к красивой, изысканной одежде’ СДЯ XI–XIV 4: 471). Поэтому такое определение человека, как **любомирный** ‘любящий мирское’ (СРЯ XI–XVII 8: 334) имело в древнерусском языке явно отрицательный характер (ср. в связи с этим слова Максима Грека: **Всяка душа любовещна и любомирна вогомъ наказуема**, которые отсылают нас к наставлению Иоанна Богослова, сказанные им в первом послании христианам: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей, ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (2 Ин 15, 16).

Не находила одобрение и любовь к безделью, праздности (ср. **любовеликоденьникъ** ‘тот, кто любит праздники’ СРЯ XI–XVII 8:329), в том числе к различным играм и зрелищам (ср. **любогрънникъ** ‘тот, кто любит развлечения’ СДЯ XI–XIV 4: 471; **любозрачънникъ** ‘тот, кто любит зрелища’: **встанѣмъ покааннемъ и трудом ... любоврачънники [так!] и любогрѣнники искоренимъ слезами покаанна и оудалении ср(д)цмъ ли вкаменении не хотаще двигнутиса на добро** СДЯ XI–XIV 4: 468; **любопозорникъ** ‘тот, кто любит зрелища’: **вудники, любопозорники** СРЯ XI–XVII 8: 336). Причем не одобрялась не только любовь к зрелищам, но и желание самому выделиться, быть на виду: **любовявленство** ‘желание быть на виду’ (и **вся злодѣянна и умышленна кознен сатаннихъ створихъ презорство, любовластна, тщеславна, любовявленство, миролюбна, ажа** СРЯ XI–XVII 8: 340; **любовявленный** ‘любящий быть на виду’ (**выти не безстуднѣ и не любовявленнѣ** СРЯ XI–XVII 8: 340).

Эта вне-моральная любовь свойственна человеку, склонному по своей природе к грехам (**любогрѣхове** ‘склонность к греху’ СДЯ XI–XIV 4: 468; **любогрѣшьный** ‘грешный’ СДЯ XI–XIV 4: 468). Она рождает такие пороки, как жадность, корыстолюбие (ср. **любомѣние** и **любнимѣние** ‘жадность, корыстолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 333; **любозлатство** ‘жадность, корыстолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 333; **златолюбие** ‘пристрастие к деньгам, стяжательство’; **лювосереверство** ‘сребролюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 337), **честолюбие** (**лювославне** ‘желание славы, честолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 337; **любочестие** ‘честолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 340) и связанное с ним **властолюбие** (ср. **любовластне** ‘властолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 329; **любоначалне** ‘властолюбие’ СРЯ XI–XVII 8: 335; **любостарѣшннство** ‘стремление властвовать, быть старшим’ СРЯ XI–XVII 8: 338), **проистекающие** из самого страшного греха — **гордыни** (ср. **любогордннвый** ‘склонный к гордыне’ СРЯ XI–XVII 8: 331). Все эти слова являются яркой иллюстрацией наказа Владимира Мономаха: «Глаза держите книзу,

а душу ввысь, не уклоняйтесь учить увлекающихся властью, ни во что не ставьте всеобщий почет» (Златоуструй 1990: 165).

Итак, древнерусское понятие Любви было многоаспектно, оно реализовывалось в жизни в самых разных формах — сакральной, этической, эротической, социальной, эстетической и даже коммуникативной. Средневековая культура предлагала довольно широкое поле выбора, противопоставляя житейское, земное — духовному, небесному, однако главной социальной, психологической и нравственной установкой русской культуры была духовно-нравственная Любовь как идеальное начало духовного и общественного единения людей. Эти религиозно-христианские и нравственные координаты определяли смысловой фундамент слова.

В семантике этих имен отчетливо прослеживается своеобразная «философия любви» древнерусского языка, в которой отразилась система представлений средневекового человека о жизни и ее ценностях. Богатство лексико-семантической парадигмы концепта Любовь говорит о том, что средневековая культура воспитывала самоуглубленную, рефлектирующую личность, пытающуюся осмыслить самые разные стороны человеческой жизни.

* * *

В современном русском литературном языке выявленные лексические линии заметно осеклись сменой и типа культуры, и типов государственности. Однако традиция полностью не оборвалась.

Говоря об осмыслении любви современным русским литературным языком, следует отметить, что лексико-семантическая парадигма этого имени значительно сузилась: кроме однокоренных *любовь* и *влюбленность*, в этот синонимический ряд попадают слова *увлечение*, *влечение*, *обожание* и *страсть*, причем слова *влюбленность*, *увлечение* и *обожание* — это уже приобретение современного русского языка, так как в старославянском, древнерусском и церковнославянском они отсутствовали, а слово *влечение* имело иное значение (ср. др.-рус. *влечение* 'действие по глаголу *влечи* 'тащить волоком' СРЯ XI–XVII 2: 225).

Лексикографическое освоение слова Любовь словарями современного русского литературного языка обнаруживает некоторые расхождения в его толковании. Так, например, в БАСе *любовь* — это 1) 'чувство глубокой привязанности, преданности кому- или чему-л., основанное на признании высокого значения, достоинства, на общих целях, интересах и т. п. «Люблю Отчизну я, но странною любовью...» М. Лермонтов // 'Чувство склонности, привязанности к кому-л., вытекающее из отношений близкого родства, дружбы,

товарищества и т. п.»; 2) 'чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола' (ССРЛЯ 6: 434).

В МАСе *любовь* — это 1) 'чувство глубокой привязанности к кому- или чему-л' (*материнская Л., Л. к другу*) // 'расположение, симпатия к кому-л'; 2) 'чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола' // 'любовные отношения'; 3) 'внутреннее стремление, склонность, тяготение к чему-либо' (СРЯ 2: 209).

В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой *любовь* толкуется, прежде всего, как 1) 'глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство'; и только лишь на втором месте оказывается то 2) 'чувство глубокого расположения и искренней привязанности', о котором говорил, прежде всего, старославянский язык (*любовь к ближнему, к родителям, родине*).

«Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» дает более развернутое определение Любви, выдвигая на первый план образ возвышенно-духовной любви, ср. *любовь* — это «то положительное чувство-отношение, которое рассматривается как главная созидательная сила жизни. Из возможных, часто взаимно исключающих друг друга образов любви, представленных в языковых клише, пословицах и поговорках, художественной прозе и поэзии, центральным является образ идеальной любви. Идеальная любовь мыслится в русском языке как исключительно сильное и глубокое чувство, во многом необъяснимое и драматическое, испытываемое однажды в жизни по отношению к единственному человеку другого пола и сопровождаемое уверенностью субъекта, что в мире нет другого человека, который любил бы его предмет с такой же силой, как любит он сам, связанное с наличием физической близости или стремлением к ней и обычно взаимное, поднятое над бытом, и способное дать человеку ощущение счастья» (НОССРЯ: 180).

Это разное толкование значения слова *любовь*, разная дистрибуция его лексико-семантических вариантов является результатом секуляризации русской культуры, переосмысления ее ценностей, хотя, как явствует из словарных статей, образ идеальной любви остается в приведенных толкованиях центральным.

В понимании этого чувства языком современной русской элитарной культуры наблюдаются существенные расхождения с предшествующей языковой традицией, о чем свидетельствует, прежде всего, десакрализация Любви, утрата целого ряда слов, входивших ранее в ее лексико-семантическую парадигму, появление в сохранившихся словах новых значений, а также функциональное перераспределение в их значениях некоторых семантических компонентов. Так, в частности, в современном русском языке с течением времени выветрился сакральный компонент в осмыслении Любви

(отсюда и утрата таких др.-рус. слов, как *боголюбивый*, *боголюбный* 'любящий бога, благочестивый' СРЯ XI–XVII 1: 262; *любовожный* прил. в знач. сущ. 'тот, кто любит бога' СРЯ XI–XVII 8: 329), хотя Любовь к Богу и осталась в душе верующего человека, но само ее обозначение в виде однословной номинации, которое существовало в древнерусском языке (ср. *любовожество* 'любовь к богу' СРЯ XI–XVII 8: 329; *боголюбие* 'любовь к богу' СРЯ XI–XVII 1: 262), постепенно ушло на периферию словарного состава русского языка и со временем оказалось утраченным.

Многие слова с корнем *люб-* сузили свое значение и утратили эротический компонент, который присутствовал в их значении в старославянском и древнерусском языках, ср. ст.-сл. *любити* 1) 'любить'; 2) 'хотеть' СС, 315; др.-рус. *любити* 1) 'испытывать глубокую привязанность, расположение к кому-либо'; 2) 'испытывать влечение к лицу другого пола'; 3) 'целовать, ласкать' СРЯ XI–XVII 8: 327; *любовати* 'ласкать' СРЯ XI–XVII 8: 329; *възлюбити* 1) 'полюбить'; 2) 'захотеть, пожелать' СС, 139; СДЯ XI–XIV 2: 80 и рус. лит. *любить* 1) 'чувствовать глубокую привязанность к кому-, чему-либо' // 'испытывать чувство расположения, симпатии к кому-либо'; 2) 'чувствовать сердечную склонность к лицу другого пола'; 3) 'чувствовать склонность, интерес, тяготение к чему-либо' // 'иметь пристрастие к чему-либо'; 4) 'нуждаться в каких-либо условиях как наиболее благоприятных (о животных, растениях)' МАС 2: 209). И в этом сужении «сферы компетенции» корня *люб-* просматривается стремление современного русского языка более четко развести понятия *истинной*, духовно-нравственной любви, которая оказывается связанной в основном с корнем *люб-* (ср. переосмысление значения глагола *възлюбити* 'захотеть, пожелать' СДЯ XI–XIV 2: 80 в современном русском языке: *возлюбить* устар. 'полюбить' МАС 1: 200), и любви *плотской* (за этой любовью закрепляются слова *желание* 'любовное влечение, вожделение' МАС 1: 475; *влечение* 'сильное стремление, непреодолимая склонность к кому- или чему-л.' МАС 1: 185; *вожделение* 'сильное чувственное влечение' МАС 1: 195; *страсть* 'сильная любовь с преобладанием чувственного влечения' МАС 4: 282, ср. также *похоть* 'грубо-чувственное половое влечение' МАС 3: 341).

Само понятийное поле Любви также значительно сузилось: в современном русском языке в осмыслении этого чувства оказались выветрены такие смыслы, как *сострадание*, *попечение*, *забота* о человеке, *изволение* ему блага (ср. др.-рус. *рачение* 1) 'любовь'; 2) 'забота, попечение' СРЯ XI–XVII 22: 120; *рачительство* 1) 'любовь'; 2) 'попечение, деятельная забота' СРЯ XI–XVII 22: 121; *рачитити* 1) 'любить'; 2) 'заботиться о ком-чем-л.' СРЯ XI–XVII 22: 121; *рачительствовати* 'проявлять заботу' СРЯ XI–XVII 22: 121;

благоволити 'испытывать, проявлять любовь, расположение к кому-л.' СРЯ XI–XVII 1: 195). Слабый отблеск их присутствует лишь в формуле вежливости *будьте любезны*, а также в прилагательном *любовный* 'внимательно-заботливый', которое атрибутирует скорее объект, нежели субъект, ср. *любовное отношение к делу* (МАС 2: 209), а по отношению к человеку оказалось предпочтительнее прилагательное *рачительный* 'старательный, заботливый, усердный' (МАС 3: 687).

Сузился и социально-этический аспект осмысления Любви, которая уже не используется для выражения дружеского чувства, как это было в древнерусском языке (ср. *любы* 'дружеские отношения' СДЯ XI–XIV 4: 479; *любовь* 'любовь, дружба' СРЯ XI–XVII 8: 338; *любителство* 'дружественные отношения, дружба, приязнь' СРЯ XI–XVII 8: 327) или чувства преданности, приверженности (ср. *любление* 'любовь, преданность, приверженность' СРЯ XI–XVII 8: 327), т. к. русский язык пошел по пути лексической дифференциации этих чувств, хотя в прилагательном *полюбовный* 'основанный на взаимном согласии, добровольно' (МАС 3: 278) еще улавливается отзвук этих значений.

Однако сохраняется, хотя и в сильно редуцированном виде, сопряженность Любви с эстетическим чувством (ср. др-рус. *любити* 'любоваться' СРЯ XI–XVII 8:327; *любовати* 'любоваться, с удивлением рассматривать' СРЯ XI–XVII 8: 329; и рус. *любоваться* 'рассматривать с восхищением, удовольствием' (*любоваться природой*) МАС 2: 209), передающим восхищение, удивление и восторг от предмета любви. В глаголе *облюбовать* 'найдя по вкусу, остановить на ком-чем-н. свой выбор' (МАС 2: 543) сохраняется идея выбора, предпочтительности, но значения 'полюбить' и 'выразить любовь' оказались уже выветрены временем (ср. ст-сл. *облюбити* 'полюбить' СС 395; др-рус. *облюбити* 'выразить любовь, проявить внимание' СРЯ XI–XVII 12: 90).

Вместе с тем в осмыслении Любви языком современной элитарной культуры наблюдается тенденция к более четкой дифференциации синонимов за счет усиления таких семантических компонентов, как *время* и *интенсивность*, и в этом просматривается стремление языка не просто понять это чувство, но и разграничить «горнее» и «дольнее», которые в старославянском и древнерусском слове нередко были представлены не расчленено. Так, например, *влюбленность*, с точки зрения Словаря синонимов русского языка, — это 'пылкое, бурное влечение к кому-либо, обычно менее продолжительное и стойкое, чем любовь', поэтому это еще не любовь; *увлечение* — это чувство еще 'более поверхностное, чем любовь, легкое, преходящее' (не случайно этих слов не было ни в старославянском, ни в древнерусском языке, в которых Истинная любовь — это

высокое духовно-нравственное чувство, которое не может быть проходящим); а *страсть* — это ‘сильная любовь, в которой преобладает чувственное влечение’ (ССРЯ I: 522). Характерно, что ни в старославянском, ни в древнерусском языке это слово не имело значения ‘сильная любовь’, но связывалось, прежде всего, с идеей страдания, мучений, борения с греховными проявлениями природы человека), *обожание* — это ‘возвышенная, горячая любовь к кому-либо, доходящая до преклонения’ (МАС 2: 552); это слово также отсутствовало в старославянском и древнерусском языках, хотя в древнерусском существовал глагол *обождати* в значении ‘боготворить, приближать к богу’ и слово *обоженне* ‘обоженье, приобщение к божественной сущности’ (Срезневский II: 532, СДЯ V: 516). Появление его в русском языке произошло, по-видимому, в эпоху романтизма, с характерной для нее сакрализацией любви, когда «чувственное выступало в ореоле священного» (Нарский 1990: 120), и любовь вновь обрела религиозное оформление.

Таким образом, в современном русском языке *влюбленность* противостоит Истинной любви с точки зрения временных критериев (как чувство непродолжительное), а *увлечение* — с точки зрения количественных и временных, так как это чувство не только непродолжительное, но и неглубокое, *страсть* и *обожание* противостоят Истинной любви тоже с точки зрения интенсивности, силы своего проявления, однако векторы этих сил разные, один из них направлен вверх, к Богу (ср. *обождать* ‘питать к кому-, чему-н. чувство сильной любви, доходящей до преклонения любви’ МАС 2: 552; *боготворить* ‘слепо любить, преклоняться перед кем-, чем-л., обожать’ МАС 1: 102), тогда как другой — вниз, к земному, а потому греховному, ср. *страсть* ‘сильная любовь, в которой преобладает чувственное влечение’ (ССРЯ I: 522); ср. в связи с этим комментарий, приводимый авторами Нового объяснительного словаря синонимов русского языка: «Семантически и прагматически нейтральный глагол *любить* обозначает слегка окрашенное эмоционально хорошее отношение к человеку, предмету или занятию, которые доставляют субъекту удовольствие. В той или иной мере оно свойственно всем людям, близко к привычке, склонности или предпочтению...» (НОССРЯ: 181–182). *Обожать* ‘питать к кому-, чему-н. чувство сильной любви, доходящей до преклонения любви’ (МАС 2: 552) отличается от *любить* прежде всего указанием на гораздо более эмоциональное отношение к предмету любви, «выдает склонность субъекта или говорящего к преувеличениям, экзальтации и т. п. и на большую интенсивность самого чувства удовольствия. Глаголы *обожествлять* ‘любить до преклонения’ (МАС 2: 552) и *боготворить* ‘слепо любить, преклоняться перед кем-чем-л.’ (МАС 1: 102) обозначают еще более сильное чувство, внушаемое кем-то или чем-то, кого (что) субъект ставит намного.

выше себя» (НОССРЯ: 181). Следует, однако, заметить, что наличие морфемы *бог-* (*бож-*) в этих глаголах является лишь отзвуком той высокой божественной любви, о которой говорили старославянский и древнерусский языки, хотя объект любви вследствие его идеализации для современного человека становится такой же ценностью, какой для средневекового человека был Бог.

В современном русском языке наблюдается и усиление процессуального компонента в осмыслении Любви, т. к. в русском языке имеется довольно обширное гнездо глаголов, в которых Любовь предстает как чувство, протекающее во времени, имеющее свое начало и конец, вплоть до его отрицания, ср.: *начало любви*, первое чувство предпочтительности (ср. *влюбиться*, *возлюбить*, *полюбить*, *полюбиться*, *слюбиться*), ее *протекание* (*любить*, *любиться*, *пролюбить* 'любить в течение какого-л. времени'), *окончание* (*разлюбить*), *отрицание* (ср. *недолюбливать* 'чувствовать некоторое нерасположение, неприязнь к кому-либо' МАС 2: 437),

Кроме того, глаголы с корнем *люб-* могут указывать и на саму способность (или неспособность) человека любить, ср. *отлюбить* 'испытав чувство любви, стать неспособным полюбить вновь' МАС 2: 690; *любиться* безл. 'о возможности, способности, желании любить' МАС 2: 209).

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на все эти утраты, сама идея дуальной оппозиции в осмыслении Любви современным русским языком сохраняется. В синонимическом ряду выстраивается своеобразная дихотомия «горней», возвышенно-духовной любви (*любовь*, *обожание*), и «дольней», страстно-земной (*влюбленность*, *увлечение*, *влечение*, *страсть*).

При этом русский язык усвоил и характерную для предшествующих эпох словообразовательную модель сложений с корнем *люб-*, которая позволяла более отчетливо обозначить достойный и недостойный объект любви (ср. *братолюбие* или *корыстолюбие*).

С точки зрения современного русского языка истинной любовью по-прежнему является *любовь к ближнему* (ср. *братолюбие*, *дружелюбие*, *человеколюбие*), которую проповедовало христианство, а это значит *любовь к христианским принципам* (ср. *христолюбивый* 'преданный христианской вере' МАС 4: 626). Одобряется и *любовь к правде* (*правдолюбие*), к знаниям, мудрости (ср. *любопытный*, *любомудрие*, *книголюб*), к самой *жизни* (ср. *жизнелюбие*), а следовательно, и к *труду* (ср. *трудолюбие*), к *свободе и вольности* (ср. *свободолюбие*, *вольнолюбие*), к *миру и согласию* (ср. *миролюбие*).

По-прежнему не находит одобрения *любовь*, «приличествующая лишь телам», с характерными для нее чувственными наслаждениями (ср. *любопастие*, *сластолюбие*, *женолюбие*), *ленью* (ср. *празднолюбие*), *любовью к самому себе* (ср. *себялюбие*⁴), а также ко всему вещному,

земному (ср. *любостяжание, сребролюбие, златолюбие, корыстолюбие*), в том числе и стремление к власти, славе, почестям (ср. *властолюбие, славолюбие, честолюбие*).

Итак, несмотря на секуляризацию русской культуры, следствием которой явились десакрализация Любви, сужение ее лексико-понятийной парадигмы (ср., например, утрату лексемы *хотѣние* 1) 'любовь'; 2) 'желание' Срезневский III: 1389, слабый отблеск которой сохранился в слове *похоть*), а в некоторых случаях утрата или перераспределение отдельных значений в семантической структуре ряда имен (ср., например, др.-рус. *любовникъ* 1) 'любимец, друг, почитатель'; 2) 'сторонник, приверженец' СДЯ XI–XVII 8: 329 и рус. лит. *любовник* 1) 'мужчина по отношению к женщине, находящейся с ним во внебрачной связи'; 2) устар. 'возлюбленный' МАС 2: 209), христианско-нравственная традиция в осмыслении этого концепта не оборвалась. Об этом ярче всего свидетельствует тот факт, что у него по-прежнему сохраняется разветвленная смысловая структура с двоичной системой понятий. В основе ее лежит идея противопоставленности Любви возвышенно-духовной, т. е. небесно-устремленной (за ней закрепляется лексемы *любовь и обожание*) и житейской, страстно-земной (она получает выражение в лексемах *влюбленность, страсть, увлечение, желание*), им противостоит приземленно-телесное влечение, которое, с точки зрения современного русского языка, вовсе не любовь, а лишь *вождеделение* и *похоть*. При этом именно возвышенная Любовь является высшей жизненной ценностью человека и по-прежнему составляет основу и суть его нравственной жизни.

Вместе с тем следует отметить, что секуляризация русской культуры оказала свое влияние на осмысление этого концепта, о чем красноречиво свидетельствуют слова *влюбленность, увлечение*, появление которых обусловлено новым типом культуры, ибо в идеационной культуре Средневековья Любовь как изволение Добра другому не могла иметь каких-либо временных или количественных ограничений, которые присутствуют в качестве семантических компонентов в этих словах в современном языке. То же можно отнести и к слову *обожание*: появление его в средневековой культуре расценивалось бы как кощунство, существовавший в церковнославянском языке термин *обоженіе* имел совсем иной смысл, сакральный ('общение или соединение с Богом, исполнение благодати Божией в человеке' ПЦСС 1: 365), а отнюдь не любовный.

Совсем иное осмысление имеет Любовь в языке русской традиционной культуры, где она предстает как чрезвычайно емкое

понятие, вмещающее в себя целую жизненную философию. Проникая практически во все сферы жизни человека — от витальной до социальной и религиозной, от этической до эстетической, она осмысливается в самых разных аспектах, организуя ментальный мир традиционной духовной культуры.

В отличие от литературного языка с его сдержанностью в лексическом наполнении «словаря Любви», в диалектах наблюдается удивительное богатство вербального оснащения этого важного фрагмента традиционной культуры, которое мы не найдем, пожалуй, ни в одном другом концепте. Кроме имен с корнем *люб-* (ср. *люба* Олон., СРНГ 17: 233; *любава* Перм., СРНГ 17: 233; *любье* Костром., СРНГ 17: 241; *любь* 'любовь' Север., Олон., Яросл., Моск., Смол., Новг., Волог., Арх., Онеж., Самар., Симб., Якут., СРНГ 17: 241; *любжа* 'любовь' Курск., Яросл., Орл., Смол., СРНГ 17: 235; *полюбовность* Орл., СРНГ 29: 185; *полюбки* Пенз., СРНГ 19: 185 и др.), в этой лексико-семантической парадигме представлено множество иных имен, как производных, так и непроизводных, в которых Любовь осмысливается с самых разных точек зрения (ср. *баженье* Арх., СРНГ 2: 46; *жалинье* Волог., Сев.-Двин., Костром., СРНГ 9: 64; *жадоба* Южн., Новг., СРНГ 9: 58; *желаньце* Север., СРНГ 9: 101; *жар* Орл., СРНГ 9: 71; *заснобица* СРНГ, 10: 95; *засной* Пск., СРНГ 10: 96; *залицанье* Смол., СРНГ 10: 210; *нравенье* Брян., СРНГ 21: 307; *призар* СРНГ 31: 219; *прилука* Дон., Брян., Смол., СРНГ 31: 280; *пристрастия* Урал, СРНГ 31: 419; *хочь* Сиб., Даль IV: 563 и др.).

Многокомпонентность понятия Любви проявляется и в том, что кроме общего ее названия в традиционной духовной культуре существует множество имен, в которых язык стремится лексически дифференцировать ее виды, давая каждому из них свое наименование. Это может быть *любовь взаимная* (ср. *полюбки* 'вазаимная любовь' Пенз., СРНГ 19: 185), *любовь безответная*, иссушающая, безнадежная (ср. *любяна* 'любовь иссушающая' Курск., СРНГ 17: 241; *при одном любе* 'неразделенная любовь' Волог., СВГ 4:59; *засноба* 'безнадежная любовь' Сиб., СРНГ 10: 95), *платоническая любовь* (ср. *сухая любовь* 'любовь без секса' Арх., Толстая 2004) или *любовь-страсть* (ср. *жар* 'любовь, любовная страсть' Орл., СРНГ 9: 71; *жадоба* 'любовь, сильное, страстное влечение' Южн., Новг., СРНГ 9: 58; *призар* 'страстная привязанность, любовь' СРНГ без указ. места 31: 219; *хотены* 'сильное страстное желание' Арх., Даль IV: 563), *родительская любовь* (ср. *нега* Костром., Перм., СРНГ 20: 358) и т. д.

В самом многообразии номинаций Любви просматривается стремление человека разобраться в этом сложном психологическом чувстве, которое доставляет ему не только радость, но и страдания.

Что же такое Любовь в представлении языка традиционной духовной культуры?

— *Любовь* — это милость, сострадание и жалость к любимому человеку.

Ср. *баженье* 1) 'любовь' Арх.; 2) 'милость, сострадание' Арх., СРНГ 2: 46; *жалость* 'любовь' Смол., Тул., СРНГ 9: 67 (ср. *жалось* 'чувство сострадания' Волог., Орл., СРНГ 9: 67); *жаленьице* 'жалость, любовь' Нижегород.: *Я бы рада тебя пожалела, жаленьица в сердце нет* СРНГ 9: 63; *жалинье* 'любовь, жалость' Волог., Сев.-Двин., Костром.: *У меня никакого жалинья к нему нет* СРНГ 9: 64 < *жалить* 'жалеть, любить' Новг., Олон., Волог., Сев.-Двин., Яросл., Костром., СРНГ 9: 64; *желанна* 'любовь, жалость' Олон., СРНГ 9: 100); в этой связи особый интерес представляет слово *жа-люба* 'жалость' (Дон., СРНГ 9: 69), в морфемной структуре которого причудливо переплелись два корня — *жал-* и *люб-*.

— *Любовь* — это желание другому добра.

Ср. *желаньице* 'любовь, доброта' Север., СРНГ 9:101: *от желаньица 'с любовью': Благослови, желанщик батюшка, от сердца, от желаньица* Тул., СРНГ 9: 101; ср. также *желанность* 'доброта' Брян., СРНГ 9: 101.

В этом понимании Любви как состояния духа человека, как его духовной связи с людьми, которым он сострадает, много общего с той деятельной любовью к ближнему, о которой говорили старославянский и древнерусский языки. Такое высокое понимание Любви особенно явственно проявляется в именах, называющих любимого человека: в них содержится указание на божественную сущность идеально-духовной любви (ср. *боженный* 1) 'милый, сердечный' Арх., Перм., Новг. // 'обожаемый' Новг.; 2) 'единственный' Калуж. СРНГ 3: 62; *благословенный* 'милый, любезный' Волог., Перм.: *Не плачь, мой благословенный* СРНГ 2: 309. В связи с этим попутно заметим, что само венчание и свадьба в ряде южно-русских говорах называется *божий суд* 'венчание' Курск. // 'свадьба' Орл., СРНГ 3: 64.

Этой высокой духовной Любви, свободной от всякого желания обладания другим человеком, противостоит *любовь земная*, сопряженная с плотскими желаниями человека. Любовь в этих именах осмысливается как *страсть, влечение, желание* (ср. *жадоба* 'любовь, сильное, страстное влечение' Южн., Новг., СРНГ 9: 58; < *жадобить* 'страстно хотеть, желать' Южн., СРНГ 9: 59, поэтому *жадобный* 'желанный' Твер., Ряз., Олон., Волог., СРНГ 9: 59; *жар* 'любовь, любовная страсть' Орл., СРНГ 9: 71; *любь* 1) 'любовь' Север., Олон., Яросл., Моск., Смол., Новг., Волог., Арх., Онеж., Самар., Симб., Якут.; 2) 'охота, желание' Олон., Костром., Онеж., Волог., Тул., СРНГ 17: 241; *пристрастия* 'любовь' Урал, СРНГ 31: 419; *хотены* (Арх.); *хочь* 'любовь, сильное страстное желание' Сиб., Даль IV: 563).

Особенно богатый и интересный материал дают глаголы, которые не только отличаются лексическим многообразием (ср. *возлюбить* 'любить' Новг., Влад., Ворон., Самар., СРНГ 5: 25; *всплобуть* 'полюбить' Олон., Том., СРНГ 5: 210; *долюбать* 'любить' Костром., Моск., СРНГ 8: 115; *зазнобляться* 'влюбляться' Перм., Вят., СРНГ 10: 95; *залицаться* 'любить' Смол., СРНГ 10: 210; *злюбать* 'любить' СРНГ 11: 295; *духанить* 'любить' Перм., СРНГ 8: 277; *жалеть* 'любить' Тамб., Курск., Орл., Ряз., Калуж., Смол., Пск., Твер., Петерб., Новг, Арх., Сев.-Двин., Волог., Олон., Яросл., Нижегород., Костром., Самар., Саратов., Вят., Перм., СРНГ 9: 63; *жалковать* 'любить' Ворон.; СРНГ 9: 65; *кручить* 'любить' Костром., СРНГ 15: 337; *лелековать* 'любить' Яросл., СРНГ 16: 344; *лелеять* 'любить друг друга' Новг. СРНГ 16: 344; *милашиться* 'любить друг друга' Яросл., Пск., СРНГ 18: 160; *миловать* 'любить' Казаки-некрасовцы СРНГ 18: 161; *облюбить* 'полюбить' Твер., Влад., Казаки-некрасовцы; СРНГ 22: 115; *полюбать* нес. в. 'любить' Вят.: *Так-то я не больно полюбаю*; СРНГ 29:184 и т. д.), но и отвечают на вопрос что же такое *любить* в понимании языка традиционной духовной культуры. При этом так же, как и имена, они выделяют два глубинных смысла, в соответствии с которыми ЛЮБИТЬ — это:

— чувствовать к человеку *сострадание*, жалеть его, а это значит проявлять о нем заботу, бережно относиться (ср. *жалеть* 'любить' Тамб., Курск., Орл., Ряз., Калуж., Смол., Пск., Твер., Петерб., Новг, Арх., Сев.-Двин., Волог., Олон., Яросл., Нижегород., Костром., Самар., Саратов., Вят., Перм.: *Он меня жалеет, с другою не сменяет; Муж жену жалет только два раза: как от венца ведут да как на стол кладут* Волог.; 2) 'проявлять заботу, бережно относиться' Калуж., Яросл., Новг., Твер., Арх., Ряз., СРНГ 9: 63; *жалить* 'жалеть, любить' Новг., Олон., Волог., Сев.-Двин., Яросл., Костром., СРНГ 9: 64; *жалковать* 1) 'любить' Ворон.; 2) 'чувствовать жалость, сострадание, жалеть' Калуж., Тул., Орл., Курск., Брян., Тамб., Свердлов., Урал., Том., СРНГ 9: 65; *кручить* 'любить' Костром., СРНГ 15: 337, ср. также *кручиться* 'заботиться, о ком-, чем-либо' Дон., Смол., СРНГ 15: 337; *надлюбиться* 'смилостивиться' Новг.: *Раскрасавчик мальчик мой, надлюбися надо мной* СРНГ 19: 238; *лелекать* 1) 'любить' Яросл., 2) 'беречь, нежить, лелеять' Калинин., СРНГ 16: 343; *лелеять* 'любить друг друга' Новг. СРНГ 16: 344; *миловать* 'любить' Казаки-некрасовцы СРНГ 18: 161, ср. также *миловаться* 'оказывать милосердие' Смол.: *Бог милуется, оглядывается на нас, грешных* СРНГ 18: 161). В этих глаголах Любовь предстает как нравственно-ответственное чувство, свободное от плотских желаний;

— страстно желать, ласкать (ср. *бажать* 1) 'любить, ласкать' Арх., Олон.; 2) 'очень сильно хотеть, желать чего-л' Влад., Нижегород., Смол., Тамб., Ворон., Курск., Пенз., Симб., Казан., Куйбыш.,

СРНГ 2: 44; *баженить* 1) 'любить, ласкать' Олон.; 2) 'очень сильно хотеть, желать чего-л' Олон., СРНГ 2: 45; *желать* 'вожделеть' Даль 1: 529, отсюда *желанный* 'любящий, ласковый, сердечный,' Новг., Олон., Арх., Волог., Моск., Тул., Калуж., СРНГ 9: 101). В этих глаголах отчетливо выявляется природно-стихийная основа Любви.

Цепочка глаголов с корнем *люб-* (реже другими корнями) описывает Любовь как процесс, маркируя различные стадии возникновения и протекания этого чувства: *начало* любви, первое чувство предпочтительности (ср. *возлюбиться* 'понравиться' Арх., СРНГ 5: 25; *задролиться* 'полюбить' Сев.-Двин., СРНГ 10: 69; *зажалить* 'полюбить' Сев.-Двин., СРНГ 10: 81; *заснобляться* 'влюбляться' Перм., Вят., СРНГ 10: 95; *залюбеть* 'влюбиться, полюбить' Олон., Перм., Свердл., СРНГ 10: 227; *зандривить* 'полюбить' СРНГ 10: 276; *злучиться* 'полюбить' Смол., СРНГ 11: 292; *злюбить* 'полюбить' Волог., Пск., СРНГ 11: 296; *злюбиться* 'понравиться, полюбиться' Волог., СРНГ 11: 295; *любиться* 'нравиться' Яросл., Ряз., Свердл., СРНГ 17: 236; *облюбовать* 'полюбить' Волог.; СРНГ 22: 115; *полюбиться* 'полюбить друг друга' Арх., СРНГ 29: 185; *прилюбиться* 'полюбить' Олон., Арх., Печор., Мурман., Пск., Смол.: *Что-то она мне не прилюбилась*; СРНГ 31: 283), ее *протекание* (ср. *долюблять* 'любить' Калуж., Ряз., Твер., Влад., Моск.: *Не долюбляла мужа* СРНГ 8: 116; *злюблять* 'любить кого- или что-либо' Костром., СРНГ 11: 295; *излюбить* 'любить кого- или что-л' Волог., Калуж., Орл., Арх.: *Меня девка излюбила* СРНГ 12: 142), *окончание* (ср. *незалюбить* 'перестать любить' Свердл., Пск., Влад., Костром., Арх., Заурал., СРНГ 21: 46; *залицаться* 'разлюбить' Зап., Брян., СРНГ 10: 21; *опокинуть* 'перестать любить' Новг., Волог., Вят., СРНГ 23: 274; *прилюбиться* 'перестать любить' Арх.; СРНГ 31: 283; *любовь решить* 'перестать любить' Олон., Сев., Tobол., Алт., Сиб., СРНГ 23: 274; *изменить любовь* 'то же' Моск., СРНГ 12: 144; *оставить любить* 'то же' Пск., Волог., СРНГ 24: 53) и даже *интенсивность* с точки зрения ее количественной характеристики (ср. *жалеть* 'сильно любить' Яросл., СРНГ 9: 63; *души не слышать* 'очень сильно, самозабвенно любить кого-либо' Волог.; *души не чуют* 'то же' Смол., СРНГ 8: 281; *дух ронять* 'то же' Смол., СРНГ 8: 277; *исполюбить* 'сильно полюбить' Кемер., СРНГ 12: 239; *перелюбить* 'полюбить чрезмерно, слишком' Зап., СРНГ 26: 151; *подлюбливать* 'слегка любить' Пск., Смол., СРНГ 28: 72; *обмирать* 'очень сильно любить' Моск., Ряз., Тул., Калуж., СРНГ 22: 129; *налюбиться* 'полюбить много, вволю' Новг., Влад., Арх., Олон., СРНГ 20: 27).

Осмысление Любви глаголами существенно дополняют имена, называющие любимого человека, в которых прослеживается, с одной стороны, отношение субъекта к предмету своей любви, включая его

собственные психологические (и даже физиологические) ощущения, а с другой — интенции самого объекта любви.

В этих любовных именах выявляется своеобразная система ценностей традиционной духовной культуры, ибо «милым и любимым» для человека является, как правило, то, что составляет основу его жизни, всего его существа, поэтому в них отражаются ценностные ориентиры человека традиционной культуры, среди которых главные — Бог (ср. *боженный, божёный* 'милый, сердечный' Арх., Перм., Новг. // 'обожаемый' Новг. СРНГ 2: 44), жизнь (ср. *жизненко* 'дорогой, милый, любимый' Яросл., Волог., Южн.-Сиб., СРНГ 9: 172; *кровезный* 'милый, сердечный, родной' Калуж., Костром., Дон.: *Кровезный ты мой!* СРНГ 15: 267; *кровезка, кровезнушка* 'о милом, родном, любимом человеке' Калуж., Костром., СРНГ 15: 267; *родюшко* 'милый, родной человек' Олон., СРНГ 35: 145; *родя* 'милый, родной человек' Олон., СРНГ 35: 145), душа (ср. *душаль* 'милый, любимый, возлюбленный' Брян., СРНГ 8: 281; *душенный* 'такой, в котором души не чают, дорогой, любимый' Калуж., Смол., СРНГ 8: 282; *душенья* 'милый, возлюбленный' Олон., СРНГ 8: 283; *душонок* 'милый, возлюбленный' Пск., СРНГ 8: 287; *задуша, задушлина* 'милая, любимая' Олон., Твер., СРНГ 10: 73; *дух мой* 'милый мой' Яросл., Костром., СРНГ 8: 275; *духанчик* 'милый, возлюбленный' Костром., СРНГ 8: 277; *духаня* 'милая, возлюбленная' Перм., Урал., Зауралье, СРНГ 8: 274; ср. также фразеологические обороты *в душе лежать* или *у души лежать* 'быть любимым и любить' Твер., СРНГ 8: 281; *лечь в душу* 'полюбить' Омск., СРНГ 17: 30; *быть в душеньку* 'быть любимым' Волог., СРНГ 8: 282) и сердце (ср. *сердечница* 'милая, любимая' Свердл., СРНГ 37: 186; *сердечушко* ласк. 'милая, любимая' Олон., СРНГ 8: 283). Попутно заметим, что в большинстве этих имен субъектом номинации является женщина, сердце которой, полное любви, способно рождать бесконечное множество имен любимого человека.

Эти имена раскрывают глубинные смыслы Любви, ибо любимого человека жалеют (ср. *жалкий* 'милый, дорогой' Калуж., Дон.: *Прощай жалкий, прощай милый, золотой* СРНГ 9: 65; *жаленный* 'любимый, милый' Яросл., Пск., СРНГ 9: 63; *жалена* 'любимый, милый' Пск., СРНГ 9: 63; *жалобливый* 1) 'милый, дорогой' Яросл.; 2) 'сострадательный, отзывчивый' Волог., СРНГ 9: 66), ему сострадают, за него болеют душой (ср. *болючий* 'любимый, милый, близкий сердцу' Дон., Терск. // 'сострадательный' Дон., СРНГ 3: 93; *болезенький* 'миленький, ласковый, желанный' СРНГ 3: 72; *боля* 'возлюбленный, милый, сердечный друг' Дон., Курган., Урал: *Я уеду — не приеду, боля мой останется* СРНГ 3: 94; *болява* 'милый, дорогой человек' Вост., СРНГ 3: 94; *болеечка* 1) 'милый, желанный человек' Вост.; 2) 'сострадательный, мягкосердечный человек' Вост., СРНГ

3: 72; *болезка* 1) 'о сердечном, милом, желанном человеке' Влад., Вост.; 2) 'сострадательный, мягкосердечный человек' Влад., Вост.; 3) 'ласковое обращение к человеку, особенно к ребенку' Калуж., СРНГ 3: 72; ср. *болеть* 'жалеть' Яросл., СРНГ 3: 74). И это сочувственное отношение к любимому человеку проявляется в его *милованье* (ср. *милак* 'милый, возлюбленный' Смол., СРНГ 18: 159; *милая* 'о любимом человеке' Ср.Урал., СРНГ 18: 159; *милашка* 'невеста' Смол., СРНГ 18: 160; *милака* 1) 'возлюбленная' Перм., Яросл., Волог., Ленингр., Смол., Ворон., Том., Тамб., Курск., Орл., Ряз., Тул., Калуж., Пск., Краснодар., Твер., Новг., Арх., Вят., Челяб., Тобол., Тюмен., Новосиб., Краснояр., Сиб., Волж.; 2) 'о жене' Калуж., СРНГ 18: 161), готовности помочь и простить, ибо его «*принимают*» всем сердцем (ср. *приятель* 'о любимом человеке' Арх.: *Тот миленький мой, приятель дорогой* СРНГ 32: 75; *приятелюшка* 'о любимом человеке' Терск., СРНГ 32: 75; *приятка* м. и ж. 'милый, милая' Новг., Пск., Ленингр., Волог.: *Мое серебряно колечко у приятки на руке* СРНГ 32: 76; *прияточка* м. и ж. 'возлюбленная' Пск., Ленингр., Волог., СРНГ 32: 76; *приятный* в знач. сущ. 'милый, дорогой' Яросл., СРНГ 32: 76). Такая Любовь-милосердие, предполагающая сочувственное отношение к любимому человеку, является, по сути дела, этической формой проявления чувства, Любви-отношения, а не Любви-связи.

Этой группе имен противостоит другая, в которой Любовь предстает как стихийно-эротическое чувство, отражающая близость человека к природе. Любовь осмысливается здесь как сильное **страстное влечение, желание** (ср. *бажатница* 'милая, любимая (о возлюбленной)' Волог., СРНГ 2: 44; *бажатный* 'милый, любимый, желанный' Арх., Новг., Волог., Твер., Калуж., СРНГ 2: 44 < *бажать* 1) 'любить, ласкать' Арх., Олон.; 2) 'очень сильно хотеть, желать чего-л' Влад., Нижегород., Смол., Тамб., Ворон., Курск., Пенз., Симб., Казан., Куйбыш., СРНГ 2: 44; *забажанный, забажонный* 'милый, желанный' Волог., СРНГ 9: 241; *жадоба* 'милый, любимый, возлюбленный' Пск., Новг., Олон., Волог., // 'сильное, страстное влечение' Южн., Новг., СРНГ 9: 58; *жадобина* 'милый, любимый' Новг., СРНГ 9: 59; < *жадобить* 'страстно хотеть, желать' Южн., СРНГ 9: 59, поэтому *жадобный* 'желанный' Твер., Ряз., Олон., Волог., СРНГ 9: 59; *жадный* 'любезный, милый' Твер., СРНГ 9: 58 < *жадать* 'сильно, жадно желать, жаждать' Онеж., Тобол., Ряз., Твер., Тамб., Волог., Арх. СРНГ 9: 57; *жаланка* 'милая, любимая' Костром., СРНГ 9: 61; *жаланник* 'милый, дорогой' Тул., Сев.-Двин., СРНГ 9: 61; *жаланнушка* 'милая, дорогая' Сев.-Двин., Твер., Тул., СРНГ 9: 61; < *жалать* 'желать' Перм., Урал., Вят., Нижегород., Волог., Влад., Моск., Твер., СРНГ 9: 62; *гор* кратк. прил. 'приятен, люб' Казан., СРНГ 7: 16; *похотеный* 'желанный' Саратов., СРНГ 30: 364), сродни страданию и болезни

(ср. *засоха* 'милый, дорогой' Твер., СРНГ 11: 50; *засуха* 'любимый человек, зазноба' Ворон., Твер., Моск., Калуж., Тамб., Тул., Влад.: *У засухи, у засухи, у Парфенковской Машухи, просидел бы всею ночью, не пошел от Маши прочь* СРНГ 11: 76; *засушина* 'милая, любимая' Влад., Костром., СРНГ 11: 76; *засулина* 'любимая, зазноба' Твер., СРНГ 11: 75; *зазноба* 1) 'тот, кто мил сердцу, о ком страдают' Самар., Волог.; 2) 'забота, тоска скорбь' Влад., Смол., СРНГ 10: 95). Однако, несмотря на это, Любовь не теряет своей притягательной силы (ср. *ненагляда* 'милый, дорогой' Орл., СРНГ 21: 92; *ненаглядик* 'милый, дорогой' Курск., Тул., Ворон., СРНГ 21: 92; *ненаглядник* 'милый, дорогой' Вят., СРНГ 21: 92), ибо она несет с собой не только страдания, но и радость (ср. *радуш* 'ласковое обращение к возлюбленной' Ряз, СРНГ 33: 250).

Среди этих любовных имен выделяется еще одна группа, в которой выявляются интенции самого объекта любви (ср. *завлёка* 'любимая' Урал., СРНГ 9: 321; *завлекатель* 'ухажер, любовник' Перм., СРНГ 9: 321; *занимаха* 'ухажер, любимый' Ленингр., СРНГ 10: 280; *занятник* 'возлюбленный, любовник' Яросл., СРНГ 10: 287).

Во всех этих именах Любовь предстает как естественная форма любви-связи, которая присуща всему живому, а потому является проявлением близости человека к природе.

Многообразие имен, называющих любимого человека, противостоит несколько лексем, обозначающих человека, которого разлюбили (ср. *недолюблённый* 'оставленный; покинутый' Перм., Заурал., СРНГ 21: 24; *облюбок* 'о том, кого любили и бросили любить' Пск., Яросл., Арх.: *Черт с тобой, отбивай, люби мои облюбки* СРНГ 22: 115; *разлюблённый* 'тот, которого разлюбили' Башк., СРНГ 34: 8; *разлюбимый* 'нелюбимый' Урал., СРНГ 34: 8), или того, кто не отвечает взаимностью (ср. *грубиян* 'тот, кто не отвечает на любовь взаимностью' Перм., СРНГ 7: 156), что еще раз косвенно свидетельствует о значимости этого чувства в жизни человека.

Такая богатая синонимика, как самого лексикона Любви, так и субъектных номинаций позволяет выявить этические установки традиционной духовной культуры в осмыслении этого понятия.

Диалектный материал свидетельствует о том, что взаимоотношения природы и традиционной духовной культуры в сфере любви сложились явно в пользу культуры, так как она относится отрицательно ко всяким проявлениям «плотского» начала в любви, что с точки зрения этики этой культуры, является *постыдным* (ср. *призар* 'страстная привязанность, любовь' СРНГ без указ. места 31: 219; < *призаривать* 1) 'прельщать, очаровывать, увлекать' Ряз.; Тамб., Ворон., Твер., Арх., Беломор., Карел., Том.: *Девка она глядеть не на что, а поди как парня призарила*; 2) 'сильно захотеть что-л.' Вят.: *Что, брат, призарило — как глядишь*; 3) 'пристыжать' Тамб., СРНГ

31: 219; *призариваться* 1) 'прельщаться, очаровываться' Курск.; 2) 'страстно хотеть что-л.' Беломор., Вят.; 2) 'устыдиться' Нижегород., СРНГ 31: 219). Особенно явственно это значение предстает в именах с корнем *зор* - (ср. *ззорный*, 'незаконорожденный' Яросл., Ряз.; Твер., СРНГ 10: 97; *ззориться* 'вести себя непристойно' Пск., Твер., СРНГ 10: 97; *ззорность* 'срам' Влад., СРНГ 10: 97, ср. также следующий текст: *Любовь-то двоя: сухая любовь — по-хорошему дролятся, шибко крепкая, а сырая любовь — по-плохому, девка-то поддастся ему, дак потом не гленется, ребята-то дошли теперь стали* (Толстая 2004: 394).

В языке традиционной духовной культуры эта вне-моральная любовь расценивалась как «игра», ибо чувства в ней, как и в игре, ненастоящие (ср. *в луботу играть* 'быть в любовных отношениях' Яросл., СРНГ 17: 239; *играть* 'находиться в близких, интимных отношениях' Север., Олон., Новг., Твер., Перм., Урал., Челябин., Ряз.: *Уж как играл с Манькой... его в армию взяли, она с ним поехала и ночевала там, а он ее всю испытал и изуверил и взял Клашку, ведь играл с ней, думали ведь как жена, а вот не взял // 'флиртовать, волочиться за кем-либо' Тамб., Свердл., СРНГ 12: 67; *игральщик* 'любовник' Вят., Костром., СРНГ 12: 66). Поэтому такая любовь в понимании языка народной культуры — всего лишь баловство (ср. *баловать* 1) 'заигывать' Яросл., Ряз.; 2) 'дурно вести себя, распутничать' Вят., Костром., Петерб., Арх., Сев.-Двин. Яросл., Нижегород.; Саратов.; 3) 'вступать в незаконную связь с мужчиной' Яросл., СРНГ 2: 84; *обхаживать* 'завлекать кого-л.' Арх., СРНГ 22: 258; *обходить* 'обворожить' Вят.: *Девка обошла парня* СРНГ 22: 260; *обходиться* 'вступить в половые отношения' Калуж.: *А Марья-то хвасталась, что следователь с ней обошелся* СРНГ 22: 261; *крученка* 'любовная связь' Сиб., СРНГ 15: 335; *заниматься* 1) 'ухаживать за кем-либо' Яросл., Карел., Арх., Влад., Ленингр., Нижегород., Вят.; 2) 'сожительствовать с кем-л., быть в интимных отношениях' Оренб., Олон., Арх., Новг., Моск., Дон., Кубан., Терск., СРНГ 10: 281).*

Особенно ярко это отрицательное восприятие чувственного начала в Любви предстает в наименованиях, находящихся на периферии ментального поля Любви, но соотношенных с нею по смыслу (ср. *баловень* 1) 'любовник' Арх.; 2) 'распутник, негодяй' Яросл., Курск., СРНГ 2: 85; *баловка* 'женщина дурного поведения' Новг., СРНГ 2: 85; *жировать* 1) 'находиться в любовной связи с кем-либо' Тамб.; 2) 'волочиться за женщинами' Кубан., Калуж., Ворон., Брян., СРНГ 9: 184; *жировик* 'внебрачный ребенок' СРНГ 9: 185).

Обращает на себя внимание тот факт, что именно эта любовь чаще всего является незаконной, она противостоит браку и нередко разрушает его, что, естественно, не находит одобрения в языковом сознании русского народа (ср. *любовный* 'рожденный вне брака'

Перм.: *Вторая-то девка у него любовная, от другого мужика* СРНГ 17: 238; *похотень* 'рожденный вне брака' Моск., СРНГ 30: 364; *любушка* 'любовник, любовница' Олон., Арх., Самар., Карел.: *Девки замуж не ходите, на беду не попадите, там свекровка будет бить, муж по любушкам ходить* СРНГ 17: 240).

Кроме того, ни один из этих корней (кроме единичных дериватов с корнем *люб-*) не дает, как правило, имен с матримониальным значением, но зато они активно используются в номинациях **любовников** (ср. *дроль* 'любимая женщина' Иван.: *У меня в Давыдихе дроль: ух, и погуляю же я ночку* СРНГ 8: 199; < *дролиться* 'иметь любовные отношения с кем-либо' Арх., Иван. // 'гулять, проводить время с любимым' Свердл., СРНГ 8: 199; *желанчик* 'любовник' Яросл., СРНГ 9: 101; *люба* 'любовница' Арх., Новг., Свердл., СРНГ 17: 233; *любава* 'любовница' Арх., Новг., СРНГ 17: 233).

Эта идея «ненастоящей любви» нередко заложена в самой словообразовательной структуре имен, обозначающих любовников: в качестве производящих в них используются термины родства, а с помощью аффиксальных элементов подчеркивается идея ее вне-моральности (ср. *побратан* 'любовник' Пск., Твер., СРНГ 27: 204; *побратим* 'любовник' Пск., Твер., Петерб., Олон., СРНГ 27: 205; *побратёма* 'любовник' Пск., СРНГ 27: 204; *побратимка* 'любовница' Пск., СРНГ 27: 205; *посестра* 'любовница' Пск., Петерб., Калин., Курск., Смол.: *У него посестра на деревне* СРНГ 30: 152; *посестрина* 'любовница' Пск., Твер., СРНГ 30: 152; ср. также *посестря* 'соперница' Пенз., СРНГ 30: 152; *мамаша* 'любовница' Ленингр. СРНГ 17: 350; *мамашка* 'любовница' Перм., СРНГ 17: 350), точно так же, как в терминах родства с помощью тех же аффиксов передается идея «некровного родства» (ср. *побратан* 'двоюродный брат' Вост., СРНГ 27: 204; *побратим* 'двоюродный брат' Вост., Волог., Брян., СРНГ 27: 205; *побратёма* 'побратим' Пск., СРНГ 27: 204; *мамаша* 1) 'теща или свекровь' Волог., Костром., Калуж., Ряз., Тул., Твер., Краснояр.; 2) 'крестная мать' Новосиб., СРНГ 17: 350; *мамашка* 1) 'свекровь' Ряз.; 2) 'крестная мать' Краснодар.; 3) 'мачеха' Ряз., СРНГ 17: 350).

В этой связи заслуживает внимания следующий комментарий, который приводится собирателем в словарной статье *дружница* 'любовница' Твер., Новг., Петерб.: «В мое время в слово *дружник* и в особенности *дружница* часто вкладывалось значение «любовник», «любовница» (чем «возлюбленный» или «возлюбленная»), и употреблялись эти слова в осуждающем смысле: *Жену бросил, завел себе дружницу на стороны, стыда у его нет* (СРНГ 8: 218); ср. также *подруга* 'любовница' Арх., Пск., Ворон.: *Не венчана — подруга, а не жена* // 'жена раскольника (они не признают церковного брака) Волог.; СРНГ 28: 164; ср. также *богоданная* 'любовница'

Помор., Арх. СРНГ 3: 49 (в отличие от законной жены, которая называется *суженая*), *богданёнок*, *богоданенок* 'ребенок, родившийся вне брака' Пск., СРНГ 3: 47; *богосуженая* в знач. сущ. 'невеста' Онеж., Север., Карел., СРНГ 3: 53).

Все эти номинации свидетельствуют о том, что в *люботу играть* было «позором и бесчестьем» не только для девушки, но и всей ее семьи, и «непозволенные любовные связи считались непростительным и незамолимым грехом» (Забылин 1880: 538).

В представлении языка традиционной духовной культуры такую любовь можно «вызвать и колдовством» (ср. *притяжная любовь* 'любовь, внушенная ворожкой, колдовством' Том.: *Любовь бывает сглядная и притяжная, первая есть любовь взаимная, приносящая счастье, вторая — невольная* СРНГ 32: 37; *любжа* 1) 'любовь' Курск., Яросл., Орл., Смол.; 2) 'заговор с целью вызвать любовь' Курск., Смол.: *Ему любжа сделана* СРНГ 17: 235; *любча* 'вызывание колдовством любви' Ворон., СРНГ 17: 240; *любила* 'средства, вызывающие, по народным представлениям любовь' Смол., СРНГ 17: 235; *любо-старь* 'средство, вызывающее по народному представлению любовь' Смол., СРНГ 17: 239; *любчик* 'талисман, привораживающий любовь' Яросл., СРНГ 17: 240). Этой функцией симпатической магии наделялись такие, например, растения, как *любка* двулистная *Platanthera bifolia* Rich (сем. орхидных), *ятрышник* *Orchis bifolia* (сем. орхидных), *любистик* *Levisticum officinale* Koch. (сем. зонтичных), названия которых в диалектах соотносятся с корнем *люб-* (ср. названия *любки* двулистной: *любовный корень* Казан., СРНГ 17: 238; *любжа* Смол., СРНГ 17: 235; *ятрышника*: *любжа* Орл., Брян., СРНГ 17: 235; *любим корень* Твер., СРНГ 17: 235; *любка* 'ятрышник шлемоносный' Курск., СРНГ 17: 236; или *любистика*: *любидруч* Дон, СРНГ 17: 235; *любим* Смол., СРНГ 17: 235; *любиста* Смол., Орл., Курск., СРНГ 17: 235; *любисток* Курск., СРНГ 17: 236; *любистра* Курск., Орл., Брянск., СРНГ 17: 236; *люб-трава* Курск., Ряз., СРНГ 17: 240). В народе, в частности, существовало поверье, что *любов цвет* — это 'цветок, возбуждающий любовь' Смол. (*На что тебе, малец, любов цвет? Чтобы девушки любили* СРНГ 17: 237), а *любка* «считалась приворотным зельем. Настой ее подавали тому (или той), кто является объектом ворожки, и нашептывали *любжу*, т. е. приворотный заговор: «*Встану я (имярек) и пойду из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, к синему морю-окиану. У того у синего моря-окиана лежит Огненный змей. Пойду я поближе, поклонюсь пониже: Гой, еси ты, Огненный змей! Не зажигай ты горы и доли, ни быстрые реки, ни болотные воды, <...> зажги ты добра молодца (красну девицу) во всю ее хочь, чтобы он(а) тосковал(а) и горевал(а) по (имярек), сном бы он(а), не засыпала(а), едою не заедал(а), гульбою не загуливал(а). Как белая щука-рыба не*

может быть без проточной воды, так бы добрый молодец (красна девица) (имярек) не мог(ла) без меня ни жить, ни быть. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь!» (Коновалова 2000: 129).

С точки зрения нравственных императивов традиционной духовной культуры такая Любовь явно входит в противоречие с этическими нормами культуры как не отвечающая нравственным устоям общества (ср. а связи с этим следующие лексемы *любодейство* 'блуд' Даль II: 283; *любодейничать* 'впадать в блудный грех' Даль II: 283). В этом смысле народная культура остается верной аскетической этике старославянского языка, в котором такая любовь не получала одобрения. В представлениях языка традиционной духовной культуры полова любовь признается только в браке, а половые отношения вне брака расцениваются как грех. Поэтому сыграть свадьбу для русского человека — это *закон принять* (Тамб., Пск., Ворон., Оренб., Калуж., Яросл., Твер., Вят., Север., Арх., Волог., Перм.), *закон брать* (Забайк.), *в закон поступиться* (Север., СРНГ 10: 149) или *идти на суд Божий* (ср. *божий суд* 'венчание' Курск // 'свадьба' Орл., СРНГ 3: 64). Об этой победе культуры над стихией природного начала Любви говорит и высокий статус целомудрия невесты, свидетельствовавший о нравственных устоях семьи (не случайно обязательным элементом русского свадебного ритуала было публичное признание факта невинности невесты, ее «честно-похвального девичества»).

На это указывает и собственно языковой факт, а именно, что в языке традиционной духовной культуры наблюдается удивительная детальная «проработанность» семантического пространства плотской любви. Объяснить это явление можно только лишь тем, что в языкотворческом акте языка любой культуры норма, как правило, непродуктивна, поэтому больше всего имен дает антинорма, т. е. то, что не соответствует духовно-нравственным императивам социума.

Любовь же, апеллирующая к духовному началу в человеке, напротив, одобряется языком традиционной духовной культуры, на что указывает поверхностная и глубинная семантическая структура имен, входящих в понятийное поле Любви. Не случайно многие из лексем, атрибутирующих любимого человека, используются при обращении к любому человеку, что говорит о высоком эмоциональном модусе души русского человека, сердце которого открыто для любви, сострадания и милости к ближнему (ср. *благословенный* 'милый, любезный' Волог.: *Здорово, благословенный* СРНГ 2: 309; *болезный* 'ласковое обращение — милый, дорогой' Нижегород., Яросл., Костром., Влад., Новг., Твер., Ряз., Тул., Калуж., Дон.: *Болезный ты мой!* или к лошади *Но, болезная, но!* СРНГ 3: 73; *болезнь* 'обращение, выражающее ласку, любовь' Дон.: *Болезнь моя больная, матушка ты моя* СРНГ 3: 73; *болезть* 'ласковое обращение к кому-либо' Дон.:

Ах ты, болесть моя СРНГ 3: 74; ср. *болеть* 'жалеть' Яросл., СРНГ 3: 74; *душевенный* 'любезный, милый' Тул., СРНГ 8: 282; *душенёк* ласк. в обращении 'дружок, миленький' Калуж., Смол., СРНГ 8: 282; *душуль* ласк. обращение 'душечка' Смол., СРНГ 8: 287; *родий* ласк. обращение 'дорогой, милый друг' Олон., СРНГ 35: 132; *милок* 'в дружеском обращении — милый человек' Моск., Влад., Калуж., Смол., Ставроп., Урал., СРНГ 18: 162; *сердчушко* 'ласковое обращение к кому-либо' Печор. СРНГ 37: 195; *приятный* 'дорогой, любимый, родной': Костром.: *Приятная матушка, на кого ты меня оставила* СРНГ 32: 76).

Таким образом, в языковом сознании русского народа понятие Любовь существует в двух измерениях — «горнем» и «дольнем». Понятие возвышенно-духовной любви передается, по-видимому, словами с корнями *бож-*, *бол-*, *дух-/душ-*, *жал-*, *жизн-*, *кров-*, *лел-*, *мил-* (*при-*)*ят-*, *род-*, *серд-*, *сух-*, тогда как понятие земной, чувственно-плотской любви — словами с корнями *баж-*, *дрол-*, *гор-*, *жад-*, *жар-*, *жел-*, *зар-/зор-*, *зноб-*, *сох-*, *страст-*, *хот-*.

Что касается имен с корнем *люб-*, то языковой материал свидетельствует о том, что в традиционной духовной культуре этот **корень является амбивалентным**, так как с одной стороны, с ним связано чувственное измерение Любви, а с другой — возвышенно-духовное.

О чувственном восприятии любви в именах с корнем *люб-* говорит тот факт, что Любовь осмысливается в них как **наслаждение** в жизни, как то, что приносит человеку удовольствие (ср. *залюбить* 'полюбить кого- или что-либо, получить удовольствие от чего-либо' Олон., Ярос., Арх., Печор., Свердл., Ряз., СРНГ 10: 227), причем нередко рядом со значением 'любить', в этих глаголах появляются значения, указывающие на физические проявления этого чувства (ср. *полюбить* 1) 'любить' Вят.: *Так-то я не больно полюбую*; 2) 'поцеловать' Алт. СРНГ 29:184; *облюбовать* 1) 'полюбить' Волог.; 2) 'расцеловать' Казаки-некрасовцы СРНГ 22: 115; *любится* 'ласкаться' Перм., СРНГ 17: 236; *любовать* 'ласкать' Волог., СВГ 4: 59; *любоваться* 1) 'целоваться, обниматься' Арх., Свердл.; 2) 'быть довольным, наслаждаться' Пск., Смол., СРНГ 17: 237).

Это чувственное начало любви просвечивает и других дериватах с корнем *люб-* (ср. *любленье* 'сожителство' Яросл.: *Любленье у них до самого приезда мужа продолжалось* СРНГ 17: 237; *любовничать* 'иметь любовную связь' Свердл.: *Хозяйка любовничала, жила с попом* (сказка) СРНГ 17: 238), многие из которых передают значение 'удовольствие' (ср. *любезность* 'удовольствие' Перм., СРНГ 17: 234; *любехонько* 'испытывая удовольствие' Влад., Сахалин., СРНГ 17: 234; *любенько* 'приятно, любо' Новг., Екатеринбург., Курган., СРНГ 17: 234; *за любовь* 'приятно' Смол., СРНГ 17: 238; *любовать* 'смотреть с удовольствием' Орл., Нижегород., Олон., СРНГ 17: 237). Однако ярче

всего оно представлено в глаголе *облюбить*, прямо указывающем на этот смысл (ср. *облюбить* 'о случае животных' Иркут.: *Надо успеть остричь овец, пока они не облюбятся* СРНГ 22: 115).

О возвышенно-духовном восприятии Любви в производных с корнем *люб-* свидетельствует тот факт, что многие из них указывают на этическую форму проявления этого чувства, ибо Любовью определяются такие понятия, как *дружба* (ср. *полюбитель* 'друг' Новг., СРНГ 29: 185; *люб* 'приятель' Пенз., СРНГ 17: 233; *излюбленница* 'ближайшая подруга' Волог., СРНГ 12142; *любовь* 'хорошие дружеские отношения' Зап.Брян., СРНГ 17: 239), *согласие* (ср. *налюбки* 'полюбовно' Ряз. // 'по взаимному согласию' Тул., СРНГ 20: 27; *любёхонько* 'согласно, с взаимным пониманием' Урал., СРНГ 17: 234; *любовный* 'сделанный по согласию, любовный' Пск., Твер., Влад., Моск., Свердл., Сиб.: *Это, брат, дело любовное* СРНГ 17: 238; *любомирно* 'по-хорошему, по душам' Смол., СРНГ 17: 239; *залюбодружно* 'по доброму согласию' Смол.: *Будет идти дело мило, залюбодружно* СРНГ 10: 227; *полюбки* 1) 'обоюдное согласие' Пск., Твер., СРНГ 19: 185), *радушие* (ср. *добралюбивый* 'радушный' Том., СРНГ 8: 78).

И в этом проявляется единящая сила любви, любви как отношения, а не как связи.

Именно такая Любовь, с точки зрения языка традиционной культуры, обладает способностью наполняться социально важными смыслами, что делает ее символом высокой нравственности. Это осмысление Любви в социальном аспекте способствовало тому, что ею стали атрибутироваться нормы человеческого общежития, и она превратилась в мерило отношений между людьми (ср. *любимый* 'приветливый, обходительный' Пск., Твер. // 'умеющий ладить с людьми' Пск., Твер., СРНГ 17: 235; *любий* 'приветливый' Арх., СРНГ 17: 240; *любич* 'любезный молодой человек' Ряз., СРНГ 17: 236; *любковатый* 'приветливый, любезный' Печор., СРГП: 399; *любоприятный* 'обходительный (о человеке)' Перм., СРНГ 17: 239; *любителный* 'внимательный, заботливый' Новг.: *Уж такие они все любительные* (о медперсонале лазарета) СРНГ 17: 236).

Не случайно, это понятие используется даже в коммуникативном регистре, украшая человеческое общение (ср., например, *любенький* 'ласковое обращение' Зап. Брян.: *Любенькие, родненькие мои, что же это такое* СРНГ 17: 234; *любка* 'ласковое обращение к женщине, девушке' Смол., Арх., Калуж. // 'обращение женщин друг к другу' Олон.: *Ай, нет, любка, не пойду* СРНГ 17: 236; *любящий* 'любезный' Курск.: *Кушайте, любящие мои гости* СРНГ 17: 241).

Такая социологизация концепта Любовь настолько расширила ее смысловое пространство, что ею стали определяться некоторые понятия, относящиеся к сфере трудовых навыков (ср. *любопытный*

‘трудолюбивый’ Киргиз.: *Я работать любопытная была, а сейчас стара стала* СРНГ 17: 239; *прилюбить* ‘любить (по отношению к работе)’ Калуж., Дон.: *Я пошла на эту работу и прилюбила, до сих пор дояркой* СРНГ 31: 283).

Любовь в языке традиционной духовной культуры рассматривается и как аксиологическая категория, ибо корень *люб-* представлен в словах, соотносящихся с понятием **хорошего, приятного** (ср. *любой* ‘хороший, приятный’ Арх. СРНГ 17: 240; *любка* ‘приятно’ Новг., Нов 5: 57; *любовный* ‘хороший, производящий благоприятное впечатление’ Новг., СРНГ 17: 238; *любёхочко* ‘хорошо, славно’ Перм., СРНГ 17: 234; *любёшенько* ‘хорошо, славно’ Пск., Твер., Волог., Новг., Костром., СРНГ 17: 234; *любило бы* безл. сказ. ‘хорошо бы’ Олон.: *Любило бы выше взять* СРНГ 17: 236; *любопытный* ‘хороший (о работе)’ Орл.: *Любопытная работа* СРНГ 17: 239) и даже **интересного** (ср. *любителный* ‘интересный увлекательный’ Вост.-Казах.: *Любительная жизнь тогда была* СРНГ 17: 236; *любовать* 1) ‘интересоваться кем- или чем-либо’; 2) ‘осматривать что-либо или кого-либо с ознакомительной целью’ Новг.: *Вы не любовали места, где, говорят, церква-то проваливши была* НОС 5: 57).

Эта аксиологическая ориентация имен с корнем *люб-* способствовала развитию **квантитативных** значений, вследствие чего они стали использоваться либо в качестве количественных определителей действия (ср. *любо два* ‘много, сильно’ Ворон.: *Пьет любо два* СРНГ 17: 237; *долюба* нареч. ‘досыта, до полного удовлетворения’: Волог., Костром.: *Уж мы выспимся, девушки, досыта, нагуляемся; девушки, долюба* СРНГ 8: 115), либо в качестве интенсификаторов, указывающих на степень проявления признака (ср. *любой* ‘самый лучший, самый вкусный’ Беломор.: *Я поила его и кормила все любым куском* СРНГ 17: 239; *любо да дорого* ‘очень хорошо’ Ряз., СРНГ 17: 237; *люба любой* ‘очень хорошо (одеться)’ Смол.: *Разоделась она любя любой* СРНГ 17: 233).

Интересно, что Любовь в этом значении (так же, как и Добро) осмысляется как количественная категория, указывающая на **высшую меру** проявления действия или признака, и в этом проявляется своеобразная установка традиционной духовной культуры: **Любви должно быть много, если же ее мало, то это — не Любовь.**

«Господствуя» в сфере аксиологии, Любовь передает чувство **предпочтительности** в условиях сходства и определяет то, что нравится человеку (ср. *любой* ‘который нравится, по вкусу, по душе’ Печор.: *Этот сарафан у меня любой был, долго* СРГП 399; Волог., СВГ 4: 60; *любится* ‘нравиться’ Новг.: *Платё не хорошо, мне не любитя* НОС 5: 57; *облюбоваться* ‘понравиться’ Волог.: *У отца Сергия чай с медом пил: больно мне облюбовалось* СРНГ 22: 115; *в любовь прийти* ‘понравиться’ Онеж., Печор.: *Эта шубочка мне в любве*

пришла СРНГ 17: 238). Вместе с тем нельзя не отметить, что «в русском представлении *любить* и *нравиться* — совершенно различные состояния души, они не сходятся в общем переживании, их нельзя даже сравнивать. Ведь *любить* — кого, что, а *нравиться* — кому, некая безличность в выражении показывает всю неопределенность данного переживания, которое, не в пример любви, есть состояние души, а не проявление характера в действии» (Колесов 2001: 270). Это замечание В. В. Колесова можно дополнить тем, что в русских диалектах глагол *нравить* имеет значение ‘любить’, но *не кого, а что* (ср. *Я не нравлю кружовник* Орл., Латв., СРНГ 21: 307).

В словесном ряду с корнем *люб-* отчетливо звучит идея выбора, предпочтения (ср. *любный* ‘взятый на выбор, по вкусу, по желанию’ Пск., Твер., СРНГ 17: 237; *любовный* ‘выбранный по вкусу, желанию’ Пск., Твер., СРНГ 17: 238; *любок* ‘любая выбранная вещь’ Моск.: *Чай не из любка брали, а по жребию* СРНГ 17: 239; *налюбах* нареч. ‘на выбор, что понравится’ Олон., СРНГ 20: 27; *любовать* ‘облюбовывать, выбирать то, что нравится’ Пск., Твер., Зап., Южн., Калуж., Курск., Влад., Новг. // ‘выбирать’ Онеж., СРНГ 17: 237; Волог. СВГ 4: 59; *облюбить* ‘присмотреть, выбрать что-либо по вкусу’ Влад., Иркут., СРНГ 22: 115), и в этом смысле в Любви проявляется желание и воля человека (ср. *любезный* ‘такой, который выполняется по желанию, добровольно’ Новг.: *Это любезное дело, кто захочет, тот и поедет* НОС 5: 57; *любка* ‘добровольно’ Дон., СРНГ 17: 236; *по любкам* ‘добровольно’ Влад.; *на любки* ‘добровольно’ Пск., Твер., СРНГ 17: 236; *за любовь* ‘по доброй воле, по согласию’ Влад. Новг.; СРНГ 17: 238; *излюбя* ‘по доброй воле’ Сев.-Двин., Волог., СРНГ 12: 142).

Любовь в языке русской традиционной духовной культуры осмысливается и как эстетическая категория, так как источником Любви является красота, поэтому Любовь украшает жизнь человека (ср. *любопытно* ‘красиво, приятно’ Уфим., Ряз., Новосиб.: *Убрались хорошо, любопытно* СРНГ 17: 239; *любочко* ‘красиво, по душе’ Вят., Влад., Ряз., Дон., Том., СРНГ 17: 240), делая и его самого красивее (ср. *любовный* ‘красивый’ Новг.: *Смотри, вон кака девочка любовная идет* НОС 5: 57; *любий* ‘красивый’ Мурман., СРНГ 17: 240; *любаста* ‘статная, красивая девушка’ Тул, СРНГ 17: 233; *любкой* ‘милый, симпатичный’ Волог.: *Больно девушка-то она любкая* СВГ 4: 59). В этом синкретизме значений имен с корнем *люб-* проявляется глубинная связь этического с эстетическим, любви и красоты, ибо объектом эстетизации становится, как правило, духовное начало в человеке. В связи с этим невозможно не вспомнить слова А. Ф. Лосева о том, что «прекрасным может быть только то, что любимо, а любимым может быть только то, что прекрасно» (Лосев 1980: 448). Эстетическое выражение чувства проявляется в восхищении

предметом любви или внимания человека (ср. *любота* 'восхищение' Калуж., Ряз., Моск., Влад., Горьк., Иван., Твер., Смол., Пск., Урал.; СРНГ 17: 239; *любость* 'восхищение' Смол.: *Идна любость* СРНГ 17: 239; *полюбованье* 'загляденье' Арх., СРНГ 19: 185).

В семантическую «орбиту» имен с корнем *люб-* оказался втянут и словесный ряд, относящийся к сфере *витальности* человека, однако здесь любовь предстает как некое безличное чувство, направленное на человека как бы извне (ср. *полюбить* 'оказать положительное воздействие на самочувствие' Арх.: *Принесли парня, накипятили завар, так ему полюбило* СРНГ 29: 185; *прилюбить* 'оказывать нужное действие, помогать' Калуж., Ряз., Ворон.: *К моей ране лучше всего прилюбают настой из березовых почек* // 'стать слабее, утихнуть (о боли)' Тул., СРНГ 31: 283; *любить* 'быть приятным для чего-либо' Печор.: *Ты вот в байну пойди: вода как руку любить будет, так и ногу большую любить станет* СРП: 399).

В этой связи чрезвычайно интересной является синтагматика лексемы *любовь*: она говорит о том, что в *любовь* можно брать или принять (ср. *во любовь брать* 'полюбить, сделать возлюбленным' Олон., Твер., Арх., СРНГ 17: 238; *принять в любовь* 'полюбить' СРНГ 31: 313), в *любовь* можно идти или прийти (ср. *в любовь идти* 'выйти замуж, жениться по любви' Пск., СРНГ 17: 238; *в любви прийти* 'понравиться' Печор., СРНГ 17: 240), ее можно водить (ср. *водить любовь* 'оказаться с кем-либо в любовных отношениях' Костром., Яросл., СРНГ 4: 337), *приворотить* (ср. *приворотить любовь* 'присушивать, привораживать кого-л.' Свердл., Тобол., Костром., СРНГ 31: 149), но ее нельзя делать (сочетание корня *люб-* с глагольной основой *деј-* ведет, как правило, к появлению имен с ярко выраженной отрицательной семантикой, ср. в связи с этим значения слов *любодействие* *любодейничать*, *любодей*, *любодейник*, *любодейна*, *прелюбодей*, общим компонентом значения которых является 'грех или блуд' Даль II: 283), хотя и можно творить (ср. *люботворить* 'ублажать, удовлетворять' Свердл.: *Надо стариков люботворить* СРНГ 17: 239), поскольку этот глагол в языке русской традиционной культуры относится к иному, «горнему» миру.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на тот факт, что глаголы движения, с которыми сочетается лексема *любовь* отсылают к пространственным представлениям о Любви, которая осмысливается как жизненный путь человека (ср. *во любовь прийти* 'полюбиться' Печор., Арх., СРНГ 17: 241; *в любовь идти* 'выйти замуж, жениться по любви' Пск., СРНГ 17: 238; ср. также производные *ухаживать*, *ухажер*, в основе которых лежит та же идея движения). При этом в семантическом распределении этих глаголов прослеживается следующая закономерность: если в их основе лежит идея многократного движения, не имеющего определенной цели (производные

с корнем *ход-/хаж-*), то речь идет именно о плотской любви, любви-связи (ср. *обхаживать* 'завлекать кого-л.' Арх. (СРНГ 22: 258); *обходить* 'обворожить' Вят.: *Девка обошла парня* (СРНГ 22: 260); *похожалый* 'дурного поведения, развратный' Саратов.: *Женщина доступная, похожалая* (СРНГ 30: 360; ср. также *ходить по плоти* 'жить для чувств, плотским' Даль IV: 556), если же актуализируется идея однонаправленного движения (производные с корнем *ид-*), то в производных именах чаще всего воплощается идея настоящей любви, любви-отношения (ср. *в любовь идти* 'выйти замуж, жениться по любви' Пск., СРНГ 17: 238; ср. также *идти на дух* 'идти на исповедь' Пск.; *идти домой* 'умирать' Ворон., СРНГ 12: 78). Отрицание же идеи пути в словообразовательной структуре имен с корнем *пут-* дает, как правило, значения нормативно-оценочного характера, в которых присутствует отрицательная коннотация (ср. *беспутица* 'распутная женщина' Вят., СРНГ 2: 276; *беспутка* 'распутный человек' Урал., СРНГ 2: 276; *беспутый* 'безнравственный' Новг., СРНГ 2: 276; поэтому *беспуток* 'незаконнорожденный ребенок' Ср. Урал, СРНГ 2: 276; *непутка* 'женщина легкого поведения' Перм., СРНГ 21:136; *непуть* 'легкомысленный, беспутный человек' Влад., Нижегород., Перм., Свердлов., Арх., Смол., СРНГ 21: 136 и др.).

Таким образом, в русских диалектах семантический диапазон Любви чрезвычайно широк. Однако в любой ее семантической сфере в центре всегда стоит человек. Поэтому она осмысливается, прежде всего, с позиций человека — как состояние его души (ср. *души не слышать* 'очень сильно, самозабвенно любить кого-либо' Волог.; *души не чуют* 'то же' Смол., СРНГ 8: 281; *у души лежат* 'любить' Твер., СРНГ 8: 281; *дух ронять* 'очень сильно любить' Смол., СРНГ 8: 277; *духанить* 'любить' Перм., СРНГ 8: 277) и тела, отсюда понимание любви как *огненной стихии*, которая охватывает человека (ср. *жар* 'любовь' Орл., СРНГ 9: 71; *засной* 'любовь' Пск., СРНГ 10: 96; *гор* кратк. прил. 'приятен, люб' Казан., СРНГ 7: 16), порождая *желания, страсти* (ср. *желаньице* 'любовь' Север., СРНГ 9:101; *хочь* 'любовь, сильное страстное влечение' Сиб., Даль IV: 563; *пристрастия* 'любовь' Урал, СРНГ 31: 419), которые *иссушают* человеческое сердце, несут с собой тоску и печаль (ср. *засуха* 'любимый человек, зазноба' Ворон., Твер., Моск., Калуж., Тамб., Тул., Влад., СРНГ 11: 76; *тосковать* 'сохнуть сердцем, болеть душой' Сев., Новг., Олон., Арх., Даль IV: 422).

В этом отношении чрезвычайно показательны русские любовные заговоры, основная цель которых не просто пробудить в человеке любовь, но заставить его мучиться, тосковать, страдать от любви, ср., например, следующие отрывки из любовных заговоров, которые приводит М. Забылин 1880: 304): «...Вы, ветры буйные, распорите ея белу грудь, откройте ея ретивое сердце, навейте тоску со кручиною,

чтобы она тосковала и горевала, чтобы он ей был милее своего лица, светлее ясного дня, краше роду племени, приветливее отца с матерью, <...> чтобы она плакала и рыдала по нем, и без него бы радости не видала, утех не находила» или «...Вы, 70 буйных ветров, 70 вихров, и 70 ветрович, 70 вихрович <...> разожгите у рабы Божией (имя рек) белое тело, ретивое сердце, памятную думу, черную печень, горячую кровь, жилы и суставы, и всю ея, чтобы она, раба Божия (имя рек) не могла бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни слова говорить, ни речи творить без меня раба Божия (имя рек)».

Характерно, что «многие из этих заговоров обращены к Сатане, дьяволу или чертям, а также другим демоническим персонажам (Баба-Яга, 77 еги-бабовых дочерей, Страх-Рах, царица Соломия и др.» СД 3: 157), ср. следующий текст заговоров: «...уж ты, худ бес, сатана Сатанинович! Кланяюсь я тебе и поклоняюсь, сослужи мне службу и сделай дружбу: зажги сердце (имя рек) по мне (имя рек) и зажги все печенья и легкое и все суставы по мне (имя рек), буди мое слово крепко, крепче трех булатов во веки».

В этих заговорах Любовь, пожалуй, ярче всего предстает как некая враждебная неподвластная человеку сила, разрушающая его, оказывающая на него деструктивное воздействие, причем речь идет именно о плотской любви, что специально подчеркивается в заговорах (ср.: «...взмолюся трем ветрам, трем братьям: Ветер Моисей, ветер луна, ветер буйный вихорь! Дуйте и винтите по белу свету <...> распалите и разожгите и сведите рабыню Н. со мною, с рабом Божиим, душа с душой, тело с телом, плоть с плотью, хоть с хотью, не уроните той моей присухи ни на воду, ни на лес, ни на землю, ни на скотину, <...> а снесите и положите в рабицу Божию (имя рек), в красну девицу, в белое тело, в ретивое сердце, в хоть и в плоть, чтобы красная девица не могла без меня, раба Божия (имя рек), ни пить, ни быть, ни днествовать, ни часу часовать, о мне рабе Божиим (имя рек) тужила бы и тосковала и никогда бы не забывала». Эта идея неоднократно обыгрывается и в многочисленных атрибутивах Любви (как любви окаянной, распроклятой, злой), и в русских пословицах (ср. *Любовь зла — полюбишь и козла; Любовь слепа — проказит; Любовь безумит; Где Любовь, там и напасть; Любовь да свара хуже пожара; Полюбив — нагорюешься* Даль и т. д.).

Характерно, что и собственно языковой, и фольклорный материал говорит о том, что любимая Любовь русского человека — это несчастная Любовь, поэтому она часто осмысливается как страдание. Об этом, пожалуй, лучше всего свидетельствуют частушки, главная тема которых *несчастливая любовь*⁵ (ср., например, *саратовские страдания* 'о любовных частушках' или некоторые отрывки из частушек Вохомского края: «Милый, сохни, милый, сохни, милый, сохни, как и я, когда высохнешь в соломинку, вспомнешь про меня» (126) «Поиграй

повеселее, мальчик, роза белая, я иду, меня шатает, что любовь наделала» (187); «Ручеек пересыхает в поле под колодинкой, нету мне в любви счастья, девушке молоденькой» (197); «Распорите мое сердце, отворите алу кровь, не скорее ли забуду я про старую любовь» (202); «Чтобы старая любовь обратно воротилася, я всю ночку во садочке Богу промолилася» (240) (Частушки 2004).

Итак, язык традиционной духовной культуры (в отличие от языка элитарной культуры) имеет довольно богатую лексико-понятийную парадигму Любви, в которой Любовь осмысляется в самых разных аспектах — этическом, религиозном, эротическом, эстетическом, социальном и даже витальном. Такая детальная проработанность концепта Любви объясняется не только характером этой культуры, оказавшей непосредственное влияние на его формирование, но и особенностью ее языковой личности, анализирующей свое поведение и поступки в оппозиции греховного и святого. В многочисленных номинациях, актуализирующих различные, иногда прямо противоположные, признаки Любви, отразилась своеобразная «философия языка» традиционной культуры, нравственный опыт самоуглубленной рефлектирующей личности, ее внутренняя духовная сосредоточенность, стремление разобраться в этом психологически сложном чувстве.

В связи с этим хотелось бы особо отметить тот факт, что в языке русской традиционной духовной культуры как культуры более консервативной значительно лучше сохранилась христианская преемственность в восприятии Любви, чем в культуре элитарной (ср., например, до сих пор существующую в русских диалектах семантическую синкретичность глагольных лексем с корнем *люб-*, в которых наблюдается тесная спаянность физического и духовного, материального и идеального), и соответственно те глубинные смыслы, которые были унаследованы этой культурой из старославянского и древнерусского языков и глубоко укоренились в архаике ее патриархальности. Причина кроется не только в большей «инерции» диалектного слова, но и, по-видимому, в том, что «русский народ жил в основе своей представлениями и ценностями средневековой культуры едва ли не до самых потрясений начала XX столетия» (Дунаев 2001: 47).

Диалектные материалы говорят о том, что Любовь по-прежнему осмысляется с позиций тех христианских заповедей, о которых говорил старославянский язык, ибо в Любви проявляется духовное тяготение одного человека к другому, стремление сделать ему добро, а главное — **сострадание** ему в тягостях его жизни (ср. *жалковать* 1) 'любить' Ворон.; 2) 'чувствовать жалость, сострадание, жалеть' Калуж., Тул., Орл., Курск., Брян., Тамб., Свердл., Урал., Том., СРНГ 9: 65). В языке традиционной духовной культуры «прижились» и те

этические смыслы, которые были характерны для древнерусской культуры (такие, например, как **дружба** (ср. *любость* ‘хорошие дружеские отношения’ Зап. Брян., СРНГ 17: 239), **согласие** (ср. *любовный* ‘сделанный по согласию, полюбивший’ Пск., Твер., Влад., Моск., Свердл., Сиб., СРНГ 17: 238; *залюбодружно* ‘по доброму согласию’ Смол., СРНГ 10: 227), **красота** (ср. *любочко* ‘красиво, по душе’ Вят., Влад., Ряз., Дон., Том., СРНГ 17: 240; *любий* ‘красивый’ Мурман., СРНГ 17: 240; *любота* ‘восхищение’ Калуж., Ряз., Моск., Влад., Горьк., Иван., Твер., Смол., Пск., Урал.; СРНГ 17: 239). Более того, на основе этих базовых этических смыслов, дошедших к нам из глубины веков, родились новые, вследствие чего категория Любви расширила сферу своего концептуального осмысления (ср., например; такие социальные и витальные признаки, как **радушие**: *добролюбчивый* ‘радушный’ Том., СРНГ 8: 78; *любимый* ‘приветливый, обходительный’ Пск., Твер. // ‘умеющий ладить с людьми’ Пск., Твер., СРНГ 17: 235; **трудолюбие**: *любопытный* ‘трудолюбивый’ СРНГ 17: 239; **здоровье**: *полюбить* ‘оказать положительное воздействие на самочувствие’ Арх., СРНГ 29: 185) и др.

Другая отличительная особенность языка традиционной духовной культуры связана с повышенной глагольностью лексико-семантической парадигмы Любви: обилие глаголов, передающих самые разные оттенки этого чувства, говорит о том, что человек ощущает действенность Любви в окружающем его мире, при этом она осмысливается им как сила, вектор которой может быть разнонаправленным: она может служить Благу, и в этом проявляется единящая сила Любви; а может служить и Злу, в этом случае она воспринимается как враждебная человеку сила, разрушающая его, оказывающая на него деструктивное воздействие. Представляется, что в таком осмыслении Любви языком традиционной духовной культуры отражается, с одной стороны, синкретизм традиционной духовной культуры, в основе которой лежит языческое и христианское начало, а с другой — та дихотомия возвышенно-духовной и телесной любви, о которой говорил старославянский язык.

Таким образом, диалектный материал свидетельствует о том, что кирилло-мефодиевское лексическое наследие было довольно хорошо освоено языком русской традиционной культуры и, став его органической частью, послужило основой для развития новых смыслов.

* * *

Итак, христианская этика Средневековья, отразившаяся в понимании сущности Любви, была глубоко осмыслена языком русской культуры, что во многом определило нравственные устои жизни общества, его этические и даже эстетические идеалы.

Будучи в старославянском языке отражением божественной сущности и осмысляясь, прежде всего, как категория этики, Любовь и в языке русской духовной культуры воспринимается как этическая, регулятивная категория, которой определяются моральные нормы человеческого общежития.

Несмотря на некоторые трансформации, которые пережила категория Любви, обусловленные секуляризацией русской культуры, повлекшей за собой смену ценностных парадигм, в ней до сих пор сохраняется духовно-христианская направленность ее главных смыслов.

И здесь прежде всего следует указать на сохранившуюся в русском языковом сознании соотнесенность Любви с духовным тяготением к другому человеку, которому сострадает душа любящего. Духовная мотивация любви ярче всего выразилась в ее жертвенности, в стремлении человека во вне к Другому, по отношению к которому он стремится сделать Добро. Это осмысление Любви как деятельного начала в человеке, как желания жить для другого и в другом созвучно словам Иоанна Богослова, сказанным им в Первом послании христианам: «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин 3: 18).

Вместе с тем в языковом сознании современного человека по-прежнему сохраняется и другое восприятие Любви как более приземленной, стихийно-эротической силы, отражающей близость человека к природе. И эта дихотомия в осмыслении Любви с развертыванием главной культурной оппозиции небесное—земное, существовавшей в старославянском языке, является убедительным доказательством глубинного влияния этого сакрального языка на формирование духовно-нравственных ориентиров русской культуры. Об этом красноречиво свидетельствует и тот факт, что в русской культуре (особенно культуре элитарной) взаимоотношения природы и культуры с сфере любви последовательно развивались в пользу культуры, ибо в процессе эволюции значений глаголов с корнем *люб-* в литературном языке шло постепенное освобождение от синкретизма амбивалентных смыслов, что привело к утрате семантических компонентов 'желать' и 'хотеть', которые присутствовали в их семантической структуре в старославянском языке.

Эта концептуализация Любви языком русской культуры является прекрасной иллюстрацией мысли И. Ильина, который в письме к сыну, наставляя его на путь истинной любви, писал: «Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. <...>Задача состоит в том, чтобы превратить это „пробуждение природы“ в подлинное „посещение Божие“» (Ильин 1991: 397–398).

ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов 1999 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1999.
- Гуревич 1989 — *Гуревич А. Я.* Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М., 1989.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.
- Дионисий Ареопагит 1994 — *Дионисий Ареопагит.* О божественных именах. О мистическом богословии. СПб., 1994.
- Дунаев 2001 — *Дунаев М. М.* Православие и русская литература. М., 2001. Т. 1–2.
- Забылин 1880 — *Забылин М.* Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия М., 1880.
- Златоструй 1990 — *Златоструй.* Древняя Русь X–XIII вв. М., 1990.
- Ильин 1991 — *Ильин И. А.* Без любви (из письма к сыну) // Русский эрос или философия Любви в России. М., 1991.
- Колесов 2001 — *Колесов В. В.* Древняя Русь: Наследие в слове. М., 2001.
- Коновалова 2000 — *Коновалова Н. И.* Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург, 2000.
- Кравцов 1971 — Русское народное поэтическое творчество / Под ред. В. В. Кравцова. М., 1971.
- МАС — Словарь русского языка: В 4 т. М., 1985.
- Мацумото 2003 — Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. М., 2003.
- Нарский 1990 — *Нарский И. С.* Тема любви в философской культуре нового времени // Философия любви. М., 1990. Т. 1–2.
- НОС — Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000. Вып. 1–13.
- НОССРЯ — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1999.
- ПЦСС — Полный церковно-славянский словарь / Сост. Г. Дьяченко. М., 1998. Т. 1–2.
- СВГ — Словарь вологодских говоров. Вологда, 1983–2000. Вып. 1–9.
- СД — Славянские древности. М., 1995–2004. Т. 1–3.
- СДЯ XI–XIV вв. — Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 1988. Т. 1–4.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–2003. Вып. 1–37.
- СС — Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка. М.; Л., 1950–1965. Т. 1–17.
- ССРЯ — Словарь синонимов русского языка. М.; Л., 1971. Т. 1–2.
- СРГП — Словарь русских говоров низовой Печоры. СПб., 2003. Т. 1.
- Срезневский — *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. М., 2003. Т. 1–3.

- СРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975. Т. 1–27.
- СРЯ — Словарь русского языка. М., 1957–1961. Т. 1–4.
- Толстая 2004 — Толстая С. М. Семантические корреляты слав. (**sux-*) // Язык культуры: семантика и грамматика. М., 2004.
- Шестаков 1991 — Шестаков В. П. Вступительная статья к сб. Русский Эрос или философия любви в России. М., 1991.
- Частушки 2004 — Частушки Вохомского края / Сост. Л. Н. Попов. Кострома, 2004.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Настоящая статья является продолжением наших публикаций в «Славянском альманахе», объединенных идеей исследования влияния старославянского языка на формирование языка современной русской культуры. Работа выполнена в рамках проекта «Межъязыковое влияние в истории славянских литературных языков и диалектов: социокультурный аспект» Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» 10002-251/ОИФН-01/242-239/110703-1047 от 20 мая 2003 г.
- ² Ср. в связи с этим следующее наблюдение культурологов: «самый высокий уровень воздействия культуры касается целомудрия, которое северно-европейские культуры рассматривают как малозначимое, в то время как культурные группы из Китая, Индии, Ирана уделяют этому вопросу самое пристальное внимание» (Мацумото 2003: 324).
- ³ Приведу в связи с этим интересный пассаж А. Я. Гуревича, который в известной степени коррелирует с нашим материалом, хотя речь идет о более позднем периоде, в частности о XIII в.: «Проповедники (обратим внимание, что они — современники кургуазных поэтов) не могут или не хотят разграничения между любовью и похотью. В их глазах они едва ли не идентичны. О любовных страданиях и переживаниях человека они неизменно говорят как о плотских желаниях. Любовь не рассматривается как нормальное человеческое чувство. Половое влечение только унижает человека и ставит его душу под угрозу. Ничего облагораживающего в нем нет. Все это — плод дьявольского внушения» (Гуревич 1989: 286).
- ⁴ Ср. в связи с этим комментарий В. В. Виноградова к слову *себялюбие*: «Можно предполагать, что слово *себялюбие* составлено и пушено в литературный оборот великим русским сатириком Д. И. Фонвизиним. Дело в том, что в „Недоросле“ Фонвизина это слово, встречающееся в речи Стародума, обставлено семантическими комментариями и как острое новое обозначение противопоставляется термину *самолюбие*. В „Недоросле“ (д. 3, явл. 1) читаем: „Тут не *самолюбие*, а, так назвать, *себялюбие*. Тут себя любят отменно, о себе одном пекутся, об одном настоящем часе суетятся“ (Стародум). Слова *себялюбие*, *себялюбивый* укрепляются в системе русского литературного языка XVIII в. и крепко входят

в общенациональный словарный фонд русского языка» (Виноградов 1999: 635).

- ⁵ «Любовь в частушке обычно несчастная, мечта о счастье остается несбыточной. На пути к счастью немало препятствий: рекрутчина, бедность, чужая сторона, разлучившая любящих, насильственный брак, неравенство в имущественных отношениях». И в лирических любовных песнях основными мотивами бывают «чаще всего любовная тоска лирических героев, разлука, родительский гнев и запреты, налагаемые на чувства влюбленных; часто проходят темы неверности, измены, насильственного замужества, мотивы отчаянья и безнадежного горя» (Кравцов 1971: 213, 241).

И. В. Матвеева
(Челтенхем, Великобритания)

Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний

Инна Валентиновна Матвеева и ее мемуары

Из британского города Челтенхем пришло известие о кончине 6 декабря 2004 г. на 89-м году жизни И. В. Матвеевой, одной из последних свидетельниц и участниц исхода с родины в эмиграцию «первой волны» русских граждан, не желавших оказаться под властью большевиков. Некоторые отрывки из воспоминаний Инны Валентиновны уже опубликованы в предыдущем выпуске «Славянского альманаха». Ныне вниманию читателей предлагается еще несколько отрывков, в которых на этот раз повествуется об эмигрантской общественной и культурной жизни.

Инна Валентиновна Матвеева родилась 18 августа 1915 г. Пятилетней девочкой мать привезла ее вместе с братом Георгием и сестрой Татьяной в Болгарию. Семья поселилась в Софии, здесь она получила нового главу — мать Инны вторично вышла замуж за врача Валентина Владимировича Матвеева. Инна училась в основанной эмигрантами Софийской русской гимназии и в 1933 г. поступила на естественное отделение физико-математического факультета, где специализировалась по химии, получила диплом инженера. После завершения высшего образования нужно было зарабатывать на жизнь, и выпускница Софийского университета стала работать в химических лабораториях. Еще в гимназические и студенческие годы Инна Валентиновна интересовалась философскими, религиозными и общественными вопросами, этот интерес поддерживал в ней мыслитель и поэт, святлейший князь Андрей Александрович Ливен, принявший в Болгарии сан священника и ставший «правой рукой» главы русских православных общин в Болгарии архиепископа Серафима Соболева. В доме о. Андрея собиралась религиозно настроенная молодежь. И. В. Матвеева вспоминала, что слушала там чтение А. А. Ливеном отрывков из дневников Лютера, которые он переводил на русский язык.

Как видно из публикуемых воспоминаний, русская студентка болгарского университета вместе со своими друзьями интересовалась жизнью далекой родины, пыталась непредвзято оценить положение, сложившееся в России. Другие отрывки мемуаров свидетельствуют, что в годы Второй мировой войны Инна Валентиновна была в числе тех эмигрантов, которые сочувствовали борьбе Советского Союза с фашизмом, ждали от него разгрома фашистской Германии и избавления Болгарии от гитлеровского ига.

В 1945 г. И. В. Матвеева получила советское гражданство. Она несколько лет активно работала в Клубе советских граждан в Софии, руководила кружком по изучению СССР. В 1955 г. многим русским гражданам из

числа бывших эмигрантов было разрешено вернуться на родину, и Инна Валентиновна, у которой незадолго до возвращения родилась дочь, отправилась с грудным ребенком в Россию. На первых порах репатриантов ждали серьезные испытания: их, большей частью людей умственного труда, обычно направляли работать на целинных землях Казахстана или поднимать промышленность в восточных районах страны. Инне Валентиновне повезло — у нее в Москве жил отец, и она попала в столицу. Здесь, однако, первое время не было жилья, пришлось устраиваться на работу и решать множество других бытовых вопросов, причем не только личных: к И. В. Матвеевой тянулись репатрианты, приезжавшие в Москву из советской «глубинки» в надежде добиться улучшения своего положения. Там, где она жила, был своеобразный штаб возвратившихся из Болгарии русских, добивавшихся чего-либо в «инстанциях». Проявив незаурядную настойчивость, твердость и дипломатические способности, Инна Валентиновна помогла многим товарищам — репатриантам из Болгарии получить возможность жить в крупных городах и работать по специальности.

В Москве Инна Валентиновна Матвеева поступила на работу в Институт неорганической химии АН СССР, где трудилась до выхода на пенсию. В 2002 г. в связи с преклонным возрастом она вынуждена была переехать к дочери, жившей в Англии.

Весной 2003 г. И. В. Матвеева, с которой публикатор данных отрывков познакомился еще в Москве, стала присылать ему из Англии воспоминания о жизни эмигрантов в Болгарии, преимущественно в Софии. Эти мемуары не представляют чего-либо целого: Инна Валентиновна пишет то о гимназии, то об эмигрантских организациях, то о трудовой деятельности эмигрантов. В распоряжении публикатора имелись также краткие заметки И. В. Матвеевой об отдельных эмигрантах (в примечаниях они обозначены буквой З), которых мемуаристка лично знала или о которых слышала. Кроме последних заметок (они были написаны в московский период жизни Матвеевой) и уже опубликованных в «Славянском альманахе» за 2003 г. отрывков, имеются следующие мемуарные отрывки Инны Валентиновны:

- Организации взрослых и детей (в двух вариантах).
- Шпионы из СССР в Болгарии
- Русская церковь в жизни русских эмигрантов в Софии.
- Отец Андрей Ливен.
- Культурная жизнь и быт русских эмигрантов.
- Библиотеки (в двух вариантах, один составляет первую часть «Дополнений»).
- О русских студентах (отрывок составляет вторую и последнюю часть «Дополнений»).

Ниже публикуются «Дополнения» и первые страницы отрывка о культуре и быте эмиграции. Вместе с опубликованным ранее отрывком об эмигрантском образовании они составляют ту часть мемуаров, в которых рассматриваются вопросы культуры и просвещения софийской эмигрантской диаспоры. Основной отрывок под заглавием «Библиотеки» очень краток и во многом повторяет сведения «Дополнения». Он был использован при работе публикатора над текстом.

Отрывки даны в литературной обработке публикатора, который старался максимально полно и точно передать содержание мемуаров, но вынужден был значительно менять написанный И. В. Матвеевой текст. Это стало необходимым потому, что в отрывках много несогласованностей, повторов или стилистически неправильных выражений. Иногда приходится переставлять куски мемуаров, заимствовать из одних отрывков сведения, неправильно опущенные автором в других, и т.д. В предыдущем выпуске «Славянского альманаха» вся подобная правка была согласована с И. В. Матвеевой и получила ее положительную оценку. «Как хорошо и последовательно Вы все сделали! Спасибо Вам большое, возражений у меня нет...» — писала она 1 августа 2003 г. (письмо хранится в архиве публикатора).

Неточности, допущенные И. В. Матвеевой, отмечены в примечаниях. Там же сообщаются краткие сведения об упоминаемых в тексте лицах.

А. Н. Горяинов (Москва)

О русских студентах-эмигрантах

В главе о русском национальном образовании я немного писала уже про учебу в Софии студентов из числа русских эмигрантов. Сейчас хотелось бы подробнее остановиться на их общественной жизни, их взглядах, на студенческих организациях.

Русские студенты учились главным образом в Государственном (Державном) и Свободном университетах, находившихся в Софии. Были также единичные случаи получения эмигрантами высшего образования в Высшем торговом училище в Варне и в Высшем экономическом институте в Свиштове. Я уже рассказывала об оплате учебы эмигрантов из средств Союза русских студентов при Софийском университете и о выделяемых русским стипендиях. Здесь хочу заметить, что получение стипендии еще не гарантировало студенту сносных условий для учебы, стипендии могли и лишить, это обычно делалось, если студенты создавали семью. Я знала двух студентов, которые стали супругами на третьем курсе, лишились по этой причине стипендии и вынуждены были оставить университет, чтобы пойти работать¹. Еще одна известная мне студенческая пара поступила иначе: муж пошел работать и дал жене завершить образование, а затем, когда жена стала врачом, она помогла окончить университет мужу. Отмечу, кроме того, что многие стипендиаты, которые сумели получить высшее образование и устроиться на приличную работу, дававшую заработок в 2–3 тыс. левов, добровольно отчисляли студенческой корпорации по 100 левов в месяц для поддержки студентов-соотечественников.

В Державном университете русские эмигранты обучались преимущественно на агрономическом и медицинском факультетах.

Заполнялись также выделенные для эмигрантов места на филологическом факультете, там эмигрантская молодежь специализировалась по русскому языку, готовя себя к работе учителями в болгарских гимназиях, где русский изучался в течение двух лет по два урока в неделю. На других факультетах училось обычно 1–2 человека, а в отдельные годы на этих факультетах вообще не было русских.

Русские студенты учились прилежно, многие были лучшими на своем курсе, однако ученых степеней удаивались очень немногие: нужно было как можно скорее становиться на собственные ноги и начинать зарабатывать на жизнь. Среди этих немногих мне известен Мстислав Сергеевич Курчатов, двоюродный брат советского академика И. В. Курчатова. М. С. Курчатов оказался в эмиграции вместе с родителями. Он окончил Софийский университет, специализировался по химии, изучал процессы, происходящие при выплавке металла в домнах, и со временем стал доктором наук². <...> В 1950-е гг. Мстислав Курчатов хотел вернуться в СССР, но ему предложили работать рядовым химиком где-то в провинции, и он возвратился в Софию.

В Болгарии выпускники школ поступали в высшие учебные заведения на основании конкурса аттестатов. Тому, кто имел аттестат зрелости с низкими баллами, путь в Державный университет был закрыт. Чтобы получить профессию, довольно многочисленные выпускники русских гимназий с посредственными отметками в аттестатах вынуждены были поступать в Свободный университет, где ограничений в приеме не было. В Свободном университете готовили специалистов по экономике и праву. В нем могли учиться как мужчины, так и женщины, но все же из эмигрантской молодежи учились преимущественно мужчины. Обучение было вечерним, что позволяло получать высшее образование служащим, трудившимся в сфере торговли, финансов и работавшим в разного рода конторах. В Свободном университете получала образование одна моя школьная подруга. Она пошла туда не ради знаний, а ради престижа, когда работала официанткой в домашней столовой. После окончания университета эта женщина уже нигде не работала.

Всех русских студентов объединяла Корпорация русских студентов, во главе которой стояло лицо, избранное на студенческом собрании. Это был все время один и тот же человек, он возглавлял Корпорацию в течение многих лет и, видимо, периодически побеждал на выборах. Руководитель Корпорации был ставленником Российского общевоинского союза (РОВСа), крупнейшей антисоветской военно-политической организации русской эмиграции. Он пристально следил за политическими взглядами студентов, и если кто-то был неугоден РОВСу или замечался в неприязни к студенческой корпорации, за его обучение переставали платить (плату

необходимо было вносить два раза в год, перед началом зимнего и весеннего семестров). Разумеется, жесткий контроль над студентами вызывал у немалого их числа недовольство, и такие студенты часто превращались в «оппозиционеров». Среди них вскоре оказались и я, и мой одноклассник и друг А. П. Мещерский³.

Неприязнь РОВСа к нашей семье была вызвана нежеланием моего отчима, доктора Матвеева⁴ связать свою жизнь с этой организацией. Отчим окончил петербургскую Военно-медицинскую академию и в годы Первой мировой войны возглавлял санитарный поезд великой княгини Марии Павловны в звании полковника, он был даже представлен к генеральскому чину, но в Белом движении не участвовал. Незадолго до прихода большевиков к власти доктору Матвееву было поручено сопровождать раненых французских военнослужащих, морем возвращавшихся на свою родину. Октябрьские события 1917 г. застали пароход с французами в Тунисе, и он дальше не пошел. Примерно через год ряду русских граждан из числа пассажиров парохода и его медицинского персонала удалось добраться до Болгарии, и они осели там, ожидая окончания революции. Переждав ее, они думали вернуться в Россию и не уезжали из Болгарии, чтобы быть ближе к родной стране.

Руководители РОВСа неоднократно приглашали доктора Матвеева, как офицера, имевшего высокое воинское звание, вступить в эту организацию, но он неизменно отказывался, ссылаясь на то, что не является профессиональным военным и только вынужден был заниматься военно-врачебной деятельностью во время войны.

За это РОВС решил отыграться на мне. За учебу в Софийском университете в первом семестре 1933/1934 учебного года студенческая корпорация за меня заплатила, но затем платить не стала. А вскоре меня вызвали в РОВС и как студентке, специализирующейся по химии, предложили по разработанному кем-то рецепту изготовить бомбу. Эта бомба, конечно, предназначалась для использования в СССР, куда РОВС время от времени засылал своих людей для проведения спецопераций. Напрямую отказываться от «почетного задания» было опасно, и пришлось разыграть роль «кисейной барышни», которая смертельно боится всего взрывоопасного, даже вполне безопасных поодиночке составных частей бомбы. Я не поддавалась на длительные уговоры, и этого мне тоже не простили: какой-то представитель Корпорации русских студентов явился в деканат и потребовал исключить меня из университета (об этом мне рассказала секретарь декана). У декана не было оснований для выполнения требования РОВСа, и я осталась студенткой. Тогда РОВС обратился по моему «делу» к ректору, утверждая, что я неблагонадежна и не успеваю в учебе. Однако мнение эмигрантской организации ректора интересовало мало. Он затребовал мои документы, увидел мои

оценки, навел справки обо мне в болгарских студенческих организациях и, как ранее декан, не нашел никаких оснований для моего исключения. Тем не менее наша семья продолжала оставаться у РОВСа под подозрением.

Как-то в 1934 г. ко мне домой пришел Андрей Мещерский вместе с несколькими другими студентами. Он рассказал, что группа юношей и девушек, среди которых не только студенты, хотела бы изучать коммунистическую Россию. Молодежь знала о событиях на родине по эмигрантским газетам «Возрождение»⁵, «Последние новости»⁶ и др., но там публиковались только материалы об арестах, голоде, и все рисовалось в самых мрачных красках. В 1926 г. в Софии, в Русском доме прошла также выставка, на которой были показаны экспонаты, свидетельствующие о тяжелом положении в России, но ее устроители дошли до того, что продемонстрировали кусок обычного черного хлеба как доказательство его несъедобности. Черный цвет, как они утверждали, хлеб приобрел в результате примеси земли к тесту. Такая неумная пропаганда вызывала недоверие, и хотелось во всем разобраться самостоятельно.

Мне предложили стать секретарем возникшего кружка, мы предположили собираться у меня дома. Всего нас насчитывалось 10–12 человек. Каждому члену группы поручалось готовить доклады по той или иной теме из жизни СССР. Источником сведений должны были служить московские газеты, которые предполагалось получать от болгарских коммунистов. Намерение составить представление о родине по газетным материалам было, конечно, наивным; очень искренним, однако, являлось желание получить о родной стране объективную информацию.

Наши заседания не остались незамеченными РОВСом и организацией русских студентов. Сразу же после начала работы кружка к нам пришел представитель студенческой корпорации и заявил, что мы правы: современную жизнь СССР нужно изучать, но не следует делать этого в частном доме, обременяя моих родителей, а вполне можно собираться под покровительством Корпорации в общежитии или столовой. Мы обещали подумать, но не хотели оказаться под контролем РОВСа. В конечном счете, удалось обойтись без навязываемых нам помещений: кружок получил возможность собираться в особняке ИМКА. Собирались мы один раз в неделю. Помещение группе предоставлялось бесплатно, но мы не могли платить за освещение и отопление, и потому читали свои доклады в холоде и темноте. Иногда приносили свечи, но чаще, как бы скрываясь, сидели без света. Поскольку отопление не включалось, приходилось работать в верхней одежде. Особенно трудно было докладчикам: им нужно было заучивать свои доклады и читать их почти наизусть.

Вскоре РОВС нас выследил, и вместе с несколькими другими членами кружка я предстала пред светлые очи одного из его руководителей А. А. Браунера, который по совместительству возглавлял в болгарской Дирекции полиции III отдел, занимавшийся вылавливанием и «нейтрализацией» болгарских коммунистов. Браунер обвинил нас в принадлежности к Коммунистической партии. Мы, однако, смогли предварительно сговориться и твердо стояли на том, что репетируем спектакль в пользу студентов, не получающих стипендии. Наш «обвинитель» записал название, время проведения и другие выдуманные нами сведения о спектакле и обещал его посетить. В то же время он предупредил, что если наши сборища не прекратятся, нам не поздоровится.

Пришлось отказаться от помещения в особняке и срочно заняться разучиванием ролей какой-то русской пьесы, собираясь на дому у одной из кружковок. На репетиции приходили только те члены нашей группы, которые должны были участвовать в спектакле. И хотя под видом репетиций мы провели еще несколько заседаний кружка, после спектакля деятельность его прекратилась: мы знали, что Браунер продолжает за нами следить.

Культурная жизнь софийских эмигрантов «первой волны»

Русские эмигранты «первой волны» пользовались всеми благами культуры, которыми располагала София и, в свою очередь, вносили посильный вклад в культурную жизнь болгарской столицы.

Центральной столичной сценической площадкой было здание софийской Народной оперы где давались не только оперные спектакли, но и, в очередь с ними, один раз в два дня ставились драмы. Оперы и русских, и западных композиторов исполнялись артистами Народной оперы только на русском языке, их ставил русский дирижер Померанцев⁷, в оформлении спектаклей наряду с болгарскими художниками участвовал русский эмигрант, художник Н. Б. Глинский⁸. В течение ряда лет главные оперные партии исполняли русские артисты — тенор Каренин⁹ и бас Ждановский¹⁰, исполнявший партии Ф. И. Шаляпина. Оба певца пользовались большим успехом. После установления в результате Второй мировой войны новой власти Ждановский был арестован и погиб в советском лагере, а Каренину удалось вовремя уехать на Запад.

В хоре Народной оперы пели русские артисты и артистки, в балете танцевало несколько русских балерин. На оперных спектаклях эмигранты бывали довольно часто, 20–30-минутные антракты (ввиду отсутствия в то время технических приспособлений для быстрой смены декораций перерывы между действиями длились долго)

не были им в тягость, потому что эмигранты в театре активно общались друг с другом, в фойе постоянно звучала русская речь.

А. Л. Копотилова¹¹, русская, учительница немецкого языка, очень любила оперное искусство, много времени отдала исправлению произношения, ударения и акцента ведущих болгарских певцов. Это она часто делала бесплатно, по зову сердца, и артисты не остались в долгу: за Копотиловой было закреплено на все оперы постоянное место № 20 в первом ряду балкона, и рядом имелось всегда несколько пустых мест, на которые учительница имела право приглашать своих друзей и даже их знакомых. Такие приглашения очень радовали эмигрантскую молодежь, не имевшую средств на приобретение билетов, и около Копотиловой всегда сидел какой-нибудь гимназист или студент.

На сцене Народной оперы два раза состоялись гастрольные выступления Ф. И. Шаляпина¹², и во время этих гастролей чуть ли не весь театр был заполнен русскими, хотя билеты стоили очень дорого.

Драматические представления русские посещали мало, так как плохо владели болгарским языком. Однако в начале 1920-х гг. они имели возможность посетить спектакли артистов Московского художественного театра, оказавшихся за рубежом. Артист МХАТ Массалитинов¹³ и его жена артистка Краснопольская¹⁴ обосновались в Софии. Там Массалитинов стал главным режиссером Болгарской драмы, преподавал в театральном институте. Дочь супругов Татьяна¹⁵ впоследствии тоже стала артисткой, ей присвоено звание народной артистки Болгарии.

Популярным у русских эмигрантов был Театр русской драмы (молодежь прозвала его «Драма русского театра»)¹⁶. Театр создала бывшая актриса из русской провинции, выступавшая на сцене под фамилией Базилевич. Базилевич была режиссером спектаклей и одновременно исполняла в них множество главных ролей. Другие роли распределялись главным образом между членами семьи Базилевич (она была замужем за Зипаловым¹⁷, ее сын и дочь учились в Софийской русской гимназии) и актерами-любителями, но нередко в спектаклях участвовали и какие-либо профессиональные актеры и актрисы из числа живущих в Софии русских эмигрантов. Репетиции проходили обычно на дому у Базилевич. Вся административная деятельность лежала на Зипалове: он договаривался о предоставлении залов (обычно спектакли игрались в зале общества «Славянская беседа», который предоставлялся театру бесплатно, возмещались только расходы на освещение, уборку зала после спектакля и т. д.) и о бесплатном напечатании билетов (они печатались в типографиях, где работали русские).

Подавляющее большинство билетов распространялось среди директоров тех предприятий, где работали русские эмигранты. Обычно

Зипалов просил директора «поддержать русскую культуру» и навязывал ему 15–20 билетов. Директора-болгары, конечно, на спектакли не ходили и раздавали билеты работавшим у них русским, поэтому, хотя в кассе было в продаже лишь малое число билетов, зал был всегда полон. Небольшой балкон зала «Славянской беседы» выделялся гимназистам старших классов, которые проходили туда бесплатно¹⁸.

Спектакли давались ежемесячно или один раз в два месяца. В основном ставились русские пьесы, давались также некоторые пьесы западноевропейских авторов, разные водевили — все то, в чем могла играть главные роли Базилевич.

За пределами театра Зипалов прославился тем, что построил для себя и своей семьи склеп на Русском кладбище, возвышавшийся над скромными могилами с каменными и деревянными крестами. Там кроме супругов Зипаловых нашла упокоение дочь Базилевич Зоя, погибшая при бомбардировке Софии в 1944 г. Сын Зипаловых окончил университет и стал юристом.

Русские эмигранты очень любили посещать концерты приезжавших в Софию русских артистов — мужского хора из Парижа под руководством Жарова¹⁹ (впоследствии все участники этого хора, который мы, девочки, называли хором «мальчиков», погибли в авиакатастрофе при перелете в США), А. Вертинского²⁰, Н. Плевицкой²¹. Общий восторг вызывали песни Плевицкой, на концертах которой зал заливался слезами, в особенности трогала русских эмигрантов песня «Занесло тебя снегом, Россия».

Иногда в Софии устраивались художественные выставки, картины для которых привозились из музеев Запада, но болгары посещали эти выставки недостаточно активно, и потому они были редкими.

Излюбленным развлечением русских эмигрантов, живших в Софии, было кино. В первые годы эмигрантской жизни фильмы еще были немые, на экране только появлялись иногда субтитры на болгарском языке, тогда мало освоенном русскими. Тем не менее все было понятно, артисты передавали то, что было нужно, не словами, а самой игрой. Кинофильмы шли под музыку, исполнявшуюся таперами, которые имелись в каждом кинотеатре. Они обычно играли на пианино, сопровождая действие на экране мелодией, которую подбирали самостоятельно сообразно происходившим в фильме событиям. Таперами работали преимущественно женщины. Среди моих знакомых была дама, которая несколько лет работала тапером. Она имела музыкальное образование и знала наизусть много музыкальных произведений. Дама рассказывала, что играет «с экрана», т. е. то, что считает подходящим к событиям, которые происходят в фильме в тот или иной момент действия, иногда ей даже приходилось повторять по нескольку раз одну и ту же музыкальную фразу.

Немые фильмы создавались главным образом по литературным произведениям (шли, например, картины «Робинзон Крузо», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Отверженные»²², экранизировались некоторые рассказы Мопассана) или по специально написанным для кино сценариям, содержащим простые, но увлекательные истории. Во многих фильмах играл мальчик Джекки Куган²³. Были популярны кинофильмы с участием Рудольфа Валентино, Греты Гарбо, Вили Фрича, Мэри Пикфорд²⁴, русского артиста Ивана Мозжухина и его партнерши Наталии Лысенко (особенным успехом пользовалась их актерская работа в кинофильме по роману Жюль Верна «Михаил Строгов»²⁵), а также жившего в Югославии русского артиста Ивана Пётровича. Успехом пользовались также австрийские кинокартины с легкими или забавными сюжетами, где в заглавных ролях выступала Ани Ондра. Большинство демонстрировавшихся в Болгарии фильмов производилось во Франции, Германии, США. Из фильмов, снятых в Болгарии, я помню только один, появившийся в конце 1929 г. Он был о русской эмиграции, и роль девочки-эмигрантки в нем сыграла одна из наших гимназисток, шестнадцатилетняя Таня Тарновская, снимавшаяся в фильме как Тити Тарновская²⁶.

Большим событием в жизни русских эмигрантов стала демонстрация в 1924 или 1925 г. документального фильма «300-летие царствования Дома Романовых»²⁷. В фильме показывались юбилейные торжества с участием членов царской семьи, депутатов Государственной Думы, военных, иностранных гостей. Все эти люди были нарядными, «при полном параде», при орденах. Я тогда училась в выпускном классе Софийской русской гимназии и сидела в кинотеатре рядом с учительницей. Когда та увидела на экране депутатов Думы, она вдруг громко крикнула «Георгий Александрович! Живой!», а затем горько заплакала. Так наша преподавательница реагировала, увидев на экране мужа, которого недавно похоронила²⁸.

Детей в Софии пускали только на определенные фильмы, отобранные для специальных двух сеансов «ученического кино» в неделю, которые проводились в кинотеатрах каждое воскресенье в дневные часы. Когда стало известно о том, что гимназистка Тарновская сыграла роль в кино, ее исключили из гимназии.

Большинство русских абонировалось в русских библиотеках²⁹. <...> Газеты [эмиграции] многие русские выписывали на дом. В соответствии со своими политическими убеждениями они подписывались на «Возрождение», «Последние новости» и другие газеты, выходившие за пределами Болгарии. Наибольший интерес в газетах вызывали фельетоны Ренникова³⁰, рассказы Тэффи³¹, воспоминания художника Коровина³². Своей газеты русская эмиграция в Софии не имела. Были только попытки, появилось по несколько

номеров газет «Голос» и «Вопль», но содержание их было далеко от совершенства и даже выходило за рамки приличия. Там с гадким юмором обыгрывались фамилии некоторых живших в Софии русских эмигрантов и комментировались случавшиеся с ними происшествия³³.

В одной из болгарских газет работал репортером молодой русский, совсем юноша. В Софии жили также поэтесса Любовь Столица, известная как автор поэмы «Елена Деева»³⁴, писатель А. М. Федоров³⁵, поэт Евреинов (позже он уехал в Бельгию)³⁶. Через Софию проехало также много писателей и поэтов, направлявшихся в эмиграцию из России в страны Запада.

Наиболее значительными событиями в культурной жизни русской эмиграции были ежегодные «Дни русской культуры», которые всегда отмечались торжественно. Особо торжественно отмечался «День русской культуры» в 1937 г., в год юбилея А. С. Пушкина. Обычно для проведения торжеств арендовался хороший зал какого-нибудь кинотеатра. Заслушивался интересный доклад одного из деятелей культуры или видного представителя общественной жизни, затем состоялся концерт, в нем, как правило, участвовали мастера художественного слова, выступали певцы. Русская эмигрантская интеллигенция посещала торжественные заседания почти вся без исключения, участвовать в торжествах считалось очень престижным не только для русских, но и для болгарских артистов.

В конце 20-х и в начале 30-х гг. на Западе стало модно проводить «суды» над некоторыми героями литературных произведений. В Париже, например, состоялся «суд над Евгением Онегиным». В «судах» участвовали «обвиняемые», «судьи», «присяжные заседатели», «прокуроры», «защитники», «свидетели». Подхватили эту моду и в Софии. В стенах Софийской русской гимназии состоялась серия «судов» над разными персонажами семьи Простаковых из «Недоросля» Фонвизина. В «судах» участвовали многие гимназисты и гимназистки старших классов. Они изображали «обвиняемых» и «свидетелей» из числа персонажей комедии, других «участников судебного процесса». К «судам» всегда долго готовились, тщательно разучивали тексты выступлений судей, прокуроров и других участников действия. Тексты составлялись заранее какими-то взрослыми «специалистами», их получали, как мне представляется, из Всероссийского союза городов, может быть, их писал сам руководитель болгарской части ВСГ А. В. Арцишевский³⁷, который всегда инсценировал детские сказки, разыгрывавшиеся на школьных елках. «Суды» были «публичными», на них присутствовали учащиеся и их родители. Они проходили очень интересно, но на подготовку и проведение этих увлекательных представлений тратилось слишком много времени, поэтому от них вскоре отказались.

Среди русской эмигрантской молодежи наименьшей популярностью пользовался спорт. Некоторые занимались лыжами на горе Люлин, горнолыжники катались на горе Витоша. Довольно много молодых эмигрантов увлекалось туризмом, осваивая горы Южной Болгарии. Гимнастику культивировало общество «Русский сокол». Когда в окрестностях Софии был построен плавательный бассейн «Диана» с пляжем, русские стали его частыми посетителями, но они занимались оздоровительным, а не спортивным плаванием. Теннис был очень дорогим видом спорта, в него играли исключительно иностранные дипломаты, русские же школьники и студенты занимались к ним подбирать теннисные мячи.

Русские библиотеки в Софии

Главной библиотекой русских эмигрантов в Софии была Пушкинская. Она принадлежала Всероссийскому союзу городов и Земско-городскому комитету, ее курировал представитель Всероссийского союза городов в Болгарии А. В. Арцишевский. Библиотека располагалась в квартире большой площади, часть комнат которой была занята книгами и читальным залом, в той же квартире жил заведующий библиотекой. Библиотечные книги заполняли стены двух комнат, в небольшой проходной комнате стояли два столика, за которыми всегда сидели читатели, работавшие с газетами. Обычно это были мужчины, среди них имелся один читатель, постоянно пользовавшийся энциклопедиями.

Заведовали библиотекой полковник артиллерии Карпинский³⁸, а с конца 1930-х гг. — А. В. Арцишевский. В 1928 г., после окончания гимназии, в библиотеке стала работать также дочь Карпинского Татьяна, которая часто замещала отца на выдаче литературы, но она могла только записывать в формуляры сданные и выданные книги и совсем не была способна помочь читателям.

Каких-либо вечеров или обсуждений выходящих книг в Пушкинской библиотеке никогда не проводилось. Карпинский и его дочь, не имевшие соответствующей подготовки, вряд ли были способны вести такую работу, но те функции, которые они на себя взяли, отец и дочь выполняли хорошо. Например, книги из Пушкинской можно было получить даже находясь вне Софии. Для этого читателю, записанному в библиотеку, нужно было составить список необходимых книг и послать его Карпинскому, имеющиеся в библиотеке книги высылались почтой заказчику, а он должен был оплатить почтовые расходы.

Пушкинская библиотека существовала вплоть до прихода в Болгарию в 1944 г. Советской армии. Формально она была конфискована, а фактически разграблена. Всю ее растащили советские солдаты

и офицеры, добравшиеся до совсем неизвестной им и такой увлекательной эмигрантской литературы.

Пользование Пушкинской библиотекой было платным, при записи читатели вносили в качестве залога 50 левов, а затем ежемесячно платили 30 левов. Эта сумма была очень небольшой: килограмм белого хлеба стоил в Софии 12 левов, а килограмм мяса — 24 лева, поденный рабочий получал в день 50 левов.

Книги на полках были расставлены по отделам (беллетристика, детская литература, энциклопедии и словари и т. д.) Существовал печатный каталог библиотечных книг в виде сброшюрованной «тетради»³⁹. Ядро библиотеки составляла русская классика, в ней имелся ряд классических произведений мировой литературы — русские переводы ряда романов В. Гюго, А. Доде, Т. Манна. Библиотека имела также некоторые дореволюционные и получала современные эмигрантские журналы, выходящие в Париже, Берлине и Риге. Помню из старых изданий журналы «Исторический вестник»⁴⁰, «Природа и люди»⁴¹, «Нива»⁴², «Вера»⁴³. Комплектовалась библиотека также новыми журналами на русском языке — я вспоминаю «Иллюстрированную Россию»⁴⁴, «Перезвоны»⁴⁵, «Юный читатель»⁴⁶, «Современные записки»⁴⁷. Из справочных изданий имелась энциклопедия Брокгауза и Ефрона, некоторые словари. Литературой на болгарском и других европейских языках Пушкинская и иные софийские эмигрантские библиотеки не комплектовались.

В Пушкинскую библиотеку постоянно поступали новые «бульварные» романы русских писательниц-эмигранток Нагродской⁴⁸, Лаппо-Данилевской⁴⁹, Крыжановской⁵⁰, княгини Бебутовой⁵¹, а также переводы на русский язык французских «бульварных» романов, из которых запомнились произведения Виктора Маргерита и его романы, написанные совместно с братом⁵². «Бульварные» романы брали главным образом дамы, это чтение помогало женщинам, как они сами говорили, отдохнуть и отвлечься от скудной и неинтересной эмигрантской жизни; часть этого чтива была такой по содержанию, что родители не могли давать книги детям.

Развлекали читателей также переводные произведения детективного жанра. Библиотека получала главным образом детективы популярного тогда автора Э. Уоллеса⁵³. Как-то я стала свидетельницей того, как одна из читательниц спрашивала у сотрудника библиотеки, не получен ли новый роман Уоллеса. Узнав, что новинки нет, дама ушла, вообще не взяв книг. «Я люблю только романы Уоллеса», — заявила она библиотекарю. Таких читателей, которые приходили исключительно за книгами Уоллеса, было, по словам Карпинского, несколько человек.

Наряду с бульварными романами Пушкинская библиотека получала много другой русской эмигрантской беллетристики, мемуары,

книги по истории. У читателей пользовались популярностью исторические романы С. Р. Минцлова⁵⁴. Мужчины часто спрашивали романы П. Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени», «Понять — простить», «За чертополохом» и др.⁵⁵

Как я узнала впоследствии, судьба П. Н. Краснова оказалась трагичной. Он жил в Берлине, его брат Николай Николаевич — в Париже. В конце войны братья оказались в руках советских спецслужб. В 1975 г. я была в Париже и прочитала там книгу Н. Н. Краснова⁵⁶, где он рассказывал, как его и его брата арестовали и отправили на Лубянку. После многочисленных допросов брата расстреляли, а Николай Краснов около десяти лет провел в советском лагере. В книге он рассказал о смерти брата и перенесенных страданиях. После освобождения Париж отказал Н. Н. Краснову в визе для возвращения во Францию, но благодаря усилиям шведских друзей он смог выехать из Советского Союза в Швецию, и во Францию перебрался уже оттуда.

Получала библиотека также книги по истории, философии, религии, педагогике, различные учебники и самоучители. В ней постоянным спросом пользовалась отечественная и переводная детская литература — те классические произведения, которые всегда читали дети в России. Но этой литературы было мало, и наша семья записалась в ее поисках в библиотеку при книжном магазине «Зарницы».

Главным занятием владельца «Зарниц» писателя Калининкова⁵⁷ был книжный магазин, где продавались газеты и книги, выходящие на Западе. Магазин снабжал новыми книгами и Пушкинскую библиотеку. «Библиотека» при магазине занимала всего две-три полки, но там имелись отсутствующие в Пушкинской библиотеке книги для детей и некоторые другие издания. Кроме того, на полках собрания Калининкова стояли дореволюционные журналы «Нива», «Природа и люди» (среди этих журналов были и номера, отсутствующие в Пушкинской библиотеке). Каталога не было, чтобы что-нибудь найти приходилось рыться в книгах.

Совсем небольшое количество русских книг выдавалось читателям в магазине «Печатное дело», который торговал свежими газетами и новинками русской беллетристики, в том числе советскими изданиями. Там была всего одна полка дореволюционных книг, так что даже название «Библиотека» к этому собранию вряд ли было применимо. Имелась еще русская библиотека при Обществе галлиполиейцев, она называлась Гоголевской. Вряд ли эта библиотека была большой, во всяком случае, я не знала никого, кто бы ею пользовался, и о ней мне никто никогда не рассказывал. Наконец, существовали школьная библиотека Софийской русской гимназии (о ней я уже писала в главе о русском национальном образовании) и небольшая

библиотека Союза русских студентов при его общежитии. В последней библиотеке, которой могли пользоваться только обитатели общежития (в нем проживали исключительно студенты-одиночки, у которых не было никакой возможности где-либо приютиться), имелось некоторое количество учебников и научной литературы.

Издания на русском языке можно было найти не только в русских библиотеках, но и в болгарских «читалищах». Там довольно часто имелись комплекты старых русских журналов. По всей вероятности, их передавали в «читалища» болгары, знавшие русский язык и выписывавшие до революции литературу из России. Они, однако, русским библиотекам книг не жертвовали, по крайней мере, я не знаю ни одного такого случая. В «читалищах» я брала многие журналы, они выдавались на дом. Русские эмигранты, принадлежавшие к культурной элите общества, пользовались книгами болгарской Народной библиотеки, комплектование и обслуживание в которой находилось на самом высоком уровне.

Книжный голод на русские книги в эмигрантской среде вызвал некую специфическую форму выдачи книг для чтения, о которой я расскажу ниже. В Софии работала русская эмигрантка, накануне Второй мировой войны она была учительницей в Софийской русской гимназии. Эта одинокая дама, преподававшая французский и немецкий языки, хорошо зарабатывала частными уроками и имела возможность материально помогать соотечественникам. Она выбрала двух пожилых русских инвалидов и предоставила в их распоряжение свою домашнюю библиотеку из почти 500 томов литературных приложений к журналу «Нива», приобретенных, видимо, у кого-то из болгарских интеллигентов. В приложения входили полные собрания сочинений И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского и многих других писателей XIX в. Книги были в хорошем состоянии, в кожаных переплетах. Инвалиды давали эти книги русским для прочтения за небольшую плату, которая помогала им сводить концы с концами. После кончины инвалидов приложения к «Ниве» вернулись к хозяйке, и она их продавала. Узнав об этом, я решила книги купить, у меня до той поры совсем не было книг, а тут нашлось такое богатство! Приложения к «Ниве» я действительно купила, платила за них в рассрочку, но, когда в 1955 г. решила переселиться в СССР, болгарский Литфонд запретил увозить из страны эти книги. После моего отъезда к матери, которая осталась в Болгарии, явился один аферист-книготорговец и обманом завладел книгами: он сказал, что отдал мне большую часть их стоимости и, заплатив немного матери, забрал книги и переправил их в Австралию (там после войны оказалось много русских эмигрантов и был дефицит русской литературы).

Русскими книгами в Софии до 1934 г. торговали два букиниста, оба они раскладывали свой товар прямо на улице, в открытых шкафчиках и на плоских деталях ограды по обе стороны ворот во двор бывшего русского посольства, которое занимали различные эмигрантские организации. Один букинист, его звали Иваней, торговал слева от ворот, другой по имени Манько — справа. После установления дипломатических отношений между Болгарией и СССР и возвращения Советскому посольству посольского здания их торговля прекратилась. Тогда же открылся магазин «Русская книга», где можно было купить советские издания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Из З. видно, что речь идет о студентах Софийского университета Л. С. Третьякове и О. Л. Бурцевой, которые стали работать в так называемом «Центрохламе» (о деятельности этого предприятия по реставрации ношенной одежды см.: Славянский альманах 2003. С. 498–499).
- ² Курчатов Мстислав Сергеевич (1911), родился в Уфе, доктор и профессор, работал в Софийском университете и в Институте общей и неорганической химии Болгарской АН. В. И. Матвеева в опущенной части фразы утверждает, что он был академиком, но подтверждений этого факта разыскать не удалось.
- ³ Мещерский Андрей Павлович (1915–1992), был вывезен матерью из России ребенком, окончил Софийскую русскую гимназию и Свободный университет в Софии, в 1941 г. женился на дочери известного историка П. М. Бицилли, стал основоположником изучения его творчества. В 1944 г. вступил добровольцем в болгарскую армию, участвовал в борьбе с гитлеровскими войсками. После 1945 г. в течение многих лет работал библиотекарем в Народной библиотеке Болгарии.
- ⁴ Матвеев Валентин Владимирович (1880–1948), врач, в Болгарии возглавлял передвижной отряд по борьбе с венерическими болезнями, работал в Дирекции народного здоровья, принимал активное участие в создании медицинского факультета Софийского университета.
- ⁵ Газета праволиберального направления, выходила под редакцией П. Б. Струве в Париже в 1925–1940 гг.
- ⁶ Газета либералов, сторонников П. Н. Милюкова, выходила под его редакцией в Париже в 1920–1940 гг.
- ⁷ Померанцев Юрий Николаевич (1878–1933), композитор, воспитанник Московской консерватории. До 1918 г. был дирижером оперного театра Зимина и балета Большого театра. В 1919 г. выехал за рубеж на гастроли, в 1924–1927 гг. был главным дирижером болгарской Народной оперы.
- ⁸ Глинский Николай Борисович (1901), участник Белого движения, оказался в Турции, затем в Болгарии. Окончил русскую гимназию в г. Шумен и Государственную художественную академию в Софии, был одним из основателей Общества русских художников в Болгарии (существовало

- с конца 1929 до середины 1940-х гг.), участвовал в организованных обществом художественных выставках. В 1920–1930-х гг. работал театральным художником-сценографом Народной оперы. По одним сведениям умер в Болгарии в 1976 г., по другим во второй половине 1950-х гг. вернулся в СССР, был главным художником Саратовского драматического театра, скончался в 1998 г. в Саратове.
- ⁹ Каренин Константин Иванович, оперный артист, с 1930 пел в Народной опере, пользовался большой популярностью. В 1939 г. уехал в Прагу.
- ¹⁰ Ждановский Евгений Фадесвич (1892–1949), с 1923 жил за рубежом, с 1928 — солист софийской Народной оперы.
- ¹¹ Копотилова Александра Львовна, до 1929 г. преподавала в русской гимназии в Варне, затем, по свидетельству автора воспоминаний, жила в Софии, давала частные уроки.
- ¹² В статье Е. Даскаловой «Руските театрални дейци в България» (см.: Бялата емиграция в България: Материали от научна конференция... София, 2001) на с. 252 опубликована надпись Шалапина на фотографии, подаренной им упомянутому выше художнику Н. Б. Глинскому: «Брависсимо! Милейший Глинский! Смотрел ваши эскизы, превосходная работа! Bravo!» Надпись датирована октябрём 1934 г. Автор сообщает, что в это время Шалапин пел в Народной опере заглавную партию в опере «Борис Годунов», сценографию которой осуществлял Н. Б. Глинский.
- ¹³ Массалитинов Николай Осипович (1880–1961), актер, режиссер, педагог. До 1919 — артист Художественного театра. В составе группы артистов театра, выехавших в 1920 г. на гастроли и не желавших возвращаться в Россию (впоследствии В. И. Качалов и большая часть группы на родину все же вернулась), посетил Болгарию, затем работал в Праге и Берлине, в 1925 г. был приглашен занять пост главного режиссера Софийского народного театра, и переехал в Софию, где поставил свыше 130 пьес. Руководил драматической студией, затем Школой-студией при театре. С 1949 г. профессор Высшего театрального училища, в 1950 г. стал лауреатом Димитровской премии.
- ¹⁴ Краснопольская Екатерина Филимоновна, артистка Художественного театра, вместе с Н. О. Массалитиновым и другими актерами театра выехала в 1920 г. на гастроли, работала в Берлине, а затем в Праге, где вышла замуж за Массалитинова. Вместе с супругом в 1925 г. приехала в Болгарию, помогала мужу руководить драматической студией при Софийском народном театре, преподавала теорию и практику сценического искусства.
- ¹⁵ Масалитинова Таня Николаева (родилась в 1922 г. в Праге), артистка и режиссер Софийского народного театра, лауреат Димитровской премии.
- ¹⁶ Театр был основан в 1922 г. при библиотеке общества «Славянская беседа», существовал до 1944 г. Основательница театра Екатерина Николаевна Базилевич скончалась в 1941 г., после ее кончины театром руководила ее дочь Зоя Григорова Базилевич.
- ¹⁷ По данным Е. Даскаловой и воспоминаниям П. Паспалеевой, Е. Н. Базилевич была замужем за Н. Базилевичем, актером-кукольником,

- учеником одного из создателей русского театра марионеток И. А. Зайцева (см.: Бялата эмиграция в България... С. 252, 420–421).
- ¹⁸ «Уж мы-то всегда энергично аплодировали», — вспоминает в З. о посещениях гимназистами театра Базилевич И. В. Матвеева.
- ¹⁹ Жаров Сергей Алексеевич (1897–1985), хоровой дирижер и регент. Окончил Московское синодальное училище церковного пения, служил в Белой армии, был эвакуирован на остров Лемнос, где создал хор из донских казаков. Хор с Лемноса попал в Болгарию и пел в русской церкви в Софии. С 1923 г. начались гастроли хора по многим странам, он везде пользовался успехом. Базировался хор в Париже.
- ²⁰ Вертинский Александр Николаевич (1889–1957), эстрадный артист, создатель и исполнитель авторских песен. С 1919 — в эмиграции, выступал с концертами в разных странах, снимался в кино. С 1943 г. жил и работал в СССР.
- ²¹ Плевицкая Надежда Васильевна (1884–1941, настоящая фамилия Винникова), эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен. После революции — в эмиграции, неоднократно приезжала в Болгарию на гастроли.
- ²² Имеются в виду экранизации романов Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ф. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой», В. Гюго «Отверженные».
- ²³ Куган Джекки (1914–1984), американский актер кино, снимался с 1919 г., играл обаятельных мальчишек-оборвышей, завоевал любовь публики. С взрослением терял популярность, перешел на характерные роли.
- ²⁴ Популярны американские киноактеры.
- ²⁵ Мозжухин Иван Ильич (1889–1930), крупнейший актер русского дореволюционного кинематографа. В 1920 г. эмигрировал, снимался главным образом во Франции, в частности во французском фильме «Михаил Строгов» (1926).
- ²⁶ Имеется в виду кинофильм «После пожара в России», поставленный по повести Пенчо Михайлова «Под землей». В нем, как указано в афише фильма (см. фото в кн.: Бялата эмиграция в България: Каталог [выставки]. София, 1996. С. 49), наряду с другими артистами играла «Тити» Тарновская.
- ²⁷ И. В. Матвеева имеет в виду фильм оператора Ф. Гельгара «Празднование 300-летия Дома Романовых в С.-Петербурге», впервые вышедший на экраны в 1913 г.
- ²⁸ Из З. видно, что в данном случае речь идет о члене Думы, курском помещике Георгии Александровиче Новосильцеве (умер в 1929 г.) и его жене, Варваре Степановне Новосильцевой, учительнице подготовительных классов русской гимназии в Софии (в последние годы жизни находилась в Русском инвалидном доме).
- ²⁹ Здесь опущено несколько предложений, повторяющих сведения, содержащиеся в главе «Русские библиотеки в Софии».
- ³⁰ Ренников (псевдоним, настоящая фамилия Селитренников) Андрей Митрофанович, журналист, после революции эмигрировал.

- 31 Тэффи (псевдоним, настоящая фамилия Лохвицкая) Надежда Александровна (1872–1952), автор сатирических стихов, фельетонов, юмористических рассказов. В 1920 г. эмигрировала, жила в Париже.
- 32 Коровин Константин Алексеевич (1861–1939), живописец, театральный художник, автор мемуаров «Моя жизнь», воспоминаний о художниках, очерков о путешествиях по России и зарубежным странам. В 1923 г. эмигрировал, жил в разных странах Западной Европы. Скончался в Париже.
- 33 Здесь И. В. Матвеевой изменила память. Газета «Голос» выходила в Софии в течение семи лет (1928–1934), всего вышло 469 номеров. Газета, возможно, и не пользовалась среди эмигрантов популярностью, но при ее сплошном просмотре ничего из того, о чем пишет автор мемуаров, публикатор не обнаружил. В то же время «Голос» (см. № 413 от 2.X.1932) выступил с резкой критикой другой эмигрантской газеты — «Софийские новости», которая расценивалась как пример «литературного хулиганства» и «непристойного тона» в отношении видных деятелей русской эмиграции в Болгарии, как продолжение «печально знаменитой» газеты «Вопль!».
- 34 Столица Любовь Никитична (1884–1934), поэтесса, воспевала в стилизованных под «старину» произведениях древнюю языческую Русь. В поэме «Елена Деева» (1916) противопоставляла патриархальную деревню развращенному городу. С 1920 г. — в эмиграции.
- 35 Федоров Александр Митрофанович (1868–1949), писатель, автор стихов, беллетристических и драматургических произведений. В 1920 г. эмигрировал.
- 36 И. В. Матвеева сообщает неверные сведения о Б. А. Евреинове. Борис Алексеевич Евреинов (1888–1933) был общественным деятелем и ученым-историком. В боях с советскими войсками он получил тяжелое ранение и был вывезен в Грецию, откуда перебрался в Польшу, а затем в Чехословакию, где и скончался. В Болгарии Евреинов был в 1930 г. как участник проходившего в Софии V съезда русских академических организаций за границей, он мог также посетить Софию проездом из Греции в Польшу. При жизни Евреинов напечатал всего два десятка стихотворений, «Книга стихов» Б. А. Евреинова вышла посмертно в Москве в 1997 г.
- 37 Арцишевский Александр Владиславович, русский генерал, в эмиграции был уполномоченным Всероссийского союза городов в Болгарии, с середины 1930-х гг. заведовал Пушкинской библиотекой в Софии.
- 38 Карпинский Николай Викторович, участвовал в боях в Крыму в составе Белой армии, в Болгарии активно работал в различных эмигрантских организациях и обществах, с 1921 г. возглавлял организацию русских скаутов.
- 39 Каталог книг Пушкинской библиотеки Всероссийского союза городов и Земско-городского комитета. София, 1925.
- 40 Научно-популярный исторический журнал, выходил в Санкт-Петербурге в 1880–1917 гг.

- 41 Научно-популярный еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения, выходил в Санкт-Петербурге в 1889–1918 гг.
- 42 Журнал для семейного чтения, иллюстрированный еженедельник, выходил в Санкт-Петербурге в 1870–1917 гг.
- 43 Еженедельный духовно-нравственный иллюстрированный журнал. Выходил в Санкт-Петербурге в 1909 г. Вышло 52 номера.
- 44 Журнал, рассчитанный на широкий круг читателей, выходил в Париже в 1934–1939 гг., сначала два раза в неделю, затем еженедельно.
- 45 Литературно-художественный журнал, выходил в Риге в 1925–1929 гг.
- 46 Журнал для детей, выходил в Риге в 1926 г.
- 47 Литературно-художественный и общественно-политический журнал, выходил в Париже в 1920–1940 гг.
- 48 Наградская Евгения Аполлоновна (1866–1930), писательница, автор романов и рассказов с запутанными и рискованными в сексуальном отношении сюжетами, в ряде произведений отразились увлечения автора спиритизмом и масонством. В 1918 г. бежала из Петрограда, в эмиграции жила во Франции.
- 49 Лаппо-Данилевская Надежда Александровна (1874–1951), писательница, автор романов и рассказов о жизни высших слоев общества, показанной сквозь призму страстей и личных драм. В 1921 г. оказалась с детьми в Прибалтике, с середины 1920-х гг. жила во Франции. В эмиграции написала ряд произведений, в которых пыталась дать панорамное изображение русской жизни в 1915–1919 гг. со всеми ее ужасами, писала также романы о дореволюционной России.
- 50 Крыжановская Вера Ивановна (1857–1924), автор исторических романов, в которых часто излагала мысли древних героев, передаваемых ей якобы оккультным путем, а также «оккультных» романов. После Октября 1917 г. эмигрировала в Эстонию, работала на лесопильном заводе, писала публицистические статьи.
- 51 Бebutova Ольга Михайловна (1879–1952), актриса и писательница. Автор свыше тридцати романов, похожих на скандальную хронику. Уехала в эмиграцию, печаталась преимущественно в рижских издательствах, описала свою актерскую карьеру в романе «Страсть и душа», вышедшем в 1925 г. в Софии. Умерла в Ницце.
- 52 Братья Маргерит Виктор (1866–1942) и Поль (1860–1918), авторы исторических и «бытовых» романов. В. Маргерит в своих романах ставил вопросы семьи, отношения полов и положения женщины.
- 53 Уоллес Эдгар (1875–1932), английский писатель, один из виднейших представителей детективной литературы XX в., создатель «романов-загадок», в которых интрига сводится к трудноразгадываемой головоломке. Написал свыше 150 романов и больше 300 рассказов.
- 54 Минцлов Сергей Рудольфович (1870–1933), писатель, мемуарист, библиограф, археолог. До революции в России писал преимущественно исторические романы и повести для взрослых и детей, опубликовал несколько книг, проникнутых мистическими настроениями. В 1917 г.

жил на своей даче в Финляндии, после Октября 1917 г. остался за рубежом. С 1919 г. жил в Югославии, с 1926 — в Латвии, в различных зарубежных издательствах выходили его старые и вновь созданные исторические романы.

- ⁵⁵ Краснов Петр Николаевич (1869—1947), один из видных деятелей Белого движения, генерал царской армии. До Октября 1917 г. служил в армии и одновременно печатал повести, рассказы и очерки из военной жизни, исторические работы. В годы Гражданской войны — атаман Всевеликого Войска Донского. С 1919 г. в вынужденной отставке, уехал за границу, жил в Германии. Опубликовал много мемуарных, историко-публицистических и художественных произведений, в том числе четырехтомный роман-эпопею «От двуглавого орла к красному знамени, 1894—1921» (Берлин, 1921), фантастический роман «За чертополохом» (Берлин, 1922), роман «Понять — простить» (Мюнхен, 1924) и др. Ориентировался на Германию, сотрудничал с фашистскими властями, с 1944 г. — начальник созданного Гитлером Главного казачьего управления. Сдался английским войскам, был выдан советской администрации, осужден и повешен.
- ⁵⁶ Книга воспоминаний Н. Н. Краснова «Незабываемое: 1945—1956» (Сан-Франциско, 1957) написана не братом П. Н. Краснова, а его внучатым племянником, Николаем Николаевичем Красновым-младшим (родился в 1918 г.). В книге рассказано о трагической гибели П. Н. Краснова и его племянника С. Н. Краснова, а также о безвременной кончине в советском лагере другого племянника белого генерала Н. Н. Краснова-старшего и о лагерной жизни автора. После освобождения Н. Н. Краснов-младший, живший до войны не во Франции, а в Югославии, потерял связь со своими родственниками и был разыскан родными, жившими в Швеции, к которым и уехал после освобождения.
- ⁵⁷ Каллиников Иосиф Федорович (1890—1934), поэт и прозаик, до Октября 1917 г. создавал произведения, для которых характерны стилизаторство на фольклорно-религиозной основе, эротизм и вычурность. В 1919 г. был мобилизован в Белую армию, психически заболел, с госпиталем эвакуирован в Египет, оттуда перебрался в 1922 в Болгарию. Из Болгарии уехал в Чехословакию, скончался в г. Теплице.

Обобщающий труд по истории Хорватии

Опубликованный в 2001 г. краткий очерк истории Хорватии¹ представляет собой итог многолетних исследований Владимира Израилевича Фрейдзона (1922–2004), видного российского историка-слависта и балканиста. Человек, посвятивший значительную часть своей жизни изучению этой балканской страны, он явился первопроходцем в разработке отечественной исторической наукой некоторых важных аспектов хорватской истории Нового времени. Особенно большой вклад ученый внес в исследование национальной идеологии в ее различных течениях². Кроме того, В. И. Фрейдзон известен своими трудами по общим проблемам формирования наций в Средней Европе и на Балканах³, а также по истории национальных движений в монархии Габсбургов. Выполненная под его редакцией двухтомная коллективная монография «Освободительные движения народов Австрийской империи» (М., 1980–1981 гг.) стала этапной в изучении отечественными историками этого круга проблем.

В своей последней работе В. И. Фрейдзон обращается к генезису хорватского этноса и первоисточкам национальной культуры. В эпоху раннего Средневековья южнославянские земли, заселенные предками современных хорват, не обошло стороной влияние кирилло-мефодиевской традиции. В IX в. ученики Кирилла и Мефодия распространяли в Далмации письменность на церковнославянском языке. В дальнейшем специфика формирования средневековых этнических общностей в славянских землях Юго-Восточной Европы была предопределена расколом христианства и последующим разграничением византийского и латинского кругов европейской цивилизации. Следствием византийского влияния явилось распространение глаголической письменности, сыгравшей свою роль, как показывает В. И. Фрейдзон, в становлении хорватского этнического самосознания. Все-таки уже в X в. доминируют импульсы, идущие из Рима; земли, со временем составившие ядро формирования хорватского этноса, входят в западный (латинский) круг христианской культуры.

Кратковременный подъем раннесредневекового хорватского государства сменяется в XI в. упадком, что привело к подчинению Хорватии Венгерскому королевству. В. И. Фрейдзон согласен с известным исследователем-унгаристом В. П. Шушариным в том, что

«сам факт сохранения в неприкосновенности совокупности привилегий хорватских феодалов, их полной социальной и несколько урезанной политической самостоятельности едва ли позволяет говорить о венгерском завоевании раннефеодального государства, каким являлось Хорватское королевство. В 1102 г. были оформлены, очевидно, отношения взаимовыгодного классового союза между феодалами Хорватии и венгерской раннефеодальной монархией» (с. 22). Однако все это, добавляет В. И. Фрейдзон, происходило, по-видимому, под сильным венгерским давлением. Войдя в состав Венгрии, земли южных славян сохранили собственные государственные институты, включая сабор, ставший символом хорватской государственности. В противовес венгерской государственно-правовой традиции идеологи хорватской государственности со времен Средневековья утверждали не вассальный, а союзнический характер отношений между двумя странами. Сохранению особого положения Хорватии в составе Венгрии способствовала не утраченная политическая и экономическая мощь хорватской аристократии (позже, в XV в., это сыграло свою негативную роль, поскольку способствовало ослаблению венгерского государства перед лицом османской угрозы). При этом хорватские земли уже с XIII в. не представляли собой единства в государственном и культурном отношении (Славония и собственно Хорватия различались по своему статусу в рамках Венгерского королевства, тогда как Далмация долгое время находилась под суверенитетом Венеции).

Заметная специфика отличала развитие Далмации, которая на протяжении ряда веков представляла собой поле столкновения интересов Венгрии, Венеции и Византии (а после падения Константинополя в 1453 г. Османской империи). Хотя верховный суверенитет над далматинскими городами менялся, их автономия (основанная на власти городского патрициата) сохранялась, оставались незыблемыми законы и внутренние порядки. Для Венеции далматинские города были прежде всего перевалочными пунктами в торговле с Восточным Средиземноморьем, любые попытки местных купцов к осуществлению неконтролируемых торговых операций пресекались. По замечанию одного из хорватских авторов, приведенному в работе В. И. Фрейдзона, «в жизни средневековых далматинских городов постоянно присутствовало страшилище Венеции» (с. 34). Вместе с тем, неоспорима роль Венеции в приобщении югославянского побережья Адриатики к культуре Ренессанса. Если Славония, теснее связанная с Венгрией социально-экономическими узами, ощущала во второй половине XV в. гуманистические импульсы только через двор короля Матьяша в Буде, то в основной части Хорватии и, особенно в Далмации, влияние итальянского Возрождения было непосредственным.

Постоянное присутствие итальянцев в далматинских городах не сопровождалось проявлениями этнической розни, в то же время оно (в силу противопоставления итальянцев хорватам) в некоторой степени способствовало формированию хорватского (точнее, хорватско-далматинского) этнического самосознания феодальной эпохи — из хорватских земель ранее всего оно проявилось, хотя и в зародыше, в XIV—XV вв. именно в Далмации. В других землях с конца XV в., но главным образом в XVI в. хорватское самосознание консолидировалось в условиях гораздо более мощного внешнего вызова — османского, и огромную роль в его консолидации сыграла католическая церковь.

До начала XVI в. Венгерское королевство, как и вся Средняя Европа, развивалось в основном синхронно с Западом, и лишь пришествие турок в регион заметно деформировало этот поступательный процесс. Противостоявшие османской экспансии к центру Европы Габсбурги придавали венгерским и хорватским землям в первую очередь оборонительное, а также вспомогательное экономическое значение. В силу этого они не проводили здесь интенсивной общественно-устроительной работы, тем более что не питали доверия к венгерскому дворянству, не без оснований видя в нем потенциальный источник сепаратистских устремлений. Ростки гражданского общества в Венгрии и Хорватии не только не получали, таким образом, развития, но зачастую выкорчевывались, поскольку противоречили интересам габсбургского централизма.

С XVI в. с захватом Боснии и Герцеговины Турцией, узкая прибрежная полоса Далмации оказалась изолированной от континентального тыла, что препятствовало распространению высокой средиземноморско-европейской культуры вглубь Балкан. Культурные влияния, как правило, прерывались на венецианско-турецкой границе. В силу слабой проницаемости этой границы для импульсов, идущих из Италии, положение Далмации на пограничье христианского и мусульманского мира не вело, как в случае некоторых других пограничных территорий, к обогащению, интенсификации культуры. Напротив, культура Далмации, достигшая своего расцвета в XVI в., переживает в дальнейшем упадок, превращается в глухую периферию европейской цивилизации.

Совместная борьба венгерских и хорватских феодалов против турок и их общее противостояние габсбургской политике централизации способствовали укреплению венгерско-хорватского союза. Первые заметные симптомы венгерско-хорватских противоречий проявились все же к началу XVIII в., когда хорватские феодалы отказались присоединиться к антигабсбургскому движению трансильванского князя Ференца Ракоци. В последующем они упорно противились требованиям венгерского госсобрания согласовывать

решения сабора с венгерскими законами, предпринимали также попытки обеспечить церковную независимость Хорватии от Венгрии. На протяжении XVIII в. хорватская элита упорно стремилась ограничить отношения с Венгрией личной унией и подчеркивала свою заинтересованность в прямых связях с Габсбургами. Однако Вена приняла идеологему венгерской феодальной элиты о единстве земель короны «святого Стефана» — Венгрии, Хорватии и Трансильвании. В то же время она пыталась использовать сохранившиеся в Хорватии элементы средневековой государственности (сабор, бан) для обеспечения своего влияния на местное дворянство в противовес усиливавшемуся венгерскому давлению.

С середины XVIII в. в годы правления Марии Терезии и ее сына Иосифа II, нарастают противоречия между хорватскими сословиями и абсолютистскими устремлениями венского двора, стремившегося реформировать закостенелую политическую систему общества. В 1779 г., за год до смерти Марии Терезии, Хорватский королевский совет был упразднен, по автономии хорватских земель в составе Венгрии был нанесен сильный удар. Однако в 1780-е гг. Иосиф II предпринял наступление на традиционные привилегии дворянства в масштабе всего Венгерского королевства. Движение венгерских дворян за сохранение своих исторических прав привело к краху программу общеимперских реформ в духе просвещенного абсолютизма⁴.

Взяв курс на подрыв средневековой венгерско-хорватской дворянской «конституции», Иосиф II (в этом можно согласиться с В. И. Фрейдзоном) вместе с нею отбросил существовавшие в потенции зачатки парламентской системы, воплощенные в государственных собраниях Венгрии и Хорватии. Кроме того, будучи монархом полиэтничной страны, он не склонен был учитывать реально существовавшие национальные интересы, пусть и выступавшие в консервативном этнополитическом облачении. Политика унификации и германизации системы управления монархии Габсбургов не имела успеха.

Признав в 1790 г. верховенство над собой Венгерского наместнического совета, хорватские дворяне рассчитывали при помощи союза с более сильным венгерским дворянством по возможности защитить себя на случай новых далеко идущих экспериментов венского абсолютизма (при этом у хорватов сохранились свой сабор, должность бана, некоторые собственные законы). Венгерская сословная «конституция» действительно защищала хорватское дворянство от посягательств на ее основные привилегии. Вместе с тем происходит значительное ограничение административной автономии, утрачивается финансовая самостоятельность. За восстановление утраченных прав пришлось вести борьбу на протяжении нескольких последующих десятилетий.

Как доказывает в своей работе В. И. Фрейдзон, социальные условия для активизации хорватского национального движения созрели к концу 20-х гг. XIX в. К этому времени приобрело значительные масштабы обеднение среднего дворянства, что побуждало его к политической активности ради отстаивания перед лицом, как Вены, так и Пешта своих экономических интересов. Политическим фактором, стимулировавшим подъем хорватского национализма, явилось усиление «венгерского вызова». Ведь консолидировавшееся в 1820–1840-е гг., в так называемую «эпоху реформ», далеко переросшее свои первоначальные узкосословные рамки венгерское национальное движение сопровождалось попытками насаждения венгерского языка на иноязычных, и не в последнюю очередь хорватских территориях, особенно в Славонии. В 1840-е гг., в канун революции, в монархии резко обострились противоречия между венгерским дворянским либерализмом и национализмом, с одной стороны, и габсбургским абсолютизмом — с другой, и эта ситуация использовалась хорватским национальным движением для продвижения своих интересов. Венский двор, в свою очередь, выражал готовность к контакту с хорватской национальной партией, дабы воспрепятствовать захвату сабора провенгерскими кругами.

В течение XVIII в. далеко продвинулся процесс перерастания феодальных народностей Далмации, Славонии и собственно Хорватии в единую хорватскую нацию, формирующееся общенациональное движение требовало выработки адекватной идеологии. В XIX в. тон общественной жизни югославянских земель все более задавали национально-интеграционные идеологии, часто вступающие в конфликты с принципами, отстаиваемыми другими формирующимися нациями. Сербско-хорватские расхождения, и ранее проявлявшиеся, получают теперь свое более завершенное идеологическое выражение (так, в хорватских концепциях подчеркивался не только принцип целостности так называемого «Триединого королевства» Хорватии, Славонии и Далмации, но и его национально-хорватский характер — вопреки позиции сербов, видевших в нем хорватско-сербское государство). Со стороны как сербских, так и хорватских идеологов возрастает интерес к идее югославянской общности, по-разному трактуемой. Одним из наиболее заметных идейных течений в Хорватии становится илиризм. Его приверженцы были готовы во имя согласия с сербами даже пойти на жертву — отказаться от этнонима «хорват» в надежде на то, что сербы в Хорватии последуют за ними и возникнет сербско-хорватское единство на основе признания обеими сторонами общего, нейтрального этнонима. При том, что илиризм представлял собой решительное движение в сторону единой южнославянской идеологии и культуры, объединение хорватов и сербов в Хорватии под общим этнонимом было призвано

содействовать укреплению именно хорватской государственности, и это мало отвечало интересам сербов. Учитывая, что сербы заселяли жизненно важные в стратегическом отношении области Хорватии, игнорирование сербской специфики несло в себе угрозу будущих конфликтов. Вообще, как отмечает В. И. Фрейдзон, сам метод был спорным, замалчивание своего этнонима едва ли могло привести к положительному результату. По мнению исследователя, речь идет о маневре небезопасном для хорватской национальной индивидуальности, ибо он угрожал хорватам растворением в некоей неопределенной общности, нанося тем самым невольно вред собственному делу — формированию хорватского самосознания. В последующем еще неоднократно идея единого югославянского народа, выступавшая в разных обличьях, мешала трезво смотреть на вещи как сербским, так и хорватским политикам. Однако надо всегда иметь в виду и то, что приход части хорватов к четкой национальной точке зрения сдерживался общностью (или, по крайней мере) близостью языка с сербами. Не следует также, как замечает В. И. Фрейдзон, преувеличивать отрицательное влияние иллиризма на культуру — основы современной хорватской национальной культуры были заложены именно в годы преобладания в общественной мысли этого течения.

Впрочем, даже в период своей наивысшей активности иллиризм как идеология отнюдь не занимал монопольного положения в хорватской общественной мысли. Уже в 1830–1840-е гг. находит проявление ранний хорватский национализм, делавший упор на историческое право, длительные традиции автономного существования Хорватии. Получают распространение также (не без чешского влияния) австрославистские концепции, исходившие из возможности преобразования монархии Габсбургов с учетом интересов славянских народов. Вместе с тем определенная часть хорватской элиты была настроена провенгерски. Мадырофильство в Хорватии, отмечает В. И. Фрейдзон, было сложным явлением. В первую очередь оно было направлено против национального возрождения, опираясь на консервативно настроенных магнатов, но в то же время на периферии мадырофильского движения ощущалось и сочувствие венгерской либеральной программе Л. Кошута и его окружения.

В своей работе В. И. Фрейдзон никак не мог обойти вопроса о роли славянских движений в революции 1848–1849 гг., до сих пор дискуссионного в нашей историографии⁵. Как доказывает автор, политическая линия хорватского национального движения в период революции определялась как хорватско-венгерскими противоречиями, так и заинтересованностью не только консервативных, но отчасти и либеральных кругов Хорватии в сохранении монархии Габсбургов, хотя и в преобразованном на основе австрославистских концепций виде. Показательно, что решения хорватского собрания,

выступившего со своей программой 25 марта 1848 г., своим либеральным содержанием перекликались с идеями венгерской революции и в то же время не были направлены на разрыв с Австрией. Продолжает вызывать споры фигура бана Й. Елачича, одного из могильщиков венгерской революции. По мнению В. И. Фрейдзона, он действительно сочувствовал национальному движению и поэтому в качестве бана был приемлем для хорватских либеральных кругов. «В то же время он был предан двору и, по-видимому, не сомневался в том, что интересы австрийских славян-федералистов совместимы с интересами двора, тогда как революционные антиавстрийские выступления, разрушающие монархию, должны быть подавлены» (с. 113). Вена, сделав Елачича орудием в подавлении венгерской революции, вместе с тем еще была вынуждена в течение некоторого времени реагировать на требования славянских движений, давая славянам неопределенные обещания свободного развития. В конце концов Елачич, которого славянская либеральная печать в масштабах всей империи (в первую очередь, в чешских землях) называла надеждой австрийских славян, был лишен всякой самостоятельности и подчинен фельдмаршалу А. Виндишгрецу. Это, по мнению автора, послужило началом краха всей политики (можно добавить, и идеологии) австрославизма.

Обращаясь к периоду 1850–1860-х гг., автор отнюдь не демонизирует габсбургскую политику, даже в период так называемой «баховской реакции» 1850-х гг. По его мнению, «венская бюрократия в некоторых сферах проводила такие реформы в провинции, которые сами провинциалы осуществили бы медленнее и с еще более консервативных позиций» (с. 121). Как бы то ни было, экономическая политика неоабсолютизма применительно к Хорватии вела к ограничению национального производства, оскудению помещичьих хозяйств, разорению крестьян, и все это не могло не создать устойчивый комплекс антиавстрийских настроений. «Недоверие к Габсбургам, — пишет В. И. Фрейдзон, — стало постоянным фактором хорватской политики 60–80-х гг., вплоть до того периода, когда сформировавшаяся аграрная буржуазия оказалась заинтересованной в тесных связях с Австрией» (с. 135). В 1860-е гг. по мере ослабления позиций венского двора (особенно после поражения монархии в австро-прусской войне) хорватская элита стала все активнее высказывать возможности политического лавирования между Габсбургами и Венгрией. В свою очередь венгерские либералы в своем стремлении найти пути к соглашению с Габсбургами проявили заинтересованность в восстановлении политического союза с Хорватией, обещав поддержать хорватскую автономию в пределах Венгрии и дело объединения Хорватии с Далмацией и Военной границей, создания

на их основе некоего целостного компонента в структуре Габсбургской монархии и Венгерского королевства.

С позиций хорватского (по преимуществу дворянского) национального движения, апеллировавшего к многовековой политической традиции Хорватии, речь должна была идти о равноправном союзе двух партнеров, тогда как венгерская сторона и слышать не хотела ни о каком равноправии. Все-таки сторонам удалось прийти к компромиссному решению. Соглашение 1868 г. было определенным достижением хорватов: ни одно другое национальное меньшинство в венгерской половине монархии не получило автономии. Хорватский язык был признан официальным на территории собственно Хорватии и Славонии, заметно расширились возможности развития культуры. Правда, существенно влиять на решение общих дел в рамках венгерской половины монархии хорватская элита не могла — во всяком случае, до тех пор, пока бан Хорватии К. Куэн-Хедервари не стал в начале XX в. главой венгерского правительства. Более того, венгерские власти располагали необходимыми механизмами, чтобы воспрепятствовать проведению в жизнь любого решения хорватского сабора. Бан, назначаемый венгерским королем (он же австрийский император) по предложению премьер-министра Венгрии, формально был ответственен перед сабором, однако в реальности все его действия контролировались Будапештом. Менее всего автономия распространялась на финансовую сферу, требования большей финансовой самостоятельности от Венгрии стали неотъемлемым элементом программы хорватского национального движения.

Идеология хорватского национального движения претерпевает после 1868 г. эволюцию. Концепции югославянского, общеславянского единства продолжали сохранять определенные позиции, однако на первый план все более выходила идея национального суверенитета хорватов, который приходилось защищать главным образом от посягательств Венгрии. В сравнении с эпохой иллиризма хорватское этническое самосознание становится гораздо более выраженным. В то же время защита национальных прав Хорватии увязывалась с укреплением конституционного строя в Австро-Венгрии. «Ни в коем случае не хулить венгров и их достижения, но со всей энергией добиваться, чтобы их министерство без нашего свободного согласия не могло иметь никакой власти над нами», — писал один из лидеров хорватского национального движения епископ Й. Штросмайер (с. 158).

Восточный кризис конца 1870-х гг., события, связанные с активизацией борьбы ряда южнославянских народов за освобождение от османской власти, усилили в хорватском обществе настроения южнославянской солидарности. Конфессиональные различия

в этих условиях отходили на второй план. Вообще, как отмечает В. И. Фрейдзон, при всей значимости католического фактора апелляция хорватских идеологов XIX в. к собственной длительной государственно-правовой традиции далеко не всегда носила клерикальную окраску.

Надежды на освобождение этнически близких народов (и в том числе хорватского населения в Боснии) зачастую связывались с участием России в балканских делах. В. И. Фрейдзон, много занимавшийся изучением российско-хорватских связей, еще в ряде своих работ 1960–1970-х гг. опроверг довольно широко распространенные в отечественном общественном сознании представления о том, что пророссийские симпатии и устремления в XIX в. если и имели место на Балканах, то были почти исключительно уделом сербов, черногорцев и болгар, тогда как католическим южнославянским народам подобные ориентации были совершенно чужды. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. виднейшие идеологи хорватских национальных движений (и более широкие круги интеллигенции, а также поднимающейся буржуазии) не только сочувствовали России, но и рассчитывали на оживление с ней связей в различных областях — не в последнюю очередь экономических. Впрочем, активизация разносторонних контактов нередко ставилась в прямую зависимость от способности русских смягчить деспотическую форму правления в своей империи. Потеряв после 1868 г. надежду на дальнейшую внутреннюю реорганизацию монархии с учетом интересов славянских народов, хорватская элита все больше связывала свои ожидания с воздействием внешнего фактора. В России, а также в российско-французском альянсе виделся возможный противовес союзу Германии и Австро-Венгрии. В 1880-е гг. один из хорватских политиков привлек общественное мнение словами о том, что свобода для хорват и других славян Габсбургской монархии настанет лишь после того, как копыто казачьего коня процокает по венской мостовой (с. 199).

Дальнейшая эволюция с конца XIX в. хорватского национального движения, выделение в нем новых течений были неотделимы от изменений социальной структуры общества, укрепления национальной буржуазии, вытеснявшей дворян с ключевых позиций в политической жизни, от усиления внутренних социальных антагонизмов. Обращаясь к анализу социально-экономических процессов конца XIX в., автор на конкретном материале показывает, что в условиях многонациональной империи промышленный прогресс не только способствовал расслоению общества, но нередко обострял противоречия между центром и национальной периферией, углублял межнациональные конфликты (не в последнюю очередь и сербско-хорватский в зонах смешанного расселения). Для Хорватии

имело большие и весьма неоднозначные социальные последствия строительство железной дороги к Адриатике. Многих ремесленников оно просто разорило. Местное производство стояло перед необходимостью коренных изменений. Развивались прежде всего те отрасли промышленности, которые находили своего потребителя на общеимперском рынке.

В работе В. И. Фрейдзона уделяется внимание специфике развития в условиях дуализма таких областей как Военная граница и Далмация. Усиленная мадьяризация Военной границы вела к недовольству населения: бывшие граничары все более решительно требовали возвращения под власть Вены, замены венгерских гербов императорскими орлами. Что касается Далмации, то содержание политических процессов, в ней происходивших, в значительной мере предопределялось незавершенностью вплоть до 1870-х гг. этнической дифференциации славянского населения по линии «сербы — хорваты». Причем в условиях, когда предстояло делать национальный выбор, решающее значение, как отмечает В. И. Фрейдзон, имели политические ориентации — на хорватское или сербское движение.

Явно обозначившийся в начале XX в. кризис австро-венгерского дуализма породил в хорватском обществе надежды на перемены. Часть национальной элиты продолжала сохранять лояльность Габсбургам и веру в возможность трансформации многонациональной империи, однако более радикально настроенные политики приходят к мнению о том, что дуализм и национальные интересы несовместимы, и хорватский вопрос можно решить только на развалинах монархии. Поиски хорватским национальным движением потенциальных союзников привели к новому оживлению настроений в пользу сербско-хорватского сближения, что, впрочем, редко предполагало готовность признать собственных, живших в хорватских землях сербов равноправной государственной нацией Хорватии, как того требовали сербы. Боснийский вопрос, актуализировавшийся вследствие аннексии в 1908 г. этой территории Австро-Венгрией, усилил сербско-хорватские расхождения в силу претензий обеих сторон на политическое доминирование в этом крае, отличавшемся смешанным составом населения (предстояло еще вести борьбу за мусульман). В сознании такого крупного деятеля хорватского национального движения как С. Радич усилились не без влияния боснийского кризиса антисербские тенденции. В то же время часть хорватских политиков (и в том числе представители возникшего социалистического направления) обращается к идее единой югославянской нации. Идеалом для них становится образование общего югославянского государства. В начале XX в. национальное движение приобретает более широкий размах и более сложную внутреннюю

структуру. Постепенно сходило со сцены то поколение политиков, которое считало возможным решение национального вопроса в рамках монархии (усилия Вены по созданию себе опоры в виде клерикалов оказались безуспешными). Если верхушка национальной буржуазии в той или иной степени все еще была настроена на компромисс с властью, то в радикализирующемся молодежном движении усиливается антигабсбургская направленность и нередко приверженность югославизму, что выразилось среди прочего в проявлении солидарности с сербами во время Балканских войн. Все это крайне болезненно воспринималось правящими кругами монархии (как в Вене, так и в Будапеште), распознавшими в югославянской идее едва ли не самое эффективное средство подрыва ее изнутри. После 1903 г., в условиях усиливавшейся конфронтации с Белградом, за которым часто стояла Россия, югославянская проблема стала для монархии поистине вопросом жизни и смерти.

Между тем югославизм не одинаково понимался сербскими и хорватскими политиками, причем с каждой стороны иной раз недооценивались факты, свидетельствующие о развитом национальном самосознании другого народа, и, кроме того, настроения относительно узкой группы приверженцев идеи южнославянского единения абсолютизировались, выдавались за доминирующие в национальном сознании. Югославистские концепции, возникшие в XIX в. в Хорватии, в начале XX в. были востребованы правящей элитой независимой Сербии во главе с Н. Пашичем, но при этом, по убеждению В. И. Фрейдзона, лишь развивали ее великосербские взгляды и в принципе не изменили унитаристской сути великосербской программы. Хорватские югослависты XIX в. считали условием федеративного равноправного объединения югославян предварительное утверждение самостоятельности, а также объединение хорватских земель. Радикалы Пашича, доказывает автор, даже интегрировав в свою концепцию элементы югославистской идеологии (в частности, представления части сербской и хорватской интеллигенции о «троименном» югославянском народе), в то же время никогда не отказывались от идеала Великой Сербии, которая означала государство, как минимум, включающее всех сербов, в том числе живущих анклавами среди других народов. Югославия же рассматривалась ими как своего рода расширенная Великая Сербия, т. е. многонациональное государство воспринималось как воплощение национального принципа. Несмотря на опасения некоторых сербских политиков, Пашич и его последователи полагали, что Сербия справится с нелегкой задачей освобождения и объединения югославян, в сущности не признавая за хорватами и словенцами способности выступить в качестве самостоятельной государствообразующей силы и в этом смысле их равноправия с сербами. Пашич, таким образом,

не перестал быть великосербским идеологом, он лишь попытался совместить «югославизм» с национальной сербской идеологией. К этому можно лишь добавить, что такой взгляд на крупнейшего сербского политика Н. Пашича не является в нашей науке общепринятым и подчас вызывает резкие возражения ведущих историков-югославистов (А. Л. Шемякин и др.). Как бы там ни было, трудно не согласиться с тем, что в реальной жизни и политической практике югославизм далеко не всегда содержал тот демократический заряд, который ему придавали романтически настроенные приверженцы этой идеи. Это отчетливо показал 20-летний опыт развития межвоенной Югославии.

Первую мировую войну сербское правительство восприняло как начало борьбы не только за освобождение южных славян от чуждой власти Габсбургов, но и за объединение их под эгидой Сербии. В. И. Фрейдзон подчеркивает, что создание югославского государства происходило не в обстановке спокойных кабинетных дискуссий, а в условиях, когда стены здания рушились: своеобразие конкретной исторической ситуации определяли начавшийся распад Австро-Венгрии, итальянская экспансия в Приморье, глубокий социальный кризис в югославянских землях бывшей монархии Габсбургов. При этом важно иметь в виду, что югославы Австро-Венгрии, только объединившись с сербами, могли претендовать (подобно чехам и словакам) на скромное место в лагере победителей, освобождаемых от ответственности за политику Габсбургов. Выступив за создание югославского государства, хорватские и словенские политические деятели требовали вместе с тем признания и уважения собственной национальной специфики (собственных «племенных качеств» в рамках «троименного народа»), что предполагало сохранение целостности исторических земель, их широкой автономии. От собственных наций «абстрагироваться» они никак не могли, хотя политическая ситуация и располагала к пропаганде идеи единого югославянского народа.

Никак нельзя забывать и о том, что Хорватия (как, впрочем, и Словения) к моменту вхождения в Королевство СХС обладала многовековым опытом исторического развития средневропейского типа, связанным с ее принадлежностью к католическому миру, длительным влиянием австронемецкой и венгерской культуры. Между объединившимися в 1918 г. югославянскими территориями существовали не просто значительные различия в уровне экономического развития, но трудно преодолимые цивилизационные барьеры (Словения — Черногория, Хорватия — Македония, и даже в пределах сербских земель: Воеводина — Косово). К тому же Хорватия прошла историческую школу государственного права, и, утратив это право после 1918 г., ее политическая элита никак не могла примириться

с таким положением дел. По мнению В. И. Фрейдзона, трудно было в самом деле придумать более неудачный способ объединения югославян, чем тот, который был осуществлен. Централистское устройство Королевства СХС (с 1929 г. Югославии) стало причиной перманентного кризиса государства в течение всего его 20-летнего существования между двумя мировыми войнами.

Едва ли была в межвоенной Югославии серьезная экономическая, внутривластная проблема, при разрешении которой не проявились бы так или иначе национальные противоречия. Хорватские, словенские, мусульманские политические партии создавали в рамках своего этноса единый фронт, защищая свои общие национальные интересы, проявлявшиеся вопреки всем существенным социальным различиям. Попытки ведущих хорватских политиков в своем стремлении к созданию автономии заручиться поддержкой международного демократического сообщества не увенчались успехом. Неудивительно, ведь Королевство СХС являлось одной из опор Версальской системы, и портить отношений с сербской политической элитой не хотели ни в Париже, ни в Лондоне.

Впрочем, В. И. Фрейдзон не склонен видеть в межвоенном развитии Югославии одни лишь отрицательные стороны для Хорватии. В условиях югославского государства как Хорватия, так и Словения приобрели более широкий, чем раньше, рынок и возможности промышленного развития. До 1930-х гг. Загреб был крупнейшим финансовым центром королевства, а хорватская буржуазия была наиболее сильной.

Как бы там ни было, тупик национальных противоречий привел правящие круги королевства к диктатуре; жесткие методы внутренней политики подорвали влияние идей югославизма — в том числе и в Сербии. Осознание бесперспективности ориентации на идеи сербского гегемонизма предопределило эволюцию взглядов наиболее дальновидных сербских политиков — в частности С. Прибичевича, уже в 1920-е гг. признавшего необходимость изменения конституции на основе обеспечения реального равноправия всех наций. Однако правящим великосербским кругам для того, чтобы отказаться от унитаризма, понадобилось 20 лет политического кризиса. Они пошли на компромисс только тогда, когда погибла Чехословакия, силы «третьего рейха», оккупировав Австрию, стояли на границе Югославии.

Заключительные главы монографии посвящены политике фашистского режима А. Павелича, предпринявшего геноцид против сербского населения, а также национальной политике в титовской Югославии, месту Хорватии в ФНРЮ-СФРЮ. В завершение дается краткий обзор драматических событий конца 1980-х—1990-х гг.,

приведших к распаду федеративного государства, что сопровождалось, как известно, острым сербско-хорватским конфликтом.

Автор не может не признать, что лишь в условиях послевоенного коммунистического правления удалось реализовать программу федерализации многонационального государства на основе равноправия, что, конечно же, способствовало повышению популярности КПЮ, а значит, и консолидации коммунистического режима. Консолидирующим фактором стала и развязанная Сталиным в 1948 г. массированная антиюгославская кампания. Чем более шумной становилась антиюгославская истерия вовне страны, тем более твердую опору обретал режим Тито изнутри, поскольку острые международные противоречия отступали в условиях внешнего вызова на второй план. Таким образом, произошел видимый выход из перманентного внутривнутриполитического кризиса, присущего довоенной Югославии.

Характерной чертой политики КПЮ (позже СКЮ) было уважение исторических границ республик, впервые удалось устранить административно-политическую раздробленность территории ряда народов и прежде всего хорватов. Тито стремился избежать незавидной судьбы королевской Югославии, в которой национальные меньшинства страдали от господства бюрократии наиболее многочисленной нации — сербской. Условием сильной Югославии он считал относительно «слабую» Сербию, не способную оказывать чрезмерного давления на более мелких партнеров. В то же время он не колеблясь подавлял любой местный национализм независимо от его политической окраски, что проявилось в жесткой реакции на события так называемой «хорватской весны» 1971 г. Важно подчеркнуть, что до конца 1960-х гг. существовала сильная центральная власть, цементирувавшая государственные устои. Ослаблению этой власти способствовало устранение в 1966 г. третьего (после Тито и Карделя) человека в государстве и наиболее влиятельного сербского политика А. Ранковича, вице-президента СФРЮ и многолетнего шефа госбезопасности, по некоторым отзывам, неудовлетворенного статусом Сербии в Федерации. Боясь сосредоточения слишком большой власти в руках одного человека, стареющий Тито идет на перераспределение полномочий в пользу республик, что в конечном итоге привело к нарушению равновесия в международных отношениях, возвращению национализма на политическую сцену — не в последнюю очередь и в Сербии. Был сделан первый шаг к распаду федерации, державшейся, как оказалось, лишь в условиях режима личной власти Тито.

Поначалу скрытые, хотя и усиливавшиеся противоречия с середины 1980-х гг. перерастают в открытую напряженность. Не только сторонники либеральных реформ, но и ортодоксальные коммунисты

увидели преимущество для себя в опоре на узконациональные интересы. К этому времени, с началом горбачевской перестройки, коммунистический режим в федеративной Югославии с его политикой межблокового балансирования перестал представлять для Запада прежний стратегический интерес и лишился его поддержки. Процесс развала СФРЮ становится необратимым, чему способствовало и кризисное экономическое положение.

В Хорватии, где сохранялись идейные традиции национальной государственности, активизировалось движение за достижение независимости, в котором наряду с умеренно-либеральным проявило себя и радикальное националистическое крыло, несущее свою долю ответственности за обострение конфликта с сербами: Хорватское общество, не только осознавшее бесперспективность преодоления хронического кризиса в условиях Югославии, но и напуганное опасностью захвата власти в СФРЮ сербскими националистами, увидело выход в программе Ф. Туджмана, сплотившей хорватов на национальной платформе. Касаясь болезненной проблемы сербско-хорватских противоречий, крайне остро проявившихся в 1990-е гг., В. И. Фрейдзон видит различие между сербским и хорватским национальными движениями, хотя во главе каждого из них стояли националисты. Ведь ввиду исключительно важного стратегического положения сербских анклавов открывалась перспектива такого территориального раскола Хорватии, который делал невозможным само существование этого государства как целого. Для Сербии, в отличие от Хорватии, угрозы разрушения государства в 1991 г. не было. Главную ответственность за распад СФРЮ и массовые кровопролития автор возлагает на сербских националистов во главе с Милошевичем, претендовавших на расширение своей власти.

Возможная небесспорность некоторых положений книги В. И. Фрейдзона не умаляет значения итогового труда ведущего отечественного историка-кroatиста. Появление обобщающей, синтетической работы должно дать толчок более узким исследованиям по истории Хорватии, остающейся (это особенно видно на фоне соседней Сербии) в положении своего рода падчерицы отечественной исторической славистики.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). СПб., 2001.
- ² См.: Фрейдзон В. И. Борьба хорватского народа за национальную свободу. Подъем освободительного движения в 1959–1973 гг.: История, идеология, политические партии. М., 1970; Судьбы крестьянства в общественной мысли Хорватии XIX — начала XX вв. От консервативно-реформистских

- идей к программе крестьянской демократии: 1832–1914. М., 1993; Далмация в хорватском национальном возрождении XIX в. К истории югославизма и его неудачи. М., 1997.
- 3 *Фрейдзон В. И.* Нация до национального государства: историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII — начала XX вв. Дубна, 1999.
- 4 *Хаванова О. В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: Движение 1790 г. М., 2000.
- 5 *Исламов Т. М.* Югославия: от объединения к разъединению // Вопросы истории. 2001. № 5; *Карасёв А. В., Чуркина И. В., Шемякин А. Л.* О статье Т. М. Исламова: «Югославия: от объединения к разъединению» // Там же. 2002. № 1; *Исламов Т. М.* История югославян империи Габсбургов в освещении русских историков конца XIX столетия // Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время (памяти В. П. Шушарина) / Отв. ред. А. С. Стыкалин. М., 2004; Международные научные конференции, посвященные истории Венгрии и российско-венгерских отношений // Славяноведение / Подг. А. С. Стыкалин. 2003. № 5. С. 63–72.

Л. Н. Будагова
(Москва)

История радио — история страны: этапы большого пути

Читатели книги «*Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí českého rozhlasu*» («От микрофона к радиослушателям. О восьми десятках лет чешского радио»), вышедшей в 2003 г. в Праге, получили прекрасную возможность не только познакомиться с возникновением и становлением радиовещания в Чехословакии, но и заново проследить современную чешскую историю: на этот раз в новом ракурсе, под углом зрения одного из оперативнейших средств масс-медиа.

Без него уже трудно себе представить современную цивилизацию. Кажется, что радио было всегда. Чешская книга, созданная большими специалистами и энтузиастами своего дела, основанная на фактах, богатой источниковедческой базе, на материалах периодической печати и архивов, на воспоминаниях и свидетельствах очевидцев, возвращает читателя к истокам национального радиовещания, затерявшихся в далеком прошлом, шаг за шагом прослеживая его путь, неотделимый от пути, который прошел чешский народ. Возникшее как средство коммуникации, радио стало голосом и отголоском самой Истории, сохранив в своих фонотеках ее живое звучание.

«Первые опыты радиовещания» в чешских землях, как поведено в главе Йозефа Маршика, где то и дело встречается слово «первые», начались еще перед Первой мировой войной, до возникновения Чехословацкой республики. Во время торгово-промышленной выставки в Праге в 1908 г. состоялась первая публичная радиосвязь между еще совсем примитивными радиостанциями. Одна была установлена в долине Влтавы. Другая — на холме у Карловых Вар. Особенно радовались пражане: сеанс сопровождался акустическими эффектами и миганием электрических лампочек на территории выставки в ритме азбуки Морзе. К тому же пражская станция, расположенная в низине, прекрасно принимала карловарские сигналы, но ее саму в Карловых Варах было едва слышно. После образования в 1918 г. независимой Чехословакии, практически оторванной от границы, поскольку все телеграфные и телефонные коммуникации были разрушены во время войны, остро встал вопрос о создании такой системы, которая бы обеспечила надежную связь республики со своими зарубежными представительствами и взаимобмен информацией с другими странами.

После войны первые попытки наладить радиовещание были предприняты радиотехнической лабораторией профессора Августина Жачека в сотрудничестве с персоналом стационарной военной радиостанции расположенной в Праге на Петршине. Она была собрана из случайного оборудования, которое удалось достать, и служила для отсылки и приема телеграмм министерства иностранных дел. В свободное время телеграфисты принимали вести из-за рубежа для публикации в прессе. В 1919 г. станция на Петршине осуществила первую передачу в эфир импровизированной программы, состоящей из песен, декламации и игры на скрипке. Второй опыт беспроводной передачи слова и музыки, что казалось невероятным, был осуществлен 28 октября 1920 г. Часовая программа славилась вторую годовщину образования независимой Чехословакии. Третья радиотрансляция состоялась в 1922 г. во время земледельческой выставки в Стромовке. Дважды в день передавали концерты военных оркестров или музыку с грамофонных пластинок. Тогда же из большого наушника (а слушатели первых радиопередач надевали наушники. — Л. Б.) телеграфист петршинской станции Индржих Шип соорудил репродуктор, что впервые дало возможность слушать радио одновременно целой массе посетителей выставки.

Регулярные радиопередачи начались с вечерней программы (в 20 ч. 15 мин.) 18 мая 1923 г. А 7 июня того же года на общем собрании заинтересованных лиц было основано частное предпринимательское общество «Радиожурнал» (с исходным капиталом в 500 000 крон), получившее лицензию от министерства внутренних дел для распространения с помощью радио разного рода «общественно полезных новостей», лекций и музыкальных программ и поддержку от министерства почт и телеграфа. Переданное в руки частных предпринимателей радиовещание Чехословакии оставалось, таким образом, под патронатом государства. Пользователями радиовещания становились владельцы радиоприемников, внося за новый вид информационных услуг абонентскую плату «Радиожурналу».

Здесь нет возможности даже кратко осветить процесс зарождения и становления чешского радиовещания, воспроизведенный в книге в интереснейших, подчас курьезных, деталях и подробностях. Отметим только, что авторы показывают его тесную связь со становлением нового государства, с развитием культуры, экономики, технических наук, с общей ситуацией в стране. Все это определяло условия и атмосферу функционирования чешского радио, влияло на его миссию и ту информацию, которую оно несло людям. Поэтому этапы его развития, определяющие структуру книги, разбитую на соответствующие главы, воспроизводят в общих чертах периодизацию

чешской истории, а в каждой главе дается живая характеристика времени.

Стремительное развитие в Чехословакии 1920-х гг. радиовещания, требующего технической оснащенности, высокой образованности и культуры, дает возможность заново осознать большой научно-промышленный потенциал республики. Обращения к опыту Англии, Франции, Германии, Голландии, США было недостаточно. Необходимы были внутренние ресурсы. В марксистской историографии масариковская республика (а таким президентом, как Томаш Гарик Масарик, можно только восхищаться) подвергалась остракизму, критике, как и другие капиталистические страны. Акцентировались «раздиравшие общество» социальные противоречия (кстати, гораздо менее глубокие, чем в нашей сегодняшней России), оправдывавшие революционное движение, — замалчивались убедительные достижения вполне благополучного государства. А Чехословакия, о чем напоминает книга, и по экономическим показателям, и по уровню жизни входила в 1920-е гг. в число наиболее раз витых европейских стран. Это не значит, что там царила идиллия и не было столкновения разнонаправленных политических интересов и течений. Они, разумеется, были, как и в любом обществе, в любой стране, при любом строе. Но те, что были неуютны властям, не искоренялись сверху, как в условиях тоталитаризма, а завоевывали общественную поддержку в свободной конкуренции с другими. В политическую борьбу втягивали и вошедшее в силу радиовещание Чехословакии. Осознав его большие пропагандистские возможности, разные партии стремились подчинить его своему влиянию, превратить в рупор своих идей. Сильная Аграрная партия (Республиканская партия земледельцев и крестьян) инициировала создание в 1926 г. так называемого земледельческого радио, практически им овладев. (С него началась двадцатилетняя эра «радио на радио», *rozhlas v rozhlase*, т. е. разделение слушателей по профессиональным интересам и организация регулярных передач для определенных групп населения — земледельцев; рабочих; промышленников, торговцев и ремесленников; школьников. Для каждой из этих четырех групп выделялось определенное время в эфире.) Чехословацкая социал-демократическая партия использовала рабочее радио, которым она управляла вместе с оппозиционной к ней Чехословацкой национал-социалистической партией. Народная партия устраивала беседы и лекции своих представителей на темы «роль религии в обществе», «религия и школа», «религия и семья» и т. д. Чехословацкая партия средних сословий, ремесленников и торговцев стремилась использовать в своих целях передачи на торгово-экономические темы. Тесное сотрудничество связывало с радио правительственную группировку (*hradní skupinu*) Масарика

и Бенеша, разъяснявших через выступления сторонников свою политику. Из массовых партий лишь КПЧ не имела на радио никакого влияния.

Стараясь придерживаться нейтралитета и надпартийности, журнал «Розглас» вынужден был написать в 1928 г., что «необходимо решительно отвергать любые попытки ставить радио на службу политическим партиям, использовать его для партийной пропаганды и вместо того, чтобы объединять любителей радио в великую братскую общину во имя просвещения, культуры и развлечений, прорывать между ними рвы классово-политической нетерпимости» (с. 56). (Здесь надо отметить, что в 1924 г. вместо иностранного слова «радио» стало употребляться чешское «rozhlas», т. е. «розгласовка». Возможно, продолжала сказываться нелюбовь народа, который когда-то подвергался ассимиляции, к заимствованным словам, заставившая в свое время «географию» назвать «землеписанием» — *zeměpisem*, а «историю» — «описанием событий» — *dějepisem*. Современный процесс глобализации, впрочем, помог изжить этот синдром лингвистической ксенофобии и широко распахнуть двери для англицизмов и американизмов.)

Вторая половина относительно спокойных и стабильных в экономическом отношении 1920-х гг., признана «золотым веком» чешского радио, ярко охарактеризованным Йозефом Маршиком.

«Профессионализация радиовещания», о которой рассказано в главе Иржи Граше, выделенной рецензентами из всех прекрасно написанных разделов, как поистине «выдающаяся» (см.: *Nové knihu. Прилож. к Literární poviny. 2003, 8 сентября. № 37*), происходит в 1930-е гг. Период культурного расцвета страны, какого, — по позднейшей оценке Милана Кундеры (в 1967 г., на Втором съезде писателей), — еще не знала чешская история, продолжался. Однако «романтика первого десятилетия республики развеялась», и кризис мировой экономики резко обострил общественно-политическую ситуацию в стране. Председатель общества «Радиожурнал», в чьем ведении продолжало оставаться радио Чехословакии, провозгласил в декабре 1933 г. необходимость защищать интересы государства и «пропагандировать внутри страны политическую волю правительства». Это означало усиление политико-воспитательной функции радиовещания, прежде ставившего перед собой культурно-просветительские задачи. Однако, как подчеркивает автор главы, — в обстановке резкой политизации общества и всей культуры (от Карела Чапека до Восковца с Верихом) очень трудно было установить грань между интересами государства и отдельных партий (с. 95).

Пост председателя правительства (премьер-министра) занимал в 1930-е гг. Милан Годжа, сторонник Аграрной партии, что усилило ее влияние на чехословацкое радио. Сложность ситуации, укрепившая

его зависимость от политики, сказывалась, в частности, на внезапных и необоснованных изменениях в программе передач. Так, вместо объявленной литературной передачи могли дать в эфир выступление функционера-агрария, а лекцию о Максиме Горьком заменить приветственным словом Маркони в честь юбилея фашистского движения в Италии. Это вызывало острую критику в адрес радиовещания и общества «Радиожурнал», которых упрекали за слабую пропаганду демократии. Консервативным тенденциям в радиовещании, несамостоятельности его руководства противостояла инициатива профессиональных работников радио, составлявших программу передач. «На брненской радиостанции удавалось привести к микрофону Магена, Гельферта, Незвала, Плеву, Гонзла, Буриана, в Праге — Шальду, Вацлавка, Шульгоффа, Ванчуру» (с. 96). Острые социальные проблемы ставило радио Остравы, которое во всю использовало свою удаленность от центра. Привлечь к сотрудничеству прогрессивные силы удавалось и школьному радио.

И. Граше приводит интересные факты цензурных вмешательств в радиовещание. Цензура предусматривалась уже в трудовых соглашениях 20-х гг. с работниками радио, к примеру, с режиссерами, чье творчество проверяли на предмет его соответствия «выданным директивам». В 1932 г. состоялось совещание руководителей этого масс-медиа с главным комиссаром полиции, где было принято решение, касавшееся прежде всего лекций, информировать «о темах и личности выступающего таким образом, чтобы была понятна направленность передачи». Некоторые деятели культуры стремились выступать в прямом эфире и не по бумажке, чтобы избежать цензуры написанного текста. Известен скандал с лекцией Шальды, сокращенной при перезаписи, так как о годовщине Национального театра он говорил не торжественно, а критично. Отокар Фишер, заранее подготовивший свой текст, вовсе отказался произносить его перед микрофоном после того, как по нему прошла рука цензора. Не в ладах была цензура и со злободневными пьесами Восковца и Вериха. На просьбу к «Радиожурналу» передать по радио их новую комедию, поступает вежливый отказ с обещанием дать о ней информацию в театральных новостях.

Возможно, что ужесточение цензуры на радио было связано не только с обострением политической борьбы, общественных противоречий, но и с осознанием его возрастающей роли в жизни государства. Оно не только информировало, просвещало, воспитывало людей, но становилось сильнодействующим средством пропаганды.

На глазах рос и авторитет радиовещания. И. Граше показывает это на одном красноречивом, хоть и печальном примере. Когда в 1936 г. умер английский король Георг V, не решились объявить об этом по радио, считалось, что радио недостойно делать столь важные

сообщения. Весь мир ждал публикации в Таймсе. Когда через год скончался президент Масарик, именно радио с раннего утра на четырех языках извещало об этом слушателей и провожало вождя нации в последний путь.

В 30-е гг. возрастает техническая оснащенность радиостудий и радиостанций. Совершенствуется аппаратура, чище становится звук. Радиожурнал переезжает в современное здание на Виноградской улице, 12, где помещалось пражское почтовое управление. Более разнообразными по жанрам и содержанию становятся радиопрограммы. В общеобразовательные передачи помимо лекций и интервью, включаются разного рода композиции (pasma) и беседы. Появляются специально написанные для радио сценарии и пьесы. Расцветают репортажи с места событий, транслируются оперные спектакли и концерты. Возникает новая профессия радиорежиссера. Активно используется техника монтажа. Программы отслеживает целое молодое поколение критиков, посвятивших себя «эфиру».

Далеко идущие планы дальнейшего развития радиовещания срывает гитлеровская агрессия, отделение Словакии, превращение Чехии и Моравии в германский протекторат. Но прежде было Мюнхенское соглашение (29 сентября 1938), сократившее территорию страны, поскольку значительная часть пограничных земель отходила Германии, что официальные источники уклончиво называли «вмешательством истории» (dějinným zásahem). Этот период Второй республики, преддверье национальной катастрофы, освещается в начале главы Франтишка Грдлички «Радио в оккупации. 1938—1945». Возникшие после Мюнхена большие трудности (не хватало отбравшихся радиопередатчиков и кабелей, ужесточилась цензура; радиостанция в Мельнике, вещавшая на немецком языке, уже не смела давать альтернативную Третьему рейху информацию и т. д.) не идут ни в какое сравнение с трудностями оккупационного режима, установившегося с 15 марта 1939 г. Автор главы отмечает его зловещее начало — самоубийство редактора информационного отдела чешского радиовещания, словацкого журналиста Павола Доннера, который выбросился из окна здания Чешского радио, как только в него вступили немецкие солдаты. Приводится текст заявления Гитлера, прочитанного на следующий день по радио Риббентропом: «...части бывшей Чехословакии, занятые в марте 1939 г. немецкими войсками, отныне принадлежат территории Великой Германии и находятся как Протекторат Чехии и Моравии под ее защитой...». С чешского радио были изгнаны все «неарийцы». В апреле 1939 г. «Наше радио» писало: «Людей неарийского происхождения уже не допустят к микрофону. Если у кого-то из выступающих — хористов или пианистов — немецкая фамилия, будьте спокойны! Евреев среди них нет» (с. 150). Резко сократились

программы разговорного жанра, слово сплошь и рядом заменялось музыкой. Названия передач давались сначала на немецком языке и уже только потом — на чешском. Нацистское руководство внимательно слушало все, что говорилось по радио, принимая во внимание даже интонации и подтекст. Добровольными помощниками выступали и простые немцы, знавшие чешский язык и обращавшие внимание на все подозрительное. Цензуре подвергались даже выступления членов правительства протектората и президента Эмиля Хахи.

28 сентября 1941 г. протектором становится Гейдрих, в функцию которого входит последовательная германизация чешского народа. Приход Гейдриха означал конец даже весьма относительной автономии чешского радио. С 26 февраля чешское радиовещание превращается в филиал вещания Третьего рейха. Основное содержание передач определяют атаки против Советского Союза и евреев. 27 мая 1942 г. засланные из Англии чешские патриоты смертельно ранили Гейдриха, было объявлено осадное положение, начался фашистский террор, во время которого погибло пять тысяч чехов. Некоторое послабление режима произошло только во второй половине 1944 г. Оно сказалось, в частности, в том, что исчезли некоторые ригористические профашистские передачи и по радио перестали читать списки приговоренных к смерти и казненных людей.

Уже весной 1939 г. на радио был создан нелегальный комитет, включившийся в движение Сопротивления и связанный с антифашистскими организациями В. Ванчуры и Ю. Фучика. После их гибели по-боевому настроенным работникам радио удалось установить связь с другими антифашистскими центрами, один из которых возглавлял профессор Альберт Пражак. Чешское радио, таким образом, было подготовлено к тому, чтобы сыграть большую роль во время Пражского восстания 5–9 мая 1945 г. Его ход и участие в нем чешского радио прослежены в главе Ф. Грдлички буквально по часам и минутам. Дикторы (а один из них — Зденек Манчал, остался в здании с вечера) начали ранним утром 5 мая вещание на чешском языке. Призывом о помощи началось — в 12 ч. 30 мин. — Пражское восстание. Проникшие в здание немцы не могли добраться до радиостудии, поскольку чехи заранее стерли все указатели на немецком языке, а без них трудно было разобраться в лабиринте коридоров. Резиденция радиовещания подверглась штурму и обстрелу. Около четырех утра 9 мая на окраину Праги проникли советские танки, продвигавшиеся к центру города. Через какое-то время с помощью переносного передатчика журналист Альфред Техник стал вести репортаж о радостной атмосфере первого дня свободы.

«В мае 1945 г. пражское радио, верное своему долгу, честно выполняло информационную и организаторскую работу. Прага — единственный город в Европе эпохи Второй мировой войны, где радио не отмалчивалось во время революции, не прекращая своих передач даже в разгар сражений» (с. 147).

Послевоенная история чешского радио получила столь же детальное и яркое отражение как и его жизнь в предшествующие периоды. Она охвачена в главах Евы Ештуовой «Радио созидания. 1945—1948» (Budovatelský rozhlas), Ростислава Бьегала «Радио после наступления тоталитаризма. 1949—1958», Милана Рыкла «Возрождение радио. 1959—1968», Зденека Боучека и Иржи Губичека «Период нормализации. 1968—1989», Вацлава Моравца «Свободное радио. 1990—2003».

Отмечу некоторые красноречивые черты ожившего в этих главах времени и его перемен.

В течение мая—июня 1945 г. было восстановлено радиовещание Брно, Братиславы. Начало работать радио Моравской Остравы и Градца Кралове. 20 ноября начались передачи с Нюрнбергского процесса. В мае 1946 состоялась трансляция первого музыкального фестиваля — Пражская весна. 11 ноября 1947 г. началась передача радиорепортажей с мест путешествий Иржи Ганзелки и Мирослава Зикмунда. 30 сентября 1947 г. — открыт первый Радиоуниверситет.

24 апреля 1948 г. Чешское радио было национализировано. В 6 часов вечера 18 июня 1950 г. началось вещание Свободной Европы на чешском и словацком языках в передаче под названием «Голос свободной Чехословакии». В ноябре того же года состоялось совещание представителей госбезопасности Чехословакии, Польши, Венгрии о совместных действиях против «вражеского вещания». С 6 января 1953 г. начались передачи «Пионерской зорьки», с 15 сентября — все радиостанции стали транслировать получасовую программу «Говорит Москва».

С середины 1950-х гг. возрастает число познавательных передач. Так, с 19 июля 1957 г. появилась программа — «Что мы хотим знать», в которой специалисты отвечали на вопросы радиослушателей.

21 августа 1968 года, в день вторжения в Прагу советских танков, во время захвата зданий Чехословацкого радио произошли вооруженные столкновения, в результате которых погибло 15 человек.

4 ноября того же года Чехословацкое радио получило государственную Премию мира, которую отобрали 25 ноября.

В апреле 1970 г. начались кадровые проверки (чистки) работников радио, в результате которых было уволено 800 человек.

16 декабря 1988 г. перестали глушить зарубежные радиостанции.

В ноябре 1989 г. на чешском радио возникла организация движения Гражданский форум (Občanský forum). 1 января 1990 г. создана редакция по делам церкви, через месяц преобразованная в редакцию по проблемам религии. В начале 1992 г. Чешское радио объявлено самостоятельным институтом, полностью отделенным от государственного бюджета. В марте 1994 — подписано соглашение о создании в Праге чешской редакции «Радио Свободной Европы». 8 февраля 1998 г. состоялась последняя передача «Беседы в Ланах с президентом В. Гавелом».

29 октября 2000 г. одна из пражских радиостанций начала передачи на русском языке. В январе 2001 г. стал функционировать Благотворительный фонд Чешского радио.

Большой интерес представляет глава «Из истории регионального и зарубежного радиовещания», созданная с помощью «авторов с мест» (Ярмилы Ружичковой из Брно, Марии Шотоловой из Чешских Будейовиц, Зденьки Кабоурковой из Градца Кралова, Яна Суловского из Оломоуца, Вацлава Бьелоголавого из Остравы, Евы Клауснеровой из Пльзня, Марека Тьетце из Регины, Богумила Брадле из Усти над Лабем и Мирослава Крупички — зарубежное радиовещание). Завершают книгу редакционный раздел «Художественные коллективы и службы чешского радио», где освещаются его архивы, фонды, печатные издания, и «Приложения»: перечень знаменательных дат в истории чешского радио — с декабря 1922 по 1 октября 2002 г., его именовании и служб, список всех директоров Чешского радио и другие сведения (размер абонентной платы, рост числа радиослушателей, результаты международных конкурсов радиопередач и т. д.). Остается назвать лишь имя ответственного редактора труда — Евы Ешутовой — и всех тех, кто готовил книгу к печати. Это Милан Покорный, Богуслава Коларжова, Марцела Бенешова, Ярослава Новакова.

Книга о чешском радио получилась книгой во славу радио вообще. Она помогает осознать значение этого оперативного и стратегически важного масс-медиа, ту роль, которую оно играло и играет в жизни людей, в твоей собственной жизни. Пробуждаются ностальгические воспоминания о черной тарелке репродуктора с кнопкой регулятора громкости посередине. В памяти оживает радио детства: голоса дикторов с их бодрым — «Говорит Москва!», уроки утренней гимнастики, музыкальная заставка трансляций футбольных матчей, репортажи Вадима Синявского, передачи «Театр у микрофона» (арбузовская «Таня» с ломким голосом М. Бабановой, чапек-овская «Мать», не помню чьи «Серебряные коньки» и «Черемыш — брат героя»), «Клуб знаменитых капитанов», песни советских композиторов, концерты Леонида Утесова с его «Засыпает Москва», прямое включение Красной площади на исходе суток и бой

курантов... Если не чернить все наше советское прошлое (противоречивое и разное) одной краской, а различать в нем всякие, в том числе и светлые, цвета, то черная тарелка репродуктора ближе к ним, к оптимистическим реалиям советского государства. Радио в то время было не только орудием идеологической борьбы, средством официальной пропаганды, но и просвещало, воспитывало (и отнюдь не безнравственные качества), расширяло эрудицию, говорило голосом самой Истории. Радио объявило о начале Великой Отечественной, рассказывало о наших поражениях и победах. «Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза», — именно с этих слов понеслась весть в эфир о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии. А полет Гагарина в Космос и его встреча на земле! Здесь можно продолжать до бесконечности. Обо всех событиях и рубежах нашей истории мы узнавали, прежде всего, из радиосообщений. Сейчас с ним конкурирует телевидение. Пресса ему практически не уделяет внимания. Российские газеты и журналы даже перестали печатать программы радиопередач. Но основательно потесненное телевидением, радио не должно сдавать своих позиций. Пусть у него уже нет былой популярности, но у него есть свои огромные преимущества. Радиовещание хотя бы не дает возможности разгуляться той пустоте, пошлости, той пропаганде насилия, которыми нередко бывают отмечены программы телеэкрана. Лично я телевидение люблю, восхищаюсь его звездами, не испытываю снобистского презрения даже к ее риалам, привыкаю к их героям, жду свиданий с ними. Однако на вопрос — «Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров — телевизор или радиоприемник?» — не задумываясь, бы выбрала последний. Он успешнее сопротивлялся бы процессу моего одичания, позволив встретить корабль на Большую землю без особых признаков деградации. Включая радио, не рискуешь наткнуться на поднадоевшие «Аншлаг» или «Кривое зеркало», на рекламы, в которых ленивые домохозяйки кормят родных супами из пакетиков, члены семьи воруют друг у друга сосиски, дети подсовывают дедушке вместо маслин конфеты под майонезом, а все человечество дружно страдает от несварения желудка и перхоти. Всей этой дряни по радио не увидишь и не услышишь. То ли жизнь радио меньше зависит от коммерции, то ли там меньше случайных людей, то ли этого не допускают ни традиции, ни техника радиовещания.

Но пора вернуться к книге. В заключение приведу отрывок из предваряющего ее Слова к читателям Вацлава Касика, генерального директора Чешского радио: «Восемьдесят лет для человека — вполне почтенный возраст. Но жизнь института, связанного с распространением с помощью радиоволн информации, знаний, культуры, развлечений и иных ценностей, подчиняется другим законам. Восемьдесят

лет для радио — юбилей, которым отмечен всего лишь возраст его зрелости. Знак созревания — и в способности оглянуться назад и по-деловому, правдиво и без эмоций оценить свое прошлое». Однако без эмоций здесь, пожалуй, не обойтись. Эту объективную, беспристрастную книгу вряд ли можно было создавать с бесстрашием. С восьмидесятилетней историей чешского радио — оживает восьмидесятилетняя жизнь страны, связанная с жизнью всего человечества. Ее страницы невозможно листать без волнения. К этой книге нельзя остаться равнодушным. Жаль, что она доступна только людям, знающим чешский язык.

Конференция о Раевских на Украине

Вместе со всеми переменами, что принес с собой распад СССР, принципиальные сдвиги произошли и в области научных исследований — изменилась сама их парадигма. Практически в каждой бывшей республике принялись активно изучать исключительно национальную историю, литературу, фольклор, язык. Все остальное, связанное с *общим* прошлым и *общей* же культурой, (как в рамках Российской империи, так и Советского Союза) объявлялось иностранным, а то и оккупационным... Сейчас, похоже, наступают другие времена, и тенденция эта, ведущая к научной автаркии и складыванию дутых «самостийных» мифов, теряет былую монополию.

Примером наметившегося поворота стала международная научная конференция «Семья Раевских в истории и культуре России XVIII–XIX веков», с успехом прошедшая в Кировограде, бывшем Елисаветграде, (Украина) и его исторических окрестностях 20–22 мая 2004 г. Организаторами конференции стали Русская община им. А. С. Пушкина, Благотворительный фонд им. Н. Н. Раевского и Литературно-мемориальный музей А. С. Пушкина и П. И. Чайковского (город Каменка). Форум прошел при активном содействии Кировоградского государственного педагогического университета им. В. К. Винниченко и Издательства ООО «КОД», которое выпустило сборник статей участников уже в ходе его работы. Помощь в проведении конференции оказало и киевское представительство Российского центра международного и культурного сотрудничества при МИД РФ.

Важно подчеркнуть, что инициаторы конференции определили ее как «Первые Елисаветградские международные историко-литературные чтения», и это дало удачную возможность выйти за узкопрофессиональные и сюжетные рамки, столь свойственные большинству научных мероприятий. И действительно, семейство Раевских, неразрывно связанное с военной историей Отечества и декабристским движением; с освоением юга России и «славянским делом»; с русской литературой вообще и А. С. Пушкиным в частности, оказалось тем объектом *совместного* исследовательского интереса, вокруг которого, дополняя друг друга, и смогли собраться специалисты различных дисциплин: филологи, историки, краеведы, педагоги и т. д. В то же время такая квалификация конференции предполагает периодичность ее проведения, что, имея в виду место рода Раевских

в истории и культуре России, открывает немалые научные перспективы...

Многообразие тематических контекстов конференции соответствовал состав ее участников — всего на «Первых чтениях» выступило 28 человек. Украинские коллеги представляли научные, культурно-просветительные и высшие учебные заведения из Кировограда, Киева, Чернигова, Симферополя, Луганска, Донецка, Николаева, Кривого Рога, Измаила. Российское представительство было также весьма внушительным — в Кировоград прибыли специалисты РАН (из Института русской литературы (Пушкинский Дом) и Института славяноведения); ученые Московского педагогического университета и университетов Великого Новгорода и Ростова-на-Дону.

Кроме двух пленарных заседаний, работа «Чтений» проходила в трех секциях: «Семья Раевских: история, литература и искусство», «А. С. Пушкин в общекультурном контексте России и Украины» и «Своеобразие исторического Юга России XIX века».

Пушкинскую тему открыл д. ф. н., проф. С. А. Фомичев (Санкт-Петербург), выступивший с докладом «Каменский период в творчестве А. С. Пушкина». Опираясь на анализ произведений Пушкина 1820–1821 гг., он выделил отдельный «каменский» этап творчества поэта, определив его как важнейший рубеж мужания пушкинского пера. В этот блок вошли также доклады д. ф. н., проф. О. А. Семенюка (Кировоград) «А. С. Пушкин и современный читатель: некоторые аспекты лингвистической интерпретации художественного текста»; к. ф. н., доцента А. Б. Перзекке (Кировоград) «Универсалии в поэме А. С. Пушкина „Медный всадник“»; А. И. Золотухина (Николаев) «Тайна поездки Пушкина „На саранчу“»; А. Д. Гдалина и М. Р. Ивановой (Санкт-Петербург) «Памятники и памятные знаки в честь А. С. Пушкина на Украине». В своем докладе, информационно насыщенном и детальном, авторы констатируют, что на Украине, откуда, собственно, и началась большая литературная слава поэта, сохранилось 150 памятников и памятных знаков, посвященных ему.

Влияние Пушкина на творчество современников и потомков было рассмотрено в докладах д. ф. н., проф. В. К. Сигова (Москва) «Пушкинские категории „свободы“ и „воли“ в творчестве В. Шукшина», а также д. ф. н., проф. Ю. П. Фесенко (Луганск) «Пушкинская тема в „Былях и небылицах“ В. И. Даля»...

Известно, что тема «Раевские и А. С. Пушкин» принадлежит к числу *классических* в истории русской культуры. Прошедшие «Чтения» подтвердили такое ее «качество» и тот интерес, какой она продолжает вызывать в международном научном сообществе. С докладами о ней выступили: д. ф. н., профессор Н. В. Забатурова (Ростов-на-Дону) «„Тебе — но голос музы темной...“ К проблеме

атрибуции стихотворений А. С. Пушкина, адресованных сестрам Раевским»; к. ф. н., доцент Л. П. Квашина (Донецк) «Раевские в творческой судьбе А. С. Пушкина: два посвящения поэта»; к. ф. н., доцент М. М. Радецкая (Луганск) «Мария Волконская и А. С. Пушкин в историко-биографической литературе» и А. Я. Драй (Луганск) «Семья Раевских в письмах Пушкина»... Наряду с пр. одолжением исследования сюжетов, имеющих давнюю научную традицию, на конференции была сделана попытка обнаружить новые связи Раевских в русском литературном мире. В докладе д. и. н. А. Л. Шемякина (Москва) «Раевские и Лев Толстой» исследуется северная (тульская) ветвь рода Раевских и констатируется, что Л. Н. Толстой был хорошо знаком со многими ее представителями, а через сына Илью даже породнился с ними. Важно подчеркнуть, что эти отношения Толстого с Раевскими нашли отражение в творчестве писателя. Не обошел вниманием автор доклада и южных (киевских) Раевских, показав, что полковник Николай Николаевич Раевский 3-й — внук легендарного бородинского героя, погибший в Сербии в августе 1876 г., послужил Толстому прототипом для образа графа Алексея Вронского в романе «Анна Каренина».

Это «вынужденное вторжение» историка в область литературоведения не стало единственным примером междисциплинарного подхода в рамках тематики «Чтений». Д. ф. н., проф. В. А. Кошелев (Великий Новгород), выступил с докладом «„Отечество того не забыло“. Историческая и литературная мифология „подвига Раевского“». В нем рассматривается вошедший в легенду поступок генерала Н. Н. Раевского в сражении при Салтановке, когда он повел своих сыновей впереди дрогнувших было солдат. Исследуя это событие в контексте историографической традиции, автор убедительно показал, что оно действительно имело место, однако, по религиозным и моральным соображениям генерал не любил говорить о нем, порой отрицая, как, например, в известном разговоре с К. Н. Батюшковым.

Доклад В. А. Кошелева открыл целый блок сообщений, посвященных генералу от кавалерии Николаю Николаевичу Раевскому и его близким. С ними выступили: д. ф. н., проф. Л. А. Орехова (Симферополь) «Раевские и их окружение в Крыму»; к. ф. н., доцент Л. А. Казнина (Кировоград) и к. ф. н. К. С. Буркут (Киев) «Н. Н. Раевский. Страницы биографии»; О. В. Корчевская (Симферополь) «К вопросу о крестнице Н. Н. Раевского Анне Ивановне»; к. и. н. Л. М. Филоретова (Кировоград) «Образ генерала Н. Н. Раевского в изобразительном искусстве», Л. В. Шматько (Кировоград) «Раевские — неиссякаемый источник вдохновения. Семья Раевских в литературе и изобразительном искусстве»; к. п. н. П. П. Пархоменко (Кировоград) «Воспитание в роду Раевских», С. А. Половникова

(Чернигов) «Семья Волконских на Черниговщине» и В. М. Орлик (Кировоград) «Михаил Федорович Орлов о финансово-кредитной политике государства».

Очевидно, что ряд упомянутых докладов имеет заметный краеведческий крен, и это вписывается в современную тенденцию роста интереса к историческому краеведению и регионалистике. Особо наглядно такая специфика нашла отражение в следующих сообщениях, авторы которых ставят в центр внимания историю дворянской усадьбы, как культурного локуса. Рассматривая именно в этом качестве архитектурный облик, ландшафтное окружение, биографии и судьбы владельцев, они перекликаются в своем подходе с многолетним научным проектом российских ученых — «Мир русской усадьбы». Что только доказывает очевидный факт: никакими современными границами невозможно расчленить единое историко-культурное пространство.

Доклад В. Г. Бухарова (Кировоград) «Усыпальница семьи Раевских — уникальный памятник истории и архитектуры» посвящен истории создания в с. Разумовка (одном из владений семьи Раевских) Свято-Крестовоздвиженской церкви, заложенной в 1833 г. над могилой Н. Н. Раевского. Впоследствии она превратилась в семейную усыпальницу: в ней и по сей день покоится прах дочери генерала Софьи Николаевны, его погибшего в Сербии внука Николая Николаевича и неизвестного лица (предположительно брата — Александра Николаевича). На основании анализа архивных данных автор делает вывод, что проект усыпальницы мог принадлежать знаменитому архитектору В. П. Стасову. В наступавшем году исполняется 150 лет со дня ее освещения... В докладе М. М. Петровой (Симферополь) «История имения Карасан» рассматривается история крымских имений Раевских — Тессели, Партенита и особенно Карасана, сохранившегося до наших дней почти в первоизданном виде. Исследовательница отмечает, что их хозяева были одними из пионеров в деле культурного обустройства южного берега Крыма. Н. Н. Товстоляк (Кривой Рог) в докладе «Особенности формирования историко-культурных центров в дворянских усадьбах южных губерний Российской империи в конце XVIII—XIX веках» описывает усадьбы Кибинцы, Хомутец, Решетилровка, Великая Обуховка, Карловка и Каменка, ставшие крупными культурными комплексами юга России.

Добавим, что судьбу упокоенного в Крестовоздвиженской церкви Н. Н. Раевского 3-го затрагивает доклад к. и. н., доцента С. И. Шевченко (Днепропетровск) «Центральная Украина и освободительная борьба югославян (1870-е гг.)». Заключительный доклад «Севастопольская героиня Стендаля» сделал к. ф. н. В. В. Орехов (Измаил). Он посвящен поиску прототипа героини романа «Арманс».

Говоря об организации работы конференции, важно отметить, что историческая Кировоградщина буквально «нашпигована» памятными местами, связанными с *общим* прошлым украинского и русского народов. Разумовка Раевских и Каменка Давыдовых; Чигирин и хутор Субботов Богдана Хмельницкого; сама Крепость Святой Елисаветы (с которой и начинался Елисаветград), где провели годы светлейший князь Г. А. Потемкин, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, и Новая Сербия... Организаторы учли это обстоятельство, и второй день конференции начался с посещения семейной усыпальницы Раевских в Разумовке. Вечернее же заседание прошло в музее Пушкина и Чайковского в Каменке, в историческом зале, где и по сей день стоит подлинный рояль композитора.

Подводя итог, заметим, что историю дворянского сословия России невозможно понять без проникновения в историю его отдельных родов. Без этого трудно объяснить поведенческие стереотипы людей, мотивацию их жизненного выбора в окружающем мире, особенно «в его минуты роковые». И вообще, интерес к конкретному человеку, к тайнам его биографии — это не только проявление извечного любопытства потомков к жизни предков. Это серьезное научное подспорье, которое нередко позволяет нам по-новому интерпретировать события и их скрытые пружины даже на макроисторическом уровне. А значит — «Елисаветградские международные историко-литературные чтения» о Раевских имеют перспективу.

Содержание

Пленарное заседание

- Б. Н. Флоря* (Москва). Воссоединение Украины с Россией
в оценке современников 4

История

- Г. И. Матвеева* (Самара). Первые славяне на Средней Волге 11
- Э. Л. Дубман* (Самара). Народы России в освоении Поволжья
и Южного Приуралья в конце XVI — начале XVIII в. 19
- Ю. Н. Смирнов* (Самара). Превращение Заволжья во внутреннюю
губернию Российской империи и изменения в этническом составе
населения (XVIII — первая половина XIX в.) 27
- И. И. Лециловская* (Москва). Федор Иванович Янкович
де Мириево (Мириевский) 36
- А. Ю. Калинин* (Москва). «...Изучать душу народа своего по Качичу» . . 45
- Р. Распопович* (Подгорица). Роль Русской церкви
в создании независимых государств на Балканах (Черногория) . . 67
- Г. В. Макарова* (Москва). Адмирал П. В. Чичагов и его отношение
к «польскому вопросу» 77
- Ю. П. Аншаков* (Самара). Итоги и перспективы исследования темы
«Народы Поволжья и борьба южных славян за национальное
освобождение. 1875—1878 гг.» 105
- В. А. Нилова, Ю. И. Штакельберг* (С.-Петербург). Две жизни
польского конспиратора 114
- Н. М. Корнева* (С.-Петербург). К биографии ксендза
Бронислава Уссаса 132
- П. С. Кабытов* (Самара). П. В. Алабин — историк Самарского края . . 137
- Д. Лабаури* (Екатеринбург). Проблема македонской национальной
идентичности в идеологии Крсте Мисиркова (1902—1905). 148
- В. М. Хевролина* (Москва). А. Ф. Гильфердинг — дипломат 155
- Л. П. Лаптева* (Москва). А. Н. Пыпин (1833—1904) и его вклад
в славяноведение 177
- М. А. Робинсон* (Москва). К истории создания
Института славяноведения в Ленинграде (1931—1934 гг.) 210
- М. Ю. Досталь* (Москва). Проблема возрождения
русской славистики перед Второй мировой войной
в отечественной историографии 240
- С. А. Романенко* (Москва). «Неистовая, ожесточенная война
за существование». Национальные движения
народов Югославии 1941—1945. 285

В. И. Косик (Москва). Плюс история минус	341
Р. Распопович (Подгорица). Южнославянский мир на рубеже XX и XXI вв.	349

История культуры

С. Николова (София). Древнеболгарский перевод Ветхого Завета	355
Е. С. Федоскина (Москва). «Праздньство слоугы твоего васланца» (загадочная служба в древнеславянской Минее за октябрь)	365
О. Р. Аранс (Вашингтон). Тайный миф <i>Онегина</i>	381
М. В. Белов (Нижний Новгород). «Воротися, отец, воротися!» Георгий Черный: генеалогия харизмы народного вождя.	405
Н. Н. Старикова (Москва). Словенская литературно-критическая мысль в Вене: Й. Стритар и его журнал «Звон» (1870-е гг.)	446
Н. В. Шведова (Москва). «Корни действительности, погруженные глубоко в пропасть сна» (надреалистическая поэзия Владимира Райсела).	454
М. Внук (Милуоки). Американцы польского происхождения в Милуоки, штат Висконсин	464

Языкознание

Т. И. Вендина (Москва). Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры (концепт Любовь)	468
--	-----

Публикации

И. В. Матвеева (Челтенхем). Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки воспоминаний. Вступительное слово и комментарии А. Н. Горяинова (Москва)	513
---	-----

Рецензии

А. С. Стыкалин (Москва). Обобщающий труд по истории Хорватии.	534
Л. Н. Будагова (Москва). История радио — история страны: этапы большого пути	550

Хроника

А. Л. Шемякин (Москва). Конференция о Раевских на Украине	561
---	-----

Научное издание

СЛАВЯНСКИЙ АЛЬМАНАХ

2004

Издательство «Индрик»

Младший редактор Ю. Е. Рычаловская
Корректор С. М. Хорошкина
Оригинал-макет А. Ю. Зубков

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

e-mail: nina-dom@mtu_net.ru
or by tel./fax: +7 095 9592103

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-093,
Ред.01.08.2001; 9533004 — Литература научная и производственная

Подписано в печать 25.04.2005. Формат 60x90 1/16.
Печать офсетная. Гарнитура «Академия». Бумага офсетная № 1.
Печ. л. 35,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 1081.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Эламик»
103031, Москва, Петровский пер., д. 1/30, стр. 1

